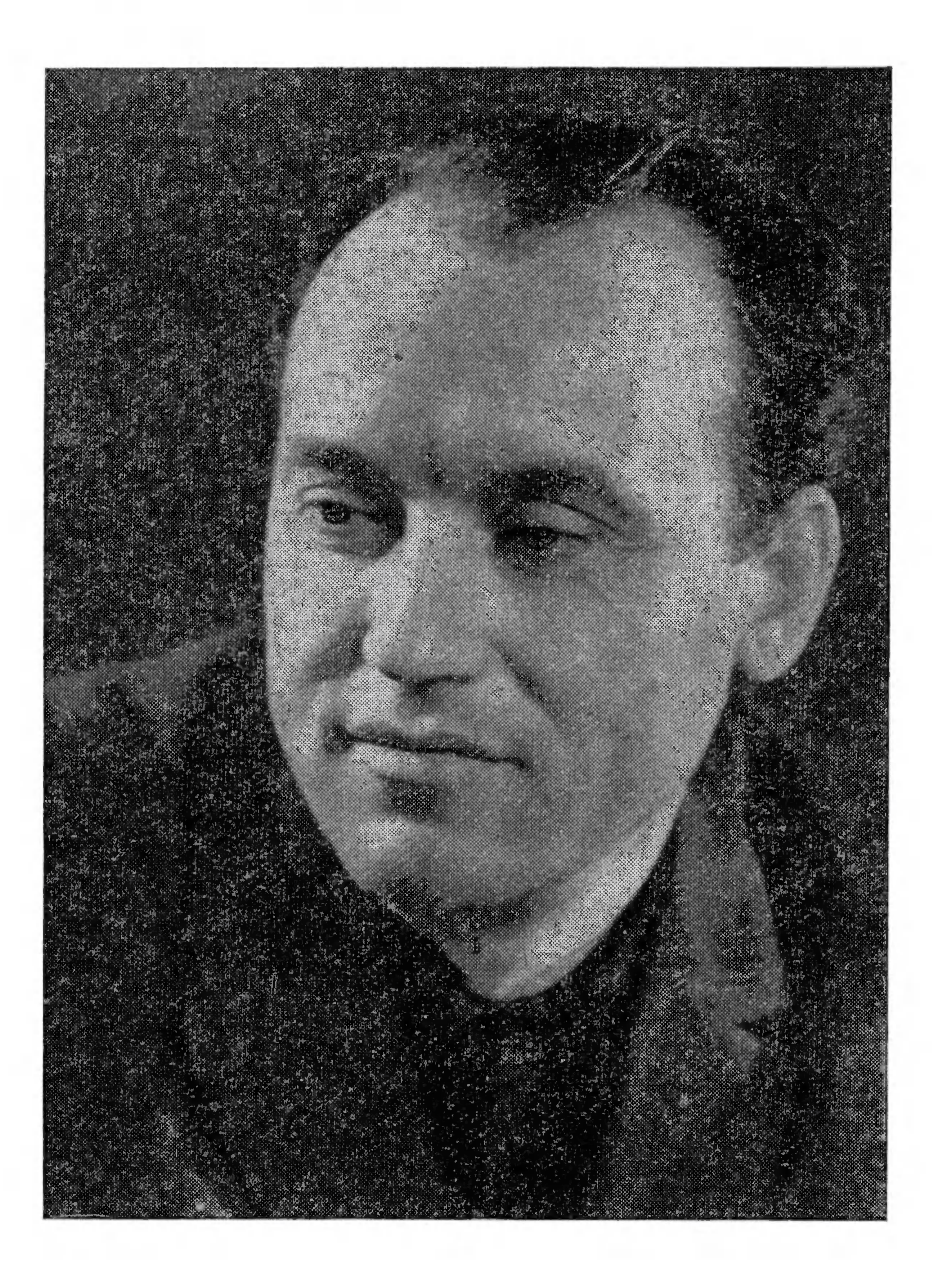
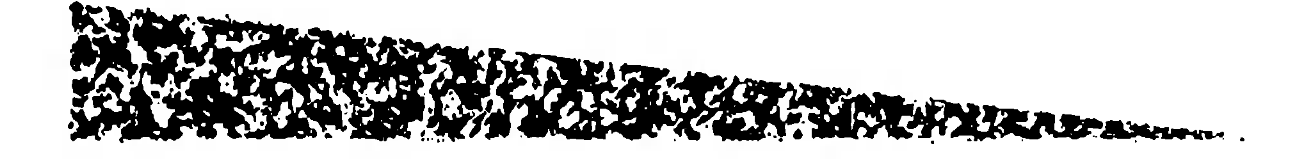
Петр Проскурин

День смятения

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ · 1971



Петр Проскурин



День смятения

ИЗБРАННОЕ

$Р_2$
Пр 68

7—3—2

ПЛАМЯ НА ВЕТРУ

«Ведь любой, родившись, должен вершин своих достичь, огни там зажечь...»

П. Проскурин. «Шестая ночь».

...Летом 1943 года Брянская земля, освобожденная от фашистских полчищ, являла собой картину необыкновенную, о многом говорившую разуму и чувству. Развалины древних русских городов с проржавевшими, погнутыми балками, пепелища деревень — пепел был уже спрессован, прибит к земле дождями и ветром, воронки и рвы, бурьян, вымахавший в рост человека па обочинах дорог... А рядом — груды битой немецкой техники в кюветах шоссе и на лесных дорогах, тысячи землянок в лесах, зловещая паутина минных полей. Паутина смерти, затаившейся и под узловатым корнем березы, и у порога избы, и среди безбрежных луговых трав, и на тропинке к одичавшему колодцу, и особенно густо вокруг лесов,— этой паутиной фашисты хотели удушить партизан, весь непокоренный народ, надолго вселить в его душу оцепенение и страх!

Порубежные, граничные земли России! Они и сейчас, в новый век, выполнили свой долг. Все здесь, на Орловщине и Брянщине, на Курской дуге, говорило и о суровых испытаниях, и о бушевавшем годами, с самого 1941 года, сражении, о мужестве и героизме. Сама земля, переполненная гневом и яростью народной, горела под ногами оккупантов, рождала героев, карала малодушных, оживала вновь из пепла.

Петру Проскурину, родившемуся в 1928 году и выросшему в орловском поселке Косицы (ныне Севский район Брянской области), не пришлось воевать. И тем не менее судьба его — и человеческая и художническая — нерасторжимо связана с эпохой Великой Отечественной войны, с ее масштабом философских и нравственных оценок.

И это вполне естественно. Великие подвиги, как высокое пламя, озаряют необозримые исторические пространства, далекие небосклоны. Жаркие отблески этого огня ложатся на лица, души современников, даже самых юных, а искры его, залетая в восприимчивую детскую душу, способны и через много лет засветиться, вспыхнуть горением подлинного таланта.

Вспоминая об этом давнем времени, о первых, неосознанных часто догадках о ценности простого куска хлеба, смысле жизни, месте красоты в бушующем, изменчивом мире, Петр Проскурин с неизменной теплотой говорит о весне и лете 1943 года, о своих трудовых университетах в колхозе на Брянщине в 1946—1947 годах:

«Все эти годы — работа, работа, работа. Крестьянская, когда не считают времени и сил, и все-таки по вечерам — песни и гармошка. А с самого начала, когда немцы были разбиты на Курской дуге и мы вернулись в поселок, жили в немецких землянках... Вокруг брошенные мины, снаряды, разбитые танки, гранаты, на десятки километров минные поля и ряды колючей проволоки, в кустах, в зарослях находили трупы немцев и стаскивали с них сапоги — крепкие, кованые — на пять лет потом хватало... А на солдатских, широких, на весь орудийный расчет, нарах отходила бабушка Настя, мать матери, она умирала от живота, чего-то съела невпопад, и истощенный организм не смог пересилить расстройства. Ее отпаивали травами, настоем сушеных метелок конского щавеля, но ничего не помогло. Мы с братом пошли готовить дрова, греть воду, обмыть покойницу: взяли шашку тола, вставили капсюль и положили тол под бревно, затем вставили в капсюль длинную порошину из разряженного снаряда, подожгли ее и убежали в укрытие. Раздался взрыв, бревно разлетелось в щепы, и мы вышли собирать готовые дрова. А наши войска все шли и шли, к Днепру, на Киев, и я только недавно, через два десятка лет, понял скорбную торжественность и величие того времени. А тогда, несмотря ни на что, была радость, радость освобождения, радость от возможности спокойно спать, ходить, не скрываясь, лежать и смотреть в небо без страха».

Истинный художник не тот, кто много знает, ибо знание зачастую относительно, условно. А карлик, влезший на плечи великана, как сказал Г. Гейне, видит даже дальше великана. Но... Но в карлике «нет биения гигантского сердца», и потому он не способен ничего прибавить, ему нечем обогатить мир.

Горькие травы... Война, возвращение на родное пепелище, суровая торжественность армии-победительницы, чистая радость стариков и детей, партизан, выходивших из болот и лесов — «немца стронули, немец в бег ударился!» — это и есть биение гигантского сердца народа. Как и тревожные, потаенные мысли о возможных утратах, о предстоящем нелегком труде...

А первый костер в безлюдной еще деревне, одинокий, задуваемый ветром,— к нему через бурьян и воронки, с робостью и нетерпением, сумасшедшей надеждой поспешали с гудящего шляха и деревенская баба, растерявшая кого-либо из детей, и однорукий солдат с «сидором» за спиной!.. Такой костер загорается в романе «Горькие травы» у землянки деда Матвея,— это первый, вечно светящий «маяк» во всем творчестве Петра Проскурина.

В последующие, 50-е годы Петр Проскурин надолго отрывается от родных мест. После службы в Советской Армии, где он уже, мягко говоря, пробует свои силы в стихотворстве, писатель уезжает по вербовке на Дальний Восток, где работает то плотником, то шофером, то лесорубом, то сплавщиком на Камчатке. Пылкое юношеское воображение, искавшее жизненной опоры в своем «полете», пробуждающийся талант художника неожиданно обрели в

Камчатке, в ее сопках, порожистых реках, близком океане, мужественном труде рабочих желанную «фактуру», достоверный фон. Камчатка, вымышленная река Игрень — это своеобразная «проскуринская» планета со своими героями (ей, этой планете грубовато-мужественных, нетерпимых к фальши людей, писатель посвятил много новелл и повестей, к этой «серии» относится и повесть «Тайга»). Сам писатель очень дорожит и поныне этой яркой страницей своей трудовой биографии.

«Мы возвращались со сплава к месту постоянной работы уже осенью,— вспоминает П. Проскурин об одном из эпизодов своего житья-бытья на Камчатке.— Как-то мы остановились на ночь у невысокой безымянной сопки, и, пока суть да дело, четверо из нас решили взобраться наверх, посмотреть. Таких звучных красок, как в тот раз, я уже больше не встречал. В той стороне, где стояла вечерняя заря, дымил вулкан, и дым его тяжелой, расплавленной тучей стоял неподвижно, он-то и придавал всем другим краскам особое свечение, и все было настолько прозрачно, что угадывались и казались издали необычайно хрупкими небольшие изломы сопок. Представляете, тончайший малиновый, розовый, лимонный, темно-красный цвета, и черные снизу, четкие громады сопок со всех сторон. И тишина, совершенно фантастическая тишина. Того и гляди появится какое-нибудь сказочное, неземное совершенно существо».

В конце 1957 года П. Проскурин приезжает в Хабаровск, где вскоре появляются его первые книги рассказов «Таежная песня» (1958), «Цена хлеба» (1961), романы «Глубокие раны» (1960), «Корни обнажаются в бурю» (1962). Затем появляются «Горькие травы» (1964), «Исход» (1966), повесть «Тихий-тихий звон» (1966), роман «Камень сердолик» (1968)... В последующие годы писатель живет в родном Орле, а с 1968 года, вплоть до сегодняшнего дня, в Москве, совмещая активную творческую деятельность с журналистской работой в качестве специального корреспондента «Правды».

* * *

Костры, костры... Петр Проскурин любит этот исконный огонь, самый «первый» огонь, сохраняющий запахи смолы, «не очищенный» от дыма и искр. При этом свете человек когда-то сделал первые шаги, испытал чувства, отделившие его от каменного мира природы. При нем же, неровном, колеблющемся, живом свете, многие герои Проскурина: лесорубы, партизаны, сплавщики, нередко решают самый главный вопрос: а остался ли человек в человеке, не убыл ли? Писатель признавался, что война заставила его серьезно задуматься: что же такое человек? Работа на Камчатке, жизнь в коллективах сплавщиков, ночные беседы у костров отчасти помогли ответить на этот вопрос... «...На пути встречались то и дело яркие, сильные характеры, люди с богатыми и сложными судьбами, легкие и певучие люди, словно бубенчики, или, наоборот,— все в себе, многослойные, загородившиеся от жизни намертво, и проходил не один день и не два, чтобы человек приоткрылся»,— писал П. Проскурин в «Страницах автобиографии».

Первые рассказы, повести Петра Проскурина поражают «нерасщепленной» сложностью, богатством авторской позиции: тут и

удивление перед живописной яркостью характеров, лиц, всплесков житейских волн, и одновременно раздумье над увиденным. Наблюдение и постановка проблемы сливаются воедино. Иногда мысль уходит в детали, а иногда словно «стряхивает» их, звучит открыто.

«Ведь не напрасно же волнующим мягким светом луны залита река... ведь не напрасно только в такую ночь можно почувствовать, как стремительным кораблем мчится по океану вселенной Земля» («Над Амуром»).

«Это звучала песня реки, спокойная, властная и стремительная. Завздыхал, зашевелился, как и подобает великану, близкий океан, и земля стала вторить ему раскатисто и гулко» («На изгибе»).

Созерцание и сопереживание, смена лирических настроений, стремление не столько описать, сколько **озвучить** мир характерны для раннего этапа творчества Проскурина. Сами сюжеты рассказов не разрабатываются, не углубляются, а скорее подсвечиваются авторским восхищением, радостным приятием жизни.

Но уже в первом рассказе — «Цена хлеба» именно у таежного костра в бригаде лесорубов произошел спор между беспечным рыжеватым парнем Ванькой Громовым и пожилым фронтовиком мотористом Меркуловым. Громов бросал в костер, играючи, кусочки хлеба.

«— Что хлебом соришь? Навоз это тебе, что ли?

— Велика ценность — хлеба кусок,— не поворачивая головы, бездумно отозвался Громов.— Хлеба у нас навалом — хоть Игрень пруди.

Есть в жизни неповторимые мгновения. Будто бы ничего особенного не произошло, однако все, имеющие отношение к таким моментам, чувствуют — произошло, очень важное, почти неподвластное словам. Такие моменты придают жизни остроту. Человек как бы освещается и предстает совершенно иным, чем до этого казался».

В дальнейшем Меркулов, или Петрович, как зовут этого молчаливого таежника лесорубы, рассказывает Громову и всем остальным, утратившим, в общем-то, глубокое представление о цене хлеба, эпизод из фронтовых времен: такой же вот, бездумно бросаемый ныне кусок хлеба был когда-то оплачен в благородном порыве жизнью. А это и есть истинная цена хлеба...

Война определила во многом и драматизм конфликтов в прозе П. Проскурина. Послевоенное среднерусское село и город в «Горьких травах», затяжная борьба в душе фронтовика-художника, не решающегося вновь взяться за кисть в «Камне сердолике»,— мы всегда видим, как богата днями смятения для самого писателя жизнь.

Война ушла давно, но она оставила Петру Проскурину как неразменное наследие в памяти и грохот взрывов вокруг «осажденных» партизанских лесов, и пожары вполнеба, и рокот голосов. «Шумел сурово брянский лес»... Он шумит и поныне. И не только в сознании Савичева. Стоит чуточку пристальнее всмотреться, вслушаться в душевный мир отставного полковника Николая Никонова («Вечерняя заря»), живущего в лесу у безымянной могилы, в простое сердце Леньки Лукашова («В дождь»), который ломает устоявшийся быт во имя какого-то простора, куда «запросилась душа»,

наконец, в раздумья старого искусствоведа Юреньева («Шестая ночь»), чтобы осознать особенность поведения проскуринского героя. Грозы и бури — не фон их жизни, они — в их душах. Когда-то Р. Роллан сказал о героях, сердца которых словно аккумулируют искры великих народных свершений: «Молния ударяет, когда и куда хочет. Но ее с особенной силой притягивают вершины. Есть местности, есть души, где сшибаются грозы: здесь они возникают, сюда их влечет как магнитом». И герои Проскурина именно таковы, они испытывают все удары молний, носящихся в небе народной истории, судьбы, но они же и спорят с бурями, побеждают все, что мешает народу в его пути.

«Корни обнажаются в бурю»,— обобщенно, в названии романа сказал сам писатель о значении и смысле остродраматичных событий, душевных состояний героев. И великой, героической может быть лишь та личность, что не таилась во время схваток в обочине или «попідтинню», а сражалась, принимая удары, побеждая суровые обстоятельства. Надежно и высоко пламя, не погашенное шквалами ветра, непоколебим и вечен тот утес, что высится прочно, хотя утеса молния вошла по рукоять «в грудь» (С. Смирнов).

Современность не избавлена от таких битв, от споров высокого напряжения,— надо лишь уметь видеть их, слышать бурление сил, гул множества голосов, улавливать драматизм невысказанных раздумий. Ведь герой, современник,— а ему посвящены произведения Проскурина, собранные в данном сборнике,— является в мир не статичный, не идиллический, «для веселия планета мало оборудована» по-прежнему. И жизнь в ее обновлении, сдвигах, победах обнажает новые грани, новые стороны борьбы за человека будущего, за красоту времен грядущих.

Направление своего философско-социального поиска сам писатель обозначал (условно, конечно) в разные времена по-разному. «В сорок седьмом (году.— **В. Ч.**) была засуха и бесхлебье, тогда однажды и навсегда была осознана истинная ценность куска хлеба, и потом через этот кусок просматривалась долго **вся** жизнь»,— писал он, объясняя главную мысль романа «Горькие травы». Затем его внимание приковала тема войны, этого «далеко не изжитого извечного зла человечества и любого прогресса»,— отчасти он решил ее в романе «Исход». Каково же самое обобщенное обозначение пафоса, внутренней темы последних новых произведений писателя, посвященных нашей современности?

Лучшие герои новых произведений Петра Проскурина органически не приемлют особого вида тунеядства — по-своему «активного», деятельного, нередко похожего даже на подвижничество. Лентяй, захребетник сейчас нередко предстает «горящим» на работе, он научился многое имитировать. Один из молодых героев повести «Шестая ночь», инженер Кондратьев, объясняет с редкой открытостью, как возникает этот контраст между внешней деловитостью и внутренним тунеядством: «Нет бы на заводе у отца остаться, рабочая династия Кондратьевых,— звучит? В нас воспитали презрение к станку, к плугу и к земле, нам всем твердят о высотах, о подвигах, в нас еще с пеленок начинают подогревать честолюбие...— и вот результат налицо: воинствующая серость, клерки с нимбом вокруг головы. А... никаких особых идей, нечем себя оправдать не только в общегосударственных масштабах, а

так, и для себя нечем... Вот дилемма! Сидит, переписывает бумаги, жрет чужой, по существу, хлеб, а в мазут, к железу он не пойдет, он институт окончил, он инженер, ему надо за звезду зацепиться, не иначе. А у нас директор в отчаянии, пятисот рабочих не хватает... Он бы и меня и другого мне подобного с удовольствием к станку поставил, да ведь не пойдем, мы за свое крепко держимся, можем и диссертацию из пальца высосать...»

Писатель давно угадал возможность возникновения — при ускоренном историческом движении — конфликта, спора между героями, живущими с полной самоотдачей во имя Родины, и героями, усваивающими лишь внешние приметы эпохи, цвет времени. Даже развивая бешеную энергию по созданию, «высасыванию» диссертации, воинствующие мещане все время живут по отношению к народу как бы «в аванс», в долг, безвозвратный к тому же. Все их «дела», «успехи», «торжества» шумны, эффектны, но... как бы не обязательны для времени, для эпохи, как сказал М. В. Исаковский о некоторых поэтах.

Художнические симпатии Петра Проскурина неизменно отданы героям, чья жизнь, дела и помыслы абсолютно обязательны, необходимы для народа, для эпохи ленинизма, необходимы, как солнце, как двигатель духовной и нравственной жизни, прогресса. Они не терпят ничего приблизительно-полезного, условно или формально необходимого, жадно доискиваясь дела, рубежа, где проходит передовая, где личное смыкается с общим. Подлинно велик тот, чья жизнь в наибольшей степени совпадает с высшими целями народа, чей труд становится частицей творческой созидательной истории. И потому Савичев, герой романа «Камень сердолик», не может рисовать вообще, рисовать ради заработка. Когда он осознает, что его замыслы вызреют в нем, «поднимутся» столь естественно и необратимо, как молодые леса, весенняя трава, станут необходимой частью народной жизни, тогда он возьмется за кисть... Бескомпромиссность, чуждая нравственной «эластичности» всякого рода приспособленцев, угловатая прямота и чуткость к подлинному, не формальному успеху делает пути таких героев особенно сложными, нередко тягостными даже для близких. Главное для них — не «вписаться» в суетливую толпу «энергичных» тунеядцев, а врасти в историю народа, стать обязательно-необходимыми именно в этой истории.

Народ — рабочий класс, крестьянство, подлинно трудовая интеллигенция — велик и идеален прежде всего потому, что он, народ, всегда, на любом историческом этапе, делает то, что абсолютно необходимо: строит, сражается, растит хлеб, передает из поколения в поколение эстафету героических традиций. И никакие снисходительные или иронические оценки не могут смутить народной души, изменить линию поведения, силу воли народа. Потому так часто в романах Проскурина и возникают массовые сцены, в которых именно народное суждение выступает как мера необходимости, обязательности тех или иных дел личности.

В романе «Исход» есть сцена, которая как бы «снять заставляет заново» величественные слова «партия» и «Родина». Великие идеи словно приближаются к людям, утрачивая ореол абстрагированной сложности, народ, живущий этой идеей, ощущается как действительный мастер исторического процесса. Сцена эта — беседа комиссара Михаила Глушова после внезапного разгрома от-

ряда с пришедшими в отряд новыми бойцами — плотниками, крестьянами, которых привел сюда не приказ, не чужая воля, а нечто более глубинное и властное.

Беседуя с ними, узнавая о житейской нескладице, сумбурности судеб каждого из этих скитальцев и бродяг, опаленных ужасами плена, бедствий в тылу врага, Глушов вдруг, как хирург во время операции, ощущает под своей рукой бьющееся сердце народа, правду его жизни и борьбы, цель самого народного бытия. И в нем рождается совсем не риторическое желание раствориться в этой **правде** без остатка, всецело слить свои помыслы и заботы с ней, не боясь утратить индивидуальность,— ведь именно тогда эта индивидуальность наконец-то и выразится самым ясным образом.

«Такого, как сейчас, Глушов давно не помнил, может со своих комсомольских лет, он поддался общему тону слитности, и под сердцем щемило, и хотелось говорить необычные, полные высокого смысла слова, и от любви ко всем этим людям, с трудной своей жизнью, от острой боли за них, честно и бережно хранивших святая святых совести народа в неведомых, запрятанных глубоко и оттого подчас незаметных тайниках — его способность идти только своим национальным и государственным путем. Как будто забилось глубинное мощное сердце всего народа в десятке самых обыкновенных плотников и весовщиков, сошедшихся под низкие своды землянки со всех концов России. Глушов почувствовал вдруг свою малость перед этой глубинно-цементирующей силой и желание раствориться в этой безграничной бессмертной силе, отдать ей всего себя сейчас, немедленно, без остатка».

И эта сцена, и жизненная линия героини «Исхода» крестьянки Павлы Лопуховой, в сознании которой последний крик сынишки Васятки из горящей избы звучит сильнее любых доводов, иронии, недоверия,— все раскрывает ведущую идею творчества Петра Проскурина, идею долга перед советской Родиной, перед родной землей, ответственности за все высшие духовные и гуманистические ценности.

Писателя не смущает то обстоятельство, что иногда эти великие, социально совершенно определенные цели, деревенский люд или лесорубы-таежники выражают с грубоватой прямотой, которая иному индивидуалисту может показаться даже примитивной. С каким великодушием говорят в романе «Горькие травы» крестьянки, пашущие огород на себе в первый год после освобождения, районному работнику, смущенному своим временным, пусть и недолгим, бессилием помочь им:

«— И чего ты, секлетарь, волнуешься? Брось. И мы не виноваты, и твоей вины тут нету. Немец проклятый довел, чего тут стыдного?

— Поймите вы, товарищи, разве я...

— Брось, брось, секлетарь, не до переживаний сейчас. У нас одно понятие: детей сохранить. Детям жить нужно. А пошто тогда мужья головы сложили? Пошто все кровью облито, если дети перемрут? Пусть над нами где угодно зубы скалят, пусть хоть что говорят. Мы детей должны сохранить».

Столь же впечатляющи и картины прорыва отряда партизан из «осажденного» фашистами леса в «Исходе»,— все детали оста-

ются в памяти: и сосны, поваленные на колонну немцев, и взгляд партизана Скворцова, убедившего коварного врага Зольднига идти в эту ловушку, и стремительные диалоги Павлы Лопуховой и командира отряда Трофимова... Даже несозданные картины, «полотна-видения» Савичева изумительны пластичностью, характерностью фигур и композиций...

Такие повороты, «участки» народной истории Петр Проскурин любит столь же сильно, как и исконный, самый древний огонь, огонь костра. Как и внезапно охватывающее героя рассказа «Вечерняя заря» состояние единства с тишиной, с зорями — «беззвучную, мягкую их просинь можно было сравнить только с той грустью, что больше всего заставляет чувствовать оскомину жизни»... Эти моменты с особой очевидностью убеждают героев в истинности главного, подлинного в жизни. Павел Васильев когда-то сказал об этом счастливом узнавании:

«Блестит венцом
Пот на челе творца.
Не доблести ль отличье эти росы?
Мир поднялся не щелканьем скворца,
А славною рукой каменотеса!»

Внутри этого могучего, неистощимого жизненного потока разрешаются и нравственные конфликты героев Проскурина: Павлы Лопуховой и Трофимова, командира партизанского отряда, в «Исходе», Юлии Борисовой и Дмитрия Полякова в «Горьких травах», наконец, Антона Савичева и Инны в романе «Камень сердолик».

Дмитрий Поляков, бывший подпольщик, узнавший всю жестокость фашизма, в «Горьких травах» — это герой, который в наибольшей мере, пожалуй, помогает понять сложность нравственных исканий Савичева. Поляков на себе испытал все зловещие приемы фашистского «перевоспитания» человека до уровня безликого раба, он постепенно обретает память, вырывает из мрака забвения все сокровища народного бытия, возвращает и мечты и идеалы, которыми он раньше жил. В конце романа, став председателем колхоза, он с удивлением и радостью осознает, глядя на трактор с сеялкой, на бегущие в землю желтоватые струйки зерна, что жизнь его, при всей незавершенности, беспорядке, сложилась счастливо, даже талантливо. И впредь он будет идти тем путем, каким зерно превращается в колос: «А в землю, разрезаемую дисками, весело бежало и бежало тяжелое желтое зерно, чтобы пролежать свой срок и потом взойти зеленым ростком под дождь и ветер, под солнце, в просторное небо». Такой путь, «путь зерна», такие всходы — единственно надежные, незыблемые.

Юлия Борисова, любившая Дмитрия, долгое время шла иным путем, жила в состоянии «самоослепления», не замечала, что идей-то особых она, торопившая невпопад «рост зерна», увлекавшаяся, по сути дела, прожектерством, не имела, не вносила в жизнь.

...Марфа Лобова, рядовая крестьянка из «Зеленых Полян», придя в кабинет к Юлии, прекрасно поняла беду Юлии — нет у нее судьбы, «доли», как говорили раньше, реальной, а не призрачной связи с землей, народом. Поняла и пожалела ее. «Главнее этой утомленной, нездоровой на вид женщины в городе никого нет. Под глазами-то сине, а в самих глазах ничего не увидишь — черным-

черно... По виду и ухожена, и пахучая вся, вся как из мрамору обточена, а ты ей, Марфе, отруби голову, если под этим блеском да лоском не таится беда похуже, чем у нее самой. Бабьим нутром, все видящим и замечающим, женщина в платке на плечах пожалела женщину с искусанной папиросой, и та тоже это поняла, почувствовала и удивилась...»

Жалость Марфы — свидетельство бесконечной щедрости народного сердца, народной души ко всем, кто не способен вырваться из кокона отвлеченных, суетливых стремлений, формальных радостей, призрачных дел. В конце романа Юлия, сравнивая свои итоги с итогами жизни Полякова, секретаря обкома Дербачева, знавшего и горести, и обиды, и поражения, осознает, что жизнь народная обогнала ее неестественные представления о подвиге, обогнала в своем будничном, естественном течении, в созидательном труде таких, как Марфа, Лобов. И Юлия осознает свой просчет, свою близорукость в управлении громадой жизненного процесса. Юлия понимает сейчас, что она, отдавая все силы общему делу, не жалея себя, забегая вперед, делала все эти годы **ничтожно мало.** «Она чего-то не смогла понять, чего-то самого главного. А может, понять было невозможно? Ну, а Поляков, а Дербачев? Значит, дело в ней самой? Что в сущности произошло? Пусть она больше не сможет приказать зажечь хотя бы вот эти огни, но они зажгутся, все равно зажгутся, и она увидит их, увидит их тоже...

Юлия Сергеевна жадно глотала свежий прохладный воздух. Небо над головой было черным, чистым и очень глубоким. Оно властно вбирало ее в себя, она потянулась всем телом навстречу этому черному, чистому небу, **и вдруг почувствовала землю, на которой стояла.** Минутой назад она ее не чувствовала, земля уже скользила под ногами и должна была вот-вот рвануться из-под них...»

В романе «Горькие травы» художник утверждает как высшую ценность эпохи историческое творчество народа, его способность возродить и город, и деревню из пепла, сберечь детей, восстановить города, заводы, создать реально, а не в мечтах свое будущее. Жизнь как деяние, жизнь как непрерывные, естественные творческие усилия массы людей прекраснее любых умозрительных, надысторических «моделей», которые по-школьнически, наивно предлагала героиня. И нравственное ее возрождение на краю гибели началось с осознания глубины коллективного разума народа и партии, с осознания цены хлеба, земли, Родины.

* * *

Роман «Камень сердолик» — естественное продолжение и развитие внутренней темы «Исхода» и «Горьких трав», темы осознания Родины, раскрытие ее роли для формирования нового человека, для творческого возрождения художника. Это роман о том, с чего начинается подлинное творчество. И неизменный конфликт проскуринской прозы, конфликт между обязательным, необходимым для времени и народа и тем, что существует формально, хотя и шумит о себе, конфликт между творцами и имитирующими творчество дельцами звучит в романе о судьбе художника Савичева с особой жизнеутверждающей силой.

Наследовать — это значит для советского патриота приумно-

жать мощь большого отчего дома, развивать и в себе государственный разум, защищать народное достояние от всех врагов, сохранять чувство высоты, сформированное подвигами и трудом народа.

Для героя «Камня сердолика» Россия и народ не просто тема, не просто некий мир красок, композиций, сюжетов. Прежде чем взяться за кисть, ему, узнавшему на фронте, как безмерно низко может пасть человечество в облике фашизма, надо многое продумать, вернуть себе. В «Горьких травах» Дмитрий Поляков, вспоминая свою жизнь, фашистскую экспериментальную клинику и садиста-врача Шранка, «одного самого простого, не мог осмыслить: что и как было сделано, чтобы человек превратился в доктора фон Шранка?».

Антону Савичеву, прежде чем вернуться к занятиям живописью, внутренне необходимо выяснить истоки такого же одичания, помрачения духа, «эпидемического» заболевания, овладевающего временами такой цивилизованной страной, как Германия. Что это — закономерность, случайность? Где же гнездится вирус этой зловещей болезни, где сила, способная остановить подобную эпидемию? Ему не до красок, не до линейной перспективы и эффектов освещения... И когда тетя Савичева, искусствовед Татьяна Дмитриевна, советует ему не терять времени, браться за кисть — от таланта, призвания, мол, не уйдешь, как от судьбы,— он искренне возмущен этим непониманием.

«...Тяжким будет тебе путь. Все равно, Антон, придешь к этому.— Она показала на лист бумаги.— Это я твердо знаю. Ни женщины, ни водка, никто и ничто не отлучит тебя от этого. Придешь, придешь!»

Савичев согласен с этим, он радуется вере в него, но ему еще надо обрести уверенность, что искусство будет столь же необходимо людям, как хлеб, как мать ребенку, как любовь, как человечеству ратный подвиг Советской Армии: «...Искусство обанкротилось, его растоптали. Не хочу перепахивать миллионы раз заплеванное, загаженное поле. Остановили мы очередную мерзкую бойню? Нет! Что искусство может! Ни-че-го! И ты, тетя, прекрасно знаешь! И все знают и только делают вид, что от них что-то зависит».

Иногда художники или поэты берутся за кисть или перо, не обретя судьбы, не открыв для себя многих истин народной жизни! Герой Проскурина не может рисовать, не научившись жить масштабами народной истории, не обретя духовной высоты. В первых главах романа он еще растерян, он ощущает ненужность своего дела, душевную усталость, потерянность. Его школьный друг, безногий инвалид Ромка,— это второе «я», отражение Савичева на данном этапе — надломленный, довольствующийся малым: он стал чистильщиком обуви, привык приторговывать. Это символ жизни остановившейся, вскипающей в пустых порывах, отчаянии; у него нет ног, ему даже физически трудно идти куда-то вперед... Пустоты, провалы — в окружении, в памяти — заставляют Ромку прижиматься теснее к тому малому, что предоставляет ему жизнь, дорожить своим маленьким дельцем, интимным уголком. Страшна сцена пляски Ромки на вечеринке, когда этот герой пробует жить, веселиться в полную силу, шлепать протезом, «делая какие-то рваные, судорожные, уродливые движения, то раскачиваясь из сто-

роны в сторону и едва удерживая равновесие, то наклоняя голову и изгибаясь всем туловищем».

Савичев, полурастерянный, узнавший, что его любимая Инна Голышева вышла замуж за некоего профессора, видит себя, свои тревожные ощущения в этом смятенном танце: «Савичев глядел на него остановившимися глазами: он вдруг уловил ритмику этих безобразных, судорожных, странно захватывающих движений, почти конвульсий, у него перехватило горло, еще минута, и он сорвется, задергается сам...»

Как убедить героя, что искусство — это не красивая декорация жизни, не выдумка, не блаженный островок, который то и дело захлестывают волны потопа, а великое средство борьбы за счастье и бессмертие родного народа?

Появление Инны Голышевой, ее борьба за художника в Савичеве — это одна из центральных линий романа. Героиня эта эмоционально сложнее, глубже, чем Юлия Борисова, и ее борьба за Савичева основывается на особой философии. Она способна ценить подлинное, цельное в человеке и в искусстве, отличать все это от подделок. В ее душе царит своеобразный «культ культуры», культ гения. Она уехала с Антоном из Москвы в Воропянск, создала ему и бытовые удобства, «добывает» для него художническую среду в виде семьи, вернее салона, преуспевающего областного художника Лагутинова. Инна убеждена, что само по себе очарование искусства, пример, успехи других вернут Антона к живописи. Она искренне, без остатка отдает себя своему идеалу, кумиру художника, творца, не замечая, что Антон, который сразу же по приезде в Воропянск пошел работать каменщиком на стройку, мало подходит к этому вымышленному идеалу художника... Она стремится оградить мужа от реальности, подтолкнуть на путь **самоограничения** во имя искусства. Вся эта стройка, рабочая бригада, как и заботы крестьянки Фроси, лишающейся коровы, все, что волнует Савичева, для Инны — потеря времени, утрата темпа, пустое хождение в народ. Она лишила Савичева как чересчур бытовой, заземленной радости, даже радости отцовства, простодушного счастья дойти до самых корней истины, любя, оберегая, защищая, духовно покоряя народившуюся, расцветающую жизнь. «Тебе самому надоест твое хождение в народ, нацепил вериги и потеешь»,— говорит она мужу. И трудно разобраться сразу, в чем она права и в чем ошибается... Инна же временами осознает, что ошибалась, отгородив Савичева от некоторых сторон жизни. Она вспоминает о ребенке и понимает, что иной раз наивность, незнание сильнее любого знания... «И с ребенком она была не права, жесткость, замкнутость Антона отступили бы перед маленьким, беспомощным существом, перед его незнанием, ребёнок могущественней своим незнанием» — эти порывы героини к полноте нравственной жизни в канун ее случайной гибели на шоссе психологически проницательно подмечены автором. Пламени нужен ветер...

Но подлинный драматизм этого поединка становится особенно понятен, когда в романе появляется Николай Лагутинов, когда и в сознание Инны, и в душу Савичева «вклинивается» его образ, его судьба, его мнения, когда начинается взаимодействие характеров, подобное игре отраженного и преломленного света, игре бликов на предметах. Герои начинают мыслить и чувствовать как

бы с оглядкой на чужую реплику, с предвосхищением чужого ответа. И во всем присутствует этот самый добрейший Николай Акимович Лагутинов, человек и близкий и далекий Савичеву. Савичев потому и любит Инну, дорожит ее искренней верой в себя, что ощущает на примере Лагутинова, что художник гибнет, если пробует соединить несоединимое, не сумеет вовремя самоограничиться, сосредоточиться на главном, будет стремиться «успевать» везде.

Лагутинов, как и Ромка,— это прообраз измены себе, это то, чем мог бы стать и Савичев, с той только разницей, что в представлении Инны до Ромки, до забулдыжного «чистосердечия» он бы, так сказать, «опустился», а до Лагутинова, до его положения он бы «поднялся». Но и «падение» и «подъем» в данном случае — и трудно не порадоваться психологической зоркости писателя — означали бы для Савичева одно и то же: подмену себя, отказ от своего высокого призвания!

Лагутинов — сложный характер, в какой-то мере и достойный своей участи «полутворца-полузаседальщика», и в то же время искренне страдающий от этой, видимо, вечной «неполноты». Он хорошо начинал как художник, он и сейчас способен понять, может быть, глубже других сложный путь настоящего творца. Лагутинов, даже осознавая, что Савичев оттеняет его измельчание, его всеядную «широту», способен все же поддержать его, требовать к нему особого отношения («посредственность не может выполнить работу гения, соберись она хоть в несметном числе»). И в то же время не кто иной, как Лагутинов, ласково, мягко выпроваживает Савичева в Москву, предчувствуя, что его полуобывательский покой будет подточен.

Как родился этот причудливый, сложный прежде всего обилием чужеродных, взаимоисключающих «осколков», «половинок», собранных в одной душе, характер? И широта души, и какое-то равнение на золотую середину, и попытки, все более слабеющие, «взять высоту» в творчестве, и спасающее от бунта смирение — «выше головы не прыгнешь», и отвращение к заседательской суете, и невольное удовлетворение... Не кто иной, как Лагутинов, способен и «тряхнуть стариной», молодецки скрутить быка на лесной поляне, и порадоваться мощному расцвету таланта... И в то же время — это уже «стреноженный гром». Лагутинов усвоил из множества веяний времени одно: жажду шума, активности, замеченности, праздничной величавости... Но разве это тот «ветер», что способен раздуть пламя таланта? Он уже органически не может жить без этого, хотя творческих сил, усердия, таланта, чтобы держаться на этой высоте, у него уже нет, как нет сил признать этот каскад «полудел», «полууспехов», парадность пустой суетой... Гореть на кострах непризнания, годами трудиться в безвестности, быть самоуглубленным чудаком, который до той поры, пока не коснется его «божественный глагол», действительно, «средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» (Пушкин),— нет, этого уже не допустит ни жена Лагутинова, ни он сам.

Разница между двумя этими типами художников, которую до конца не распознала Инна, в том, что Лагутинов может жить и работать со смутным сознанием **относительной** полезности своего труда, а Савичеву нужна **абсолютная**, как во всем, что делает

народ, уверенность: «Он вспомнил влажную тяжесть песка, сладковатый запах цемента, как он славно прессуется на лопате, обдирающие кожу ладоней кирпичи, выворачивающиеся из рук бревна — вещественный мир, понятно, откуда он и для чего. Все просто, необходимо, не вызывает горечи и недоумения».

Осознание Родины — это поиск путей единства творческой мысли и труда народа. Савичев хочет в каждый миг знать, что его картины — это не досужие абстракции, а в цвете, в линиях рождающаяся жизнь. Творчество — это рождение новой жизни, а не выбалтывание каких-то словесных конструкций, это, как сказал И. Франко, «огонь в одежде слова», в одежде красок или музыкальных интонаций.

В последнем разговоре между Савичевым и Лагутиновым, предшествующем их разъезду (а резче говоря, разрыву), Савичев говорит о том, что их разделяет: «Совесть человеческая — наш материал... Нужно, чтобы человек входил в картину, как в самого себя, как в свой мир, тот, что враждует, грохочет, страдает, ищет, борется, наконец!»

Лучшие страницы романа посвящены как раз процессу осознания Родины, народа, незримо шедшему в Савичеве долгие годы, под спудом внешней молчаливости, однообразного труда на стройке. Он не избрал прагматический во многом путь Инны, путь ухода от народной судьбы, но он же отверг и путь Лагутинова, среди многообразных «связей» которого самыми слабыми, полузабытыми, как оказалось, были связи с простыми людьми города и деревни. Не на такой уж «быстрой» быстрине был этот человек при всем обилии энергичных деяний, решений!

Уже первые эпизоды восстановления Воропайска после фашистского нашествия, картины, напоминающие тот первый костер, что загорелся в 1943 году на деревенских пепелищах, передают всю гордость героя мужеством, неистребимым жизнелюбием народа. Восстановить город — еще раз морально победить фашизм! «Энтузиазм был полный, поднимали и заново отстраивали главную часть города и основные его коммуникации: почту, телеграф, дом Советов, гостиницу. Какое-то злое веселье владело людьми: а, вы думали нас смять, сровнять с землей? Так нате же вам!.. Савичев жадно всматривался в лица, это было похоже на фронт, когда все охвачены единственным порывом: выстоять. Вот он, неистребимый народный дух,— выжить во что бы то ни стало. И сколько раз Русь поднималась с головни, с одиноко торчащей обгорелой трубы».

В романе возникают как бы два встречных течения. Инна оттачивает, «изощряет» свои средства по изолированию Савичева, она носит ему альбомы, пробует создать специфически-художественный, тепличный «микроклимат». Савичев же расширяет свои связи с жизнью, углубляется в поток народных дел, тревог, радостей. И последнее «хождение в народ» — на родину отца — стало переломным: «Прорвался какой-то искусственно огражденный вал, и жизнь хлынула со всех сторон...» Прекрасны в романе все видения художника, образы будущих картин: Фрося и Нюрча, картина «Тишина», портрет Инны, многое сказавший самой героине, подтвердивший ее поражение в борьбе за талант Савичева, за «камень сердолик», секрет вечной молодости.

Леонид Леонов сказал в свое время о природе патриотизма настоящего художника: «Мы любим отчизну, мы сами физически сотканы из частиц ее неба, полей и рек... Талант есть сокровище, окупленное историческим опытом и мукой предшествующих поколений; он выдается под моральную расписку... и родина вправе требовать возврата с законным процентом» («Рассуждение о великанах»). Попав на родину отца, в село, где в самой тишине словно звучат давние голоса и взрывы, Савичев осознал весомость этой моральной расписки.

«Да, вот оно, сказал он себе, с трудом проталкивая воздух пересохшим горлом, вот оно когда пришло, начало, вот где объявлен поединок, вот она, моя война, моя Россия, вот сейчас я во всю силу почувствовал ее твердь, и ее дух, и ее страдание.

И вот он, Савичев, посреди безлюдья и солнца всего лишь незначительная частица, осколок этой земли по имени Россия, и у него мучительно горит сердце, и кажется ему, что оно, его сердце, огромно и вместило сейчас все, и от этого нестерпимо трудно дышать. А что, говорит он себе, чего же здесь не понять? Ее топтали, рвали в клочья, а она стоит, эта русская земля; ее жгли и уничтожали, а она стоит; ее мощь, ее дух пытались подорвать исподволь, без крови и грохота, втираясь в нее по-хамелеонски тихо и незаметно, а она стоит; ее заливали кровью из края в край, и она стоит и строит, строит, строит, и есть в этом неистовстве начало подлинного бессмертия...»

* * *

Постоянство интересов писателя, устойчивое внимание к той или иной стороне жизни нередко определяет циклический характер его произведений, возвращение к «старым темам». Это вполне естественно. «Семена» давних впечатлений, юношеских или отроческих лет, «всходят» в разное время, сами эти «всходы» перемежаются и с более поздними впечатлениями, с фактами небиографического плана.

Читатель давно заметил, что время от времени Петр Проскурин возвращается и к далекому, казалось бы, за дымкой лет утратившему свежесть «камчатскому» материалу. Возвращается к молодым героям. Но по сравнению с ранними рассказами о лесорубах и сплавщиках, где природа порой подавляла героев, и в повести «Тихий-тихий звон» (1966), и в повести «Тайга» (1971) мы видим резкое углубление социальных мотивов. Своеобразный, почти экзотический мир природы, таежного быта, жар костра, колоритные характеры искателей «фарта», удачи по-прежнему влекут писателя. Но, как показала замечательная повесть «Тихий-тихий звон», объясняющая во многом истоки конфликта в «Тайге», молодые герои Проскурина более настойчиво и глубоко решают и социально-нравственные проблемы.

Сергей Тюрин, герой повести «Тихий-тихий звон», работает в артели сплавщиков, рядом со старым фронтовиком Самородовым, с Козиным, человеком с неудовлетворенным честолюбием, с «нимбом» вокруг головы, рядом с сиротой Венькой Чижиковым, поддерживающим на свои заработки младших сестер и братьев. Само пребывание в рабочей среде Тюрин вначале эгоистически рассматривает как некое **временное, переходное состояние** на пути к бо-

лее «полноценному», «настоящему» существованию, которое для него якобы начнется после окончания сплавного сезона и щедрого расчета. Домик, невеста, возможно, учеба — из зыбких, неопределенных картин, сформированных отчасти наставлениями матери, старшины в армии и других людей, складывается это «прекрасное далеко». И все для Тюрина здесь, на сплаве, как бы не настоящее, он ко всему еще — даже к веселью — невольно подделывается: «Я делаю все точно, как Самородов, готовлюсь и жалею свой желудок, отчаянно жалею свои внутренности, но не решаюсь высказать это вслух, опять назовут слюнтяем и индивидуалистом».

Как тонко иронизирует П. Проскурин над чисто эмпирическим толкованием понятия «народ»! Тюрин неуклюже подделывается к чему-то примитивному, простенькому, грубоватому, ему кажется, что войти «в народ» легко — стоит только начать пить, сквернословить, говорить о бабах, «рычать» на сплавское начальство и т. п.

Тюрин боится утратить «личность», самобытность, он, не утвердив себя мужеством, духовной силой, трудовым опытом, как Самородов, «утверждает» себя в народе подделкой, притворством: то рьяно подражает внешней грубоватости людей, то вдруг наивно «самоутверждает» себя, уклоняясь от побочных заработков — сверхурочной работы по снятию с мели баржи.

И в этом своем неопределенном состоянии Тюрин становится объектом злой иронии Козина. Козин, человек, промотавший жизнь, мстит людям за свои неудачи, он порой упивается своим «тиранством» над здоровяком Васькой Мостовцом, он словно изливает на Тюрина свою желчную неудовлетворенность, подправленную изрядной долей демагогии.

Козин пробует отделить Тюрина от Самородова. Уловив элементы индивидуализма в парне, он провоцирует его, то льстя Самородову («Такие нас с тобою еще проглотят и не облизнутся. Они за благородные порывы, как мы с тобой... горбить не будут»), то с презрением бросает тому же Самородову и бригаде, как бы льстя Тюрину: «На таких, как ты, только и ехать... Вы не заслужили даже очищенный древесный спирт, скоты!»

Тюрин хоть и ненавидит Козина как демагога, циника, но морального противоборства с ним долго не выдерживает, философию Козина ему разбить трудно: он и сам собирается сбежать отсюда! И он то лезет в драку с Козиным, то вглядывается в Самородова, ловя себя на желании заслужить его похвалу. Приближение кризиса, перелома ощущается по всему, ведь нельзя долго жить в нейтральной нравственной зоне. И этот перелом случился в штормовую ночь, когда на реке среди залома отчасти по вине Козина погиб Венька Чижиков, его ровесник, товарищ по артели.

Смятение, охватившее сознание Тюрина, заставляет его не замечать ни иронии Козина, заставляет отказаться от детских иллюзий («Хорошо быть маленьким, когда стрижи в небе и рядом руки матери — руки, защищающие от всех невзгод мира, мягкие, теплые, всемогущие руки»). Эти миражи улетают, и только одна ассоциация живет, разрывая привычный эгоизм, в сознании — шрам на руке матери и ссадина на ладони мертвого Веньки Чижикова. Становление личности — это всегда цепочки реакций на добро и зло, мысль о себе и общем, поиски новых связей с миром.

В душе героя зазвучал «тихий-тихий звон», как звон из глубокого колодца. В нем поселилось ощущение подлинной народной жизни, где бы она ни протекала: в городе или на сплаве. Герой понял, что в этом спокойном, внешне однообразном и тяжком труде Самородова есть смысл, который именуется зарождением, развитием, приумножением жизни, творчеством. Тюрин видит нерестилище кеты, сокровенное место, где также зарождается жизнь, и впервые обнаруживает там не хаос и бессмысленность, а простой и сложный порядок, видит стихийное самопожертвование и исполнение долга. Нет, это не козинское понимание жизни: «сгорание, обмен — мы амебы».

«Что и как бы я ни подумал об этих рыбах, им наплевать, они выполнили свое, раз и навсегда им заказаны свои пути, и они никогда не свернут с них, сколько угодно можно иронизировать, ничто не изменится в этой не зависимой ни от кого жизни. Наконец я отрываю глаза от воды и как-то сразу понимаю, что никуда не уйду от этой реки с таким звучным названием Игрень, не смогу уйти» — этим наивным, но чистым нравственным обязательством, данным самому себе, начинает утро своей зрелости герой П. Проскурина.

Этот вывод, освещающий жизнь молодого героя,—словно искра от высокого костра. Именно теперь ему нет необходимости подделываться под окружающих, сосредоточиваться душевно на этой мимикрии. Он будет даже спорить с другими, входить в сложные отношения с людьми, созидая себя и свою судьбу, но это будет уже **жизнь**, а не скольжение по ней, это будет единство с народом.

В повести «Тайга» молодой рабочий Иван Рогачев, осознающий свою жизнь, труд, радости и заботы как полноценное, человечески значительное бытие, сталкивается в глухих таежных местах с бухгалтером Горяевым, самым крайним, резким проявлением духа индивидуализма, стремления узаконить, даже без особых заслуг, нимб вокруг своей головы... Он из той же породы людей, привыкших к относительной полезности своих дел для общества, для народа, формально живущих, «плодотворно» высасывающих диссертации из пальца. Известие об упавшем в тайгу самолете с большой суммой зарплаты для рабочих, всколыхнуло в нем хищника, «микронаполеончика»... И, набив рюкзак деньгами, он уже по-волчьи хищно озирается вокруг, готов всадить в Рогачева, идущего по его следу, заряд... Даже когда Рогачев, искренне удивляющийся этой незнакомой ему рваческой силе, бессовестности (Горяев даже не похоронил погибших летчиков!), спас затем этого новоявленного хищника из ледового плена, то и тогда не раскаяние, а активную проповедь своих «идеалов» слышит он:

«— Подожди, Рогачев, успокойся. Не псих, на учете не состою и ниоткуда не сбежал,— остановил его Горяев с возбуждением, у него все росло желание переломить сидящего рядом, пусть совершенно чужого и ненужного ему человека.— Ты послушай, это нам только внушили, что все вершины доступны, что жизнь как линейка... Как встал на дорожку — и на другом конце свои почетные похороны видишь с оркестром, речами и орденами на подушках. Собачья чушь это, Рогачев, в жизни не так...» А как?

Рогачев, предусмотрительно вынувший затвор из винтовки Го-

ряева, полупрезрительно бросающий его с похищенными деньгами, уходящий прочь, знает, «как» хотел бы, «как» уже пробовал «пробиться» вверх этот индивидуалист... Он знает конечный смысл этой индивидуалистической философии и потому оставляет его наедине с ней, со злобой на мир. Злоба Горяева на мир, на тишину и покой, на «косность» добродушного Рогачева так велика, что Горяева мучит «подавляющая мощь» этого каменного мира. Мучит его даже то, что Рогачев не стал ни отнимать, ни делить деньги, а оставил его с этим сокровищем равнодушно, с отвращением... Рогачев отвергает эту «модель» мира, где всяк за себя. Он выглядит продолжателем дел, духовным собратом других проскуринских героев — и Савичева, и Тюрина, и Дмитрия Полякова... Это равнодушие и обесценило «успех» Горяева. «Ты, может, повыше, чем в генералы, метишь, гляди, корень твой не выдержит, неглубоко торчит» — этот приговор Рогачева, приговор самой жизни сразу делает Горяева преступником, ставит его вне морали советских людей. И когда еще раз спасен был Горяев, когда в нем треснул этот культ избранников, культ индивидуалистического стяжательства, наступил перелом. Горяеву хочется «принимать теплую, дымящуюся пищу из рук этого человека», хочется изжить горячечную суетливую мечту о личном успехе.

В 1920 году В. И. Ленин говорил о революционном патриотизме рабочего класса России, о социалистической морали человека труда: «Патриотизм человека, который будет лучше три года голодать, чем отдаст Россию иностранцам, это — настоящий патриотизм, без которого мы три года не продержались бы» (Соч., т. 42, стр. 316). В патриотическом чувстве героев Петра Проскурина неизменно живет эта революционная преданность новой, советской Родине, новому строю, это патриотизм с четкой классовой позицией. Потому так и остры конфликты в романах, повестях, новеллах писателя, что лучшие его герои органически не выносят приблизительного, условного служения делу, Родине, легко распознают даже ловко скрытое тунеядство. И потому героиня повести «Шестая ночь» бывшая подпольщица, революционерка Екатерина Ивановна в финале ощущает себя в чем-то старше, богаче своего умного, одаренного друга старого искусствоведа Юреньева.

* * *

В своих произведениях Петр Проскурин создал множество характеров, в которых то ровно светится, то ярко вспыхивает, то еще разгорается множество характерных для нашего времени душевных порывов, идей, мечтаний человеческих. Весь свой талант, всю любовь писатель отдает людям, которые стремятся осветить пламенем своих душ жизненные пути своих современников, оставить потомкам огни на вершинах, приблизить коммунизм. Герои эти — в пути, как и сам писатель, и потому этот свет, эти мечты героев реальны, неотделимы от деяний, от подвигов, от быстрины народной жизни. В этом источник силы и глубины всех произведений Петра Проскурина.

В. Чалмаев.

ДЕНЬ СМЯТЕНИЯ

РАССКАЗ

Где-то, едва успев забыться, Костя Гаврилов проснулся от рвущего голову грохота и, вскочив на кровати, натягивая дрожащими руками брюки, видел, как комнату заливает багровый, мечущийся свет; но он тут же успокоился и, улыбаясь, опять лег. Можно было еще полежать минут пятнадцать, подумать о вечере, который багряно горел в окнах комнаты, а уж потом идти; сегодня должен быть один из самых счастливых вечеров его жизни, они с Таней уйдут к Днепру, и нужно еще полежать, успокоиться; да, что это сегодня случилось на работе, нахмурился он, припоминая, и тотчас заторопился, ему было стыдно матери, и он, стараясь одеваться совершенно бесшумно, осторожно, на цыпочках прошел в коридор, там надел туфли и выскользнул за дверь; мать ничего, кажется, не услышала, и он сразу же забыл о ней. Был теплый вечер, и было еще светло, и оттого, что все вокруг цвело, тревожно-счастливой была жизнь; и к нему пришла твердая уверенность, что именно сегодня случится что-то самое важное; он думал об этом с обнаженной определенностью и, беспричинно, глупо засмеявшись, почувствовал, что краснеет; кто-то оглянулся на него, и он прибавил шаг. Он был еще на полпути к месту, в котором условился встретиться с Таней, когда еще более сильное чувство желания, уверенность в необходимости, невозможности без того, о чем он сейчас думал, охватило его, но это было обычное возбуждение молодого, здорового мужчины от слишком от-

кровенных мыслей и ожидания. Он любил эту девушку по-настоящему, и она слишком долго водила его за нос, и он не только любил ее, но и мучительно, затаенно ревновал; он и шел к ней, уверенный в себе, но, едва увидев ее улыбающееся, слегка насмешливое лицо, терялся и путался в словах, а она, не догадываясь об его муках, весело и заразительно, так, что оборачивались посторонние, высмеивала его смущение и косноязычие. «Ах, Костя, Костя! — говорила она, откровенно, всем своим видом поддразнивая его.— Какой же ты смешной, ах, какой же ты смешной!»

Весной переносица у нее всегда была усеяна веснушками, в конце носа они уже начинали выцветать, и говорила она, часто повторяя одни и те же слова и мягко налегая на «а»; он любил ее, и, так как ему было уже двадцать четыре года и он успел отслужить в армии, он думал, что пора им пожениться и иметь здоровых, горластых детей; он верил в себя, в свои руки и голову, и хотел иметь ее женой, и хотел детей от нее, и поэтому он шел сейчас по вечернему, успокоенному городу с решительным и счастливым лицом; он любил и был уверен в себе. А между тем жизнь вокруг шла совершенно независимо от его мыслей и настроения, но он не знал этого и не думал об этом; был слеп и глух от своей заполненности и спешил, и сердце его мерно и молодо гнало кровь по жилам и ровно горячело в ожидании сильное тело; он сразу увидел ее на скамеечке в парке, как раз там, где было условлено, увидел ее лицо, и она мягко поднялась ему навстречу, и он чуть не задохнулся от усилия скрыть волнение; она была еще лучше, чем он думал, и он, взяв ее за руки, повыше локтей, долго не отпускал ее. Было еще совершенно светло, и от Днепра неуловимо тянуло прохладой; на них оглядывались, и Таня, тихонько освобождая свои руки и наполняясь его тревогой и его ожиданием и пытаясь бороться с этим неожиданным давлением чужой воли и чужого желания, отодвинулась от него со смутным чувством страха и неуверенности.

— Что это с тобой сегодня, Костя? — спросила она, хотя могла бы и не спрашивать, так как все заранее знала и понимала.

— Ничего, Таня,— сказал Гаврилов каким-то незнакомым, чужим, жестким голосом, и она поневоле еще долго в него вслушивалась, а потом заторопилась.

— Пойдем отсюда,— предложила она неуверенно, впервые, кажется, за два последних года забывая его уколоть невинной шуткой.— Здесь слишком шумно.

— А куда? — спросил он, словно удивляясь, что еще нужно куда-то идти, и чувствуя, как сильно сохнут у него губы.

— Ах, все равно,— отозвалась она растерянно и первой, не оглядываясь, направилась к отъединенной каштановой аллее; помедлив, Гаврилов догнал ее, взял за руку; теплый, влажный сумрак стоял в густой аллее, и лицо Тани было смутным и совершенно детским и, как показалось Гаврилову, очень беспомощным; он сильнее сжал ее руку и, хотя она не отозвалась, почувствовал именно в этот момент ее ответную взволнованность, и опять, от очевидности того, что должно было произойти между ними в эту ночь, Гаврилов не мог произнести ни слова и лишь взял ее за плечи и прижал к себе, ощущая ее теплое доверчивое тело совершенно по-иному, чем до сих пор, и совершенно пьянея от этого ощущения; они шли, никого не замечая вокруг, понимая друг друга без слов, охваченные одним лишь чувством необходимости последнего шага. «Нет, нет, не сейчас, не сейчас,— говорила себе Таня смятенно,— не сейчас и не так, это невозможно; зачем я согласилась прийти? — говорила она себе, пытаясь стряхнуть с себя странное оцепенение и ожесточиться.— Сейчас я остановлюсь и оторвусь от него, вот еще три шага и остановлюсь... три, четыре, пять»,— считала она и шла дальше, потому что сейчас в мире не было ничего, кроме его рук и той силы, что шла от него.

Ни Таня, ни Гаврилов не заметили, как кончилась аллея, и они шли какими-то густыми зарослями, по неровностям, по склонам, то спускаясь, то поднимаясь вверх, и скоро откуда-то снизу неясно, вразнобой блеснул Днепр и потянуло прохладой.

— Надо же, куда забрели,— сказала Таня, зябко прижимаясь к Гаврилову.— Костя, милый, не надо, пожалуйста, не надо, мне так хорошо сейчас. Пойдем, пойдем назад... Костя, Костя, ну что ты делаешь, я же не могу! Все равно по-твоему будет, только не сейчас, не сейчас... Костя!

У нее кружилась голова, и казалось, что они вместе скользят с кручи к Днепру, в его лунное, затягивающее мерцание, вниз, вниз, и она сильнее и сильнее прижима-

лась к Гаврилову: она уже не ощущала себя отдельно от него, и прикосновения его рук были мучительными и нежными, она все время старалась прийти в себя, освободиться и, когда ей это удалось наконец, с трудом, почти враждебно оттолкнула его; Гаврилов стоял перед ней точно пьяный, заметив ее взгляд, он снова сделал движение к ней.

— Нет, Костя, нет,— сказала она, удерживая его.— Если хочешь сохранить между нами дружбу, я тебя очень прошу... Я не могу так, подожди, Костя, прошу тебя, Костя.

— Да не бойся ты,— сказал он вполшепота с раздражением,— мы завтра зарегистрируемся... Таня, Таня... что это с тобой?

Она увидела перед собой, совсем близко его блестящие глаза: огромные, ждущие и нетерпеливые, увидела близко кожу и порез на щеке; все его лицо так близко от себя она никак не могла собрать в одно целое, но она и без того любила в нем все: и эти большие оттопыренные уши, и нос, и серые глаза, и теплое дыхание, и все его большое, крепкое и жадное на радость тело.

— Сегодня же перейдешь ко мне, Танюш, ш-ш! Ты ничего не говори, так надо,— сказал Гаврилов.— Пойдем завтра к твоим и все объясним, моя мать уже знает. Ни одной минуты без тебя жить не хочу больше и не буду.

— Представляю я папу в этот момент,— сказала Таня с тихой, дрожащей, смятенной улыбкой.— Нет, нет, только не сегодня, я его подготовлю, он ничего не подозревает. Мама-то знает, ты ей нравишься, она давно знает, но и она будет удивлена. Нет, не сегодня, не сейчас, Костя, надо дать им привыкнуть...

— Да к чему привыкнуть, к чему привыкнуть? — снова перебил Гаврилов с раздражением, не пытаясь сейчас скрыть его.— Ты прямо делаешь из этого что-то сверхъестественное.

— Не надо, Костя, молчи, ну, пожалуйста, молчи! — попросила она, закрывая ему рот прохладной ладошкой; он неохотно поцеловал ее и тут же спохватился.

— Не буду молчать, не хочу, не буду! — засмеялся он.— Я тебя люблю, я тебя люблю, слышишь, я тебя очень люблю, я тебя всегда буду любить!

— Почему ты в этом так уверен?

— Так всегда бывает, и мы с тобой не исключение. Мы лишь подтвердим это превосходное правило.

— Мне что-то холодно, знаешь, Костя, мне все время кажется, что на нас кто-то смотрит оттуда, из-за каштанов, смотрит и осуждает про себя.

Гаврилов поднял свой пиджак с земли, встряхнул его и набросил ей на плечи.

— А теперь?

— Теперь хорошо... Спасибо, Костя. Как же мы теперь домой доберемся? — испугалась она внезапно.— Теперь, наверное, уже поздно, час ночи или два...

— Да, второй час,— бездумно и бодро сказал Гаврилов, присматриваясь в полумраке к часам.— Хочешь, я с тобой пойду, раз ты боишься, вместе будем отвечать. Отец твой поймет, в свое время тоже чью-то дочку увел; сейчас лишь долг платит. Пойдем, все равно, когда-нибудь этому быть.

— Нет-нет, что ты! — испугалась Таня.— Явиться в дом во втором часу ночи... с таким. Тут сразу обо всем догадаются, я со стыда умру.

Гаврилов обнял ее за плечи, прижал к себе и на ходу сбоку неловко поцеловал; он не стал ничего говорить, лишь подумал, какая она хорошая и чистая и что он будет любить ее, и от внезапного желания прижался к ней, и Таня, тотчас почувствовав, отодвинулась.

— Пойдем, Костя,— торопливо сказала она,— я боюсь. Я тебе честно говорю, я тебя сегодня боюсь. Ты сегодня какой-то не такой. Ты еще никогда таким не был, не обижайся... ты мне такой как-то по-новому нравишься, и я тебя боюсь,— призналась она, уткнулась ему в плечо, смущенно и счастливо засмеялась и тотчас опять заспешила: — Пойдем, пойдем, Костя, да, господи, я же никуда все равно от тебя не денусь... пошли.

Они шли по тихому ночному городу в совершенном безлюдье; редко-редко навстречу кто-нибудь попадался; то какая-нибудь живая тень мелькнет, пробежит кошка или собака, и ночной запах цветов и земли стал резче; молчаливо таились в свежей влажности старые улицы города с его подземельями и святынями, с его памятниками и дворцами. Гаврилов с Таней брели из улицы в улицу, из переулка в переулок, не замечая времени; призрачно прекрасен был город в свои рассветные часы; они поднялись к Андреевской церкви, медленно, держась за руки, обошли ее со всех сторон, часто останавливаясь и целуясь.

В темноте слабо светился позолотой тяжелый литой крест, принесенный сюда когда-то на этот холм язычникам славянам христианством, встреченный проклятиями и слезами; здесь находилось их главное капище, капище Перуна — главного языческого славянского бога. Здесь кипели страсти и горячая кровь приносимых в жертву Перуну телец капала на землю. Люди молились, плакали, негодовали, надеялись и умирали, а кругом было все то же небо, все те же звезды и слабый ветер, несущий с Днепра прохладу и свежесть, но Гаврилову с Таней было безразлично, да, наверное, и не они это были — так призрачно светла была окружавшая их июньская ночь.

— Таня, ты ничего не слышишь? — прошептал Гаврилов со строгим резким лицом.

— Нет, ничего,— ответила она тоже шепотом.— А что такое, Костя, а?

— Слышишь, будто звоны плывут, слышишь, слышишь? Вот здесь, на этом месте начинается, и все дальше, дальше. Это города перекликаются, переговариваются из края в край по всей земле.

— Придумаешь,— прошептала Таня и указательным пальцем легко провела по его бровям.— Чудо ты мое, как мне заплакать сейчас хочется от счастья...

— Таня!

— Пойдем, пойдем, мне не по себе здесь, мы словно на виду у всего города.

Таня потянула его за собой, и они сбежали вниз, и опять ступени, улицы и переулки; у них не было усталости.

— Походим еще немного, а как рассветет, придем к тебе и все скажем.

— Ой, Костя, что ты говоришь! Есть же какие-то правила.

— Нет, Танюш, в этом никаких правил не бывает. У каждого по-своему получается. Вот и у нас по-своему. Я так рад, что мы нашли друг друга.

— Костя, ну какой ты бесчувственный, ну как я домой покажусь? Придумай что-нибудь.

— Я люблю тебя,— сказал Гаврилов.— Другого ничего придумать не могу. И ты меня любишь, вот и все наше оправдание.

— Ладно,—тряхнула головой Таня,— чему быть, того не миновать, приду и скажу: ну, что ж делать, папка, не

могу я без него. Ты к вечеру приходи, ладно? Серьезно, соберись и приходи, я тебя ждать буду... отец, он умный, а теперь иди, иди, не надо меня до самого дома провожать. Я уверена, что в доме никто не спит, увидят еще в окно или встречать выйдут.

— Семь бед — один ответ,— засмеялся Гаврилов счастливо, широко обнимая ее и прижимая к себе.— Пусть все видят, все знают, пусть весь мир завидует, ни с кем не поделюсь!

Тане тоже хотелось сказать что-то необычное, смелое, красивое, но слова не приходили, и потом Косте нужно было хоть немного поспать, у него завтра рабочий день.

— Ну иди, милый, до завтра, до завтра, я буду ждать.

Гаврилов молча стиснул в ответ ее плечи и отпустил; он смотрел, как она уходит, стараясь как можно дольше видеть ее невысокую гибкую фигурку; вот она на углу оглянулась, подняла руку, и хотя он издали, в полумраке не видел ее лица, он представил себе ее улыбку и еле удержал себя на месте; ему не хотелось спать, он чувствовал себя счастливым, ему хотелось ходить, петь, смеяться, разговаривать, поделиться хоть с кем-нибудь своим счастьем; он что-то тихонько засвистел, что-то глупое и бездумное; и вот в этот момент что-то случилось. Он давно уже издали слышал наплывающий гул, но не обращал на него внимания; ему казалось, что это передвигается куда-нибудь на новое место танковая часть или самолеты летят стороной, меняя аэродром; и вот теперь, в одну секунду пронзительный, сильный, визжащий гул наполнил все огромное пространство над городом, залил тихие улицы, отделился от земли и опять рухнул на нее; ошеломленный Гаврилов стоял посреди улицы, задрав голову и ничего не видя; тяжкий грохот прошел по земле неровными толчками, и Гаврилова рвануло куда-то в сторону; он увидел, как стоявший на углу трехэтажный дом, за которым только что скрылась Таня, взметнулся, приподнялся и просел посередине; ему показалось, что он услышал крик, близкий и страшно знакомый, но в следующую минуту его приподняло и ударило о мостовую, ударило как-то боком, плечом и головой, и, прежде чем почувствовать боль, он потерял сознание, а когда очнулся, время уже дало еще одну трещину, и, хотя непосредственно возле Гаврилова по-прежнему никого не было, город, подвергшийся первому бомбовому удару, суетливо двигался, пронзительно свистел

пожарными машинами, метался из улицы в улицу толпами растерзанных, полуодетых людей, захлестывался новыми и новыми взрывами.

Очнувшись с мучительной, нестерпимой болью в голове и в затылке, где-то ближе к шее, Гаврилов попытался встать, боль тотчас опрокинула его назад. Он забылся в мгновенном обмороке, и в следующую минуту ему показалось, что огонь бьет в глаза; это заря подымается, подумал Гаврилов, и холодный озноб потек у него по телу; в нем ожил крик, раздавшийся после первого взрыва, и он, мертвея, безошибочно понял, почувствовал, что это кричала она, Таня! Он рванулся с земли, и хотя небо опять поплыло перед ним вместе с деревьями и домами, он удержался на ногах и, переждав мгновение, бросился к перекрестку, спотыкаясь и перескакивая через какие-то обломки. «Ну, нет, нет,— говорил он себе, цепенея от ужаса,— этого нельзя, невозможно; этого нет, не может быть». Не замечая, он смахнул с лица пот; из разбитого дома, мимо которого он пробегал, слышались стоны; в несколько голосов кричали, звали на помощь, из низких окон выскакивали неодетые люди с искаженными лицами, выносили детей; Гаврилов по-прежнему не останавливался, приказав себе ничего не замечать; метрах в пятидесяти от углового дома он вдруг увидел двух или трех человек, старавшихся что-то поднять с земли, что-то длинное и белое; он уже знал, что это, и ватная, немыслимая тишина накрыла его.

— Стой, стой! — закричал он, не слыша собственного голоса, подбегая ближе, и сразу попятился: он увидел ее белое, покойное лицо, это лицо было далеко от всего в своей отрешенности, и потом он увидел яркую кровь на мостовой, много крови.

— Вы ее знаете, товарищ? — спросил его пожилой мужчина в парусиновом пиджаке прямо на голом волосатом теле.— Тут уж ничего не поделаешь — мгновенная смерть. Осколок рассек грудь, перерубил позвоночник. Нужно сообщить родным... Стой, куда же ты, браток?

Гаврилов не слышал ни слова из того, что ему говорили, и лишь мучительно смотрел на шевелящийся рот говорившего; кто-то громко говорил, что началась война, и немцы скоро прилетят бомбить еще,— Гаврилов и этого не слышал. Он видел только одно лицо Тани, которое всего час назад было живым, в нем играли, менялись живые краски,

и он не мог оторваться от него, мертвого, навсегда успокоенного; он притронулся к ее волосам, поправляя упавшую на землю прядь, и отдернул руку: то, что лежало перед ним, не было Таней; непроницаемо немой, плотный мир охватил его, и все, что двигалось перед ним, двигалось беззвучно, какие-то неслышные тени скользили в прозрачном утреннем воздухе, и чад, и пыль от взрывов успели бесследно рассосаться; легкий западный ветер отнес их к Днепру, восходило солнце. Рассветная синева с прозеленью в небе переменилась, стала жиже и отдаленнее, и весь восток заполнился рыжеватой, бледной желтизной, и ясно просматривалась нервно дышащая солнечная корона. Оттого, что Гаврилов ничего и не слышал, перед ним впервые в таком богатстве открылось торжество цвета; ползущий по земле невзрачный зеленовато-сиреневый паучок сверкал перед ним затейливым самоцветом, а сгустившаяся высыхавшая кровь на мостовой вязалась драгоценными малахитовыми узорами — он не мог оторвать от нее глаз, смотрел в столбняке, и вдруг тишину прорвало; он услышал сначала какое-то слабое журчание, словно из узкой воронки медленно выливалась вода, это была первая промоина, и вслед за тем на него рухнула лавина звуков. Те трое, что стояли возле убитой Тани, все так же вопросительно и молча глядели на Гаврилова, и он, ничего не говоря им, повернулся и пошел прочь, не в силах оглянуться. Он должен был остаться и помочь, и пойти, и сделать все, что следовало в этих случаях. Но он не мог, никакая сила не заставила бы его сейчас быть рядом с нею, с мертвой; это была уже не Таня, теплое дыхание которой он еще ощущал на своем лице; только он сам был виноват во всем, ведь в эту ночь Таня могла спокойно и безопасно спать у себя в доме. Вернись, вернись, приказывал он себе, ты должен быть там, рядом, приказывал и не мог пересилить себя, и все шел и шел из улицы в улицу по мятущемуся, охваченному тревогой городу и не мог остановиться; ему казалось, что, если он остановится хоть на мгновение, снова навалится глухота и раздавит его. К вечеру он оказался в одной из длиннейших бесчисленных очередей, выстроившихся в тот день у военкоматов страны, но и потом, в просоленной добела на спине гимнастерке, в мучительных отступлениях, а затем в трудном и неостановимом, шаг за шагом движении на Запад, в нем жил этот затаенный страх глухоты (он был пять раз ранен, и трижды очень серьезно,

но ему везло, и он опять возвращался на фронт). И все-таки время от времени на него накатывало, застилало уши, и он даже тока собственной крови не слышал, и как-то это случилось в сорок третьем, под Орлом, во время массированной танковой атаки немцев (он командовал к тому времени батареей противотанковых пушек). Немецкие танки вгрызались в плотно эшелонированную оборону метр за метром, и орудие умолкало за орудием; наносило смрад от горевших танков, и во рту и горле стояла горечь; связь давно прервалась, и у последних двух пушек поредевшие на две трети расчеты изнемогали. Гаврилов увидел новый, накатывающийся из-за прихолмья разворот танков, они то исчезали в лощинах, то вновь вываливались из дыма и чада, и все шли и шли вперед; откуда-то из-за спины, по-над самой землей стремительно и неожиданно вынырнули «илы», ударили по танкам, но не остановили их, и танки все приближались, и тут знакомая пронзительная тишина прорезала мозг Гаврилова; он оглянулся, торопя расчет, но у орудия никого не осталось, взрыв разметал последних, да и сама пушка завалилась набок, и свободное, поднятое вверх колесо ее бешено крутилось. Наводчик, молодой парень по фамилии Бераклетов, лежал, заломив в сторону лицо, и изо рта у него крупными, с каждым разом слабевшими пенистыми толчками выбивалась кровь; и вдруг то, что происходило сейчас, и ужасное, случившееся с ним два года назад, связалось для Гаврилова в одно целое, у мертвых в лицах есть что-то одинаковое, и в лице наводчика он узнал лицо Тани, и сейчас же на него рухнула вязкая немыслимая тишина, и Гаврилов, выхватив из ниши приготовленные две связки противотанковых гранат, вышагнул из окопчика и, по-звериному угнувшись, пошел навстречу танкам; он видел, как взблескивают впереди и по сторонам взрывы снарядов, густо они ложились в тот час, но он ничего не слышал, и только тугими, горячими волнами воздуха кидало его из стороны в сторону; он шел в совершенно немой мир, и то, что делалось вокруг, казалось грандиозной и все-таки детской игрой, и лишь то, что он сам хотел сделать, было для него серьезно и необходимо. Он увернулся от рвануввшегося на него бесшумного танка с грязным, небрежно намалеванным крестом на башне и сбоку метров с пяти ударил в него связкой гранат, и в лицо ему горячей волной остро толкнул яркий всплеск, отшвырнул его в какую-то глубокую воронку, по

и теряя сознание, он все видел перед собой залитое кровью лицо наводчика Бераклетова, уплывающее куда-то в сторону, в сторону, в сторону, стремительно и неостановимо и все в той же нечеловеческой пустоте, и у него перед глазами тонкой струйкой ссыпалась пересохшая земля, и ему казалось, что он слышит ее непрерывный, медленный шорох.

Гаврилов Константин Михайлович сидел, уцепившись руками за голову, и тихо раскачивался; только-только начинался рассвет: огромный июньский рассвет, охватывающий землю из края в край. Вчера был относительно спокойный день на работе, тоже (Гаврилов работал сменным инженером на большом машиностроительном заводе), и Константин Михайлович пришел домой веселый и дважды обыграл сына в шахматы, чего давно уже не случалось, и спать лег с приятной усталостью; он никак не ожидал, что это вернется к нему именно сегодня в ночь, и только, пожалуй, его жена вчера вечером с чуткостью большой любви и долгого затаенного страдания уловила приближение э т о г о; она была на редкость тихая, бесшумная женщина, с удивительно яркими, иногда молодо и неожиданно загоравшимися глазами; и теперь Гаврилов совершенно рядом видел ее белое, залитое слезами и все-таки старающееся улыбнуться лицо, но он никак не мог отодвинуть его от себя; он видел, как шевелятся губы, ему что-то говорили, но он не понимал слов, свинцовая тяжесть все плотнее сдавливала голову, все плыло перед глазами; кто-то с силой разнял его руки, наконец отвел их в сторону, и высокий, рвущийся голос проник к нему через удушливый пласт глухоты, и глаза его испуганно расширились: он узнал голос.

— Костя! Костя! Что с тобой, Костя! — односложно и заученно повторяла жена с выражением терпеливого страдания на лице.— Успокойся, все давно прошло, успокойся, Костя, Костя!

— Подожди, Маша, подожди,— с трудом сказал он, все сильнее чувствуя неприятную сухость в горле.— Что случилось? Что такое, что ты так встревожилась?

— Опять ты за свое, Костя,— тяжело опустилась рядом с ним на кровать Мария Васильевна.— Уже хотела скорую помощь вызывать, никак не могу тебя дозваться, фу ты, господи!

— Постой, постой, это ты, Маша? — спросил он не-

ожиданно пустым голосом, в то же время обнимая ее за плечи и притягивая к себе, и у него были чужие, незнакомые ощупывающие руки, словно ими он старался что-то давно забытое вспомнить, узнать; Мария Васильевна с досадой отстранилась от этих ищущих, по-молодому нетерпеливых рук, убрала волосы со лба, устало привалилась к стене, и опять затаенное, застарелое привычное горе промелькнуло в резко обозначившихся около рта морщинах, неожиданных на ее молодом лице.

— Ах, это ты, Маша?— уже другим, будничным голосом переспросил Гаврилов, как-то враз успокоившись и обмякнув своим крупным грузным телом.

— Опять ты за старое, Костя,— не повышая голоса, так же ровно говорила Мария Васильевна, поправляя подушки на диване. Со стороны можно было подумать, что два немолодых, тесно сжившихся друг с другом человека ведут мирную беседу.— Кому ж еще быть кроме, третий десяток аукаемся. Вот и я о том самом, Костя. Хватит тебе грудой на диване лежать. Всей семьей бьемся, стыдно людям сказать, заслуженный человек, фронтовик, руки-ноги целы, голова при тебе, а ты диваны пролеживаешь, ничем не интересуешься, смену отстоял, а там хоть потоп. Где ты, Костя, очнись, пора! Ведь ты в этой жизни только часть — второй жизни не будет и второго рождения тоже не жди. Возьми сына, возьми отпуск, поезжай куда-нибудь с ним на байдарках, на острова, на воздух. Сын отца совсем не знает, и дети без тебя выросли, ты при них только присутствовал, деньги давал. Да и мне дай вздохнуть, Костя, устала я, сил моих нет дальше этот воз тянуть, я ведь с тобой, Костя, старухой стала, затворницей, а в девушках веселей меня в поселке не было. Отпусти меня, Костя, освободи, вижу я, не хватает моей женской силы оживить тебя, горько мне, смутно, опомниться не успела — жизнь прошла, вот уже под уклон катит.

— Что ты, Маша, вздумала, будет тебе, что тебе вздумалось?

— Нет, Костя, не вдруг,— грустно улыбнулась Мария Васильевна.— Не вдруг. Зарок себе положила. Двадцать второе июня. Столько этих июней на памяти прошло, и все одно и то же. Нет, видать, не пересилить мне ту первую весну. Переоценила я себя, молодая была, глупая, горячая, с лету все мне давалось, вот и за тебя я взялась сгоряча, даром что обожженный был весь и израненный.

Да и любила я тебя отчаянно, так уж теперь не любят, думала, отогрею, худой ты был, тонкий, как травинка какая на ветру клонился, а вот, глядь, травинка эта петлей мне шею и захлестнула. Думаю, Костя,— Мария Васильевна неожиданно резким для ее плавного крупного тела движением стиснула себе горло,— к людям я пойду, не могу больше в четырех стенах!

— Машенька, будет тебе, ну успокойся, ну будет, не сердись!

— Нет, Костя,— остановила Мария Васильевна рванувшегося к ней Гаврилова.— Не уговаривай и не держи. Одной мне надо побыть, опомниться, осмотреться, жизнь-то ведь прошла,— добавила она мягче и спокойнее, но он почувствовал, что решения своего она не переменит, по крайней мере сейчас.

— Да куда же ты пойдешь, Маша, как мы без тебя? А Саша, а Люся — ты о них подумала?

— А к людям пойду, я вот всю жизнь боль свою от людей хороню, а от людского суда все одно не отвертеться. К ним и пойду! А дети что, они уже, слава богу, на своих ногах, да и отец при них остается, когда-то же надо и отцу о детях вспомнить.

— Постой, Маша, куда же ты хочешь, на работу?

— В библиотеку куда-нибудь пойду,— помолчав, уж совсем ровным, домашним голосом сказала Мария Васильевна.— Я же начинала в библиотеке.

Она сказала, и Гаврилов по этим ее слишком обыкновенным, будничным словам, как если бы она сказала, что идет на рынок за зеленью, вдруг еще раз ощутил, что она действительно решила твердо и бесповоротно. Он растерянно выпрямился: понял ее. Нужно было что-то делать, говорить, но он не знал что, все замкнулось и оборвалось в этом решении, нужно было ошеломить, опрокинуть ее в чем-то, но он не мог ничего придумать: ведь и он не мог дать больше того, что дал и давал прежде; какие-то несвязные мысли бились в нем.

И, остановив мучительным усилием наплывающий, без берегов поток, он нащупал в нем единственную твердую точку. Маша. А Маша? Что-то она такое тут говорила? Как же так, как же без нее? Он перебирал весь свой путь с нею, все, что мог вспомнить, перебирал бережно и с пристрастием; нет, детям не придется за него краснеть, жил он честно, не напоказ, а по совести, нет перед ними его вины,

он словно оправдывался, держал ответ перед самим собой.

— Да, война,— донесся до него в это время голос Марии Васильевны откуда-то издалека,— а жизнь-то всего одна, Костя. Набело никто не даст ее переделать. И захотел бы, да не даст. Вон и дети на своих ногах, замечать стала, уже с месяц и Люсю кто-то до самых дверей провожает, утром выйдешь, окурки валяются...

Мария Васильевна снова мучительно и сильно потерла горло, и словно что-то растопилось в нем. Гаврилов с усилием притянул к себе жену и наконец нашел ее глаза и больше не мог оторваться от них; это была даже не жалость к ней и не нежность, почти ребяческий восторг, словно сердце его осталось без всякой защиты; ему хотелось заплакать, но он лишь чувствовал, как дергаются онемевшие губы. Как был в одном белье, сутулый, нелепый (из расстегнутого ворота нижней рубашки вылезали вздутые бледновато-синие шрамы), он, словно переломившись, неловко опустился перед ней на колени, нашел ее привычные руки и стал целовать их сухими, шершавыми губами; она сверху видела его начинавшую лысеть со лба голову с редкими, слабыми волосами.

— Ну что ты, полно тебе, Костя, полно, что ты, что ты!

Гаврилов не отзывался, жадно вбирая привычную теплоту ее тела, окружавшего его сейчас со всех сторон, и стоя все в той же нелепой позе на коленях перед ней, и лишь время от времени брал ее руки и целовал.

— Встань, Костя, ноги-то у тебя, верно, настыли,— сказала Мария Васильевна, и он послушно поднялся и надел шлепанцы.

Мария Васильевна смотрела куда-то в окно, к которому уже подбиралось солнце, косые лучи его золотили тяжелый узел ее волос, строгий рисунок бровей. Гаврилов словно видел ее впервые.

— Да нет, Маша, рано нас еще сбрасывать со счета. Мы еще...

— Не надо, Костя, давай помолчим,— попросила Мария Васильевна, боясь, что он скажет что-нибудь ненужное сейчас.— Смотри, вон закат какой славный, тихий такой.

* * *

Совсем стемнело, и на земле все шло своим чередом; напротив окон квартиры Гавриловых раскинулся старый-старый парк с огромными, давно отцветшими каштанами

и только начинавшими медвяно пахнуть к обильному цвету липами, а дальше был Днепр — в нем отражались темные облака и небо. И земля была одна, и небо одно, и к обеду на другой день над Днепром собралась молодая, шумная гроза, и после недолгого проливного дождя солнце опять рухнуло на размякшую землю, и на некоторое время над ней встали те удивительные, хрустальные чистые парения, заметные лишь от их непрерывного движения.

камень
сердолик
роман

1

В начале мая тысяча девятьсот сорок пятого года, в ночь с первого на второе, уже на рассвете, Антона Савичева во время ночной атаки недалеко от Бранденбургских ворот ранило; кроме тяжелого осколочного ранения в живот обожгло лицо и правую сторону груди; солдаты, сорвавшие с него тлеющую одежду, отдали его в руки санитаров голого и совершенно беспамятного и, рассматривая его, вслух жалели; сознание к нему возвращалось лишь накоротке, временами, и тогда он пытался выбраться из охватывающего его жгучего пламени, пронзительно ярких болевых вспышек, они обступали его со всех сторон, и, пытаясь отодвинуться, уйти от них, он лишь причинял себе ненужную боль и опять впадал в тяжкое беспамятство.

Он пришел в себя окончательно месяца через два в казанском госпитале и съежился в мучительном ожидании, сквозь липкие веки опять рвался рыжий обжигающий свет; Савичев бессознательно приготовился к самому худшему, он вспомнил горевшие вздыбленные развалины, мелькавшие кругом согнутые фигуры солдат, душный горький чад и грохот, но не так, как если бы прошло два месяца, а словно его только что ранило и он очнулся, слепой, задыхаясь от горящего мяса; он придушенно вскрикнул, и рванулся, и увидел продолговатую белую комнату, единственное окно, узкое и высокое, и в нем искристую игру летнего солнца. В окне стояло солнце, самое обыкновенное солнце, вначале он этого не понял. Глаз с жадной

радостью ухватывал каждый мельчайший оттенок солнечного света в стеклах; особенно хорош был темно-золотистый, рыжеватый в верхнем стекле.

Он попытался шевельнуть руками, скосил глаза на забинтованные от кончиков пальцев до плеч руки; он лежал в палате один и стал медленно осматривать стены, потолок, спинку кровати. В палату кто-то вошел. Савичев почувствовал постороннего и ждал. Пожилая, с темным худым лицом сестра стала у него в ногах, и, присматриваясь, вздрогнула (он видел, как она вздрогнула), и торопливо наклонилась к нему; их глаза встретились.

— Да ты ай очнулся? — сказала она с удивлением и недоверием и, не дожидаясь ответа, быстро выбежала в коридор, громко повторяя: — Лев Гурыч! Лев Гурыч! Скорей, скорей! Он глаза разожмурил!

Савичев услышал торопливые грузные шаги, затихшие у изголовья кровати; подняв глаза снова, он увидел оплывшее лицо и большие черные с блеском глаза. «На пьяного похож»,— подумал Савичев, стараясь выдержать напряженный, все больше теплевший взгляд. Сестра подала стул, и хирург шумно уселся против Савичева, крепко уставив руки на раздвинутые колени.

— Вот так так,— сказал он,— познакомимся наконец. Пришлось мне вас хорошенько подштопать.

Савичев дал понять глазами, что ему все ясно; конечно, лицо хирурга ему уже знакомо, он видел его в минуты просветления, сквозь боль, теперь он вспоминает крупный мясистый нос и — самое главное — внимательный, напряженный, порой насмешливый взгляд.

— Зовут меня Львом Гурьяновичем, а фамилия Минутко,— говорил между тем хирург,— воинское звание — майор медицинской службы. Женат, имею детей.

«Чудесно,— подумал Савичев.— Только к чему он клонит? Или я так безнадежно плох?»

— А я москвич,— сказал он странным, чужим голосом, с болью раздирая непослушные губы, и поморщился; он не слышал больше хирурга; собственное лицо не слушалось, вот что, оно было совершенно чужим.

— Зеркало,— сказал Савичев хрипло, и хирург сначала не понял, затем повторил: «Ах, зеркало?» — и поглядел на сестру.

— Давай, Паша, принеси ему зеркало, ну где-нибудь возьми там,— добавил он недовольно.— Столько женщин

у нас... В сестринской со стены сними, вот уж каждому надо указать да разжевать,— совсем рассердился он, глядя в спину пошедшей искать зеркало сестре; он откинулся на спинку стула и пристально поглядел на Савичева.

— Держись, солдат. Война все-таки окончилась в нашу пользу. Вот что главное. Мир устал от смерти, ему нужна теперь радость.

«Да, да, а вот у памяти свои законы»,— возразил ему Савичев молча, пытаясь взять себя в руки и не думать о том моменте, когда сестра вернется и он увидит свое лицо. Но потом, когда перед ним оказалось зеркало и он глядел в него, он даже не обрадовался тому, что все не так уж плохо — несколько шрамов и темных пятен.

— Верно, солдат, пустяки,— сказал хирург, внимательно наблюдавший за Савичевым.— Брови вырастут, швы — чепуха. Еще две-три пустяковые операции, и совсем наладится.

— А как руки?

— Руки в порядке. Ожоги плохо заживают. Повезло тебе, солдат. Невероятно, в такой кутерьме сохранить глаза... Молодец! Отдыхай теперь, поговорим еще, у нас с тобой теперь много времени, вся жизнь.

Савичев скосил глаза, провожая выходившую на цыпочках вслед за хирургом сестру, и сразу заснул; он даже не успел ни о чем подумать, и когда, под вечер уже, открыл глаза, он был в том же положении: лицом к двери. Солнце от окна исчезло, и в комнате все казалось притушенным; по потолку передвигалось небольшое темное пятнышко, полз какой-то маленький жучок. Все это пустяки, вырастут брови или нет, да и лицо, конечно, не столь важно. А вот как жить дальше — ведь все это враки, что человека можно изменить, сплошная чепуха, он этому свидетель, и люди, верящие в это, всего лишь ловкие мошенники, приспособившиеся, чтобы лучше жить, свободнее жить, или фанатики. Ни искусство, ни политика не спасли мир от войны, от вида вываливающихся внутренностей, от крематориев для живых детей — к чему тогда горы книг, километры пленки, сотни шедевров? Что они смогли изменить, кого остановили?

«В чем дело? — спросил он себя с иронией.— Живи, как все. Делай, что можешь, и живи. Или ты обижен, немного поцарапали лицо? А сколько миллионов просто в земле?»

«Повезло тебе, солдат»,— вспомнил он слова хирурга.— Очень повезло,— усмехнулся он.— Долгая жизнь впереди, и ты никогда не забудешь, как мгновенно потел под гимнастеркой от страха быть убитым и, мучительно сжав зубы, потом стыдился самого себя. Ты не мог заставить себя взглянуть в застывшее лицо убитого товарища, а сколько, сколько же их осталось там? Там? Да, там. Тому, кто прошел войну и увидел ее изнутри, из глубины самого себя, разве можно взять снова карандаш и рисовать? Черт, только последняя сволочь может додуматься до такой штуки. О войне может писать лишь гений или дилетант, тот, кого она коснулась стороной, чуть-чуть, о войне почти невозможно написать правду. А чтобы просто зарабатывать и на этом деле стричь купоны, нужно быть последней скотиной».

Принесли ужин — овсяную кашу с густой жирной подливкой, большой кусок вареной трески, хлеб и чай. Сестра, протиснув руку ему за спину, слегка приподняла его, подложила подушку и сказала:

— Ну, милый, посунься, посунься...

Она стала кормить его горячей кашей, затем рыбой. Он съел все, он уже привык к ее рукам с теплой рыжеватой кожей, и опять у него появилось расслабляющее желание потрогать эти руки, прижаться к ним щекой. Вот и руки женщины тоже нельзя написать со всей правдой, эти руки, взрастившие человечество себе во зло. Какая все-таки странная штука — человек: словно кто-то всемогущий и усомнившийся в себе производил какой-то кошмарный опыт, длящийся уже тысячелетия, и как объект опыта он создал существо, названное человеком, и издали следит: а что же в конце концов получится?

Сестра убирала посуду и что-то ласково говорила, и Савичев видел ее отяжелевшее тело, сноровистые, скупые движения пожилой и много рожавшей женщины; она включила свет, и, спросив, не нужно ли ему еще чего, вышла, и плотно затворила за собою дверь. Если поверить, что человек прежде всего организованный белок и произошел от обезьяны, тем более непонятно его поведение — чудовище, пожирающее самого себя, и к чему ему тогда такая высокая нервная организация. Непостижимо!

«Но жить-то надо!»

«Ах да, жить... Жить надо. Кто сказал, надо, а может, и не надо?»

Окно потемнело совершенно, и Савичев представил шумящую под солнцем рощу, теплый ветер в лицо, солнечную рябь в листве, и опять, совершенно незаметно для себя, заснул, и проснулся на другой день поздно, к врачебному обходу. Его никто не будил, он проснулся сам, и в палате никого не было, и он был рад этому; к нему пришло почему-то ощущение осени, летящих желтых листьев, неясных тревожных силуэтов птиц, какой-то удачи и все того же недоумения: зачем, зачем? И тут же вопрос: а что он может теперь? У него по телу даже проползла липкая дрожь при мысли, что когда-нибудь он вновь прикоснется к краскам в горячечной надежде однажды удивить и позабавить пресыщенный смертью и ненавистью мир. Ха-ха! Скорее он отрубит себе руки — то, о чем можно мечтать в семнадцать, в двадцать шесть — пошло. Любимые цвета его юности — золотисто-сиреневый, зеленый, дающий с красным удивительные розоватые оттенки,— сентиментальная чепуха, раньше он видел мир в голубоватой прозелени, но теперь он начинал понимать, что все в мире имеет свой цвет: жизнь, война и смерть, любой человек, любой день, ветер, хирург Минутко, снежная Москва. Смерть, например, черный аспид, живая шевелящаяся бездна; иногда он просыпается ночами от жгучего черного удушья и лежит в непроницаемом коконе, и даже посторонние звуки падают в сознание, как черные капли. А тогда, тогда, тогда, а? Под Севском? Когда командир роты пристрелил двоих, им было по двадцать, не больше, они просто физически не могли идти дальше. Его самого убило следующей весной, как-то странно убило, в шею навылет откуда-то сбоку разрывной, и в роте никто об этом ничего не говорил, не вспоминал. Все-таки это был человек, личность — лейтенант Струмин, а черт, как он ломал людей, как он это делал. Его пожилой ординарец, хохол Порохчий украдкой часто матерился. Огромный такой дядька, зайдет куда-нибудь за угол, курит и шепотом матерится: «Та це ж вин — махра, злыдень, пропекае!»

Савичев поглядел на хирурга, давно стоявшего перед ним, и чуть приметно кивнул, удивляясь, когда он успел войти. Хирург постоял еще и, начиная сердиться, спросил:

— Как дела, солдат?

Савичев не ответил, не услышал, продолжая вспоминать ординарца командира роты Струмина, и хирург прошелся

по палате, что-то обдумывая, затем круто повернулся и сердито спросил:

— Знаешь, Савичев, ты мне не нравишься. Ну скажи, чего тебе нужно? Здоров будешь как бык, все на месте, все в порядке, и война кончилась. Ты понимаешь, война кончилась! — повторил хирург с силой, и было понятно, как он истосковался и как был рад иметь возможность поговорить об окончании войны, и сердится, что кто-то может к этому относиться равнодушно, а Савичев думал, что цвет хирурга — стальной, с синеватым отливом, хотя лицо белое, мучнистое, добродушно рассыпающееся.

— Тебе двадцать шесть, боже ты, боже, какая у тебя жизнь впереди, солдат, эх, мне бы в твою шкуру. Я, кажется, по-другому бы совершенно прожил. А ты вот лежишь молчишь... Ну чего ты боишься? Молодой, здоровый, опять же говорю, руки, ноги... бабы у тебя будут, понимаешь, все будет...

Хирург называл все своими словами, и как хорошо жить, работать, бегать купаться в речке, щупать девок...

— Мне говорить больно,— медленно пошевелил губами Савичев, растягивая слова, и хирург быстро подошел к нему, нахмурился и, потирая небритые крепкие щеки, возразил:

— Чушь! Чушь, солдат! Тренировать мышцы надо. Где больно, ну? А, дьявол, ну что ты, право, это у тебя не боль, пунктик у тебя в мозгах заскочил. Никакой боли! — приказал он.— Понятно?

Он постоял еще, стремительно походил по палате и вышел; хуже таких вот тихих раненых ничего не придумаешь; чокнутые интеллигентские сынки, какого черта спрашивается? Прошел всю войну, наград уйма, а тут на́ тебе, решай головоломку, что с ним стряслось. «Интеллигент!» — опять выругался хирург, немного рисуясь своим крестьянским происхождением, опытом и нарочитой грубоватостью, от которой не хотел отвыкать намеренно. «Что тут ему подсунуть для оживления? — ломал он себе голову и так ничего и не мог придумать.— Стой, старый пень,— обругал он себя.— Надо узнать, должен у него кто-то быть из родных? А? Или девка где-нибудь найдется, уходил-то на войну сопатым, как раз в эту пору думают про любовь до гроба и так далее и находят для себя предмет по вкусу. Пень, ей-ей, пень»,— обрадовался хирург, но заходить в этот день к Савичеву больше не стал, и лишь еще раз про-

смотрел его документы и вещи, и, найдя несколько писем, без всякого зазрения совести тут же на складе уселся и прочитал их, и все радовался, что он тут не ошибся и был теперь на правильном пути.

2

Ну и что из того, что у него кто-то есть, спросил себя Савичев, нет, писать он никому не станет, смешно писать. Такая чепуха... Знакомые и близкие знали его одним, а сейчас если и узнают, то внутренне поморщатся, хотя сделают вид, что все в порядке, все идет как надо. Сами же будут тяготиться в душе и мучиться из-за нелепой, ненужной условности. И они уже не могут получить от него то, на что когда-то рассчитывали, и он никогда не сможет им этого дать против своей воли и желания, не стоило, если так, оставаться жить. Он сейчас видит, как оно вышло бы, согласись он с хирургом, впрочем, чего он, шумливый, пожалуй, добрый человек, хлопочет? Как только ему скажут, что нужно выписываться, он выпишется и уйдет, найдется и ему место; сейчас самое честное: забыть свое великое «я», сказал он себе со злой иронией, и жить честно, тихо, приколачивая отставшие подметки или плотничая. А действительно, что он еще может? Многое, многое, усмехнулся он, за войну перерыл, кажется, всю землю. Он может определиться землекопом, если Лев Гурьянович не врет и он в самом деле здоров. Он может пойти куда-нибудь в шахту, в сапожную мастерскую — его даже этому научили — подбивать подметки, ах, до чего здорово — тюк, тюк, тюк! Готово! В конце концов он может пойти в театр малевать задники и рекламные афиши. Нет, он никогда не вернется к старому, найдет что-нибудь другое, кроме глупого детского тщеславия покорить мир кистью; возможность обманываться упущена, он слишком долго шел сквозь огонь, всякая мелочь выжжена, единственный выход — начать сначала, с умения держать молоток. Зря пристает к нему Лев Гурьянович, зря старается, в жизни нет канонов и никогда не будет, это только дуракам всегда все ясно.

— Что вы сказали, простите? — с раздражением переспросил Савичев, отрываясь, наконец, от своих мыслей.

— Подумать советую, у тебя тетки, невеста...

— Чепуха, ну какая невеста... Так, светлое детство.

— Ага, ага,— обрадовался хирург.— Уже хорошо,

даже здорово, солдат. А что же ты, так никогда им и не напишешь? Не жестоко ли?

— Жестокость — пускать людей в этот мир,— Савичев усмехнулся, и хирург от неожиданности развел руками и тут же засмеялся.

— Извини меня, Савичев, ты изрядный дурак, если по-русски. Оставь философские изыски тем, кому делать нечего. А тебе доучиваться надо, вот в Суриковское свое вернешься. Зря, что ли, все конкурсы перед войной прошел? Шутка ли, четыре года потерял!

— Вы, кажется, больше меня обо мне знаете.

— А мне положено по званию, должность такая, я тебя слепил заново.

— А цель, цель? — повысил голос Савичев и от боли откинулся на подушку.

— Какая цель?

— Смысл прихода сюда, в этот мир, разве есть?

— Эк тебя куда занесло! Лежи, лежи,— остановил он Савичева.— Лежи. Цель! Человеческая мысль — вот цель, возможность за короткую жизнь — каких-то шестьдесят лет — постигнуть все прошлое и настоящее. Вот тебе цель!

— Сомнительная истина, Лев Гурьянович. Много ли на земле мыслящих? Как исключение из правила, может быть...

— Ладно, все мне понятно, я хочу сказать, в тебе понятно.

— Человек выдумал науку и искусство, чтобы прикрыть свою наготу, беспомощность.

— Чепуха! — изумленно сказал хирург.— Никто ничего не выдумывал. Все само получилось, по диалектике. Наука по необходимости, а искусство от удивления человека перед собой, от желания познать себя.

— А я тут при чем?

— Ах ты, чертов сын! — не выдержал, наконец, хирург.— Ты при чем! Я лечу тебя, при чем тогда я? Не хочу слушать всякие бредни. Вундеркинды! — кричал он.— Гомункулусы! Ты же русский солдат!

— Да что я? — равнодушно спросил Савичев.— Я же ничего. Я вижу, нам с вами диспуты объективно вредны.

— Ах чертов сын! — опять восхитился хирург.— А они мне во-о как нравятся. А все-таки я тебя перехитрил, знай и помни, истина жизни проще пареной репы; не надо ее

искать, она уже в самом факте жизни. Ее ищут, повторяю, те, кому делать нечего. А теперь я пойду, мне-то как раз хватит забот вот с такими. Вы у меня вот где сидите,— рубанул он себя по загривку.— Кстати, тебя переведут в общую палату, хватит одиночничать, одичаешь совсем.

Савичев промолчал; вот именно, и тетки, и товарищи, и все, с кем он близко общался, все считали его исключительно одаренным, зарисовки с натуры у него получались необычно живыми и верными, в десять лет он мог набросать портрет человека, едва один раз взглянув на него, и все удивлялись верности и точности рисунка, и естественно, все сейчас в Москве будет напоминать ему об этом вольно или невольно. И все-таки Лев Гурьянович, возможно, прав. Четыре года он только думал о возвращении к себе на Тверской, о своей комнате, где, кстати, хранят любой его детский обрывок, а сейчас вот он даже не хочет написать, чтобы сообщить, где он и что с ним. Разве не жестокость? Видеть столько боли и горя, и самому поступать вот так же; нет, нет, он напишет потом, и все это выеденного яйца не стоит. Просто ему необходимо отойти, его доконали уличные бои в Берлине («Радостные! последние!» — вспомнил он строчки из газет, и его конвульсивно передернуло). Что-то взяло и подломилось, он сам знает, когда это произошло. Во время последнего ранения он в дополнение обгорел, а часом раньше, пробираясь через какой-то обрушенный дом вместе с другими, он натолкнулся руками на детский трупик, полураздавленный, и в неверном свете ракеты увидел нетронутое свежее лицо трехлетней девочки, со светлыми длинными, гладко причесанными волосиками и с бледно-розовым бантом на голове. Впервые за все четыре года он похолодел не от страха вот сейчас, в сию минуту быть убитым; сразу стало видно, что голову ребенка убрали уже после смерти и чисто умыли лицо, и почему-то Савичев был твердо уверен, что это сделали руки матери, так могла только мать. И он, все четыре года горевший мыслью написать войну, глядя в мертвое лицо девочки и видя чистый, промытый заботливыми руками лобик, пока где-то вверху горела ракета, остро понял вдруг свое бессилие: э т о г о нельзя передать дозволенными и доступными художнику средствами и э т о г о не прикрыть никакими картинами и книгами. За этой зыбкой чертой, отделившей реальность от совести, все

уходило перед непонятными, не переступимыми для постижения законами, непонятно кем предписанными людям. Фашизм, как и войну, нельзя передать пером или кистью художника, фашизм, как рак, поражает незримо и безболезненно, избирательно, отыскивая свою анормальную клетку, человека, народ, государство, и уже потом рассыпаются в прах города, и целые народы мечутся в ужасе, в смертной агонии. Художник здесь бессилен.

Ракета давно погасла, и мертвое лицо ребенка исчезло из глаз, вверху на погнутых железных сваях едва-едва держались куски стен, часто лопались мины и гранаты. Вверху стлался подсвеченный огнями пожаров дым; гарь и пыль стояла везде, и сейчас опять, словно тогда в Берлине, в этом приговорившем себя на казнь городе стало трудно дышать от смрада и вони; ребята, прочищая горло, выхаркивали черные сгустки гари.

В палате для выздоравливающих, куда его перевели, стояло три койки и было тесновато, и первое время он с трудом выносил постоянное присутствие посторонних и старался лежать больше лицом к стене. Учитель из Ростова тоже мало разговаривал и почти непрерывно читал, а вот третий в палате — танкист двадцати шести лет, раненный в ногу, Ванька Голованов, говорил непрерывно, словно боясь остановиться, он мог разговаривать сутками. У каждого своя чудинка, вот этот мечтает о своей Суходольской МТС и о том, как он женится на какой-то Курнаковой Любке; в первый же день он рассказал о ней Савичеву дважды со всеми подробностями и показывал карточки: совершенно невзрачная девчушка в платочке, и только глаза, тихие, большие, говорили о добром характере. Танкист мотался по коридорам госпиталя, сильно хромая, и каждый раз возвращался с ворохом новостей.

— Нога совсем по-старому,— радовался он простодушно, и нельзя было на него сердиться.— Чуть-чуть мешает в коленке, повернешься неловко — хрустит. Поживем, братишка, ах как поживем! Заслужили! — говорил он во множественном числе, толкая себя в грудь.— Пять раз горел, два раза на мине подрывался! Везенье! Генерал наш, товарищ Дикой, скажет, бывало: «Ну, Иван Голованов, всяких случаев я навидался, а вот такого случая, как ты, не встречал. У тебя за спиной ангел стоит».— «Так точно,— говорю,— товарищ генерал! Стоит! Жить хочу до смерти!»

Учитель, не переставая читать, глядел на танкиста поверх книги добрыми умными глазами и улыбался молча; лежал он обычно на спине, и звали его Константином Федоровичем, до войны он преподавал физику в восьмых-девятых классах, да и то об этом сообщил Савичеву общительный танкист.

У Константина Федоровича было плохо с позвоночником, он с трудом вставал и с трудом ходил, но, когда врачи спрашивали о самочувствии, он неизменно отвечал, что дела прекрасны, вот только чуть побаливает в пояснице.

На третий день танкист совершенно непонятным способом достал бутылку водки, она была без этикетки и заткнута толстой пробкой из газеты; танкист захлопнул дверь в палату, вытащил из-под полы воблу, разорвал ее на три части и торжественно сказал:

— Бери меня в окружение, кореша, хватит валяться. Подымайся, Константин Федорович, давай, Антон. Завтра меня выписывают, Варька рыжая из канцелярии сказала точно.

Учитель поглядел на танкиста поверх книги, улыбнулся и с натугой, помогая себе руками, подтянулся к изголовью, скинул ноги с кровати и стал нашаривать шлепанцы.

— С изголовья они у тебя, Константин Федорович,— подсказал танкист, расстилая на тумбочке газету: стаканы он собрал у каждого, выплеснул из них остатки воды и составил рядом.

Савичеву днем раньше тоже разрешили вставать и разбинтовали наконец пальцы рук, и он с наслаждением время от времени шевелил ими. Выцветшие от лекарств и повязки, вялые, с резко выступавшими ногтями — он никак не мог к ним привыкнуть,— они еще плохо слушались. Савичев сел, подождал, пока из глаз исчезла неожиданная муть, и осторожно встал. Ноги плохо держали, он неуверенно переступил раз-другой, поглядел в распахнутое окно на деревья в парке, на гулявших раненых — празднично и ярко лезла в глаза густая зелень.

— Скорей, скорей,— торопил танкист,— а то накроют невзначай, шуму не огребешь. Выписываюсь, ребята, повезло сверх всяких декретов. И вас выпишут, придет час.

Водка, разлитая в стаканах, чуть вздрагивала; бутылку танкист уже спрятал. Савичев подошел к тумбочке, неловко — забинтованная выше кисти рука не гнулась —

взял стакан; было приятно держать прохладный стакан в руках, и хотелось выпить.

— Ваше здоровье, кореша, пожелайте мне удачи,— сказал танкист.

— Желаем,— сказал учитель.— Живи, Ваня, и все помни,— добавил он и подчеркнул: — Все.

Он повертел стакан, улыбнулся какой-то своей недосказанной мысли и стал медленно пить водку; Савичев протянул стакан танкисту.

— И я тебе желаю добра,— стаканы толкнулись, дзынькнули, водки было чуть не целый стакан, и шла от непривычки трудно, и, когда Савичев допивал, на глаза навернуло слезы, он поставил стакан и, стараясь не поддаться одурению, затряс головою, засмеялся.

— Крепка, ах, крепка!

— Э-э, пять кусков мыла за нее отдал,— вспомнил танкист, не то жалея, не то радуясь.— Ничего, без мыла хорош буду, а не выпить по такому случаю — как?

Савичев взял свой кусок воблы (он оказался с икрой), стал грызть. Танкист с сожалением поглядел на опорожненные стаканы, ополоснул их из графина, разнес по местам. Савичев, с наслаждением посасывая икру, спросил:

— Сразу, значит, жениться?

— Сразу. А чего ждать? Оно, посчитай, и без того сколько у меня из жизни пропало. Два года я на строевой отбухал, на войну — четыре. Вот тебе арифметика. Мне торопиться надо, а то и жизни не углядишь — помирать пора. И ты, видишь, повеселел,— засмеялся танкист.— А то слова не допросишься. Ты чего такой?

— Какой?

— В себе весь, молчишь. Ты зря, морду у тебя чуть припортило, оно для баб интереснее. Я слыхал, тебе еще раз операцию сделают, совсем ничего заметно не будет,— он говорил, по своему обычаю, громко и бесцеремонно, и на него нельзя было сердиться.

Савичев кивнул, по стенке добрался до кровати и лег; перед глазами плыл и раскачивался беленый потолок, и голоса учителя и танкиста доносились глухо, издалека, а потом и совсем он перестал слышать, и его только под вечер разбудил танкист.

— Слабый ты,— сообщил он Савичеву доверительно и пообещал: — Ерунда, пройдет. Поднаберешься силенок, свое возьмешь. Вставай, сейчас ужин разносят. Вставай,

вставай! — тормошил он Савичева, не зная, как убить время до выписки, впереди была еще целая ночь и утро, и Савичев, понимая его нетерпение и досаду, улыбнулся.

3

И все-таки через два месяца после выписки из госпиталя и демобилизации Савичев не поехал в Москву и не написал; он получил документы, деньги, паек и все прочее, положенное честно отвоевавшемуся солдату, и уехал в Астрахань (почему он выбрал Астрахань, он не знал), где на привокзальной толкучке из-под полы можно было приобрести и осетровый балык, и брикет хорошего сливочного масла, и, побродив по нетронутому войной городу, опять притолокся на вокзал. Было тепло, кругом ели дыни и поздние сорта арбузов; Савичев пристроился у какого-то ларька сбоку, присел на корточки, достал из вещмешка хлеб и банку тушенки и тоже решил закусить. Хирург Лев Гурьянович не соврал: после третьей пластической операции лицо Савичева почти совсем очистилось от швов и ожогов и лишь выглядело пожилым, лет на сорок, не меньше. Он повернул голову: шагах в трех от него стоял мальчишка и сосредоточенно глядел, как он ест хлеб с тушенкой. Он не просил, только стоял и глядел.

— Иди сюда,— позвал Савичев, но мальчишка и не думал трогаться с места.— Ты, значит, хлеба не хочешь? — удивился Савичев, и мальчишка моргнул, отвернулся.

— Мы с мамкой к папке в Саратов едем. Я арбуз ел.

— Хочешь с тушенкой?

— Хочу,— не сразу решился мальчишка и, взяв из рук Савичева кусок хлеба с положенным сверху жирным куском тушенки, боком, боком отошел.

— Ешь, ешь,— сказал ему вдогонку Савичев, ему хотелось еще немного удержать мальчонку около себя.— Отнимать не буду.

Мальчишка исчез за углом и вскоре опять появился перед Савичевым, протягивая половину большого сахарного арбуза, только что разрезанного: розовый сок капал на землю.

— На, возьми, дяденька, мамка наказала отдать. У нас еще пять штук есть — папке везем.

— Спасибо, брат, лет пять такого добра не видел,— сказал Савичев, рассматривая розовую мякоть с черными спелыми семечками.— Тебя как зовут?

— Андрюхой...

— Андрюхой. Ну, садись со мной арбуз есть, брат Андрюха.

— Не-е, я не хочу, я уже ел, спасибо. Я к мамке пойду,— сказал мальчишка, и Савичев понял, что он торопится к хлебу, который оставил у матери, и не стал его удерживать; хорошо бы нарисовать мальчишку, это дитя войны, с большим, в пол-лица, розовым куском арбуза, в рваных штанишках, с мудрыми недетскими глазами.

Савичев отрезал увесистый ломоть от арбуза, откусил, с наслаждением, не жуя, проглотил; вспомнил он детство, Воропянск, горы полосатых, лопающихся от спелости арбузов на возах и себя, шестилетнего, сидящего тут же, на возу, и прутиком выковыривающего розовую сочную мякоть. И позднее, уже в Москве, у теток восьмилетним мальчиком в остро отутюженных брюках, чинно орудующим круглым фруктовым ножом. Нет, он не успокоится, пока не увидит Москву, не зайдет в свою комнату, с окном в тесный московский двор с единственным деревом — старой липой. А может, дерева уже нет?

Не стоит обманываться, больше всего, пожалуй, ему хотелось узнать что-нибудь об Инне, почему она вдруг внезапно перестала писать, и тетки не зря ведь обходили в своих письмах все связанное с Инной молчанием. Правда, он уже переболел, тут оставалось простое, пусть несколько болезненное, любопытство, чем былая полудетская влюбленность; впрочем, были и обещания ждать, было, и целовались; он помнил и слезы, и потом какие они писали друг другу письма! Вспоминая их, он неудержимо краснел: неприятно, кто-то может в любое время открыть ящик стола или развязать старую из-под печенья коробку и перебирать, посмеиваясь, солдатские треугольники с обещаниями помнить, любить; бред-то, бред какой, можно ли так писать!

Савичев не спеша доел арбуз, бросил корки в набитую доверху урну и пошел спорым солдатским шагом по пыльным, грязным привокзальным улицам, ему хотелось в степь или к воде, где нет людей, домов и тяжелой для дыхания сухой, жаркой пыли. «Сейчас бы куда-нибудь в лес,

к речке. Хотя бы к ручейку. И пожить с неделю тихо, привыкнуть».

Толстый лопоухий щенок, вывернувшись из-за угла, стал добродушно обнюхивать пыльные головки его сапог. Затем с хитрецой поглядел одним глазом вверх на Савичева и, задрав смешно кривую лапу, исполнил свою собачью обязанность. Савичев остановился у покосившегося дощатого забора. Вот оно в чем дело: он просто не привык распоряжаться собой и сейчас не знал, что с собой делать дальше, ведь самое удобное сказать «Есть!» и куда-то бежать, он просто отвык думать, и решать, и действовать без примет и ориентиров, и не знает ни дороги, ни поворотов. «Что за чепуха! — сказал он с брезгливостью к себе.— Ну что, действительно, раскис, рассиропился? Прежде вернуться в Москву, к началу всего, там будет видно». Занесло его, скажи, в Астрахань, ну, почему, скажи, именно в Астрахань, теперь опять трясись в вагоне, а то был бы уже на месте, и решилось бы само собой; надо поехать к теткам.

Савичев потолкал носком сапога забор; разбитая, вся дребезжащая, готовая развалиться полуторка проползла мимо, подняв тучу желтой пыли; он долго чихал и отплевывался, окончательно утверждаясь в своем решении и ругая себя за нелепый крюк в Астрахань.

В скрипучий, старый вагон Савичев кое-как протиснулся к утру на следующий день; все от пола до багажных полок было забито раздраженными человеческими телами, и ему с трудом удалось захватить среднюю полку; подкинув под голову вещмешок, Савичев сразу перестал слышать голоса, крики, пыхтение и заснул: сказалась бессонная ночь. Дюжая баба в клетчатой шали, искавшая свободное местечко, подергала его за ноги и предложила: «Солдатик, а солдатик! Проснись, окаянный, хошь за место два десятка яиц, а?» Он во сне, отбиваясь, едва не сунул ей носком сапога в лицо, и она отстала, ругаясь и охая, устроилась прямо в проходе на двух мешках с кабачковыми семечками, она везла их в Москву и думала хорошо выручить. Савичев спал крепко и долго и проснулся только к полудню; вагон скрипел и подрагивал, в узкое грязное окно светило солнце. Савичев, зевая, свесил голову. На полках внизу, плотно приткнувшись друг к другу, дремали люди; худой, интеллигентного вида старик у столика, время от времени нервно отряхивая пальцы и вытирая их о

газету, ел холодную вареную картошку с огурцами и запивал чем-то из темной бутылки. А рядом с ним женщина в пальто, перешитом из шинели, рассказывала что-то пожилому человеку напротив себя.

— Прицепился он ко мне, как репей к собачьему хвосту — ни руками, ни зубами не отдерешь,— быстро, захлебываясь словами, говорила женщина.— Господи, а у меня двое детей, есть нечего, на паек кошку не прокормишь. А он завпекарней — рожа колесом, инвалид, видишь ли, трех пальцев не хватает на левой руке, вот и все его инвалидство. «Ты,— говорит,— Анюта, слушай меня, и дети вырастут, и ты здоровье сохранишь. Нравишься ты мне, ну чего тебе жалко? Я ночами приходить буду, ни одна собака не увидит».— «Отойди ты,— говорю,— пес рыжий, не искушай, сатана, без тебя забот хватает. Коль у тебя стыда нет, мне за буханку твою тошно тело свое срамить. Не до игрищ мне, не до мужиков. Будь ты, зараза, проклят...»

— Ну, а он? — спросил, хрипя простуженным горлом, мужчина.

— Ему хоть в глаза лей кипятком, ему что. Приходит опять как-то, приносит булку хлеба и смальцу с килограмм. «Да ты возьми, дура, я за так принес, детишек жалко — глянь, воском взялись ребятишки. Какая ж ты мать после?» Раз, другой, так он меня и одолел, я тебе как на духу сейчас говорю, вроде человек хороший оказывается, а моего Гриши все не слыхать да не слыхать. Третий год ни слуху ни духу, все мы не каменные, дети есть просят. Ради них на все идешь, потом вырастут, в глаза небось стыдно будет поглядеть; ну вот и живем месяц, другой, в душе скребет: ну, как первый, Гриша, отыщется, вот срамота перед людьми будет, глаз не покажешь. Да нет, все не идет, не идет, мертвое не поднимается, видать, и забываться начинает, как и не было...

— У бабы оно так — с глаз долой, из сердца вон,— раздумчиво, с легким осуждением сказал мужчина, и женщина усмехнулась открыто и брезгливо.

— Хотя бы одного в нашу шкуру мужика-то, детей бы ему двух в руки, а куска хлеба на один рот не хватает. Сейчас плохо, а год назад? Э-э, вспомнишь, сердце заходится,— женщина сморщила лицо, тихо, без звука заплакала, быстрым привычным движением вытирая рукавом мокрое лицо.

Савичев отвел от нее глаза и стал глядеть вверх, ему нужно было встать, но он терпел, не хотелось снова встречаться глазами с женщиной. Ну вот он решился, наконец, и едет, едет, едет, а вокруг те же людские радости и горести, не он один. Война, самое главное, война кончилась, теперь можно и пожить и поработать, славно поработать! К черту меланхолию, хандру! Он едет в Москву, отойдет, может быть, съездит в Воропянск, на родину отца; говорят, старый зеленый губернский город, через который трижды прошла война, совсем разбит. Впрочем, сначала, конечно, в Москву, к теткам; собственно, он Воропянск почти не помнит, с восьми лет у теток рос, в Москве. Только представить, как они всполошатся, и он по ним соскучился, нет, совершенно невероятно, как у него могли такие дикие мысли появиться — уехать, никого не увидеть? Смешно и дико. И по меньшей мере глупо...

Савичев представил теток, их лица; поезд стал замедлять ход, и женщина, печалившаяся о своей жизни, подхватила большой, туго увязанный веревками тюк и чемодан из некрашеной фанеры, стала торопливо, не оглядываясь, пробираться к выходу, а ее собеседник, привалившись к стенке, сразу задремал. Савичев спрыгнул с полки, напротив кто-то спал, лежа спиной к проходу, и тоненько присвистывал; переступая через ноги, Савичев протиснулся к уборной захватить очередь; у приспущенных наполовину окон курили, женщины кормили ребятишек; станция была маленькая, несколько жилых черных домишек, безлюдное поле, вагон с круглым лесом под разгрузкой, человек шесть мужчин с треском скатывали вниз крепкие сосновые бревна и укладывали их в штабель; непривычная, забытая мирная жизнь, работа, разговоры, неторопливая еда.

Минут через десять поезд тронулся, и опять замелькали мимо откосы, столбы, провода и редкие деревья; Савичев, дождавшись очереди в уборную, вернулся на свое место, достал кружку, сходил к бачку с водой и насухо поел сухарей с куском твердой лежалой колбасы; сейчас бы тарелку хорошего, наваристого бульона и компоту из изюма или пирожков с мясом. Спать больше не хотелось, он привычно завязал вещмешок и вышел курить в дымный, заплеванный тамбур.

В открытую дверь врывался сухой, жаркий воздух, нес запахи выжженной степи; солнце было с другой стороны, и небо ясное, степь лежала в бурых красках осени, возвышенности желтели ярче, теневые склоны косогоров пролегли темными полосами. Над горизонтом впереди по ходу поезда стояло одно-единственное белое, как снежная вершина, облако, оно напоминало гигантских размеров дирижабль. В сухой балке проскочило мимо село, быстро и неожиданно промелькнула сброшенная под откос железнодорожная платформа; картина распахнутой степи, ее краски, серый тугой столб дыма за горизонтом, от безветрия неподвижный. У самого края горизонта небо от земли было светлее, Савичев подумал, что там еще осталось, вероятно, незапаханное жнивье. Он вообще любил неяркие переспевшие краски, они вызывали в нем чувство тихой, грустной радости, и сейчас он никак не мог оторваться от безлюдных осенних полей, с их тяжеловатыми оттенками потемневшей позолоты, жидким сквозящим небом и мыслями о тишине и хлебе.

Окурок стал прижигать пальцы, и Савичев выбросил его за окно; в Москве теперь скоро выпадет снег — на другой день он уже потемнеет от нечистого воздуха города, но, если снег только-только выпал, он белый, хрустящий. Из вагона вышел мужчина в гимнастерке, на деревяшке, равнодушно скользнул взглядом по орденам и медалям Савичева и, достав кисет, закурил. Опять взглянув на Савичева, протянул ему кисет.

— Закуривай, пехота. Далеко следуешь?

— В Москву. Спасибо, только что курил.

— А-а, Москву. Родом, значится, оттудова?

— Нет, я воропянский, к теткам еду, у них воспитывался. Если б до Воропянска, скоро пересадка.

— Счастливый ты, парень. А меня еще в сорок третьем под Орлом пощупало. Спасибо лето стояло, сутки в овраге провалялся, никак найти не могут. Солнце слева было, потом, гляжу, прямо поднялось, а то и направо покатилось. Так-то, брат, думаю, шарик себе катается да катается, а ты лежишь, гляди, и совсем не встанешь. Звал, звал, охрип, губы свело, больно шевельнуть. Роса упала — полегчало, и в ноге вроде жжег ослаб. А потом...

Инвалид махнул рукой.

— А ты счастливый,— с откровенной завистью закончил он, опять с ног до головы подробно оглядывая Савичева, и отвернулся к окну, приглаживая лохматый крепкий затылок.

Пересиливая желание положить ему руку на плечо и сказать что-то сочувственное, ободряющее, вроде того, что говорил ему танкист в госпитале, Савичев пошел к своему месту; да, война кончилась, война кончилась, и теперь начинался подсчет убытков, подсчет потерь, и когда-нибудь подсчитают все с точностью до килограмма свинца, до одного человека. И тут вступит в силу другой закон: при всей точности цифр и фактов утратится ощущение достоверности, утратится та перехватывающая дыхание боль, когда на глазах умирает товарищ, умирает человек, которого ты знаешь как самого себя, даже лучше, чем самого-то себя. Умирает, и ты бессилен помочь. Сейчас начнут подсчитывать каждый в отдельности и все вместе, от городов, от государств, от всего мира...

— ...везу вот специально разводить, у меня домик в предместье, травы много,— услышал он глуховатый мягкий голос, его остановили сами слова: «домик в предместье, травы много». Савичев увидел двух мужчин: один — старик лет шестидесяти, с чисто выбритым лицом и сивыми усами, с необычайной доброты детским взглядом; Савичев встретил его взгляд и невольно улыбнулся; второй примерно в том же возрасте, только поокруглее, порумянее, в пухлых руках у него была картонная коробка с проделанными дырами для воздуха, ему-то и принадлежали слова о домике, и он, оживленно жестикулируя над коробкой, открывал крышку, доставая то одного, то другого пушистого седого крольчонка, показывал усатому и, близоруко повертывая зверька перед самыми глазами, объяснял, чем примечательна та или иная порода кроликов и откуда когда пошла. Савичев протиснулся поближе, заглянул в коробку; пухлый старик вскинул голову, инстинктивно прикрыл коробку. Он заметил ордена Савичева, вынужденно улыбнулся и, отодвигая от себя коробку, пригласил:

— Интересуетесь, товарищ фронтовик? Прошу, прошу, удивительные животные. Приходится кормиться, внуков воспитывать надо, отец-то не вернулся. Это вам не раньше, раньше, бывало, я и на курорт ездил, сейчас вот кроликов развожу. Только вспоминать и остается. Знаете, лежишь на гальке, слушаешь море, думаешь, и взбредет в голову

нечто фривольное. Знаете, этакие нагие грации, в дымке резвятся, танцуют... Капут, как немец говорил, жизнь прошла.

— Старый, старый, туда же, хрыч,— вмешалась молчавшая всю дорогу пожилая женщина в ватной стеганке, с тяжелыми, раздавленными работой ладонями.— Вот ваш брат, кобель, на ладан дышит, а туда же стремится...

— Позвольте, позвольте,— изумился румяный старик с колючим холодком в глубине неменяющихся глаз,— вы почему же ругаетесь, товарищ гражданка? Я же в таком, так сказать, эмоциональном плане...

— Ладно, дед, что ты мне заправляешь! — женщина подняла темную ладонь, словно отрубила.— Знаем, вот у нас в деревне такой же серьезный дедок, Калинка его все звали, весь век девкой цветет — румянится. Сына в армию взяли, так он на ту же ночь к невестке полез, баба из дому в одной рубахе ушла. Вот так-то бывает...

— Дура! — неожиданно звонко выкрикнул румяный старик, обвязывая коробку с кроликами шпагатом.

— А-а, ну тебя, старый!

Савичев снова забрался на полку и лег, представляя, как встретят его тетки и что он будет им говорить, в этот момент он опять был вполне счастлив: впереди был дом, и его ждали, будут рады ему, а вокруг озабоченные, уставшие за войну русские женщины, крестьянки, поднимавшие детей, пока мужья и отцы воевали, ужасали Европу своим аппетитом, и темпами, и возможностью пройти сгоряча, не задерживаясь, не только Германию, но и все остальное на старом, потрясенном континенте вплоть до самого океана.

5

И опять солнечный день — тихий, без ветра.

— Боже мой, боже мой,— обессиленно отступила назад Таисия Дмитриевна, чистенькая, седенькая старушка с чуть заметно вздрагивающей головой и удивительными, сохранившими небесно-голубой цвет глазами.— Антоша! Антошенька! Мальчик мой! — она никак не могла заговорить в голос, захлебываясь торопливым, горячим шепотом.

Савичев стоял у двери, опустив вещмешок на пол и не выпуская лямок из руки, и никак не мог оторваться от порога и пойти тетке навстречу: внутри в нем все захоло-

дело, он глядел молча, не меняя выражения лица. Он не мог ничего выговорить, стоял и стоял у порога и глядел, как маленькая Таисия Дмитриевна тянет к нему вздрагивающие руки с морщинистыми темными ладонями; наконец он сдвинулся ей навстречу и обнял, неожиданно заплакал ей в плечо, облегченно, совсем по-детски всхлипывая и вздрагивая, словно никуда и не уходил из этой комнаты и словно ему девять, а не двадцать шесть.

— Успокойся, Антошенька, мальчик, родной,— говорила Таисия Дмитриевна, сама плача от радости, от кончившейся, наконец, тяжкой неизвестности, оттого, что он, их Антошенька, совершенно живой, невредимый, и как возмужал, огрубила его война, и лицо разительно изменилось, и если бы не глаза, она бы сама его не узнала.

— Танечки нет, ах ты боже мой, боже мой, мы так измучились, она в редакцию ушла... Вернется часа через три. Да ты почему молчишь, Антоша?

— Не знаю,— сказал он, бережно целуя ее в голову, в чисто промытые седые волосы.— Не знаю, разучился говорить.

— Садись, садись, Антошенька,— заторопилась Таисия Дмитриевна.— Сейчас ванну приготовлю. Или ты сначала поешь с дороги? У нас немного муки есть, оладьи сделаю.

— Спасибо, тетя Тася, ничего не надо пока,— он жадно оглядывал комнату: тяжелая старинная обстановка, знакомые кресла с высокими резными спинками, дерево от времени еще больше потемнело. Таисия Дмитриевна, перехватывая его взгляд, торопясь, сказала:

— Заходи, заходи к себе, боже мой,— Таисия Дмитриевна молитвенно сложила руки на груди,— словно ты и не уходил. Я каждый день пыль вытирала. И книги те же — я даже старые игрушки твои на место поставила: на полочку у двери, достала из кладовой. Черного медвежонка относила в мастерскую починить, опять стал пищать.

Она замолчала, тревожно и счастливо следя, как племянник идет к двери в свою комнату, медленно берется за ручку, и дверь поддается, открывается с коротким скрипом вверху; и скрипит так же, думал Савичев, не решаясь перешагнуть еще один порог, и вдруг заметил прямо перед собой свой ранний рисунок в рамке за стеклом: зимний сад в бурю, голые, встревоженные яблони и растрепанные, уносимые ветром обессиленные птицы; он шагнул через порог, подошел к столу, попробовал стул, потрогал ко-

решки книг на стеллаже, затем подошел к окну и, посмотрев во двор, оглянулся: Таисия Дмитриевна замерла на пороге и, встретив его слепой, отсутствующий взгляд, почему-то шепотом сказала:

— Ты побудь, Антошенька, один, побудь, пока я управлюсь, дверь прикрою, я сейчас.

Он поглядел на закрывшуюся дверь и лег навзничь на старый продавленный диван, положив ноги на кожаный истертый валик. На потолке в одном углу зацветала сырость, видно было, что с этим боролись, неумело соскабливали и затирали; Савичев прикрыл ладонью глаза и тотчас вскочил, опять подошел к окну; она такая, тетя Тася, другой такой нет, умница, ушла именно тогда, когда это было особенно нужно, и не надо думать, как себя держать! Умница, золотая. Он рывком, легко встал на руки посередине комнаты и прошелся. «Ничего,— сказал он себе.— Ничего. Здорово. Живой и дома. Моя комната, мой стол. Стоп». Он подошел к шкафу, распахнул дверцы, снял с плечиков пиджак и стал его рассматривать, прикладывая к себе.

Пиджак был явно мал — и рукава коротки, и в плечах узко; Савичев сбросил гимнастерку, попробовал натянуть пиджак и беспричинно засмеялся, насколько он стал плотнее и шире. Вещи стареют тоже, как люди, сказал он себе, вешая пиджак на плечики и примеривая брюки, которые не сходились в поясе, ноги из них торчали на удивление неуклюже, как на тряпичной кукле. И люди не знают, что делать и как залатать неожиданную брешь. А тетя Тася совсем не постарела за четыре года, законсервировалась, такая же чистенькая, аккуратная, ну до чего же он сейчас ее любил, даже самому стыдно от этой глупой розовой нежности. Впрочем, чепуха, никто не видит, можно позволить себе, он школьник шестого класса, и начались каникулы, и можно поваляться, потешиться в постели и поспать, и тетки за дверью переговариваются громким шепотом, боясь разбудить, а он все равно слышит, у него слух обостренный, он и сам порой страдал, слыша то, чего ему не хотелось и не нужно было слышать.

Он опять лег на диван и, сдерживая себя, долго лежал на спине, рассматривая потолок, высокий, зеленоватый: давно не белили. Проходили минуты, а он глядел и глядел, ни о чем не думая и все больше успокаиваясь от детского чувства безопасности, от возможности лежать сколько хочешь и делать что хочешь; и незаметно заснул, повернув-

шись на бок и подложив ладонь под щеку; он успел упрекнуть себя, что нехорошо сейчас спать, надо дождаться тетю Таню. Он уже не слышал взволнованно-радостных голосов за дверью, не увидел, как в комнату вошли две старушки, удивительно непохожие одна на другую (высокая, с плоской, прямой грудью Татьяна Дмитриевна и приземистая, толстенькая как шарик Таисия Дмитриевна); они стояли над ним и старались сдерживаться друг перед другом, лишь переглядывались помолодевшими, посветлевшими от неожиданного счастья глазами, затем на цыпочках, неловко ступая от старости, вышли, достали деньги, шепотом обсудили покупки, и Таисия Дмитриевна ушла, взяв большую сумку, а Татьяна Дмитриевна, надев белоснежную блузку — в цвет своих белых, высоко взбитых волос,— бесшумно двигаясь по квартире, еще раз перетерла парадные тарелки из вынутого по такому случаю старинного сервиза, и временами подходила к двери комнаты Антона и затаив дыхание прислушивалась.

6

Еще не открывая глаз и полностью не проснувшись, Савичев почувствовал, что уже поздний вечер, часов одиннадцать, и очень хочется побриться; он открыл глаза в теплый домашний полумрак, верхняя, застекленная половина двери притушенно светилась сквозь занавески. Форточка была открыта, и в комнате легко ходил ветер и холодил лицо.

Тетки были в соседней комнате — это он сразу почувствовал и торопливо подхватился с дивана, пригладил волосы и быстро вышел, распахнув дверь. Тетки сидели за столом одинаково прямо и повернулись к нему одновременно. Таисия Дмитриевна осталась сидеть, а Татьяна Дмитриевна встала и стремительно пошла ему навстречу.

— Здравствуй, Антон,— сказала она, наклоняя ему голову и целуя в лоб сухими губами.— А ну дай, дай я на тебя погляжу,— стараясь не показать всей взволнованности и беспомощности, она поправила пенсне.— Дай я на тебя полюбуюсь, солдат. Молодец, молодец, Антон, какой ты молодец, что пришел... Допустим, радость наша эгоистична, но, товарищи, что это со мной?

Савичев подхватил ее, и, крепко придерживая за плечи,

повел, и насильно посадил в старое высокое кресло, смущенно погладил ее по плечу, попросил:

— Не надо, не надо... не волнуйтесь так, тетя Таня.

Только тут Савичев увидел старательно, даже изящно сервированный стол, старинный сервиз, выставляемый в самых торжественных случаях, тоже был на столе, на тарелке лежали огурчики, и стоял хрустальный графинчик, в котором тетки всегда держали смородиновую настойку,— такой знакомый-знакомый. Нет, просто удивительно, что он никак не бьется, живет себе и живет, видно, вещи тоже имеют свою судьбу, длинную и короткую.

— Пойду умоюсь,— сказал Савичев,— сразу уснул, как провалился.

— Там чистое полотенце на твоем крючке,— Таисия Дмитриевна что-то невидимое смахнула с белоснежной скатерти.— Там и зубной порошок, и щетка, все новое.

— Спасибо,— Савичев торопливо вышел; его здесь любили и ждали, а он расплылся в своих ощущениях и не писал, как смел он им не писать, скотина! Он постоял в ванной, успокаиваясь, критически разглядывая себя в зеркале над умывальником, и к нему возвращалось забытое ощущение близости с этой треснутой огромной ванной, пожолклой от времени, с высоким потемневшим зеркалом, с истертыми плитками пола. Его ждали за столом, однако он никак не мог решиться выйти, будет трудно рядом с ними, готовыми ради него на все,— они по-прежнему ждали от него многого со всей своей ясностью и любовью, а он не прежний и никогда не сможет быть прежним; защищая в себе неожиданное чувство отчуждения, он думал о погибших в войне, о грубости, о том, сколько молодых, таких, как он, и моложе, умерло на его глазах, их тоже ждали и любили. Пересиливая себя, он умылся, долго мял полотенцем лицо, затем вышел к теткам и опять испугался странному отчуждению в себе; слушал, улыбался, кивал, отвечал на вопросы и был чужд, далек от всего, что они говорили и делали; он безжалостно подумал, что они скоро умрут от старости, и удивился своей безучастности. Он выпил рюмку кисловатой настойки вместе с Татьяной Дмитриевной; она закашлялась, взялась за грудь, а Таисия Дмитриевна сделала испуганные глаза, затем засмеялась, мелко собирая морщины вокруг рта и у глаз.

— Господи, Таня, ты с ума сошла,— сказала она, пытаясь унять приступ смеха.— Безалкогольное же совсем.

— От радости,— хрипло отозвалась Татьяна Дмитриевна и закусила кусочком огурца.— Я тебе еще налью рюмочку, Антон, да ты, вероятно, привык к водке в солдатах, Антоша?

— По сто грамм пил; только однажды, когда границу Германии перешли, больше выпил. Сразу свалился и уснул.

— Ешь, ешь, Антон, рыбки возьми. Мы не догадались насчет водки, в другой раз.

— Ты вот еще пирожков не пробовал...

— А это грибки нам соседка, ты должен помнить, Капитолина Семеновна, принесла...

— Капитолина Семеновна,— равнодушно, пытаясь скрыть равнодушие улыбкой, сказал он.— Как же, очень хорошо помню. Она оставила сцену?

— Для нее это оказалось непосильной жертвой,— засмеялась Татьяна Дмитриевна.— Вот грибов привезла откуда-то из гастрольной поездки. Говорит, талант у меня только-только входит в силу. Это она так говорит, я что-то хороших отзывов о ней не слышала, грибы только и привозит, рецензий нет. Ну, Антон, что же с тобой было, почему ты не писал? Нельзя было? Мы с Тасей едва с ума не сошли.

— Ранен был, тетя Таня, в госпитале долго лежал. Но это уже позади, в прошлом.

— Ну и ладно, и хорошо,— торопливо согласилась Таисия Дмитриевна.— Тут тебя недавно вспоминали, встретилась я с Герасимовной, из соседнего дома напротив, помнишь, у нее еще громкая история была, ну вот и вспоминали тебя. Говорю ей, непременно Антон живой, нет никакого тяжелого чувства и по ночам спокойно. А она говорит, ничего заранее нельзя знать. Видишь, я права оказалась.

Из крана на кухне все так же капала вода, непостижимо, ничего не изменилось, словно и не было этих четырех лет.

— У Герасимовны несчастье,— продолжала неторопливо говорить Таисия Дмитриевна, словно нанизывая слова.— Ноги у нее отнимались дважды, а вот теперь совсем обезножела, работать нельзя. Пенсию положили сто семьдесят рублей, на них много не купишь. А тут еще сын искалеченный вернулся — и тоже без обеих ног, бывает же такое...

— Как — Ромка?

— Представь себе, Рома, сын Герасимовны. Одну ногу чуть ниже колена отняли, другую возле щиколотки.— Таисия Дмитриевна нагнулась, показала.— Герасимовна редко выходила на воздух, теперь совсем слегла. Не встает. Третьего дня заходила навестить — не жилец она на этом свете, нет. А Рома — негодник, вместо того чтобы ободрить да поддержать мать, сам всех в тоску вгоняет. Все пропил, напьется, а ночью весь дом поднимает. «Удавлюсь,— говорит,— кому я такой на свете нужен? Прости меня, мама, несчастный я калека, прости!» Талантливый был мальчик, в самодеятельности, помнишь, Таня, всех переплясывал? И винить его кто же сможет?

— У тебя все талантливые, Тася,— недовольно косясь на племянника, сказала Татьяна Дмитриевна и сделала сестре строгие глаза,— обыкновенный был юноша, самый заурядный, но это не умаляет трагедии.

Савичев хорошо помнил Ромку Копылова, сына Герасимовны — дворничихи из соседнего двора, он живо представил, как Ромка воет густым, противным басом (почему басом?), и ему стало нехорошо; он потянулся к графинчику, жалея, что там не водка, вылил в рюмку остаток настойки, поднял рюмку: «Ну, за вас!» — и выпил. Тетки определенно считают его мальчиком по-прежнему, боятся вредных влияний. «Самое главное — оградить мальчика от вредных влияний улицы,— вспомнились ему слова Татьяны Дмитриевны,— ты ему очень потакаешь, Тася, так нельзя».

— Что же он собирается делать? — спросил он тихо, имея в виду Ромку.

— Работает, если это можно считать работой,— быстро ответила Таисия Дмитриевна.— Сначала сапоги у Курского вокзала чистил, теперь, говорит, выжили его оттуда, место выгодное, на Кузнецкий перешел. Это Герасимовна говорит, я им хлеб иногда заношу. Работы много, и заработок, говорит, приличный. Даже, говорит, по десятке дают.

— А раньше он все хотел летчиком стать,— вспомнил Савичев.

— Мало ли кто чего хотел,— вмешалась Татьяна Дмитриевна, стараясь прекратить неприятный и тягостный для всех разговор и взять в свои руки инициативу.— Ты, Антон, ешь, надо тебе вымыться хорошенько с дороги, я тебе ванну приготовлю. Теперь у нас есть мужчина в доме.

— Ванна вычищена давно, блестит,— перебила ее Таисия Дмитриевна.

— Посидим еще, после, успеется,— попросил он.— Вы хоть расскажите о себе, как сами жили? Немножко...

— Жили не хуже и не лучше других, Антон. Как все, о нас ли разговор теперь.— Татьяна Дмитриевна, досадуя, что ее заставляют против воли вспоминать о неприятном, о старости, о болезнях, шумно выдохнула воздух, сложив трубочкой губы.

— Я вот по-прежнему о театре пишу, с ремесленниками воюю. Тася, как и раньше, хозяйствует. Может, и бросила бы писать, да вот книжку одну задумала — «Друзья мои, актеры». О современной манере игры, о скуке в зрительном зале, о тоске человека по несделанному. Одним словом, подвожу черту. И баста!

— Ну, об итогах, я думаю, рано, тетя Таня, а?

— Никто ничего не знает, Антон. Нужно быть готовым ко всему. Мы что, ты вернулся, мальчик, это хорошо. Четыре года, Антон, много, очень много, и какие годы. Сразу не расскажешь. Вот и Инна Голышева, все вы с ней дружили, по выставкам бегали, вот и она...

Татьяна Дмитриевна помолчала, обдумывая. Савичев терпеливо ждал, улыбаясь про себя смущению теток, их боязни что-то ему сказать; смешно, насколько они наивны, время сделало свое: что трагично в семнадцать, забавно в двадцать шесть; забирает понемногу смородиновая настоечка, милые вы мои, хорошие, не надо оберегать Антошу. Замуж вышла Инна, родила? Татьяна Дмитриевна, почти безошибочно улавливая его настроение и не желая выглядеть перед ним смешной, решительно отрубила:

— Замужем Инна за человеком лет на пятнадцать себя старше. Врач, ученую степень имеет, я их однажды видела мельком на лестнице, она с ним в гости к своим приходила. Мужчина еще, конечно, в силе, цветущий, она рядом с ним не оскорбляет...

— Таня,— робко вставила Таисия Дмитриевна,— говорят, не живут они уже, мать ее на лестничной площадке костила, де, неблагодарная, такого человека не оценила, ко мне дорогу забудь, к ней то есть. От такой матушки за черта с рогами выскочишь, не то что за доктора.

— Видишь, Антон, бабьи судьбы, они по-разному ложатся. Ты что, Антон?

— Спасибо, ничего, я из-за стола встану, на диван пе-

ресяду. Старый друг, как человек, честное слово,— он погладил вытертую, побелевшую, потрескавшуюся кожу и засмеялся.— Значит, Инка замуж выскочила? Вот как... Поэтическая душа, тургеневская девушка, так, кажется, вы изволили ее окрестить, милые дамы? И туда же замуж, как прозаично, да еще за доктора со степенью и склерозом!

— Мечта и жизнь редко совпадают, Антон.

— Да нет, я так. Все правильно, по чистой науке. В Москве, конечно, живет?

— В Москве, дня четыре тому назад с матерью ее встретилась.— Таисия Дмитриевна оживилась.— Ругает дочь-то. В Крым куда-то укатила. Такая, говорит, сякая, по Крымам раскатывает, нет чтобы матери хотя бы завалящую путевочку.

— В Крым?

— Поехала, говорит, к подруге, знаем, говорит, этих подруг. И мужу досталось, ученый, говорит, а дурак, тюря гороховая, бабы не смог удержать.

— И молодец, насильно не удержишь,— решительно вмешалась Татьяна Дмитриевна, и Антон засмеялся. Тетушки верны себе, всегда в разные стороны тянут, как в крыловской басне.

— Не смейся, старайся понять,— мягко оборвала его Таисия Дмитриевна.— Все люди. Что она, самостоятельной жизни захотелось, какой-никакой, а хозяйкой пожить, мать у нее не дай бог, сам знаешь. Нет, не вина здесь, беда, может, она еще и счастливая будет со своим доктором, помечется и вернется; кстати, он очень приличный человек, среди молодежи такого не найдешь. Бабьи судьбы, они поразному ложатся. Искусствоведческий ведь кончила, работает в театральном музее, Бахрушинском...

— А мужские?

— Мужчина — другое, Антон.

Наверное, он подумал о письмах от Инки, надо будет их уничтожить, все это его теперь не касается, чужая жизнь, вот почему они так внезапно перестали приходить. Значит, замуж за товарища доктора, и никаких тебе гвоздей. Эти сентименты, разъезды — вздор. Милые бранятся, только тешатся. Выход исключительно разумный, правильно, все правильно. Глупо сидеть и ждать, если подвернулось нечто реальное и надежное, недостойно любой уважающей себя женщины. Умница Инка, товарищ доктор, профессор, а? Очень разумно, и людям поучительно, и добрым молодцам

пример. Все понятно, Инка, теория разумного эгоизма, я не в обиде. И потом, что такое Бахрушинский, какие-то скучные каталоги, музейная пыль. То ли дело — жена почтенного доктора, и наплевать, что он старше. Что такое, возвысил голос? Сопляк, мальчишка, даже обнять, поцеловать как следует не мог. А сейчас? Кавалер орденов и прочее? Человек без профессии, и главное, ничего не желающий менять, законченный хлюпик, растяпа, червяк передавленный, извивается, а ползти не может. А моих старушек хорошо бы изобразить в мягких серых тонах, этакие встревоженные серые мыши, недоумевают, поводят усами.

Тетки примолкли, глядя на него, и он, встряхиваясь, сказал, что хочет отдохнуть, и торопливее, чем следовало бы, ушел.

Постель была разобрана, на стуле лежала старая пижама, у кровати ровно стояли шлепанцы без пяток.

7

Где-то часа в три он открыл глаза, пошел в ванную, прополоскал рот и напился прямо из-под крана (все не проходил неприятный пресный вкус во рту от смородиновой настойки), затем вернулся и лег опять; но заснуть уже не мог, в комнате от окна шел слабый желто-зеленый дрожащий свет. Ну теперь пойдет, теперь начнется, не заснешь, хоть глаза коли, лучше бы спалось еще два месяца, а хорошо бы и совсем не просыпаться, спят же по нескольку месяцев медведи, и снится им что-то лохматое, шевелящееся и коричневое, похожее на теплый таежный мрак ночью, без проблеска.

Савичев подтянулся на руках и сел. Как же он раньше представлял себе минуту, когда вернется домой и сможет лечь в свою постель? Когда ему становилось т а м совсем отвратительно мерзко, он начинал перечитывать ее в общем-то простенькие и оттого особенно дорогие письма, они напоминали о самых обыденных необходимых вещах, например, о невозможности просто посидеть, греясь на солнце, или почитать умную книгу, или сходить в кино, потолкаться на улицах или постоять перед любимым полотном и снова (в который уже раз!) ощутить, как тихо и больно сожмется сердце, когда в изумительном сочетании тонов, в одном чувстве, в ответной теплоте сердца, трону-

того человеческой болью или радостью, проглянет непостижимо глубокое тихое терпение, а то и изумление перед жизнью, как у нестеровского отрока Варфоломея; и через лесные дали, одинокую фигуру святого старца и обыкновенный пастушеский бич является вдруг дыхание всей огромной и сумеречной Руси с ее монастырями и таинствами.

А там, на другом конце мира и по другую сторону жизни, много деревень, и сел, и просто поселков в три-четыре избы, нет, не хватит никакой головы все их запомнить, не помнит он и той деревеньки на Брянщине, а может, уже и на Черниговщине, где остались одни обгоревшие остовы печей и где их батальон отрыл позиции и ждал приказа наступать дальше. Это и сейчас проходит в памяти, выворачивается изнутри, как боль, даже руки опять затвердели, напряглись, и к горлу подступает тошнота. Он выполнял всего лишь свой солдатский долг, стоял на посту, и ночь была осенняя, тяжело и густо пахло перестоявшими бурьянами, метрах в двухстах чернела роща, вчера он ходил посмотреть. Его сменили, утром он опять заступил, да, да, точно, потом батальон ушел вперед, а его и еще троих оставили всего на одни сутки у грязных штабелей трофейных снарядов и мин, пока подоспеет саперная часть. И день прошел хорошо, и ночь, стало уже рассветать, когда ему пришлось опять заступать на пост, и он, не успев окончательно проснуться, ходил взад-вперед, часто зевая, затем прислонился плечом к высокому штабелю противотанковых мин в коричневых деревянных ящиках; начинали наливаться светом окрестности, резче проступала роща. Слишком здорово это было, и рука уже привычно нашаривала карандаш, он просто на минуту забылся от обилия красок, и рванулся, когда было уже поздно: тяжелая, сильная ладонь больно зажала ему рот, а кто-то рванул из рук автомат. Совсем рассвело, он зачем-то был им нужен живым, иначе бы его прикололи сразу; их оказалось четверо: три немца и один русский, как потом выяснилось, из особой эсэсовской команды, они были хорошо вооружены и сильны, он это понял по тому, как крепко и уверенно его держали, и он с выступившими от стыда горячими слезами, что прозевал, прокараулил, и не будет ему никакого оправдания, и, может, это немецкая разведка, на войне все случается — и непонятные, ненужные отходы и совсем неожиданные по глупости наступления. Он ослабил мускулы,

готовясь, он принял решение и только хотел чуть-чуть повременить, собраться с силами.

— Раздевайся,— сказали ему, он не заметил, кто сказал, но сразу понял: им нужна его одежда и документы, ну, может, еще что, затем они сразу его прикончат. Он видел нацеленное в грудь толстое рыло автомата, и медленно расстегнул ремень, пуговицы, и стал стягивать гимнастерку; он нарочно сразу не расстегнул пуговицы на рукавах и сделал вид, что путается; на него настороженно и отчужденно-безжалостно глядели четыре пары глаз, для них его уже не было, и Савичев знал, что стоит ему снять сапоги и стянуть брюки, они его придушат. Он не мог представить, как это все к о н ч и т с я, но странное чувство конца начинало овладевать и руководить им, и он тянул время, движения его стали предельно точны, во рту появилась сильная сухая горечь; там, за его спиной, за штабелем мин кварталами тянулись другие штабеля мин, целый город, и минуту назад он мог бы все взорвать. Он знал, ребята сейчас спят, а может, их тоже больше не существует, и в этом виноват только он. Он не заметил, что подумал о себе в прошедшем времени. Вот так и складывается: тут немного себя пожалел, там дал себе волю, чуть-чуть отпустил поводья — и вот тебе судьба.

Освобождаясь от рукавов, он стал думать, куда положить гимнастерку; он тянул время; гимнастерку взял один из немцев, густо заросший и грязный; и в тот же момент Савичев бессознательно рассчитанно ударил ногой по автомату, направленному в него, отбросил сильным ударом плеча еще одного, худого, в больших роговых очках, и вильнул за штабель: тело само безукоризненно рассчитывало каждый шаг, он бежал загзагами, от штабеля к штабелю, накоротке оглядываясь и видя то тут, то там смутно мелькавшие фигуры; неожиданно он вспомнил о своих и заорал:

— Ребята! Ребята-а-а! Сюда!

Савичев услышал автоматную очередь: ага, стреляли свои, он съежился за углом штабеля, он слышал: кто-то догоняет, тяжело дыша и топая. Савичеву нельзя было выбежать на открытое место, и он ждал; опять послышались стрельба и крики, немцы постреляли из-за штабелей, затем стали отбегать к лесу, и в это время, руководимый все тем же внутренним чувством равновесия и безопасности, Савичев бросился на набежавшего на него из-за штабеля

человека, единственного русского из четверых, которому, очевидно, нужнее всего была его, Савичева, одежда и документы; тот упал, был он заматеревший, лет тридцати пяти и сильнее Савичева; когда Савичев сверху грудью придавил его и пытался схватить за горло, тот легко оторвал его руки, вывернул под себя, и Савичев лицом почувствовал чужое горячее дыхание из открытого рта, и вдохнул это тяжелое дыхание, и увидел рядом желтые тесные зубы во рту, напрягшийся язык и сосредоточенную ненависть в глазах. Неизвестный был совершенно рыжий, волосы, брови, щетина, кожа на лице и на руках, даже веки — все светло-рыжее. Кричать и звать на помощь было нельзя, Савичев понимал, что это сразу бы обессилило его; однако и его опытный противник, озлобленный неудачей, озверел; собственно, Савичев ему был теперь ни к чему, и он, подминая под себя Савичева, больше думал о том, как проскочить долгие двести метров до рощи, и торопился разделаться; он ведь и бежал-то не за Савичевым, хотел, почуяв неудачу, выкроить более короткий путь, когда поднялась тревога. Чтобы действовать наверняка, он выпустил автомат и, ломая Савичеву руки, потянулся к его горлу, стараясь не дать ударить себя сзади ногами; Савичев ухватился за его запястья, но руки с короткими сильными пальцами все приближались, они вздрагивали от напряжения, и Савичев впервые в жизни ощутил, что смерть близка, вот, рядом, в вершке от глаз, и он не выдержал и завизжал, яростно, срывая голос, в то же время выгибаясь всем телом под тяжестью и стараясь отвести от себя чужие безжалостные руки; от напряжения рыжий чуть приподнялся, перенося тяжесть всего тела на одни руки, и это, наверное, спасло Савичева, он ударил рыжему сзади коленом в пах, вложив в удар всю ярость и страх перед смертью, и тот не выдержал боли и ослаб на несколько мгновений; Савичев столкнул его с себя, схватив автомат, но ударить не успел: у рыжего оказалась граната, он выдернул шнур и подбросил ее к ногам Савичева, и сделал он это скорее бессознательно, все еще корчась от боли. И тут Савичев допустил ошибку: можно было отшвырнуть гранату от себя ногой, а он нагнулся, схватил ее и, забыв обо всем, слепой, в безрассудстве от унижения перед физической силой рыжего (чувство унижения только теперь пришло к нему и сразу перехлестнуло, задавило все остальное), прошел к рыжему с чувством страшной, смертельной силы, с гранатой

в руке, чуть выставив ее, и в упоении своей силой в каких-нибудь четыре-пять секунд Савичев видел, как, отодвигаясь задом по земле, пятится от него рыжий. Где-то внутри у Савичева были часы, отсчитывающие тысячные доли секунд, ни до того, ни после Савичев не испытывал подобного состояния власти над собой, над своей жизнью и смертью, над временем, над всем, что было перед ним и вокруг него, он нес в руке гранату, обыкновенную гранату — железная упаковка, тол, холодный, тяжелый, способный в мгновение освободить всю свою силу, и Савичев знал, как коротка и беззвучна та искра, что вот-вот соединит два состояния, два мира: покой и движение, жизнь и небытие. Савичев видел на лице у рыжего крупные капли пота, только теперь он оценил, с каким сильным зверем пришлось ему столкнуться. Широкая, выпуклая, больше его собственной вполовину грудь, мощные вислые плечи, короткая корневая шея, длинные руки. Ах, гад, хорошо, хорошо, ах ты, скотина, хотел меня задавить, ах ты, гад, задавить меня, ах ты, грязная сволочь, перевертыш...

Сейчас она взорвется, сказал он себе, потому что внутри кончился отсчет времени, секунды остановились. Сейчас она взорвется, сейчас, сейчас, сейчас — ему показалось, что он прокричал это слово сотню раз в ожидании самого главного в своей жизни, самого необходимого, того, что нельзя уже отдалить и от чего нельзя отказаться; он не смог зажмуриться, хотя в какой-то момент увидел в руке яркий, слепящий сноп, больно ударивший по глазам, пальцы свело судорогой, он видел свои напрягшиеся окаменевшие пальцы; звонкая сила прошла по его телу, отдалась болью в голову, и он, желая покрепче стиснуть пальцы на гранате, подчиняясь посторонней силе, прошедшей по его телу, в самый последний момент оттолкнул гранату от себя к рыжему и повалился на землю, пряча вниз лицо, и граната взорвалась где-то посередине между ними, и его бесцеремонно и горячо цапнуло за затылок, и он провалился в яркий, многоцветный туман и отдаленный грохот, и у него по-прежнему оставалось чувство своей силы — он все-таки превозмог себя, заставил.

Возвращение началось с запаха гари, и, когда он открыл глаза и увидел звезды, ничего не понял. Где он, зачем? Непроизвольно дернулась рука, он вспомнил о теле, шевельнулся, и к нему сразу вернулась память, руки были целы, ноги тоже, а вот голову он не мог оторвать от земли;

даже не притрагиваясь к ней, он чувствовал, что она распухла до огромных размеров и болит. Он лежал в разорванной нижней рубашке и, несмотря на теплую ночь, весь закоченел, хотелось пить, мучительно хотелось пить, и чем дальше, тем хуже; он попытался приподнять голову и, упираясь обеими руками в землю, стал садиться, держа верхнюю половину туловища на весу, неестественно прямо, и как только он сел, вспыхнувшая в голове острая боль притухла, и он подождал, пока звезды перестанут кружиться и остановятся. Поворачиваясь всем корпусом, он медленно огляделся, было ясно и звездно, и кое-что можно было различить на земле; шагах в пяти он видел, например, какой-то разбитый ящик, весь в белых изломах дерева. Он опять удивился, почему это он один и где же ребята — Прохоров и Чикин? Или только одному ему повезло? Ерунда, не может этого быть, случайность. И тут он услышал слабый далекий стон и, насторожившись, определил, что стонут совсем рядом; он протянул руку, немного переполз, опять протянул руку и нащупал человека; как только он к нему прикоснулся, тот опять слабо застонал сквозь зубы. Савичев вспомнил рыжего, и ощущение опасности опять вернулось к нему: конечно, стонал рыжий, больше некому тут лежать; Савичев вспомнил взрыв гранаты и осторожно, стараясь не шевелиться, стал кончиками пальцев ощупывать свою голову. Человек рядом опять застонал. Ничего, сказал Савичев себе, ерунда, просто задело осколком, вот и вздулось. Как же так, ага, вот. Савичев натолкнулся на приклад автомата, полузасыпанного землей, и обрадованно подтащил его к себе. Автомат нужен, раз жив остался, придется и отвечать, подумал он, опять ощупывая землю кругом себя и брезгливо, с неприятным чувством вслушиваясь в редкие стоны рыжего. Медленно, отдыхая, Савичев подождал еще; он уже мог встать и идти, но ему мешал рыжий, он стонал все реже и реже, и Савичев не мог преодолеть свою неприязнь к нему; он уже решил уйти и оставить все как есть. Он добрался до штабеля, стараясь не поддаться головокружению и тошноте: слабость давала знать, и приходилось переставлять ноги волоком. Часто отдыхая, Савичев поймал себя на том, что прислушивается; все равно ведь вернешься, издевался он над собой, чего зря пыжиться. Пожалуй, впервые он так беззащитно чувствовал, какая огромная и безжалостная земля вокруг и как он сам жалок, и ничтожен,

и одинок. Что же все-таки с тем, рыжим? Двигаясь экономно и медленно, Савичев вернулся, оберегая голову, удерживая ее неподвижно и прямо, тяжело опустился на колени, почувствовав, как мягко и послушно вдавилась земля. Рыжий лежал ровно, мокрая от крови рубашка нахолодала, и Савичев, притронувшись к этому холодному и мокрому, вздрогнул и отдернул руку. И тут только по-настоящему понял, что остался жив, жив, и заторопился: ночь темнела, сгущалась, после полуночи выкатится луна и станет светло. И еще надо напиться, во что бы то ни стало найти воду — сразу полегчает, во что бы то ни стало напиться.

Савичев поднялся, кровать издала сухой, скрипучий звук, прошел на кухню, снова напился из-под крана и, ежась, начал одеваться. Посмотрел на светящийся циферблат часов, стрелки показывали без пяти шесть; часы были его единственным трофеем из Германии, да и то их дал Колька Новиков, где-то в Берлине ему попалась целая коробка.

Ступая на цыпочках, Савичев подошел к двери и, не включая света, по старой памяти нащупал ключ и тихонько вышел на лестничную площадку. Положительно, можно подумать, что четыре года он просто проспал, лег и проспал. Ни атак, ни трупов, ни сумасшедших переходов, только сон, четыре года выпали из жизни, как выброшенный окурок или ненужная квитанция. Ключ был настоящий, тот же самый, с притертой от долголетия бородкой, знакомый с восьми лет. Ключ ожидал его, висел у двери все четыре года, и сейчас вся острота была от вещей, от узнавания старых дверных ручек, царапин на стенах, скрипа половиц. Он вслепую написал записку, чтобы не беспокоились, если он не придет к завтраку. Тетки, конечно, помнят его привычку бродяжничать; еще подростком он часто уходил с рюкзаком и мольбертом, летом исчезал неделями, и они в конце концов смирились, а Татьяна Дмитриевна даже однажды решилась пойти с ним и все храбрилась, хотя потом полмесяца отлеживалась и охала. Обычно он выбирал для себя самые дальние маршруты, ехал до конца, забредал в самые глухие уголки Подмосковья, рисовал заброшенные церквушки, стариков и старух на завалинках, лесные поляны и озера. Есть же такие удивительные нетронутые места на земле. Он отчетливо помнил некоторые этюды, сделанные в ту пору, особенно

один, выдержанный в голубоватых тонах, даже облетевшим березам он придал тогда синеватое холодное свечение. Его очень хвалили за набросок, говорили что-то об удачном колорите. Надо отыскать, взглянуть на эту нашлепку. Бедные старушки, они в него продолжают верить. Хорошо, разговор вчера ушел в сторону, не коснулся его самого. Очевидно, нужно было иначе написать, объяснить проще и понятнее, но этого он сейчас не мог и, оставив записку на столе, тихонько пробрался через коридор, открыл дверь и вышел на лестницу, ему захотелось побродить по Москве в раннее утро, присмотреться к домам и тротуарам, к оживавшим пустым улицам.

8

К десяти часам пошел дождь, сначала как бы нехотя, короткими набегами, а затем уже и всерьез, сплошными потоками; люди заторопились, улицы и машины стали ярче, но все как-то уменьшилось в размерах, стены домов виднелись неровно.

На Кузнецкий мост он попал уже порядком вымокший и сразу вспомнил, что где-то здесь чистит сапоги Ромка Копылов; скоро он увидел фанерную, выкрашенную в зеленое будку сапожника, она примостилась в каменной сводчатой нише у старых железных, намертво закрытых ворот одного из домов; Савичев пошел медленно, сердце в груди стеснилось, он его сразу узнал; Ромка, низко опустив лохматую голову, приколачивал подкову потерявшему всякую форму от долгой носки солдатскому ботинку.

— Можно?—спросил Савичев, и Ромка, продолжая работать, кивнул:

— Одну минутку, сейчас кончу, садитесь, гражданин.

— Пожалуйста, пожалуйста, я подожду,— чужим, деревянным голосом отозвался Савичев.

Ромка коротко, исподлобья глянул на него и принялся ввинчивать шурупы. Он продолжал сосредоточенно работать, и Савичеву все сильнее хотелось встать и уйти незаметно, застлало глаза, и он торопливо сморгнул неожиданную влагу и остался сидеть. У Ромки нет ног, а сам он здоров как бык, прав был хирург, и раны его пустяки по сравнению с бедой Ромки, вон у Ромки за спиной уродливые, вытертые до блеска костыли. А как они на переменах

орали и бегали по лестницам, каменные ступеньки гудели, а каток? Ромка всегда ухитрялся без очереди сдавать вещи в раздевалку.

— Минуточку, минуточку,— повторял Ромка,— сейчас, гражданин, уже кончил.

— Ромка,— не выдержал Савичев,— Ромка, неужели не узнаешь?

Ромка отложил ботинок и, поправляя брезентовый фартук, все глядел на Савичева и морщил толстый выпуклый лоб.

— А, чтоб тебе... Постой,— сказал он, наконец, и тут же сощурился.— Постой! — приказал он.— Постой, постой... Подожди...

— Ты в седьмом классе воробья мне в портфель посадил... Помнишь, в третьей четверти, тебе по дисциплине «посредственно» влепили.

Савичев видел, как Ромка еще несколько мгновений глядел на него неподвижными зрачками, затем, борясь с собой, больно стукнул Савичева по плечу кулаком и заорал:

— Антон, гад! Ах, черт тебя забери! Антошка! Да что же у тебя с мордой-то?

Он потянулся к Савичеву обеими руками. Савичев наклонился, они крепко обхватили друг друга, поцеловались в губы, от Ромки крепко пахло водкой и еще чем-то острым; Савичеву неловко было высвобождаться из Ромкиных лап, и он тоже тискал его плечи и все с большей тоской чувствовал шеей, что Ромка боится показать лицо и потому так его долго не отпускает.

Ромка сам его оттолкнул:

— Ты, Антон, меня извини. Не тот я теперь, видишь, как баба совсем.

— Да ну, брось, Ромка, слышишь...

В дверях будки показалась голова с чистой ниточкой усиков, с тщательно напомаженными висками.

— Слушайте, у меня времени нет,— сказала голова.— Прошу вас побыстрее.

— Ша! — неожиданно рявкнул Ромка.— Пошел вон, не будет работы.

— Простите, ведь моя очередь...

— Я сказал, не будет!

— Я буду жаловаться...

— А-а, черт! Тебе в рыло надо? — Ромкина рука потя-

нулась назад, за костылем, и голова торопливо исчезла.— Бездельник,— обругал его Ромка вслед.— Развелось их тут за войну... Антон, тебе ближе, поверни там табличку на двери. А то будут приставать, я быстро соберусь, и пойдем.

— Куда?

— Найдем куда, ты об этом не горюй. У меня рядом одна знакомая есть. Женькой звать. Хорошая баба, кассиршей работает. Посидим, потолкуем. Покормит, есть где отдохнуть. Понимаешь,— говорил он, собираясь,— не повезло. Хотя бы одна нога, так нет, сразу тебе и ту и ту. Один протез мне впритирочку подогнали, ничего, чикалекаю, а второй, на правую, никак. Все обещают. А так я без костылей научился бы ходить. Ну-ка, давай лапу. Спасибо.

Ромка выбрался из своей будки вслед за Савичевым, сдвинул обе половинки дверей и щелкнул никелевым замком. Савичев потер шею — резал жесткий целлулоидовый воротничок. Ромка, ловко переставляя костыли и звонко цокая ими по асфальту, запрыгал впереди. Оглянувшись, поторопил:

— Чего отстал? Догоняй. Тут вот, через два дома, рядом.

И хотя это действительно было рядом, Ромка по пути успел Савичеву рассказать о своей знакомой, как он чистил однажды туфли, и ему понравились ее ноги, и он сказал: «Прошу вас, подвиньте ногу»,— и, не дожидаясь, сам взял и подвинул и потом еще раз, уже без нужды, и услышал в ответ мягкий понимающий смех. Он поднял голову: она, точно, смеялась и, смеясь, сказала, что живет тут неподалеку, и пригласила заходить в гости, если захочет, ну с тех пор они и знакомы, а на мужа ей в третий год войны похоронная пришла.

— Девкам, кому я теперь нужен,— закончил Ромка, внезапно останавливаясь перед старичком в пенсне, с чисто выбритым лицом и бородкой, и со злобой заорал: — Ну что, куда прешь, не видишь?

Старичок нервно поправил пенсне, поглядел на Ромкины костыли и торопливо посторонился.

— Простите,— сказал он, и аккуратно подстриженная его бородка задвигалась.— Задумался, извините.

— На улице не задумываются, а ходят,— уже тише ответил Ромка, и Савичев от стыда за его грубость к незнакомому старому человеку и от жалости к Ромке мучительно

покраснел. Ромка взглянул на него, буркнул: «Ладно, пойдем», и до самого места больше не разговаривал, и лишь, тяжело поднимаясь по широкой мраморной лестнице, сказал:

— Видишь, где живет наш брат, пролетарий. Говорят, бывший княжеский дворец под квартиры переделали. У Женьки две комнаты, у нее муж служил каким-то командиром, я не расспрашиваю особо, она и не рассказывает.— И, внезапно переходя на другое, с той же неожиданной яростью в голосе сказал: — Ты, Антон, меня не суди. Я, бывает, всех ненавижу, мне убить хочется, в ладонях даже зудит.

— Смотри, предупреди к случаю,— кивнул Савичев и от желания не показать своей жалости сплюнул под ноги по-солдатски грубо.— А вообще брось к черту. Еще не хватало, он слепой, тот старик, ты разве не видел его окуляры?

— Да разве в нем дело? Во мне самом, внутри завелась чахотка какая-то, точит. Ладно, тише, Антон, не буду. Меня уже припаяли по самой строгой.

Они остановились перед высокой двустворчатой дверью, обитой старым желтым сукном, в двух местах торчал войлок; Ромка проследил за взглядом Савичева, засмеялся и ткнул пальцем в кнопку звонка. «Собственно, чего я с ним пошел,— подумал Савичев.— Ну, у него здесь знакомая, а я тут при чем?»

Дверь приоткрылась, Савичев увидел широкое румяное лицо, кругом — бигуди, женщина сорвала с плеч платок, быстро обвязывая им голову, посторонилась.

— Проходите, пожалуйста,— сказала она.— Здравствуй, Рома.

— Друг вот нашелся, все думали, каюк вышел, а он, видишь, тут как тут. Познакомься, Антон Савичев, а это Евгения Громова. Ты нас, старуха, накормишь? Есть хочу... Руки вот помыть надо. Проходи, Антон, чего уперся? Не бойся,— засмеялся Ромка довольный, что здесь его встречают, как хозяина, и любому постороннему — хотя какой Антонка Савичев посторонний, закадычный кореш школьных лет! — сразу видно, что здесь он хозяин и ему стараются угодить и подластиться, чтобы он, Ромка, не перестал сюда ходить; и плевать ей, есть у него ноги или нет; она вот другого боится, что моложе он на несколько лет, бросит. Ромке такие разговоры были приятны, и, хотя он

добивался, Евгения никогда точно не говорила, насколько она старше, а Ромка знал, что старше она на десять лет и всегда прячет все, что может ее выдать; Ромка сходил в ванную, вымыл руки, умылся и, причесываясь перед зеркалом, опять почувствовал крайнюю злость: лицом он и красив и молод, он всякий раз убеждался, вот ноги бы ему, ноги!

Когда он вышел из ванной, стол уже был накрыт зеленой скатертью с тяжелой бахромой и стоял графин с водкой; Евгения быстро ходила на кухню и обратно, она еще больше разрумянилась и совсем помолодела; Савичев неловко сидел на узком диванчике в углу и украдкой наблюдал за хозяйкой.

— Тебе сегодня когда на работу? — спросил Ромка.

— С двух. Да я Аннушку попрошу, Аннушка выручит, я как-то ее подменяла...

— Договорились. Ох и гульнем сегодня! — Ромка подошел к столу, ловко сел и положил костыли на пол рядом.

— Гость у тебя сегодня,— приятным говорком сыпала Евгения.— Слова клещами не вытянешь.

— Ничего, разговорится, придет час. Антон, в самом деле, давай к столу, пока Евгения Павловна раскачается (Ромка внезапно назвал хозяйку Евгенией Павловной, и Савичев про себя отметил это), мы давай по маленькой. Видишь, селедочка тут есть, вон и колбаска. Да, Женя, вот тут двадцать кусков, товар еще нужен.

— Ладно, потом,— отозвалась хозяйка из кухни, а Ромка, искоса взглянув на Савичева, достал из бокового кармана пиджака тяжелую, завернутую в газету пачку и шлепнул ее на стол; Савичев понял, что это деньги, молча взял из рук у Ромки большую пузатую зеленую рюмку.

— За встречу, Антон,— сказал Ромка, глядя ему в глаза.

— За встречу,— Савичев кивнул, и они выпили.

Ромка придвинул к нему хлеб и селедку, хлеб был хороший.

— Вот так, значит,— сказал Ромка и повысил голос: — Антон, да что ты какой-то вареный? Ты расскажи, как воевал, представляю твоих теток...

— Что рассказывать? Ушел утром, думал, всю Москву обойду, а сейчас вижу — устал.— Савичев засмеялся.— Госпиталь еще чувствуется, не привыкну никак к вольным хлебам.

— Мы как-нибудь в ресторан завалимся. Деньги есть,— Ромка шлепнул ладонью по пачке.— Слушай, а тебе не надо? Взаймы, конечно, а?

— Нет, спасибо, я демобилизован недавно, пока есть.

— Значит, работать теперь, восстанавливать?

— Видимо,— Савичев пожал плечами.— Осмотреться надо.

— Ты, конечно, вернешься в свое Суриковское? Перед нашим братом фронтовиком дорог — запутаешься.— Ромка налил еще и оглянулся: ему хотелось, чтобы Евгения села, наконец, за стол, с ней разговаривалось лучше и как-то легче, приятнее.

— Нет, не вернусь, не хочу, Ромка,— улыбнулся Савичев.— Никуда сейчас не хочу, я ничего пока не знаю. Вот сижу с тобой, ем, пью, и хорошо, что еще надо?

Зазвонил неожиданно телефон. Евгения побежала в другую комнату, стала приглушенно о чем-то говорить и смеяться. Ромка перестал слушать Савичева, пытался уловить, о чем говорит Евгения по телефону, и, только поймав понимающий взгляд Савичева, опять шумно придвинулся к столу, налил водки; Савичев с аппетитом ел рыбные консервы из окуня.

— Знаешь, Антон, понадобятся деньжата, только скажи. Сообразим.

— А ты что, Крез?

Смеясь, Ромка придавил в глиняной пепельнице окурок, послушал, как веселится у телефона Евгения, и, начиная закипать, махнул рукой, опять потянулся наливать.

— Подожди,— хотел остановить его Савичев.

Ромка оскалился:

— Брось, Антон, танцклассы кончились, один раз живем. Крез не Крез, а дела идут, я тебе сказал, а ты как хочешь. Могу для начала две тысячи камешков для зажигалок дать, это тебе тысяч десять будет, а вернешь — две. Не нравятся камешки, ниток с иголками возьми или презервативы — здорово идут, бабы с руками отрывают. Воевать кончили, торговать надо.

Савичев пожал плечами, откинулся на спинку стула, стараясь как-нибудь случайно не обидеть Ромку и в то же время всем видом показывая, что он понимает предложение как шутку, но Ромка, явно не в духе, поморщился, хлопнул жесткой ладонью о стол.

— Конечно, куда уж... Ты теперь в академию наво-

стрился, рванешь за милую душу, рисовать начнешь опять, а здесь дела для убогой рвани. Прости, унизил... Я ведь по-хорошему, по-простецки хотел, поглупел, понимаешь,— говорил он, стараясь показать себя действительно испуганным и забитым и находя в этом непонятное Савичеву наслаждение.

Савичев не выдержал:

— Брось, Ромка! Чего ты ваньку ломаешь? Передо мной-то? Для этого пригласил? Так пошел к черту, мне сейчас и без того тошно.

— Подожди, подожди! — заторопился Ромка, удерживая Савичева, и позвал: — Женя, Женя, хватит, иди сюда!

Евгения кому-то торопливо и громко сказала: «Ну, дорогуша, я тебе позвоню еще»,— положила трубку и вошла.

— Ирина Ганичева звонила,— сообщила она весело.— Просила меня кофточку серенькую вязаную ей продать, замуж кто-то ей предлагает.— Евгения на ходу взъерошила у Ромки густые темно-русые волосы и побежала на кухню.— Я сейчас, мои дорогие, у меня картошка доваривается!

Евгения внесла дымящуюся рассыпчатую картошку, лук, сало на тарелке узкими ломтиками, белую моченую капусту, и села сама, и, поглядев сначала на Савичева, затем на Ромку, принялась уговаривать его все тем же мягким негромким говорком побольше есть и не пьянеть так быстро.

— Мы сегодня гулять будем! — громко сказал Ромка.— Тебе скучно одному, Антон, надо пару пригласить, Женька кому-нибудь позвонит.

— Могу Томке брякнуть,— тотчас согласилась Евгения.— Только он хочет ли?

— Отчего не хочет? — возразил Ромка.— Хочет, конечно, не старик. Держись, Антон, придет тут одна, я ее знаю, ничего старушенция, лет девятнадцать, кажется,— он подмигнул.

Савичев от водки уже опьянел и, все время сжимая губы, сдерживал дурацкий смех, ему все время хотелось улыбаться, и он пытался справиться с собой.

— Отчего же, давай,— сказал он, краснея, чувствуя, что сейчас не выдержит и расхохочется им в лицо.— Давай, пусть приходит, очень любопытно получится.

— Она в аптеке работает, порошки толчет. Чистенькая.

— Провизор, фармацевтический техникум кончила,—

поправила Евгения.— Ешьте, ешьте. Еще выпьем, налей, Рома. Я тоже проголодалась. Немного поем и позвоню Томке. Подожди, Рома, не балуй, ей-богу, есть хочу.

— По телефону меньше болтай, сорока.

— Ладно, ладно,— добродушно отмахнулась Евгения.— Ты бы сам больше ел, ну чего злишься?

Они по-доброму препирались, забыв о Савичеве, он с пьяным любопытством присматривался к ним; графин с водкой опустел, и Евгения унесла его на кухню и там снова долила доверху; Ромка поймал ее за талию, посадил себе на колени и стал целовать в шею сзади; она смеющимися глазами следила за Савичевым и кричала высоким звенящим голосом: «Ромка! Ромка! Брось, Ромка! Щекотно! Ой, я сейчас тарелку разобью!» И Савичев весело хохотал за компанию и ел все подряд на столе: сало, селедку, огурцы, картошку, лук,— и вдруг среди всего этого пьяного раскардаша Ромка столкнул Евгению с колен, легонько шлепнув ее по аккуратному заду, и сказал:

— Раз уж такая пьянка пошла, давай до конца веселиться! Доставай, Евгения, патефон.

— Не надо, Рома,— отчего-то бледнея, сказала Евгения, умоляюще прижимая руки к груди и стараясь подступиться к нему, чтобы обнять.

— Прочь,— сказал Ромка тихо и внятно.— Я сказал — заводи!

Савичев поднял голову и с любопытством поглядел в крупное, искаженное злостью лицо Ромки; было в его голосе что-то заставившее Савичева в минуту протрезветь; Евгения молча вышла в другую комнату и принесла патефон, поставила на узенький столик у зеркала; в комнате, пока она настраивала, подбирала пластинку, стояла абсолютная тишина; Ромка впился взглядом в спину Евгении, и у него на лбу выступил пот; Савичев тоже молчал и ждал. Иголка попалась неудачная, Евгения долго ее меняла. Савичев налил еще водки, но Ромка отказался, и Савичев пить один не стал, поставил рюмку обратно.

— Так не пойдет,— сказал он недовольно,— что вы как на похоронах? Человек должен руководить своим настроением, плевать на все. Ромка! Ромка! Помнишь день, когда нас в армию провожали? Девчонки наши всего натащили...

В это время пошла музыка, вальс «В лесу прифронтовом», и в комнате сразу повисла тягостная пауза; Евгения,

отступив к стене, стояла неподвижно, скрестив руки под грудью, лицо ее резко белело, выделяясь.

Ромка подобрал костыли и быстро, пружинисто встал, выдвинулся на середину комнаты; он был тоже сейчас бледен, с потным лицом, глаза его светились отчаянным напряжением, и он, выждав паузу, прислушиваясь к музыке и к себе, стал быстро перебирать костылями и, тяжело шлепая протезом, начал танцевать, делая какие-то рваные, судорожные, уродливые движения, то раскачиваясь из стороны в сторону и едва удерживая равновесие, то наклоняя голову и изгибаясь всем туловищем. Савичев выпрямился, вжался в спинку кресла; Евгения все сильнее сплетала пальцы, а Ромка, убыстряя ритм, все уродливее раскачивался руками, шеей и туловищем, одним коротким туловищем без ног. Савичев глядел на него остановившимися глазами: он вдруг уловил ритмику этих безобразных, судорожных, странно захватывающих движений, почти конвульсий, у него перехватило горло, еще минута, и он сорвется, задергается сам, стараясь поспеть за летящими, все убыстряющимися тактами вальса. «Все забыть, все, все, забыть как безумие, сойти с ума и забыть»,— он услышал дробный частый сухой стук костылей, и музыка в нем оборвалась.

— Ромка! — раздался напряженный, рвущийся голос Евгении, и Савичев удивленно поглядел в ее сторону: что, разве она еще здесь?

— Ромка, перестань. Давай выпьем, слышишь, давай выпьем! — просила Евгения, не отрывая глаз от Ромки, наливая рюмки неверными движениями, расплескивала на скатерть.

— Стоп! — словно очнулся Ромка и стал как вкопанный и снова заорал нутряным стонущим голосом: — Евгения! Плясовую! Ставь! Э-эх, родимые!

Евгения, прямая, не говоря ни слова больше, сменила пластинку, и у Савичева пошел по телу мелкий озноб; Ромка стал барабанить и шлепать то костылями в пол, то ладонями о костыли, и Савичев увидел его голову, круто и дерзко откинутую назад, и лицо с широко открытыми горячими глазами, с розовой полосой рта и, присмотревшись к этому удивительному, прекрасному и неподвижному лицу, увидел, что Ромка плачет; а ритм убыстрялся и убыстрялся, и Савичев приподнялся с кресла и так замер, не отрываясь от Ромки, не зная, что сказать или сделать,

чтобы как-нибудь остановить это нелепое, дикое движение, пока оно не перехлестнуло за последнюю грань. Сейчас он не выдержит и сделает что-то ужасное, и в этот момент все как-то взметнулось, рассыпалось и опало бесформенными хлопьями.

— А-а! — кричала Евгения, кричала длинно и дико, затем схватила патефон, высоко подняла его над головой, на прямых вытянутых руках, и бросила об пол.

— Я тебе говорила,— твердила она бессмысленно, кусая губы и часто дыша, давая себе полную волю.— Я тебе говорила... Я тебе каменная? Да?

Ромка, глядя на нее посветлевшими глазами, придвинулся к столу и молча сел на свое место, уронив костыли на пол; Евгения подошла к нему сзади и, заплакав, стала целовать его голову.

— Пусти,— хмуро попросил Ромка, непроизвольно дергая мускулами лица.— Ладно, разбила, новый купим. Давай, Антон, выпьем.

Савичев, не дожидаясь, быстро взял рюмку и выпил.

— Вот и пойми,— неожиданно сказал Ромка, хмуро и сосредоточенно глядя перед собою и всем своим видом стараясь показать, что он давно успокоился,— вот и пойми, какой такой зверь человек.

Савичев не слышал Ромкиных слов, вот и еще одна грань войны; да, война позади, но ее горечь только-только набирает силу, разливается по жизни все глубже; вот прибавилось еще одно, пляшущего на костылях Ромку не забудешь, даже если и захочешь.

С фронта он присылал теткам свои рисунки, простые наброски карандашом; перед уходом из дому сегодня он видел их у себя на столе в аккуратно сложенной стопке; а впрочем, все чушь, пусть пляшут с ногами и без ног, какое кому дело, с неожиданной злостью сказал он, заранее решая больше с Ромкой не встречаться, тут никакие нервы не выдержат, а помочь, чем тут поможешь?

Ромка ел селедку, облизывая жирные пальцы; Евгения задергивала занавески на окнах.

— Закусывай, свалишься,— сказал Ромка и, повернувшись к Евгении, хмуро добавил:— Не слышишь? Звонят.

— Слышу,— Евгения пошла открывать.

Ромка вытер рот и руки полотенцем, закурил.

— Наверное, Тамара пришла, она одна совсем осталась в войну, отца убили, мать прошлым годом умерла.

Тамара, худенькая, стройная девушка лет двадцати, с милым, веселым лицом, как-то сразу, уже одним своим присутствием разрядила обстановку, тихо улыбнулась Ромке, кивнула Савичеву, поправила круглый воротничок, смущенно одернула коротенькую ситцевую блузку; да, она хороша, подумал Савичев и покраснел; и он сам, и Евгения, и Ромка знали, зачем пригласили они эту девушку. Чувствуя себя подлецом, он тихо пожал ее прохладную, узкую ладонь, и Евгения тотчас увела ее к столу; она явно обрадовалась приходу Тамары и, стараясь загладить свою неожиданную вспышку, все пыталась завести за столом общий разговор и втянуть в него Ромку, но тот упорно молчал и, подымая очередную рюмку, кивал Савичеву:

— Поехали, что ли?

Савичев, стараясь почувствовать себя свободнее, пил подряд; он совсем забыл о Тамаре, сидевшей рядом с Евгенией, пытаясь припомнить, в каком году они сдружились с Васькой Залеховым, парнем на два года старше его, высоким ясноглазым сибиряком с Иртыша, потомственным охотником, задушевно певшим песни каторжан; он помнил его лицо, помнил год и число, когда Залехов был убит (в сорок четвертом, двадцатого апреля), а вот когда они впервые встретились, он никак не мог вспомнить и мучился. Он поймал на себе взгляд Тамары и передернул плечами.

— Тамара,— сказал он по-пьяному развязно, пряча неловкость.— Давайте с вами выпьем, Тамара, Тома, Томочка.

— Я не пью, спасибо.

— Ну, чуточку, чуть-чуть-чуть,— настаивал он, больше для виду.

— Выпей немного,— поддержала его Евгения, украдкой поглядывая на Ромку и явно переживая.— И я себе налью. Рома, а тебе? Вот, половиночку. Давайте выпьем за дружбу и любовь, не надо сердиться один на другого, а? — Евгения говорила просительно, глядя только на Ромку, и у него где-то в губах, наконец, промелькнула короткая усмешка, и Евгения сразу просияла, словно сбросила с себя груз.— У меня еще таранка есть,— сообщила она.— Выдаю по одной.

Все стали чистить таранку; он опять поймал на себе короткий взгляд Тамары и улыбнулся ей; теперь они каким-то образом оказались за столом рядом; лицо Ромки

виделось косо и неясно, и Савичев, попытавшись выпрямить его, вздрогнул от дружного, общего смеха и еще выпил, а потом нашел руки Тамары, завладел ими и стал ей говорить, что очень ее любит, все время ожидая, что она его разоблачит. Тамара что-то отвечала ему и смущенно поглядывала на Евгению, еще знакомую по матери: мать всегда шила Евгении, и Тамара привыкла относиться к ней снизу вверх, и теперь она смущалась; когда Савичев взял ее руки, она беспомощно оглянулась на Евгению, и та мимоходом шепнула ей:

— Ничего, хватай, раз счастье в руки само идет. А если судьба? Теперь нас, баб да девок кругом, хоть отбавляй.

Савичев зачем-то погрозил Евгении пальцем, ткнулся Тамаре в шею губами, и она осторожно отвела его голову, хотела встать, но поймала насмешливый, понимающий взгляд Евгении и осталась сидеть, расхрабрилась и выпила рюмку водки, показывая себя взрослой и не такой уж рохлей, как всегда думала о ней Евгения, и у нее сразу закружилась голова, а потом стало веселей, и она согрелась.

— Ой! — сказала она, хватаясь за грудь.— Загорелось... ой, Евгения Павловна... ой...

— На вот, закуси,— пьяно посочувствовал Ромка, подталкивая к ней кислую капусту, и она стала быстро есть, и, успокаиваясь, почувствовала себя удивительно доброй, и от души пожалела и Ромку, и Евгению за то, что она любит этого Ромку без памяти, и Савичева за то, что он пьяный и какой-то странный, сидит, сидит и задумается.

— Давайте песни петь,— сказала она,— ну ее, вашу водку.

Она замолчала, заметив еле проступавшие белые следы у Савичева возле ушей, на лбу, и осторожно прикоснулась к его лицу кончиками пальцев.

— А это у вас что?

— Ерунда,— сказал он.— Лицо мне сожгло, следы ожогов...

— Ужасно, ужасно,— сказала она тихо,— папу моего совсем убило. Вам было больно?

— Давайте на «ты»,— предложил Савичев, борясь с желанием обнять Томку и поцеловать ее в полные губы.— Сидим за одним столом чужаками.

— Давайте,— согласилась она и тут же поправилась: — Давай.

— Можно, я поцелую тебя? — спросил Савичев, и она резко отодвинулась, увидела, что Евгения смеется, а Ромка курит и о чем-то думает.

— Целуй крепче,— разрешила Евгения, привычным движением поправляя тесный лифчик.— Мы отвернемся.

Тамара закрыла глаза, вот смешно, целоваться при всех, подумала она и задохнулась от чужих губ и рук, ставших неожиданно приятными.

— Горько! — чему-то обрадовался Ромка, и все выпили, и потом уже Савичев не помнил, что было дальше и как он оказался дома у Тамары, и проснулся где-то после двенадцати ночи раздетый, в чужой постели. Из другой комнаты сквозь щель под дверью пробивался свет, и он, полежав и подумав и ничего не вспомнив, позвал:

— Ау! Здесь живые есть?

Дверь открылась, кто-то вошел, и, помедлив, знакомый приятный голос спросил:

— Свет зажечь?

— Пожалуйста.

Савичев, разожмурившись, увидел и сразу узнал Тамару; она выжидающе поглядела на него, приблизилась.

— Смешной же вы,— сказала Тамара и, вспомнив, поправилась: — Ты. Да, ты,— еще раз повторила она, словно пробуя со всех сторон понравившееся ей слово и подходя ближе.— Воды дать? — Она засмеялась.— Ты ведра два воды выпил, я прямо поверить не могу до сих пор, Антон. Можно тебя называть Антоном?

— Конечно,— отозвался Савичев, присматриваясь к ней и чувствуя, как от внезапного желания мутится в глазах.— Я захватил твою кровать?

— Ничего, я в той комнате лягу, на диване.

— Что вы читаете? — спросил он, глядя на книгу в ее руках и думая, как бы пересилить себя, и справиться с собою, и не показать себя плохо; Тамара присела рядом с изголовьем и положила ладонь ему на лоб.

— Горячий какой... Знаешь, почему-то я ни капельки тебя не боюсь. Как будто сто лет тебя знаю, сначала испугалась, а потом увидела тебя и говорю: хороший человек, наверное, очень хороший. А почему я так решила, сама не знаю. Показалось, и все. Очень ведь больно, когда лицо, а? Мне как-то палец отшибло дверью и то...

Она поглядела на него откровенно и радостно и сказала ему взглядом, что любит его за перенесенную им раньше

боль, за доброту, за то, что он, оказывается, совершенно молодой, когда видишь его рядом, близко, за то, что они встретились, и еще за тысячу разных причин; с тех пор как умерла мать, она совершенно одна на свете, и Савичев понял все это, и ему стало стыдно перед нею, она, конечно, догадалась, зачем ее пригласили Ромка и Евгения; ах, как мерзко, подумал он.

Он закрыл глаза и на ощупь положил руку ей на голову, тихо поглаживая мягкие волосы; она сняла руку и прижалась к ней щекой, а он все лежал и боялся шевельнуться, борясь с собой и в то же время отлично понимая, что выдержать не сможет.

— У тебя кто-нибудь был? — спросил Савичев, попрежнему не открывая глаз, и, не дождавшись ответа, взглянул на нее; у нее было строгое, какое-то осиянное изнутри лицо, и он понял, что спросил глупость, дикую глупость, в то же время был не в силах оторваться от ее лица, отвести или закрыть глаза.

— Нет, никого,— сказала она серьезно, с полным пониманием того, что говорит; она поднялась и стояла, глядя сверху, откуда-то издалека прозрачными, ждущими глазами; она говорила себе, что поступает нехорошо, нужно уйти, она приказывала себе уйти и не могла; она давно, давно представляла, как он придет и скажет: «Я люблю тебя», и вот он пришел, и ее тянет к нему, и ей все равно, и на все наплевать, и радостно своей решимости и непривычно.

— Иди сюда,— сказал тихо Савичев, и она подошла.— Сядь. Ах, Томка, Томка,— перешел он на шепот, притянул к себе и стал целовать, мешали ее открытые глаза, рядом, совсем близко они казались еще больше и прозрачнее; Савичев, уже совершенно не думая ни о чем, зажмурился; вот в чем дело: в комнате горел свет, яркий, раздражающий, и от него такое странное выражение у нее в глазах.

Савичев лежал, неотступно чувствуя рядом ее прохладное тело, и потому не мог успокоиться; еще вчера он не знал о ней ничего, а теперь она близка ему, понятна и необходима, он знает, что и ей хорошо и большего от жизни не надо, это, пожалуй, самое лучшее, когда люди находят друг друга.

Неожиданно он почему-то вспомнил ослепительно белый снег и взрыв единственного, прилетевшего неизвестно откуда снаряда, и вокруг донская степь, белое-белое поле,

и черная воронка, одна-единственная, беспорядочные черные пятна от комьев земли; он стоял на посту, пытаясь согреть окоченевшие руки, и глаза слезились, а лицо было обморожено и болело. За глоток кипятка, за место у костра он готов был отдать все, и ветер дул цепкий, медленный, безжалостный, отнимая последнее тепло, степь бело шевелилась. Он ни о чем не думал и лишь старался не поддаться белому мраку, не закричать и не побежать. А вчера был Ромка и какая-то Евгения, сейчас рядом она, Тамара, теплая, живая, можно ее обнять, и она не исчезнет. Он замер, чувствуя на голове ее пальцы — робкое прикосновение.

— Я верю тебе, не знаю даже, отчего это,— сказала Тамара тихо и убрала руку, он тотчас нашел ее и благодарно поцеловал у запястья.

— Спасибо тебе,— сказал он тихо.

Домой он вернулся лишь через день, поздоровался с тетками, с удивлением и испугом глядевшими на него, и прошел к себе; первым делом он увидел свой тщательно отглаженный темно-синий шерстяной костюм, аккуратно положенный на кровать, пиджак отдельно, брюки отдельно, и стального цвета рубашку с галстуком. Он поглядел, прошел к двери, хотел толкнуть ее и долго стоял, сжимая и разжимая пальцы; нехорошо получилось, и то, что у него с этой девушкой, нехорошо, не может же он ее любить, ну что, ну что, сказал он себе, отчего бы и не полюбить, чего ты накручиваешь, она ведь ничего у тебя не требует, и не твоя вина, что ты можешь сейчас дать ей только себя, и ничего больше; он еще потерзался, а вечером опять был у Тамары, и она ему обрадовалась, он видел радость в ее глазах, они словно засветились изнутри, и он опять ни о чем не раздумывал, хотя, когда шел сюда, решал поговорить серьезно.

За окнами сыпался дождь, облака шли низко, сплошь, с запада и уходили куда-то на юг.

9

В эти дни на Черном море сильно штормило, к ночи стихало, но уже утром вновь сшибались белые барашки, волны падали на скалы и отмели круто, с высоты, ветер от моря, хотя и очень редко, прибивал к скалам Кара-Дага

круглые, сорванные с якорей мины. Если их неловко бросало на скалы, они иногда взрывались, заглушая и море и ветер, в горах случались большие осыпи и обвалы. С утра и до вечера в прозрачном небе не появлялось ни одного темного пятнышка, лишь солнце да ветер; галька, песок и камни к обеду здорово нагревались, и такая погода обещала стоять долго, еще недели две, до конца октября, а то и весь ноябрь, старожилы говорили, что иногда так случается. Горы Кара-Дага подернулись прозрачной голубой дымкой, от солнца все окончательно высохло, побурело. Когда о берег хлопала особенно большая волна, брызги и клочья пены летели далеко, Инна с удовольствием подставляла им лицо, слизывала соленое с губ и, стараясь не щуриться, чтобы не портить лицо морщинами, напевала что-то неразборчивое и глупое, что-то про кошку, намочившую лапы. Старые, старые горы, они ко всему оставались безучастны. Она полюбила эти старые горы, они опоясывали бухту со всех сторон, а Кара-Даг в непогоду похож на угрюмого зверя, припавшего к воде; горы такие старые, что при малейшем прикосновении в сухую погоду склоны осыпаются дождем, а в редкие ливни с них, говорят, густо бегут грязевые ручьи. Особенно хорошо бывало ранним утром; сквозь брезент палатки начинало чувствоваться солнце, и, просыпаясь, она лежала с закрытыми глазами, стараясь не слышать, как рядом редко и сильно дышит Борис; она освобождалась от одеяла, выбиралась из палатки и, легко ступая по гальке, уходила подальше, выбирала уже нагретое солнцем местечко, приводила волосы и одежду в порядок и брела по берегу, счастливая, ни о чем не думая. Ни о Борисе, случайном человеке в ее жизни, ни о музее, где оставались неоконченные дела; в конце концов раз так получилось, жалеть нечего, все-таки если бы не он, не было бы гор, моря, утренних часов, когда от резкой солнечной свежести покалывает кожу и подошвы ног осторожно ощупывают настывшую за ночь гальку; не было бы того мира, где все разрешено и где можно быть только самой собою. Конечно, этот самообман недолго продлится, скорее всего он от панической боязни подумать о своей жизни серьезно, безжалостно, отсюда ее дурацкие восторги морем, солнцем и одиночеством — Борис не в счет; она ведь искусственно вырвала себя из жизни, где трудно, тяжко и голодно, и в музее идет смена экспозиции, и она очень нужна. Пусть, пусть! Хорошо,

когда сверху падают камни, может, какой-нибудь один не ошибется и упадет точно, все ведь вздор, вздор. Здесь можно лежать сутками на прогретой за день гальке, и никто тебя не хватится, никто не окликнет, глядеть в небо и слушать море. Издали многое кажется нелепым и случайным, как этот Борис, и все не так, как надо бы; сколько в себе она задавила, и теперь ей ничего не нужно, и ничего она не может, привычны и горе и радость. И Борис Гриценко, полярник, летчик и отличный парень, здесь ни при чем.

Утро пришло с гор — из темноты начали проступать их причудливые вершины, просветилось издалека море, и с каждой минутой стало наполняться светом, каменные громады с западной стороны затемнели больше, скала Иван-разбойник обозначилась резче, застывшее море тронуло легким движением, вдали прорезалась невысокая волна и пошла к берегу, чуть-чуть приподнимая поверхность воды; в камнях наверху заговорили голуби.

Инна выбралась из тесной палатки, прошла босиком по холодной гальке и осторожно обтерлась до пояса холодной, настывшей за ночь морской водой, не отрывая взгляда от камней под ногами, наваленных в этом месте саженным крутым валом, и стараясь не упустить синеватый блик среди мокрой гальки, нет-нет да и бросавшийся в глаза,— Борис научил ее различать камни, тут случались и самоцветы. «Не буду завтракать,— решила она.— Потом. Сначала пройду берегом, посмотрю». Она так и сделала, и к ней почти сразу вернулось чувство отрешенности, когда все вокруг принадлежало только ей, ей одной, и исчезала всякая реальность.

Солнце поднялось, и, хотя его еще не было видно из-за горы, море взялось белым осенним блеском. Инна подобрала несколько камней и один за другим неловко бросила в море; нетронутая, зеркальная поверхность мешала ей сейчас. Она решила перелезть через валуны в другую бухту; море все-таки было холодное, и она не решалась плыть, и через полчаса, тяжело дыша, уже спускалась с горы, точно ставя ноги и в особенно крутых местах придерживаясь за камни и тощие кусты можжевельника. В синей высоте парил гриф, черный, неуклюжий на земле могильщик, и, хотя только земля давала корм ему и его потомству, было видно, что вся жизнь его там, вверху, в распластанных крыльях, в упругих воздушных потоках.

Инна осторожно сползла с отвесной почти скалы на гальку, выбрала местечко, разделась и замерла, подставив лицо солнцу и раскинув руки. Спустя час она вернулась в свою бухту; Борис, конечно, еще спал, и она, почти обрадовавшись, вернулась к морю. Вот так бы уметь летать, с завистью подумала она, следя за чайками и слыша за спиной стук гальки. «Что это он сегодня так рано?» — повернув голову, увидела вышедшего из-за скалы высокого, чуть сутуловатого старика, его удивленные, настороженные глаза. «Это еще что за явление? — подумала она, не шевелясь.— Откуда он тут?» И старик, оказавшись лицом к лицу с молодой женщиной, на мгновение онемел, забыв отвернуться от неожиданности. Тонкая фигура женщины, удивительно ясное от больших спокойных глаз лицо, стройные длинные ноги, девичий живот и узкая высокая грудь, тело, покрытое ровным золотистым загаром. Он с усилием оторвался и тут только заметил двухвесельную лодку, вытащенную далеко на берег, недалеко от нее выгоревшую зеленоватую палатку под скалой и услышал негромкий смех женщины, она присела, потянула к себе одежду. Бухта была маленькая, десятка два метров, не скрыться; отвернувшись, старик шел по высокому откосу, галька, шурша и постукивая, ссыпалась в прозрачную воду. «Вот незадача, здесь раньше никого не было»,— расстроенно думал он и услышал веселый, с хрипотцой голос мужчины:

— Инна! Что ты пропала?

— Здесь я, Борис. Довольно тебе спать, Боря, выходи. Всю красоту проспишь, посмотри, какое утро. Знаешь, тут человек ходит, что-то ищет, такой странный.

— Мог бы выбрать другое место.

Дойдя до края бухты, старик, соображая, что делать дальше, постоял у кромки воды — нет, через скалы в другую бухту не пройдешь, придется возвращаться, он повернулся и пошел назад; женщина уже была в закрытом зеленом купальнике, а рядом с палаткой, закинув руки за голову, стоял в трусах высокий черноволосый мужчина лет тридцати и, весело щуря глаза, осматривал неожиданного гостя. «Вот незадача, принесло их на мою голову,— опять неприязненно подумал старик, стараясь не глядеть в их сторону.— Придется возвращаться, разве они дадут что-нибудь сделать?» И потом он не верил, что можно найти путное под посторонними взглядами. Утро испор-

чено, пожалуй, и вся неделя, видимо, они надолго здесь угнездились. «Чего им,— опять с досадой подумал старик,— видать, недавно только поженились, дай бог кому угодно такой медовый месяц, и угораздило их именно сюда приехать, самые богатые камнями бухты, теперь будешь терзаться».

Он отошел от берега, обходя палатку подальше, и остановился, услышав приветливый голос мужчины, шагнувшего к нему, но не разобрал слов от шума осыпавшейся в этот момент из-под ног гальки.

— Простите, вы мне? — спросил старик, глядя на улыбающегося мужчину и невольно любуясь его молодым, сильным телом; лицо его, чуть тронутое оспой, тоже было очень приятно.

— Вам, вам. Давайте к нашему шалашу, папаша, чай пить.

— Спасибо, успел позавтракать, я рано встаю.

— Ну, папаша, куда же еще раньше? — возразил мужчина, подходя ближе и протягивая руку.— Гриценко, познакомимся. Борис Гриценко.

— Иван Степанович Сердюков.

— Присаживайтесь, Иван Степанович, у нас примус, в пятнадцать минут состряпаем,— сказал Гриценко, все так же приветливо и ясно улыбаясь.— Мы тут уже неделю, ни одного человека не видели. Робинзоны!

Старик тоже слегка улыбнулся ему в ответ, не зная, как поступить, ему совсем не хотелось терять утро, но, по своей привычке решать все осторожно и не спеша, он подошел к палатке и сел на плоский большой камень; Гриценко стал разжигать примус, он пошипел, пофыркал и ровно, сильно загудел. Гриценко принес из-за палатки чайник, поставил на огонь, затем повернулся к гостю:

— Простите, папаша, придется вам пересесть с камня, вместо стола приспособили. Накрывать по утрам прямая моя обязанность — у нас тут по расписанию.

Он оглянулся на Инну, убирающую волосы у самой воды, и понизил голос.

— С нами заправиться, а? Тараночка есть,— доверительно сообщил он,— и пиво с ночи в воде держим. Проклятая дворянская привычка — в одиночку не могу глотка сделать. А Инна Викентьевна в рот не берет. Дрянь, говорит, запаха не переношу. Какая же, спрашивается, польза

от неиспользованного продукта? Прямой убыток. Как вы на это посмотрите, Иван Степанович?

— Вполне положительно,— отозвался старик, пересаживаясь на другое место и оттаивая.— Кстати, день все равно пропал.

— Какой день? — ловко вскрывая консервную банку, Гриценко искоса взглянул на Сердюкова, тот пожал плечами.— Некоторые дни отпущены человеку исключительно для отдыха,— сказал Гриценко.— Мне с самого Кенигсберга, например, за несколько лет выпал месяц. Кончается вторая неделя.

Он отошел к морю, порылся в гальке и вернулся с бутылками пива, на ходу стирая приставший к ним мокрый песок о волосатый живот.

— Инна! — позвал он.— Прошу, завтрак готов!

— Да, сейчас, Борис,— она неторопливо подошла к палатке, поздоровалась.

Гриценко представил Сердюкова, и Инна, сохраняя спокойное, невозмутимое лицо, кивнула.

— Здравствуйте, я все слышала, здравствуйте, Иван Степанович.

Бросив быстрый насмешливый взгляд на бутылки, она небрежно спросила:

— Что, уже? А Феодосия?

— Ты предлагаешь везти обратно? — шутливо спросил Гриценко.— Сдать в Одессе? Я не додумался, может, действительно? — спросил он у Сердюкова.

— Ничего я не предлагаю. Просто уточняю.

— Прошу, скатерть-самобранка готова,— Гриценко отыскал взглядом большой камень, подтащил его к плоской плите и сел, высоко выставив мосластые колени; на каменной плите, на старой газете он быстро и ловко нарезал хлеб, колбасу, положил холодные вареные яйца; Сердюков, наблюдая за ними, чувствовал себя не очень уютно; Гриценко ему нравился, а женщина — нет; Инна, в свою очередь, и не пыталась скрывать недовольства присутствием постороннего и больше молчала, задумчиво съела два яйца, взяла колбасы с хлебом, думая по-прежнему о чем-то своем.

— Борис, послушай, налей и мне немножко,— неожиданно попросила она, незряче глядя на стаканы.— Чуть-чуть. Спасибо.

— Пивом не чокаются, но все равно давайте выпьем

за знакомство и еще за женщин, и в том числе за самую лучшую из них — Инну Викентьевну, пусть ее желания, тайные и явные, осуществятся на все сто!

Говоря, Гриценко глядел Инне в глаза, и старик Сердюков поднял свой стаканчик.

— Пью за молодость и красоту,— объявил он,— и за то, чтобы людей уже школьниками учили пользоваться преимуществами молодости. Нечего от них скрывать, за молодостью приходит старость, и только тогда человек познает истинную цену всему. За женщин!

— Ура! А теперь купаться! — закричал Гриценко, вскакивая и показывая крепкие волосатые ноги.

— Нет, нет, увольте. Такая вода не для меня. Холодно.

— Холодно? Чудак человек! Поплавать в утренней воде? Пошли, Инна!

— Не хочу, иди сам. Не надо, Боря,— попросила она, почувствовав, что он сейчас ее поцелует.

Гриценко, сдерживаясь, засмеялся, она правильно угадала, и, выждав, прямо с берега бултыхнулся в море под волну и, вынырнув, поплыл.

— Осторожней! — крикнула вслед Инна.— Далеко не плыви.

Становилось жарко, солнце светило вовсю. Борис был уже еле-еле виден — темная точка на горизонте. Она ему завидовала, у него все получается просто, открыто и естественно, она уже не могла делать все с такой бесшабашной лихостью и безоглядностью, нет, она не поедет с ним, бесшабашным полярным летчиком; это бы значило каждый раз просыпаться и не знать, что будет завтра, вернется ли он, это бы значило, что война не кончилась, что война все еще продолжается, ждать, ждать, ждать; каждый день, каждый час, целые годы; всю жизнь — аэродромы, метели, белые медведи. «Я привезу тебе шкуру самого белого медведя»,— вспомнились ей слова Гриценко; почему он к ней так привязался, точно большой лохматый щенок, сторожит каждый ее шаг и преданно засматривает в глаза. Даже неловко, она ничем не заслужила. Когда-то весь мир умещался в матери и отце, в четырех стенах их тесной, заставленной вещами 25-метровой комнаты, затем в докторе Николае Николаевиче, ставшем, всем на удивление, ее мужем, а главное — ей самой; если бы не ее касалось, смеялась бы ужасно. Как солнце греет, даже через ладони, в глазах теплое розовое сияние; не поворачиваясь,

Инна слышала, как подплыл к берегу Гриценко, шумно вышел из воды, осыпая гальку, выбрался наверх и лег рядом.

— Здорово, зря не поплыла — зарядка отличная, лучше не придумаешь,— Гриценко перекатился на новое место, прижимаясь спиной к теплой гальке.— Гляди-ка, замерз. Пойти растереться, что ли? — подумал он вслух и остался лежать, ссыпая рукой мелкую гальку.— Инна,— сказал он погодя,— слышишь, поедем со мной. Кой черт тебе твой доктор! Брось ты всю эту мерехлюндию! Поедем, думаешь, у нас музеев нет? А нет — организуем! Слушай, давай капитальней поговорим, а то скользишь вьюном. Все накручиваешь, накручиваешь. Терпеть не могу усложнять, слушай, ну почему бы тебе не поехать? Поедем, а, Инна, я тебе райскую жизнь устрою, могу поклясться.

— Под северным сиянием? Мне только сияния не хватало, нимба над головой.

— Я же серьезно, предлагаю законно...

— Оставь, Борис, не теряй чувства юмора. Сам говорил, что полярнику оно необходимо.

Инна легко поднялась и, чувствуя на себе пристальный взгляд обоих мужчин, прошла к плоскому камню с расставленной едой.

— Давайте-ка лучше доедать яичницу, что же вы, Иван Степанович?

— Да нет, я сыт, благодарствую. Нет-нет, увольте, молодые люди. Сердце не то, Боря,— решительно отодвинулся он от протянутого стакана,— лишняя влага — сердцу перегрузка, чуть лишнего и — заскрипело.

— Ну символически, Иван Степанович!

— Ну если только символически...

— Символически, символически! — с нарочитой истовостью подхватил Гриценко, добыв из-под гальки еще одну бутылку и ловко ее откупоривая.

— А вы, Иван Степанович, собственно, что в этих краях делаете?

— Я? Я, понимаете ли, камни собираю, для коллекции, вот, собственно, и все. Я вчера недалеко себе тоже палатку поставил, напротив Золотых Ворот, родничок есть, приходите, покажу.

— Вы, папаша, отставной геолог?

— Нет, я отставной советский служащий, всего лишь счетный работник, а камни так — страсть, или странность,

если хотите. Собираю их двадцать лет. Некоторые коллекционируют марки или деньги, я выбрал более невинное занятие.

— Интересно?

— Очень,— оживленно подтвердил Сердюков, тяжело поворачиваясь к подошедшей Инне.— Тоже интересуетесь? К ним никогда не прикасалась рука человека, в смысле обработки все сделало море, естественное море — Черное. За миллионы лет, разумеется, молодые люди. Вот у меня с собою есть несколько, посмотрите — сердоликовый агат. А вот этот — агат очень редкий — черный. Если вы посмотрите на них через сильную лупу, увидите изумительного совершенства рисунок. Я не знаю, как и по каким причинам располагаются с такой точностью линии слоев в агате, вполне вероятно присутствие явлений магнитного порядка. Смотрите, возьмите стекло.

В камне, величиной с куриное яйцо и примерно такой же формы, пробивалось как-то изнутри таинственное тяжеловатое свечение; присмотревшись внимательнее, Инна стала различать множество линий, образующих как бы геометрические, стройного рисунка контуры; чем больше всматривалась Инна, тем больше камень притягивал к себе... Сердюков протянул ей второй — бледно-розовый сердолик, жемчужину своей коллекции, и начал путано и многословно объяснять, как совершенно случайно нашел его в Лисьей бухте в Крыму, просто ногой наступил, но Инна уже не слушала его, камень мягко лег в руки, розоватое теплое свечение, какие-то смутные, неясные, сумеречные тени и снова теплый ровный блеск.

— Не надо,— остановила она хотевшего что-то сказать Гриценко, и у того обиженно, как у ребенка, опустились уголки губ, Инна не заметила. Ею овладело чувство чего-то совершенно нового, какие-то странные образы; не выпуская камень и ощущая в ладонях его округлую тяжесть, она осторожно провела кончиками пальцев по едва намеченным линиям и со вздохом протянула обратно Сердюкову.

— Возьмите, спасибо.

— А вот это, вот это? Чудо, настоящее чудо! Посмотрите!

Инна, избегая прикоснуться к руке Сердюкова, взяла еще один камень — темно-розовый в голубых редких крапинах сердолик, по форме напоминающий отбитое дно

бутылки, и опять увидела внутри тяжелое свечение. И хотя этот камень, может, и был лучше первого, но первоначального впечатления перебить не мог.

— У нас в России,— говорил Сердюков,— Крым — единственное место таких находок. Бухты и скалы Кара-Дага изумительны, сплошная поэзия. Старые, уставшие стоять горы — некогда здесь был очень крупный вулкан. А в Сердоликовой бухте есть место, где татары сбрасывали со скал своих неверных жен — земля исключительно поэтическая. Мечты будят, знаете ли, светлые и грешные мысли. Я уже пожилой человек, мне шестьдесят семь (на слове «пожилой» Сердюков приостановился и требовательно оглядел лица собеседников, как будто ожидая возражений, но возражений не последовало), а нет-нет и опять в Крым пробираюсь. Давно не был, с начала войны. В ополчение пошел; в эвакуации полтора года жил, так, верите ли, снились мне мои сердолики, и Кара-Даг, и бухты. Не чаял вновь увидеть и вот, наконец, добрался. А вы знаете, у арабов есть легенда об этом камне, интересная, с большим смыслом,— говоря, Сердюков все время смотрел на Инну, и она отвела глаза.— Вроде бы есть сердолик с особым строением кристалла, голубоватых оттенков. И тот, кому посчастливится найти его, говорят, остается всю жизнь молодым.

— И кто-нибудь его нашел? — спросила Инна с интересом.

— Разве в этом дело? — Сердюков заволновался.— Самое главное — искать что-то, а какая разница — что?

— Да у вас и вправду, Иван Степанович, целая Одиссея.— Инна оглянулась на Гриценко.— Борис, что ты замолчал? Вот тебе наставник и товарищ для походов. Вы, наверное, Иван Степанович, здесь каждую тропку знаете? Вот и рискните вместе, я уверена, что вам повезет, а я одна в Феодосию съезжу, на рынок. Что-нибудь из еды куплю, надоело, всю неделю одни консервы. Выберусь на дорогу и съезжу. Отлично справлюсь.

— А что, и правда, может, сходить в горы? Поздновато, правда, надо бы с утра.— Гриценко удивился.— А как ты доберешься до Феодосии?

— На попутной, как все. Как ты добирался? Боря, хватит меня опекать, я этого не люблю.

Говоря эти безликие слова и радуясь неожиданно пришедшему чувству освобождения, Инна быстро и ловко

укладывала необходимое в брезентовую сумку, потом повязалась крепдешиновым платочком в белый горошек.

— Ну, мужчины, будьте умниками, до вечера.

Сердюков, заворачивая камни и пряча их, щурился, с любопытством поглядывая на Гриценко, стараясь окончательно определить, что за люди ему встретились и какие отношения между ними.

10

Инна была в Феодосии второй раз, довез ее шофер старенькой полуторатонки, отчаянно стучавшей расшатанными бортами и усиленно парившей; шофер, мужчина лет сорока, в старой гимнастерке с засученными рукавами, всю дорогу угрюмо молчал и сосредоточенно смотрел перед собою. Молча у самого базара остановил машину, взял десятку, презрительно сунул ее в кармашек гимнастерки и уехал; Инна поправила платье, перекинула через руку плащ, оглянулась — было достаточно людно, у каменной низенькой ограды рынка, у самых ворот сидели два инвалида без ног, положив перед собой грязные фуражки, третий пристроился чуть в сторонке, выставил голый ссохшийся обрубок руки у самого плеча, Инна отвернулась. Кажется, это было и тогда, в первый раз, те же лица. Пахло свежей рыбой и гнилыми яблоками; к ней подошел мальчишка лет одиннадцати с большими немигающими глазами, не то цыганенок, не то грек, с оливково-смуглой кожей и с тихой доверительностью спросил:

— Барышня, заработать хочешь?

— Что? Что? — не поняла она, приглядываясь; мальчишка повел сонными немигающими глазами.

— Купи,— он распахнул пиджак, и Инна увидела туго намотанный зеленовато-тусклый шелк.— Пять метров, любое платье схлопочешь. Две тысячи, а захочешь продать, три возьмешь. Любой мужик с ума сойдет. Ну, скорее...

— Какая пакость, тебе не стыдно, мальчик? Чем ты занимаешься! Тебе учиться надо, такой маленький...

— Ты меня не рожала, не считай,— мальчишка раздраженно дернул плечом.— Дай десятку на махру.

— Вот я тебя сейчас,— она беспомощно оглянулась, не зная, что предпринять.

— Глиста в корсете,— бросил мальчишка, скрываясь

в воротах рынка, в безликой, все время движущейся толпе.

Инна прошла к рядам, где торговали свежей рыбой, остро пахло морем и солью, груды скрученных сушеных бычков темнели на стойках, их всего охотнее брали; большие, серые сверху камбалы с желтоватыми брюхами привлекли ее внимание. За каждую просили по сто семьдесят рублей; хозяйка, большая, в просторной кофте женщина, заметила внимание Инны, предложила:

— Бери, молодая, потом пожалеешь. Только утром из моря, продукт первосортный. Иди поторгуемся.

Инна улыбнулась ей и отошла, она бродила в толпе, приглядываясь к лицам; на нее никто не обращал внимания, и она скоро почувствовала себя совершенно свободной. От красок рябило в глазах. Спелые помидоры, яблоки, гранаты, зелень, цветы в ведрах, накрытые от солнца газетами; желтели и пахли дыни, в двух местах продавали на розлив кислое вино, и мужчины, молодые и старые, толпились возле бочек; но мужчин было мало, очень мало, все бабьи платки, за стойками, в очередях, на барахолке у ворот. От стойки к стойке бродил старик с тщательно приглаженными белыми волосами, в короткой ситцевой рубахе навыпуск, в рваных широких штанах и босой; он продавал самодельные петли для рам, крючки, гвозди, замки, дверные ручки — в широком фанерном ящике, подвешенном на шее толстым брезентовым ремнем; старик держался с достоинством, несуетливо. Подбородок светился детской ямочкой, и в лице у него были ясность и тихое ожидание. Его знали многие и приветливо с ним здоровались, охотно подзывали, делились товаром, в одном месте, где стояла коротконогая женщина с мешком махорки, старик присел на корточки, свернул большую цигарку и закурил, внимательно слушая, что говорит ему женщина, всхлипывая и разводя руками. Инна издали следила за ним, разглядывала длинные жилистые ступни, пытаясь понять, что это за человек и почему он ее заинтересовал. Может, у него на руках остались внуки; сыновья все погибли, и бремя забот легло на его плечи, он не суетится, не зазывает покупателей, и тихое сосредоточенное достоинство его сильнее всяких громких слов говорит о затаенном горе. Дважды Инна заметила его усмешку — скупую и мудрую, как будто все происходящее у него перед глазами всего лишь детская игра, а настоящее в жизни открыто только ему. Старик оглянулся, встретил внимательный взгляд

Инны и едва приметно улыбнулся ей, как доброй старой знакомой; Инна смешалась. «Везет мне эти дни на стариков»,— подумала она, в то же время чувствуя себя хорошо и покойно от его улыбки. Инна отошла в сторону, продолжая следить; ей предложили ящик для посылки, она кивнула.

— Плащ не продаете? — услышала она требовательный голос и оглянулась: спрашивала пожилая женщина в соломенной шляпке. Инна переложила плащ с руки на руку, покачала головой:

— Нет, не продаю.

Женщина в шляпке сожалеюще глядела ей вслед. Инна купила два десятка больших таранок и два поменьше, кусок, килограмма в полтора, желтоватого соленого свиного сала (Борис его любил), помидоров — брезентовая сумка тяжелела. Она покупала, не торгуясь, платила чужие деньги и остановилась, опять увидев рядом с собой босого старика; теперь он был в старой соломенной шляпе. Сумка оттягивала руку, Инна с размаху опустила ее на землю; конечно же, больше нельзя так жить; Борис — большой ребенок, добрый, веселый, по утрам полощет рот морской водой — громко, с наслаждением. Забавно, у такого здоровяка гланды, детская болезнь, врачи советовали ему морские ингаляции. Он привязался к ней; она виновата во всем сама, она знала, что этим кончится, что у них не может быть ничего серьезно; она виновата, он напомнил ей чем-то Антона, веселостью своей или добродушием и еще молодостью. Им было тогда по семнадцать. Смешно, она прожила уже пять жизней и все не может забыть огней катка и припорошенных снегом елей, там они впервые поцеловались.

Она даже не скрывает, до чего случаен в ее жизни Борис, и этим ранит его. Господи, как случилось, что она перестала чувствовать чужую боль? Когда? Ну конечно, где та женщина, что спрашивала плащ? Она и платье с себя продаст, есть кольцо с аметистом, единственная ценная вещь, она не любила побрякушек.

Инна торопливо схватила сумку, прошла к воротам, где торговали барахлом, и ее сразу окружили: хороший, габардиновый плащ — редкость здесь на толкучке, покупают и сбывают почти одно старье. Плащ рвали со всех сторон, надбавляя, теперь она сможет уехать на свои деньги, не надо просить у Бориса или писать мужу. Пожилой черно-

волосый мужчина сунул ей в руку сверток денег. Он почти вырвал у нее плащ и стоял счастливый.

— Считай, считай,— говорил он.— Хорошую цену даю, больше не возьмешь. Дочка замуж выходит, вот обрадуется, вот радости-то! Спасибо.

Инна увидела женщину в соломенной шляпке и услышала ее раздраженный голос:

— Я у вас раньше спрашивала, нечестно, гражданка.

Инна молча сунула деньги в сумку, торопливо вышла за ворота, ища попутную машину, теперь она знала, что делать, и всю дорогу, подпрыгивая в кузове грузовика, затем на узкой, еле приметной тропинке в горах, сдерживала нетерпение.

Ее встретили радостно, особенно Гриценко; она села на камень, разулась, опустила ноги в воду, а он разбирал сумку и все восхищался покупками. Полоща ноги в прозрачной, освежающей воде, она избегала смотреть на него, потом занялась ужином: рыба могла испортиться.

Море к вечеру бушевало, стоял сильный гул, волны накатывались с шипением и исчезали среди мокрых скал; Гриценко тоже замолчал, весь как-то отяжелел и не отрываясь глядел на бушующее море. Сердюков ладил чай, без чая он совершенно не мог, но ничего не получалось, огонь не держался, слабый язычок пламени задувало ветром.

Гриценко спрыгнул вниз, присел на корточки, поставил торцом большой плоский камень и стал по одной подкладывать веточки кизила в костерок, защищенный теперь от ветра. «Что ей? Она горела в самолете? Барахталась в ледяной воде с парашютом?» — думал он с обидой, и большое лицо его было серьезно и грустно.

— Любишь ее? — неожиданно спросил Иван Степанович, и Гриценко поднял голову, поглядел блестящими от огня глазами.

— Не знаю,— сказал он, подставляя лицо летевшим с моря брызгам и мелкой водяной пыли,— люблю вот море, Иван Степанович, особенно вот такую катавасию. Смотри, смотри, подбрасывает — до самого дна выворачивает. Смотри! Вот черт, здорово, чертова карусель, и у нас на Баренцевом так, летишь как над кипящим котлом.

— Д-да, красиво. Стихия. Ну, мне пора, молодые люди.

— Да куда вам идти, ложитесь здесь,— сказал Гриценко,— одеяло одно дадим, а мы и под одним уместимся. Вы знаете, я все-таки искупаюсь.

Гриценко достал из палатки одеяло, кинул Сердюкову.

— Укладывайтесь, а я окунусь. Очень успокаивает.

— Чушь, молодой человек. Вот не думал, полярный летчик и — нервы. Послушайте меня, Боря, женщина не стоит того, чтобы о ней думать,— неожиданно ясно сказал он, укладываясь и расправляя одеяло.

— Вам, вероятно, досталось за свою жизнь от женщин,— усмехнулся Гриценко.— Спокойной ночи. Попрыгать на волнах — и полный порядок, погодите, я помогу вам,— он ловко и легко закатал Сердюкова в одеяло и негромко позвал: — Инна.

Почти сразу стало сильно темнеть, и горы, угольно-черные, и скалы приблизились, нависли; над морем в черном небе перемещались светлые, меняющиеся просветы, в них дрожали звезды; значит, может быть и дождь и непогода.

— Инна! — уже громче крикнул Гриценко и опять ничего не услышал в ответ, пошел по берегу, приглядываясь к сливавшимся в одну черную массу камням, и наткнулся на Инну в самом дальнем конце бухты, она сидела, поджав колени, лицом к морю. Гриценко помедлил, взял ее за плечи.— Сердишься? — спросил он тихо.— Ты же замерзла, чего ты сюда забилась? — Он набросил ей на плечи куртку.

Она напилась горячего чая с липкими кислыми леденцами, прислушиваясь к упругому гудению земли, от моря шел непрерывный гул; ей все время казалось, что она где-то на пароходе, и их швыряет из стороны в сторону, весело и радостно от расходившегося моря, от перенасыщенного упругой энергией воздуха, и хочется взлететь на самой высокой волне. Ничего, Борис поймет, стоит им хорошенько поговорить. Завтра, завтра она ему все скажет.

— Иди ложись, я еще посижу,— сказала она мягко, но Гриценко, не дослушав и обидевшись окончательно, ушел в палатку.

Костер погас, непроницаемая, густая чернота укутала берег, и море, и горы; Инна сидела в совершенной темноте, и лишь неутомимый рев бушующего моря сотрясал кромешную темень, делал ее зыбкой, нереальной. «Какая нелепость,— подумала она.— Почему я здесь?» Она нащупала вокруг мелкую гальку, наткнулась на кучу ослизших водорослей. По ее руке в одном месте что-то пробежало, она не испугалась. «Краб,— сказала она растроганно,—

вот бродяга, совсем немой, не наделила природа голосом, молчит, дави его, топчи, все равно молчит». Становилось холодно; здесь шторм, кипит все, как в преисподней, а где-нибудь на Белом море сейчас пустынно, холодно, обламываются ледяные корки, голенастые чайки, белые ночи, нет, на Белое море нельзя — там Борис; большой добрый мальчик. Еще можно уехать в Сибирь или в Среднюю Азию — везде нужны люди, начать все заново. Ведь не может ее жизнь оказаться совершенно бесполезной, пустой. «Спешите делать добро»,— вспомнились ей чьи-то врезавшиеся в память строчки, и голая ямочка на подбородке виденного днем старика, и его ясная улыбка. Никогда не поздно начать делать добро.

В ней что-то изменилось, днем раньше она обязательно бы, не задумываясь, объявила о своем решении Борису, сделала бы напоказ, шумно стала бы собирать вещи, с тайным удовольствием слушая уговоры. Зачем? Она благодарна ему. За что? Кто знает за что. Какая чушь все. И кому она хотела сделать плохо? Только себе одной.

Инна туго стянула кофту, подобрала под себя ноги, прислонилась плечом и головой к холодному шероховатому камню. «Не проспать бы»,— подумала она, глядя на море, угадывая его, потому что увидеть ничего нельзя было. Она закрыла глаза: нужно дождаться рассвета, через горы даже при луне идти плохо, обдерешься, а то и вообще покалечиться можно.

Глаза слипались, и скоро Инне стало казаться, что ее заносит землей, и галькой, и водорослями, и ей стало душно, море все больше и больше набрасывало на нее тяжести, и уже нельзя было вынести...

Инна проснулась и, тяжело дыша, сидела несколько минут в отуплении, не понимая, где она и что с ней происходит. Море по-прежнему гудело и рвалось тяжелыми раскатами. Она подняла руку — лоб, и брови, и кофта были влажные от водяной пыли, летевшей с моря. Инна облегченно вздохнула: все-таки она заснула, не выдержала.

Пожалуй, пора, подумала она внезапно, пусть они спят, не надо ничего говорить, так даже лучше, она тихонько соберется и уйдет, так лучше. Уже светло, можно идти за своим магическим камнем, пусть ей он не встретится, все равно нужно идти.

Она тихонько взяла кое-какие вещи; Гриценко поворочался, но не проснулся.

11

Прошел ровно месяц после возвращения Антона Савичева домой, начались первые заморозки, в парках и на бульварах густо упал лист; Савичев сказал себе, что через месяц он точно решит, как жить дальше, и месяц прошел, деньги, полученные при демобилизации, кончились, и когда он однажды проснулся часов в десять у Тамары и стал припоминать, что же было вчера, позавчера, неделю назад, то получилось утомительно, однообразно и даже скучно. Встречи с Ромкой, ожесточенные споры о жизни, путь в четыре с половиной квартала до дверей Тамары, ее ожидающие глаза, редкие набеги домой, к теткам, их вынужденное тяжелое молчание; если выпадала удача и их не оказывалось дома, он всякий раз испытывал облегчение; часами просиживал за теткиными альбомами с репродукциями, перебирал свои наброски, затем оставлял короткую записку и уходил. Последнюю неделю он не мог найти себе места, целые дни проводил у Ромки, наблюдая, как тот ловко орудует щетками, небрежно бросает смятую троячку в ящик и закуривает; правда, клиентов становилось меньше, и Ромка большей частью занимался другими делами: подбивал каблуки, клеил и зашивал; однажды он попросил Савичева отнести по адресу плотно упакованный ящичек, и Савичев отнес, а назад возвратился с тугой пачкой денег; Ромка, скаля прокуренные редкие зубы, слушал Савичева, смеялся рыжими глазами.

— Забыл тебе сказать о деньгах, ты сам догадался. Спасибо.

— У тебя клиентура надежная, все сосчитал, с карандашом потел. Лицо такое оливковое, со старой иконы.

— Знаю, Мерецков — гвоздь дядя. Зверюга, послушает тебя, пожалеет, а потом проглотит. Но в расчете честный, копейки не возьмет. Послушай, как у тебя с деньгами?

Савичев пожал плечами, замялся: Ромка, не считая, отщепил от пачки добрую треть и, перегнув пополам, сунул Савичеву в карман пиджака.

— Трать, сам в таком положении был. Ладно, молчи, сочтемся,— не дал он Савичеву возразить.— Не будь добродетельной Гретхен. Давно ли мы стали считать эти бумажки? Я как-то при отступлении на одной станции по колено в них лазил, потом комиссар жечь приказал. Сунул себе в карман сотни четыре, остальные поджег, там, на-

верное, миллионы были, горели здорово, бумага и бумага. С тех пор я на них по-другому гляжу. Я себе капитал составлять не намерен, наследников не предвидится. Как у тебя с Тамарой? — спросил он, переводя разговор на другое.

— Не знаю,— ему не хотелось говорить с Ромкой об этом.— За деньги спасибо. Как-нибудь отдам.

— На том свете горячими пирожками,— вслед ему весело сказал Ромка и добавил: — Если захочешь — жареными. Слышишь, приходи сегодня с Томкой, посидим.

Савичев пожал плечами и вскоре ушел; на месте Ромки он поступил бы так же, но деньгам обрадовался, вечером повел Тамару в ресторан, и она надела свое праздничное платье — глухое, в талию, из черного бархата. Когда она вышла из комнаты одетая, он взглянул на нее с недоумением, словно не сразу узнал, она была сегодня как-то беспокойно красива, именно «беспокойно», ведь обычно от нее исходила какая-то тишина; она и ходила тихо и говорила, эта тишина и привлекала к ней больше всего Савичева.

— А может, лучше в кино или в театр сходить? — сказал он неуверенно.— Или ты хочешь в ресторан?

— Пойдем в ресторан, Антон. Во-первых, я ни разу не была, во-вторых, не нужно готовить ужин. Конечно, если есть деньги,— испугалась она.— Подожди, у тебя есть деньги?

— Одевайся, найдем.

Глядя на танцующие пары, Савичев думал, что постепенно и все глубже втягивается в иную жизнь, непривычную, чужую, не может такая неопределенность продолжаться бесконечно, и пора на чем-то остановиться. Он поглядел в блестевшие восторгом глаза Тамары, от шампанского она немного захмелела и казалась еще красивее, он осторожно накрыл ее ладонь своей рукой.

На другой день Ромка весело поздоровался с ним:

— Здорóво! Зря не пришли вчера. «Сестру его дворецкого» смотрели. Классная картина.

— Решили вдвоем вечер провести.

— А-а, ну святое дело. Да, Диночка Дурбин, на край света за такой пойдешь. Даже на костылях,— но практическая душа Ромки не была склонна к долгой меланхолии.— Знаешь, хочу усы отрастить, Антон,— неожиданно поделился Ромка.— Послушай, а ты мне не нравишься,

ходишь, как без позвоночника. Давай прикрою фабрику, пойдем поедим, я еще не обедал.

— Не хочу. Слушай, Ром, ты иди, а я посижу вместо тебя.

Ромка внимательно поглядел на Савичева, пряча веселую ухмылку и представляя Антона на своем месте.

— Боишься выдать производственные секреты?

— Садись, чего не доверить. И чистить будешь?

— Понадобится, не откажусь. Не все ли равно, где вылизывать грязь, на ногах или в душах? Сразу видишь плоды.

— Смотри,— неопределенно сказал Ромка без улыбки и, стуча костылями, пошел, оглянулся; Савичев кивнул ему, сел поудобнее и стал рассматривать щетки, банки с кремом, шурупы и шнурки.

Мимо непрерывно двигались люди, подростки, солдаты, старики, старухи с авоськами, женщины и мужчины, самые разные люди большого города, и никто из них ничего не знал друг о друге и о нем, об Антоне Савичеве, и, если бы он сейчас умер здесь, никто бы не узнал, не взволновался, и они продолжали бы идти всяк по своему делу, и редкий бы остановился, вот они идут, идут, идут, куда? Зачем?

Савичев засунул руки в карманы, прижался спиной к сиденью; Ромка приспособил для этого толстый войлок, обитый мягким от ветхости плюшем. «Чертовски холодно,— подумал Савичев,— в морозы Ромке придется ставить печку». Собственно, люди представляют себе мир по узкому кругу привычных рефлексов, через него они связаны с жизнью, а дальше этого круга ничего не знают. Ну, вот он шагнул за этот круг. И что же, что изменилось? Так, как он в и д е л войну, он не сможет написать, ни такой жестокости, ни такой ненависти, ни такой нежности еще не было до сих пор в мире, и он в свои двадцать шесть лет чувствовал, внутренне понимал невозможность что-то сделать именно здесь. Потребовалась бы вся жизнь от первой до последней минуты; если токарь, переварив опыт отца, идет по уже проторенному пути, то художник — наоборот; достигнуто совершенство, почти непреодолимое. Вот Ромка чистит сапоги, я поглядел и тоже прекрасно справлюсь, обмести пыль и грязь, крем, щетки, бархатка, и трешка в кармане готова. А что мне даст, если даже год не отрываясь стоять перед Гойей? Ничего. По-

жалуй, все это ерунда, жизнь обрывается сразу, и тут ничего не поможет. Искусство, пусть самое гениальное, ложь, человек спасается в нем, создает ощущение бессмертия, и чем пронзительнее художник, тем больший вред от него: люди те же дети, им хочется сладкого обмана, хочется видеть то, чего нет, и они даже благодарны, платят заработанные деньги, вместо того чтобы купить еще хлеба. Продолжается игра, детская игра в героизм, в благородство, в строительство, в войну; поняв природу этого, можно приобрести неограниченную власть. Эта игра затягивает, становится как бы основной жизнью, лекарства от нее нет. Всесильный опиум. Вот так, так, говорил Савичев себе. А сам ты злишься, тебе не удалось, и ты знаешь прекрасно, не удастся. Вынашиваешь сотни причин, а причина одна — ты безволен. Бездарь всегда желчна, оправдывая свое, она ничего не жалеет, все оплевывает на своем пути. Ты вот даже боишься побыть с тетками подольше, непременно возникает неприятный для тебя разговор: а что дальше? И ты спасаешься сам от себя в сомнительных удовольствиях.

Он глядел в лицо мужчине лет сорока, грузина с длинными черными усами, в офицерской шинели без погон и в каракулевой шапке пирожком.

— Я говорю, почистить надо,— сказал мужчина.— Что, контузия? — он для наглядности притронулся к своим ушам и стал показывать на сапоги.

— Садись,— сказал Савичев быстро и отыскивал нужную ваксу, с деловитостью отмечая поношенность сапог, истертые каблуки, поддернул голенища, обмахнул пыль специальными большими сухими щетками, и все время, пока работал, казалось, он ведет какую-то смешную игру; ему захотелось определить характер клиента, и он еще раз мельком взглянул ему в лицо — тонкие губы, тонкий прямой нос, он, очевидно, куда-то торопился и уже два раза поглядывал на часы.

— Такой молодой, поедем к нам в Тбилиси,— предложил грузин внезапно, когда Савичев наводил блеск на его сапоги.

Савичев пожал плечами.

— Здесь старикам, инвалидам надо сидеть, молодым сейчас другой работы хватит. Много работы. Специальность есть?

— Пожалуйста,— сказал Савичев, с профессиональ-

ным удовольствием осматривая вычищенные сапоги, как это делал Ромка, и всем своим видом показывая нежелание ехать куда-то в Тбилиси и разговаривать об этом. Сапоги горели, грузин протянул десятку, поправил шапку-пирожок и от сдачи отказался; Савичев равнодушно положил ее в ящичек под сиденьем и, увидев молодую женщину, пригласил:

— Садитесь.

— Вы мне чулки, пожалуйста, поосторожнее,— сказала женщина, одергивая полы плаща и прикрывая ими полные круглые колени.

— Не беспокойтесь,— Савичев поправил ее ногу, взяв возле щиколотки,— держите тверже, я быстро.

Он вычистил ей туфли и получил три рубля; вместо женщины сел мальчишка лет шестнадцати, долго выбирал крем. Савичев терпеливо открывал ему банку за банкой. Туфли у него были глянцевато-зеленые, и крем никак не подбирался; Савичев поймал себя на желании не дать мальчишке уйти. «Вот ведь любопытно, почему хочется настоять на своем? — подумал он.— Вероятно, человек во всем ищет логической точки, находит ее в большом и маленьком, не из-за трех же рублей я улыбаюсь взыскательному молокососу, хочу не упустить свой шанс, вот оно, это самое! Каждый хочет не упустить свой шанс».

— Пожалуйста, коричневый и взять немного черного, будет как раз,— сказал он, намереваясь приступить к делу, но клиент отдернул ногу.

— Испортите. Что за работа, крема нужного нет. Давайте немного красного, черного и коричневый, попробуйте на чем-нибудь смешать.

У парня белое чистое лицо, и, если бы не женский брезгливый рот с длинными губами, он был бы красив; по возрасту их отделяет каких-нибудь шесть-семь лет, а по жизни — пропасть. Нет, слишком дряблая красота, ни одной запоминающейся, характерной черты.

Вернулся Ромка и, незамеченный, несколько минут наблюдал за Савичевым через стекло, затем весело забарабанил по будке кулаком.

— Молодец! — он раздвинул дверь и сказал парню: — Выкатывайся, любезный, такого цвета нет в природе.

— Но простите...

— А-а, шибко воспитанный, за шиворот выдернуть?

— Подожди, Ромка... Коммерцию не порти.

— Антон, ша! Знаешь, кого видел сейчас? Помнишь физика, Дум Думыча? В девятом?

— Королькова?

— Его. Ты представляешь, нос к носу сошлись. Я его узнал, а он никак, горло шарфом укутано, и шарф, кажется, тот же, старый, в шашечку. Здравствуйте, говорю, Дум Думыч, а он моргает, очки тянет. Кашляет... А ну, кыш отсюда! — неожиданно заорал Ромка на парня, который все еще сидел и старался что-то вставить.— Не видишь, место инвалиду надо уступить? Тебя учили вежливости, сопляка?

Савичев вспомнил грузина, весело сказал:

— Ты так всех от себя отвадишь. Смотри, он за милиционером, пожалуй, дернул, и тебе предстоит неприятное объяснение с представителем советской власти.

— К черту, хватит их на мой век,— Ромка тяжело плюхнулся на место парня и начал рассказывать о Дум Думыче, насколько он постарел и сдал, часто кашляет — как всегда ангина, хрипит. «А, теперь узнаю, я всех своих учеников помню,— говорит,— Рома Копылов? Как же, как же. Вы, конечно, не отличались большими способностями в физике, но вели себя прилежно». — «А вы, Дум Думыч, знаете, почему ваше имя так переиначили?» — «Знаю,— говорит,— я часто повторял: «Думайте, думайте». Вот и переиначили. Не люблю вспоминать, Рома, хорошее время было, сейчас хуже, ангина окончательно одолела, кажется, не смогу больше работать. Без работы просто не мыслю жизни. Трагедия». Глядит на меня, как отец или брат, и даже костылей, что ли, не видит? А потом осторожно слезы пальцем вытер. Думает, незаметно. «Вот вам,— говорю,— и физика, Дум Думыч. Было две ноги, а не стало ни одной. Правда, здорово?» Закуривай. «Да,— говорит,— Рома, война — ужасно. У меня погибли сын и зять, теперь внуки сироты, одному семь лет, а девочке девять».— «Не горюйте,— говорю,— Дум Думыч, сироты вырастут, куда денешься». Слушай, а чего тебе вздумалось обслуживать этого молокососа?

— Какая разница кого. Пойду, Роман, пока. Дело, Роман, не в молокососах, их послать к черту можно. Нам другое бы понять... Что произошло в жизни с тех пор, как мы бросили парты, а? Что-нибудь изменилось?

Ромка зло хлопнул себя по коленям.

— Ничего не произошло, Антон. Кто ноги потерял, кто

головы, но какое это имеет значение для вечности? Эх ты, дитя!

Да, Ромка прав, дети в парках и во дворах играли в войну, взрослые тоже вели между собой сложную, дорогую игру в работу, в любовь и, конечно, в войну; Савичев не мог отделаться от ощущения присутствия кого-то третьего, именно того, кто все это устроил, рассчитал и теперь пристально изучал результаты своего плана.

Ромка привык к Савичеву и не удивлялся больше, когда тот садился, брал щетки и начинал чистить обувь, время от времени закуривая или пристальнее обычного рассматривая чем-то заинтересовавшее его лицо клиента.

— Не пойму я тебя, хоть убей,— как-то признался Ромка.— Ну вообще, у тебя мысли есть о дальнейшей житухе?

— Слушай, Ром, давай не лезть друг к другу в душу, хорошо? Без стука? Помнишь, как до войны? Если бы я знал, я бы не сидел как пень. То, что я хотел, теперь не смогу, а все остальное — бессмысленно, бесполезно.

— Ладно, договорились, не буду без стука. А к теткам чего редко заходишь? — помолчав, спросил Ромка.— Такие симпатичные старушенции, они тебя ждали, ждали, ненормально получается.

— Не говори, сам мучаюсь. Приду, о чем говорить? Они не изменились, прежние, от меня много ждут, а я, понимаешь, пуст. Или не было совсем или растерял. А они как голодные смотрят.

— Не мудри. Ты просто приди, посиди, каши поешь да похвали — и порядок. Старушкам, думаешь, в регалиях дорог? Теплое слово им надо. Ну, Татьяна Дмитриевна старуха ученая, может, загибает, а баба Тася — ее-то к чему мучить?

— Говорю тебе, сам мучаюсь,— остановил его Савичев.— Сам знаю, нехорошо, привыкнуть необходимо, на все время нужно.

После этого разговора он с недели две не заглядывал к Роману, устроился декоратором в кинотеатр, размешивал краски, малевал рекламные щиты, возвращался поздно, халтура была сдельная; поднимался на четвертый этаж старого удобного дома, открывал дверь; Тамара дала ему второй ключ, его успокаивали тишина и полумрак большой холодной квартиры; топить еще не начинали. Савичев стаскивал сапоги, аккуратно вешал пиджак на

спинку стула и садился в глубокое кресло с неровными, ослабнувшими пружинами и долго сидел, ни о чем не думая, отдыхая. Спустя две недели, так же неожиданно, ничего не говоря Тамаре, бросил и, не беря расчета в рекламном управлении, снова зачастил к Роману. В среду вечером вернулся раньше обычного, проголодался, прошел на кухню, огляделся, нашел в шкафу овсяную крупу в банке, соль, немного подсолнечного масла и опять все поставил на место. Из такого количества даже отставной солдат не смог бы сварить супа. Савичев вернулся в свое кресло и закрыл глаза; всего шесть часов, а в окнах совсем стемнело, зима начинается, длинные ночи, короткие дни; скользкие от талого снега улицы, сердитые дворники. Надо уехать подальше, увидеть лес, степь. Или море — холодное, во льдах, и пургу, так, чтобы глаз не открыть, как тогда, зимой, в сорок втором, под Тулой, когда его впервые ранило; как раз поступил приказ наступать, и надо же, первая атака в жизни, восторг, ожидание, надсадный рев на артиллерийских позициях, сухой с ветром мороз и предутренняя звонкая тишина, сернистые запахи от разрывов и голос старшины: «Закуривай, ребята, скоро начнется». Успокаивающую горечь табака способен оценить только солдат перед атакой, полный глоток едкого дыма, нет, тогда он в свои восемнадцать просто не понимал, что значит взять из пожелтевших пальцев соседа короткий окурок и, сдавив его губами, затянуться.

«На, докури, сынок».

«Не хочу».

«Боишься? Э-э, ста смертям не бывать, одной не миновать».

«Да нет, я не боюсь».

«Умница, погляжу. Бояться надо, в твои годы только и можно так по-дурному брякнуть. Все люди боятся, а то как?».

Савичев припоминает усатое, пожилое лицо, щетина, не брился с неделю, а глаза хорошие, теплые. Лицо вспоминается, а имя никак; над траншеей начинало мести, змеился, закручивался в жгуты летучий снег, за воротник сыпалось, и плечи сводило крупным ознобом.

«Портится погода».

«Это к лучшему, немец метели не любит. Боится он нашего русского мороза. Непривычен».

В траншеях стояли, сидели плотно, грелись друг подле

друга, плечом к плечу, и по команде подготовиться стало просторнее, но момента, когда закричали «Вперед!» и полезли из траншей, Савичев не мог припомнить. Снег сек справа, и Савичев бежал вместе со всеми и думал, что это совсем не страшно: беги, беги, падай и снова беги; когда глаз улавливал черно-белый разрыв снаряда, сквозь завязанную шапку звук доходил глухо, неровно, становилось жарко бежать по нетронутому снегу, и он хотел разорвать завязки под подбородком. Его толкнуло сзади, и только потом он услышал обвальный, рвущий уши грохот и треск, и было такое чувство, словно он куда-то летел, и летел долго, теряя постепенно слух, глаза, ощущение собственного веса. И вообще никакой мысли, ни о смерти, ни об опасности, полная немота, и лишь слабое угасающее удивление, что никакой боли, никакого страха. Боль пришла позже, и он очнулся, открыл глаза и увидел серую сплошную мглу и закричал от резкой, горячей боли, ударившей в плечи и в голову; он оказался один на один с бесконечным пространством, цепи ушли, он и орудий больше не слышал, поземка секла лицо и шею. «Сибирь»,— громко сказал он, успокаивая себя и отгоняя страх. «Уральский хребет!» Он мог говорить и обрадовался, вот только в голове тяжесть, и повернуться нельзя, позвоночник пронизывало дикой болью, и в глаза наплывала темень. «Пушкин! — сказал он.— Река Волга и летчик Чкалов. Средняя школа номер двадцать семь. Город Воропянск на реке Воропе. Тетя Татьяна Дмитриевна, или тетя Тата». Ага, вот теперь он знает, как умирают, кровь не останавливается, течет и течет. «Мороз красный нос». «Стояла и стыла в своем заколдованном сне...» Вот как хорошо. «Здравствуйте, здравствуйте, дома никого. Хорошо, хорошо, я передам Татьяне Дмитриевне, оставьте, если хотите, записку». Конечно, одно время он думал стать театральным художником, тетя Таня упорно таскала его на все премьеры, она видела в этом возможность отвести от него ту нехорошую уличную жизнь, к которой в свое время рвется всякий подросток. «А вот и тетя Тася вернулась, у нее в сумке всегда находятся вкусные штуки; да, да, ну конечно, буду слушаться, случайно мячом в стекло попали, мы же не хотели. При чем здесь Ромка, Ромка тоже не хотел. Ну, не верите, и не надо, думаете, хорошо не верить человеку? Конечно, сейчас помою ноги и спать, да нет же, нет, всегда мою, не знаю, почему у меня простыни гряз-

ные, наверное, плохо отмываются ноги. Спокойной ночи, тетя Таня. Честное слово, читать не буду. И читать нечего, я в библиотеке с прошлого воскресенья не был...»

Савичев с трудом открыл глаза и совершенно отчетливо почувствовал, что умирает; он не испытывал страха, а лишь облегчение, никуда больше не придется идти, ты пришел, все остальное ерунда, ты пришел, пришел, пришел... Снег валил сверху крупными частыми хлопьями, набивался в ноздри, в глаза; Савичев слабо шевельнул руками, сгрести бы снег с лица, и, преодолевая цепенящую сонливость, он всем телом вывернулся и попытался сесть, сразу просыпаясь от дикой боли в спине и собственного слабого вскрика. «Вот так так,— подумалось ему.— А то выдумал, умирать. Нет, нельзя». «Эй-эй! — крикнул он, отдохнув от боли.— Эй-эй! Помогите!» Белесое тяжелое небо придвинулось, оно непрерывно шевелилось, давило. Ему показалось, что он может немного двигаться, и он попробовал пошевелить ногами и руками, и руки и ноги подчинились, он даже смог перевернуться на живот. Спину немного отпустило, но что это могло изменить? Он вспомнил, с какой стороны дул ветер, когда они выскочили из траншей, и попытался сориентироваться, поднимая руку; он пытался ползти, время от времени стараясь оторвать от земли голову, все тише и тише с каждым разом зовя на помощь. Примерзшая от крови шинель заледенела коробом и мешала ползти, спина задеревенела, он подтянул руки, положил на них голову и сразу услышал чей-то голос; он хотел повернуться, не смог, уронил голову на руку, усмехнулся в снежное крошево, опять начинался сон, и, очевидно, последний; перед ним стояла Инна Голышева, в сарафанчике, с загорелыми худыми плечами, а глаза врут. «Вчера в кино с кем ходила, с Колькой Богачевым? Ну и валяй, подумаешь».— «А ты не груби!» — «А я и не грублю. Я просто думаю, что дружить с тобой не стоит».— «Испугал!» — «Чего тебе пугаться. Ты находчивая».— «А я тебе не позволю оскорблять. Воропянский книгоноша!» — «А ты москвичка из пермской деревни. Милка цо, милка цо, милка цокает на цо?» — «Дурак! А еще художник».— «Пошла ты, пока...» — «Пока что?» — прямо-таки вцепилась Инка, кусая губы, изо всех сил показывая, что она спокойна. Савичев слышит очень издалека испуганный простуженный голос. «Товарищ, товарищ... Живы, нет?» Тоже женский голос. «Ах ты, господи, ну какая кромешная

темень... Ногой наткнулась. Эй, Иванин! Иванин! Давай сюда, тут один совсем доходит, давай быстрей!»

Савичев лежит в темноте, закрыв глаза, в свои восемнадцать с хвостиком он даже героем не может себя назвать, вокруг сотни раненых, страдают, бредят, умирают; ему повезло, и он сейчас ждет свою Тамару, сидит в теплой чистой комнате. Вот видишь, тебе и веселее стало, это ведь с какой стороны посмотреть, ты, разумеется, личность обманутая, никто тебя не замечает и не носится с тобою, но все равно жить хорошо; он услышал, как Тамара остановилась перед дверью, быстро вскочил, неслышно ступая на носках, подбежал к двери и затаился. Он не дал ей включить свет, едва она захлопнула дверь, закрыл ей ладонями глаза, и она поймала его руки.

— Здравствуй, а я знала, ты обязательно будешь.

Он молчал, она ошибается в нем, он не тот человек, что ей нужен, она не будет с ним счастлива, радости он ей не даст. Ее зеленая вязаная шапочка свалилась на пол, и волосы рассыпались — она как дерево, растет, пьет, ест, радуется солнцу.

— Сейчас чаю согрею и ужинать. Проголодалась ужасно.

— Я хотел что-нибудь сварить, побоялся испортить, наши с тобой запасы не располагают к вольнодумству.

Савичев взял пальто, задерживая руки у нее на плечах.

— Тома, скажи, а у вас бывают накладки в работе? Ну, чтобы лекарство перепутали? — неожиданно спросил он, и Тамара со всей щедростью молодости засмеялась.

— Очень редко. Это такое ЧП, потом методички по всему свету рассылают. Устала сегодня, сама не пойму отчего, я только однажды рецепт один перепутала, еще на практике, арренала перелила, мышьяка то есть,— пояснила она.— Спасибо Клавдии Степановне, руководитель практики была у нас, чудный человек. Не замужем, а такая добрая, даже в характеристику не стала записывать. Дай немного посижу, отдышусь.

Тамара забилась в уголок кресла, подобрала под себя ноги. Савичев ходил и, рассказывая, как провел день и сколько заработал, подменяя Ромку, смеялся.

— Принеси мне, пожалуйста, сумочку, вон там, на столе,— попросила Тамара.— Спасибо. Знаешь, Антон, давно хотела сказать — глупостями занимаетесь... Тебе са-

мому не кажется, что вы с Ромкой как дети? Придумали забаву и радуетесь.

Савичев подошел, сел рядом, обнял ее.

— Кажется, Тома, кажется.

— Веселый ты сегодня,— радуясь за него и не скрывая этого, сказала она и опять нахмурилась.— И пьешь ты много. Работать ради водки глупо. Лучше уж почитать или в театр сходить, на худой конец, поесть купить лучше.

— Ну, ты совершеннейшая находка. Сама добродетель. Знаешь, мои тетки изъявили твердое желание познакомиться с тобой. Я, по дурацкой мягкосердечности, не мог отказать. Когда у тебя выпадет свободный час?

— Боюсь,— сказала она, обхватывая колени,— я им не понравлюсь.

— Перестань, у меня очень умные тетки. Ты им обязательно понравишься. Завтра, через день, когда хочешь, но лучше не тянуть. Завтра, хочешь? Или давай сейчас, отдохнешь и пойдем.

— Нет, только не сегодня,— запротестовала Тамара.— Завтра или послезавтра, сначала нужно привыкнуть к такой мысли. А вообще-то слушай, Антон, зачем? Наше с тобой дело, никого больше не касается.

Она вздохнула, быстро встала.

— Вот все в порядке, немного отошла. Сейчас чай поставлю. Знаешь, давай далеко не загадывать. Как будет, так будет.

— Ты всегда не договариваешь, Тома? — спросил Савичев.

— Подожди, после, не мешай, поговорим потом, если не забудешь. У художников ведь память короткая...

— Что еще за вздор? — резко оборвал Савичев с неожиданным раздражением.— Кто тебе наговорил чепухи?

— Роман сказал,— она удивленно глядела на его злое лицо.— Ты ведь уже два курса кончил...

— Послушай, Тома,— он быстро подошел к ней.— Ты не верь, Ромка хороший, добрый парень, не случись с ним такого несчастья, он был бы хорошим, умным офицером. Ты, наверное, знаешь, он после школы сразу в военные подался. Послушай, Тома,— быстро спросил он,— а ты сама? Хотела бы? Веришь?

Она опустила глаза, она была ниже на полголовы; до сих пор она действительно не хотела задумываться над

тем, что происходит между ними; вероятно, это и было счастьем, но долго ли ему продолжаться? Если оно могло так неожиданно начаться, то почему не может кончиться? Конечно, она пойдет за Антоном куда угодно, но кто она, всего лишь работает в аптеке, знает свои рецепты, мензурки и ступки, да и то всякий раз боится ошибиться, врачебная латынь ее каторга, весь этот уютный аптечный мирок, пропахший лекарствами, и все равно она была довольна им, пока не встретился Савичев. Больше двух месяцев они встречаются, но чем больше проходит времени, тем сумрачнее и пустыннее делается на душе; ей никогда не узнать этого человека, она просто не может его понять. Ну конечно, кто она? Девчонка, ничего не знает, нигде не была, и никто не подозревает, что она движется по самой кромке, над глубоким провалом,— от каждого шага душа замирает, того и гляди сорвешься — будешь два дня лететь умирать. Мужчины, вероятно, все такие чудаки, еще спрашивают. Она бы могла ответить: нет. Она для себя ничего не хочет; верит ли она? Конечно, он может добиться всего, и уйдет, он может добиться всего, если захочет. Ей ли давать советы!

— Не знаешь, что сказать? И правильно, умница.

— И я ничего не хочу менять. Вот буду тебя любить, и все, до остального мне дела нет.

— А что мы будем есть, если все остальное ерунда?

Она мягко освободилась от его рук, и он увидел в ее глазах теплую усмешку.

— Война приучила людей к воздержанности. На полфунта хлеба и тарелку овсянки разве мы не заработаем?

— Мне еще хочется красиво одеваться,— с неожиданной капризной ноткой призналась Тамара.— Платье белое-белое, короткое и обязательно пышная юбка и туфли — высокий каблук. Как в «Огоньке», на обложке недавно было. И пойти на танцы. За войну я все продала, проела.

Он прижал ее голову к плечу, в груди защемило.

— Все у тебя будет, Тома,— сказал он тихо,— платье, туфли, радость. Я тебе обещаю — все будет. Веришь?

— Верю, не обращай на меня внимания, ладно? Я же не потому, делай, как считаешь нужным,— сказала она, поднимая голову, стараясь глядеть открыто и прямо.

Татьяна Дмитриевна раздраженно стучала на старой машинке в два пальца, статья не получалась, и она знала почему, из-за Антона; просто уму непостижимо, как изменился человек. Фронтовик, семь раз ранен, два раза умирал, все понятно, но ведь всего двадцать шесть лет, в конце концов обязан человек в двадцать шесть лет чего-то хотеть? «Обязательно должен! — ответила себе Татьяна Дмитриевна и пригрозила: — Вот только бы дождаться, заставлю выложить начистоту, не отвернется. Срам, что говорит соседка. Сидит башмаки чистит, на водку зарабатывает. Совершенно невиданное дело, молодой человек с такими задатками, да, да! Немалыми! — прикрикнула на себя Татьяна Дмитриевна, поправила очки и выдернула закладку из машинки.— «Какое художественное открытие?» — раздраженно прочла она.— И спектакль серенький, и пьеска на ходулях, если бы не лауреат писал, говорить о ней никому бы в голову не пришло. Лауреатов развелось, лауреаты здравствуют, а хорошей пьесы днем с огнем не отыщешь, зрительные залы пустуют, душу не на чем отвести. Безобразие! Взбредет же в голову, чистильщик обуви! С ума можно сойти!»

Татьяна Дмитриевна заправила в старенькую заграничную машинку новую закладку (она купила машинку еще в тридцать восьмом с рук) и приказала себе сосредоточиться, статью нужно сдать завтра к двум, иначе она не пойдет совсем, а может, и к лучшему, если статья не появится: не придется прятать от знакомых глаза, ведь написать о такой ничтожной пьеске и не обругать ее — форменная подлость. Обругай — пропадет напрасно работа; никто не напечатает, в редакциях потихоньку между собой начнут говорить о старческом бессилии, о потере свежести восприятия, и в конце концов создадут репутацию, никуда не сунешься.

Обдумывая фразу, Татьяна Дмитриевна закурила: она разрешала себе папиросу-другую, иногда это помогало найти необходимое решение, но она не любила курить на людях, и быстро сунула папиросу в пепельницу, а пепельницу в стол, услышав щелчок дверного замка. Это мог быть только Антон, ведь сестра ушла недавно и могла вернуться домой не раньше обеда.

— Антон? — окликнула Татьяна Дмитриевна.

— Да, я. Здравствуй, тетя.

— Заходи сюда,— она вскочила, легко неся свое сухое тело, распахнула дверь в коридор; Антон причесывался перед большим помутневшим зеркалом. Привстав на цыпочки, Татьяна Дмитриевна поцеловала его в лоб.— Помоему, ты все растешь,— с сомнением сказала она.— За эти два месяца определенно подрос.

— В этом излишестве, тетя, я не виноват.

— Определенно. Впрочем, грешна, люблю высоких мужчин. До моего идеала не хватает сантиметров десять-пятнадцать.

— Столько мне не одолеть,— засмеялся Савичев, любовно оглядывая лицо Татьяны Дмитриевны, ее, пожалуй, еще довоенные очки, чистую морщинистую шею в белом пикейном воротничке, старинную камею, оплетенную черненым серебром.

— Иди садись. Водки хочешь, опричник? — спросила она его язвительно и со скрытой тревогой.

— Неужели в этом доме допускается подобное легкомыслие?

— Ты всегда нас недооценивал, Антон. Приходится приспосабливаться к новым запросам.

— Ты всегда, тетя, шагала в ногу со временем.

— Ошибаешься. Я теперь со своими старческими причудами не в моде у некоторых молодых людей.

Они поглядели друг на друга и рассмеялись.

— Где тетя Тася?

— Ушла по хозяйству, не все же могут позволить себе заниматься высокими материями. Не торопишься?

— Пока нет, до вечера свободен.

— Тем лучше. Значит, разговор состоится. Я ведь зла на тебя, не люблю откладывать. Только еще одна бытовая подробность: ты есть хочешь? Молчи, молчи, вижу, что хочешь. На кухне приготовлен завтрак той самой тетей Тасей, которую ты за все время не удостоил ласковым словом. А она тебе с шести лет была родной матерью. Ты не обижайся, я же грозилась сказать все, пошли на кухню. Постой, иди вымой руки.

Они опять взглянули друг на друга и расхохотались.

— Ну не ходи, не мой, если не хочешь,— сказала она все так же решительно.— Но лучше не забывать полезные привычки.

Между ними восстановилась прежняя доверительно-

дружеская, насмешливая атмосфера взаимопонимания; он словно вернулся в старый, знакомый мир. Савичев ел пирожки с начинкой из картошки и мяса, и Татьяна Дмитриевна по неколебимой традиции не разговаривать за столом молча согрела чай, ушла к себе и, ожидая, докурила спрятанную папиросу и открыла форточку — проветрить. Савичев застал ее быстро ходящей по комнате и приготовился молча слушать, заранее зная суть разговора; он сел на широкую низкую оттоманку и, получив разрешение курить, достал папиросы.

Татьяна Дмитриевна махнула на него рукой.

— Сиди, сиди,— сказала она.— Это у меня вроде зарядки — ходить в свободное время. Объясни мне лучше такое безобразие: тебя дважды видели в будке у Романа, ты, говорят, чистил кому-то обувь. И вообще, что происходит? Если тебе нужны деньги, мог бы сказать людям, которым ты дорог. За все время ни разу не пришел поговорить серьезно, ведь не хочешь же ты меня уверить, что решил перечеркнуть свою жизнь. Разумеется, у нас всякая профессия полезна и необходима...

Савичев затянулся дымом и хотел возражать.

— Помолчи! — прикрикнула на него Татьяна Дмитриевна.— Погляди, опух от водки, ночуешь бог знает где. Твое дело, ты взрослый, я не собираюсь регламентировать. Мое право сказать тебе все, что думаю, ты уж извини! Не кривись, не улыбайся, Антон! — Она подошла, он подвинулся, и она села рядом, маленькая, почти не заняв места, держась прямо и чопорно, полвека прожитой жизни не смогли выветрить из нее старых институтских привычек.

— Антон! Я понимаю, война, солдатская грубость, кровь, разврат, ожесточение...

— Тетя, не смешивай разные понятия, ты же умница.

— Ничего я не смешиваю, но все мы в ответе друг за друга. Люди связаны крепче, чем можно думать. Вижу, опять не принимаешь во внимание, вот именно, как говорят, об стенку горох, сидишь и, может, даже не слышишь. Это жестоко.

— Не надо нам ссориться,— Савичев погладил ее руку, сухую и теплую.— Все в порядке, тетя Таня. Все идет своим порядком.

— Антон, что с тобой происходит? Дороже тебя у нас никого нет, не чинясь, скажем, да это и не следовало говорить, ты сам знаешь.

— Знаю, тетя Тата, дорогая,— назвал он ее, как называл в детстве,— знаю, только не надо ничего усложнять. Учиться не хочу, пойду работать или уеду куда-нибудь...

— Уезжать из Москвы решение необычно оригинальное. Но меня трудно удивить. Позволь тебе только напомнить хотя бы о твоих довоенных наклонностях. Савостин сердится, недоумевает, в Суриковское тебе дорога всегда открыта. Почему бы не закончить, не размяться наконец. А там видно будет. Бросишь...

— Нет,— Савичев встал, подошел к окну.— Нет, дорогая тетя Тата, ничего из этой затеи не выйдет. Дудки, с этим кончено,— зло фыркнул он.

— Но отчего ты упорствуешь? Ведь знаешь, я не дилетант, не первый год живу на свете. Посмотри свои довоенные рисунки. Даже в набросках чувствуется особый характер...

— В пятнадцать-шестнадцать каждый гениален,— сказал Савичев тихо,— не в этом дело.

— Не уходи от себя, Антон, от себя никуда не уйдешь, попомнишь меня, старуху.

— Да ну, тетя Таня, у меня пальцы карандаша не удержат, отвыкли.

— И опять же врешь, а это? — она быстро вытащила из папки лист бумаги с наброском углем ее портрета. Это он нарисовал ее сразу по приезде; его тогда поразил контраст сухой темной кожи и живых, совершенно молодых глаз. Это, конечно, первое впечатление, тетя Таня много старше, но рисунок неплохой, есть уверенность линий, и характер схвачен. Савичев отложил рисунок.

— Ну, это так, шутки гения, за стакан водки могу десяток таких настрогать.

— Шут гороховый,— сказала Татьяна Дмитриевна, разглаживая ладонями рисунок.— Иди возьми на кухне, в настенном шкафчике.

— Выпью, благодарствую,— поклонился шутливо Савичев, нашел на кухне водку в графинчике, налил, но пить не стал, поставил назад, закурил; вернулся назад к Татьяне Дмитриевне. Ничего, он в себе это задавит, похоронит, это ведь только теткам нужно, тетки его любят, их понять и простить можно.

Татьяна Дмитриевна курила, она, кажется, забыла об его присутствии; без очков лицо ее казалось много старше,

вот опять этот темный болезненный румянец и острый сухой блеск в глазах.

— Послушай, Антон,— она больно схватила его за плечо горячей, крепкой рукой.— Я знаю, у тебя отцов характер, тебя не переубедишь. Я и не стану попусту терять время, поступай как знаешь. Скажу тебе одно: тяжким будет тебе путь. Все равно, Антон, придешь к этому.— Она показала на лист бумаги.— Это я твердо знаю. Ни женщины, ни водка, никто и ничто не отлучит тебя от этого. Придешь, придешь! На свете чудес нет, Антон. Потеряешь только время. Жалеть будешь, Антон, человеку отмерен строгий срок. Для всего отмерен; и то, что уходит, не возвращается.

Заметив, как посветлели, повеселели его глаза, Татьяна Дмитриевна с горечью закончила:

— Ты мне не веришь, Антон, время нас рассудит. Ты хочешь отказаться сам от себя, а это никому даром не проходит. Попомнишь меня, старуху. Ведь пишешь, обманщик, пишешь, меня не проведешь. У тебя рука набита. Не пойму, зачем тебе нужна эта жалкая игра в кошкимышки?

— А затем, что не вижу главного. Искусство обанкротилось, его растоптали. Не хочу перепахивать миллионы раз заплеванное, изгаженное поле. Остановили мы очередную мерзкую бойню? Нет! Что искусство может? Ни-че-го! И ты, тетя, это прекрасно знаешь! И все знают и только делают вид, что от них что-то зависит. А если я рисую, то только для себя, никого это не касается. Другие вон спичечные коробки собирают.

— Спасибо, Антон. Сказал, что думал. Кто у меня ближе тебя есть? Никого. И всегда говори, что думаешь,— Татьяна Дмитриевна, ломая спички, долго закуривала.

— И ничего ты не придумаешь, тетя. Такой сейчас массовый серийный век, нужен стандарт.

— Чушь, ерунда. Искусство только и способно защитить человека от стандартов, от серости, от шаблона. И опять ты не прав, Антон. А Девятая симфония? А Шостакович? А Прокофьев, наконец? Конечно, если сознательно отказываться от борьбы... Вернуться к растительной жизни. Ты этого хочешь? Как же ты думаешь прожить? Башмаки рабочему классу чистить? — с издевкой спросила Татьяна Дмитриевна.— Могучий вклад в цивилизацию. Просто у тебя какие-то центры сместились, мальчик.

— Не обязательно останавливаться на башмаках, хотя и башмаки кто-то должен чистить,— в тон ей отозвался Савичев.— Уеду,— повторил он, укрепляясь в неожиданной мысли.— Уеду в Воропянск, мне давно хочется на родину, пожить, поработать. Город сильно разбит, знаю, ну что ж, тем нужнее там люди. Разбитые города! Звучит? Звучит, товарищ искусствовед, звучит! Мне давно хочется побродить по родным местам отца.

Татьяна Дмитриевна сжала губы, все война, переломала характеры, судьбы, можно убеждать, доказывать, но ведь ясно, что он не послушается, в нем тлеет какой-то разрушительный процесс, взрослый же человек, пусть решает как хочет, каждый должен пройти свой путь обретения. Татьяна Дмитриевна подошла к Савичеву, погладила ему волосы, захотелось прижать его к себе, поцеловать, как маленького.

— Понимаю, мальчик, понимаю тебя, никого не хочется пускать к себе. Вот и отец твой такой был, ты ведь даже не видел его ни разу. Родился, а его уже не было. И я его мало знаю, Вера редко с ним приезжала. Она была самой одаренной среди нас. Ты мне прости, я до сих пор не пойму, что она нашла особенного в твоем отце? Допустим, проснувшийся пролетарий, самопожертвование, желание вытянуть к своему уровню любимого человека. А потом... странная все-таки у нее судьба. Почему она после смерти мужа не вернулась в Москву? Уже смертельно больная, продолжала сидеть в своей новообретенной Мекке и даже не написала...

— Вот и поеду туда, в отцовскую Мекку,— Савичев наклонился, прижался щекой к ее руке.— Пойду, тетя.

— Постой, постой, разбойник! А Тамара! Когда ты ее покажешь?

— Обязательно покажу. В эту неделю как-то не выходит, у нее подруга заболела, подменяет. После воскресенья — обязательно.

— Антон, ты ее любишь?

— Мне хорошо с ней, я не могу этого объяснить, она не мешает, ничего не требует...

Тени в окне сгустились, они сидели, не зажигая света.

Все правильно, говорил он себе, уеду в Воропянск, устроюсь, сразу вызову Тамару. Лучшей бабы не найти, и преданная, молчаливая, в душу не лезет, а что вялая немного — пройдет. Он добро сощурился, вспомнив, как она

принесла из библиотеки комплект «Огонька», когда он попросил взять что-нибудь почитать. И это можно воспитать, решил он, даже интересно, нетронутая душа. Вместе будем учиться, природный ум у нее есть.

— Какой у меня альбом пропал в Берлине, когда ранило,— сказал он тихо.— Полжизни бы отдал.

Он отвернулся, пугая Татьяну Дмитриевну застывшим в странной, неподвижной улыбке лицом, но это длилось какое-то мгновение.

13

Важно соблюдать законы, а человеческие представления и привычки те же неписаные законы, и без них не было бы человеческого общежития, думал Савичев, отдельная человеческая личность не в силах вырваться из-под груза представлений и традиций, выработанных веками. Можно попытаться жить, перечеркнуть правила и просто жить, никого не трогая, честно зарабатывать кусок хлеба, а все остальное от невежества, от честолюбия — тот же биологический инстинкт. Хорошо тете Тане, она ведь вся где-то еще там, у своих древних греков; она и от искусства требует той же ясности и целомудрия, а в ком бы сейчас затронул душу Фидий? Сейчас мало одного совершенства формы, все стало и огромнее и мельче, человек как слоеный пирог, сколько в нем отложилось? Видишь, сказал он себе, а во дворе-то по-прежнему ничего не изменилось; девчушка лет десяти с задорно торчавшими из-под шапочки косичками сосредоточенно прыгала через бечевку, которую раскручивали две ее подруги; Савичев осторожно обошел их, зная, что Татьяна Дмитриевна смотрит ему вслед из окна; уже в воротах, под самой аркой, сторонясь от въезжавшего во двор автомобиля, он увидел Инну Голышеву. Он изменился в лице и поднял воротник; она его не узнавала, шла, никого не замечая, и если не окликнуть, так и пройдет мимо. «К чему?» — лихорадочно подумалось ему. Ну ладно, остановится он, окликнет ее, а дальше? Приятные школьные воспоминания?

Не выдержав, Савичев оглянулся и встретился с нею глазами.

— Простите... Антон? — спросила она неуверенно и, как показалось ему, с замешательством, беспомощно кося гла-

зами, он знал в ней эту особенность, в те далекие дни все в ней казалось замечательным; она была в светлом осеннем пальто и в такой же светлой шапочке, с пуховым шарфом на шее.

Савичев, прокашливаясь, шагнул ей навстречу.

— Здравствуйте, Инна. Действительно трудно узнать.

Она все так же неуверенно протянула руку, в то же время с откровенной жадностью рассматривая его, не стесняясь и пытаясь отыскать в нем хоть что-нибудь прежнее.

— Господи, Антон, станем в сторонку, на нас изо всех окон смотрят.

— Боишься подмочить репутацию?

— Не говори глупостей. Неприятно, словно тебя паутиной обволакивает. Я к матери шла, послушай, может, мы где-нибудь посидим?

— Стоит ли?

— Может, и не стоит. Только какая разница? Просто посидим, и все.

— Как-нибудь в другой раз.

— Антон, ведь мы были друзьями, господи, какое счастье, что ты вернулся...

— Ну это спорно...

— Я всего неделю в Москве, от мамы узнала. Слушай, это правда, мама рассказывала, что ты с Ромкой Копыловым обувь чистишь на Кузнецком? Знаешь, раза три заворачивала, все на Ромку натыкалась. Правда, он меня не видел.

— Стесняешься ближе подойти?

— Мы с Ромкой в ссоре... с тех пор, как я вышла замуж.

— Ромка ничего мне об этом не говорил,— Савичев поглядел мимо нее на игравших в скакалки девочек. Инна теребила перчатку, пытаясь справиться с волнением, с неловкостью, с его нежеланием сделать хоть маленький шаг навстречу и не веря его равнодушию.

— Впрочем, все это сантименты,— сказал Савичев.— Прими и мои поздравления, хотя и несколько запоздалые.

— Ты же не злой, Антон, не надо казнить друг друга. Ну, что ли, рискнем? Тут недалеко.

Савичев размашисто шагал рядом с нею и удивлялся своему спокойствию, время сделало свое, он успел привыкнуть, во всяком случае, научился держать себя в узде, и только однажды, пропуская ее вперед в дверях ресторана,

почувствовал желание обнять; она разделась и стала причесываться перед зеркалом; почувствовав его взгляд, улыбнулась ему из глубины зеркала.

— Ты, я вижу, посветлел,— Инна взяла сумочку и пошла впереди, слегка покачивая бедрами; на минуту ею овладела досада на себя, зачем нужна эта комедия, куда-то идти, неумно с его стороны держать себя в роли судьи, и она не преступница, так жизнь повернулась. Хорошо, она писала ему письма, еще раньше обещала ждать, но нельзя же ребяческий лепет считать за основу мирозданья, глупо не понимать элементарных истин; в конце концов жизнь — безжалостный расчет, трезвость. «Чьи это слова? — подумала она и отмахнулась.— Какая разница... Кто не дает клятв в восемнадцать?» Хочется его потрогать, убедиться, тот ли это Антон, подбрасывавший ей записки еще в седьмом классе, когда другие мальчишки только дрались или норовили сделать какую-нибудь пакость; он сидит сейчас с невероятно чужим, спокойным лицом, и объяснить ему нельзя, не поймет и не захочет. Вот он закуривает, сосредоточенно глядя на спичку, очевидно, думает, как выйти из нелепого положения; хмурится, равнодушен, ах, Антон, Антон, все равно я вижу тебя насквозь. Что у него с лицом, неподвижное как маска, неровный цвет, ах да, ранения, мать говорила, а какая у него была нежная, свежая кожа...

Инна придвинулась к столу, она и не подозревала, как живуче, оказывается, первое ощущение, ничего не забыто; она поглядела на его руку, лежавшую на краю стола, и положила на нее свою. Он помолчал, внимательно разглядывая розовые ногти, тщательно отполированные и подрезанные, улыбнулся ей и убрал свою руку, потянулся за папиросами.

— Как же я тебя знаю, Антон, не жалей,— сказала она.— В Москве дороги тесные, рано или поздно встретились бы. Днем раньше, днем позже...

— Почему же? Я очень рад. Будьте добры! — позвал Савичев официантку, пышногрудую, в узком кружевном передничке.— Подойдите, пожалуйста.

— Успеете! — издали пророкотала официантка.— Видите, не разорваться мне на всех.

— Оставь ее, дай ей насладиться своей значительностью, разве ты не видишь, что настал ее час? — сказала Инна.

Против воли впадая в их прежний шутливый тон, Савичев придвинул к себе меню.

— Меня интересует эта роскошная карточка. Не знаю, чей час, но час моего желудка определенно пробил.

— Да, отсутствием аппетита ты никогда не страдал.

— Как видишь, это мне не помешало приблизить свое блистающее завтра.

— Ах, Антон, Антон, о чем ни говорить, лишь бы не говорить, так? Думаешь, ты добрый, молчишь, отказываешься от разговора? Нет, ты не добрый, далеко не добрый, хотя я перед тобою ничем не виновата. У нас друг на друга разные права...

Подошла, наконец, официантка и, шумно дыша, достала из крохотного карманчика засаленный блокнот.

— Я вас слушаю, гражданин.

— Заказывай сам,— попросила Инна, отворачиваясь, удивляясь своей горячности и обиде и твердо решая не затрагивать больше прошлого.

Савичев называл закуски, попросил водки.

— Водку будешь пить? — спросил он Инну.

— Выпью,— согласилась она, не вдумываясь, и только потом, когда официантка грузно отошла, Инна переспросила: — Водку? Можно выпить за такую встречу и водки. Почти шесть лет. Наверное, она больна, слышал, как дышит?

— Шесть лет,— подтвердил Савичев; на первый взгляд от той прежней, Инки, ничего не осталось. В красивом, чуть припудренном лице, в глазах, в манере говорить, чуть растягивая слова, угадывалась закрытая жизнь привыкшей к постоянному вниманию женщины, позволявшей себе капризы и мало считающейся с мнением других. И еще были в ее лице горечь и решимость; она словно все порывалась рассказать о чем-то важном и необходимом для нее и не могла заставить себя переступить хорошо известную ей черту. В самом деле, подумал он, я ведь ничего о ней не знаю, а, если честно, узнать хочется. У нее странное лицо, оживление и решимость вот-вот обернутся слезами и истерикой, и что-то дрожит внизу лица, какая-то едва заметная жилка. Наша случайная встреча здесь ни при чем, у нее отдельно от этого что-то в жизни происходит, она шла к матери и встретила меня. Она ведь с матерью нехорошо живет, в постоянной ссоре, еще со школьных лет, зачем она к ней шла? Еще что-то тетки говорили, что она ушла от

мужа. Вот сидит перед ним женщина, совершенно взрослая женщина, со своей, очевидно, нелегкой судьбой, и ей тяжело с ним, не вяжется разговор. И в самом деле, какие у него права быть ей судьей, смешно и глупо.

— Слушай, Инка,— сказал он,— у меня есть одно предложение. Давай просто посидим, поговорим, не надо никаких исповедей. Идет? Как ты сейчас живешь, интересно тебе? Курить можно? Как ты сама, куришь?

— Кури, Антон. Куришь, пьешь водку, странно. Мужчина вернулся с войны, солдат. Антон, знаешь, а мне грустно.

— Выпьешь водки, пройдет. Человек — животное хитрое, он себя защитить в любом случае умеет. Ага, несет, сейчас дело пойдет веселее.

Официантка, отходя, оглянулась через него на Инну, у нее влажно поблескивали глаза; Савичев, разливая водку, заметил, с каким напряжением Инна следит за его руками, неожиданно еще потеплел, в чем-то она была дорога и встреча с ней приятна, она напомнила школу, робкие неумелые записки, первое волнение, желание нравиться, то, что больше не повторится.

— Выпьем, Инка, давай за тебя.

— За нашу встречу,— перебила она, осторожно поднимая налитую до краев зеленую рюмку.— Как мне хочется для тебя большого-пребольшого счастья. Такого большого, как дом.

Она смешно округлила губы (тоже детская привычка), и одним глотком, как Савичеву показалось — привычно, выпила, и стала закусывать балыком; Савичев, прижмурившись, вытянул прохладную водку, привычно сунул в рот папиросу.

— Ты что, Антон? Немедленно закусывай, отвыкай от солдатчины. Хочешь желудок испортить?

Савичев засмеялся, но папиросу отложил, ему нравилось подчиняться, она всегда пыталась командовать и преуспевала в этом, да, да, ему нравилось подчиняться именно ей. Инна внимательно поглядела ему в лицо и отбросила со лба челку. Как странно в чужом взрослом человеке узнавать знакомые черты.

— У тебя глаза, оказывается, рыжие,— удивился Савичев.

— Ешь, ешь, опьянеешь. Ты не забыл нашу поездку в Останкино? В конце мая, в сорок первом?

— В Останкино? — он озабоченно наморщил лоб.— Ах да, тот дуб, да? Как же, как же... Нальем еще. Выпьем за него, за дерево, пусть оно подольше постоит,— продолжал он.— Ушел в армию сопляком, поездка в Останкино — чуть ли не самое яркое воспоминание. Прекрасный сон. Вот видишь, я тебя помнил.

— Вижу, Антон, спасибо.

— Взаимно,— он пожал плечами.

— Ах, как мы великодушны, как щедры, мы имеем священное право...

— Опьянела? — спросил Савичев мягко, понимающе, накрывая ладонью ее руку, но она ее отдернула, спрятала за спину.

— Ты, конечно, уверен, что мне хорошо жить,— она глухо засмеялась, показывая тесные влажные зубы; у нее кружилась голова и ослабели ноги от водки, она терпеть не может водку, а с ним пьет лихо, лишь бы не расплакаться; оказывается, ничто не забыто и не умерло; стоило услышать о возвращении Антона, как она бросила все и прибежала, и все бесполезно теперь и кончено, она сама виновата, хотя бы только выговориться, освободиться наконец.

— Сейчас пройдет, Антон, не обращай внимания, сейчас. Дай закурить, пожалуйста.

У нее дрожали руки, и курила она неумело, пыхая папироской и не затягиваясь.

14

Инна познакомилась с ним случайно, как раз осенью сорок третьего. Отошла Курская битва, окончательно стало ясно направление хода войны; слегка ослабло напряжение, в лицах людей проступило больше оживления. Возвращаясь как-то с практики, она, решив отдохнуть, выбрала скамейку, заваленную желтыми листьями, и машинально, больше от усталости, улыбнулась Виталию Столетову, тридцатилетнему инженеру на брони; он сел рядом и развернул газету. Пытаясь начать разговор, что-то сказал о фронте, о последних сводках, всех тогда роднила радость недавней победы, она коротко ответила, отодвинулась; ей хотелось просто молча посидеть, отдохнуть после длинного, тяжелого дня, поглядеть на желтые листья и поду-

мать об Антоне, а может, достать его последнее письмо и перечитать, улыбаясь своим мыслям.

— У вас, конечно, тоже кто-то есть на фронте, и вы свято храните ему верность,— опять сказал Столетов, и Инна вспыхнула.

— Не нахожу причины иронизировать,— тихо, хотя достаточно резко, оборвала Инна, придвигая к себе старый, туго набитый книгами портфель, и не ушла. Время от времени вспоминая о его присутствии рядом, она косилась на красивый твердый мужской профиль; он снял шляпу, причесался, опять развернул газету, устраиваясь надолго, по-хозяйски.

Начались встречи, одна, другая, третья. Антон Савичев, этот мечтательный и робкий мальчик с нежным пушком на щеках, куда-то отступил, замутился, война шла к исходу, и пусть он был жив, часто писал письма, она не могла больше ждать.

Почти полтора года торопливого, безоглядного счастья; а потом, решившись, Столетов сказал, что возвращается из эвакуации семья, жена и сынишка, из Ташкента, у него были страдающие глаза, и ей нечего стыдиться, он любил ее, предлагал развестись с женой, стоял на коленях. Кто знает, если бы сейчас... но тогда она не могла простить обмана. Конечно, никакой трагедии, сошлись и разошлись, он стал почти преследовать, торчал у подъезда дома, умолял, грозил. И она выскочила замуж, как в омут головой, лишь бы опомниться, оторваться.

Инна положила погасшую папиросу в пепельницу, некрасиво сморщилась.

Савичев слушал с напряжением, стараясь ничего не пропустить, с грубой обнаженностью, по-мужски представляя то, что она обходила.

— Месть так месть,— с вызовом закончила Инна.— Теперь хорошо живу, свободна. Захочешь, приходи в гости,— засмеялась она.— Мой Николай Николаевич дико ревнив, ушла от него. Да что, его винить нельзя, невинно пострадавший. Живу пока у подруги, она в Ленинград к родителям уехала.

— Николай Николаевич?

— Мой бывший муж. Кстати, в конце концов он делал то, что хочу я. Он идеален, ты понимаешь, я рядом с ним не могу спокойно проглотить куска хлеба. Единственный недостаток — чрезмерность преданности и чувств. Да нет,

шучу, он прекрасный, добрый человек, он идеален. Тут ничего нельзя поделать, Антон. Невинная жертва.— Инна небрежно поправила прическу и, рисуясь ненужной откровенностью, намеренно стараясь усилить у него нехорошее впечатление от своих слов (она чувствовала это безошибочно), выпрямилась: — Ты меня презираешь?

— Я всего лишь не могу тебе позавидовать. Где ты сейчас работаешь?

— В Бахрушинском,— помолчав, ответила она.— А что?

— Ах да, верно, тетка говорила. Ничего, так спросил.

— Ну, еще спроси что-нибудь. Какие тебя еще данные интересуют? Группа крови? Прежняя.

Савичев поглядел на нее и промолчал, она совсем опьянела и совершенно не хотела есть; он довел ее до метро, она подала руку в черной нитяной перчатке, помахала, и ее втянул эскалатор; некоторое время Савичев еще издали видел ее берет, но затем и он исчез. Незачем было отпускать ее, в сущности, она ничем не была ему обязана, а он держался перед нею как оскорбленный идиот. Подумаешь, израненный герой, его обманули, видите ли, исчез смысл жизни. Надо уехать, непременно уехать, подумал он. «Воропянск стоит на слиянье двух рек — Воропы и Шароньи»,— вспомнились ему строчки из энциклопедии.

Он шел из улицы в улицу, выбирая дорогу подольше, с отуманенной головой, припоминая разговор с Инной от начала и до конца, то улыбаясь, то хмурясь, и потом весь вечер думал все о том же; Тамара, вырезавшая выкройку и наблюдавшая за ним, не выдержала, наконец, сказала:

— С тобой что-то случилось. Пойдем погуляем, правда, сыро очень, или в кино...

— Давай лучше побудем дома. Утюг налажу.

Он долго возился с перегоревшим утюгом, подтесал осевшую дверь, потом долго мылся.

Тамара подошла с чистым полотенцем.

— Люблю, когда ты работаешь. У тебя руки умные — вещи тебя слушаются, у каждой вещи свой характер есть. Отыскался хозяин и слушаются,— она запнулась, робко посмотрела на него.

— Перестань, нам пока ничто не грозит,— он кинул ей на руки полотенце.

— Пока?

— Оговорился. Глупышка, ну что ты?

— Я прибежала, а тебя нет и нет, хожу как неприкаянная из угла в угол.

— А ты не ходи как неприкаянная, ходи как прикаянная. Вот так.

— Антон, Антон... Перестань! Ты же знаешь, не выношу щекотки! Ой, ой! Антон, ну подожди... подожди... Господи, как я люблю тебя, как люблю! — Она задохнулась от своих слов, от заключенной в них огромности, и радости, и скрытой боли, и Савичев почувствовал ее и не нашелся, что сказать, и лишь время от времени благодарно целовал ее.

Огонек папиросы осветил лицо Тамары, руку, прикрывшую тыльной стороной ладони глаза.

— Слышишь, Том, человек лишь сам в себе засыхает, хочу уехать из Москвы. Слышишь?

— Слышу,— отозвалась она напряженно.— Куда?

— Пожалуй, на родину, в Воронянск, я совершенно его не помню. Город разрушен в войну, в газетах писали, у меня такое чувство, словно меня там ждут. Часто сны снятся, странная жизнь в клочьях. Яркое ржавое железо, неясные тени людей. У меня там отец с матерью похоронены. Отец умер, когда я еще не родился, мать от могилы отца никуда не уехала да следом за ним и сошла.

— Когда думаешь ехать?

— Скоро, дня через три-четыре. Тетки обижаются, почти не видят меня.

— Поезжай, раз хочется, никого не слушай. А насчет работы — ерунда, ты можешь хоть десять лет не работать, ты воевал, весь изрезан.

— Подожди, я ведь думал вместе отправиться.

— Приеду позже, ты все устроишь, напишешь. Не будем спешить.

Она натянула одеяло до подбородка, затихла, испугавшись своих слов, ожидая его возражений и не желая утверждаться в необходимости оказаться в разных городах. «Я знаю его лицо, руки, глаза. Но что я еще о нем знаю? Нет, этот груз не по мне. Молчит и молчит, а потом вдруг — вместе отправляться!»

— Пожалуй,— сказал он, докуривая папиросу и наугад туша ее об пол.— У нас с тобой действительно никакого опыта, как с луны. И я там никого не знаю.

— Конечно, Антон. Зачем так неразумно обоим срываться? Вдруг ничего не выйдет, назад возвращаться?

— Хорошо, не рискую настаивать. Тут и твоя судьба.

В большой комнате неясно выделялось окно; приглушенно доносились звуки рояля, Тамара вслушивалась в них и никак не могла уловить, что играли. Когда-то и она училась музыке, ей даже хотели купить пианино. Она вспомнила сутулую фигуру отца, совершенно нелепую в солдатской шинели, вокзальную сутолоку, страдающее лицо матери и свои рвущиеся изнутри слезы, полудетские, глупые, восторженные слезы любви и горя от горячего единения с сотнями людей, затопивших перрон. «Папа, папа, дорогой папа, папочка, скорее приезжай, папа, папочка...»

С вокзала они возвращались пешком, Тамара поддерживала под руку ослабевшую мать.

Тамара отодвинулась, сжалась под одеялом, этот чужой человек стал дороже отца и матери. Да хоть сейчас встать, собраться и ехать на край света. Но этого нельзя, он сам ничего не знает, и в отношениях с нею никакой определенности, в душе он растерян, и она знает о его растерянности; нет, она не воспользуется случаем связать его, пусть решится само, само собой. Нет, пусть едет один, пусть вначале отыщет себя, а потом время покажет; согласившись, она его потеряет, не успеет и оглянуться. Да что же это все-таки за пьеса, Шопен или Лист? Скованная игра, кажется, кто-то тренирует пальцы.

15

Начались легкие заморозки, продавцы мороженого поддели под халаты ватные телогрейки и точно растолстели.

Савичев поздоровался с Ромкой, и тот привычно, не удивляясь, вылез из будки.

— Посидишь? Вернусь часа через два. Есть время? Закуривай.

— Спасибо. Не торопись, ходи, сколько понадобится.

— Чудак ты, Антон.— Ромка поправил на поясе крепления протеза.— Мне бы на твое место, развернулся бы, ахнешь.

— Надоели вы мне. Топай. Сегодня холодно, сухо, вряд ли заработаешь.

— Суббота, ты забыл?

— К вечеру, может. Передавай привет Евгении.

Ромка ушел, оставив Савичеву папиросы; задвинув дверцу, он тяжело запрыгал по мостовой. Савичев глядел через стекло на проходивших мимо людей; да, да, именно этот поток, близкий и огромный, диктует жизни законы, и и ведь себя он выделяет из этой безликой массы, и башмаки чистит, доказывая свою особость, исключительность по сравнению с теми, кому он чистит башмаки. Он даже унизиться может, как это сказал врач тогда в госпитале? Гомункулус! Сверхчеловек, исключительная личность. Сейчас таких много, от берега отбились и к вершинам никуда не пришли, ни то ни се, средний уровень, стандарт.

Савичев повернул голову и увидел смеющееся лицо Инны. «Разумеется, ее только не хватало, притащилась все-таки...» Он отодвинул дверь, встречая ее тяжелым взглядом, хотя ждал, не признаваясь, именно ее.

— Здравствуй, Антон.

— Здравствуйте,— отозвался он сдержанно.— Почистить?

— Мне? — растерялась в первый момент она и, быстро справившись с собой, улыбнулась.— Можно и почистить.

— Садитесь.

Он быстро и ловко вычистил ее высокие ботинки из дорогой кожи, несомненно шитые на заказ; Инна сжимала в руках сумочку из такой же кожи, в тон ботинкам, ей хотелось потрогать его волосы; несмотря на испорченное лицо, он красив, и в нем чувствуется мужчина; несомненно, у него есть женщина, так бесцеремонно и холодно может вести себя мужчина, лишь уходя к другой.

— Три рубля,— сказал Савичев грубо, и она, опустив глаза, долго рылась в сумочке. Савичев взял деньги, бросил их в выдвижной ящик под сиденьем.

— Антон, мы не можем так расстаться,— сказала она, все еще сжимая в руках сумочку.

— Я уезжаю, еду в Воропянск, может, останусь совсем, если приживусь, так что, Инна Викентьевна...

Она склонилась к нему совсем близко, и он услышал запах тонких, дорогих духов.

— Хочешь, я поеду с тобой? — быстро и почему-то шепотом сказала она.— Все брошу и поеду? Не веришь? А ты не смейся, я буду тебе хорошей... хорошим другом, вот увидишь. Надоест, слова не скажу...

— Инка, да ты больна,— обрел, наконец, голос Савичев.

— Может, и больна. Ничего я не знаю, одно я знаю, мы не можем так расстаться.

— Постой, Инка.— Она, как всегда, ошеломляла его своим напором.

— Молчи. Если не хочешь взять с собой, не надо. Молчи. Ничего не говори, а то я скандал устрою, будку опрокину. Молчи.

Савичев, невольно заражаясь ее страстностью и волнением, почти вздрогнул от неожиданного ответного желания, смял и бросил папиросу, и она, еще раньше, чем он сказал, уже все поняла, и в ее глазах мелькнула мучительная радость. Савичев прикрыл дверь в будку и коротко сказал:

— Пойдем.

Почувствовав ее теплые длинные пальцы, он сказал себе, что нужно опомниться, остановиться, но было поздно, они шли молча, все ускоряя шаг от нараставшего чувства неизбежности того, что должно случиться, они уже сами желали этой неизбежности, чтобы мучиться потом и добиваться друг друга снова и снова.

Придя в себя через неделю, Савичев, бреясь, решительно сказал:

— Все, конец.

— Что, конец? — не поняла Инна.

— Завтра уезжаем. Если, конечно, ты не передумала.

— А ты?

— Я, как видишь, нет,— он аккуратно снимал со щеки мыло, слой за слоем; она внимательно, не упуская ни одного его движения, следила за ним. Совершенно рыжие глаза, зрачки узкие, вертикальные, и вся она похожа сейчас на напружинившуюся, готовую к прыжку кошку. С нею придется трудно, это тебе не бесхитростная наивная душа Тамара; эта все борется со своими надуманными бесами, попробуй разгони их. Для него самого спасение сейчас в чем-то простом, примитивном: в куске хлеба, в крыше над головой, в тяжелой работе, в том, чтобы вокруг все было устойчиво и не бередило. Уйти в раковину с рогами и ногами. И все-таки он любил ее, только ее, и все то, что с ним происходило после возвращения в Москву, лишь замедленная реакция на известие о ее замужестве, об ее измене.

— Ну что ж, завтра так завтра, форма одежды поход-

ная? — Она затянула молнию на ботинке, побросала мелочи в сумочку, щелкнула замком.— Между прочим, Антон, у нас в Бахрушинском нужен художник, у тебя нет желания закрепоститься?

Она торопливо пудрилась перед зеркалом, подошла, приподнялась на цыпочки, разгладила кончиками пальцев его сведенные брови.

— Ладно, ладно, предложение снимается.

Прижалась, тепло дыша в щеку.

— Ну, я побежала. Как обычно в шесть у метро?

— Если успею. Мне многое нужно сделать до вечера, я тебе говорил, зайти к Тамаре, объяснить.

Инна помолчала, затем осторожно передохнула.

— Слушай, Антон, а может, будет лучше ей написать, ну из Воропянска хотя бы. Я ведь тебя знаю, это будет для тебя пыткой.

Он не ответил, хлопнула дверь, кто-то гулко протопал в передней.

— Впрочем, делай как знаешь. Я ведь только так сказала. Ты сам знаешь, как лучше сделать.

Он хотел разозлиться, но, чувствуя правоту Инны, промолчал. Легко сказать: пойти и объяснить, ему нужно было держать себя в руках, только его вина. А может, Инна права, лучше написать, он ведь живой человек, и, может быть, правда, лучше Тамаре написать, пусть считает его трусом, подлецом, скорее забудет. Голову можно потерять; хорошо в армии, все готовое: одевают, обувают, кормят, и самому думать не приходится, там распоряжаются тобой круглые сутки.

Инна торопливо бежала вверх по эскалатору, она опаздывала; вчера она украдкой читала в энциклопедии о Воропянске и уже все для себя решила. Пусть захолустье, нужда, проживем как-нибудь, чепуха, думала она, и потом ей все время хотелось плакать от счастья. Пусть будет Воропянск, если Антону хочется в Воропянск, пусть будет Воропянск. И если она сошла с ума, какая разница, где лечиться, в Москве или в Воропянске. Она сделает из него человека даже на Северном полюсе, не даст ему закопать себя, а вместе с ним и ее, до последнего времени она жила не думая, минутой, теперь извините.

Она принесла ему горе, зато теперь она сделает все возможное и невозможное — она вытянет его, замолит грехи, господи, да она за него на все пойдет, сколько у нее, ока-

зывается, еще сил, теперь только она поняла, что такое любить. Неделю назад они ничего не знали друг о друге, и все-таки она с непостижимой ясностью видит беспощадность пути с ним, бывает и так, светлый прозрачный ручеек разлился в стремительный без берегов поток, не вынырнешь.

16

От Москвы Воропянск находился в четырехстах с лишним километров, стоял он на слиянии двух небольших русских речек, Шароньи и Воропы; Воропа впадала в Шаронью в самом центре города. В честь шестисотлетия Воропянска еще до войны был воздвигнут на берегу Воропы в парке монумент из красного зернистого гранита; в оккупацию немцы взорвали обелиск; за Воропянск шли сильные бои, и почти все накопленное городом за шесть столетий было разрушено, уничтожено, сожжено. Жилья почти не осталось, и только стараниями Инны удалось снять комнату на самой окраине города в частном деревянном домике за пятьсот рублей в месяц, зато рядом, над крутым обрывом из желтого известняка, бежала Шаронья, незамусоренная, с чистыми берегами, летом можно было купаться и удить рыбу. Город производил двойственное впечатление — Савичев сразу почувствовал этот город своим, необходимым; Инна же никак не могла освободиться от чувства неприязни к Воропянску, как если бы это было живое существо, потом это стало проходить, стираться, сказывалась масса забот. Комната, которую они сняли, оказалась сырой, со стен капало. Инна сушила стены электрическими плитками, потом покрыла до половины масляной краской, побелила потолки, стало суше, уютнее. Старуха хозяйка ни во что не вмешивалась, она без конца грела самовар и грелась чаем. Инна быстро с ней поладила, достав уголь до конца зимы. Все спорилось в руках Инны, все удавалось. И Антон, казалось, отошел. Правда, тетки по-прежнему слали письма и призывали опомниться; прислал письмо, наконец, и Ромка — обругал за Тамару, пригрозил при встрече обломать костыль об его бока: «Зло, мой дорогой друг Антон Васильевич, обернется против тебя же самого, и поступил ты, как последняя стерва, даже объяснить не зашел, трус, не мужчина, а мог бы вместо подлой отписки. Томка настоящий человек, она тебя, негодяя, еще защищать взду-

мала. Тут я виноват, не остановил свою дуру, но кто же знал, что ты окажешься такой скотиной...»

Савичев только что вернулся с работы, не успел ни переодеться, ни умыться, ну вот дождался письма друга, лучше бы совсем не писал. Впрочем, он и сам знал, без Ромки, что поступил, как последняя сволочь, мысль о Тамаре жгла его; но ведь изменить ничего нельзя, что сделают тут слова утешения, только растравят рану. А Томка действительно настоящий человек, когда-нибудь она его простит и они останутся друзьями. Она поймет, что без Инны он не может, и сама кого-нибудь встретит и полюбит.

Савичев, дочитывая письмо, еще раз возвратился к началу; за стеной послышались голоса, и он сунул письмо в карман. Постучав, вошла баба Поля, хозяйка; Савичев вопросительно глядел на нее, и она, делая значительный вид и поджимая сухие губы, сказала:

— Твоя-то в город ушла, наказала не беспокоиться.

— Я и не беспокоюсь,— отозвался Савичев, понимая, что ничего Инна ей не наказывала и старуха заглянула от любопытства.

— Все бегает, беспокоится, хлопотная она у тебя, а ничего, справная, характер хороший. Ну, а ты как, сынок, наработался? Уморился небось, чаю-то выпьешь?

— Выпью, баба Поля, спасибо.

— Я-то сначала думала, какой грамотный, в начальниках будешь, а ты кирпич таскать. Книг навезли, картинки разные. Ты бы сказал бабе на стенки прибить.

— Садитесь, баба Поля, проходите.

— Некогда, пойду я, курица, возьми ее пропад, сгинула. Тут разве кругом народ, разбойники одни. Давечь перед вечером выхожу, все пять ходят, копаются, а стала на ночь кормить — нету одной. И знаю кто, Филатки косой бандиты, их там пятеро, а пойди докажи! Они тебя ночью придут удавят. Хочешь, я тебе супу-то подогрею? Когда еще твоя вернется, а у меня печка как раз горит.

Принимая молчание за согласие, баба Поля зашлепала на кухню; она ходила дома в больших мужских войлочных тапочках; Савичев машинально кивнул ей вслед, достал письмо, мелко-мелко разорвал его и, высунув руку в форточку, выбросил во двор. Кончено, что он совершил, преступление?

Он умылся в кухне под старым, капающим рукомойником, переоделся, съел две тарелки супа и пошел побро-

дить к берегу Шароньи; снегу не было, лишь воду у берегов прихватило ледком, и два серых лобастых гуся никак не могли выбраться на берег и недовольно переговаривались. Хорошо бы написать тихий, пустынный берег, этих недовольных гусей на медленной, застывающей воде и резкий чистый воздух, в котором таилась тревога перед скорым покоем, написать тишину. Опять за свое, засмеялся он, чувствуя удовлетворение от еще одного отработанного дня, от усталости в теле. Человек прежде всего живет. Ему нравилось таскать кирпич, мешать и подавать раствор каменщикам (скоро он и сам начнет выкладывать стены), в короткие перекуры зубоскалить с девушками-подсобницами, вслушиваться в разговоры. Нет, нет, он должен быть именно здесь, привыкнуть, понять самое главное, понять необходимость, важность этой жизни; тишина-то, тишина какая! В Москве всегда грохот и шум, и все сломя голову бегут, и никому ни до кого нет дела.

Он стоял на пригорке, внизу в известняковых обрывах сонно ползла речка, позади виднелись домишки предместья, в котором он жил, синие маковки церквушки, впереди холмистые слегка поля и затемневшее к близкому вечеру высокое небо. Ну что же, кажется, он и в самом деле вступил, наконец, в мирную жизнь; и постепенно все образуется, не семеро по лавкам, как говорил когда-то ротный старшина Пантюхов, подкручивая сивые усы, чего солдату кручиниться? И потом на стройке жилье обещали года через два, тоже немаловажно.

Савичев нашел удобный камень, сел, подвернув под себя полы пальто, и закурил. Старшина Пантюхов к нему благоволил и зря по мелочам не дергал, а перед другими хвастал, что у него в роте есть художник, желторотый пацан, а физиономию изобразит, только крякнешь. Мастеровитый пацан, он и меня изобразил, послал своей бабе в письме. Лучше фотокарточки, так за усы и хочется подергать. На перекурах кто письма строчит, а у него картинки, измалюет тетрадь, и в отсыл.

Пантюхова убило на Днепре, уже в сорок четвертом, волок сухой паек на передовую, говорят, кровь на усах была, обвисли.

Савичев вернулся домой затемно, загремел на крыльце, и в кухне тотчас же отодвинулась занавеска, к стеклу прижалось лицо Инны.

— С ума сошел,— сказала она ему сердито.— Здесь, го-

ворят, бандиты есть, и как раз в этой части города! Третьего человека раздевают.

— Меня-то им какой смысл раздевать? Ну где сегодня бродила? Кого видела?

— Сегодня я перезнакомилась с массой интересных людей,— перетирая тарелки, быстро отозвалась она.— Ты не хочешь завтра в театр пойти? Субботний вечер, будет кое-кто из моих новых знакомых. «Нашествие» идет, битковые сборы им делает.

— Ты уже полную информацию имеешь. Когда ты только успеваешь?

— Администратор рассказал, в управлении культуры нас познакомили.

— Ах ты, мой милый Цезарь, давай действуй, чтобы ненароком кто-нибудь не подумал, что ты решила зарыть себя в этой окончательной глуши вдали от столиц.

— Я и действую. Так как же с театром?

— Не знаю, я кое-что хотел сделать завтра... И потом может случиться, что вагоны придется разгружать, кирпич вторую неделю ждем. Завтра после трех могут прибыть. Тогда часов до пяти ночи провозимся.

— Итак, будем надеяться на лучшее,— Инна быстро накрывала на стол.— А чем ты хотел завтра заняться? Театр может и подождать. Баба Поля давно спит, давай ужинать. Яичница шипит, я сегодня на рынке купила великолепные яйца. Счастливый случай.

Савичев засмеялся.

— У тебя все выходит случайно. И яйца, и знакомства. Давай, аппетит у меня разыгрался. Просторно кругом, тишина. И смирение. Ты замечала, в русской природе есть какое-то смирение, впрочем, как и в людях, но это обманчивое чувство.

— Слава богу, розовый туман, кажется, начинает рассеиваться. В общем-то я этого ждала, тебе самому надоест твое хождение в народ, нацепил вериги и потеешь.

— Что ты, дитя города, можешь знать о жизни? Видела камень, толпу, бензин. Я в войну полюбил поля... Ничего нет лучше тишины, безмолвное дерево, воздух, свет. Подожди, откуда у тебя плитка?

— На барахолке купила. Где еще дитя города может пополнять свои запасы? Розетку как-то надо переменить,— Инна закуталась в белый шерстяной платок.— Странный

город. Грязный, разбросанный, и люди какие-то несобранные, с хитрецой, вперевалочку.

— Просто голодные, трудно. А потом Центральная Россия всегда крепка была русским «авось».

— Да, сложные характеры, каждый с каким-то скрытым замком. В приемных на них нагляделась.

— Брось, Инка, не мудрствуй, национальный характер складывается веками, это глубинка, вот здесь как раз все закономерно. Нравится тебе или нет, привыкать придется.

Она поставила на стол сковородку с мясом, пододвинула хлеб, подала нож и вилку, постепенно они обзаводились своими вещами.

— А ты? — спросил Савичев.

— Ешь, я не хочу. Я чай буду пить.— Она с удовольствием наблюдала, как он ест и разгрызает своими крепкими, чуть желтоватыми зубами кости. Вот что значит, когда рядом мужчина, которого ты любишь. Ну и что же, что все житейские дела легли на ее плечи, ей это делать приятно и нетрудно, и с деньгами она пока выкручивается, продала кое-какие свои тряпки, они здесь, в этом захолустье, делали бы ее смешной и претенциозной. Зато он спокоен и ровен, а что дальше, будет видно, она к нему с этим не лезет, натура свое возьмет, а с блокнотом он не расстается, и там есть очень любопытные наброски, по ним она уже многих знает на стройке, но молчит. Он молчит, и она молчит и будет молчать, пока он сам не заговорит об этом. И она сделает все, чтобы ему хорошо жилось, будет ли он каменщиком или художником; крепко сидит в ней впечатление детства, она уже тогда поверила в его звезду.

— Чайник кипит,— донесся до нее голос Савичева.

— Ах да, чайник,— спохватилась она, быстро выключая плитку.— Сейчас заварю. Тебе, конечно, покрепче?

Инна взглянула в совершенную темноту за окном, ей показалось чье-то лицо, расплющенное о стекло, с широкими щеками.

— Чушь какая, давай пойдем в свою комнату, забирай стаканы.

— Старые русские города кругом Москвы таковы,— сказал Савичев с уверенностью местного старожила.— Может, кто и подглядывал, что особенного. Им интересно, новые люди, непонятные, живут странно.

— У нас я повесила на окно штору, не хватает еще быть объектом наблюдений.

Они перешли в свою комнату, Савичев погасил свет в кухне, вышел на крыльцо, закурил; уборная у бабы Поли была метрах в ста от дома, и в темные ночи приходилось ходить туда ощупью. Сегодня небо слегка светилось от звезд, под ногами чувствовалась подмороженная земля. Савичев вернулся, когда Инна уже легла; он быстро разделся и, нырнув к ней под одеяло, нашел ее губы, поцеловал и, устраиваясь свободнее, поворочался; Воропаевск сблизил их, они словно стали друг другу понятнее и роднее. Савичев подсунул руку ей под голову и закрыл глаза; сейчас засну, подумал он, впереди целая ночь.

— Знаешь, Антон,— Инна выпростала руки, положила их поверх одеяла (одеяло было новое, стеганое, атласное — Инна купила его на толкучке взамен летнего белого шерстяного пальто, ничего, проходит и в одном). Ей нравилось тихонько гладить его руками.— Знаешь, в Крыму я встретила одного старика, такой странный. Интересно, что бы ты сказал о нем.

— Какой же? — стряхивая дремоту, спросил он, открывая глаза.

— Приезжает в Крым специально камни собирать. Там какие-то особые камни — полудрагоценные. В шторм их выбрасывает море. Есть легенда об этих камнях. Тот, кто найдет голубой сердолик, всю жизнь проживет молодым. Правда, красиво? Камень сердолик с особым строением кристалла. Видишь, я даже название запомнила. Как раз солнце вставало, море такое тихое, прохладное... Слушай, Антон, поедем когда-нибудь к морю, а? Ты бы хотел его найти?

— Всю жизнь быть молодым — это, наверное, утомительно.

— А я бы очень хотела.— «И все бы сделала иначе, поиному»,— хотелось ей добавить, но она промолчала.

— А легенду-то ты сочинила?

— Вот еще, очень нужно. Легенда восточная, кажется, арабская. Поезжай и сам спроси, если не веришь. А еще там есть скала, с которой татарские ханы сбрасывали неверных жен.

— Очень интересно,— отозвался Савичев, пытаясь представить себе теплое спокойное море на рассвете, и горы, и камни, и ее, розовую в солнечных лучах, нет, почему это она была где-то ночью на берегу моря одна? — Теперь я буду знать, как поступать с тобой,— пошутил он через

силу, подавляя в себе проснувшееся раздражение, и почувствовал, как она напряглась. Смешно ревновать к теням, тогда они одолеют, нельзя давать себе распускаться.

— Ты и камни видела, или это розовый бред?

— Видела. Два. Он с ними не расстается, везде с собой возит. Один такой розовый изнутри, второй темный, в линиях. И внутри линии, странные, причудливые — словно он живет, этот камень, какой-то своей, скрытой жизнью.

— Сколько же лет твоему старику? Двадцать пять?

— Не знаю,— отозвалась Инна с быстрым, несколько напряженным смешком.— Под семьдесят, наверное, он еще до войны был пенсионером. А там действительно удивительные места. И волошинский дом там, есть интересные вещи. Съездим когда-нибудь, Антон? И в Феодосийской галерее висят его картины. В галерее Айвазовского. Ну, к этому я вполне равнодушна. Да, забыла тебе сказать, я совсем уже оформилась, через два дня на работу.

— Вот как... Поздравляю.

— Еще бы, месяц хожу. Теперь, кажется, кончено. Берут пока хранителем фондов, обещают давать экскурсии. Зашла в галерею недели две назад — светло, пустынно. Как-то торжественно, почти никто не ходит, даже удивительно, лица, краски, тона. А директор задыхается — больной, астма, шестьдесят пятый пошел, инертный совершенно... Может, с Феодосией удастся наладить обмен фондов. Вот тогда бы и съездили. Антон, о чем ты думаешь? Оклад, правда, небольшой — семьсот сорок, но работники музеев и библиотек — святые люди, бессребреники. Антон, ты спишь совсем. /

Савичев спал, тепло дыша ей в щеку, и она вытянулась под простыней, стиснула руки от счастья.

17

Под вечер на другой день, как и ожидал Савичев, их направили на железнодорожную ветку разгружать вагоны с кирпичом; вагоны были четырехосные, числом двадцать семь, и, узнав об этом, Савичев присвистнул: должно с избытком хватить на всю ночь. Начальник строительства договорился с воинской частью, солдаты грузили кирпич на «студебеккеры» и отвозили на строительство; было весело,

шумно, и только света не хватало: слабые лампочки на тонких высоких столбах раскачивались одна от другой метров через сто, и на месте разгрузки держался полумрак; фигуры людей уже в пяти метрах тонули в тумане. Энтузиазм был полный, поднимали и заново отстраивали главную часть города и основные его коммуникации: почту, телеграф, дом Советов, гостиницу. Какое-то злое веселье владело людьми: а, вы думали нас смять, сровнять с землей? Так нате же вам! Оставались на субботники, забывали о еде и сне. Кое-где зажгли смоляные факелы, и тревожные громадные тени метались по земле, как будто пришли великаны и, гулко переговариваясь, шагали по путям. Савичев жадно всматривался в лица, это было похоже на фронт, когда все охвачены единственным порывом: выстоять. Вот он, неистребимый народный дух,— выжить во что бы то ни стало. И сколько раз Русь поднималась с головни, с одиноко торчащей обгорелой трубы. Прораб, отвечающий за разгрузку, назначил Савичева старшим по группе из десяти человек и указал на вагон; Савичев было открыл рот, но прораб, на войне командир батареи, отмахнулся на ходу:

— Командовать фронтом, что ли, велят? Запиши людей, утром наряд подпишешь. Действуй, Родина на тебя смотрит.

Вокруг Савичева засмеялись: он всех их знал, семь женщин и трое мужчин; один из них, Дронов, маленький, верткий, удивительно простодушно сказал:

— А тебя, Антон Васильевич, начальство заприметило. Уважение оказывает. В их ряды и пойдешь.

Савичев весело захохотал, Дронов иначе чем «Антошкой» раньше его не звал; женщины стали подзадоривать Дронова и говорить ему разные небылицы о Савичеве и прорабской дочери, однажды она приходила на стройку в оранжевой шляпке и потому запомнилась женщинам; двое других мужчин, работавших на стройке, как и Савичев, в подсобниках, отмалчивались. Тот, что помоложе,— Петька Евстратов, с чистым открытым лицом, доругивался про себя с матерью, жилистой, властной старухой, никак не соглашавшейся на его женитьбу и решительно заявившей, что, если он ослушается, может отправляться из ее дома на все четыре стороны; и сейчас Евстратов, получивший за храбрость две медали на фронте, не мог ничего придумать. Вдоль вагонов сквозил ледяной ветер. Баба Поля ожидала

раннего снега и вообще по своим особым приметам лютой зимы в этом году; вспомнив об этом, Савичев туже затянул ремень на свитере; у других вагонов уже начинали шевелиться, лязгали ломики о железо, слышался перестук топоров.

— Ну, что ли, ребята, взялись? — неуверенно скомандовал Савичев.— Без дела холодно становится.

— В самом деле, давай!

— Давай, давай, двигай, мужики, привыкли на буксире ехать,— заговорили женщины.— Что, в самом деле, в хвосте плестись!

— Придумать бы чего позанозистей,— загорелся Дронов,— желобки из досок сбить, мы бы его вмиг оттуда спустили. Прораб-то вон не приказал швырком выгружать.

— А где ты досок возьмешь? — подал голос Петька Евстратов; затоптав окурок, он подошел к Савичеву.— Я тут недалеко видел штабелек, да небось попадет,— сказал он раздумчиво.— Может, сходим? Мы их потом назад положим. Эй, Демидыч, ты, кажется, топор захватил?

— Захватил,— кряхтя, отозвался Демидыч.— Что бы вы тут без топора делали? Ступай тащи доски, а мы тут осмотримся что и к чему. Как его складывать, кирпич-то, рядом с путями?

— Сходи погляди, как другие делают,— сказал Дронов.— И-их, бабоньки, шевелись, шевелись! — скомандовал он и повел женщин за собой к вагону.

Савичев с Евстратовым пошли за досками и скоро вернулись, сгибаясь под тяжестью шестиметровых шалевок. У вагона уже светлел выгружаемый кирпич, скоро он с шорохом пополз с высоких бортов по шалевкам, внизу его подхватывали женщины и складывали в стороне; к ним, слепя, подкатил «студебеккер», и шофер-солдат по-молодому, задорно прокричал:

— Эй, молодухи, давай сразу в машину грузи! Мила-и-и!

— Черт! — отозвалась одна из женщин, Клава Савостина, тридцатилетняя солдатская вдова, оставшаяся с восьмилетней дочкой на руках и двумя стариками, матерью и отцом.— Потуши огни-то, совсем глядеть нельзя! Вылупился, окаянный!

— Ух ты, дикая! Я необъезженных, знаешь, уважаю, ночевать приду!

— Я тебе приду, жеребец, будешь до самой своей про-

ходной горб чесать! — не осталась в долгу женщина.— Ты вон к Маньке приходи, она как раз ищет.

Теперь хохотали уже все, потому что Манька Петровская была тихой, богомольной женщиной сорока пяти лет и даже от шутки опускала глаза и тихонько, про себя, шептала молитву. Манька работала тут же, принимала с лотка кирпич и складывала в штабель; вздохнув про себя, она лишь подумала: «Прости их, господи, творят, чего сами не разумеют». Она любила всех этих людей, знакомых и незнакомых, какой-то своей тихой, нерассуждающей любовью, как любят бессловесную скотину или поле, рожающее зерно и потому кормящее.

Сверху раздался голос Савичева:

— Ну что там, успевайте!

— Успеваем, успеваем, давай.

Савичев разогнулся.

— Покурим? — спросил он у Дронова.— Два часа прошло.

— Можно,— отозвался Дронов и объявил: — Эй, братва, старшой курить велел.

— Мужики, запалите костер, везде горит. Погреться в перерыв можно,— предложила Савостина, та самая, что препиралась с солдатом.

— Можно и кострик,— подхватил Демидыч.— Давай тащи разную чепуху.

Савичев накинул на плечи ватник, слез вниз; все вместе быстро собрали костер; женщины, положив под себя по два-три кирпича, плотно уселись вокруг огонька, протянули к теплу руки, заахали, и Дронов опять не выдержал:

— Вы, бабы, одно греете, а самое важное студите. Смотрите, не с того конца кашлять начнете.

— Ничего,— Савостина откинула на плечи платок, поправляя волосы и вновь перешпиливая их.— Ты гляди сам чего не застуди, так бобылем и проходишь, кому ты с ревматическим нужен будешь.

— Теперь любого подберут, лишь бы потереться о чего было,— захохотал Дронов.— Ревматический сойдет за милую душу, еще слаже.

— Так я лучше о пень потрусь,— нарочито значительно сказала Савостина,— мороки меньше, кормить, обстирывать не надо.

Петька Евстратов, в свою очередь, завел одну из своих

бесконечных историй, теперь уже о влюбленной в него летом сорок пятого немке, о том, как он едва не женился по слабохарактерности, да в последнюю минуту командир посадил его на губу; женщины, вероятно, верили и расспрашивали, Евстратов был доволен.

Ночь стояла холодная и темная, редко проглядывали звезды, ветер раскачивал фонари на столбах, и от этого свет становился неровным, исчезающим. К приваленному у вагонов кирпичу подъезжали машины, и солдаты быстро нагружали их. Работа не прекращалась; скоро Дронов, задавив окурок, скомандовал: «Ну пора, кончай курить!» Савичев, забравшись наверх, опять стал беспрерывно опускать кирпичи в лоток, методично нагибаясь и разгибаясь, и тело уже само собой вырабатывало нужный ритм. «Раз, два, три,— считал Савичев.— Раз, два, три, раз, два, три». Рядом кряхтел Демидыч. У него болела спина, и он часто распрямлялся и, держась за поясницу, отдыхал; Дронов, сочувствуя, предложил:

— Полезай вниз, Демидыч, на коленках складывать сподручней. Сюда кто-нибудь помоложе заберется. Ты, Антон Васильевич,— обратился он к Савичеву,— скажи, пусть Савостина лезет, от ее брехни теплее. А то нам придется Демидыча на носилках домой доставлять.

Клава Савостина полезла наверх охотно, и работа опять пошла споро; Савичев, за четыре года в войну перекопавший пропасть всякой земли и укрепившийся телом, работал легко и свободно и радовался, что может работать много и не уставать; он после полуночи (откуда это ветром занесло из репродуктора бой кремлевских курантов?) весело покрикивал и поторапливал всех, хотя и у него ломило спину и кисти рук стали чужими, деревянными. В скудном и переменчивом ночном освещении, в свете костров и факелов люди, деревья, строения виделись резче, контрастнее, крупнее; уже перед самым концом работы Савичев, выпрямившись, с удивлением заметил какую-то утяжеленность предметов, их почти осязаемую материальность. Вполне вероятно, с интересом подумал он, световая среда, воздух проникает в стены домов, в одежду людей и искажает истинные контуры, значит, днем мы видим несколько неправильно, не подозревая об этом. Ему захотелось тут же проверить свою мысль, он полез за блокнотом. Дронов опускал кирпичи в лоток, торопил:

— Давай, давай, братцы, последние. А ты что, Антон

Васильевич? Иди, иди, подмогни, сотни две осталось, не больше. С непривычки оно бывает.

Вагон подмели. Савичев взглянул на часы: было три часа ночи, и можно еще вполне поспать. Он подошел к груде кирпича с освещенной стороны, присматриваясь; Петька Евстратов увесисто шлепнул его по плечу.

— Хорошо поработали. А ты что ищешь? Не ищи, вчерашний день — уже фью-ю! Наше дело кончено, пусть теперь солдатики стараются.

Савичев застегнул ватник на все пуговицы. В самом деле, чепуха, работа закончена, пора и домой, кирпич и кирпич, ночью он не легче, кожа на пальцах горит.

— Бабы, давай вместе пойдем,— предложила Савостина.— Через весь город топать — не велика сласть.

— Подождите, пойду поищу прораба, может, он машину даст,— остановил их Савичев.— Полтора часа шлепать, ноги-то не казенные.

— Гляди, даст,— с сомнением протянула Савостина.— Хорошо бы, ноги совсем не идут, шутка ли, круглые сутки на работе.

— Я с тобой,— вызвался Петька Евстратов; они не спеша зашагали вдоль вагонов, кое-где тоже кончили работать и собирались домой; на прораба они наткнулись у последнего вагона, при тусклом свете фонаря он что-то писал в растрепанной тетради, приладив ее себе на колено.

— Михаил Арсентьевич, кончили,— сказал Савичев; прораб дописал, сложив тетрадь пополам, сунул в боковой карман и тогда поднял голову.

— Как это? А-а, Савичев? Молодцы, по домам, товарищи, отдыхайте, завтра день свободный, значит.

— Мы хотели у вас машину попросить. Далеко, все-таки устали.

— Нету машин. Мне они с солдатами всего на одну ночь даны, кирпич надо вывезти,— заранее пресекая всякие возражения, повысил голос прораб.

— Да мы на кирпиче, хоть до города доедем — пять километров.

— А отвечать я потом?

— Сами отвечать будем,— вмешался Евстратов.— Ты, прораб, не гни. Гляди, переломится.

— Ничего, не треснет.— Прораб остановил проходившую мимо машину и спросил у шофера: — Эй, друг, где ваше начальство, не ведаешь?

— Лейтенант? Да вон у костра с бабами,— отозвался шофер.— Начальство переговоры ведет. Вы туда пройдите.

— Подвези,— прораб стал на подножку машины и обернулся к Савичеву.— Поезжайте, если хотите, я скажу. Осторожней, не покалечьтесь.

Близкий гудок паровоза заглушил последние его слова; Савичев провел рукой по лицу, стряхивая снежинки.

— Гляди, снег пошел,— сказал Евстратов весело.— Зима. Эх, братишка,— тяжело шлепнул он Савичева по плечу.— Думали ли мы с тобой дожить до сорок шестого? Ты гляди, гляди, как повалило!

— Еще растает,— предположил Савичев, любуясь.

— Не, поздно, землю успело подморозить. Ляжет крепко.

18

Город Воропянск в числе пятнадцати других старых русских городов, почти стертых войной с земли, получил неограниченный кредит для своего возрождения. Острая нехватка рабочей силы и строительных материалов сводила на нет грандиозные планы восстановления города, утвержденные всеми инстанциями в Воропянске и в Москве. Группа московских архитекторов безвыездно просидела в Воропянске почти год и добросовестно выполнила свое дело; областная газета «Воропянский труд» много писала об отставании строительства ряда важнейших объектов, двух заводов союзного значения, нового вокзала и плотины на реке Шаронье. Кроме того, последнее время ходило много толков о большом будущем Воропянска ввиду огромного запаса рудных залежей, открытых еще до войны на юго-западе области; начинались они непосредственно под городом, и теперь уже находились прорицатели, утверждавшие, что да, выберут из-под Воропянска руду, и не надо будет пробивать тоннели метро, проложил рельсы — и пускай поезда.

За два года работы в Воропянске Савичев втянулся в новую жизнь, ему нравилось вставать затемно, торопливо завтракать, подсмеиваясь над заспанной Инной (у нее рабочий день начинался на два часа позже, с девяти), бежать по гулким деревянным улицам, по узко протоптанным стежкам к трамваю, втискиваться в переполненный сердитыми, молчаливыми людьми вагон, а вечером воз-

вращаться назад тем же путем и радоваться, что его ждут. Инна тоже целыми днями пропадала в своей галерее, фонды были запущены, и Инна приходила усталая и полная впечатлений и новостей. Она старалась незаметно в разговорах, мимоходом, вызвать у Антона интерес к видным людям города, рассказывала ему о местных художниках. Антон теперь большей частью отмалчивался, хотя раньше у них из-за этого случались ссоры. Формально Инна по-прежнему находилась в браке со своим ученым эскулапом Николаем Николаевичем, они об этом, не сговариваясь, никогда не упоминали. Казалось, вполне благополучно кончался и еще один год, время шло в работе, в обыкновенных житейских заботах, но как-то, дней за двадцать до новогодних праздников, Савичев проснулся задолго до рассвета и больше не мог заснуть. Осталось всего два выходных, думал он, а там праздник, еще можно что-то закончить, а то у него все в обрывках, в набросках. Сколько сейчас может быть времени — часа три-четыре, не больше, нужно класть часы под подушку, холодно вставать, кажется, он оставил их на столе в кухне.

Он шевельнулся, щекой касаясь голого плеча Инны, отодвинулся, боясь разбудить, и замер. В который раз за последнее время прозвучал в нем насмешливый громкий голос: ты любишь ее! Вот такую, с ее делами в прошлом, всю, как она есть, стараешься стать выше или в стороне, и этим судить, но ты себя просто обманываешь, ты любишь ее, ее одну, и запоздалой своей ревностью только портишь себе жизнь. Она чувствует и тоже мучается. Хорошо еще, что она пошла работать, кажется, она всерьез начинает увлекаться своими делами, теперь у нее меньше времени прислушиваться к его настроениям и копаться в своем прошлом и мерить все на свой аршин.

Савичев лежал, как-то все сразу и беспорядочно вспоминая; какая чепуха, говорил он, сам себя изводишь, кому это нужно. Живешь — живи или уйди. Что-нибудь одно. А впрочем, Инна и копание в отношениях с нею лишь предлог уйти от себя, выискать хоть какое-то оправдание.

Осторожно приподняв одеяло, Савичев встал, вышел на кухню курить, он с жадностью выкурил три папиросы подряд и только тогда почувствовал тяжелый земляной холод пола, босые ноги зябли, он ощупью отыскал маленькое окошечко, потрогал намерзший на стекла снег. Вспышка папиросы освещала беленый бок русской печи,

плиту рядом, низенький столик с самоваром, ухваты в углу и бак с водой у порога на табуретке, морозные разводы на стеклах.

— Антон,— встревоженно позвала Инна.— Где ты?

— Здесь,— сказал он тихо, чтобы не разбудить бабу Полю.— Покурить вышел.

— Что за причуды вставать курить среди ночи? Ведь еще рано, часа три, наверное.

— Да, сейчас всего три часа.

— Иди ложись, бабу Полю разбудишь. Мороз какой, в стенах трещит.

Савичев подошел и лег, и она, прикоснувшись к его ногам, стала укутывать их одеялом.

— С ума сошел, настыл, как ледышка,— говорила она сердито.— Иди сюда, погрею. Представляю, как баба Поля нас костерит, какие-то лунатики, бродят ночами, курят, огонь палят, еще дом подожгут,— неожиданно очень похоже передразнила она хозяйку. Они оба засмеялись в одеяло, через тонкие стены все было слышно.

Пригревшись, он быстро уснул, и наутро Инна, провожая его на работу и, как всегда, целуя на прощанье, полушутливо-полусерьезно пригрозила:

— Антон, имей в виду — в любую минуту ты свободен.— Она подошла к нему, застегнула верхнюю пуговицу на телогрейке, поправила шарф.— Ты только честно скажи, такой мрачный из-за меня?

— Инка, брось, опаздываю ведь,— он щелкнул ее по носу,— пойду, пора.

— Помни мои слова, Антон. Мне ведь только один раз решиться.

— Хорошо, буду помнить,— Савичев приподнял ее, коснулся губами щеки и вышел; она, постояв перед закрытой дверью, вернулась в свою комнату.

Неужели она ошиблась, и из их жизни ничего не получится? Она ждала месяц, другой, третий, два года они живут в этом богомерзком городке, и никаких проблесков. Антон лишь грубеет, привыкает, принимает все как должное, он даже не догадывается, чего стоит ее спокойствие, она ведь виду не подает, а у нее внутри все кипит, так бы и перевернула всю их жизнь. А если бы она хоть однажды сорвалась? Да полно, тот ли это Антон Савичев, легкий, стремительный, блестящий, весь как будто пронизанный солнцем? Что сделала война, от прежнего человека ничего

не осталось. И ты думаешь, у тебя хватит сил сдвинуть его с места, с некоей мертвой точки? Должно хватить. Совершенный медведь, мохнатый, с огромным желудком, ни в какой рентген не просмотришь, неужели не хватит? Заматерел, непробиваем и, самое главное, доволен. Господи, но это же хорошо, могла ты об этом мечтать? Не могла, а сейчас тебе уже мало, тебе подавай личность, индивидуальность! Но ты же любишь его, любишь его голос, его привычки, манеру щуриться, всматриваться в лица не узнавая. А дальше? дальше? дальше? Чудес не бывает, а ты хотела чуда для себя, немедленного, стопроцентного; вот она, жизнь, и покатилась. Антон — твой последний рубеж, ты думала выстоять, есть же счастливые женщины, а грешны не менее. «Ну чего ему не хватает, чего? — спросила она с тоской.— Ведь я же могу, теперь знаю, могу. Два года с ним в этой дыре, с ума сойти можно!» Она с ненавистью оглядела серо-зеленые стены, потолок, отсыревший угол напротив, бархатный коврик с цветами. Ради Антона она перевернула груды монографий, перетащила к ним в дом чуть ли не все альбомы из закрытого фонда, перезнакомилась чуть ли не со всем городом, пошла работать именно туда, где можно работать с пользой для него, а ему ничего не надо, он ничего не замечает и счастлив.

Дверь приоткрылась, и баба Поля, разматывая на ходу с головы тяжелую шаль, шумно отдуваясь, сказала:

— Самовар кипит. Воды принесла, стирать сегодня буду, дай, думаю, спрошу, может, у тебя что накопилось, заодно состирну. Ты-то все в бегах.

— Спасибо, баба Поля, не беспокойтесь, спасибо.

Баба Поля, охая, села.

— Восьми-то нет. Господи, старость-то одолевает, самой невмочь, другим в тяжесть... А пожить все хочется. Ты вот баба молодая, ученая,— обратилась она к Инне,— книжек страсть натаскала. Сидишь-то над ними, а все смурая, и ничего-то тебе не в радость. Без радости-то зачем родиться было? Давно я с тобой поговорить собиралась, да тебя не захватишь, у тебя все дела. Меня моя живучесть в мире держит,— она значительно и строго поглядела на Инну, словно проверяя, понимает ли она.— Если вот как невтерпеж плохо подступает, богу помолюсь, поругаю себя: людям-то другим, мол, хуже бывает, глядишь и отпустит от души. Терпеливый да смиренный в

жизни повсюду радость отыщет. Слыхала, как в писании говорится: претерпевший все спасен будет. Нетерпеливая ты — тебе вынь да положь. Сама быстрая и от других быстроты ждешь.

Инна, откусывая своими острыми белыми зубами нитки, обметывала петли, до Нового года оставались считанные дни, и ей хотелось надеть в новогоднюю ночь что-то новое, свежее, шуршащее. Старуха ей нравилась, а сегодня она ее просто поразила, словно прочла затаенные мысли. С ней было спокойно, тепло, словно на берегу тихой русской речки — Инна много раз бывала с Савичевым за городом и видела именно такие речки почти с неподвижной прозрачной водой.

— Комнату как, обещают вам? — поинтересовалась баба Поля.— Хозяин твой на той неделе обмолвился.

— Обещают к маю, бабуся,— сказала Инна.— Не надоели мы вам?

— По мне, живите хоть всю жизнь, дом на вас запишу, родных моих по всему свету разбросало. Ребеночка бы вам, глядишь, сразу жизнь наладится. Никакого притяжения: он туда, а ты в другой бок.

— Надо бежать,— сказала Инна, убирая шитье, и, закинув руки за голову, потянулась.

Баба Поля, любуясь ею, закивала:

— Хороша, хороша. От тебя-то небось и генерала не оторвать, не то простого. Жила бы себе припеваючи, в шелках ходила да конфетки мягкие кушала.

Надевая юбку через голову, Инна засмеялась, стараясь не показать своего смятения; ей не хотелось откровенничать с бабой Полей, тем более старуха некстати вспомнила о ребенке; не все было благополучно последнее время, и Инна нервничала. Савичеву она пока не хотела говорить, мысль о ребенке ее пугала, еще нужно было разобраться самой.

Баба Поля спросила:

— Без чаю не пущу, оладьев спекла. Видано ли дело, чтобы без куска убегать.

— Хорошо, хорошо. Заварите покрепче, у меня вон в шкафчике сгущенное молоко стоит, возьмите, вы, я знаю, любите. Согреюсь чаем да побегу, далеко мне добираться, сорок минут в мороженом трамвае.

Она остановилась и как-то странно поглядела на старуху; словно о чем-то хотела спросить и не решилась, и та

под ее взглядом даже пробежала по себе пальцами, ища непорядка в одежде, одернула юбку.

— Ты чего, матушка? — спросила баба Поля, не обнаружив непорядка.

— Заваривайте чай, опоздаю,— Инна подошла к зеркалу, пристально вглядываясь в свое лицо, отмечая каждое пятнышко и черточку; нет, пока ничего не заметно. Почему баба Поля тоже заговорила о ребенке, неужели что-нибудь уже заметно? Пора принимать какое-то решение, пока и он не заметил. Решать-то все равно ей. Он будет, конечно, рад и доволен, он любит детей, но тогда прости-прощай все остальное! И навсегда. Нет, пока не все потеряно, нельзя отчаиваться; как непривычно сухо блестят глаза, не хватало еще только свалиться, она и врача здесь ни одного приличного не знает.

Инна взбила волосы гребнем, накинула блузку, застегнула браслет часов.

— Иду, иду, баба Поля!

— Ну, жду уж, иди, с тобой, матушка, с голоду пропадешь. Надо, такая молодая и — копуха. Я старая-старая, а есть хотца, как ты по стольку-то терпишь? Бездонная у человека кишка, все труды проносит прямиком наскрость.

Инна взялась за стакан и, не успев поднести ко рту ложки с вареньем, сильно побледнев, бросила ее назад, вскочила и выбежала в холодный коридор; баба Поля было встревожилась и тут же, соображая, закивала одобрительно, и лицо ее сморщилось в понимающей, доброй и беззубой усмешке; она перевязала платок потуже и с посветлевшими глазами опять стала дуть на горячий чай и хватать его с узорного блюдечка привычными, ловкими губами.

19

Приглашением посмотреть премьеру «Зимней сказки», оформленную Лагутиновым, Инна была обязана только себе, просто приглянулась Николаю Акимовичу, с месяц назад он зашел зачем-то к директору картинной галереи и увидел ее за проверкой старых описей. Пожалуй, в первый раз он ей не понравился, держался чересчур шумно, хозяином, хозяйски пошутил и с ней и остался доволен своей шуткой; директор Сергеев, сухощавый и нервный от постоянных недомоганий, контуженный в эвакуацию бомбой,

плохо слышал, он высокомерно повышал голос, если ему казалось, что разговаривают намеренно тихо. Инна уже много слышала о Лагутинове, но видела его впервые, и между ними установилась некоторая напряженность. Лагутинов подумал, что она в домашней жизни должна быть брюзгой и вообще заносчива при всей своей красоте, а Инне Лагутинов почему-то показался фальшивым, ложнозначительным, она не любила этого в людях больше всего.

В больших широких окнах галереи виднелась широкая пустынная площадь, засыпанная снегом, недостроенное, в лесах, здание дома Советов на противоположной стороне площади и там же голые вершины деревьев парка, полого уходящего к Вороне, к самой воде. Сейчас река застыла, завалена снегом, Инна вчера ходила по узко протоптанной тропке на лед и, закутавшись до глаз теплым платком, долго любовалась движением снега у горизонтов.

— Ваша новая сотрудница, Захар Алексеевич? — громко спросил Лагутинов у Сергеева, и тот, подняв голову от бумаг, кивнул:

— Знакомьтесь, наконец нашел себе помощницу, пока хранителем фондов оформил, а там, может быть, и все дело на себя примет. Мне и до пенсии недалеко.

— Ну, Захар Алексеевич, тебе ли о пенсии толковать, затоскуешь ведь, назад прибежишь,— прогудел Лагутинов и, подходя ближе к Инне, знакомясь, протянул руку: — Здравствуйте. Лагутинов Николай Акимович. Значит, нашего полку прибыло! Хорошо, вместе будем воевать за родное искусство. Слышно, из Москвы?

— Из Москвы,— сказала Инна.

Лагутинов, задерживая ее руку в своей, ждал, когда она назовет себя, и она, покраснев, тихо, но настойчиво отняла у него руку и сухо представилась:

— Инна Викентьевна Голышева.

Положив меховую мягкую шапку на краешек стола, Лагутинов сел напротив Инны и доверительно спросил:

— Как вам наш город, Инна Викентьевна?

— Занятный город,— уклончиво ответила она.— Мне не приходилось бывать раньше в средней полосе, я здесь впервые, и всегда тянуло узнать, какой жизнью живут эти среднерусские города.

— Ну и какой жизнью они живут?

— Разной. Трудно понять сразу. Хотя одно очень бросается в глаза — здесь очень заботятся о желудках, о голо-

вах — гораздо меньше, не говоря уже о ногах, грязь месишь с утра до вечера.

Она заметила расширившиеся, засветившиеся интересом глаза Лагутинова и с хорошо осознанным чувством поняла, что сказала не то, не в свою пользу, что первые впечатления могут быть ошибочными.

— Конечно, из Москвы и сразу сюда, такой контраст,— стараясь сгладить ее резкость, вставил Лагутинов.— Кому-то надо двигать жизнь вперед и на местах, все под столичным солнцем уместиться не могут при всем желании.

Он хотел добавить, что и ты зачем-то, мол, сюда прикатила в нашу серость, не от хорошей, видно, столичной жизни; Москва каждый год отбрасывает от себя отработанный человеческий материал, и тебе не кичиться надо, а сидеть умненько да слушать. Но вовремя удержался, ответом обязательно была бы очередная дерзость, а Лагутинов любил к человеку хорошенько присмотреться да и не однажды поесть с ним соли; решительная девица его заинтересовала, и он пытался угадать, кто она: неудавшаяся художница или так просто, взбалмошная особа, каких полно вертится около искусства. И в конце концов навел разговор на этот вопрос и тут же пожалел, увидев ее спокойные, холодные, полные отчужденности глаза.

— Нет, у меня муж здесь работает,— ответила она и зашелестела бумагами, показывая своим видом, что не намерена больше продолжать праздные разговоры.

Инна все это вспоминала, собираясь в воскресенье к вечеру вместе с Антоном к Лагутиновым, стараясь пересилить его недовольство и нежелание идти. «Вот ведь бирюк,— думала она, то и дело подходя к зеркалу,— совсем одичал на работе в своем Воропянске. Что он здесь хорошего нашел, ни с кем даже увидеться не хочет? И все-таки раз я тебя стронула, пойдешь, не отвертишься».

— Может, лучше почитать? — неуверенно предложил Савичев, одергивая рукава пиджака.— Голова что-то побаливает.

— Не сочиняй,— Инна на ходу прижалась к нему, тепло дохнула в щеку и быстро сказала: — Нужно с людьми познакомиться хотя бы. Думаешь, мне хочется идти? Поверь мне, Антон, надо. Не можем мы, как в склепе, закупориться.

— Почему он нас пригласил? — Савичев изобразил на

лице недоумение, вздохнул.— Не находишь странным?

— Не нахожу. Пожалуй, одно: здесь перед ним на задних лапках ходят, а я говорю, что думаю. Вот ему и показалось любопытным. Диковинный зверек забрел во владения — пожалуй, стоит понаблюдать за ним поближе.

— Вижу, тебе очень хочется, чтобы тебя рассматривали,— Савичев пожал плечами, сел, прислушиваясь к простуженному кашлю бабы Поли за дверью.

— Есть идея,— улыбнулась Инна,— а ради идеи на что не пойдешь.

— Ну раз так, убеждать тебя бесполезно,— согласился Савичев, улыбкой и жестом подзадоривая ее, в то же время как бы говоря этим, что он идет против своей воли и ничего хорошего не ожидает.— Если мне очень не понравится, я уйду.

— Договорились. Только и мне дай знать.

— Жди,— засмеялся Савичев,— уйду, и не заметишь.

У Лагутиновых их встретили приветливо. Николай Акимович церемонно познакомил их с женой и с молодым невысоким парнем в очках, отрекомендовав его «воропаевским журналистом и интересным поэтом» Константином Арефиным; тот, смущенно улыбаясь, сказал:

— Зовите меня просто Костей.

Савичев не обратил на него особого внимания, его не привлекали такие лица: волнистый русый чуб, чистые щеки, какая-то женская мягкость в лице, в глазах и настойчивое желание нравиться; рука у него показалась Савичеву вялой и горячей. Такие лица не запоминаются, а если запоминаются, то стерто, неясно, через день встретишь и с трудом припоминаешь. Савичева сразу привлек сам хозяин, широкоскулый, упитанный здоровяк, шумный, широкий и весь какой-то домашний, уютный; через минуту Савичев совершенно забыл о своей мысли уйти и с веселым удовольствием поглядывал на хозяйку, такую же большую, стройную и неторопливую, как все в этом доме. Полина Гавриловна скоро ушла в свою комнату одеваться, пользуясь моментом, пока гости еще интересуются друг другом и заняты. Большие, старинные, кабинетные часы вкрадчиво и не спеша прозвонили, Инна оглянулась на Антона. Она особенно была довольна и внутренне, с доброй улыбкой посмеивалась над настойчивыми стараниями Кости Арефина понравиться ей и быть интересным; Инне хотелось окончательно расшевелить Антона, позлить его,

а то он слишком к ней привык. Она нравилась Косте и, безошибочно чувствуя это, чуть-чуть поддразнивала его, и он со свойственной хорошему журналисту легкостью в общении охотно шел на этот манок, смеялся, шутил, настойчиво стараясь навести разговор на нее самое, на ее жизнь, интересы, вкусы, привычки, но из этого ничего не получилось, Инна ловко увертывалась и переводила на другое.

— Мне Николай Акимович говорил, что вам не нравится наш Воропянск, но вы не спешите с выводами, присмотритесь,— сказал он, круто меняя разговор,— земля наша щедрая, древняя; издавна вспаивает, кормит своими соками Центральную Русь. И в самом Воропянске много замечательных характеров, самобытных. Взять хотя бы хозяина дома, в своем роде совершенно законченный характер...

Заметив веселые искорки в глазах Инны при ее совершенно спокойном, невозмутимом лице, Арефин несколько смешался и увел разговор в сторону:

— Я ведь беспризорник, трижды бегал из колонии, привык говорить, что думаю, хорошее и плохое. Мы ведь приучены правду-матку резать, а хорошего стыдимся, прячем его друг от друга, лишний раз доброе слово стесняемся сказать. Так вот я люблю этот дом и не стыжусь заявить о своей любви,— почти с вызовом сказал Арефин, и глаза Инны потеплели.— Здесь я совершенно свой, вот греюсь у чужого огня, по-человечески тепло и уютно.

— Не рано ли?

— Что не рано? — не понял Арефин и покраснел.

— Не рано ли греться начинаете, Костя? Вы не сердитесь, что я вас так называю?

— Ничуть. Для нашего брата беспризорника в самый раз. Собственно, Николай Акимович и вытащил меня оттуда, из колонии, мне тогда пятнадцать сравнялось. Он приезжал рисовать нас, кружок юных художников организовал. С тех пор я и прибился к нему.

Арефин улыбнулся своим мыслям, поправил волосы.

— Он нас из бревна выстругал, добрый, сильный, очень много делает для других. Папа Карло. По-моему, как художник, он даже теряет кое-что из-за этого, но иначе не может. Такая натура. Особенно молодых везде продвигает, защищает...

— От кого? — неожиданно спросила Инна, отмечая

идеально чистый, белоснежный воротничок Арефина, его особенность глядеть прямо в глаза, не мигая, и улавливая в словах и в голосе едва заметную иронию; Арефин становился интересен, она повторила вопрос: — Так от кого же?

— Что «от кого», Инна Викентьевна?

— От кого он вас защищает? Мне почему-то вы не кажетесь таким немощным. Отлично выглядите, и зубы все целы, кажется, можете постоять за себя. На вас, в самом деле, нападают?

— Папа Карло, разумеется, защищает нас от самих себя,— Арефин, наконец, моргнул, и на щеках у него проступил слабый румянец, и опять у Инны осталось ощущение неуловимо тонкой игры, она молча ждала.— Самый страшный враг себе — это мы сами,— нашелся Арефин, показывая влажные блестящие зубы,— не так ли?

Лагутинов, временами посматривая в их сторону, досадовал, ему хотелось подойти к ним, послушать, о чем они говорят; Савичева же, наоборот, он никак не мог втянуть в разговор и уже жалел, что пригласил Инну с мужем в театр. И пришли слишком рано.

— О чем наша молодежь заговорилась? — спросил он, указывая на Инну, которая в этот момент внимательно слушала Арефина, по-прежнему сидя в противоположном конце комнаты на маленьком (на двоих) диванчике.— Между прочим,— Лагутинов доверительно тронул Савичева за локоть,— приглядитесь, талантливый парнишка. Неплохие пишет стихи, поверьте моему чутью, вы еще о нем услышите. Смотри, Костя, не увлекайся, муж рядом.

— Мы здесь о поэзии говорим с Инной Викентьевной, у нас, оказывается, много общего в оценках.

— С поэзии и начинается,— засмеялся Лагутинов,— а затем идет полоса прозы. Грешен, люблю талантливых людей, заносит иногда по молодости, приходится одергивать. Не обижается, знает, я от души. Я рад такой дружбе, знаете, без молодежи как-то печально жить...

— И что, он часто выходит у вас из подчинения? — неожиданно спросил Савичев, и Лагутинов удивленно вскинул на него глаза:

— Вы о ком?

— Все о том же молодом таланте.

— Бывает, бывает,— почти ласково сказал Лагутинов, и в его глазах появился легкий холодок.— Таланту при-

суще бунтовать, вы не находите? Простите, оставлю вас ненадолго.

Потирая руки, Лагутинов заглянул к жене. Полина Гавриловна была готова и смущена; платье, сидевшее неделю назад отлично, теперь стало несколько узко.

— Что же ты, Коля,— сказала она мужу, осторожно кончиками пальцев поправляя прическу.— Я сейчас выйду.

— Знаешь, мама,— сказал Лагутинов, привычно, по-хозяйски оглядывая жену и сразу замечая, что платье узко и выглядит потому дешево и дурно.— По-моему, тебе лучше надеть зеленый костюм.

— Всегда ты вмешиваешься,— Полина Гавриловна повернулась перед зеркалом, осматривая себя кругом.— В зеленом я уже выходила. Чем тебе, прости, это не нравится? Строго, цвет идет. Ты всегда мне испортишь настроение.

— Конечно, я виноват,— Лагутинов прошелся по комнате.— Впрочем, как хочешь, я не затем зашел. Я подумал, зря мы чужих пригласили, сегодня из обкома обязательно будут.

— Как я хорошо тебя знаю,— вздохнула Полина Гавриловна, глядя на мужа в зеркале.— Успокойся, переоденусь, кажется, никогда не подводила. За Савичевых тоже нечего беспокоиться, они чужих мест не займут и надоедать не будут.

— Я ведь только так подумал. Пожалуй, они мне нравятся, неплохие ребята.

— Мне тоже. Иди, иди, ты мне мешаешь. Надо же мне, наконец, одеться.

Лагутинов вернулся к гостям, поглядел на Инну, на Костю, на скучающего Савичева и решительно позвал:

— Молодежь, молодежь, давай подсаживаться в один кружок, что мы по разным углам отсиживаться будем. Разрешите курить, Инна Викентьевна?

— Пожалуйста, в своем-то доме,— Инна засмеялась.

В это время Полина Гавриловна, приоткрыв дверь, позвала:

— Инна, подите сюда, вы мне нужны, пусть мужчины поскучают.

— Увы,— Костя Арефин поправил очки, проводил Инну взглядом.— Ваш чудесный замысел, Николай Акимович, рухнул в самом начале.

Разрумянившись, как всегда, от общения с нравив-

шейся ему женщиной и оттого став еще юнее, он подсел к Лагутинову и начал рассказывать о делах в редакции, как его потихоньку прижимает редактор, свободно вздохнуть не дает. Савичев молча слушал; прежде всего он сразу же отметил, что Инна здесь совершенно другая; и он совсем не знает ее, кажется, она сильно стосковалась, даже не скрывает, как ей на людях приятно, и ему захотелось написать ее именно такой, неизвестной ему (нет, она, конечно, красива!), полной скрытой энергии, желания нравиться и быть красивой. В какой-то момент он встретил ее взгляд, странный, тревожный, мимолетный взгляд, брошенный в его сторону во время разговора с Костей, и помрачнел. Это ведь все ради него, весь этот хоровод, продолжение их давнего спора.

Он продолжал внимательно слушать Костю Арефина, не понимая, в самом ли деле тот волнуется или делает вид.

— Ну да, ну да, Николай Акимович,— проникновенно, то и дело поправляя волосы, говорил Арефин.— Ну да, я хорошо понимаю, разруха, послевоенный период, трудности, шеф всегда упрекает меня в расточительстве рабочего времени. Какой страх, кощунство, нонсенс — стихи, да еще не зарифмованные! Николай Акимович, я все понимаю, я сознательный, я даже член профсоюза и как завотделом я вне критики. Посмотрите, материалы отдела всегда на доске лучших. Но в нерабочее время я имею право мыслить по-своему, рифмовать или не рифмовать так, как мне хочется, а не товарищу Голубцову!

— Тут ты не прав, Костя,— Лагутинов покосился в сторону Савичева, листавшего альбом,— мыслить ты обязан всегда по-своему. От этой обязанности тебя никто никогда не освобождал, запомни.

— Ну конечно, я заранее знаю, что вы скажете, Николай Акимович, и обеими руками подпишусь, но на деле, на деле-то получается другое. Искусство — одно, жизнь — категория иная. Здесь я могу себе позволить то, чего нельзя в стихах. А настоящие стихи надолго, в них не должно быть внутреннего цензора. Разве я говорю не так?

— Подожди, Костя,— Лагутинов снова быстро взглянул на Савичева.— Зря ты сгущаешь, я-то Голубцова знаю, отличный мужик, но в своих пределах. Делает газету, и неплохо делает, заметь! «Воропянский труд» — одна из лучших газет в Федерации. А ты требуешь от него, чтобы он еще и блоху подковал. Еще и на пуанты, может быть,

его поставишь? Танец маленьких лебедей в исполнении Голубцова. У каждого есть свой потолок, Костенька, милый друг, выше которого не прыгнешь ни ты, ни я, ни он,— кивнул он на Савичева,— ни Голубцов. А что? И Голубцов человек и член профсоюза, как ты изволил тут выразиться. Разговаривал я с ним о тебе, он прав, ты, бывает, заносишься. Конечно, приходится в чем-то идти на уступки, иначе жить нельзя — в этом ты прав, с другой стороны, нельзя же видеть в людях только плохое. Часто мы не утруждаем себя вдуматься поглубже, влезть в шкуру другого человека, как-то объяснить его поступок объективно. Ты это мне брось, рассержусь.

— Ну, Николай Акимович, вы другое дело,— Арефин перешел к столу через всю комнату, затушил папиросу.— Мы с вами никогда не поссоримся, вы другой человек, вы из другого теста замешаны. Вы нашего брата, молодых, всегда поддерживаете.

Лагутинов опять повернулся к Савичеву с широкой, хитрой улыбкой, как бы говоря: «Вот, вот, послушай, какая молодежь пошла. Оно и понятно, зелено-молодо». Савичев слегка в ответ улыбнулся; Костя старался говорить громко, явно адресуясь к женщинам,— дверь в спальню была приоткрыта; Савичев же избегал ввязываться в разговор, хотя хозяин все время старался втянуть и его.

Савичев пока не мог уловить характера самого Лагутинова, не мог разобраться в своем отношении к нему. Костя Арефин был ясен, парень был в том возрасте, когда нет ничего невозможного, когда каждое собственное слово кажется откровением, мало-мальски оригинальная мысль — непревзойденной смелостью, слава — близкой, а любая женщина — твоей, стоит только этого захотеть. К чему Лагутинов поет ему дифирамбы прямо в глаза? Этот милый Костя и без того слишком самонадеян, к чему еще разжигать его честолюбие? Разумеется, если очень постараться, можно быть почти с каждой женщиной, которую захочешь, но это не значит, что она твоя и принадлежит тебе; постель часто объединяет совершенно разных людей.

Вышли женщины, и Лагутинов взглянул на часы.

— У нас еще есть добрых полчаса, мама, как насчет кофе?

Полина Гавриловна, разнося на деревянном черном подносе маленькие кофейные чашечки, попросила Костю почитать свои новые стихи; Костя отказывался, смеялся;

наконец он снял очки, и Савичев увидел его красивые, почти робкие глаза, он, близоруко щурясь, всех оглядел и сказал:

— Знаете, я своего читать не буду, я вам лучше Ахматову прочитаю. Тс-с! Это великая воительница любви, вот это стихи. А я, что я, я — раешечник, поэт на потребу дня. Вот послушайте из «Четок»...

Без очков Костя был ближе и теплее как-то, Савичев отвел от него глаза, ожидая, когда Костя кончит протирать очки и станет читать.

20

За неделю до Нового года Савичев возвращался домой в отличном настроении. Был приятный и легкий день, все шло легко, все удавалось; Петька Евстратов после работы уговаривал пойти на танцы в клуб, и Савичев, посмеиваясь, отказался, он представил себе Петьку в роли партнера Инны, покрутил головой и засмеялся. По пути Савичев зашел в магазин и купил полкилограмма мягких конфет для бабы Поли; везде стояли очереди — люди готовились к Новому году, покупали селедку, консервы, печенье, по свежей памяти о карточках некоторые у прилавков начинали судорожно ощупывать карманы, отыскивая не деньги, а именно карточки. На остановке, освещенной двумя тусклыми фонарями, притопывали от мороза и бодро прогуливались люди; разговоры касались больше праздника, гостей, кому что удалось достать из продуктов. И опять Савичев подумал, что люди, устав от сложностей и трудностей, стремятся к самому простому и необходимому и находят в этом удовольствие и смысл и что это действительно хорошо и нужно. Обыкновенная жизнь, о ней каждый думает в несчастье, о ее ценности забывают, если вдруг человеку повезет, и он рвется и рвется выше, к удовольствиям, к славе, и проходит мимо самого простого и важного.

— Безобразие, морозят людей! — слышались голоса.

— А что им, в тепле работают,— равнодушно констатировал высокий мужчина, всевозможно нагруженный свертками и пакетами и вполне уверенный потому в своем безусловном превосходстве перед другими, ничего не имеющими в руках или же имеющими по сравнению с ним слишком мало.

— Недоволен, иди пешком,— отозвался другой, помоложе, окончательно промерзший и подпрыгивающий в ботиночках, засунутыми в калоши.

— На хозрасчете на чай бы не заработали при таких темпах,— засмеялся кто-то молодо и счастливо, и многие повернули головы, чтобы увидеть, кто это, и понять такую ясную радость.

В трамвай вломились толпою, крепко стискивая друг друга и обмениваясь едкими шутками, и опять у Савичева было чувство единства с этими чужими совершенно людьми; надо будет обязательно куда-нибудь вечером сходить с Инной, в кино или в ресторан, давно на людях не были. «В этом месяце нигде, кроме театра, не были? — удивился он, припоминая, и тихо свистнул.— Действительно, вот дела...»

Он вышел из трамвая на своей остановке; редко падал снег, и кажется, сразу потемнело. Сбивая снег с толсто подшитых валенок, он громко насвистывал фронтовую песенку.

— Кто там? — услышал он из-за двери голос бабы Поли.

— Свои! — отозвался он весело и, войдя в дом, с порога спросил: — Инна дома? Инка! — позвал он.— Иди сюда, есть предложение! Собраться и...

— Ну чего кричишь, чего кричишь? — оборвала его степенно баба Поля, вязавшая чулок из толстой белой шерсти (чулки она продавала потом на базаре и зарабатывала на каждой паре рублей двадцать-тридцать).— Тебе письмо оставлено.

— Постойте, а Инна где? Какое письмо?

— Я и говорю, письмо оставлено. Неграмотная, не знаю, что там.

Савичев положил на стол конфеты, не раздеваясь и не расспрашивая бабу Полю, прошел в свою комнату, на ходу щелкнул выключателем. На столе, прижатый стеклянной баночкой из-под крема, лежал вырванный из тетради лист, наполовину мелко исписанный рукою Инны. Савичев сел к столу и торопливо пробежал глазами. «Вот новость, что еще за фокусы, ни слова не предупредила...»

— Баба Поля! Баба Поля! — закричал он, широко распахивая дверь.— Что это значит?

Баба Поля поглядела исподлобья и, делая сердитый вид, сказала:

— Ты на меня, милый, не кричи. Будь она мне дочка, одно дело. А то — квартирантка. Я в ваши дела мешаться не хочу. Сказала, в Москву уезжает, а ему, тебе, значит, в записке, мол, все написано, он знает.

Баба Поля зябко повела плечами, накинула на плечи шаль и опять зашевелила морщинистыми губами, считая петли. Савичев подождал, не скажет ли она еще чего, и ушел в свою комнату. Опять сел за стол и перечитал письмо. «Антон,— писала Инна,— мне необходимо уехать на несколько дней в Москву, и притом срочно, в командировку, порыться в запасниках. Я ничего не успела тебе сказать, для самой неожиданность, прости, что ставлю перед свершившимся фактом, все как-то вдруг. Вернусь, объясню. Не скучай. Хорошенько кушай — я договорилась с бабой Полей, она за тобой присмотрит. К Новому году обязательно буду, мы хорошенько отпразднуем. Не может быть, чтобы и дальше без всяких перемен. Целую и люблю. И.».

Некоторое время Савичев сидел неподвижно, отогреваясь, потом не спеша стал переодеваться, сходил на кухню, вымылся над большим тазом с теплой водой, которую уже успела приготовить баба Поля. Затем вернулся к себе, лег поверх одеяла и, пытаясь найти объяснение случившемуся, стал припоминать последние месяцы день за днем.

Баба Поля позвала его ужинать, он кивнул:

— Давайте только с вами, баба Поля. Вы еще не ужинали?

— Спасибо, я чайком погреюсь, есть не хочу. Мой старик, покойник, бывало, под конец любил сладенькие конфетки с чаем,— с готовностью отозвалась баба Поля.— И меня приучил. Иди, иди, садись. Остынет, какой толк холодное есть? У меня щи-то сегодня жирные, духмяные, да огурчиков я достала — хороши удались, наливные, как с грядки.

Савичев молчаливо вычерпал глубокую миску щей; баба Поля выпила три чашки чаю, стала еще разговорчивее, начала рассказывать, какая у нее была богатая свадьба, как раз в двенадцатом году, незадолго до войны.

— Неужели помните? — удивился Савичев, придвигая к себе тарелку с тушеной картошкой.

— Помню, отчего не помнить, пока в своем уме. Погоди, и ты все будешь помнить, она, жизнь, как дых один,

дохнул и нету, прошло. Молодое все и помнится,— баба Поля вздохнула.— Еще чашечку, что ли?

— Конечно, баба Поля,— сказал он,— пейте, если хочется. Так что свадьба? В двенадцатом, говорите, еще до первой мировой? Вот ведь древность какая...

— Погоди. Еще раз самовар запалю и расскажу, у меня историй много в запасе. В войну чего только не перевидела, а до войны? Как нас по злобе с родного корню стронули? Мы-то сами, Поповцевы, деревенские родом, а вот скоро двадцать годов как в городе.

Баба Поля взяла несколько угольков с загнетки, бросила их в самовар, сверху набросала крупного черного угля, плеснула из бутылки керосину; огонь сразу выбился длинным, смрадным языком, и баба Поля ловко приладила трубу.

— Людская злоба, она что хочешь наворотит, это тебе страшнее всякого любого зверья. Да и что сейчас зверь? Сейчас человек всех зверей поел, и все ему мало. Тогда у нас дети как раз возросли, дочь — невеста, сын жениться начал, на гулянки бегать. Господи, будто и не жила, прошло время. Мы со своим Федором не нарадуемся, дети послушные, здоровые. Жить да жить, так нашелся ворог, антихрист проклятый в соседях. И за что, если б ты знал, за поросенка, поросенок шелудивый у него пропал, так он на нашего Андрея, на сына, значит, мол, по ночам с дружками своими гуляете, сожрали, мол. Лентяй был мужик, одного-то поросенка за всю жизнь свою нажил, а тут, как на грех, в колхозы стали собирать. Ходит этот злыдень и везде крячет: я-де бедняк, кулацкие выродки меня последнего пороси лишили. Заявлению на нас одну за другой гонит, работать не хочет, жрать нечего, а грамоте научился, как же, бедняк. Нас и стали тягать. Господи, а какие ж тут кулаки? После войны как землю поделили, всем ровно оказалось, кто работать хотел, тот и работал, от трудов, оно и прибыток. Ну, было у нас две лошади да конная молотилка, купил с год мужик в пае с братом родным, вот тебе и все кулачье. Все-то от донного до говённого своими руками, сами да дети. А он-то, злыдень, в своих заявлениях то одно на нас, то другое, власть будто мы поругали, вроде людей держим у себя на работах. Затаскали моего, никак отбиться не может. Тут еще такое дело, рассказывать не хочется. Приглянулась наша Клава, дочка, стало быть, одному начальнику из города, уездный у нас такой

был городок Дикополь, мы-то сами не здешние, с-под самого юга. Это по-теперешнему район, а тогда уездом назывался. Ну вот, как приезжал этот хлыщ заявлению на нас разбирать и увидел Клаву, бес ему в ребро и прижег. Как сейчас помню, в хромовых сапожках, глазки пронырливые, на затылке лысину спереди волосиками прикрывает, а она у него все равно светится. Надо было ему день пожить; он и на другой остался, и на третий, да все ходит, придирается. Ну и выбрал минуту, остановил Клаву, когда никого рядом не случилось. «Ну,— говорит,— девка, выбирай, или ты моему желанию подчинишься, или всю вашу семью на Соловки угонят, там и сгниете. Если,— говорит,— не дура, выходи к речке в кусты, я за тобой в отдалении пойду, чтобы никто ничего заметить не мог. И сразу я вас от всего освобожду, и даже того вашего соседа для острастки под арест возьму». Вот такие бессовестные люди бывают. Клава что, по его словам-то она не сделала, а напугалась, прибегает ко мне вся зареванная, в три ручья заливается, рассказывает. А я своему старику, он, видать, Андрею, сыну, дружно они с сыном жили. Андрей горяч был у нас очень. «Я ему,— кричит,— гаду, устрою, я ему голову поставлю назад глазами!» Я уговаривать, куда! Вечером и подкараулил он это начальство, скрутил его как куренка, тот и наган свой достать не успел. Без голосу он его измолотил до черной кожи, бросил в бурьяне. Пришел и рассказал батьке, обдумали они все, мужики, и решили подаваться куда-нибудь в отъезд. Я опять за свое, претерпевший, говорю, до конца спасется. Кто ж бабу тогда стал бы слушать? А я до сих пор с ними не согласная, сами себе жизнь нарушили. Кое-как распродались, и вот попали сюда, в Воропянск. Домок купили, года через два Клава замуж вышла, от родов ей смерть господь определил, вслед за нею и старик отошел, а Андрей в войну пропал — ты ведь бумагу читал, вот, оказалось, за геройскую смерть и вышла награда.

— Читал,— сказал Савичев, пристальнее всматриваясь в лицо старухи, в его иконописную строгость и печаль.

— Вот так-то оно и бывает, Расея-то разная, да вся она одна,— опять сказала баба Поля, забыв и о самоваре и о Савичеве и погруженная в прошлое, в свои старушечьи думы.— Это как песня, хоть полслова выкинь, песни и нет. Гляди,— сказала она без всякого перехода,— самовар и закипел, еще чай пить будем. Поднимай его,

сынок, на стол, тяжел он для меня стал.— Баба Поля зазвенела чашками и блюдцами.— Человек один и остается. Как одному жить без роду-племени? Всякая живая тварь семенем обзаводится на радость да на продолжение свое, почто мне такое горькое выпало беспризорство, а я и тут говорю: что ж, угол свой есть, и людей кругом хороших много. Ты вот со мной за столом, и чай пьешь, и хорошо, и слава тебе, господи, были бы мы живы. Вот и я около вас, молодых, погреюсь и мне веселей.

21

В обещанный срок Инна не успела вернуться. Савичев встречал Новый год с Петькой Евстратовым во Дворце культуры, где собралось много молодых свободных женщин,— в двух фойе гремела музыка, вился серпантин, мужчин явно не хватало. После часу компанией отправились к кому-то на квартиру. В тесной комнате стояло разудалое веселье. Из мужчин было еще двое, тоже фронтовики, и тотчас установилась дружеская атмосфера, и Савичев почувствовал себя как дома. К нему тесно подсела одна из многочисленных женщин, огненно-рыжая, со вздернутым маленьким носиком; Савичев на другой день помнил лишь ее вздернутый носик и то, как по-пьяному жадно под утро ее целовал, а вокруг смеялись и кричали: «Горько! Давай еще, Антон! Давай, солдат!» Сколько он ни пытался вспомнить, как добрался домой, и благополучно выспался в своей постели, и тетя Поля отпаивала его рассолом, ничего не выходило.

На третий день нового года Евстратов, удивленно приглядываясь к Савичеву, спросил:

— Антон, ты, случаем, не духовную семинарию кончал? Таньку Фролову, рыжую, на Новый год ты все с ней танцевал, заговорил насмерть. Все о церквах каких-то ей рассказывал, как они разрисованы. Разных испанцев да итальянцев вспоминал, прозвища мудреные, язык, пока выговоришь, сломишь.

— Врешь,— покраснел Савичев, неловко посмеиваясь.

— Ей-богу. Монаха мне, говорит, какого-то подсунул. А под утро вдруг расходился, целоваться вздумал. Все по домам расходятся, а ты — плясовую. Еле тебя до дому доволок, трамваи не ходят, пешим еле доволок. Беспокойный

ты выпимши, все в пляс пускался по сугробам. Беспокойный ты, кто бы думал! Тихий-тихий, а намучился я с тобой. А я нет, как выпью лишнего, сразу спать. Ну как, вернулась? — спросил он, имея в виду Инну.

— Телеграмму прислала, завтра приедет.

— Долго постился,— засмеялся Петька Евстратов.— Гляди, надолго бабу отпускаешь.

Савичев закурил, присев на штабель досок; незаметно для себя он привязался к Петьке Евстратову и часто его рисовал, тот никогда не мешал и что-то молча мастерил рядом, изредка поглядывая на Савичева и улыбаясь ему своей тихой, застенчивой улыбкой. Парень он был на редкость покладистый и незлобивый.

В день приезда Инны Савичев с усилием дотянул до пяти. Было очень ветрено, через полмесяца кладка стен здесь закончится, и говорили, что их перебросят на новый объект, в самый центр города строить здание большого универмага, затем на строительство нового кинотеатра с залом на тысячу мест и с двумя малыми залами, и даже название его было уже известно: «Гигант». Вытирая руки снегом, Савичев глядел на высокую, с темными проемами для окон кирпичную стену, на редкие электрические лампочки, вслушивался в трамвайные звонки и остро чувствовал необходимость нарушить привычную колею, вырваться куда-нибудь за город, в снежные просторы, хотя бы на пару дней, остаться совсем, совсем одному, без людей, без голосов, наедине со своим замыслом. Он давно уже, давно просился наружу. И Савичев знал, как его выполнить: напряженный, горячий цвет, взорвать, обжечь горечью, пусть бьет в глаза, возмущает, именно в цвете должно заговорить время с его потрясениями; огненная судьба России на неведомом тяжком пути, по бездорожью, как непосильный крест Христа, ставший символом и оправданием тысячелетий. Кирпич, прошедший через руки каменщика, становится всего лишь частью стены, и кирпич как целое, основа и фундамент всему; без начала и конца; Савичев уже видел странно освещенные лица, лица как неровные блики пламени, он даже чувствовал жаркое дыхание, запах огня.

Он уже далеко отошел от трамвайной остановки, по обе стороны тепло светились окна домишек, под ногами сухо и чисто скрипел снег. Крыши смутно белели; на ходу стаскивая рукавицы, Савичев взбежал на крыльцо, нагнувшись, шагнул через порог и увидел Инну. Некоторое время

они молча стояли друг против друга, затем она первая подошла, обняла его за шею и надолго приникла.

— Здравствуй,— сказал он, не сразу возвращаясь из мира красок и запахов.— Значит, приехала.

Баба Поля призадержалась у плиты и, пересиливая любопытство, наконец, ушла на свою половину; они остались одни. Савичев пристально посмотрел мимо Инны на заросшее снегом окно, пытаясь схватить необычный серебристо-пепельный оттенок в правом верхнем углу окна.

— Значит, приехала,— бессмысленно повторил он.

— Антон, что-нибудь случилось? — спросила Инна.— Не рад? Даже ничего не спросишь, словно вчера виделись.

— Подожди, подожди,— остановил он, быстро раздеваясь и скрываясь в своей комнате; Инна, оглянувшись на дверь в комнату бабы Поли и помедлив, прошла вслед за ним. Савичев ожесточенно набрасывал что-то на распятый холст. Она увидела его выступившие скулы и осунувшееся лицо и, не зная, что делать, с бессильно повисшими вдруг руками прислонилась к стене. Она похудела и странно похорошела; на ней было новое светлое шерстяное платье, высоко заколотые русые волосы делали ее лицо строгим и иконописным; Савичев мельком взглянул на нее, растирая краски, нахмурился.

— Подожди, не спрашивай ничего, я сам, подожди. Не сердись, я сейчас.

Она ошеломленно поглядела на него и, стараясь не шуметь, вышла, тихо прикрыла дверь и задумчиво села к столу. Баба Поля хотела было что-то спросить, Инна прижала палец к губам. Баба Поля повернулась к ней спиной, пробормотала:

— Господи, в своем дому рот затыкают, слова не скажешь. Видано ли такое? — Она не выдержала и повысила голос, адресуясь к Инне: — Нынче-то мужики пошли не приведи бог — набаловали их бабы. Их после войны осталось вполовину против баб, выкобениваются. Чего ты на меня машешь, чего машешь? Правду говорю. Жена две недели дома не была, а он поручкаться не хочет. Пресвятая матерь богородица,— растерялась она, увидев, что Инна плачет.— Обидела тебя? Так ты не слушай старуху, где нам теперь молодых понять. Прости, ради бога, не со зла.

Инна обняла бабу Полю, засмеялась сквозь слезы.

— Я не потому, от радости. Хороший вы человек, спасибо, баба Поля.

На другой день Савичев не пошел на работу, он не мог сомкнуть глаз, бессонная ночь измотала его, и он едва дождался утра; он знал, что и Инна не спит, но эта мысль проходила стороной. Инна легла отдельно на узеньком деревянном диванчике, переставленном на их половину из комнаты бабы Поли; когда будильник прозвенел в шесть, Инна, набросив халат, подошла к мужу.

— Иди, ложись, я сегодня не пойду, не могу, устал, голова что-то,— опередил он.

— Конечно, успеется,— сказала она медленно, присматриваясь к нему, пытаясь понять, что с ним происходит.

Он поцеловал ее, оделся, и, не говоря ни слова, ушел, и вернулся лишь к вечеру, обожженный морозом, голодный, и с порога потребовал есть. Дождавшись, пока он пообедает и выкурит папиросу, Инна подошла, взъерошила его волосы, обняла сзади за плечи и прижалась грудью.

— Где же ты бродил? Мне завидно, возьми в следующий раз с собой, я буду мольберт за тобой таскать.

— Ладно, возьму, только не пищать, если устанешь. Понимаешь, вдруг показалось, что могу написать одну штуку... знаешь, такая пытка, такого со мной давно не было. Ну баловался и раньше, мазал кое-что так, для себя, а тут к самому горлу подступило, хоть ложись и умирай.

— Отчего же? — спросила она с деланным равнодушием и сильно волнуясь.— Такой большой, сильный, тебе еще рано...

— Боюсь,— признался Савичев.— Можешь не верить, но я ведь зарок дал: не брать в руки кисть, и так часто нарушал... Я ведь клятвопреступник. Меня надо казнить. Я ничего не могу. У меня просто не хватает сил выразить. А может быть, уже поздно. Все растерял. А может, и не было ничего. Иногда мне кажется, что если бы я не работал, не потерял бы столько времени...

— Антон, милый,— твердо и умоляюще сказала Инна,— ты ничего не потерял! Все это было тебе нужно, без этого бы не было ничего.

— Но у меня ничего не получается.

— Ты еще по-настоящему и не пробовал. Если это у тебя созрело, надо все бросить, отложить все ненужное, отвлекающее на время, там видно будет. И по-настоящему попытаться. Ты уже что-нибудь сделал?

— Тут, в голове,— он постучал себя по виску,— здесь. А потом мне показалось, когда тебя еще не было, ты не приехала, что я заснул, и увидел ее, ну вот только-только окончил...

— Ну и что же это было? — подождав, спросила Инна.

— Чушь,— ненатурально громко засмеялся Савичев.— Вздор! Говорить о несуществующей картине. Как вот завтра на работе вывернуться... Не такой уж я огромный, устал дико... Был да весь вышел.

— Скажи, был нездоров, хочешь, я съезжу, объясню. Об этом ты не беспокойся.

— Пожалуй, только это вряд ли поможет. Дело во мне самом. Где баба Поля?

— К соседке ушла. Семечек набрала в узелок и ушла, вы, говорит, меня скоро не ждите. Как же ты здесь жил без меня, Антон? — спросила она, пытаясь навести разговор на другую тему, отвлечь его, расшевелить.

Савичев, наклонив слегка голову, пристально оглядел ее с ног до головы.

— Ну-ка, ну-ка, иди сюда, ах ты, хитрюга, проявляешь чуткость, «приеду к Новому году», ну-ка, иди сюда на расправу, объясни, где пропадала? — Он притянул ее к себе: она становится вызывающе красива и только в лице проступает отчуждение, подумал он. Но это, пожалуй, кажется, он сейчас зол на нее. Исчезла на две недели, ждал к Новому году, и сейчас молчит, вроде так и надо, вроде ничего и не случилось.

— Совещание затянулось, я тебе писала, думаешь, приятная была поездка? Мне, кроме всего прочего, надо было встретиться с Николай Николаевичем, переговорить о разводе. Сам понимаешь, в письме всего не скажешь.

— И как твоя миссия? — задумчиво прищурился он с неопределенной усмешкой, которую можно было истолковать как угодно.

— Пока безрезультатно,— сказала она просто.— Пожалуй, он действительно любит меня. Знаешь, мне даже жалко его стало. Очень постарел. Закончил свой давний научный труд, что-то о полиомиелите, детском параличе.

— Это уже существенно. Между прочим, ты могла бы и остаться.

— Могла бы,— глаза у нее сузились и потемнели.— И ты бы вряд ли заметил.— На лице у нее, у самых губ, от напряженной улыбки сделались резкие морщины.— Нака-

зывать можно один раз, но ведь не всю жизнь, так? Тебе от этого легче? Ты получаешь разрядку?

Инна прошлась по тесной комнатке, переплетя пальцы и сохраняя на лице все ту же старившую ее улыбку.

— К чему мы так придем?

— Постой, постой, я же ни на чем не настаиваю! — попытался остановить он ее, она умела себя взвинчивать, ничего не помня, не видя вокруг.

— В том и дело, Антон! — подхватила она, останавливаясь перед ним и разглядывая его с каким-то сторонним, горьким любопытством.— В том-то и дело, ты ни на чем не настаиваешь и принимаешь все как есть. Обиднее ничего для женщины нет.— Она говорила все отчужденнее и резче, дав себе полную волю, не в силах остановиться, хотя где-то слабо и неясно в ней вспыхивал колючий холодок страха от своих слов, от предчувствия, что потом нельзя будет ничего исправить.

И когда Савичев еще раз попытался остановить ее, она с отчаявшимся лицом жалко выкрикнула:

— Я знаю, ты просто жестокий и равнодушный человек, тебя таким война сделала! А я тебе не нужна, и никто тебе не нужен! Ты хочешь все для себя и делаешь вид, что тебе все безразлично, но это не так! Я знаю! Знаю! Знаю! — говорила она возбужденно.— Ты думаешь, я действительно только по работе? Счастливая случайность, шеф задумал организовать выставку картин первых лет революции, и мне пришлось поехать договариваться. Я ездила и к нему, к Николай Николаевичу, но это не главное! Мне нужно было съездить к врачу! Мне нужен был врач, мне показалось, что у меня что-то не в порядке, и я испугалась. Но это так, временное расстройство,— увидев, как он сильно побледнел, она заторопилась и как-то вся обмякла.— Ты не волнуйся, сейчас все в порядке, мне показалось, ты ведь знаешь, какая я трусиха...

— А не врешь? Было, и ты сделала аборт? Инка, ну-ка посмотри мне в глаза.

— Ну, пожалуйста, вот. Пожалуйста. Теперь веришь?

Савичев невольно закрыл глаза, и ее лицо стало наплывать на него — белое, с крепко сжатыми губами, он все время слышал фальшь, эти стиснутые губы. Нужно было что-то сделать, сейчас, немедленно, он терял ее в эту минуту. Она решилась сказать ему, о чем долго молчала, но не до конца, и она права, он даже понимал ее. Ну что де-

лать, он понимал ее! Лучше бы она кричала, сердилась, ударила бы его, наконец, чем это жалкое подобие улыбки. Что она сделала с собой... Как-то косо, боком, через всю комнату он пошел к двери.

Инна догнала его уже у двери, обхватила за плечи.

— Антон, милый, не надо... Сама не знаю, что со мной было... Родной, прости... Разве я что-нибудь понимала тогда... чуть с ума не сошла, так неожиданно, некстати... решила съездить, посоветоваться с врачом. Антон, мы еще успеем... Мне так много надо сказать тебе, я хочу тебе добра... Только добра! Ты не знаешь, сколько тебе понадобится еще сил. Ты должен быть свободен.

— Пусти,— попросил он тихо, вытирая рукавом внезапно вспотевшее лицо.— Пусти меня. Я же никуда не ухожу.

Он почувствовал, как ослабли ее руки; он торопливо шагнул прочь, сел на кровать, ощущая удесятерившееся, отяжелевшее от боли сердце. Что она с собой сделала?..

— Невозможно,— сказал он.— Да не ухожу я, не двигаюсь, разве ты не видишь? Сумасшедшая. Ну да, знаю, ты меня любишь, но можно ли так? Решать за двоих... До каких пор это будет продолжаться? До каких пор ты не будешь мне верить? Это же какое-то рабство! Ради меня... Что значит ради меня?

Она, тяжело хватаясь за край стола, села напротив, на диванчик, на котором спала в эту ночь.

— Не знаю, как тебе объяснить,— глухо сказала она, глядя мимо него, в окно, и пряча глаза (ей было стыдно).— Не знаю, как тебе объяснить, но решать должна была одна я, ты бы никогда не позволил. Не знаю, как перед тобой оправдаться. Я хочу ребенка и боюсь тебя потерять. С ума схожу иногда от такой мысли. Всякий контроль над собой исчезает, для всех ты угрюмый медведь, а я-то знаю, как ты себя не жалеешь. На сколько тебя хватит? Думаешь, надолго? Берегись, Антон, сгоришь, нельзя себя так растрачивать. И днем, и на работе, и ночью, сам с собой... Да плюнь ты на эту работу, что, думаешь, не проживем? Я возьму халтуру, буду водить экскурсии в заповедник. Проживем! Только бы нам быть вместе, ты иногда как скала, ни одного окошка заглянуть внутрь...

— Ах ты, глупая, что наделала! Бедная ты... моя,— Савичев притянул ее к себе и ласково погладил, как ребенка, и это ласковое, сердечное движение словно прорвало за-

пруду; Инна плакала и никак не могла остановиться; он растерянно порылся в карманах, отыскивая носовой платок и вытер ей лицо, и она, точно ребенок, всхлипывая, ухватилась за его руку и прижалась мокрой щекой. У него уже никогда не будет прежней уверенности; его пусть искусственно, но как-то налаженный мир в одну секунду рухнул, и вокруг плывут уродливые обломки; могла быть реальная жизнь, живой горластый ребенок; он спал с женщиной, и она могла родить, и не хочет из-за него самого. Что-то в нем мешает ей и их будущему ребенку. Так можно ли считать себя правым после этого?

— Будет сегодня в этом доме еда?

— Будет, будет,— Инна нашла платок, вытерла покрасневшее, с заплывшими глазами лицо и, чувствуя, как она сейчас нехороша, отвернулась, стараясь не показать лица Савичеву; все еще вздрагивая и всхлипывая, она достала тяжелую серебряную пудреницу и стала пудрить под глазами и припухший от слез нос.

Савичев, отвлекая ее, расставил посуду, нарезал хлеб, включил рефлектор — в комнате было холодновато. Несуществующий ребенок — это как-то не очень его затронуло: говорят, к детям привязываются потом, однако, с другой стороны, он чувствовал себя глубоко уязвленным, даже оскорбленным в чем-то. Очень испугала сама Инна, за ней, оказывается, нужен глаз да глаз, вся ее заносчивость и неуязвимость — до определенного момента. Инна торопливо приводила себя в порядок, и в глаза ему бросались худые, слабые кисти рук, он не отрывался от них, они ему очень помогли.

— Что бы мы делали с ребенком при такой неопределенности? — сказала Инна наутро, больше рассуждая сама с собой.— Вырос бы неврастеником. И потом тебе надо, наконец, бросить эту дурацкую работу. И поработать серьезно, сколько можно! А я на целый год была бы выключена из жизни, целый год не смогла бы работать — ребенку, пока он маленький, больше всего нужна мать.

— Такой ценой? Ну, знаешь, можно подумать, ты одна на свете. Другие-то обходятся.

— То другие. У тебя и так украдено пять лет!

Слушая, Савичев удивлялся ее рассудительности, трезвости, и ее горячности, и силе чувства, в ней заложенного;

она права, он не может так любить и так отдаваться просто одному только голому чувству — он и ощутил свою бедность рядом с ней. Имеет ли он право? Желание, чтобы судьба его состоялась, заслонило для нее все, стало навязчивой идеей, потаенным, главным смыслом жизни; он это знает, чувствует, он должен выбиться, занять свое место, она ему поможет, никто другой, а она. Это ее крест, каждому свое, ей выпало вот такое, только бы он поверил, и не сорваться бы раньше времени, выдержать.

Савичев принес пальто, ей не хотелось сейчас на мороз. «Надо,— сказала она себе.— Надо идти, нельзя распускаться».

Перед ней лицо Антона, привычное, родное и в то же время совершенно иное, чем две недели назад, когда она уезжала в Москву.

— Я скоро вернусь, скажу, что ты заболел, и в галерею на минутку заеду, только покажусь и сразу уйду. Заберу домой бумаги и буду писать отчет дома.

— Где твой шарф? — спросил он.— Запропастился куда-то, никак не найду.

23

Город заваливало снегом, вторую половину января были сильные метели, и трамваи часто стояли, на расчистку улиц выходило население города от мала до велика.

Савичев похудел, осунулся, он по-прежнему ходил на работу, ему повысили разряд; на строительстве драмтеатра он выкладывал колонны, массивные, затейливые пилястры и карнизы, но делал это с посторонним, отсутствующим чувством; он сильно уставал к вечеру и, наскоро умывшись и поужинав, запирался в боковушке, которую тетя Поля под нажимом Инны освободила от солений и варений и разного ненужного хлама. Тетя Поля не уставала ворчать на неспокойных жильцов, но от денег за боковушку, предложенных Инной, наотрез отказалась и даже обиделась.

Савичев был с Инной ровен, а порой болезненно страстен, даже груб, он больше ни одним словом не напоминал ей о поездке в Москву, но где-то глубоко осталась горечь, он старался об этом не думать. Но на работу к Инне стал заходить чаще, теперь он не оставлял ее надолго одну. Когда однажды Лагутиновы пригласили его через Инну к себе

в гости на масленицу на блины, он охотно и даже нетерпеливо согласился, словно давно дожидался этого приглашения. Инна по-прежнему много рассказывала ему о Лагутиновых (она стала своим человеком у них дома за последние месяцы), рассказывала об их семейном укладе, о приверженности к старине, об истинно русском гостеприимстве, дом их был поставлен на широкую ногу.

Собираясь к Лагутиновым, Савичев оделся, как всегда, чуточку небрежно, несмотря на молчаливое неодобрение Инны; но побрился и постригся тщательно в лучшей парикмахерской при гостинице «Центральной» на главной площади города. Инна в серой беличьей шубке и такой же шапочке терпеливо ждала его в вестибюле, листая журналы. Лагутиновы жили тут же неподалеку, через площадь.

Здороваясь с хозяйкой, затем с самим Лагутиновым, Савичев не испытывал никакой неловкости, словно вошел в знакомый старый дом. Уже непосредственно в прихожей у него появилось на этот раз, и чем дальше, тем больше крепло, чувство, что попал он не в квартиру, не в жилье, а в музей, с хорошо продуманной экспозицией, а первый раз этого не было. Кстати, четырехкомнатная квартира с отдельной студией и сводчатым потолком у Савичева вызвала вначале растерянность; хозяева первым делом повели его кое-что посмотреть. Мало-мальски свободное место на стенах было заполнено картинами. Картон, холст, просто рисунки карандашом на плотных листах бумаги, а в одном месте висела старая продолговатая доска. Присмотревшись, Савичев различил следы краски, неясное очертание лица: перед ним была старинная икона суздальской школы. Гипсовые головы, связки сушеной рыбы, грибы, плетеные корзины и кузовки из коры с северным орнаментом, оленья голова с великолепными рогами занимали особый угол, в одном из переходов сгруппировалось опять-таки несколько темных, местами облупившихся до дерева икон старинного письма, рядом с ними на полке стояла многорукая фигура бронзового Будды. Савичев заинтересованно переходил с места на место, отмечая нарочитую пестроту, Лагутинов, сдерживая голос, пророкотал:

— Вот вам моя берлога, просиживаю здесь большую часть своей жизни. Ну довольно, довольно, теперь прошу к столу. Заждались вас, еще не обедали.

Савичев прошел вслед за Инной в столовую, ярко осве-

щенную просторную комнату, где уже был накрыт большой стол.

— Садитесь, прошу вас,— мягким контральто пригласила Савичева Полина Гавриловна, точно погладила.— Иночка столько интересного рассказывала о вас, она вас все прячет. С ней можно говорить только о вас.

— Садитесь, садитесь, граждане-товарищи,— торопил, крепко потирая руки, Лагутинов.— О сантиментах потом, а сейчас пора приобщиться.

Он поднял за горлышко хрустальный графин, потряс, налил в приземистые, крепкие стаканчики водку и вопросительно взглянул на Инну:

— Дамы, разумеется...

— Дамы не возражают,— ответила Полина Гавриловна.— Как, Инна? Вы ведь немного выпьете?

— Выпью,— Инна улыбнулась и засиявшими глазами взглянула на Савичева, он понимающе ей подмигнул и сел на указанное Полиной Гавриловной место, подвинув от края стола тонкую фарфоровую тарелку с голубыми разводами.

— Антон, поухаживай за Полиной Гавриловной,— шутливо подсказала Инна, и хозяйка энергично запротестовала:

— Перестаньте, Инночка, не люблю жеманства, не терплю опеки, никогда за мной никто не ухаживал. Ну-ка, Антон Васильевич, давайте вашу тарелку, попробуйте салату, возьмите, возьмите. А этот балычок великолепен с блинами, не пробовали? А еще лучше с кетовой икрой, вот, пожалуйста. Достали через знакомых в закрытом буфете — в магазинах подобного чуда не встретишь. Только знакомые и выручают.

Она ловко и незаметно наполнила тарелку Савичева и свою. Отдельно на плоской тарелке румянилась горка пышных блинов. Лагутинов, мягко присматривающийся к Савичеву, взял только балыку и кружок луку.

— Вы, Инночка, не стесняйте себя, вам еще опасаться нечего. Блины вам только на пользу.

— Благодарю, я и не стесняюсь, видите, сколько? — Инна указала на свою тарелку и подняла стопку.

Лагутинов давно ждал.

— Давайте за продолжение знакомства,— и Полина Гавриловна тут же с улыбкой продолжала: — И чтобы оно перешло в дружбу.

— Само собой, ну, поехали, братцы! — Лагутинов первый выплеснул в себя водку, и это получилось у него красиво, естественно.

Савичев выпил; блины так и таяли во рту, розоватый балык, в самом деле превосходный, с тонким свежим запахом, окончательно поднял настроение. «Пожалуй, они действительно славные люди»,— подумал Савичев.

— Крепкая,— Инна беспомощно и мило поморщилась.

Савичев покосился в сторону Полины Гавриловны; как та с ее тяжеловатой, несколько переспелой русской красотой потерпит соперничество? Но женщины отлично ладили между собой и, как всегда, слегка презирали мужчин. За столом после третьей стопки стало весело и непринужденно: Лагутинов пил, почти не закусывая, он раскраснелся от водки, с теплой, грустной, затаенной улыбкой глядел то на Савичева, то на Инну, те с присущим молодости эгоизмом не замечали вокруг ничего, кроме самих себя.

— Вы на него не обращайте внимания, — сказала Полина Гавриловна.— Он никогда почти не закусывает, боится дальше толстеть. По-настоящему ешьте.

— А я ем,— отозвался Савичев.— Я солдат, стесняться не привык.

— Вот и хорошо, хорошо и отлично, хозяйке высшая похвала,— подхватила Полина Гавриловна.— Простите, боже мой, совсем забыла! — огорчилась Полина Гавриловна и повернулась к мужу.— И ты хорош: да у меня ведь грибочки белые, собственного соления. Я приготовила с луком, как следует быть, ах, Коля, Коля...

Она истинно огорчилась и уплыла на кухню, вынесла глубокое голубое блюдо с грибами, твердыми, молодыми боровичками, и торжественно выставила его на самую середину стола.

— Под водку и я возьму,— оживился Лагутинов.

— Какая прелесть! — сказала Инна.— Наверное, очень вкусно. И все целенькие, один к одному.

— Не удивляйтесь восторгам Инны Викентьевны, дары природы в их натуральном виде она имеет возможность наблюдать только в ресторациях или в столь редких домах, как ваш,— Савичев слегка наклонился в сторону Полины Гавриловны и допил свою рюмку.

— Антон, как не стыдно!

— Каждому свое, Инна Викентьевна, не принимайте к сердцу, выпьем за красивых женщин! — Лагутинов по-

вернулся к жене.— Мама, в графинчике-то пусто, донышко видать.— Он развел громадными руками с короткими пальцами, присвистнул, и Полина Гавриловна легко поднялась.

— Не переберете, люди? — весело спросила она, подхватывая опустевший графин.

Она все делала как-то легко и свободно, и была еще и сейчас, в свои сорок, очень хороша, и, зная это, двигалась уверенно, с неуловимой грацией.

Савичев закурил, попросив разрешения; взял папиросу и Лагутинов, хотя не курил, сегодня ему было особенно весело и покойно; ощутимо продвинулась вперед последняя работа, почти на пятьдесят тысяч рублей, за полгода он вполне управится, надо благодарить лишь неистощимый патриотизм воропянцев, пожелавших украсить внутренней росписью здание нового вокзала, всего несколько панно из истории родного города, а такого опыта Лагутинову не занимать. И дело, конечно, не в деньгах, впервые за последние годы он творчески доволен, оригинальные должны получиться панно, особенно два в большом зале ожидания — «Материнство» и «Подвиг». Правда, не признаваясь ни другим, ни себе, в глубине души, «на донышке», как он любил говорить, Лагутинов иронизировал и над этим заказом и над собой, пожалуй, над собой особенно — вот уже больше десяти лет подряд он давал себе зарок не браться за подобную халтуру и написать что-нибудь стоящее, но проходило время, выдающееся не писалось, хотя Лагутинов высиживал свое перед холстом честно; иногда и ночью вставал, не спалось, приходил в одном белье в мастерскую и, зажигая яркий верхний свет, часами до тупой боли в затылке всматривался в какое-нибудь полотно, начатое и брошенное год назад; он даже, пожалуй, знал, как и что хотел сделать; иногда в нем что-то загоралось, казалось, вот-вот сейчас придет, он хватал кисти, палитру, принимался тщательно готовить краски и через час-два прекрасной муки с яростью задвигал работу в угол, иногда срывал холст с подрамника. Все было добротно и плохо, отличная техника, превосходно выписанная деталь, безукоризненная композиция, выдержанная в самых реалистических традициях, но отсутствовало нечто, без чего не было ничего, и тут была бессильна техника, умение владеть пусть даже всем богатством красок; отсутствовала своя оценка мира, свое видение жизни, когда чувствуешь власть над скры-

той душой материи. Что ж, и он знавал взлеты, его «Девушка у реки» и «Люди на рассвете» останутся, в этом он уверен. Эти два полотна до сих пор поминаются в статьях и обзорах, их и поныне вспоминают и почитатели, и просто рядовой зритель, воспитанный уж на таком дерьме, что иного слова тут и не употребишь. А были эти картины написаны еще до войны, в середине тридцатых годов, когда он едва-едва постигал основы профессионализма. И портрет отца Лагутинов не может видеть спокойно, без тайной слезы, и часто пытается определить, откуда идет эта пронизывающая сила грусти и угасания, то ли в глазах, то ли в затухающем асимметричном лице, в вечернем сумеречном колорите. А потом просто эскизы к той картине, которую он все собирался да так и не вырвал время написать? Он хотел назвать ее «Дети земли», а потом скоропалительно женился, встретилась красавица Полина, прошло время, и он остыл к старому замыслу. Он не жалеет, пожалуй, такого сумасшествия второй раз не испытаешь, и в конце концов в чем смысл жизни? В запасниках мира миллионы картин, книг, скульптур, а вот молодость прошла и никогда больше не повторится. Ах, дьявол, Лагутинов иногда в тяжелую минуту вспомнит, и просветлеет у него на душе, только почешет в густом сивом загривке. И все-таки где-то произошел сбой, завелся где-то внутри въедливый червячок и при каждом удобном случае ворочается и посасывает изнутри. На людях, в силу своего прочного уважаемого положения в городе и крепкого здоровья, Лагутинов держался красиво; могучий телом и головою особенно, даже выпив порядочно против остальных, он мог, если хотел, в любое время сойти за трезвого, правда сильно уставшего человека, и жена от этого мучилась и страдала. Она ни разу в их жизни не обмолвилась на людях о своих опасениях и тревогах и была под стать ему отличной подругой, но все чаще и чаще последнее время задумывалась о себе, Лагутинов сам чертыхался и старался поскорее заняться чем-нибудь другим, хоть задирай морду и вой тоскливо на сводчатый потолок в мастерской. Где там в наше время превзойти! Род человеческий обмельчал, натура изменилась, а судьбу не обманешь, не обведешь, как любила говорить его бабка по матери, потомственная воропянская купчиха, в революцию быстро смирившаяся с потерей своих складов и лавок и в придачу беспутного мужа, утонувшего после пьянки в Шаронье. И наваливающееся подчас безволие ха-

рактера, видимо от деда, не может в себе пересилить, заставить переключиться и тогда несвязно бормочет совершенно идиотские фразы вроде: «Федотов-то с ума сошел», или: «Ну, раскиселилась сопатушка, а нам что за дело?» Хватит, хватит, приказывал себе Лагутинов, начинаешь сам себе надоедать, повторяя одну и ту же песню. Скучно. Тебе даже новые люди скучны, неинтересны, хорошо хоть Савичевым заинтересовался, и то здесь интерес чисто человеческий, характерное у него лицо, неподвижное, как будто покрыто твердой коркой, говорят, много раз был ранен. Иногда хочется отвести душу с людьми совсем другого круга, другой жизни, братья-художники однообразны и многословны, сосредоточены раз и навсегда только на себе и сверх того скандалисты, того и гляди впорешься с ними в какую-нибудь историю. «Братьев» Лагутинов близко до себя не допускал. С Савичевым по крайней мере покойно, не лезет тебе в душу, не навязывается, странно, вполне интеллигентный парень и тяжелые рабочие руки, работает на стройке каменщиком. Что его заставляет? При такой жене — любой мужик позавидует! — надо бы изо всех сил тянуться вверх, выбиваться на поверхность, а этот сидит себе в своем дерьме и в ус не дует. И жена еще в глаза заглядывает, такая красотка. Странная пара, чего не встретишь на свете. Уверена в его неповторимости, в его особой исключительности, готова идти с ним на Голгофу. И пойдет ведь, а зачем? Можно представить, какие там шедевры, художник на уровне Дворца культуры; держится хорошо. Надо будет включить какую-нибудь его вещицу в областную выставку самодеятельных художников, что-нибудь приемлемое, надо думать, можно будет выбрать из его творений. Очень уж Инна за него хлопочет, а чего не сделаешь ради красивой женщины.

24

Полина Гавриловна хотела убрать водку и принести кофе, но Лагутинов остановил ее; выпили еще, и Полина Гавриловна, махнув рукой, увела Инну смотреть только что сшитое платье.

— Их теперь не остановишь, мне эта музыка знакома.

Лагутинов поглядел им вслед, что-то обдумывая.

— Садись ближе, Антон, без баб свободнее,— пригласил он, расчищая на столе место, придвинул к себе грибы.—

Жаль, Кости нет, в командировку вырвался. Перед отъездом забежал, говорит, с месяц постараюсь пробыть. Люблю парнишку, детдомовец, сына родного заменил. В войну детдом эвакуировали, на фронт, конечно, сбежал, известная история. А там воришки закрутили, колония. Ну, десятилетка, все прочее, выпрямился помаленьку. Прости, давай на «ты» выпьем, к чему нам, скажи, церемониться?

Он вопросительно поднял брови, и Савичев, веселый и легкий от водки, с готовностью поднял свою стопку.

— Давай, Николай Акимович. Человек остановился у порога: высок, черт возьми! А я перешагну и в подушку головой.

Обеспокоенно поглядев на него, не сразу улавливая смысла в словах, Лагутинов рассмеялся.

— Давай, давай! Пьем, Антон, а потом я тебе кое-что покажу.

— Что?

— Увидишь, не торопись.

Они выпили через руку друг у друга и трижды крест-накрест расцеловались; Лагутинов вытерся тыльной стороной ладони, кинул в рот твердую шляпку гриба размером в пятак, подождал, пока прожует Савичев, и вытащил его в мастерскую.

— Пойдем, пойдем... Да, послушай,— остановился он вразвалочку неожиданно в дверях.— Инна Викентьевна рассказывала, что ты учился в Суриковском, тебя, мол, сам Савостин хвалил до войны, а?

Наметанный глаз Лагутинова еще при первой встрече уловил неровный цвет лица у Савичева, и сейчас при ярком свете он рассматривал своего гостя с профессиональной жадностью, пристально и беззастенчиво. Лагутинов вспомнил время, когда, приблизив к себе Костю Арефина, не раз пожалел, отчего тот поэт, а не художник, ведь ему давно хотелось иметь способного ученика.

Савичев, чувствуя, что его изучают, намеренно громко рассмеялся.

— Глупости, все бабий вздор,— сказал он.— У Инны навязчивая идея, все хочется мужа приподнять.

— А вот и нет,— раздался голос Инны, вошедшей из двери в противоположной стороне комнаты.— Вы его не слушайте, Николай Акимыч, у него у самого идея фикс. До войны ему пророчили будущее, а сейчас он словно за-

дался целью опровергнуть обещания юности и очень в этом преуспевает.

Полина Гавриловна и Лагутинов улыбнулись ее словам, как приличествует стандартной шутке; Савичев, несмотря на развязность и легкость после выпитой водки, не скрывая досады, отвернулся. Он один знал здесь, что это не шутка, а истина, и ему хотелось поскорее уйти с Лагутиновым в другую комнату.

— После войны Антон почему-то решил писать для себя, к нему, видите ли, пришла идея,— опять сказала Инна.— И вот я с ним мучаюсь,— пожаловалась она, делая беспомощное лицо и подходя к Лагутинову.— Николай Акимыч, хоть вы подействуйте на него, ну что это, на вас вся надежда.

— Перестань, Инка,— не выдержал Савичев.— Брось выворачиваться наизнанку, нет, опасно поить женщину водкой.

— Хорошо, хорошо,— вмешался Лагутинов.— Вы, женщины, оставьте нас в покое, мы сами во всем разберемся. Пойдем, Антон, простите, дамы, мы вас не задерживаем...

— Пожалуйста,— обиженно отозвалась Полина Гавриловна вслед.— Мы чай с пирожными станем пить, вот вам,— сказала она тоном капризной девочки; Инна вполголоса что-то сказала ей, Савичев не услышал что, Лагутинов плотно закрыл тяжелую, массивную, обитую дерматином дверь и дважды повернул ключ в замке.

— Уф, слава богу,— сказал он несколько иным, домашним голосом.— Ей-богу, в самом главном женщины плохо разбираются, мужчине нужна свобода, а все остальное во-вторых. Ведь необходимо побыть и одному, это понять нужно.

Он включил весь свет, в одном из углов разбросал несколько старых пропыленных холстов и с торжественным, сосредоточенным лицом достал из небольшой ниши в углу бутылку, рюмки и коробку сухого печенья, засмеялся.

— Отличный коньяк. НЗ, так сказать, любимый напиток мой и Уинстона Черчилля. Нам пора выходить на передовые позиции. Об этом священном сосуде не знает ни одна живая душа, тем более женская. А потому, Антон, давай выпьем.

Поставив бутылку и рюмки на замызганную красками высокую тумбочку, назначения которой Савичев не понял, хозяин подумал и почему-то отнес печенье на широкий и

тоже весь в краске подоконник, хотя и на тумбочке бы хватило места. Затем Лагутинов долил рюмки, и они выпили.

— Давай закурим,— сказал Лагутинов.— Хотел я тебе кое-что показать, да не стану сейчас, негоже с пьяными глазами. Не обидишься?

— Нет. За что обижаться, правильно.

— Антон, Инна Викентьевна ведь правду говорила,— утвердительно сказал Лагутинов, в упор глядя на Савичева совершенно трезвыми, чуть выпуклыми глазами.

— Чепуха, женская логика. Просто ей хочется, чтобы это было правдой. Я до войны еле-еле кисть в руках выучился держать. Меня один богомаз натаскал, краски научил растирать, сейчас подумаешь — волшебник старикан, весь лысый, череп желтым светится, точно спелая дыня изнутри. Я на практику в Холуй попал после первого курса.

— Жар-птица не спешит попасть в руки, чаще наоборот. Женское честолюбие — двигатель истории. Давай еще выпьем...

— Давай... К тому же я, кажется, попал в высшее общество, нельзя отказываться. Не ошибаюсь? Местная элита, кукиш на ровном месте. Послушай, Николай, не обращай внимания, посредственность всегда желчна.

— Женское честолюбие — опасная штука, брат, с этим шутить не стоит. Какого черта ты торчишь в своем СМУ?

Савичев резко поставил рюмку, коньяк плеснулся на тумбочку.

— Послушай, Николай Акимович, давай с тобой договоримся не лезть друг к другу в душу, не сняв башмаков? А то я пить не стану, я этого не люблю.

— Эк ты! — изумился Лагутинов.— Прости, коли так. Экой ты несъедобный, давай тогда бери, вознесем.

— Вознесем,— согласился Савичев и тяжело опустился на подоконник.

— Это я к тому только, что, если хочешь преуспеть в жизни, откажись от женщин, ну, то есть совсем не отказывайся, зачем же? А до себя близко не допускай. Никогда не будь женщине должен. Никогда! — с неожиданной горячностью воскликнул он.— И чтобы она не смела предъявить к тебе никакого счета! Иначе каюк, засосет и прощай!

Савичев нашел в одном из углов расшатанный стул,

принес его к тумбочке и сел, глядя перед собой, на стену, где красовались высушенные раки в пучке.

— Их есть нельзя? — спросил он с внутренним ожесточением и против Инны, и против Лагутинова, и этих раков.

— Староваты, но в принципе можно, лет пять, не меньше висят. Натура, одно время Сезанном увлекался, хотелось достичь вещественности. Когда в сороковом я попал в Париж...

— Пять лет войны плюс еще три,— сказал Савичев.— Руки, глаза все забыли, мне кажется, я теперь и цвета не различу. У меня сейчас карандаш и тушь в ответе.

— Не те слова,— Лагутинов опять наполнил рюмки,— просто страх перед таинством мастерства, Антон, значит, оно исчезло, но если это оно,— он значительно выделил слово «оно», пытаясь яснее передать свою мысль, и запнулся,— если это,— повторил он,— было, значит, вернется. Здесь такая материя, еще хуже, чем хотеть бабу. Нет, нет, а потом хоть вой, с той разницей, правда, что желание бабы с возрастом пропадает, а это усиливается. А карандаш, я тебе скажу, отличная вещь — сам люблю. Мгновение. Слушай, да что я! — воскликнул он.— Приходи в свободное время ко мне. Здесь места на пятерых хватит, отдаю в полное твое распоряжение, вот ключ, да ты бери, бери, не отказывайся, отказаться всегда успеешь. Слушай, приходи, а, Антон, в любое время! Ко мне не хочешь, у нас при отделении учебная студия, сам дважды в неделю там бываю. Учу! — ожесточенно повысил он голос.— Понимаешь, учу, ха-ха! Но все равно ты приходи. Только бездарь не может взять, дай ей в наставники хоть в три головы генералиссимуса. А много их — генералиссимусов?

— Спасибо, Николай Акимович, брось ты свое самоедство, мура это все. Давай лучше вознесем.

— Вознесем! — подхватил Лагутинов.— Приходи, на трезвую голову посмотришь, как-никак жизнь положил. Увидишь, и я кое-что могу. Мог, Антон! — поправился он.— Мог! А может, еще и смогу! Где законы? Кто их устанавливал? Ты прав, все мура. Вознесем за беззаконие в искусстве! Вознесем!

— Вознесем! О законах в искусстве могут толковать лишь идиоты и политики...

— Как? Идиоты и политики? Здорово, Антон. Я тебя сделаю художником, слушай, если у тебя есть хоть капля

этого...— Лагутинов поднял палец к сводчатому потолку.— У меня большие связи в Москве, в Воропянске и говорить не приходится. Они у меня все вот здесь,— он сжал кулак.— Я тебе что хочешь сделаю, хотя бы квартиру,— внезапно загорелся он.— О Ворохове слышал? Не слышал? И зря. Большой человек.

— На черта мне твой Ворохов,— отозвался Савичев беззлобно.— Ты пьян. Или вознесем?

— Вознесем! Я тебя люблю, Антон. Действительно, на черта нам Ворохов? У меня был бы такой же сын сейчас, он прожил ровно девятнадцать лет, до сорок четвертого. Его звали Андреем. Понимаешь?

— Понимаю, это я понимаю,— сказал Савичев, бережно придвигая рюмку, стараясь не пролить из нее ни капли.

Они выпили, и на глазах у Лагутинова показались слезы, он отвернулся, сморгнув их, и, вспомнив о коробке с печеньем, пошел, твердо ступая, к окну; на лице у него дрожали серые тени.

Рассматривая висевшие на стенах холсты, Савичев двинулся вдоль стен, стараясь держаться прямо, но из этого ничего не получилось, цвета мешались, и люди с картин, казалось, начинали корчить ему мерзкие рожи, и картины чуть-чуть раскачивались, тихонько царапая стену. Савичев вернулся и сел на свое место; в дверь тихонько постучали, они поглядели друг на друга; Лагутинов торопливо разлил в рюмки остаток коньяку и, приложив палец к губам, сказал шепотом:

— Тс-с... У меня сын от другой женщины был, Полине об этом напоминать — ни-ни! Плачет.— Он требовательно и прямо поглядел в глаза Савичеву.— Вознесем по последней.

И они вознесли еще раз и еще, и вдруг оказалось, что уже первый час ночи и Савичев совершенно пьян, хотя и держался на ногах, но шел не туда, вместо двери пытался пройти рядом в стену; Инна, поддерживая его за плечи, беспомощно оглядывалась на Лагутиновых.

— Обстановка осложняется,— решительно сказала Полина Гавриловна с непреклонностью в лице, твердо отводя Савичева от двери и усаживая его на широкий, объемистый диван.— Или я вызову машину, или вы ночуете у нас. Добираться сейчас в вашу дыру... Инна Викентьевна, раздевайтесь, я пока звонить попытаюсь.

— Зачем звонить? — внезапно поднял большую голову

Лагутинов.— Проводи их в гостевую, две кровати, белье готовое.

— Предлагала, Антон Васильевич домой рвется.

— Домой, домой,— пробормотал Савичев, пытаясь подняться с дивана.— Инка, домой... немедленно домой...

— Успокойся, Антон, дай собраться,— сказала Инна, помогая ему встать и проводя в соседнюю комнату.— Вот здесь и разденемся,— услышала Полина Гавриловна ее голос.— Пришли домой, садись, я тебе помогу.

— Где баба Поля? Баба Поля!

— Тише,— сказала Инна.— Что ты, спит баба Поля, не мешай. Перестань буянить, ты же культурный человек.

Полина Гавриловна осторожно прикрыла добротную дверь и начала распускать косу, выбирая шпильки из тяжелых с золотом волос.

— А ты, Коля? — спросила она мужа.— Пойдем спать.

Она подошла, присела на ручку кресла и, прижав голову Лагутинова к себе, вороша его волосы, со вздохом сказала:

— Бедный, бедный, опять набрался... Ладно, пойдем, я уже постелила.

25

Время шло к концу февраля, и ясно чувствовалось приближение весны, небо становилось светлее и дальше, в его оттенках появилась размытость, веселая облегченность, и снега освещались иначе, в них теперь преобладали голубоватые яркие тона, в заснеженных глубоких оврагах в солнце стояли густые туманы.

Савичев окончательно одичал, как говорила Инна, свободное время проводил за городом, возвращаясь домой затемно; он намеренно изнурял себя, делая по пятнадцать километров в день; в ответ на слова Инны о том, что Лагутинов несколько раз приглашал заходить, Савичев хмурился, отмалчивался. Много писал или лежал, полностью погруженный в себя, в свое, он опять почти не замечал Инны, а если иногда ей удавалось захватить его внимание, глядел на нее с доброй, понимающей улыбкой, как на ребенка, и она сердилась:

— Зачем так себя изнурять? Куда ты себя гонишь, на тот свет? Простоять день на лесах, как у тебя к вечеру в глазах не рябит от кирпичей?

— Рябит, Инка, рябит. Не в этом дело.

— А в чем? Скажи, в чем? Сжал себя за горло, хрипишь, а держишь.

— Только так и можно проверить себя.

— Дурачок мой, дурачок! Сам от себя не уйдешь. Ты попробуй отпусти себя, зачем себя держать на цепи? — Она села к нему на край дивана и тихо, как ребенка, погладила.— Попробуй, пока себя не раскуешь, ничего не получится, ты от этого больше устаешь, чем от своих кирпичей.

— Когда ты стала такой всевидящей? —спросил он серьезно, без той насмешливо-сосредоточенной интонации в голосе, звучащей всякий раз, если он чего-либо не принимал.

— Тянусь, стараюсь соответствовать, Антон,— засмеялась она.— На силу своих мускулов мне рассчитывать не приходится.

Он не ответил, рывком сел рядом; она с уважением пощупала его плечо.

— Ого! Ты за последнее время прямо стал как каменный.

— Плохо?

— Наоборот,— сказала она,— мне нравится, по крайней мере знаешь, что рядом мужчина, весь из костей и мускулов, не какой-нибудь расслабленный моллюск.

— Кого ты имеешь в виду? — он скосил глаза, прищурился.

— Никого, сравнение чисто умозрительное.

Савичев встал, подошел к окну, взглянул в него; в квадрате света, падавшем из окна, снег казался зеленовато-рыхлым, интересно было передать его зернистость, материальность.

— Где баба Поля?

— Спит, наверное. Она тебе нужна? Представляешь, такая интересная старуха. Я заметила за ней любопытную черточку. Представляешь, она любит пробовать мои покупки. Сыр, мясо, печенье. Оторвет кусочек и съест. А вдруг мы едим что-то особенное? И даже не украдкой, просто отрежет кусочек и в рот, пожует и...-Да ты не слушаешь! Антон, знаешь, у нас в галерее собираются кое-что выставлять из местных... И Лагутинова, конечно. Кстати, не мешало бы пойти посмотреть его работы в мастерскую, давно приглашает, неудобно как-то... Такие славные люди, он тебе даже ключ от мастерской предлагал.

— Ну, знаешь, Инка, с твоим упорством можно прогрызть метровый камень. Не думай, тебе не станет лучше.

— Пусти, пожалуйста, ну вот, теперь будут синячищи, ты как медведь. Не знаю, как мне, а тебе, Антон, станет лучше. Я знаю, станет, неужели всякий раз повторять?

— Для того и приставлена ко мне, и теперь, кажется, до конца жизни.

— Главное ты осознал, остальное неважно.

— Инка! — взмолился он, освобождаясь от ее рук.— Никакого уважения к трагическому моменту. Ах, ты так? Ну подожди, подожди, я до тебя доберусь.

На другой день Савичев зашел к Лагутинову прямо с работы; Полина Гавриловна шумно обрадовалась ему, и он как-то сразу почувствовал, что и ее радость, и приветливая улыбка, мелькнувшая на лице самого Лагутинова (жена позвала его из мастерской),— все это искренне, от души, и он, сам чувствуя теплоту к ним, смущенно пожал руку.

— Я с работы. Не помешал? Не вовремя, наверное?

— Вы всегда вовремя, Антон Васильевич,— весело отозвалась Полина Гавриловна.— Раздевайтесь. Хотите есть? У меня сегодня борщ,— она махнула рукой в сторону кухни.— Слышите?

Савичев втянул в себя воздух.

— Мда,— Савичев снял куртку, осторожно повесил.— Спасибо, я сыт.

— Разумеется. С работы человек всегда возвращается с полным брюхом, как из ресторана,— Лагутинов подошел, смеясь.— Ну, а я думал, сердишься, перебрали мы тогда немного... Кажется, мы на «ты» пили?

— Пили. Я работы ваши посмотреть...

— Работы? — переспросил Лагутинов, улыбаясь, показывая готовность и в то же время усмехаясь про себя; пожалуй, этот нелюдимый парень — оригинал, совершенно уверен, что мир у него в неоплатном долгу. Скучно слушать мнение профана. Инна Викентьевна женщина колоритная, но при чем здесь ее муж?

Лагутинов, указывая на стол, сказал:

— Посмотрим, посмотрим. Я сегодня дома, пытаюсь одну штуку закончить. Давно потею, а главного поймать не могу. Что долго не заходил? — переменил он разговор.

— Так, дела были.

— Антон Васильевич, все-таки отведайте моего борща, очень уж вы хорошо едите,— позвала Полина Гавриловна.— Был бы сейчас телефон у вас, позвонили бы Инночке. Она тоже давно не заходила.

— Благодарю вас, я, правда, не хочу. Сыт. Что ж я у вас, на довольствие поставлен?

— Че-пу-ха, мужчина должен есть мясо. В ваших столовых мясом и не пахнет. Отправляйтесь мыть руки.

Полина Гавриловна принесла и поставила на стол две бутылки минеральной воды; Лагутинов двумя пальцами приподнял одну из них за горлышко.

— Великий пост,— сказал он жене, и она невозмутимо кивнула.—Знаешь, мама, когда мужчины пьют?

— Знаю. Когда женщины им не доверяют. На такую наживку меня уже не возьмешь, опыт есть.

Савичев, беря из рук хозяина холодный стакан с прозрачной, пузырчатой водой, думал о первом впечатлении, оно не обмануло, перед ним славные, добрые люди, и не надо бы ему смотреть картины Лагутинова. Не понравится, будет неловко; Савичев поймал себя на желании, чтобы картины Лагутинова оказались талантливыми, и почувствовал, как остро стосковался по этому волнению, по давно забытому миру красок и споров; всевидящая Полина Гавриловна мягко притронулась к его руке:

— Анто-он Васильевич! Где вы? Борщ остывает. Коля, что же ты? И ты хорош.

Лагутинов, думавший в это время, как оживить сюжет из истории Воропянска (получилось статично и холодно, дохло как-то), машинально покивал головой.

— Вкусен, вкусен борщок, мама. Живот мой — враг мой. Жили люди раньше, ничего не ведали, не портили желудка излишествами, ели сырое мясо, боялись огня и воды. Теперь не боятся ни бога, ни черта. Цивилизация! — фыркнул он.— Культ женщины и наслаждений! Здоровое начало отошло, над ним потешаются — примитивно. Род человеческий еще заплатит за это сполна. Ну, ладно, спасибо, мама. Борщ отменный. Идем, Антон, папиросы у тебя есть?

— Есть.

— Прости меня, Коля, еще что за новости. Курить на старости лет начал? Брось сейчас же...

— Ну ладно, мама, ладно. Женский сектор — частный сектор,— Лагутинов, смягчая свои слова, слегка обнял ее,

она отстранилась. Неумело прикурив, Лагутинов задержался взглядом на руке Савичева с огрубевшей от воды и цемента кожей и вспомнил, как познакомился с Инной; характер, подумал он, сразу выставила шипы. И Савичев все-таки необычный парень, есть в нем какие-то потаенные глубины, картины он ему покажет, пусть минутой раньше было желание под каким-нибудь предлогом отказаться, увести в сторону. У каждого есть свое уязвимое место. В прошлый раз он болтнул о выгодном заказе и до сих пор не может забыть нехорошей усмешки Савичева, в каких только баталиях не закален, а больно резануло. С виду тюфяк тюфяком, ни слова не сказал, а задело.

По своему обычаю Лагутинов стал показывать вначале рисунки, самые незначительные, этюды, несколько пейзажей маслом с тайной надеждой, что Савичев окажется просто любопытствующим скептиком, захотелось ему еще раз утвердиться в своей позиции, вот он и решил осчастливить вниманием. Лагутинов хорошо понимал необоснованность подобных претензий к Савичеву, любой талант — редкость, а истинный — особенно. Да дело и не в Савичеве, в нем самом, у него давно шел старый больной спор с самим собой. Для большинства почитателей и знакомых он был признанным метром, счастливчиком, родившимся в рубашке, для всех, но не для себя. Они не видели его в отчаянии перед непокорным полотном, тогда он неделями жил на одной воде, или когда, десятки раз перемарав полотно, но так ничего и не добившись, он швырял кисть и уходил пить. Само собой, об этом никто не знает, но он-то знает! Трещина в душе появилась давно, он не слагал с себя вины лично, но он был только человек, как все; он жил в мире, где все определяла политика, о каких художественных высотах можно было говорить? Нет, он не протестовал, не обличал, он лишь оправдывался сложностями и необходимостями времени, и чем дальше, тем больше верил в эту необходимость. Он был всего лишь бойцом в строю и пытался вытравить ненужные сомнения. Каждому свое. Сколько их прошло, этих Савичевых, на его памяти и сколько еще будет, жаждущих, уверенных в себе, в своем неповторимом «я» и через год, два навсегда умолкавших; им на смену непрерывно шли новые. Несмотря на весомое, неколебимое положение в интеллектуальной жизни Воронежска, Лагутинов, в сущности одинокий, стоял как-то на отшибе. Некоторые из собратьев вообще не признавали его,

другие ненавидели именно за первенствующее положение; подавляющее большинство в глаза хвалило, заискивало перед ним, а отойдя в сторону, сочиняло о нем разные небылицы, обзывало ремесленником и конъюнктурщиком, возмещая себя за минуты унижения и лести. Лагутинов, будучи умным человеком, понимавшим в людях толк и знавшим цену тем и другим, поддерживал дружеские отношения с людьми другого круга — с работниками обкома, с инженерами, врачами. Савичев вызывал интерес; Лагутинов любил накалывать людей в свою коллекцию, а вдруг Савичев действительно окажется с искрой божьей? Если на него в свое время обратил внимание прославленный Савостин, стоило присмотреться, проверить. А то, что ни разу не выставлялся, так ведь загадок в жизни много.

Постепенно забывшись, извлекая на свет божий одну картину за другой, Лагутинов перестал следить за Савичевым. Несомненно, Савичев понимал, в нем присутствовало врожденное чувство правды; и, кажется, отличный вкус, болезненно обостренный. Лагутинов отметил это по каким-то самым незначительным деталям и выставил другие полотна. Самому ему они нравились, Савичев остался равнодушен, курил и стряхивал пепел себе под ноги, на пол. Прошло больше часа, как они вошли в мастерскую. Савичев не проронил ни слова. Сидел и смотрел, зажигая одну папиросу от другой, и Лагутинов поймал себя на глухом желании понравиться Савичеву своими картинами. Проверяя себя, Лагутинов стал показывать полотна в обратном порядке: сначала самые последние, а затем все более ранние, пока не дошел до картины «Люди на рассвете». И тогда Савичев впервые стронулся с места, забыв, кажется, о присутствии другого, стал тереть ладони.

— Хорошо! Просто замечательно хорошо! — быстро сказал он.— Давно ли вы написали?

Он стал ходить, приноравливаясь к освещению и глядя с разных точек, затем внезапно шагнул к картине, осторожно перевернул ее изображением к стене.

— Хорошо,— опять повторил он тихо, самому себе.— Хорошо... Хорошо, Николай Акимович. У тебя здесь все в выражении лица беременной да в солнечных бликах на жеребенке. Нутро есть.

Лагутинов, с некоторым удивлением наблюдая за ним, заметил, что руки у него медленные и подолгу бывают неподвижными, а кисти широкие, рыжеватые.

— Ах, черт! — воскликнул Савичев, глядя на Лагутинова недоверчиво и даже вызывающе (сейчас у него был взгляд, так неприятно поразивший Полину Гавриловну в первый раз), и Лагутинов, сразу простивший ему все равнодушие раньше, чтобы рассеять неловкую паузу, попросил закурить.

— Кури,— сказал Савичев.— Счастливый ты человек, знал хорошие минуты. От твоей картины сразу потеплело. Николай Акимович, подожди минуту, не двигайся,— он что-то быстро набрасывал в блокноте.— Ерунда, конечно, если потом...

— Конечно, Антон, давай,— отозвался Лагутинов, рукой нащупывая табурет.— В самом деле... да ты по-настоящему, чего там карандашом чирикать... Холст перед тобой, загрунтован. Краски, правда, так себе, все обещают достать, провинция-матушка.

— Экзамен? — весело спросил Савичев, и Лагутинов от его уверенности, прозвучавшей в голосе, окончательно утвердился в своей мысли, лишь старался как-нибудь не спугнуть раньше времени и отвлечься.

— Брось, какая разница... давай, давай,— он подтолкнул Савичева легонько к мольберту, но тот, казалось, его уже не замечал. Лагутинов отчетливо видел плотно сжатые губы, серые засветившиеся глаза. Между двумя в общем-то малознакомыми людьми начинался своеобразный поединок, один бросил вызов другому, будто бы в шутку, и тот принял его, тоже в шутку, и закрепившиеся между ними раньше отношения сместились; потом Лагутинов долго не мог забыть своего состояния и напряженности момента, для него все происходившее до сих пор было игрой, но игрой несколько необычной, и он вдобавок ко всему устал и почувствовал себя неловко от долгого сидения.

— Уже немного осталось, Николай Акимович,— сказал Савичев, делая быстрые жадные затяжки.— Устали? Ну, потерпите. Пожалуй, для вас все это неожиданность... Теперь уже скоро.

Взгляд у Савичева стал еще жестче и суше, губы напряглись; он поправил подрамник и снова взялся за кисть, уже почти не глядя на Лагутинова, и только изредка бросал на него быстрый скользящий взгляд; Лагутинову не терпелось заглянуть, что получается, но он не решался, и его нетерпение усиливалось; двигаясь вначале скованно, неуверенно, Савичев на глазах стал как-то тоньше и выше

(Лагутинов уловил этот момент), движения приобрели осмысленность, четкость, уверенность, какое-то неторопливое изящество; он, по-видимому, совершенно забыл о времени, о Лагутинове и — в который раз уже! — принимался накладывать на холст частые мазки. У Лагутинова вертелось в голове нелепое слово «трансформировался», недурно иногда и развлечься, расслабить нервы, и совесть будет чиста — по крайней мере не положил камень в протянутую руку. Скорее всего дилетантская мазня, ничего не получится, и они оба с умным видом валяют дурака. «Надо после выпить,— решил Лагутинов,—а то для него слишком горько получится».

Он тяжело поднялся, прошел в угол к тумбочке, взял горсть галет и принялся их грызть; Савичев не обратил на это никакого внимания. «Трансформировался,— опять вспомнил Лагутинов и подумал: — Каждый пьет из своей чаши до дна-донышка, горько ли, сладко».

В то же самое время Савичев почти дословно мог пересказать, о чем думал Лагутинов, но это задело его лишь на один миг. Прежде чем положить на холст первый мазок, он испытал жесточайшую борьбу с самим собой, но, начав, уже не мог остановиться. Один момент перевернет его жизнь, и в прах разлетится все его прежнее «я», с которым ему было привычно и удобно; на какой-то миг он увидел перед собой сухое, грустное, в очках лицо Татьяны Дмитриевны. «Ну ладно,— сказал он себе,— я безвольный человек, и не выдержал зарока, и все меняю, ну и что? Моя жизнь, раньше я хотел так, а теперь поступаю иначе, только мне будет от этого хуже, я знаю. Но теперь я иду на это, иначе нельзя, настал такой момент, и, я знаю, Николай Акимович в душе потешается надо мною. Он прав, кто я и что я для него. Он даже нарочно серьезным не может быть, не выдерживает, так его распирает от смеха. Самодовольный жирный индюк,— сказал он с радостным ожесточением.— Вот я тебя и нарисую таким, посмотрим, как ты это скушаешь». Савичев с болезненной ясностью видел и себя со стороны и то, как он смешон сейчас; держись, приказал он себе, перед тобой сейчас всего лишь натурщик, ма-те-ри-ал, старайся взять от него все. Плевать, что для него это случайное развлечение, а для тебя, может, начало той жизни, ради выявления которой ты родился и проделал весь прежний путь. Сам захотел и теперь держись.

Он передохнул, освобождаясь от всего постороннего,

отодвигая от себя лишнее; он писал даже не Лагутинова, а нечто свое; ухватывая лишь внешнюю похожесть, да и то едва-едва, в самом намеке, он счищал все ненужное, лишнее, он неумолимо шел к самой сути, к сердцевине человека, все больше ожесточаясь против раздвоенности в себе самом и против Лагутинова. Погоди, ты сам из себя хочешь выпрыгнуть, вырваться, надвое разделиться, ухвачу, и никуда не денешься.

Он отошел от мольберта, бросил последний взгляд на портрет и вытер лоб рукавом, он был совсем без сил, и во рту стояла сухость и горечь, он оглянулся, отыскивая, куда бы сесть.

— Готово, есть нечто,— сказал он, стараясь улыбнуться и сжимая вздрагивающие пальцы. Он достал папиросы и закурил.

Лагутинов встал, широко шагнул к полотну, удерживая руки за спиной.

— Позволь, дорогой, но это же не я! — сказал он высоким, ненатурально-удивленным голосом.— Извини, пожалуйста, но что ты этим хотел сказать?

— Не все ли равно? — отозвался Савичев устало.— Так, кое-какие мысли.

Лагутинову вначале хотелось пожать плечами и перевести все в шутку; он топтался на месте, и у него сладко перевернулось что-то в груди, перевернулось — и стало больно. «Постой, постой»,— сказал он неопределенно, теребя подбородок. Показавшееся на первый взгляд невыразительной мазней, какими-то сгущавшимися к центру асимметричными пятнами, со второго, более пристального взгляда озадачивало и останавливало неожиданной глубиной и смелостью исполнения, почти какой-то патологической точностью характеристики. В темном монолите вначале угадывались одни глаза; они как бы проступали через толщу темного потрескавшегося камня, но стоило задержаться на этих почти нечеловечески спокойных, ко всему привычных глазах, и из камня проступало все лицо. Лагутинов, сдерживая шевельнувшееся беспокойство, повернулся к Савичеву. Тот курил подряд третью папиросу, не отрываясь от портрета.

— Останавливает,— сказал Лагутинов, потому что в этот момент никакое подходящее слово не подвернулось; он дружелюбно похвалил: — Недурно, недурно... Техники, конечно, не хватает, мрачновато, пожалуй, слишком. Мрач-

новато и по цвету и по трактовке. Здесь даже румянец различается, такой старческий, сизый. Послушай, Антон, да ты определенно колорист!

— Не знаю,— отозвался Савичев и развел руками.— Но даже если это так, что дальше?

— Только уже не раствор таскать,— отозвался Лагутинов, быстро прошел к знакомой Савичеву нише и достал бутылку с коньяком и рюмки. Вернувшись назад, он сел перед портретом, разлил коньяк и долго молчал. И светло ему было, и хорошо, и точила какая-то горечь, пожалуй, и он не хуже начинал, все в молодости талантливы, ищут, потом жизнь запряжет, и начнешь перебирать ногами, лишь бы не сбиться с шага, след в след.

— Николай Акимович...

— Погоди,— сказал Лагутинов.— Мы, кажется, раньше решили не пить, а вот теперь надо выпить. Надо! Надо! — повысил он голос, почувствовав безгласный протест Савичева.— Я редко ошибаюсь, Антон, не совру и сейчас. Тебе надо все бросить, и заняться э т и м,— он указал на портрет перед собою.— Я не верил твоей жене, а теперь вижу сам. Путь длинен, и когда придешь к своей вершине... Но ты придешь, можешь прийти,— поправился он и сунул в руку Савичеву рюмку.— Держи. Не послушаешь, окажешься в дураках, потеряешь год или два. И все равно вернешься.

— Мне уже говорили... Нет, Николай Акимович, простите, сейчас не могу.— Он поставил рюмку на подоконник, вытер лицо.

— Ну и черт с тобой, не пей, я тебя понимаю. И еще: приходи сюда в любое время и работай сколько хочешь. Вот ключ, здесь все необходимое в изобилии,— он порывисто встал, прошелся по комнате, не скрывая волнения.— Молодец! Нет, не оскудела Русь! Ну, Антон, теперь как хочешь, я с тебя не слезу, довольно тебе в своей раковине сидеть, насиделся.

— Спасибо, Николай Акимович, сейчас что можно решать, не будем торопиться.

— Знаешь, Антон,— сказал Лагутинов.— Признаюсь, не верил, ну, думаю, распекло его не вовремя. Не обижаешься? Я от души. И квартиру мы тебе обязательно достанем, завтра же этим займусь. Ты, может, мне не веришь, а мне стыдно. С другой стороны, кто же мог думать? Неожиданно очень. Грешен, Антон, грешен, люблю талантливых людей.

— Нравится, правда? — спросил Савичев, не скрывая недоверия, и предложил: — Возьми на память, доделать тут кое-что надо.

— Спасибо, дорогой. А не испортишь? Очень уж хорош,— он ткнулся ему жесткими губами куда-то в щеку и, отстранившись, сдвинул брови.— Ты не меня проник, мою жизнь... Пиши, Антон, как можно больше пиши. Над рисунком работай. Забудь обо всем и пиши. Ты фронтовик, есть что сказать. Говори. Путь художника — его пот, его нервы, и никто не знает, на первый или на двадцатый год ему повезет создать такое, без чего потом немыслима жизнь для многих. Пиши, Антон, поверь мне, из тебя будет толк. Ты, я знаю, осуждаешь меня: вот, мол, мы там глину месили, хлеба не вволю едим, а он тут коньяки дует. А ты, брат, попробуй понять, осудить легче всего.

— Пойду, Николай Акимович,— сказал Савичев, старательно глядя в сторону: суетливый Лагутинов был ему непривычен.

— Иди, передавай поклон супруге,— Лагутинов виновато-влюбленно глядел на Савичева, ему не хотелось отпускать Антона, и в то же время он ощущал острую потребность остаться одному; и, когда Савичев ушел, Лагутинов тотчас сел перед полотном, жадно всматриваясь, пытаясь понять, расчленить на элементы, отобрать, какими средствами достигнута такая глубина и проникновенность, болезненно-тревожное впечатление мудрой грусти, обращенного в себя взгляда человека, уже понявшего, что жизнь прошла, а он не сделал и половины того, что мог бы сделать и должен. Ни в какие привычные элементы портрет не укладывался.

«Невероятно,— растерянно думал Лагутинов.— Не поверю, разве можно поверить? Поразительно. Говорит, ни разу не выставлялся. Нет, нельзя поверить».

Полина Гавриловна застала мужа все в том же положении, он сидел сгорбившись и не слышал, как открылась дверь, как она подошла сзади; он сразу узнал ее руки, когда она привычно обняла его за плечи.

— Что это? — спросила она через минуту с некоторым удивлением и беспокойством.

— Савичев мой портрет сейчас набросал. А что, говорю, попробуй! Холст, говорю, есть, загрунтован. И видишь...

— Не может быть! — быстро сказала она, складывая

руки на груди и заблестев всеми своими кольцами. Лагутинов криво усмехнулся одними губами.

— Можно, мама, видишь, оказывается, можно. Видишь, какое производит впечатление даже на нас, искушенных? — Он раздраженно отбросил ее руки, вскочил и заходил по мастерской.

— А мы сидим как сидни и здесь останемся,— сказал он со сдержанным гневом,— ты не сомневайся! Были первыми в нашем граде и будем! Какие же мы подлые, подлые! Сразу о себе, кто это нам, здесь, помешать может! Не беспокойся, твое с тобой останется, будешь по-прежнему дружить с женами секретарей обкома, и я в областном почете! На заседаниях в президиуме. Как же Николая Акимовича можно обойти? Творческая мысль города, без нее никак нельзя. А он себе пишет и пишет...

Лагутинов остановился, нелепо всхохотнул и снова забегал. Полина Гавриловна с некоторым испугом глядела на него; пожалуй, впервые она видела мужа в таком состоянии.

— Ты понимаешь, что может вырасти из него через десять лет? — спросил он ее, сильно тыча рукой в сторону портрета.— Нет, в самом деле парадокс, ходит невзрачный, неприметный...

— Коля, подожди, не ошибаемся ли мы? Ново, необычно, но новое не всегда верное. Мне что-то не нравится,— сказала она уже с большей уверенностью.— В каких-то трещинах. Почему трещины? — она подняла плечи, оглянулась.— В них-то самое неприятное, точно старая кора.

Лагутинов изумленно поглядел на жену, процедил что-то сквозь зубы (ей показалось, что он обозвал ее дурой), пошел в угол, бессмысленно стал перебирать старые холсты, составленные там один к одному, бросил, опять подошел к портрету и, не замечая больше Полины Гавриловны, не желая замечать, плотно уселся на стуле, словно намереваясь здесь ночевать.

— «Старая кора»... Сама ты старая кора. Это же талантливо, самобытно, наконец, здесь мысль есть. Столько лет живешь со мной и ничему не научилась.

— Нет, Коля, ты не груби, ты мне объясни, если я не понимаю,— опять надвинулась на него Полина Гавриловна, и Лагутинов кивнул:

— Ладно, ладно, объясню. После. Сейчас поди куданибудь, пройдись, я один хочу побыть.

26

Снег поплыл в середине марта, на землю, на деревья и поля сразу обрушились теплые густые ветры; эта весна была для Инны самой счастливой в жизни; во-первых, им дали двухкомнатную квартиру, с одной большой, светлой и высокой комнатой, вполне годной под мастерскую. Они привезли холсты, которых в кладовочке бабы Поли собралось уже много, так что они терлись друг о друга и трескались от сухости и жары русской печи. Инна не верила своему счастью, она даже обила дверь новой комнаты Антона дерматином и, уходя, запирала ее на ключ, точно в их отсутствие кто-то мог войти и унести комнату из квартиры. Савичев тоже, возвращаясь со стройки, немедленно уходил к себе и до глубокой ночи не подавал признаков жизни, он точно наверстывал упущенное; только она и могла заставить его бросить работу, и еще ее начинала пугать какая-то одержимость Савичева в отношениях с ней лично; его тяжелая исступленность пугала ее — любые силы имеют предел, и так долго продолжаться не может. Наступит перелом, все представится в ином свете, и откроются совершенно иные стороны жизни; досадные мелочи, не замечаемые в бурные минуты, разрастутся до своих нормальных размеров, и кажущиеся достоинства превратятся в обыденность. Антон все сильнее и властнее входил в ее душу, забирал ее всю без остатка, скажи он «умри», она, не задумываясь, умрет. Пусть бессознательно, она пыталась бороться с этим, но ничего не получалось, вместо этого она обнаруживала в нем все новые и новые достоинства. Прорывавшаяся в нем моментами солдатская грубость казалась чем-то необходимым, обязательным. Она глядела на парящие от пригревавшего солнца крыши и думала, что не сможет его оставить, даже если он полюбит другую; она с головой ушла в хозяйственные хлопоты, занялась квартирой, и скоро у них стало уютно; мужчину должно тянуть домой, думала она, и ее обижало невнимание Савичева, он никогда ничего не замечал. И даже если бы она покрыла стены золотом, он вряд ли удивился бы и спросил.

Все тонуло в чувстве безграничной нежности, конечно, она еще не жила и не любила, и жизнь только начинается, а все до этого — чепуха, обман. Вот теперь только она родилась, и не нужно ей никого — ни отца, ни матери, да и были ли они? Она определенно поглупела от счастья. Ведь

не может быть всегда так хорошо и благополучно, это всего лишь затишье, неожиданная, недолгая передышка. Не упустить главного. В Москве сам ритм жизни напряженнее, не дает расслабиться, а здесь сонная одурь, все делается не спеша, постепенно, вразвалочку, никаких тебе неожиданностей, на все отведен свой час. Такая среда переваривает все постороннее исподволь, основательно, вот и мне уже ничего не надо: работа, квартира, наконец-то образумившийся муж. А если в этом и заключена жизнь? Надо растормошить Антона, вытащить его куда-нибудь в отпуск, за последний год он заметно сдал. Хорошо бы на пароходе, чтобы шлепали колеса, шумела вода за бортом.

— Нет, Инна, не сейчас,— возразил он, как только она заговорила об этом.— В конце мая на две недели возьму отпуск, пойду пешком. Хочется дойти пешком до родины отца, тут недалеко. Найду где-нибудь хорошее место и буду писать. Сегодня опять зеленый лес снился.

— Две недели мало,— сказала она, возвращаясь к старому их разговору, но, заметив его недовольство, засмеялась.— Ну, молчу, молчу. Хочешь, пойду с тобой, я тебе не помешаю. Помогать буду, таскать тяжести. Как рабсила.

— Что? — не понял Савичев.

— Говорю, рабочая сила. Лошадь или осел.

— Пожалуй, лучшего применения твоим возможностям не придумаешь. И все-таки я пойду один. Сколько времени?

— Как всегда, семь, ты просыпаешься, точно по будильнику. По тебе можно ставить часы. Ну полежи еще. Теперь можно выходить за полчаса, а мне так совсем рядом до работы, пять минут не спеша. Антон, не надо, не кури натощак, прошу тебя, ты же обещал.

— Не буду, не буду, старая привычка, сразу трудно.

— Я слышу одно и то же каждое утро. Антон, вчера заходил Николай Акимович.

— Что он? — потеплел Савичев.— У него было какое-нибудь дело?

— Любит он тебя,— задумчиво сказала Инна.— Ему, говорит, надо серьезно работать, может быть, все-таки вернуться в Суриковское. Это бы я, говорит, мог легко устроить. Ты бы зашел к нему.

— Зайду.

— Просил показать мастерскую. Я соврала, говорю, ключ Антон с собой забрал.

Савичев удивленно взглянул на нее.

— Что-то помешало мне,— опять сказала Инна.— Странный он какой-то, показался не в себе, цвет лица нездоровый, глаза припухли. Надо мне сходить к Полине Гавриловне, давно не видела.

— Всех тебе жалко. Лагутинов еще нас с тобой переварит: у него первоклассный желудок. А это главное в жизни. Работа, видно, не идет, вот и вся причина.

— Я давно знала, что ты законченный эгоист, только о себе и думаешь. Иди мойся, пора, Антон, если не хочешь опаздывать, рабсила.

Савичев неожиданно нагнал ее на кухне, она испуганно ойкнула, стала отбиваться.

— Будешь издеваться? Будешь? Запомни, мне нравится глядеть на людей, которые в самом деле строят и устают. И самому нравится на лесах, повыше, насквозь продувает. Тысячи кирпичей идут через руки, землю чувствуешь. Ты хоть однажды видела лица рабочих, когда заканчивают дом?

— Пусти, не буду больше, убедил,— просила Инна счастливо.— Еще одно слово, и я пойду к тебе подсобницей. Брошу свою галерею и пойду. Не будь жадным, Антон, поделим все поровну. Я хочу с тобой, Антон, на лесах и пешком...

Он не дал ей договорить, закрыл губы ладонью.

— Ты уже свое сделала, теперь можно для экзотики вспомнить и кирпичи.

— Антон...

— Хитрюга, не делай наивные глаза. Тебя уже раскусили.

— А ты меня воспитывай и наказывай за прегрешения. Договорились? Ужасно люблю, когда меня воспитывают.

Засмеявшись, Савичев кивнул, прикрывая дверь, у подъезда он задержался, закурил, оглядывая вытаявшие из снега и уже успевшие просохнуть песочницы, копавшихся в них детей. «Не сидится же им»,— подумал он и вдруг заметил, что старый тополь, чудом уцелевший от безжалостных рук строителей в глубине двора, весь покрыт зеленовато-радужным пухом. «Неужели за одну ночь?» — приятно удивился Савичев. Взглянув на часы, он заспешил: весна весной, но он, кажется, опаздывал. Нельзя уступать себе ни в чем, пусть в самом малом. И весна и судьба идут своим путем, по своим законам, он не мог и не хотел рвать

сразу с привычно установившимися связями и людьми, они связывали его с конкретными вещами и заботами, с реально пульсирующей, ощутимой жизнью. Он не мог так просто разрубить нить от того мира, в котором не раз отыскивал спасение, твердость, самую основу хлеба и света, и пусть все это в нем остается, оно, это чувство прочности, необходимо сейчас, когда он переполнен замыслами. Он боялся открывшихся перед ним глубин и цеплялся за малейшую возможность приостановиться, задержаться на время. И почти непрерывное желание Инны — то же самое, по крайней мере он так объяснял эту неожиданно вспыхнувшую страсть, защищая себя от излишней зависимости. И все-таки он не мог ей простить того разговора о ребенке.

27

Проводив мужа на работу, Инна прошла в рабочую комнату Антона; заглянуть сюда с утра, постоять перед начатым полотном стало для нее привычкой, необходимостью. Здесь она узнавала потаенные, невысказанные мысли Антона, в смятых, разбросанных по углам набросках находила следы молчаливой отчаянной борьбы и неудач. Да, на первом этапе она одержала победу, но это еще ничего не значило, это был всего лишь первый, начальный шаг. Пытаясь разобраться и привести все в какую-то систему, она терялась в догадках. Она не могла жить без системы, без объяснения, она улавливала нечто слишком облегченное в том, как складывались обстоятельства последнее время. Никто не мог подтвердить или опровергнуть ее мысли и сомнения, и последние недели она жила с растерянностью в душе, в каком-то нетерпеливом ожидании. Савичев попрежнему писал ее помногу, но ее портреты не удавались и не нравились ему, и он без конца все переделывал заново. Инна в свободное время послушно сидела перед ним и потихоньку читала. Его картины вызывали смутное чувство беспокойства и тревоги; суровые, высеченные из камня лица людей, и в то же время в них изнутри словно пробивалась скрытая теплота; порой, если она долго смотрела, ей начинало казаться, что люди на картинах переговариваются друг с другом и даже двигаются тихо. Особенно подолгу она стояла перед полотном, где были изображены старик и старуха со вздернутыми к солнцу

руками, с запрокинутыми лицами, и солнце огромное, торжественное. Что это, моление о жизни или ужас перед ее неистощимостью? Старики больше всего удавались Савичеву, он любил их писать. Он водил с ними знакомство, отыскивая и совсем уродливых и благообразных; Инна старалась поменьше с ними встречаться и норовила сразу же улизнуть. Однажды он привел слепого, с широкой бородой старика и попросил Инну накормить его обедом; старик ел, щупая пальцами по столу, и Савичев пододвигал ему то хлеб, то вилку, глядя на него почти влюбленными глазами. Входя в мастерскую, Инна переступала в иной мир, незнакомый и влекущий; как и в школьные годы, она погружалась в сказочный мир его фантазии с летающими рыбами и ведьмами, с диковинными деревьями и людьми; она просто вернулась в этот мир, она никуда не уходила; все, что было по ту сторону жизни, было не с ней, с кем-то другим, а ей лишь приснилось. Теперь он пишет ее, он знает ее всю, и это наполняет ее счастьем, она глядит на себя со стороны и каждый раз узнает о себе что-то новое. Дня два назад он закончил ее портрет и остался доволен, она почувствовала. Но она не могла уловить разницы, по ее мнению, портрет не отличался от других, написанных раньше, и она, проводив Антона, спешила в мастерскую; странно было видеть себя, отраженную через душу другого, пусть родного тебе человека. Она сидела непричесанная и неубранная на высоком табурете перед своими портретами в ряд и думала об Антоне. Она не сказала ему, что Лагутинов предложил ей вчера деньги, и она взяла немного, деньги были нужны, она кругом задолжала, пока обставляла квартиру. Да и глупо отказываться, ведь от души, положительно Лагутинов оказался для них добрым богом, если бы не он — представить себе невозможно, катастрофа. Как он вчера деликатно напомнил о деньгах, добрее и мягче человека она не встречала, и Полина Гавриловна ему под стать, красота не сделала ее эгоистичной. Значит, можно остаться самим собой и в присутствии таланта рядом. И успех не исключает успеха, успех сделал бы его светлее и открытее.

Бросив в мастерской все как есть, с мыслью вернуться пораньше и прибрать, она вышла, быстро привела себя в порядок, взглянула на часы. Конечно же, через год-другой они переедут в Москву, надолго задерживаться в таком городе, как Воропянск, опасно: стоячая вода, где ничего не

происходит. В Москве у них давно был бы свой круг знакомых, а здесь, кроме Лагутиновых, никого и не видно. Хорошо еще, что она следит за новинками и как-то ухитряется не отставать от столичного уровня жизни. Антон удивляется ее осведомленности по части всего нового и свежего, что появляется в литературе и живописи, один бог знает, чего ей это стоит. Нет, она станет ему необходимой, и никуда ему не деться. Все идет правильно, чушь, что женщина не должна работать, заниматься общественными делами. Здесь Полина Гавриловна ошибается — женщина прежде всего человек, вот ее самая важная общественная задача. Может, для женщины семья и важнее всего, но вот создать условия для такого человека, как Савичев, уметь убедить его — значит взять на себя ровно половину всего. И без этой половины ничего не будет. Есть же и другие, например жена Ворохова, действительно новый тип женщины, именно советской, как она сама себя называет. Кажется, чего бы еще надо, жена секретаря обкома, обеспечена, двое детей, а свое место отстаивает, добивается независимости в любом отношении. Ведет курс в институте, пишет в газеты, состоит в женсовете и неизменно посещает все концерты в филармонии, ее постоянное место второе слева от прохода в третьем ряду, и попробуй скажи ей, что это ненужно или смешно. И даже муж, сам грозный Ворохов, которого все настойчивее прочат на самое первое место в Воропанске, будет, разумеется, уважать такую жену, занятый с утра до вечера своими делами, он многого, конечно, не успевает, и она служит ему связью с тем обширным миром, что всегда как-то остается за пределами непосредственной работы; кроме того, Полина Гавриловна как-то мельком говорила, что на ней целиком лежит воспитание детей, и, слава богу, они уже выросли до четырнадцати и шестнадцати лет, старший выше отца, усы растут. Старший, Игорь, по словам матери, уже записки от девочек получает. А младший занимается боксом в юношеской секции, с ума сойти, насмешливо вздыхала Елена Александровна, когда жизнь прошла? Время необратимо, у каждого своя судьба, своя дорога. Несмотря на занятость, Елена Александровна оставалась женщиной до кончиков ногтей. Она со вкусом и ярко одевалась, может быть, чуточку более ярко для своего возраста, но ей шло. Увидя на ком-нибудь заинтересовавшее ее платье, она не могла удержаться, оценивающе оглядывалась.

Инна положила в сумочку высокий гребень, помаду, потерялся где-то носовой платок, хотя она хорошо помнила, что положила его на столик, наверное, Антон случайно захватил. Она выдвинула из угла чемодан, достала новый, заторопилась. Совсем забыла, Сергеев просил сегодня прийти пораньше, минут за десять до работы, должна приехать какая-то комиссия из Художественного фонда.

28

Лагутинов сидел в своем чистом длинном кабинете в правлении и торопливо просматривал материалы; в три часа нужно было идти на заседание Художественного совета города, председателем которого он был со дня основания; сейчас на совете нужно было обсудить план восстановления центра города вдоль берега Шароньи, где, как грибы, выросли после войны мелкие заводики и фабрики, а то и просто кустарные лавчонки, и Лагутинов знал, что бой с хозяйственниками и облисполкомом предстоит тяжелый, упорный, упущено время и стихийность в первые годы восстановления города сделала свое, а переломить надо, добиться застройки центральной части по генеральному плану — не всегда же правительство будет столь щедрым и будет отпускать неограниченные средства на восстановление. Хорошо, Воропянск попал в заповедное число старейших русских городов, и хоть дело это отнимает массу времени и сил, уступать нельзя; Сидоренко, главный архитектор, человек безвольный, ничего сам сдвинуть не может, малейший нажим сверху, тут же пасует и плывет по течению. Что ему, человек новый, ленинградец; город ему чужд так же, как жене Савичева, она видит в нем только грязь.

Нахмурившись, Лагутинов отодвинул бумаги, сел свободнее; что ж, его не интересуют абстрактные категории добра и зла, вечности и смысла жизни, может, он и действительно ограниченный человек, и ему болезненно дорог этот город, хотя он никогда не кричал и не будет кричать об этом; он ведь отлично знает, какие разговоры ведут за его спиной братья-художники, да и в разговорах с ним некоторые прямо говорят, что ввязался он не в свое дело. А как определить, где граница? Да и что такое чистое творчество? Чепуха на постном масле! Ему совесть не позволяет оставаться в стороне, значит, присутствует необходи-

мость, и подавить в себе гражданина было бы слабостью и малодушием. Он никогда не зависел от чужого мнения, шел своим путем, и в нем, возможно, умер прирожденный руководитель. И хватит об этом думать. Сейчас надо сосредоточиться, после заседания, хочешь не хочешь, придется идти в обком на прием к п е р в о м у, а до этого толковать с Вороховым, подготовить этот поход. Так и бывает в жизни: до какого-то момента все идет прекрасно, катится по рельсам без труда и усилия, потом неожиданный толчок, и перевернулось, и то, что раньше казалось прочным, расползается, разваливается по кускам. Для тебя таким преткновением оказался нежданно-негаданно Савичев, сразу выбило из нормальной, накатанной колеи, из привычного состояния. И ты отлично знаешь, ничего серьезного не произошло, а вот задет, неспокоен самое главное, ты в себе пошатнулся, и сейчас победа над хозяйственниками тебе нужна для укрепления духа, для устойчивости; самое главное — не дать самому себе утратить веру в ценность свою и значимость, а все остальное ерунда, и необходимо выиграть эту борьбу, пойти на риск, пусть даже поссориться с кем-то в обкоме. В самом деле безобразие, город застраивается отвратительно, сплошь и рядом отхождения от плана, даже центр изуродовали, надо же додуматься поставить на самой площади больницу, еще бы тюрьму туда перенесли из Заречья, был бы полный ансамбль. Он сегодня выскажет им все, что думает...

Телефон треньннул и залился долгой россыпью, и Лагутинов глядел на него, раздумывая, отзываться ли. Он взял прохладную трубку и сразу узнал голос Ворохова — густой, настойчивый.

— Ты, Никола? Будь здоров, нужно с тобой посоветоваться. Ясное дело, относительно сегодняшнего вашего митинга — ты что, человек сто думаешь собрать?

— Уже собрал, по всей видимости больше будет, вопрос важный, сам знаешь, многих тревожит.

— Слушай, Никола, мне сейчас позвонили, Сидоренко не сможет быть, болен. Не думаешь ли ты, что целесообразнее отложить?

— Никак нельзя, люди все равно сойдутся. Если Сидоренко не будет, так что с него толку. Все равно не станет выступать.

Некоторое время Ворохов молчал, покашливая в трубку, затем сказал:

— Договорились. Приедем с Андреем Леонтьевичем, смотри не впадай особенно в критиканство.

— Постараюсь, спасибо за совет.

Положив трубку, Лагутинов стал собирать бумаги, собственно, все в голове давно сложилось в стройную систему, вряд ли он забудет, а некоторая отчужденность, прозвучавшая в голосе Ворохова, понятна: не очень доволен, ведь это как раз его епархия — все эти заводы и фабрики, и Ворохов умеет не замечать, когда хочет; имеющий уши да услышит. Он, Лагутинов, не экономист, не хозяйственник, всех трудностей и сложностей он, конечно, не может знать, но, с другой стороны, как раз удаленность и помогает видеть, и никакого личного интереса здесь не примешивается, он скажет сегодня все.

Он сидел лицом к двери, и, когда вошел Савичев, сразу увидел его, и невольно нахмурился, но тут же постарался придать лицу приветливое выражение, выходя из-за стола навстречу.

— Рад тебя видеть, Антон,— сказал он, протягивая руку.— Садись, хотя должен предупредить, сейчас убегаю. Все заседаем, брат, ты вот от этого свободен, и хорошо.

Наблюдая, как Лагутинов собирает бумаги в большой желтый портфель, Савичев поправил засученные рукава рубашки; в окнах стояло солнце, и от стекол шел сухой блеск, на улице было жарко, а в кабинете от каменных стен тянуло прохладой, единственная картина — пригорок, поросший редкими березками,— усиливала ощущение свежести, березы в сильном солнечном ветре — это была картина отличного воропянского пейзажиста Степана Шмелева, погибшего в войну.

— Свободное время выдалось,— сказал Савичев, отмечая, что Николай Акимович не очень любезен,— ты на меня не обращай внимания. Инна мне передавала, что-то там назавтра готовится?

— А-а, коллективный выезд на натуру, автобус заказали. Сбор здесь в десять, ты обязательно приходи, с ребятами ближе сойдешься. У нас есть хорошие ребята,— Лагутинов взял портфель, остановился перед Савичевым.— Если у тебя есть что, давай, а то лучше при следующей встрече, бегу.

— У меня ничего, я так зашел,— улыбнулся Савичев и встал, вышел первым из кабинета не торопясь. Лагутинов кивнул и быстро зашагал, обгоняя идущих по тротуару

людей; до начала заседания оставалось тридцать минут, ему нужно побыть одному, собраться; в конце концов он слишком прост в обращении с такими, как Савичев, пора дать почувствовать некоторую дистанцию, пусть он сто раз талантлив, а время от времени ставить на место каждого необходимо.

Идти было недолго, два квартала, и скоро, забыв о Савичеве, он был уже в малом конференц-зале обкома, то и дело здороваясь и перебрасываясь короткими фразами со знакомыми. Людей пришло больше, чем ожидалось, конференц-зал имел отдельный вход, и проходили все, кто хотел. Интерес к делу есть, отметил Лагутинов, здороваясь с заместителем председателя облисполкома, пожилой высокой женщиной с простым умным лицом: Лагутинов уважал ее за деловитость и четкость и тут же, в мимолетном разговоре, попытался выяснить ее позицию; она подняла на него светлые глаза, переложила из руки в руку папку с бумагами. Лагутинов придержал ее за локоть, вкладывая в осторожное пожатие и нечто мужское.

— И все-таки, Мария Васильевна? — пытался настоять он.— Возьмете нас под свое крыло? Забота о городе — святая наша обязанность, больно видеть его таким гадким утенышем. Вы должны поддержать нас. С материалами, конечно, вы ознакомились.

— Специальное заседание горсовета состоялось,— сказала она, с мягкой настойчивостью освобождаясь от его руки.— Вы такой пожар успели раздуть.

— А как же? Пускаюсь во все тяжкие, не получится, сниму шапку, поклонюсь. На душе чисто, сделал все возможное.

— Начинать пора, кажется, все собрались и из обкома товарищи подошли.

— Пожалуй, пора,— сказал Лагутинов, в то же время останавливая высокого и тощего мужчину, начальника областного управления культуры Борзунина, и здороваясь с ним с той непринужденностью, что указывала на их добрые и давние отношения; они молча, накоротке пожали друг другу руки, и лишь Борзунин быстро и деловито сказал:

— Давай, давай, я сам хочу по этому поводу в печати выступить. Дело интересное, нужное.

Из боковой высокой, узкой двери вышли несколько человек и прошли к первому, оставленному специально ряду;

Лагутинов увидел знакомую невысокую, плотную фигуру с низко посаженной крупной белой головой на квадратных плечах; прежде чем сесть, тот хозяйски оглядел зал, раза два кому-то кивнул. Это и был п е р в ы й, рядом с ним, сохраняя на лице значительное и умное выражение, держался Ворохов, чуть подальше — заведующие отделами, инструкторы — Лагутинов всех знал, он издали наклонил голову, адресуясь прежде всего к п е р в о м у, но приветствуя этим всех сразу, и прошел к сцене; было решено заседание провести в рабочем порядке, без президиума, и он оказался в непривычном одиночестве, рядом с двумя пожилыми женщинами-стенографистками, державшими наготове остро отточенные карандаши, с лицами сосредоточенными и отчужденными, показывающими всю важность предстоящего дела. Он шагнул к высокой трибуне, обитой красным; негромкий шумок в зале совсем утих.

— Товарищи,— сказал он,— мы собрались здесь для важного разговора, он касается будущего города, который все мы, его патриоты и радетели, горячо любим, нашего родного Воропянска. Все собравшиеся более или менее в курсе дела, и, по-моему, нет надобности в подробном докладе, хотя придется огласить здесь некоторые, наиболее важные факты, назвать цифры, что я в дальнейшем и сделаю. Здесь присутствует, как говорится, творческий цвет нашего города: архитекторы и скульпторы, журналисты и писатели, директора предприятий и учителя, работники горсовета и облисполкома, наши прославленные ветераны герои войны, наконец, наше партийное руководство во главе с первым секретарем Героем Труда товарищем Петровым Андреем Леонтьевичем, что лишний раз указывает на важность данного мероприятия.

Лагутинов, не глядя на п е р в о г о прямо, улавливал малейшие изменения в его большом посатом лице, видел и спокойное, немного насмешливое, как всегда, лицо Ворохова. Лагутинов вспоминал разговор с Вороховым по телефону, предупреждение не критиканствовать и сразу понял, что до самого последнего момента колебался, но решение, наконец, пришло; он испугался своей смелости и поспешил успокоить себя: если не получится, он бросит заседания и совещания и уйдет в живопись, ему есть куда уйти. В то же время он иногда видел краем глаза в боковой ложе Борзунина, и это почему-то мешало ему и сбивало с мысли, и Лагутинов недовольно косился в его сторону. Какого черта

он туда забрался, думал он раздраженно, тоже мне дипломат, из зала его никто не видит, а он всех. Вот ведь как следит за первым рядом, какое он там выступит, увидит у кого-нибудь не то выражение, тут же больным скажется. Ну, подожди, я тебе выложу потом. Он подумал и тут же забыл о Борзунине. Он почувствовал приятный острый холодок в спине, быстро перевернул несколько страниц, нашел необходимый абзац — в конце концов никто не упрекнет его, что он плохой коммунист, он не за себя старается, за город, значит, за десятки тысяч совершенно неизвестных ему людей, за детей, за их будущее. И вон какие лица перед ним, они даже не могут скрыть напряжения, он их всех заставил прийти и слушать, и это все-таки приятное чувство, смелость в той или иной мере всегда оправдывается. Подкрепляя себя таким образом, Лагутинов с достоинством тертого оратора выпил воды, откашлялся и, не торопясь, давая время залу затихнуть, начал издалека, со взгляда в будущее Воропянска. Скованные гранитом берега Шароньи, светлый компактный ансамбль Центрального района, просторные парки вокруг речной пристани, а над ними комплекс из новых и старых зданий обкома, двух гостиниц, драматического театра, главпочтамта и реставрированного Воропянского кремля, с его соборами и золотыми маковками церквей под ярким солнцем, и тут же на самом берегу Воропы гранитная чаша и тридцатиметровый шестигранный шпиль-игла в честь павших в последней войне, чаша скорби и бессмертия.

Лагутинов умел создать себе настроение, хотя в общем-то старался поддерживать репутацию спокойного, даже флегматичного человека, а здесь собственные слова захватили его, и он был легок, помолодел; произнося заранее заготовленные фразы, он все время помнил, что ему есть куда уйти; разгоревшись, он оттолкнул отпечатанную речь и неожиданно просто, с горечью спросил:

— А мы что сейчас делаем? Всякое живое существо имеет свои, и глубокие, корни, и тем более человек. Биологически, нравственно, социально он уходит во многие жившие до него поколения. Без прочных корней нет нормальной жизни, нормального развития, и это должно оставаться и в нашем градостроительстве. Каждый город имеет свое лицо, у нас должны вырасти города будущего, но разве мы должны стереть с их лиц память, самый дух того, что эти города русские, города земли, давшей миру

великих людей — Пушкина и Толстого, Чернышевского и Ленина, Александра Невского и Кутузова, художников, воинов и мыслителей, своей деятельностью позволивших нам, их далеким потомкам, создать новую жизнь и новую культуру. Я понимаю, сейчас трудное время, и, однако, уже сейчас мы должны глядеть в будущее. Наше советское градостроительство преследует принципиально иные цели, чем, скажем, в Америке, где оно подчинено другой идее — эксплуатации рабочих масс. У нас утвержден генеральный план восстановления и застройки Воропянска, давайте разберемся, почему в ряде случаев происходят отступления от него и чем это грозит, если так будет продолжаться дальше. Я не специалист и, естественно, решил не называть конкретные факты, известные здесь многим, хотя бы возникновение на правом берегу Воропы ряда промышленных предприятий, тогда как там должен быть широкий проспект и жилые дома. Моя задача — привлечь внимание собравшихся здесь вообще к нарушению генерального плана, и здесь не может оставаться спокойным ни один патриот своего города, а я отношу себя к их числу, здесь я родился, все, что имею в жизни, получил здесь, и все, что способен отдать, отдам родному городу.

Четвертью часа позже Лагутинов, собирая бумаги, видел, как первый слегка подался к Ворохову, что-то сказал, и Ворохов натянуто улыбнулся в ответ, наклонив голову; Ворохов пристально, с легкой усмешкой стал смотреть на Лагутинова, обдумывая слова первого, решил, что горячая речь художника не совсем по вкусу первому, хотя слова его можно принять и за обычную шутку.

— Поскромничал Николай Акимович, ведь твердо уверен, что и ему обелиск здесь будет высечен,— сказал первый, сильно щуря глаза, произнося слова раздельно и точно выговаривая каждый слог, и в то же время с той легкой усмешкой, которая должна была сказать, что он шутит.

Прежде чем сесть за стол, Лагутинов засунул свои бумаги, оказавшиеся в основном ненужными, в портфель и сказал:

— У нас есть список выступающих, прошу, товарищи, записываться, а сейчас слово генералу в отставке товарищу Моусову Григорию Артемьевичу, одному из почетных жителей Воропянска.

На сцену поднялся, прихрамывая, худой, в мундире и с двумя косыми рядами орденов, мужчина, тяжело отды-

хая на каждой ступеньке, и, помедлив, начал свою речь рассказом, как его танкисты освобождали Воропаянск, прерываясь долгими паузами, во время которых пристально глядел в зал плоскими, почти без зрачков глазами, зло сжав губы, ему было трудно говорить, и его втайне жалели. Лагутинов, взволнованный своим выступлением, вначале не слышал отставного генерала, думал, как воспримет его первый, но затем он успокоил себя, дело, собственно, сделано и теперь нечего жалеть или переживать, не за свой желудок старается, за общее дело, опять подумал он с обидой. Он вышел за кулисы и, закурив, стал слушать генерала оттуда, неосознанно продолжая следить за выражением лица первого. Вот тот одобрительно хохотнул и потер свой крепкий нос, вот сморщился и недовольно отвернулся, говоря что-то Ворохову. Генерал, с которого Лагутинов два года назад сделал неплохой портрет (он находился сейчас в зале воинской славы Дома офицеров), еще больше постарел, лоб навис, и подбородок подался вперед. Он высказал полное согласие с его, Лагутинова, речью, и, хотя вслед за генералом еще четыре или пять человек горячо поддержали необходимость строго придерживаться генерального плана застройки города, Лагутинов сам вдруг понял, что это не поможет и все будет идти своим путем, это чувство возникло и окрепло в нем во второй половине заседания, когда в перерыве, прогуливаясь в верхнем фойе, закрытом для обычной публики, он увидел перед собой первого, и тот, весело прищурившись и поздоровавшись с ним за руку, похвалил его речь и начинание, действительно нужное и важное дело, и его необходимо общими силами выволочь из трясины, он так и сказал: «выволочь», но при этом даже не пригласил зайти к себе, поговорить более основательно. И Лагутинов совершенно потерял интерес к совещанию, тем более что ближайшее окружение первого, в том числе и Ворохов, обходили его взглядами или смотрели как на нечто ненужное, постороннее, не внушающее интереса. Лагутинов знал значение таких отливов, он увидел мелькнувшего стороной Борзунина, хотел подойти к нему, но тот уже пропал; Лагутинов засмеялся и махнул рукой, он только не мог понять одного: зачем нужно было с важным и деловитым видом толочь воду в ступе, если заранее был известен исход. Не лучше просто взять и запретить? Ах, да, нужна галочка, всесильная галочка в проведении област-

ного мероприятия. Пожалуй, он действительно влез не в свое дело, и пора с этим кончить, развязаться — пусть останется богово богу. И все-таки в главном он был уверен — совещание было нужно, и то, что он, председатель Художественного совета, своевременно поднял наболевший вопрос, лишь укрепило его моральные позиции, авторитет в городе, какой бы исход ни последовал. Больше всего Лагутинов убедился в этом поздним вечером, когда совещание кончилось (из обкома уже никого не было) и люди упорно не расходились. Лагутинов намеренно спустился в зал, и его тотчас окружили, стали пожимать руку и поздравлять, и тогда он подумал, что ошибся, пожалуй, в своих выводах: пусть не сразу, не полностью, но кое-кто стронется, будут, вероятно, даже попытки исправить самые явные несуразицы, и это уже немалая победа в медленном скрипучем механизме бюрократического аппарата; да, в любом деле труден первый шаг, а там само собой дело свяжет десятки людей, и в их спорах и столкновениях все само собою продолжится, и о нем, о Лагутинове, тут же забудут. Он сделал свое, первый толчок был от него, и этого ему сейчас довольно.

29

Выехали в потрепанном автобусе рано, в семь ровно. Лагутинов был молчаливее обычного. Савичев видел его подпрыгивающий широкий затылок; художников ехало десять человек, некоторые без мольбертов, с женами; Савичев сидел молча и вслушивался в разговоры, его со всеми перезнакомили, но он держался особняком и стесненно. Кое-кто пытался с ним заговорить, он улыбался, отвечал односложно, и его оставили в покое; он досадовал на себя, зря согласился поехать, лучше бы провел выходной с Инной или побродил в одиночестве за городом. А скорее всего нужно было настоять, чтобы с ним поехала Инна, она как-то легко сходится с людьми, было бы не так одиноко. И Лагутинов сегодня не в духе, сидит молча, едва поздоровался и сразу опять ушел в себя.

Замелькали редкие березовые рощи, яркие от солнца и молодой зелени, пошли волнистые поля, с коршунами и жаворонками, порой мелькал свежеразмытый овраг с кирпичными или светло-желтыми глинистыми склонами; проехали небольшую деревеньку с приземистыми, облу-

пившимися избами; куры, ребятишки и собаки, старуха, сложив ладонь лодочкой и прикрыв ею глаза от солнца, долгим взглядом проводила автобус. Несмотря на грохот и дребезжание потрепанного автобуса, на громкий хохот, Савичева постепенно охватила полевая летняя тишина, он глядел в открытое окно и, жмурясь, жадно впитывал в себя солнечные краски самого начала лета, теплый, густой ветер, молодую свежую зелень, ветреную синеву далекого неба; пожалуй, сейчас он словно возвращался в забытое совершенно детство, далекое, но всегда живущее в нем тайно, подспудно, независимо, хотел он этого или нет. Последние годы он старался избавиться от любой неясности в себе, хотел жить просто, дышать, вбирать в себя солнце, как эти мирные поля. И сколько бы он ни метался, эти поля будут, и солнце будет, и так же будет колоться молодая зеленая травка. Все подчинено законам времени; сам он, и Лагутинов, и даже город Воропянск со всем его пестрым населением всего лишь незначительные пятна во времени, есть смерть, умирают люди, и люди большей частью обеспокоены только своими житейскими мелочами и, возможно, правильно делают. Каждый из них вносит в жизнь свою окраску, но есть еще и другие категории человеческих основ, они как стержни, как скелет этого потрясаемого страстями и противоречиями мира.

Автобус свернул на узкую проселочную дорогу, редко обозначенную вдали старыми дуплистыми ракитами; километров через пять въехали на высокий обрыв, уже по бездорожью, и тут автобус остановился, дальше шофер не поехал и, обращаясь к Лагутинову, недовольно, официальным тоном спросил:

— Когда за вами назад быть?

— От восьми до девяти, сюда же приезжай,— Лагутинов огляделся кругом, щуря глаза от яркой на солнце зелени.— Тогда и все бумаги подпишем.

Шофер, мужчина лет сорока пяти, привыкший ко всяким пассажирам, еще раз недовольно поглядел на Лагутинова, поворчал и полез в кабину; художники выгружали из автобуса корзины с продуктами, мольберты. Место было выбрано удачно: высокий пологий обрыв, светлая солнечная роща, внизу широко разлившаяся река, на другой стороне ее стояло несколько построек из почерневшего дуба, издали было видно, насколько они тяжелы и вечны, эти избы. Савичев видел двух ребятишек и толстую жен-

щину, дети носились по улице за собакой. Савичев шел вслед за остальными, держась чуть поодаль. Если надоест и захочется уйти, подумал он, километров двадцать пять придется отмахать.

Вышли в самую рощу, и минут через пятнадцать оказались на холмах; позади роща, впереди поля, река, перекат, а рядом широкий спокойный омут, поросший по берегам с одной стороны густым дубняком, с другой — молодым камышом, и частью в светло-широкой песчаной отмели; цепь невысоких холмов уходила влево. Воздух, начинавший разогреваться на солнце, был ощутимо чист, дуб пах пряно, остро и перебивал остальные запахи.

— Любуешься? — спросил громко Лагутинов, неожиданно появившись из-за спины.— Наше давнее место. От начальства подальше, а самое главное — какая красотища. Кладезь целебный для души. Чего ты дичишься, Антон? Поближе держись к ребятам, смелее. Ты ничего не взял? Правильно, отдохни. Я тоже поваляюсь, не буду рисовать, вчерашний день подкосил, потом расскажу. Но думаю, не без пользы, кое-что западет в местах обетованных.— Лагутинов весело и несколько возбужденно засмеялся.— Пошли к ребятам, они там, видишь, уже затеяли карусель, костер им нужен оказался в такую жару. Наверное, есть захотели, женщины с собой сковородки брали. Ты перекусить захватил?

Савичев поднял в руке сверток:

— Бутерброды есть, еще что-то.

— Бутерброды — хорошо, мне мама тоже в руки корзинку сунула. Пойдем организуем коллективный обед.

— Рано, Николай Акимович, до вечера оголодать успеешь.

— Пойдем, пойдем, хватит, у нас народ запасливый, о воропянцах издавна пословица: с виду голытьба, а золота сума. Тут теперь натащили, на двое суток хватит. Вон, видишь, с краю, мольберт держит? Талантливый парень, а зол как черт. Иван Терсин, на фронте тоже был, в дивизионной газете работал. Трудяга, пóтом всего достигает, его заметь на всякий случай, в разговоры не лезет, а знает много, в Москву часто наведывается, в Ленинград, в Италию прорвался. У него и от пейзажей клиросом отдает, плоскостно, но одухотворенность есть, чистенько работает. У него есть чему поучиться. В середине — молодежь, после войны в основном о себе заявила. Это так, румяные бычки,

об ином искусстве, как поискусней затащить девку в постель, они пока не помышляют. Бог знает, что из них получится. Правда, шумят много, на запад посматривают, каждый в душе если не Гойя, то Ван-Гог или Сислей обязательно.

Савичев сбоку взглянул на Лагутинова, тот сделал невинный вид, пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, таковы люди». Савичев промолчал, открывалось еще одно лицо Лагутинова, а может быть, все это в порядке вещей, редко кто не любит при случае позлословить, и нечего видеть в этом порочность натуры: каждый радуется жизни на свой лад.

— А вот тот, с небольшой бородкой, невысокий,— продолжал Лагутинов, придерживая Савичева за локоть, чтобы не прийти раньше времени,— на мой взгляд, самый интересный. Петухов Геннадий. Характер — динамит. Вся организация требует меньше возни, чем он один. Пьет безобразно, в одиночку, а напьется, начинает подозревать жену, драка, соседи бегут в милицию. Не знаю, получится ли из него хороший колорист, несколько лет ищет господствующий цвет.

— Что?

— Интереснейший товарищ, по его убеждению, в гении выйдет тот, кто вернее угадает цвет времени. Время, мол, имеет свой цвет, и художник, верно ухвативший его, завоюет мир, потому что именно этот цвет отражает психологию миллионов.

— Чудаки тем и необходимы, что заставляют задуматься. Сколько ему лет? — спросил Савичев.

— Скоро пятьдесят. Ты как-нибудь поговори с ним, Антон, не пожалеешь.

Лагутинов и сам точно не знал, зачем ему понадобилось рассказывать Савичеву довольно интимные подробности из жизни других, известные ему и по сплетням, и по положению руководителя организации. Просто дружеский порыв, небольшая хитрость: Савичеву нужен был какой-то внешний манок, чтобы он сошелся с людьми, со своей средой ближе, и Лагутинов решил рассказать несколько подробностей, приоткрыть кое-какие слабости, хорошо понимая, что это действует безошибочно, люди становятся ближе и понятнее, и самое главное, с них ниспадает покров таинственности для непосвященного. От тяжелого настроения Лагутинова, невольно передававше-

гося в автобусе и другим, не осталось следа; он первым предложил купаться до завтрака, и лишь один Терсин остался к этому равнодушным и, забрав свое хозяйство, направился к самому дальнему холму, там, на расстоянии километров в семь, ему никто не мог помешать; Савичев проводил его взглядом и почувствовал себя легко и свободно; одна из женщин, налаживая завтрак, сунула ему ведро и послала к роднику за водой, загорелая полная рука мелькнула перед его глазами.

— Вы никогда здесь не были раньше? Видите дуб выше всех? Там, недалеко у обрыва.

Он в последний миг уловил легкую насмешку в молодых серых глазах, и ему захотелось остаться. Легко было внести неверный тон в дружную и, видимо, хорошо знавшую друг друга компанию, и он пошел отыскивать источник один и, вернувшись с ведром воды, поставил его у костра и, невольно опасаясь молодой женщины с серыми насмешливыми глазами, перешел к Лагутинову и Петухову, уже раздетым, готовым купаться. Молодежь, трое художников (их все звали по именам — Андрей, Семен и Эдик), пробуя свои силы, весело толкалась и шумела; Савичев, хорошо запоминавший лица, уже отлично знал всех и с профессиональным любопытством окинул их тела: все они были в удобных для купания, коротких трусиках, и, пожалуй, три-четыре года назад это были подростки, мальчишки, а сейчас тела их, еще не потеряв юношеской резкости, начинали приобретать законченность, мужскую свободу, хотя явно кое-где не хватало мяса. Эдик, узкогрудый, с ногами, покрытыми золотистым детским пушком, казался тщедушнее двух других, но зато он был, по-видимому, умнее, смелее других, шутил с женщинами и все время был центром своего небольшого кружка. После купания собрались вместе. Петухов завел разговор о времени и о господствующем цвете. Савичев заметил на лице Эдика почти неуловимое выражение иронии, вообще лицо у него было тонкое, нервное, глаза — живые, черные, почти не различались зрачки.

— А вы, Савичев,— неожиданно спросил Эдик, посматривая в сторону Петухова,— у вас какой цвет считается главным для перехода из посредственности в лагерь бессмертия?

Все замолчали, ожидая ответа. Савичев помедлил, отпил пива.

— Я его еще не нашел,— сказал он, ставя бутылку прямо.

— О, в таком случае вы его обязательно найдете,— подхватил Эдик с явной насмешкой.— Я, например, считаю, что если есть такой цвет, так это цвет взрыва атомной бомбы. Для нашего времени, разумеется.

— Ты, конечно, был с ним знаком еще в лоне матери,— сказал Семен, щекоча веточкой плечи своей жены, полной рыжеватой блондинки.

— Цвет кипящего золота,— тотчас парировал Эдик, ни за что не желавший уступить первенства в разговоре.

— Чушь,— наконец вмешался Петухов.— Ты видел кипящее золото?

— Я могу это себе представить.

— Цвет своего времени нужно рассчитывать с математической точностью, до полного исчезновения оттенков. Это должен быть чистый цвет.

— Цвет нашего времени, безусловно, красный,— лениво заявил Семен, пытаясь остановить Петухова и протягивая ему бутылку с пивом.

— Позвольте,— сказал тот, отстраняясь.— Я с вами не согласен, Семен. Он где-то близок к красному, но совсем не красный, в этом я твердо убежден. Элементы красного цвета...

— А еще вы в чем убеждены, Геннадий Осипович?

— Что иногда молодым людям не мешало бы в дополнение ко всем остальным достоинствам иметь хотя бы один золотник скромности,— Петухов потрогал бородку и тут же продолжил: — Далеко не каждому дано открыть цвет своего времени, иначе куда бы мы девали гениев, но я первый открыл этот закон. Мы можем проследить его по творчеству Рафаэля, Веласкеса, Гойи, Гогена. А Тициан, а Рембрандт? Все они интуитивно отыскивали...

— Мы всегда учились у вас скромности, Геннадий Осипович,— тихо, с удивительной робостью заметил Эдик, преданно глядя на него своими черными, будто без зрачков, глазами.

— Букве «г», я считаю, повезло. А цвет взрыва атомной бомбы должен быть все-таки черный с золотым,— лениво подытожил Семен.

— Может быть, может быть,— тут же подхватил Петухов, трогая бородку.— Цвет, так же как музыка или слово,— средство эмоционального и социального общения

между людьми и целыми народами. На стороне цвета великое преимущество — конкретность воздействия. И может быть, цвет атомного взрыва, цвет сгоревших душ...

— Передайте мне, пожалуйста, Геннадий Осипович, вот тот кусочек ветчины, нет, нет, с розовой жилкой посередине, благодарю вас. Итак, мы остановились...

— Да, конкретность воздействия!

— Геннадий Осипович,— опять вмешался Эдик,— то, о чем вы говорите, безусловно, важно. Со временем вы обоснуете свою теорию цвета и прославите эту поляну, а вместе с ней и всех нас. Так, ребята? Так,— сам себе ответил Эдик.— Но у меня к вам есть вопрос несколько другого плана. Россия дала миру писателей, рядом с которыми трудно кого поставить во всей мировой литературе. Несмотря на весь наш патриотизм, этого не скажешь о художниках. В чем, по-вашему, причина? Сила национального духа как бы гипертрофирована в одном направлении...

— Погодите, погодите, Эдик,— остановил его Петухов,— я с вами категорически не согласен. Не буду спорить с вами о действительно великих русских живописцах, пусть это будет на вашей совести. Намеренно или по забывчивости вы исключили из общей гармонии музыку, музыку! Вы меня тоже простите, но я патриот.

— Я хотел лишь сказать, Геннадий Осипович, что мы должны создать принципиально новую живопись. Новый образ жизни — новые формы и содержание. Исторический излом духа целых народов все равно заставит!

— Излом? — Петухов иронически подергал себя за бородку.— Содержание-то, молодой человек, век от века одно: человеческое.

— А выражение его все усложняется. Примитивизм в первые месяцы жизни еще ничего не означает. Проследите-ка всю эволюцию вот до этого исхода.— Эдик потопал о землю босыми ногами и, заметив, что все внимательно за ним наблюдают, добавил чуть тише: — Спросите любую женщину, Геннадий Осипович.

— Вы просто молоды, Эдик,— Петухов развел руками.— Просто русскому искусству, особенно живописи, никогда не хватало мировой гласности.

— Слушайте, граждане,— Савичев опять увидел перед собой смешливые серые глаза.— Все мы знаем, что вы умные люди и наполовину гении, но мозг тоже должен отдыхать. Давайте займемся первобытным делом — установим

матриархат, поищем сообща грибов, наварим рыбы и сделаем здоровый, калорийный обед. Объединимся на два часа и забудем о распрях во имя общего пищеварительного процесса.

Она говорила всем, но Савичев знал, что она говорит ему; кто-то положил ему руку на сгиб локтя, и он увидел довольное, слегка раскрасневшееся от свежего воздуха и воды лицо Лагутинова.

— Это знакомая нашего Эдика,— сказал, смеясь, Лагутинов.— Говорят, они скоро поженятся. Галя, а что, вы внесли дельное предложение, всей душой принимаю. Беру на себя рыбу, здесь в двух верстах живет мой знакомый, немедленно отправляюсь. Во имя пищеварительного процесса чего не сделаешь. Ну что, прочувствовали и зашагали? — он засмеялся и легко поднял свое тучное тело. Он взглянул на Савичева, как бы пытаясь убедиться, правильно ли его поняли, и, вероятно, решив, что правильно, опять улыбнулся ему, теперь уже отдельно, и как бы говоря этой улыбкой, что он просит прощения за необходимость предупредить, чтобы стала понятна излишняя эмоциональность Эдика. Савичев поднялся и побрел по лесу, насквозь продуваемому сухим ветром с полей, пестревшему весенними цветами, маками и крупными лесными колокольчиками, махровыми цветками медуницы; кто-то позади засмеялся, сказал, что в такую рань грибов никогда не бывает, но Савичев сделал вид, что не слышал, и пошел дальше. Он был взволнован охватившим его чувством близости с этой тихой неяркой рощей, берегами и тем, что среди этих людей он не почувствовал себя посторонним и лишним. Лагутинов — умница, какое у него точное чутье на людей и расчет, а этот Петухов со своим цветом времени? Он, конечно, капельку сумасшедший, и молодежь над ним явно издевается. Его счастье, что он не замечает этого.

Савичев остановился и медленно попятился: прямо на него шел буровато-красный широколобый бык с блестящими крупными глазами, сквозь припушенные верхние белые ресницы Савичев увидел их влажный ленивый блеск; бык, судя по коротким рогам, молодой, был в теле и настроен мирно, он время от времени обмахивался тонким, с длинной пушистой кисточкой хвостом, тянул голову к Савичеву, шумно принюхиваясь, и Савичев, мало имевший за свою жизнь дела с коровами и лошадьми, однако, не

испытывал никакого страха, пятился от дерева к дереву и только любовался лоснящейся шерстью молодого зверя, буграми мускулов на передних лопатках и прочно, точно посаженной на массивную шею головой. Савичев не заметил, как вернулся назад, где еще сидели вокруг костра, ели и спорили, бык вышел вслед за ним и остановился, озадаченный появлением людей и раздражительных, острых запахов, пахло чем-то непреодолимо влекуще. Так могла пахнуть только соль; бык пустил слюну, подхватил ее узким шершавым языком и требовательно взревел, делая шаг вперед к людям и пригибая голову. Кто-то из женщин взвизгнул, отбежал подальше назад; Эдик лениво пожал плечами.

— Этот первобытный красавец пришел требовать компенсацию за потраву своих владений. Семен, дай ему пива.

— Знаешь, у меня что-то нет настроения,— отозвался Семен, однако приготовился вскочить.— Я предлагаю тебе самому поднести ему пива, а перед этим сдобрить бутылку ста граммами водки. Я уверен, этот зверь алкоголик.

— А что, даже твою голову иногда посещают дельные мысли.— Эдик встал на колени, отпил из бутылки пива, долил ее водкой и, стараясь держать тонкие сутуловатые плечи прямо, пошел к быку; все с любопытством наблюдали, что будет дальше.

— Эдик, перестань дурачиться,— узнал Савичев знакомый голос сероглазой женщины, но не стал оборачиваться, хотя мог бы еще раз встретиться с насмешливыми глазами.

Эдик протянул бутылку горлом вперед, бык шумно понюхал, вытянул голову и лизнул горлышко бутылки языком.

— Я же говорил, что он алкоголик,— торжественно заявил Семен.— Подожди, я тебя сейчас нарисую для потомства. Галка, где Эдькин альбом? Представляешь, вы это покажете своему малышу лет через двадцать, героический поступок отца, пример для подражания, укрощение кентавра в воропянских лесах.

— Эй, оракул, заткнись,— сказал Эдик, и Савичев заметил, что рука у него слегка дрожит от напряжения, он теперь стоял рядом с быком и лил ему на ноздри пиво; бык мотал головой, хлопая языком, ему нравилось, и тогда Эдик поднял бутылку вверх, и, когда бык потянулся за ней мордой, Эдик, помедлив, вставил ему бутылку в рот и,

поддерживая за рога, как заправский ветеринар, вылил в теплую пасть с толстыми плоскими зубами все до дна. Бык постоял, потерся носом о землю, неожиданно подпрыгнул всеми четырьмя ногами и, задрав хвост, сделал замысловатый пируэт вокруг костра, выказывая явные признаки нетерпения.

— Эдька, он требует еще,— авторитетно сказал Семен.— Раз ты наш жрец....

— Нет уж, теперь твоя очередь...

Бык ревнул и бросился на Петухова, тот от неожиданности швырнул в него подрамник с холстом и в следующий момент очутился в развилке березы метрах в трех от земли.

— Безобразие, товарищи,— сказал он оттуда ровным, слегка рвущимся голосом.— Неэстетично поить невинное животное допьяна. Это же не человек, а наш младший брат, нужно помнить о человеколюбии. И холст он у меня проткнул копытом, пропал день.

Между тем бык разошелся, все разбежались и следили из-за деревьев, что будет дальше. Эдик и Семен продолжали дразнить быка, и он начинал всерьез хлестать хвостом собственные бока и рыть землю.

— Товарищи, хватит,— провозгласил с березы Петухов, примирившийся, наконец, с поломанным подрамником и теперь с любопытством наблюдавший.— Обратите внимание, у него глаза приняли оранжево-искристый блеск, вы рискуете пережить серьезную неприятность. На этом, казалось бы, безвинном примере видна разрушительная мощь цивилизации и вообще человеческой деятельности на земле. Вот тебе, Эдик, сокрушительный довод в пользу примитивных пеленок.

Петухов сидел на березе и, чувствуя безопасность, подергивал бородку; бык, и сам удивляясь той шальной силе, которая подбрасывала сразу все его четыре ноги, носился между деревьями, удивительно легко поворачиваясь и пытаясь приблизиться к мелькавшим там и сям людям, но они не подпускали его к себе близко. У быка налились кровью глаза, но он еще держался ребячливо — брыкливо и добродушно, когда оказался перед Лагутиновым, вышедшим в неведении прямо на быка с мокрой тяжелой сумкой в руках. На минуту они замерли оба, затем бык коротко взревел, угнул тяжелую, одурманенную голову и совсем по-взрослому стал кидать под себя передними копытами

влажную землю; Лагутинов ему явно не нравился, от него тяжело пахло болотом, рыбьей слизью и еще какой-то дрянью.

— Убегай, Николай Акимович,— раздался откуда-то сверху назидательный голос Петухова.— Наши интеллектуальные молокососы напоили его, водки в пиве дали. Берегитесь! Берегитесь!

Бык беззвучно-стремительно бросился на Лагутинова, и тот, выпустив из рук мешок с рыбой, увернулся в сторону; тупой твердый рог рванул его за правый бок, прошелся по ребрам, и затрещала рубашка: Лагутинов увернулся за дерево, опять увидел перед собою быка и, пригнувшись, карауля каждое его движение, сделал шаг вперед; он знал, что за ним напряженно следят и молодежь с палками в руках подходит все ближе; Лагутинов сделал им знак остановиться: в нем словно зазвенела какая-то струна, и сердце зажглось и забилось.

— Не надо, я сам! — крикнул он, боясь, что его опередят и помешают, и в то же время не отрывая взгляда от быка, от его круто угнутой шеи и пушистого завитка между рогов, и чувствуя себя легким, подвижным, словно ему опять двадцать лет и он, пьяный от собственной силы и желания, пришел на деревенские игрища, и что за ним сейчас следят десятки внимательных, насмешливых, робеющих девичьих глаз, и еще ему показалось, что и вчерашнее длинное заседание с бесконечными ораторами, и его разговоры с Савичевым, и его все терзания и надежды — все это была лишь детская игра, а жизнь, вот она — молодая, горячая, с дрожащей от нетерпения лоснящейся гладкой кожей, с тяжелыми пряными запахами. Бык метнулся к человеку неуловимым бесшумным движением, и все-таки Лагутинов успел увернуться и одновременно стремительно, с полуоборота упасть быку на шею всей своей стокилограммовой тяжестью, и, держась левой за короткий прохладный рог, правой ухватить его за ноздри, как клещами сдавливая влажный хрящ внутри большим и указательным пальцами. Бык пронес его на себе метров пять и остановился, выворачивая белки от нестерпимой боли и пытаясь сбросить тяжесть; Лагутинов резким движением крутнул его голову, и бык грохнулся на колени, затем на бок; Лагутинов, тяжело дыша, вытер скользкие мокрые пальцы о его шерсть, шлепнул ладонью по ходящему боку.

— Хватит, пошел вон, дурак,— приказал он, и бык,

рванувшись, поднялся и, неловко ворочая шеей, отошел.

Лагутинов оглянулся, увидел внимательные ждущие глаза Эдика, Савичева, женщин и, пытаясь засунуть разорванную рубашку в брюки, засмеялся чуточку смущенно.

— Братцы, я отличной рыбы купил. Есть добровольцы чистить? Бычок-то еще молодой, неразумный, года два — не больше. Пить не умеет. Твоя, Эдик, работа?

— Он сам попросил, не мог же я отказать,— Эдик отбросил в сторону длинную сухую палку.— Трус несчастный, испугался!

Теперь смеялись все; приловчившись, спрыгнул с березы Петухов и, хромая, подошел к остальным, и лишь Савичев, держась по-прежнему чуть в стороне, стал еще молчаливее и задумчивей.

30

Дружная весна быстро согнала снег еще в апреле, и уже в самом начале мая стали погрохатывать грозы — ошалелый треск стоял в небе, и по крышам звонко стучала вода.

В конце июня Савичев взял расчет, собрался в три дня и ушел пешком по старому земляному Киевскому шляху, Инне погрозился обязательно дойти пешком до Киева.

— Не лучше ли сразу до Москвы? — пошутила она, неуверенно, еще не зная, как отнестись, втайне задетая, что он не зовет ее с собою.

В конце второй недели Инна получила от Савичева коротенькое, в полстранички, письмо, листок помятой бумаги в клеточку, писал, видимо, наспех, на земле, а в конверт вложил седоватую метелку ковыля; на Инну так и пахнуло солнцем и степью, она прочитала письмо и задумалась. Вот теперь он уже никогда не будет принадлежать ей, как год назад, целиком, ушел в свой мир, открывшийся ему со зримой обнаженностью, с беспощадностью и ранимостью, погрузился в свою стихию, и ушел. Были боль и радость, а сейчас только пустота; родись ребенок, она бы этого не чувствовала, ребенок бы рос, и каждый день приносил бы с собой что-то новое. И если при рождении ребенка не думают, что он вырастет и уйдет, то здесь этот факт свершился сразу. А вдруг она пробудила у Антона не то, что составляет сущность его личности, а что-то побочное, второстепенное? Потрепыхается немного и иссяк-

нет? Может, он сам себя лучше понимал, если сопротивлялся с таким упорством. Мир так жесток, и он теперь ушел целиком в борьбу. И если так, родится озлобленный неудачник, начнет все и всех ненавидеть, впадет в конечном счете в мизантропию и ее возненавидит, будет проклинать. Ведь все относительно в жизни, и жизни птицы не позавидует ни одна ящерица, потому что она и не подозревает о крыльях.

Вечером после работы Инна ушла к Лагутиновым. Под вечер стало душно от камня, и на углах продавали жидкое, водянистое мороженое в размокших бумажных стаканчиках и воду, везде с вишневым, горчащим сиропом. Машины поднимали сухую пыль; Инна подумала о своей неприязни к этому городу и усмехнулась; здесь так ничего и не изменилось за три года, в сушь и ветер Воропянск затягивало душными тучами пыли, и стоило пройти небольшому дождику, к ногам липла тягучая, жирная грязь. Инна почти с ужасом вспомнила, как она могла почти два года подряд жить на окраине Воропянска, куда не доходили даже трамваи, посреди лопухов и оврагов. Что делает время, сейчас она бы уже не выдержала подобное испытание, но она была тогда на два года моложе. Пока она дошла, ей несколько раз глядели вслед мужчины, она знала смысл таких взглядов, и втайне ей было приятно, и оттого она несла свое стройное, красивое тело увереннее. И Лагутиновы очень ей обрадовались, стали по своему обычаю усаживать за стол, расспрашивать об Антоне, она прочитала им полученное письмо и, подняв голову, увидела блестящие, напряженные глаза Лагутинова.

— Николай Акимович,— она слегка смутилась от этого откровенного ожидания.— У меня к вам огромная просьба. Выберите время, пожалуйста, придите посмотреть с Полиной Гавриловной работы Антона. Мне кажется, вы поймете больше другого. Последние дни у меня сердце не на месте. Тоска! — Она засмеялась.

— Молодежь,— Лагутинов пристально поглядел на нее.— У вас сердце, Инночка, не на месте по другой причине. Антона нет рядом. А работы его я посмотрю с удовольствием, в любое время. Правда, неудобно, раз его нет...

— Ну что вы, Николай Акимович, более близкого человека у нас с Антоном здесь нет. Вы с Полиной Гавриловной все равно как свои. А своим почему же неудобно? Я вас очень прошу, а потом даже свободнее...

— У вас, Инночка, есть какие-нибудь сомнения относительно того, что делает Антон? Не нравится?

— Довольно сложно ответить. Я вам потом скажу, сначала вы посмотрите.

— Хорошо.

Лагутинов прошелся по комнате, заложив руки за спину и шевеля пальцами. Полина Гавриловна с грустью смотрела на Инну и тихо завидовала ей, ее молодости и ее влюбленности. Лагутинов остановился перед женой и, понимая ее состояние, с улыбкой на широком лице сказал:

— Знаешь, мама, у меня мысль. Костю можно позвать, пригласим в воскресенье Петра Семеновича и сходим посмотрим. Помнишь, я тебе говорил, что он Антоном интересуется. Ты, Инна, не против?

— А кто он — Петр Семенович?

— Ворохов, секретарь обкома. Думающий человек, у него отец архитектором был.

— Ой, что вы! — испугалась Инна.— Может, с ним-то подождать? Антон рассердится...

— Ничего. Я ему объясню. Антона я беру на себя. А Ворохова не бойся, он не такой, как все. Мы с ним весь партизанский путь протопали с начала и до конца вместе, я уж его знаю. Давайте сразу договоримся — утром в воскресенье, Ворохов встает всегда в семь,— ну, скажем, часиков в десять. Не рано будет?

Инна поджала ноги, задумалась, стараясь не показать своей встревоженности; Полина Гавриловна опять улыбнулась, теперь уже мужу, и Лагутинов мягко поглядел на Инну и сказал:

— Кстати, вы его поблагодарите, так, между прочим, он большое участие принял в вашей квартире. Знаете ведь, квартирный вопрос — смертельный вопрос. Он хоть и не любит разных благодарностей, все-таки будет приятно. Тоже живой человек. Да не бойтесь вы,— засмеялся он искренне, удивляясь, что может найтись человек, не верящий его суждению о Ворохове.— А сейчас, хотите, в парк пойдем, у нас в программе с утра намечено. Посмотрим памятник Конюшову, не слышали ничего о нем? Это первый танкист, ворвавшийся в июле сорок третьего года в Воропянск и поднявший панику в городе среди немцев. Он сгорел — танк подбили уже в центре города. Памятник открывают сегодня в семь часов по проекту нашего

воропянского скульптора Севрина, вы его отлично знаете.

Лагутинов разговорился, он сам почувствовал, что зря, пожалуй, сказал о Ворохове, надо бы сначала самому взглянуть, хотя в чем тут ошибка? Разумеется, люди переменчивы, да ведь неловко как-то назад пятиться. И перед Инной нехорошо, и перед Вороховым. Возникла ведь отчего-то такая мысль, надо будет присмотреться, Инна права, и Савичеву нелегко будет твердо на ноги встать.

Скоро Полина Гавриловна оделась, и они направились в парк; Лагутинову было приятно вести под руку Инну, но памятник всем троим решительно не понравился, и Лагутинов искренне огорчился и не стал подходить поздравлять, а увел женщин пить фруктовую воду, и там долго и озабоченно говорил о неудаче, и все оправдывался тем, что нужно серьезнее воспитывать свои местные кадры, и пусть это в какой-то степени художественная неудача, зато свой, коренной воропянец руку набил. Инна пила скверную сладкую воду, и слушала, поглядывая вниз на крутой, поросший травой и сиренью обрыв, на реку, на лодки и на железнодорожный мост вдали, и думала, что такие города, как Воропянск, до смешного заносчивы, и обязательно хотят иметь своих доморощенных великих людей, и потому серьезное, необходимое иногда приобретает комический привкус, но об этом лучше не говорить даже Лагутинову. Он тоже патриот Воропянска, и хоть подсмеивается иногда, но в нем всегда чувствуется некая граница «от» и «до», и ее переступать рискованно, не стоит. Одно дело — показать последние работы Антона сведущему в живописи человеку; Инна отставила стакан, накрыла его ладонью.

— Довольно, благодарю вас,— сказала она Лагутинову, продолжая раздумывать, хорошо ли она сделала, пригласив Лагутинова смотреть работы без ведома Антона, и чувствуя, что весь вечер старается оправдаться сама перед собой в этом шаге. И оправдывала своей любовью, тревогой за его дальнейшую судьбу, она ведь только лишний раз искала подтверждения, это каждому по-человечески понятно. Она должна уметь своевременно и подсказать, Антону должно быть с ней всегда интересно, это единственная возможность удержаться с ним рядом и вровень, сумасшедший ведь характер, никогда нельзя точно знать, что он придумает в следующую минуту.

В пятницу у Лагутинова часов в восемь утра зазвонил телефон; взяв трубку, Полина Гавриловна услышала голос Ворохова.

— Здравствуйте, Петр Семенович,— сказала она.— Давно вы нам не звонили, забывать стали.

— Работа,— непритворно вздохнул Ворохов.— Работа, Полина. Устаю, заготовки, скоро уборка. Пока вытянешь.

— Вам Николая позвать? — спросила Полина Гавриловна.

— Позови, Поля. Да чего ты меня на «вы» величать стала? Не надо. Давай уж доживем до конца привычно, ну их к лешему разные условности.

— Хорошо, Петр Семенович,— сказала Полина Гавриловна, слегка разрумяниваясь.— Зову.

Она отдала трубку подошедшему мужу и осталась рядом, Ворохов звонил не часто, и теперь ей было интересно; вскоре по ответам мужа она поняла, о чем разговор, отошла к зеркалу и стала его протирать: она терпеть не могла липких пятен от пальцев на стекле. Не отрывая взгляда от зеркала, она провела ладонями по бедрам, надо чаще делать гимнастику, не заметишь, как расплывешься.

Лагутинов положил трубку, зевнул; он был в нижнем белье, не успел надеть пижаму и ежился: прохладно в комнате.

— Вот что значит деловой человек, в такую рань уже на ногах,— пробормотал он.— Совсем на начальство не похоже. Слушай, мама, свари сегодня кофе покрепче.

— Что Петр Семенович? — спросила Полина Гавриловна, смазывая кожу под глазами и на шее питательным кремом.

— Рыбалить зовет с субботы на воскресенье. Не ко времени, конечно, мы же собирались к Савичевым, я отказываться не стал, надо поехать, размяться. Ехать с ним одно удовольствие, никаких тебе забот — машина, шофер, не то что с нашей братией, там некогда отдыхать, гляди, как за малыми детьми. Я тебе рассказывал, в позапрошлое воскресенье быка водкой напоили? А к Савичевым в следующую пятницу сходим, Петр сам такой срок назначил.

— Совсем мы обленились,— сказала Полина Гавриловна.— Старость, что ли?

— Старость здесь ни при чем,— отозвался Лагутинов.— Где это мои шлепанцы засунулись?

— Под кроватью в изголовье, нагнись, Коля, нагнись, ты хоть бы приседал раз десять с утра, совсем растолстеешь. Сам не рад своей лени будешь.

Лагутинов на ходу ласково притронулся к плечу жены и, окончательно просыпаясь, пошел бриться, умываться, все больше радуясь приглашению Ворохова на рыбалку; это была их общая страсть, и как будет хорошо заняться сборами, затем погрузиться в машину и поехать; плеща в лицо себе холодной водой, Лагутинов совсем повеселел и вспомнил, что суббота сразу же завтра,— заторопился, забегал, вытаскивая и проверяя удочки, соображая, какую готовить наживку, и досадуя, что упустил спросить, в какое место собирается Ворохов ехать. Но он тут же решил, что, как всегда, па Воропу, километров за сорок, в заброшенную избенку, где раньше жил старик бакенщик (Лагутинов хорошо помнил его, такой низенький плотный старик, с хмурым взглядом исподлобья). После обмеления Воропы бакенщик уехал к сыну на Волгу, а избенка осталась, и по каким-то неведомым причинам там была летом самая лучшая рыбалка на сто верст кругом. Тихое к тому же, почти всегда безлюдное место, далеко, бездорожье, только на таком черте, как вороховский «газик», да с его шофером, сорокалетним отчаянным спорщиком Кузьмичом, и можно доехать.

«Ворохов к вечеру в воскресенье уедет, а я еще побуду»,— неожиданно решил Лагутинов, связывая с этой поездкой свои потаенные мысли и надеясь переломить тяжелое, угнетенное настроение, прочно установившееся последнее время. Вообще Ворохов — особая статья, незаменим в таких делах, сам любит помолчать, отдыхая от заседаний и людей, и Лагутинов углублялся в свое, и оба старались как-то не задеть Кузьмича, чтобы тот своим вечно сердитым, скрипучим голосом не испортил им дорогу и свежесть восприятия травы и земли после прокаленного асфальта и шума города. Но на этот раз с Кузьмичом, хотя он был не в настроении и явно искал случая прицепиться, обошлось благополучно; они разгрузились, поручили Кузьмичу заниматься хозяйством. Он презрительно смерил их взглядом и про себя обозвал «барами» и еще кое-чем похуже, думая о том, что, вместо того чтобы помочь теще поработать в огороде, он должен ехать к черту на кулички

за сто верст, а завтра к вечеру опять гнать сюда машину, и выходной, пиши, пропал. И он, в который раз уже, давал себе зарок уйти в другое, более спокойное место, отлично понимая, что не уйдет: и к Ворохову привык, и здесь есть свои особые выгоды, а в другом месте их не представится.

Приехали они ближе к вечеру, и место действительно было отличное: травянистый, обрывистый берег переходил в старый дубовый лес; на дубах полностью развился лист, земля густо взялась зеленью, а на открытых для солнца местах трава поднялась в метр, и везде пестрели цветы. От свежего, чистого воздуха после удушливой машинной гари хотелось спать; Лагутинов, позевывая, предложил Ворохову выпить коньяку, тот, заботливо выбирая место для вечернего сидения, пошутил:

— Единственная вещь, где наши вкусы диаметрально несовместимы. То ли дело отличная пшеничная наша. Русская. Одно название чего стоит! Пропустишь рюмочку, и-эх, покатится, голубушка, до самых пяток проникнет!

Засмеявшись, Лагутинов махнул рукой и пошел отыскивать себе место; правда, в таких походах ухой в основном обеспечивал Ворохов, а Лагутинов, увлекшись чем-нибудь, забывал удочки, и начинал рисовать в блокнот обрыв или дерево, и возвращался, к истинному удовольствию Ворохова, всего с двумя-тремя жидкими плотвичками; но постепенно и в нем начинал вырабатываться рыболов, и на этот раз он намеренно не взял блокнот, чтобы не искушаться и заняться только рыбой и отдыхом.

Он выбрал высокий ореховый куст, разросшийся на самом обрыве, половину его, видать, оторвало в половодье, а остальная половина наклонилась к реке, образовывая зеленый шатер. Лагутинов огляделся, подкатил к кусту большой корч с торчащими во все стороны лапами, приладился, примериваясь, посидел на нем и остался доволен. Затем рассыпал приманку, сваренную с конопляным маслом пшеницу, сходил за удочками, поплевал на крючки (хорошая примета!) и с приятным волнением принялся за дело, отдыхая и наслаждаясь водой, солнцем, безлюдьем, неяркими предвечерними красками (солнце садилось сзади) и думая о том, как все в природе соразмерно и просто и даже самый яркий цвет вписывается в окружающее с неназойливой естественностью.

Противоположный, метрах в ста пологий берег еще не-

давно заливало, и сейчас до самых холмов стояла вода частыми, сверкающими от солнца озерами, и над ними с пронзительными криками носились чайки, а раза два Лагутинов заметил небольшие табунки уток. Скоро в заливных лугах рядом с голубой, все усыхавшей Воропой в разливном зеленом море трав станет многолюдно и весело, придут и приедут со всех концов косари, и начнется покос, сенная страда. До войны, вспоминают, здесь веселье стояло — дым столбом, молодежи было много. Луга изменят окраску, опустеют, останутся густые стога, и, как только подморозит и выпадет снег, начнут увозить сено, заскрипят в снежном безлюдье сани, и станут след в след ходить волчьи стаи, цепочки мерцающих зеленоватых огоньков у самой земли, и будут лошади за километр и за два шарахаться и храпеть.

Река, казалось, стояла на месте, лишь тонкие зеленые водоросли у самого берега шевелились слегка; одну удочку Лагутинов прочно воткнул в землю, вторую держал в руке; рыба не брала. Он проверил насадку и опять закинул; он сидел в тени от куста и от берега, и скоро ему стало прохладно. Он плотнее запахнул полы вельветовой куртки и опять замер в том отрешенном, благодушном состоянии, когда все кажется хорошим, нужным и когда сам ты лишь незначительная деталь огромного мира, существующая его щедротами и милостями. Лагутинов пропустил клев и дернул слишком поспешно, рыба сорвалась, а была ничего, в пару фунтов. От досады Лагутинов выругался, решил быть внимательным, но в это время изогнулся, слегка задрожал конец другого удилища; Лагутинов бросился к нему и подсек большого полосатого щуренка, стал вываживать с замиравшим от напряжения дыханием. Рыба не шла, взбивала воду у самого берега, и, наконец, Лагутинов выволок ее и стал глядеть, как это хищное веретено разевало зубастый рот и как постепенно тускнели холодные маленькие глаза. Лагутинов опять удивленно пожал плечами, не понимая, как это на наживку леща взяла щука, и только, освобождая крючок, сразу все выяснил и неодобрительно поджал губы. Еще раньше на крючок зацепился лещик, и щуренок с ходу проглотил его вместе с крючком, и Лагутинову, распутывая, пришлось повозиться. «Вот так тебе и надо»,— подумал он, опуская в ведро щуренка с развороченными внутренностями. Подлость, она всегда наказуема, надо сначала

попробовать, потом жрать. А так несолидно и совершенно без пользы.

Настоящий клев начался примерно через полчаса, когда чуть-чуть затемь пошла по-над самой землей и солнце еще не скрылось, но уже стало заметно погасать. Лагутинов, забыв обо всем, вытащил подряд несколько широкотелых лещей, и они недовольно забултыхались в ведре, выбивая наверх и тормоша уснувшего щуренка; как-то сразу стало быстро темнеть, и раздался голос Ворохова:

— Никола! Ого-го-го!

— Иду! — отозвался Лагутинов, неохотно сматывая удочки; он только-только вошел в азарт. В избенке было прибрано, топчаны прикрыты одеялами, окна заделаны плотной бумагой, и у печурки лежали сухие дрова — сам Кузьмич еще засветло уехал домой.

Лагутинов вошел в избу, пригибая голову, поставил ведро с уловом на низкую толстую лавку; Ворохов подошел, полез рукой проверять.

— Ого! Тебе, я вижу, повезло сегодня. Ты смотри! — удивился он.— Щука! На что пошла?

— С дури,— весело отозвался Лагутинов, чувствуя себя молодым, как примерно лет двадцать назад, когда он мог месяцами ходить по дорогам, останавливаться ночевать в лесу у костра или в копне сена и твердо знал, что непременно станет большим художником, мастером, и когда все было дозволено и можно. И как он под самым Смоленском ночевал у одной молодой бабы, и она сама пришла к нему в сени, деревню забыл и имя, а вот все, как было, помнится, на все тогда сил хватало.

Лагутинов закинул руки за голову, засмеялся; Ворохов удивленно покосился на него:

— Чего?

— Вспомнил кое-что, лет двадцать назад.

— Чушь, Никола. Никогда не вспоминай, вперед гляди. Будем мы сегодня уху делать или на сухую обойдемся? Вот вопрос вопросов на данный момент. Я думаю...

— Иду распаливать костер,— решительно сказал Лагутинов.— Первый вечер, и без ухи? В ведре сварим.

— Я тебе это и хотел предложить,— Ворохов грузно и ловко задвигался по избе; уху он варил только сам, это была его давняя обязанность, и он достиг в этом деле подлинного мастерства, они вдвоем съедали чуть ли не ведро

сразу, а сборы Ворохова на рыбалку превращались для его жены и шофера в сущую муку, потому что они были обязаны все приготовить и раздобыть, от нужного сорта перца до сушеных кореньев молодого шиповника, которые Ворохов обязательно клал в уху. Даже сухие березовые дрова с примесью в четверть еловых Кузьмич привозил из города, и теперь, поджигая сложенный Кузьмичом перед отъездом костер недалеко от избы, Лагутинов почувствовал запах крепких сухих дров. Береза пахла нежно, от ели шло смолистое дыхание чистоты. Пока огонек разгорался, Лагутинов сходил и в темноте еще раз вымыл ведро, специально захваченное для варки ухи; он набрал берестяным ковшиком воды в выбегавшем из-под мелового обрыва ключе, принес и повесил ведро над костром, опять принюхиваясь, но горьковатый запах дыма уже забил все остальные. Теперь его дело было кончено, можно сидеть и думать до тех пор, пока закипит вода в ведре, и тогда нужно будет немедленно сказать об этом Ворохову, да еще нужно следить, чтобы костер горел ровно, не сильно.

Время от времени, как молчаливая тень, появлялся Ворохов, что-то опуская в ведро, и опять исчезал; они не разговаривали, лишь иногда Ворохов издавал странные мычащие звуки, говорившие о высшей степени удовольствия, и опять торопился в избу, где за неимением стола на лавке у него все было разложено по порядку. Когда вода закипела, Ворохов положил первую порцию рыбы и, отварив ее, всю выловил и выбросил, в том числе и щуренка, пойманного Лагутиновым. Лагутинов отнес вываренную рыбу подальше, решив пустить ее на подкормку; заря исчезла, и стал тянуть от леса к реке ветер, принесший из каких-то затаенных мест холодные запахи последней снежной сырости и прошлогодней листвы, готовой загнить от первого тепла. Лагутинов, выпрямившись, со щемящим звоном в душе, как-то очень уж торжественно подумал, что и ему пришлось увидеть, почувствовать таинственную красоту мира и ему дана еще возможность иногда жадно подумать о женщинах, которых он не узнал и никогда не узнает, и что это было, было у него, и силы для этого были; Лагутинов замер, весь напряженный, не ощущая своего грузного, большого тела, давно успевшего устать и отяжелеть. Он стоял и слушал. И только где-то недалеко ошалевшая от теплой погоды утка никак не могла успокоиться и портила ночь.

— А, чтоб тебе сдохнуть! — с досадой пробормотал Лагутинов, вздрагивая от собственного голоса, и тут же смущенно потирая ладони, и думая о том, что досадовать на утку за ее естественные права на жизнь глупо и недобросовестно, если сам он, как утка, готов забиться в кусты и орать от мысли, что теперь осталось не так уж много.

Костер издали манил, там жил огонь, красновато-радужный трепет тепла, и Лагутинов пошел назад. У костра стал слышен запах кипящей ухи, и Лагутинов проглотил слюну; сразу по-молодому захотелось есть и желудок подтянуло; он пошел в избу, в дверях посторонился, выпуская спешившего к ухе Ворохова, и стал готовить все к ужину: постелил на лавке газеты, достал хлеб, водку и кружки, достал крутого соленого сала, банку красной икры, две жестяные миски и деревянные глубокие ложки.

Нарезанный хлеб усилил ощущение голода, хотелось поскорей что-либо проглотить, но он не стал портить так долго ожидаемого удовольствия, и, увидев на лавке пачку «Казбека», брошенного Вороховым, закурил, и сел на свой лежак с легким кружением в голове. «Вот так и надо жить,— подумал он успокоенно и радостно.— Есть, пить, спать, ни о чем не думать и никуда не стремиться, потому что все равно придешь к одному концу и одинаковому успокоению. Самое радостное в жизни — это сама жизнь. Или у меня начинается старческое слабоумие, или люди к старости вообще склонны к расслабленности».

— Ага, поспела и уха! — сказал он, вскакивая навстречу Ворохову, вносящему дымящееся, прокопченное ведро, сразу забившее в избенке запахи заброшенности.— Вот аромат так аромат! — вырвалось у Лагутинова, и Ворохов, поставив ведро на лавку, на специально подготовленное для этого место, вытер потный лоб и, довольный, зная наперед, что уха удалась, прогудел:

— Ну, брат Никола, хоть ты и художник, утонченная личность, как говорят, а такого ты еще не пробовал и не видывал. Пойду помоюсь — и начнем.

Ворохов закурил, отдыхая, взял полотенце.

— Надо и мне руки вымыть,— сказал Лагутинов.— Давай сюда воды принесу.

— В реке лучше пополоскаться. Жаль, раньше не додумались, здесь бы сосновых шишек сжечь, воздух переменить.

— Одну ночь поспим, ничего, дверь можно открытой оставить.

Им было хорошо вдвоем, они не мешали друг другу, и, уже сидя перед лавкой на низеньких деревянных плашках, они стали вспоминать о таких же вылазках в прошлые годы и втайне подзадоривая друг друга, кто дольше выдержит.

— Ладно, кончай,— засмеялся Ворохов и по праву старшего, и по возрасту, и по привычке указывать, взял бутылку с водкой первым и налил в кружки, умудряясь налить ровно поровну.

Они поглядели друг на друга, чокнулись и выпили залпом по установившейся традиции до дна; Ворохов сразу взялся за уху, и Лагутинов, чтобы не обижать его, тоже придвинул к себе парящее варево, хотя вначале собирался закусывать икрой. Ему не пришлось долго жалеть, и он остановился лишь, когда Ворохов, отдуваясь, налил водки вторично и, поднося кружку ко рту, с равнодушно-презрительным видом покосился на икру. Но закусывать вторично пришлось все-таки ею, уха больше не шла, налит он был ею до самого горла и с любопытством следил, как Ворохов с влажными багровыми щеками опорожняет третью миску. Хорошо бы пойти в соседнюю деревню за холодным молоком.

— Я больше не могу,— сказал Лагутинов, отодвигаясь от лавки и помогая себе руками.— Полон по завяз.

— Водку-то будешь?

— Выпью.

Они еще выпили, и Ворохов опять зачерпнул ухи, весело покосившись на Лагутинова.

— Здоров же ты, старик,— покачал головою Лагутинов, закуривая.

— Чем, чем, а здоровьем боженька не обидел, молодец, не поскупился. Тебе, пожалуй, тоже жаловаться не стоит.

— А я и не жалуюсь. Хотелось бы еще побольше.

— Не жадничай, Никола, нехорошо.

Лагутинов пошел, лег на свой топчан навзничь и скоро почувствовал, что глаза слипаются и потолок шевелится. Одна доска туда, другая сюда, удивительно странно... Пожалуй, еще бы выпить водки можно, да Ворохов ведь не даст, у него свои твердо установившиеся нормы, и с ним воевать не стоит, бесполезно. Правда, мешать не станет,

просто откажется пить сам, а одному неловко. Впрочем, ладно, хватит, сон хороший как раз будет, проспешься, голова как стеклянная, прозрачная, свежая.

Он услышал грузный скрип топчана под Вороховым и, не размыкая век, сказал:

— Я тебя люблю, старик, слышишь, а, чего молчишь?

— Думаю,— отозвался Ворохов.— Жить бы вот людям тихо да мирно, а для этого на всех не хватает ни рыбы, ни места, потому и трудно. Ну ладно, доброй ночи, спи, Никола.

— Доброй ночи, Семеныч. Помнишь нашу третью партизанскую?

— Как же, славное время, что ни говори,— опять помедлив, отозвался Ворохов.— Тебе тогда было двадцать с лишним, что ли?

— Двадцать шесть...

— Мне за тридцать,— вздохнул Ворохов.— Вот, брат Никола, такие дела.

Лагутинов сбросил ноги с топчана, сел.

— У тебя что-нибудь случилось, старик? — спросил он, с трудом стаскивая тесный сапог.

— Ничего не случилось, спи,— недовольно приказал Ворохов и закурил.— Пусть свечка сама догорает, и спать.

— Ты, Семеныч, определенно переел,— Лагутинов забрался под одеяло, вытянулся.— Иначе не объяснишь твоего скверного настроения. Или на меня сердишься за то совещание...

— Давно не виделись,— оборвал Ворохов,— вот и кажется тебе. Ты же, брат Никола, как в знаменитости вышел, редко заходишь. У тебя бессмертие, а у нашего брата, партработника, что? Сошел с роликов и — забыли тебя. Почетный пенсионер. Наша работа невидная, незаметная, так... так... Ну, помоги, Никола, слово пропало.

— Как лес растет.

— Что?

— Лес, говорю, растет, ты его никогда не заметишь, как он растет, хоть месяц возле него стой. А он все-таки растет.

— Пожалуй, верно,— обрадовался Ворохов, пыхая дымом.— Хорошо ты подметил. Вот лес растет, а нас отдельно не видно. В народе на тебя косятся — начальство. У народа о начальстве представления старые, давние, его

годом не переделаешь. Месяц или два безвылазно сидишь, ездишь и день и ночь как проклятый, а выпал день, тот же Кузьмич на тебя зверем смотрит, вот, мол, с жиру бесится. Он ведь только одну сторону и видит.

— Вот тебе раз, старик,— изумился Лагутинов.— После такой ухи? Ладно, плюнь на все.

— Тебе хорошо говорить, Никола, свободный ты человек. Давно думаю книгу написать, как раз о партизанстве, материал богатейший, ерунды не хватает — времени. Выпадает свободный момент, жена, дети, их же никуда не отодвинешь. В голове все горит, к столу присядешь — ни строчки.

Лагутинов, поворочавшись, шумно перевел дух.

— Обкормил ты меня. Знаешь, старик, ты, если не пишется, не пиши. Не люблю, когда начальство начинает что-нибудь такое вытворять. Талант у тебя есть? Знаешь? Сейчас вообще дичь какая-то — самодеятельность, деньги на нее трахают огромные, профессиональное искусство на заднем дворе. Расточительство неоправданное! Бывает, человек живет всю жизнь для одной-единственной картины! Или книги. Да, да, до этого все готовится, готовится, глину месит. Он только подмастерье, а мастером становится лишь в одной-единственной вещи. А ты, старик, сразу хочешь книгу написать! Ты ведь и сам в душе не веришь в такую ерунду. Алло, отзовись! Спишь?

— Думаю,— услышал он голос Ворохова.— Жесток ты, Никола, тебе бы добрее надо быть. Все у тебя есть — слава, деньги... Сдуру сказал я тебе, а ты и подумать не захотел, сразу наотмашь — раз! Я, может, и сам понимаю. Тебе жалко? Ну, мол, добьешься, не вешай носа.

Была сплошная темнота, и через открытую дверь слышалось сонное движение реки — чуть-чуть, даже скорее угадывалось. Из открытой двери шел сырой воздух.

— Ты все сказал? — спросил Лагутинов медленно.— Пожалуй, старик, именно здесь жалость не к месту. Мы и без того напекли черт знает сколько гениев, ты погляди, премии так и сыплются, а за что? От этого ничего не останется уже через полсотни лет, истинное искусство тем и бессмертно, что неподкупно. Знаешь, Петро, не будь пороков, люди скоро превратились бы в ожиревшее стадо скотов. И что бы мы с тобой делали на земле? Ты — партработник, я — художник.

— Ладно,— Ворохов опять закурил.— На эту тему

хватит. Что там твой самородок, как его? — спросил он немного погодя.— Ты в нем еще не разочаровался?

Лагутинов, не поняв вначале, переспросил, но тут же сказал:

— Савичев-то? Этот, Петро, не мы с тобой,— Лагутинов поднялся, сел на топчане.— Понимаешь, вот ты говоришь, книгу, мол, задумал написать, времени нет, то да се. О том лишь не подумал, способен ли вообще писать, дано ли тебе от бога? У нас сейчас дичь развели. Мол, кто сильно захочет, всяк сможет. Оттого и бездари расплодилось свыше всякой меры. У Савичева от бога, ничем не задавишь, ни тем, что времени у него нет, ни сумой, ни тюрьмой.

— Бог, бог! — раздраженно оборвал Ворохов.— Заладил! Ты сегодня обязательно хочешь мне настроение испортить. Не надо, давай лучше спать. Я на всякие провокации крепкий. Спать, спать, спать, больше и слушать ничего не хочу. Договорились, кажется, съездим к твоему гению в пятницу, хочу взглянуть. Понимаешь, неравнодушен я к тем людям, о которых говорят: талант. Что это такое? Почему одним дано, а другим нет? Может, ничего и нет, так выдумали, ради ехидства...

— Зря сердиться нечего, я правду говорю. Будь мир одинаков — скучно станет. Мы с тобою в этом вопросе просто провинциалы, провинциализм наш заскорузлый. Хочешь — сердись, хочешь — нет, только из своей подворотни на мир глядеть — не очень-то много увидишь. А еще меньше поймешь. Изобразил бы тот же Савичев, допустим, доярок или свинарок воропянских — другое дело, а, Петро?

— Ну, ты меня этим не уешь,— засопел Ворохов.— Дело-то не в материале, а в исполнении. Квартиру, например, тому же Савичеву ты ко мне пришел просить, а не в ООН. Все имеет свою конкретность, брат Никола.

— Не о тебе же лично говорю, вообще,— Лагутинова разговор начинал задевать все больше, ему хотелось не то что позлить Ворохова, а как бы дать ему понять, что, несмотря на их давнюю дружбу и, самое главное, несмотря на высокое положение Ворохова, сам он говорил и всегда будет говорить только то, что думает, нравится это Ворохову или нет.— Я вообще об обывателе говорю, Петро, а они и среди вашего брата партработника встречаются иногда. Придешь к такому за чем-нибудь, а у него сразу

и проступит тупая рожа мещанская. «А-а,— обрадуется,— художник! Знаем мы вашего брата, только денежки загребаете да пьете. Сказки все это про ваши бессонные ночи и все прочее! Вот ты малюешь, а квартирку ко мне пришел просить! А я могу и не дать! Да-с! Ишь, барство развели, простая их, видите, не устраивает, дай изолированную. А я после войны в землянке жил! Чехов вон раньше, говорят, в ванне сочинял, а про отдельный кабинет все это враки! Знаю я вашего брата, чтобы в отдельном помещении разврат устраивать. Не выйдет!»

Вот так, Петро, вот о каком я обывательстве говорю.

Художник, Петро, не декоративная птичка, ему жердочки для нашеста да горсти конопляных семян маловато для творческого горения, пожалуй. Чего же ты молчишь, если я правду говорю?

— А что же мне тебе сказать? Мне нечего тебе сказать, ты уже заранее в своем убежден, и что бы я тебе ни сказал — бесполезно.

— Ты, Петро, умеешь вот так,— тотчас подхватил Лагутинов.— Зачем тебе даже другу высказываться начисто? А я так не умею, характера не хватает. Последнее время у меня какие-то странные мысли. Понимаешь, в мире всегда было много посредственности, а то и просто идиотов, выдающихся людей, тем более гениев, единицы. А у нас сейчас такое положение, что все равны, чуть ли не под гребенку, и, будь он хоть трижды разгений, ему приходится выполнять эту работу, что должен делать какой-нибудь тупица, идиот. Ты мне скажи, есть здесь смысл? Мы же урон на этом терпим, в государственном масштабе, да еще какой, как раз посредственность не может выполнить работу гения, соберись она хоть в несметном числе.

— Правда, правда,— опять подал голос Ворохов,— иногда умнее и промолчать. Все-таки человек жестокая скотина со своим чувством правды. Не о тебе, конечно, вообще. Прости, твои рассуждения не слишком-то приемлемы для нас. Ты ведь сам знаешь, что во многом не прав, врешь ведь... для всех. Сменим, пожалуйста, пластинку, меня, во всяком случае, никто не уполномочивал разбираться в таких вопросах. Говоришь, Савичев родом из Воропянска? Это хорошо, наша земля много дала замечательных людей, древняя земля. Да и спокойнее, как-то надежнее, когда своя земля. Ага, думаешь, и мы, поди, не лыком шиты.

Ворохов тяжело повздыхал, устраиваясь поудобнее, пожалуй, ничего умного в его словах не было, Николай прав, попахивает квасным патриотизмом, как раз тот провинциальный уровень, прочно установившийся у многих из его близкого окружения, видишь, и сам невольно подпал, а если разобраться, много вреда от этого, солоно подчас приходится. Сколько серости лезет во все щели, прикрываясь этаким сомнительным патриотизмом.

— Ты меня все стараешься под ребро подцепить, да побольнее,— теперь уже с явной обидой сказал он Лагутинову,— а сам? Ну что ты, скажи, впутался в это градостроительство? Нашумел, намутил, а ты ведь в экономике да и в архитектуре — дилетант, не больше. Не понравилось тебе, подал бы докладную записку, а то полгорода возмутил.

— У меня чувство целого есть...

— Есть! Есть! Делать все — нам, вот мне, например. Тебе и во сне не пригрезится, что это такое — стронуть с места какую-нибудь паршивую коптильню, а здесь же заводы, фабрики. Города, если хочешь, стихийно структуру свою создают.

— Ты что ж, обижаешься на меня, Петро? Вообще нас никто не уполномочивал к жизни, родились же — приходится жить, думать.

— Я не обижаюсь, я человек привычный. И потом, что мы, сами себе враги? И в этом вопросе прислушаемся, учтем, решим. Кое-что удастся, пожалуй, сделать.

— Знаю я вас, так все и будет идти, как идет, у вас руки до нового не доходят, перегрузились бумагами. К тому же спокойнее.

— Послушай, Никола...

— Ладно, чего там, ты уж здесь не будь столь грозен. Или мне по стойке смирно вскочить? Вот уж истинно сказано сегодня твоим шофером Кузьмичом: в кабинет к начальству входишь со своим мнением, а выходишь оттуда с начальническим. Правда, здорово-то сказано? Народ уж если припечатает — не отскоблишь и за век.

Лагутинов послушал, как сердито сопит Ворохов, и натянул на себя одеяло, разговор излишне накалился, и лучше замолчать. Он закрыл глаза и, вместо того чтобы заснуть, вспомнил Савичева — этот настоящий, может далеко шагнуть. Пошли мысли и о себе, и о том, что он сделал, и чего мог, но не сделал, и он, пытаясь определить,

почему последнее время на душе становится хуже и хуже, совсем запутался и расстроился.

— Спишь? — тихо окликнул он Ворохова, и тот не отозвался, хотя Лагутинов твердо знал, что он не спит.

— Ну ладно,— сказал он,— спи, раз спишь. Пойду постою на берегу, давит от водки.

Ворохов и на этот раз промолчал и, когда грузные, неровные шаги Лагутинова прекратились, подумал, что характер у Лагутинова начинает портиться, тяжелеет.

Лагутинов в это время то же думал о Ворохове, и о разговоре, случившемся между ними, у него остался неприятный осадок. Все-таки в Ворохове чувствовалась непререкаемая категоричность суждений, Ворохов по привычке держит себя авторитетом и здесь. Ну, конечно, он, Лагутинов, многим обязан Ворохову, хорошенько разобраться, так он вообще у него в руках, всегда такой покладистый, сговорчивый, и картины его не расстраивают, покойны, а вот он обязательно утянет Ворохова к Савичеву, пусть поглядит, какие есть человеки. Этого парня надо беречь, как собственный глаз, пусть хоть им он досолит, покажет, на что способен наш брат художник, еще так проймет, что он завертится вьюном со всей своей категоричностью. Чего не умел он, Лагутинов, того не умел, всегда у него все сглажено, без острых углов, так он теперь их хоть Савичевым проймет.

32

В назначенный день Инна с утра была на ногах. Почему-то вспомнилась баба Поля (надо обязательно навестить, все собирается, да никак не соберется, может, болеет старуха), потом до щемящего чувства в сердце захотелось оказаться в Москве, походить по шумным улицам, заглянуть к знакомым, и уже совершенно некстати вспомнился Пронин, тот самый инженер, и она испугалась, а сейчас он словно наяву прошел перед нею, и она вся съежилась и замерла. И тут же оборвала себя. Той минутой разве не была счастлива? — спросила она. Ведь именно его, Виталия Пронина, ты больше всего помнишь из прошлого, подлости с его стороны не было. Он любил и сейчас не забыл и любит, это у тебя все прошло, сгладилось, осталась лишь глухая память. И не любила ты его, раз так

легко отказалась, только как мужчину ты его еще и помнишь, а человек стерся, ни одной яркой черточки.

Инна привела себя в порядок, еще раз заглянула в мастерскую и села за методичку — галерее предложили в управлении культуры разработать методичку к экспозиции «Комсомол в годы Великой Отечественной войны» для передвижной межрайонной выставки. Когда раздался звонок, она торопливо взглянула на себя в зеркало, притронулась к вспыхнувшим щекам и побежала открывать. Первой она увидела Полину Гавриловну, за нею незнакомого мужчину с крупным лицом («Ворохов»,— подумала она) и уже только потом Лагутинова и Костю Арефина; ему она дружески кивнула, сразу успокоилась от его молодого, румяного лица.

— Пресса тоже налицо,— пошутил Лагутинов, пристраивая шляпу на вешалку.

— Проходите,— сказала она, сторонясь и опуская глаза.— Здравствуйте, я давно вас жду, жду...

На Ворохове был серый костюм, легкий, удобный, торчал густой седой ежик волос.

— Жарко,— по-домашнему просто сказал он, доставая платок, и вытер лоб и затылок.— Ну вот, значит, будем теперь знакомы. Моя Елена Александровна велела кланяться, когда узнала, куда я направляюсь. И просила передать, что непременно сама забежит взглянуть, если на то будет ваше согласие.

— С радостью,— сказала Инна.— Проходите, садитесь, проходите, Полина Гавриловна. Чаю выпьете? Говорят, в Средней Азии специально горячий чай пьют в жару.

— В Средней Азии много чего делают,— засмеялся Ворохов, однако сел за стол боком и с любопытством обежал комнату взглядом, дольше остального останавливаясь на книгах, сложенных на подоконнике и на этажерке.

— Вы меня извините за беспорядок,— сказала Инна, перехватив его взгляд.— Еще не всем необходимым обзавелись. Антон вернется, думаем новоселье устроить...

Понимая, что она сейчас начнет благодарить, и не желая этого, Ворохов шумно двинул стулом, встал.

— Не обессудьте, Инна Викентьевна, времени, как всегда, в обрез, не обижайтесь на нас, показывайте свои драгоценности.

Полина Гавриловна успокоительно потрепала Инну по плечу и вслед за хозяйкой прошла в мастерскую, где зара-

нее все было развешано и расставлено, убрана пыль и всякий мусор, которого скапливалось много, если Савичев работал.

Пожалуй, у всех четверых сразу же сложилось различное впечатление от картин и набросков в мастерской; Ворохов и Полина Гавриловна, ожидавшие нечто другое, ушли каждый в себя, стараясь не показать своего отношения и настроения, и эта ровность, замедленность восприятия вскоре стала заметна по их лицам; Инна внутренне встревожилась еще больше, у нее как-то холодно стало на сердце. Она извинилась, вышла и, выпив полстакана воды, постояла, прислонившись спиной к двери, затем решительно подошла к зеркалу, попудрилась. «Что мне в самом деле бояться? — подумала она.— Голос со стороны тоже нужен, нельзя же все с собой да с собой». Она вернулась в мастерскую, бросила быстрый взгляд вокруг; облегченно перевела дух и внутренне вся выпрямилась и засветилась. У Лагутинова, стоявшего перед ее портретом, было на лице почти блаженное выражение удовольствия и детской растерянности; Инна стала у двери, наблюдая только за ним, и Лагутинов, забыв обо всем на свете, быстро передвигался от полотна к полотну, ничего не говоря, иногда даже бесцеремонно оттирая в сторону жену или Ворохова. Он и раньше бывал у Савичева, но всего не видел, Савичев никогда не показывал своих работ, а напрашиваться не хотелось. И теперь он все больше и больше приходил в состояние некоего судорожного восторга; Ворохов, косясь на него, то и дело слышал его неясные реплики вроде: «Так, так, так, ну что ж... Ну-ка еще, поглядим это...» «Честное слово, тут есть над чем подумать». «Костя! Костя! Пройди сюда! Посмотри вот это. Ты понимаешь, как сделано? Ты видишь, он думает. О чем?» Но скоро Ворохов перестал обращать на него внимание; Лагутинов легко увлекался и всегда мог раздуть муху в слона, и все-таки что-то от настроения Лагутинова не прошло бесследно, и Ворохов стал рассматривать портреты более внимательно, стараясь понять, что же в них приводит Лагутинова в такой нервный восторг. Сам он действительно не был к искусству равнодушен и считал себя если не знатоком, то человеком, разбирающимся в различных тонкостях, но он, как правильно заметил Лагутинов еще на рыбалке, всегда придерживался одного мнения, что все в мире от людей, а люди появляются на свет божий с одинаковыми пра-

вами, и не надо искать чудес там, где все обусловлено и легко объяснимо. И если вначале картины его заинтересовали, то дальше, стараясь освободиться от чужой мысли и невольно для себя оспаривая мнение Лагутинова, он уже стал находить недостатки, которые раньше не замечались, он уже стал обобщать их, потому что вдруг увидел систему, стройную и последовательную. Перед ним был один взгляд, один посыл, одна манера, он прошелся вдоль стены, уставленной полотнами, раз и другой и впервые, как ступил в эту комнату, почувствовал себя неуверенно, ему показалось, что вовсе он и не тот, к которому все привыкли и, самое главное, к которому он сам привык, не тот уважаемый в городе, в области и в Москве человек, бесстрашно прошедший войну, а самый обыкновенный, обыденный, ничем не отличающийся от других, и еще у него было чувство, словно он голый и смотрит на себя в числе других и ему ничуть не стыдно. И еще много подобных мыслей появилось у Ворохова, и он больше не обращал внимания на других, что случалось чрезвычайно редко; с мучительной силой захотелось ему куда-нибудь подальше от города, от своих привычных, многочисленных обязанностей, пройтись босиком по обильной росе, забыть о жене и детях и знать лишь, что пришел ты в мир радоваться жизни.

— Анархист он, твой Савичев,— проворчал Ворохов, косясь на Лагутинова, оказавшегося рядом.— Индивидуалист... Погляди какой, а...

— Художник,— поднял глаза к потолку Лагутинов.— Нет, старик, ты чувствуешь, какая пронзительность? Всего тебя со всеми потрохами трясет! Согласись, что я тебе говорил?

Они стояли перед портретом Инны; Ворохов насупился, отступил шаг назад, приглядываясь; Инна заметила на себе изумленный взгляд Полины Гавриловны, затем к ней с идиотским вопросом «Это вы?» повернулся Ворохов; откровенно разглядывал ее и Костя, удивленно и тепло, и, скрываясь, тут же отвел глаза; пожалуй, испугался собственной смелости. Пытаясь разрядить напряжение, которое ощутили все, Инна перешла к стеллажу с альбомами и тут опять услышала голос Ворохова.

— Хорошо, пожалуй, здорово,— признал он.— В остальном ты, брат Никола, переборщил. Радости мало, света нет, все зажато, как будто его за горло держат. Учиться ему надо счастью и жизни, твоему гению, а так

что? Можно подумать, у нас и предмета нет для высокой радости. Ты посмотри, где он только таких откапывает? Что ни физиономия...

— Помилуй,— прервал его Лагутинов.— Ты же видишь — война тут. Какой здесь может быть высокий предмет для радости? Трагедия и есть трагедия. А что особенность у него такая, что тебя раздражает, так это его реализм, как у нас говорят, точность характеристики, я или кто другой не сможет. Нет, Петр Семенович,— Лагутинов четко и официально выговорил имя и отчество,— не стоит тебе становиться в данном случае в позу заклинателя. Ты приди как-нибудь, взгляни, как он меня изобразил, тебе многое в Савичеве ясным станет. Может, ты меня и не узнаешь, тоже спросишь, где откопал. И все-таки это я, самый настоящий!

— Почему ты оставляешь только себе право судить, что хорошо и что плохо? — насмешливо бросил Ворохов, и в этом, несмотря на шутку, опять почувствовалась категоричность, поймав пристальный, изучающий взгляд Инны, очень понравившейся ему, недовольно махнул рукой.— Хватит, хватит, тебя не переспоришь, я давно знаю. Не мы решаем, кто великий, потом это определится, окончательное решение не нам с тобой выносить. Ясно — способный парень,— вынужденно добавил он, стараясь избавиться от нехорошего привкуса, когда неожиданно пришла мысль, что в его словах могут увидеть равнодушие или несправедливость, или, что всего глупее, воинствующую невежественность. Инна теперь следила только за Вороховым, за выражением его лица; когда он замолчал и со спокойной, слегка насмешливой улыбкой взглянул на горячившегося Лагутинова, она, ничем внешне не показывая, расстроилась. Ворохов был далеко не рядовой посетитель, на какое-то мгновение ей приоткрылся тот путь, на который она сама изо всех сил старалась натолкнуть Антона и с которого уже не сойти — поздно. И еще она подумала, что Антону никогда не пробиться, нужно быть более обыденным, посерее; она глянула на Ворохова, жадно, не отрываясь, отыскивая в нем малейший просвет, и Ворохов, почувствовав, оглянулся на нее, сдержанно улыбнулся, сделал приветливые глаза.

— У него самое стоящее надо бы нашему музею приобрести,— сказал Лагутинов, меняя разговор из опасения вновь, как тогда, на рыбалке, поссориться. Расхваливая

Савичева, Лагутинов и сам почувствовал некоторую неуверенность, нечто вроде укора совести — ведь интерес Ворохова к Савичеву не был профессиональным, скорее пастуха к диковине, заведшейся в собственном стаде помимо его воли и желания, и сейчас в нем говорило чувство собственника. Дружба дружбой, а такое отношение коробит.

— Конечно, нужно приобрести! — не удержался Костя Арефин.— Хотя бы вот стариков с солнцем.

— А то что случится?

— Поздно будет, в Москву все уплывет,— резко ломая прозвучавшую в вопросе Ворохова насмешку, холодно и с той же презрительной интонацией в голосе отозвался Лагутинов и впервые уставился прямо в лицо Ворохова, чуть покачиваясь с пяток на носки и обратно.

— Пойдем, Никола, в самом деле поссоримся,— Ворохов посмотрел в глаза Лагутинову примирительно, неожиданно весело, понимая его больше, чем кто-либо другой здесь.— Не хватало нам еще этого, старина.

С самого начала раздираемый противоположными чувствами, Лагутинов не ответил, засопел, отвернулся; нет, так дальше невозможно, сказал он себе, что это такое? А может, я и впрямь ошибаюсь, и ничего нет, кроме моей фантазии? Ведь если так, как я думаю, то действительно адская несправедливость. Я всю жизнь работал, и у меня ничего нет, пришел мальчишка, и он уже гений, законодатель? Так тоже не может быть. Может, может, сказал некто второй в нем, и ты сам знаешь, что может. Просто ты мелкий пачкун в сравнении с ним, вот и разгадка тебе, о какой там еще справедливости толковать?

Попросив у Кости сигарету, не обращая больше внимания на Ворохова, Лагутинов, не прощаясь, быстро вышел; вслед за ним встревоженно, сказав «Ах, простите», заторопилась Полина Гавриловна. Инна слышала, как резко и сухо хлопнула дверь; натянуто улыбаясь, она развела руками:

— Видите... какая вышла неприятность...

— Вы-то здесь при чем? — Ворохов подошел к ней, подал руку, тяжелую, влажную.— Спасибо. На меня не обижайтесь, я прямой человек, никогда не лгал. Просто, что чувствую, то и говорю. Вы идете, молодой человек? — спросил он Костю, и тот, по-прежнему стоявший перед портретом Инны, рассеянно кивнул:

— До свидания, Петр Семенович.

Когда Инна, проводив Ворохова до двери, вернулась, Костя шагнул ей навстречу.

— Вы меня, Инна Викентьевна, простите. Я тоже ухожу, не хотелось мне с начальством в диспут вступать, я ведь не Лагутинов, репортер, клерк. Мог бы ему дерзостей наговорить.

— Вы, Костя, правильно поступили.

— Знаете, Инна Викентьевна, вы никого не слушайте, он,— Костя кивнул на картины,— на правильном пути.

— Что еще остается делать? — Инна вздохнула.— А как вы живете, Костя? Давно не виделись, вы похудели.

— Работаю, по ночам пишу. Меня сюда Лагутинов вытащил (это «Лагутинов» прозвучало почему-то резко), и, хотя я знал, что Савичева нет... мне как-то не хотелось...

— Я всегда чувствовала, вы Антона не любите...

— Не то, Инна Викентьевна,— поспешно возразил Костя.— Мне не нравятся люди, которые всем недовольны. У него счастье в руках, а он...

— Чем же он счастлив?

— Вами! — быстро сказал Костя, выдерживая ее взгляд.— Савичев ничего не замечает, только свой желудок, простите, вы понимаете, что я хочу сказать. Я много о вас думал последнее время...

— Не надо, Костя, вы еще очень молоды,— остановила она его.— С возрастом ценности, к сожалению, меняются. У него гораздо сложнее все, труднее. У нас жизнь очень трудно складывается и складывалась,— поправилась она.— Погодите, Костя, погодите. Ведь вы тоже можете ошибаться. Ах, Костя, Костя, вы еще так молоды, не обижайтесь. Знаете, в чем Антон бесспорно прав?

— В чем же? — спросил Костя напряженно.— Между прочим, мне двадцать шесть лет, я в армии отслужил, Инна Викентьевна. Так в чем же он прав?

— Человек должен быть цельным, Костя. Помните, вы в первый раз тогда, у Лагутиновых, говорили о человеке-художнике и просто о человеке?

— Помню, и что же?

— Мне кажется, творчество — это весь человек, его душа, а компромиссы тут — обязательно отзовутся,— Инна указала себе на грудь, затем на картины.— И все-таки я на вашей стороне больше, нельзя пройти в жизни, как на параде, грудь колесом — смотрите, я какой! Вы знаете,

Костя, мне очень трудно, я не умею ему что-либо доказать, теряюсь.

— Я знаю. Савичев не смеет заставлять вас держать на плечах такую тяжесть.

Инна остановила Костю взглядом, ей было неприятно, что он называет Антона только по фамилии, и она всякий раз некрасиво морщилась; она видела, что он замечает и делает это назло, стремясь открыто подчеркнуть свою неприязнь к Антону и этим переломить молчаливое неодобрение Инны.

— Не надо, Костя,— сказала она недовольно,— вы, конечно, мой друг, но многого вы пока не поймете. Я вас задерживаю?

— Да, я пойду,— Костя старался не глядеть ей в глаза,— вы, Инна,— впервые назвал он ее по имени,— вы знайте, я действительно ваш друг. Людей заставляет понимать горе другого только собственное страдание. Без этого они слепы.

— До свидания, Костя.

Оставшись одна, Инна долго мыла лицо холодной водой и все чувствовала на себе оценивающий, как бы изучающий взгляд Ворохова, и, так как это ощущение не покидало ее, она прошла к зеркалу и погрозила своему отражению. Подумаешь, сказала она, хоть ты и начальство, а Лагутинов правильно сказал: не в этом дело. И Костя смешной, в этот раз он говорил плохо, не о том думал. И ты знаешь, о чем он думал, у него в глазах было. Какой все-таки пустяк, они могли бы дружить, если бы он понял главное в Антоне, а так... А сама себя она понимает?

С третьего этажа хорошо просматривался неровный, в кучах мусора двор и ясно слышались вопли мальчишек, отнимавших друг у друга ногами тряпичный мяч и поднимавших тучи пыли. Инна легла грудью на подоконник, долго глядела во двор. Впереди еще целый день, и, куда его деть, она не знала. Сергеев разрешил сегодня не приходить, читать надоело, за каталог она решила пока не браться, отдохнуть. Она опять пошла в мастерскую и стала все расставлять по местам, как было при Антоне. Подняв руки, чтобы снять свой портрет, она остановилась, да, да, да, вот в чем дело, оказывается... она часами выстаивала перед портретом, а главного не поняла, а понимать, оказывается, нечего, все на ладони. И наверное, это самое оскорбительное, непереносимое. Он написал ее не такой, какой

она была, а той, которую мог бы любить и которую, возможно, любил, лишь внешне все похоже на нее — нос, лоб, а суть совершенно другая; она отступила шаг, другой, не сводя с портрета широко раскрытых, ненавидящих глаз. И лицо похоже и глаза, но он словно вдохнул в ее плоть иную жизнь, загадочную и чистую, так и кричало все, что он любит именно вот ее, только эту. Понятно, почему они все так смотрели на нее, это ведь не она... Как мало она его знает... Внешность не так важна, у тебя внутри что-то сдвинулось. Он художник, что тут особенного? Надо одеться и пойти на улицу и до самого вечера не возвращаться домой, в пустые комнаты, до самой темноты, в темноте как-то свободнее себя чувствуешь.

Она не могла сдвинуться с места; она ревновала сейчас Антона к портрету, до темноты в глазах ей хотелось схватить полотно, изорвать в куски, она потянула его со стены. В последнюю минуту что-то остановило ее, и она осторожно выпустила раму из рук, осторожно прислонила к стене. Нехорошо, нужно прийти в себя, это то же самое, что убить живого человека. Она вспомнила, как Антон писал, его лицо. Людей разных много, а чудо одно на весь свет. И потом люди уйдут, все уйдут, все до одного, и она уйдет, а это останется, да, да, теперь понятно, отчего так побледнел под конец Лагутинов и ушел не прощаясь.

Она опустилась на колени и осторожно сдула с портрета невидимую пыль, провела длинными пальцами по раме. «Не будет же он спать с портретом»,— зло рассмеялась она, быстро вскакивая на ноги, и уже совсем спокойно, прищуриваясь и оценивая, стала рассматривать, то отходя, то опять приближаясь и чувствуя, что все это только отсрочка, и теперь она будет думать и думать; она ненавидела портрет, и ее с той же силой тянуло к нему, и она опять стояла перед ним со странно застывшим лицом. Вот оно, возмездие, она должна была иметь ребенка от него, вот самое главное! И как это раньше не пришло в голову? Он, конечно, об этом и не думал, но как опрометчивость мстит за себя! Вот оно в чем, оказывается, дело... Вот оно...

Инна торопливо выволокла из угла пыльный, потертый чемодан, открыла его и стала доставать альбомы со старыми рисунками Антона. Два из них особенно ее привлекали — в одном сплошь наброски лица Ромки Копылова, второй — стройка, рабочие, женские лица и опять —

больше всего портретов Петра Евстратова — она лишь однажды видела его — спокойный белый парень, с голубыми, светлыми, точно выгоревшими глазами.

Инна все не решалась выйти из мастерской и без конца твердила себе, что, будь у нее ребенок, все шло бы иначе и у нее жизнь по-другому складывалась бы теперь. Подумать только, его ребенок! Его ребенок!

Она, притихшая, боясь неосторожного резкого движения, перевернула портрет и поставила его лицом к стене и пошла из мастерской, кое-как оделась, не думая, по привычке нашла сумочку, проверила, там ли деньги, и, захлопнув окно и еще раз осмотрев квартиру, вышла. Сзади щелкнул замок. Она вернулась, проверила, закрылась ли дверь, и стала спускаться вниз, осторожно перенося ноги со ступеньки на ступеньку. На улице в лицо ударил сухой, нагретый воздух, и солнце, много солнца, и она, полуослепленная, остановилась, беспомощно выставив вперед руку, словно стараясь не дать приблизиться к себе тому, что все время преследовало и грозило ей отовсюду; ну, полно, полно, сказала она себе, надо жить просто, я обыкновенная женщина, каких миллионы и миллионы, я — грешная женщина, и судьба послала мне счастье, неизвестно за что, и мне страшно, страшно за него.

33

В полях стоял зной; хлеба из зеленых медленно и уверенно вначале побурели, затем стали восковеть и желтеть; подступало время жатвы. Инна не знала, куда она идет, просто шла и шла; она подумала, что Антон любил уходить за город и пропадал там все свободное время, и теперь ей захотелось словно бы проверить эту его страсть, ведь находил же он там что-то такое, чего не мог дать ему ни город, ни сама она. Она выехала за город в автобусе и, когда последние домики остались позади, попросила шофера, мужчину лет пятидесяти, с толстым, нелюбезным лицом, который, однако, вдруг простодушно подмигнул ей, остановить и сошла посреди солнечного поля; солнце было в самой середине неба и жгло сильно. Инна поправила маленькую, едва прикрывавшую голову шляпку, свернула с дороги в сторону, в луговую низину сплошь в копнах сена; луг еще не успел отрасти и стоял упругой зеленой

щетиной, по обе стороны узкой луговины размашисто тянулись поля. С одной стороны — густая восковая рожь, еще шумевшая как-то зелено, мягко; с другой — доцветала гречиха, слышался горчащий запах меда и непрерывный гул пчел, шмелей, различных мух и жучков.

Инна пошла луговиной наугад, ничего не замечая; постепенно узенькая полоска луга раздвинулась, рожь и гречиха исчезли в сторонах, и Инна оказалась в широкой в этом месте пойме Шароньи; здесь она увидела пестро и ярко одетых людей. Шло стогование, копны на лошадях свозили в одно место, было много шума и криков; Инна повернула в другую сторону и постепенно вышла к берегу Шароньи; река здесь была не то, что в городе, и Инна спустилась к самой воде, присела и осторожно смочила лицо и шею. Подумала и напилась из горсти — тепловатая вкусная вода навела на мысль искупаться, но она решила еще подождать и пройти подальше от людей и двинулась берегом, у самой воды, и скоро начались крутые меловые обрывы, и ей пришлось подняться вверх. В трех-четырех местах в небе стояли высокие разреженные облака, они лишь подчеркивали ослепительность солнца и яркость погожего летнего дня. Кое-где встречались заросли кустов, Инна садилась и отдыхала, ложилась на спину, глядела на резные дубовые листья над собой, просвечивающие на солнце до самых мельчайших жилок. Иногда ее внимание привлекала какая-нибудь бабочка или муха, раз прямо ей на загорелое колено села большая пучеглазая стрекоза, и Инна, замерев, долго ждала, пока она отдохнет и улетит.

Чувство времени давно исчезло, в самом начале она досадовала на себя, забралась куда-то в глушь, но немного погодя успокоилась, это было необходимо, и чем дальше, тем сильнее становилось странное ощущение необходимости своей поездки, прозрачного света вокруг, неба, запаха травы и воды, сена; она никогда раньше не предполагала, как может быть хорошо в таком вот диком месте, без людей, без города, без привычной и шумной толпы, трамваев, автобусов, радио, книг, соседей, без Лагутиновых, ставших своими в чужом, непонятном городе; но и то, что она раньше не знала такого чувства свободы, простора, уже не могло заполнить образовавшейся в ней пустоты. Антон человек, конечно, чистый и преданный, но та сила, что последние годы появилась в нем, пугает, она заставила его

видеть жизнь иначе, чем остальные, чем сама она, Инна, и здесь ничего нельзя изменить. Она сделала все, что могла, чтобы стать ему необходимой, а он все время куда-то уходит, уходит; она устала и не может начать заново. Господи, не нужна ей его слава после смерти, он ей нужен живой, а он уходит, уходит...

Она все-таки надумала искупаться, уж очень хорошее попалось место. Большая песчаная отмель, чистая, без единой соринки, рядом высокие ореховые кусты, на противоположном берегу высокий меловой обрыв прямо в воду. Инна стала раздеваться, повесила шляпку на куст, сняла платье, сбросила туфли, с наслаждением ступила подошвами в горячий песок. Бездумное ощущение пустоты подчинило ее, словно это и не она была, а нечто отдельное от нее и безразличное — такого с ней еще не случалось, и она попыталась встряхнуться, все ее мысли минутой назад показались ей откровенным кошмаром. Какой выход — просто нужно уйти от него, попытаться начать все сначала. В двадцать семь лет еще можно все изменить, определенно есть в жизни какой-то процент горя и счастья, и для нее не может быть иной меры.

Ну, не любит, ну и ладно, жить с ним она не станет. Сколько дел кругом, ведь он бы мог писать нужное людям, а у него все только для себя, и горе, и радость, и потери.

Хорошо, догадалась выбраться за город, а то бы никогда не переломить настроения. Облюбовав место на совершенно нетронутом песке, она легла навзничь, решила минут пять, чтобы не обожгло, полежать; лицо она прикрыла прохладным шелковым шарфом. Не испытав, не поверишь в такое полнейшее одиночество, безопасность, сквозь шелк и сквозь веки пробивало багрово-розовое солнце; немного полежав, она повернулась на живот; запрещаю думать больше, приказала она себе. К черту всех! Ворохова, Лагутинова, Москву — все! И Антона к черту, хватит думать. Отдыхать, греться на солнце, слушать жуков и птиц. Долго, долго лежать. Чудно, кругом никого нет, самое настоящее счастье.

У самых глаз Инна видела песок, каждую песчинку отдельно; вздохнув, она встала и, отряхнув с кожи песок, пошла в реку, по колени, по пояс и, мягко опустившись, поплыла в спокойном течении к другому берегу; вначале с солнца вода показалась холодной, скоро это ощущение прошло, и она долго плавала, наслаждаясь, опуская лицо в

воду с открытыми глазами и рассматривая чистое, кое-где в водорослях дно, и раз даже увидела метнувшуюся широкую тусклую рыбешку. «Ну что ж, вот так и хорошо жить,— думала она,— не знаю, как я теперь доберусь до города, может, пешком, но разве в этом дело? Зачем мне какая-то мишура? Надо жить, как все люди живут, как все женщины,— родить ребенка, растить его и любить мужа, господи, глупости, будто не все равно, кто он. Художник, каменщик или машинист. Самое главное, он мужчина, и с ним хорошо спать, и ты каждый раз ждешь ночи, словно нового открытия, с нетерпением. И не нужно за него дрожать, кусок хлеба рабочему человеку всегда обеспечен, ни зависти, ни подсиживаний, хватит. И обязательно нужно добиться, чтобы при галерее открыли салон для продажи картин, старик Сергеев не прав — почему купля-продажа? Художникам надо жить, сам Ворохов обещал помочь и поддержать.

Какая приятная вода, ее сильно нагрело, парная. В самом деле, присмотреться, и виден легкий, прозрачный туман, испаряется. Изумительный оттенок воды — голубовато-зеленый, есть в нем успокаивающая лень, тихая и даже задумчивая. Едва ощутимый ветер с берега, поросшего на меловых холмах сосной, доносил запах земляники, и Инна решила переправить одежду на противоположный берег и побродить по лесу; после некоторых попыток ей удалось собрать все в небольшой узелок, привязать на голову; подплывая к противоположному берегу, она знала, что на нее смотрят. Она чувствовала внимательный взгляд из-за густых ореховых кустов. Она не могла определить, зверь это или человек, но взгляд чувствовала и пыталась нащупать ногами дно, оказавшееся совершенно рядом. Пригнувшись, она пошла к берегу, затем вызывающе выпрямилась во весь рост, громко спросила:

— Эй! Кто здесь?

Замерев, прислушалась, она уже решила было, что ей показалось; в кустах раздались приглушенные смешливые голоса, и вскоре она увидела два мальчишеских лохматых затылка — темный и рыжий, мелькнули и пропали; она стояла и улыбалась.

— Вот дурачки,— пробормотала она, быстро набросила на себя одежду и поднялась на кряжистый лесной холм, поросший по макушке старыми соснами — они ее заинтересовали еще с того берега. «Взять и остаться здесь на-

всегда,— подумала она внезапно.— Есть грибы и траву, а захочется хлеба или мяса, кого-нибудь ограбить на дороге, сделать себе какую-нибудь нору».

Она нашла удобное место, устланное густым слоем хвои, поросшее голубыми колокольчиками и длинной редкой лесной травой, и легла и поняла, что сосны гудят и земля гудит тихо-тихо, далеко, еле слышно, как ощущение некоей бесконечности и силы, к которой теперь и она принадлежала, потому что лежала на земле связанная с нею от самого рождения; ах, какие мысли! «Какие мысли!» — сказала она себе насмешливо, глядя в солнечное высокое небо, оно неровными, меняющимися кусками светилось среди зеленых вершин, какое небо, никогда не видела подобной красоты.

Она опять чуть не расстроилась, вспоминая внезапно свою жизнь, сразу всю, сумбурно, как будто она взяла и в один момент сразу и прошла и от всего оставила ей одного Савичева, и сейчас, куда бы она ни обернулась, о чем бы ни подумала, везде был только он. Да, а если бы не ее настойчивость, разве он смог бы? — спрашивала она неизвестно кого, пытаясь найти причину на право оставаться рядом с ним; да нет же, нет, а сколько женщин именно так живут, по привычке, по необходимости, наверное, я чуть постарею, и он уйдет, ну и пусть, так должно быть, не может же он полностью простить за прошлое, ведь это противоестественно. Подумаешь, портрет, да, портрет — совсем забыла. И все-таки это она сама, значит в ней было нечто такое, раз он увидел ту свою неповторимость, давшую портрету жизнь. Зря она расстроилась. Все хорошо. Она родит ему ребенка и будет ему хорошей помощницей. Что другое, а поддерживать в трудную минуту она умеет, такая необходимость останется для него навсегда. Или нет? Удивительная жизнь человеческая, до чего смешно! И пожалуй, вначале она правильно решила, нужно уйти от него, освободить, ужасно тяжело, если рядом чужой непонятный человек, даже если еще можно терпеть и не замечать. Но это до поры до времени.

Солнце переместилось, и она теперь лежала до груди на солнце, здесь на холме среди старых сосен воздух был особо пахучим и свежим; ощущение свежести получалось от легкого ветра у самой земли, она чувствовала, как он слегка шевелит волосы у нее на виске. И она заснула.

Время состояло из солнца, зноя, радостных длинных дней, теплых дождей, дорог, самых невероятных ночевок, туманных и дождливых ночей, время сплеталось из множества встреч и красок. Савичев никогда заранее не определял свой маршрут, он жил одним днем, часом или минутой. Иногда он блуждал и однажды целый день не мог выбраться из лесу, долго обходил топкое, душное болото; зарисовок он почти не делал, он лишь смотрел на все вокруг и удивлялся, что раньше ничего этого не видел и мог жить.

Ведь вначале он просто думал забраться в какую-нибудь деревню подальше, с красивыми окрестностями, с лесами и рекой, и пожить, попить молока, походить на натуру, поговорить, и он уже было нашел такой поселок в южной части Воропянской области, с чудесным названием Семихолмье, и старуху нашел, которая согласилась варить ему картошку и покупать молоко у соседей, самой ей по старости корову было держать не под силу, но, прожив с неделю в Семихолмье, исходив все кругом, на третий день он не выдержал и ушел дальше, решив обязательно добраться до мест, где родился отец, хотя знал, что это село Высоцкое в войну уничтожено, осталось немного семей, и те перешли жить в другие места.

В обыкновенном солдатском мешке он нес котелок, кружку, тонкое солдатское одеяло, изношенное почти до невесомости, несколько блокнотов и запас карандашей; правда, он почти всегда был голоден, но это неудобство с лихвой возмещалось другим: тем поразительным чувством единства со всеми этими дорогами, полями, перелесками и людьми, которых он узнавал мимоходом. Прорвался какой-то искусственно огражденный вал, и жизнь хлынула со всех сторон; он не представлял ясной цели своего похода и обрадовался, когда вспомнились однажды военные дни, изнуряющие ночные марши в сорок первом в надежде немного оторваться от немцев и к утру закрепиться на новом рубеже и удержать.

Он не вспоминал ни об Инне, ни о Лагутинове, ни о работе, он шел и шел. Когда его внимание что-нибудь останавливало, он сбрасывал вещмешок, доставал альбом и делал зарисовки. И эти короткие, беглые зарисовки становились его внутренней связью с миром, его постижением и

радостью, и больше, чем ему, они не могли сказать никому другому, это был дневник и мир его мыслей и чувствований. Он глядел на скупой набросок какого-нибудь взгорья с березой, и перед ним оживали краски и запахи; сейчас во всем мире существовал лишь он и то, что он должен был отыскать, а все прошлое исчезло, и настоящего не было. Оставалось лишь чувство поиска, идти, идти, идти, где-нибудь да встретишь. Вчера он остановился в одной лесной деревушке из сорока дворов, заинтересованный чистотой деревенской улицы, ровно поросшей зеленой упругой травой «мурогом», как ее здесь называли, и крутым высоким обрывом, вдоль которого и раскинулись в один порядок приземистые избы; внизу сквозь густую зелень просвечивала лесная речка, и между деревьев густо змеились тропинки, по ним жители спускались за водой; Савичев осмотрелся и не заметил ни одного колодца, очевидно, вода была глубоко, не достать, и он с недоумением пожал плечами, почему первожители здесь сразу не поселились на берегу реки? Как раз перед ним за лес внизу садилось солнце. Савичев, жмурясь, огляделся кругом, выбирая, в какую избу идти проситься ночевать; его уже давно разглядывали издали ребятишки и две старухи в широких длинных юбках, а вообще на деревенской улице было малолюдно, лишь в двух местах клепали косы, и чистый резкий металлический звон непрерывно висел в воздухе, потом прошло по улице немногочисленное стадо, голов двадцать. Коровы лениво отмахивались от комаров хвостами, поворачивая каждая к своему двору, высокий худой подросток-пастух хлопал длинной плетью и с усталой хрипотцой покрикивал. Перед избой, где стоял Савичев, навстречу пегой с белой залысиной корове вышла женщина лет сорока пяти все в такой же широкой юбке. Увидев ее, пастух громко сказал:

— С тебя магарыч, тетка Фрось. Твоя сегодня обгулялась, как мы сошлись стадами с мирохинцами. Насилу угнал ее.

Он пошел дальше усталой походкой довольного, выполнившего свое человека, и тетка Фрося широко перекрестилась, смахнула с широкой, гладкой спины коровы налипший лесной гнус, затем повернулась от ворот и крикнула вслед пастуху:

— Спаси бог тебя, Колька! Как-нибудь отдарок теперь за мной, не забуду.

Пастух оглянулся, довольно тряхнул плетью, и Савичев подумал, что он еще совсем мальчик, ну лет четырнадцати, не больше, а для этой деревеньки он уже работник, уважаемый человек, и его отдаривают, и водки подносят. И Савичев с тем же беспокойным чувством поиска решил попроситься ночевать к этой женщине, что-то очень грустное и кроткое звучало в ее голосе, он немного подождал и решительно прошел к большому крыльцу, здесь у всех изб было крыльцо с довольно искусной резьбой, звездочки, веточки, поднялся на ступеньки и постучал. Откуда-то из-за угла появились двое мальчишек лет десяти — двенадцати и стали глядеть на него, затем старший выставил вперед ногу и сказал:

— Тебе чего? Это наша хата.

— Ваша? Мать позови, мальчик.

— Она корову доит,— с той же недружелюбностью отозвался старший и, боком продвинувшись к окну, стукнул в стекло.— Эй, Нюрча, выдь сюда, тут один маманю спрашивает.

Савичев сел на узенькую лавочку на крыльце, с интересом наблюдая за мальчишками; он услышал быстрые легкие шаги в сенях, дверь открылась, и вышла девушка-подросток, еще костлявая и не оформившаяся, с лицом как бы от рождения удивленным, с раскосыми живыми глазами, с прямым, ровным носом и совершенно правильным овалом лица.

Савичев с невольной улыбкой встал навстречу. Нюрча, рассматривая его, чуть пригнула голову, что сделало ее еще привлекательнее.

— Хотел попроситься заночевать,— сказал Савичев, и Нюрча удивленно и быстро глянула на него, пряча руки за спину.

— Не знаю, маманю надо обождать. Она сейчас придет.— Нюрча еще раз быстро глянула на Савичева и, преодолевая робость и застенчивость, спросила:

— А кто вы будете?

— Художник.

— Художник? — искренне и просто удивилась она.— Это тот, который картины рисует? Интересно. Мишка, Шурик, идите сюда, не бойтесь, дяденька художник.

Ребята подошли, старший, Шурик, недоверчиво поглядел на вещмешок Савичева, поинтересовался:

— Ты и меня можешь срисовать?

— Могу,— улыбнулся Савичев и поглядел на Нюрчу, она стояла босая, как и ребятишки, поджав одну ногу.

— А ты на фронте был? — опять спросил Шурик, явно с враждебной ноткой в голосе.

— Был,— вздохнул Савичев.— Все на фронте были.

— Нет, не все, у нас Прошкин с Козявкой в полицаях были,— возразил Шурик и поднялся на крыльцо, за ним поднялся и брат Мишка, в обтрепанных штанах чуть ниже колен и в грязной холщовой рубахе; он неотрывно глядел Савичеву в лицо.

— Если ты художник, бумаги покажь,— опять, уже более примиренно, сказал Шурик, и Савичев невольно рассмеялся.

— И бумаги есть, все как положено. Сейчас достану.

— Не надо,— Шурик застыдился.— Я тебе почему-то так поверил.

— Вот и хорошо.

В сенях звякнула дужка ведра; Нюрча заглянула в дверь и позвала:

— Мамань, тут, смотри, один ночевать просится. Художник, говорит.

— Господи, какой еще художник? Пусть к председателю идет, мало ли...

Тетя Фрося вышла на крыльцо, поправила платок сильными, жилистыми руками и, увидев Савичева, покачала головой.

— В хату с мужиком надо, а у нас тут бабы да дети...

— Мамань, он на фронте был, и бумаги есть,— перебил ее Шурик, и женщина неожиданно улыбнулась.

— Все уж разнюхал, успел. Господи, ну куда положу? Разве что в клетушку, в сенях... Да ведь и то, теперь теплынь... Ну коли хочешь, ночуй,— обратилась она теперь уже непосредственно к Савичеву.— Кликать тебя как, добрый человек?

— Антоном зовут,— отозвался Савичев, чувствуя себя неловко под ее глубоким детским взглядом.

— Меня Фросей,— просто отозвалась она, да тут же, видать, вспомнила, что те времена, когда ее звали просто Фросей, давно прошли, и со вздохом добавила: — По батюшке-то я Михайловна.

— Здравствуйте, Ефросинья Михайловна,— сказал Савичев, обрадованный состоявшемуся, наконец, знакомству,

и протянул руку, она застеснялась, вытерла свою о фартук.

— Вот только поесть у нас не густо. Молоко, спасибо, есть, картошка старая, приванивать начала. И то у нас, кто рано посадил, уже новую подкапывает.

— Я привычный, вы не беспокойтесь. Я заплачу.

— Куда уж,— махнула руками тетя Фрося.— Мы деньги за это не берем, свое, некупленное. Коль не погребуешь, давай клади свой мешок, садись с нами вечерять. Самый раз спать надо ложиться. У нас рано ложатся, чуть свет вставать привыкли. Господи, совсем забыла, сам откуда?

— Из Воропянска.

— Неужто пешком забрел? — удивилась она.

— Пешком. Иду себе да иду, никто не подгоняет.

— Господи,— сказала она, еще раз оглядывая неожиданного гостя и про себя дивясь, что разные люди живут на свете: один хлебушек сеет, а другой картинки малюет, тем и живут себе.— Шурик,— приказала она,— покажи человеку клетушку, сена собери с потолка, сбрось. А ты, Нюрча, дерюжку ту в сундуке достань...

— Не беспокойтесь, у меня одеяло есть.

— Не помешает,— сказала тетя Фрося.— Одеялом накинешься, к зоре и посвежее станет.

Савичев умылся у крыльца, сел покурить под неусыпным наблюдением младшего брата, но покурить он не успел, позвали ужинать, и он оказался за тяжелым дубовым столом, где каждому отдельно было положено по небольшому куску хлеба; картошка дымилась посреди стола в большой деревянной миске, тут же рядом вторая такая же миска с кислым молоком, его брали и носили ложками. Когда картошки стало мало, тетя Фрося подсыпала еще, подлила ради гостя молока. За едой не разговаривали; братья наелись первыми, стали толкать друг друга ногами под столом, и тетя Фрося быстро их выставила.

— Ну спать, спать,— приказала она.— Горе с ними. А дальше что будет? Так бандитами и вырастут без отца, где мне с ними сладить.

— В войну пропал? — спросил Савичев, внимательно вглядываясь в темное, изрезанное морщинами лицо хозяйки.

— В партизанах убит,— вздохнула тетя Фрося.— У нас деревня лесная, поголовно в партизанах была. И сын стар-

ший там же сгинул с батькой, как рассказывают, в одном бою пропали. Он у меня старше на два года Нюрчи родился — перворенький. И было ему тогда четырнадцать годков всего. У меня и Нюрча, бывало ходила к ним в лагерь, пищу проносила, всего повидала за войну, будь она трижды проклята... Господи, прости,— подняла она глаза на передний угол, на иконы.— Осквернила язык. Хоть и жалко девку, да свои голодом сидят, как бирюки, соберешь чего и пошлешь.

Нюрча, молча сидевшая до разговора с ней и блестящими глазами глядевшая на Савичева, потупилась, опустила голову.

— О-хо-хо, господи,— вздохнула хозяйка,— тяжеленько стало жить. Девку пора выдавать, восемнадцатый скоро, и хороший человек находится, а с чем?

— Перестань, маманя,— недовольно сказала Нюрча, не поднимая головы; Савичев видел ее маленькие порозовевшие уши.— Что ты чужому человеку? Завербуюсь куда-нибудь, уеду... Нужен он мне...

— Молчи, молчи,— приказала ей мать.— Своего-то ума пока не нажила, к другим прислухивайся. Везде теперь нашему брату хорошо. Раз учиться не пришлось, чего уж теперь хвост подымать. Находится хороший человек — иди. Не вертун, хозяйственный, в армии отслужил.

Это, очевидно, продолжался давний спор между матерью и дочерью, и Нюрча все указывала на то, что голая она не пойдет, надо сначала по вербовке заработать на себя, одеться, чтобы не стыдно было к мужу идти, и тетя Фрося в сердцах сказала:

— Матка тебе не враг, что ты выгляделась? А что я могу? Вон, говорят, завтра телка забирать придут, мясо-то мы второй год не платили. Мне точно известно, кум Прокопыч сказал, он только из сельсовета.

— Ты бы им папанины ордена в морду сунула,— запальчиво сказала Нюрча, взглянула на Савичева и опять угнулась, замолчала.

— Как же, тогда орденов надавали, а сейчас кто на это поглядит? Трудоспособная, говорит, и плати.

Несмотря на усталость, Савичев долго не мог заснуть и все ворочался на старом пыльном сене; сбоку в стене светлело маленькое окошко во двор; Савичев покурил, собирая пепел в ладонь, закрыл глаза, приказывая себе спать, и опять стал прислушиваться к глухим ночным шо-

рохам, лицо тети Фроси никак не шло от глаз, и он уже знал, что напишет ее и Нюрчу, таких лиц он никогда не видел. Мать и дочь. Он так и назовет картину, будет свежо и сильно. Как бы один человек — в молодости, и где-то возле старости, и позади еле заметный призрак времени, что-то неумолимое, огромное, как война, нет, как это можно здорово сделать. Он заволновался, сел и опять стал курить; очевидно, на улице взошла луна, он видел уплывающий сквозь окошко сизый разреженный дым. Потом, лежа в полусне и видя черт знает что, не зверей, не людей, он услышал близко крик петуха, очевидно во дворе, и отчего-то сразу успокоился, правда, успев удивиться такому обстоятельству. И проснулся он рано, часов в семь, хотя никто его не будил; у сеней на улице шумели, и он быстро оделся и вышел, вспоминая вчерашний разговор за столом. Он увидел трех мужчин и всю семью тети Фроси, еще несколько человек, женщин и старух, пожалуй соседок, и все они молча глядели на привязанного к столбу крыльца крупного бычка, в мать пегого, с белой проплешиной между пробившихся недавно рогов. А мужчины были, насколько мог понять Савичев, один председателем сельсовета, второй уполномоченный из района, третий агент по мясу, и все они наперебой требовали у тети Фроси подписать какую-то бумагу, а она стояла с каменным лицом, спрятав руки под холщовый передник, и каждый раз, когда ей что-нибудь говорили, она отрицательно качала головой. При появлении Савичева председатель сельсовета, мужчина крупный, лет сорока, судя по его багровому лицу, успевший выпить (был он в галифе и хороших сапогах), спросил у тети Фроси:

— Что за гражданин у тебя?

— Не видишь, человек. Шел да ночевать попросился.

— Я думал, зятя приняла,— весело сказал председатель сельсовета и вновь протянул тете Фросе бумагу, дрыгая выставленной вперед ногой и проявляя крайние признаки нетерпения.

— Подпиши, говорю, Ефросинья, не делай себе хуже. Никто не виноват, десять раз предупреждали платить.

— Не подпишу, Андрей, не лезь,— отвела его руку тетя Фрося.

— Ну дак мы и без твоей росписи заберем! — закричал председатель.— Советская власть вконец вас разбаловала. Тебе по-доброму, ты и уха не чешешь, второй год мяса не

платишь. А государство потреблять должно продукт всякий.

— Побойся бога, Андрей,— тихо сказала тетя Фрося,— ты мне сват, у меня их вон погляди — трое. Ослобони до осени, кабанчика сдам, курями отнесу, у меня же они вон голым телом светят, срамно перед людьми. Девке на люди не в чем показаться.

— Девке,— опять недовольно сказал председатель.— Тоже малютка! Что ты мне говоришь? Работать получше надо, нечего задницу отъедать!

— Бога побойся, сват!

— Сват, сват! Ты мужниными заслугами не загораживайся! С меня воп тоже спрашивают! Лай не лай, а хвостом виляй, приходится. Эй, Марья! — крикнул он высокой худой женщине, стоявшей со всеми в стороне и молча наблюдавшей.— Иди веди теленка на скотный двор!

Женщина недоуменно поглядела на него, недовольно сказала:

— Еще чего? Нашел дурочку! Сам отведешь, коль хочешь, не развалишься. Наел брюхо, на девятом месяце меньше бывает. Что, боишься скинуть?

Она отвернулась и пошла к своей избе, остальные молча стояли. Председатель, багровея еще больше и понимая, что никто не захочет вести теленка от соседа, бормоча ругательства, сам отвязал веревку и дернул сразу упершегося всеми четырьмя ногами телка.

— Тпрусь, проклятый, пошел! Пошел! Ишь, черти, языки понаточили, ходят как с ножиками.

Агент, высокий неразговорчивый мужчина, хлестнул теленка хворостиной, тот рванулся и потащил председателя на веревке, фуражка на голове у него подпрыгнула и скособочилась, он схватился за нее рукой, не выпуская из другой веревки.

Савичев, случайно взглянувший в сторону, увидел двух братьев, Шурика с Мишкой, они стояли с совершенно одинаковыми лицами, и только у старшего, Шурика, понимавшего больше, дрожали губы; почувствовав на себе посторонний взгляд, он сорвался с места и скрылся за углом избы, Нюрча тоже ушла, чтобы не видеть, а тетя Фрося все так же стояла и глядела вслед уходящим мужикам, как они гнали телка. Она словно оцепенела.

— Ладно, берите,— сказала она, высвобождая руки из-под фартука. Раз нужно, берите, как-нибудь переживем.

Не такое перетерпели, а уж тут как-нибудь выкрутимся. Может, оно и в самом деле нужно, ничего, другого выхожу.

У Савичева сжало горло, как-то ни к селу ни к городу вспомнились картины Лагутинова, у него ведь много было портретов колхозниц и картин из сельской жизни, и, хотя он тут же забыл, как-то страшно ему стало; Савичев отвернулся, не зная, уходить ли ему или остаться; остаться ему очень хотелось, он сходил в сени, принес свой вещмешок, достал альбом и стал зарисовывать лицо тети Фроси и все думал и думал, и еще раз словно что растопилось в нем, отпала еще одна тяжелая, сжимавшая шкура, он вздохнул полной грудью, глубоко и жадно; он не замечал собравшихся вокруг мальчишек, и они, постепенно осмелев, смотрели, смешно переглядываясь и раскрывая рты. Иногда останавливаясь на рисунке невидящими глазами, Савичев с удивлением начинал глядеть на себя как бы со стороны и издеваться над собою; вдруг ему показалось, что самое главное, это вот здесь, в избе тети Фроси, а то, что с ним происходило раньше,— бред и чепуха, ну хорошо, вот он напишет ее, а поможет ли это? Нет, не поможет. И его метания и задуманные мысли ничего не стоят, жизнь вот где. Взяли и увели теленка, с ним связано столько надежд на счастье, у теленка были наивные, непонимающие глаза. Нужно скорее вернуться, начать работать по-настоящему. Нет, нет, сейчас возвращаться нельзя, нужно не поддаваться, нужно остыть, научиться глядеть на все холодно и трезво, тогда выйдет толк. Необходимо увидеть побольше, ведь это оказывается интереснее, чем сидеть и пожирать собственные внутренности от вселенской скорби. Почувствовав у себя на щеке теплое дыхание, он оглянулся, Нюрча смотрела через его плечо в альбом.

— Господи,— сказала она, напряженно шевеля бровями,— а маманя совсем оживши. Как вы можете?

Савичев еле сдержался, чтобы не погладить ее по голове, как ребенка, столько в ее глазах светилось детского изумления; он вовремя удержался, она взрослая девушка, и бог знает что подумает. И он молча продолжал рисовать, и Нюрча ушла, и мальчишкам надоело, разбежались по своим делам; тетя Фрося, поглядев на него издали, поставила ему на лавочку крыльца большую кринку молока, положила рядом ломоть хлеба, вздохнула и пошла с бабами стоговать, а Савичев все не мог оторваться от альбома. Его

заставил остановиться чей-то голос, грубо окликнувший его один раз и второй. Он увидел перед собой высокого, слегка сутулого парня лет двадцати пяти в вылинявшей майке; он стоял прямо перед ним, заложив руки в карманы штанов и сжав зубы, в упор, не мигая, рассматривал Савичева.

— Здравствуйте,— сказал Савичев, наклоняя голову и защищаясь этим от солнца.— Вы, кажется, мне говорите?

— Тебе,— разжал губы парень.— Ты смотри, ты Нюрчу не трогай. Я на ней жениться буду.

Савичев захлопнул альбом, достал папиросы, с удвоенным любопытством оглядел парня.

— Так, так... ну давай тогда подымим. Ты что ж, серьезно задумал жениться? Не обижайся, я так...

— Коли так, не спрашивай зря.

Парень тяжело пошел и еще раз громко предупредил:

— Смотри же, я тебе не в шутку.

Савичев с улыбкой глядел ему вслед, по-доброму глядел, и хотелось ему что-то хорошее сделать, и чтоб грустно было.

35

Расспросив подробно тетю Фросю о дороге, Савичев добрался, наконец, до того места, где раньше находилось Высоцкое — родина его отца Василия Савичева; идти от Семихолмья пришлось километров пятнадцать лесом по мягкой, травянистой дороге, даже колеи поросли травой, забились прошлогодней листвой, и было полное одиночество, лишь однажды послышался тягучий скрип немазаных тележных колес, но ни лошади, ни человека Савичев не увидел. В тех местах, где деревья открывали землю солнцу, трава начинала сохнуть, дружно к зною стрекотали кузнечики, пахло грибами и ягодой. В одном месте Савичев остановился и прямо возле дороги набрал в фуражку переспевшей багрово-черной земляники, а затем ему под ноги попалась целая россыпь боровиков, они росли даже в затравеневших колеях, и он осторожно обходил их. Ему захотелось свежих жареных грибов, и он решил на обратном пути набрать и попросить тетю Фросю или Нюрчу поджарить; он не знал, зачем ему нужно попасть именно на то место, где было когда-то Высоцкое, но ведь

это неважно, исполнялось его давнее желание, и погода хороша, и места кругом — лучше не отыщешь. Он ничего не взял с собою, шел налегке, по дороге встречались мелководные ручьи с чистой проточной водой, с разрушенными мостиками; в топких местах настилы из бревен и веток набросаны прямо в воде по дну; Савичев, переходя вброд, снимал туфли, стаскивал брюки. Устав, он выбрал сухой высокий пригорок, грубо поросший доцветавшей медуницей, полежал в траве, отдыхая, прислушиваясь к неумолчной жизни кругом; даже в земле под ним слышалось какое-то движение; он чувствовал себя непривычно спокойным; тетки, Лагутинов, Ромка Копылов, даже Инна остались далеко, как нечто уже прошедшее; существовали лишь он и огромный, безлюдный мир воздуха, солнца, деревьев, бегущей воды, птиц и насекомых. Высоко кружили стрижи, значит, где-то недалеко были каменистые обрывы для их жилья. Все это время он искал новых впечатлений, встреч, интересных лиц и характеров; сам он был твердо убежден, что все это происходит стихийно, без всякого определенного плана и мысли, но и план этот, и одна оставшаяся мысль, скрытая в нем, была определенной, последние перемены в его жизни все в нем стронули и смешали, и теперь он пытался именно в себе найти основу, вокруг которой все бы выстроилось и обозначилось, он пока не вступал с Лагутиновым в серьезный разговор, не было подходящего момента да и времени не хватало; Лагутинов помог ему, и помог во многом, но хорошо ли это? Савичев не хотел никакого шума, ни собраний, ни разговоров с теми, кто был ему безразличен, он не переносил споров, и Лагутинов именно из-за своей органической привычки ввязываться во все оставался ему чужд; и далекие и близкие Савичеву люди, по крайней мере до сего времени, не стали для него чем-то необходимым, они его не могли или не хотели понять, и он до сих пор жил только в своем мире, и от этого ему было тяжело, но он ничего не мог сделать с собой, и ему казалось, что они пристают к нему, не имея на то права. И сам он ничего не мог сделать; беря в руки карандаш или кисть, он пытался объяснить тот или иной факт прежде всего для себя, а его пытались настойчиво уверить, что это необходимо для всех; краски, рисунки для него были особым миром, полным звуков, запахов, потрясений, горя и мысли; плутая и захлебываясь, Савичев искал ответа; для остальных этот мир был лишь

поводом высказать свое суждение, продуктом, готовым к употреблению; сколько раз он начинал ненавидеть Инну именно за это, и она, безапелляционно вторгаясь в его мир, казалась чужой, плоской, всеядной. Втайне он очень боялся людей, Лагутинова, Инны, теток, Кости Арефина — они все время стремились разрушить его мир, а он без того был достаточно зыбок, непрочен; защищая его, Савичев и сам уходил в броню, становился груб и раздражителен, молчал. Моментами казалось, что наступает ясность, но это были лишь моменты, и вот теперь, лежа навзничь и глядя в совершенно безоблачное небо над собой, Савичев думал, что все это ерунда, люди есть люди, и он только человек, и прежде всего и нужнее отыскать человека и в себе и в других, и для этого на земле — все, здесь скрыт смысл жизни и ее радость, и ее трагедия, и ее объяснение.

Он торопливо встал и пошел опять, теперь через дубовый лес, старые дубы стояли просторно, тяжелыми зелеными куполами, каждый отдельно, в высоком разливе лесных трав и ореховых кустов. Километра через три началось безлюдное поле, поросшее мелким березняком и ельником, дорога пошла на пологую возвышенность, и скоро он увидел заброшенные сады узкой полоской, несколько одиноких покосившихся телефонных столбов тут и там, густо поросшие черным бурьяном островки, места, где стояли избы,— это было Высоцкое, мертвое село, и дорога вела его на околицу — обугленные столбы от изгороди, отделявшей когда-то село от выгона, торчали из бурьяна. Савичев, пытаясь ничего не упустить, долго оглядывал открывшуюся перед ним местность; косогор, внизу петляла речка, разрушенная запруда для мельницы. «Ну вот,— сказал он,— а дальше?» — спросил он себя, не упуская ни одной мелочи, медленно двигаясь по прежней улице, по которой ходил, вероятно, на вечеринки, на работу отец. Савичев прошел все из конца в конец, заглядывая в обрушившиеся, сырые ямы колодцев — черная земля, затем слои глины, известняка, он подходил к селитьбам — местам, где раньше стояли избы, и думал: «Эта? А может, вон та, напротив, где однажды, разрывая для себя тьму, подал голос отец?» Савичев сорвал с цветущей полыни головку, помял в руке, послышался терпкий приятный запах горечи, защипало глаза. «Война пахнет и так,— решил он,— и я когда-нибудь напишу и такую войну, землю, бурьян, несу-

ществующие избы. Земля должна кричать, как кричит иногда от боли немой человек, без голоса, мускулами лица и глазами. Я назову такую картину «Тишина». Чтобы смотреть тишину и слышать крик, слышать, как плачут ночью. Все спят, и кто-то плачет — женщина, птица, прах». Савичев сжал кулак, чувствуя теплую, нагретую солнцем до бархатистости зелень горькой травы, с напряжением прислушался; того, что он хотел услышать, не было, была жизнь и ее голоса. Он все не сходил с места, не хватало голоса, что должен прозвучать с картины в совершенном безмолвии; пусть избы тоже встанут на место, и дети зашумят на улице, замычит скотина, застучат топоры, для него село должно ожить со всей разноголосицей самых простых человеческих дел, но светило солнце, ослепительное, горячее солнце лета, и росли травы. Он слышал, как они росли на свободе, беспрепятственно и жадно; жизни не было, и она была — всюду порхали бабочки и стрекозы, и в пушистых старых ракитах кричали воробьи, обыкновенные серые воробьи, казавшиеся несколько странными без людей; где-то здесь, у прудов, в оврагах немцы уничтожили поголовно всех: загнали в овраги, забросали гранатами около тысячи стариков, детей и женщин вместе со старостой, который работал на партизан. Ему необходимо увидеть взвившиеся вверх огненные потоки над избами, увидеть смерть там, в оврагах, лица, ужас, безумие; ему необходимо услышать взрывы и пулеметы, пусть гарь залепит ему гортань, пропитает насквозь от подошв до сердца, густая, едкая гарь человеческого жилья, он пройдет сквозь ряды серых одинаковых солдат, для которых это было всего лишь очередной операцией по ликвидации партизанских районов, он услышит потный запах солдатских тел; голоса, голоса — они ведь приказывали, исполняли, что-то думали, о чем-то говорили, они не могли просто молчать, у них ведь обязательно были машины, и потом кровь имеет свой запах, он хорошо знает, кровь пахнет тяжкой теплотой, она здесь везде, ведь потому так черны и обильны бурьяны кругом — для каждого здесь, от ребенка трех лет, узнавшего лишь солнце, вкус пищи и матери, до столетнего старца, прошедшего все этапы человеческих страданий и радостей, не он сам, а мир погибал, ведь разве в смерти поймешь, ты ли гибнешь или уходит мир?

Он должен пройти свой путь не свидетелем или судьей,

а участником; да, да, они подъехали на рассвете, в августе сорок второго, скорее всего со стороны Воропянска; конечно, они окружили село, потом со времен Сталинграда мы сами выучились окружать. А может, они приехали под вечер и расстреливали уже к ночи; нет, он обязательно отыщет овраги, он сейчас пойдет, и у него от жары начнут трещать волосы — он будет, спотыкаясь, идти, задыхаясь и хрипя, труден каждый шаг туда, к оврагам.

Савичев остановился сразу и тихо повернул голову; насторожившись, припав к земле, на него внимательно глядела лисица, острые уши, выпуклые блестящие глаза, вытянутый вдоль искристый под солнцем хвост; непуганый зверь с ожиданием во всем теле следил за человеком, оказавшимся здесь неизвестно зачем, Савичев видел шевелящиеся ноздри, сухие передние лапы, застывшие в напряжении.

— Ну, что? — спросил он неуверенно, и его голос прозвучал в тишине оскорбительно громко; лисица метнулась в заросли, едва он открыл рот, и он еще некоторое время видел, как легко шевелится по ее пути бурьян.

Савичев сел на землю, ему надо было к чему-то прислониться: от нагретых трав, от земли воздух знойно отяжелел, и он не мог больше выдержать, он не мог дальше один нести тяжесть опустошения, тысячи глаз глядели на него с ожиданием и нетерпением, а он был один, как безумец, решивший поднять гору. Да, вот оно, сказал он себе, с трудом проталкивая воздух пересохшим горлом, вот оно когда пришло, начало, вот где объявлен поединок, вот она, моя война, моя Россия, вот сейчас я во всю силу почувствовал ее твердь, и ее дух, и ее страдание. Не хрустнет ли только хребет в единоборстве с такой мощью? Ведь и в мертвой деревне живет она — Россия, живет своим прошлым, и настоящим, и тем, чему еще надлежит свершиться,— в пепле немолчно гудели колокола, а ну, взойди осмелься на эту Голгофу, войди в этот торжествующий праздник, поборись, останови, крикни: «Я хозяин!» Ну, так что? Бери свой крест и лезь в гору, сколько шагов тебе отмеряно? Десять, двадцать? А может, сто, а может, до вершины? Но ведь не каждому дано дойти, попытался он возразить, и теперь ты знаешь, что пойдешь! Пойдешь! Пусть один шаг, пусть два, не мерено запретное царство, и, ступив в него, нельзя вернуться.

Глупец, все сражался со своими духами, а борьба настоящая, вот она где.

Он лег навзничь, вжался в землю твердым затылком; в открытые глаза лилось жаркое полуденное солнце и потом пришла слепящая чернота; он жадно вздохнул, сел, ничего не видя, ослепленный, и было в нем чувство странной бесконечности. А Петька Евстратов клал в стену кирпичи, а тетя Фрося кормила детей, и чуть свет бежала на работу, и все уговаривала свою дочку идти замуж, а вот там над лесом движется дым, идет поезд, движется жизнь, а он стоял на месте и думал, что движется. У каждого остается свой след, свой дым. Может быть, только дым. Он исчезнет, а вот это все останется — зной, трава, земля, простор кругом, все то, что зовется Россией, и вот он, Савичев, посреди безлюдья и солнца всего лишь незначительная частица, осколок этой земли по имени Россия, и у него мучительно горит сердце, и кажется ему, что оно, его сердце, огромно и вместило сейчас все, и от этого нестерпимо трудно дышать. А что, говорит он себе, чего же здесь не понять? Ее топтали, рвали в клочья, а она стоит, эта русская земля; ее жгли и уничтожали, а она стоит; ее мощь, ее дух пытались подорвать исподволь, без крови и грохота, втираясь в нее по-хамелеонски тихо и незаметно, а она стоит; ее заливали кровью из края в край, и она стоит и строит, строит, строит, и есть в этом неистовстве начало подлинного бессмертия людей, неутомимая жажда жить и родить, вызов богу и черту, что всегда бывает в глубинных силах земли, и ничто в мире не заставит человека останови́ться.

Савичев просидел в мертвом селе почти полмесяца. Рисовал до изнеможения, до отупения, на бумагу рвались толпы людей, кричащие рты, заломленные руки, бурьяны и расплавленное солнце, старый, обрушенный колодец, и привыкшие убивать глаза; память разворачивала перед ним, казалось, исчерпанные свои запасы, но однажды Савичев почувствовал, что больше не может. Он сложил все в походный мешок и долго сидел сгорбившись и глядел опустошенными глазами на источенную ржавчиной железную бочку, которая каким-то образом оказалась перед ним, раньше он ее не замечал. Оторваться и встать было трудно, в ногах была слабость, и хотелось спать, тут же свалиться бы в траву и закрыть глаза, отдаться полностью тишине и покою.

Летние дни тянулись долго, работа заканчивалась в шесть, и оставалось много свободного времени, Инна не спешила уходить домой, она еще раз осматривала многоцветное свое хозяйство, ходила по темным, без окон комнатам, наводя порядок на стеллажах, проверяла процент пыли и влажности, записывала показания термометров. В такие моменты она чувствовала себя важной, хотя и посмеивалась над собою; она была хозяйкой богатств, созданных и накопленных столетиями; она часто доставала ту или иную картину и долго рассматривала ее, порой лишь со второго, третьего раза начиная понимать ее достоинство и смысл. Правда, хорошая картина, уверенная кисть мастера оставляли след в душе, проходило время, и появлялось смутное беспокойство, желание увидеть еще и еще раз; и однажды словно рождался тот таинственный вздох в душе, тот отсвет, что связывает тебя с далекой жизнью, и ты находишь в ней неповторимое свое, помогающее увидеть себя с неожиданной стороны, и невольно заволноваться, и о чем-то дорогом и ускользнувшем пожалеть, и еще подумать, что не все пропало (нет, нет, не все!), и замереть от неизъяснимой горечи и красоты жизни.

Инна постепенно добиралась до самых потаенных уголков хранилищ, сверяла все с описями и часто сердилась; обнаруживались нигде не зарегистрированные картины, чаще кисти безыменных мастеров, беспомощные, но бывали и очень удачные копии с великих мастеров, чаще французских живописцев классической школы; все эти титулованные дамы, кронпринцы и королевские династии украшали раньше родовые имения воропянских помещиков, рамы потрепались, краски потускнели и стали сдержаннее в звучании, но копия, она и была копией и не могла передать цельности и девственности кисти мастера, оригинала, налет вторичности присутствовал, давил когда-то рожденную вдохновением жизнь, хотя все пропорции, размеры и краски были соблюдены. Их слишком старались соблюсти, и было просто добросовестное исполнение, техническое совершенство фотографии, был фасад блистающего дворца с невольно разграбленным нутром, была церемония, шел торжественный молебен во славу давно исчезнувшего бога, и слушатели взывали в пустоту, знали об этом и молчали.

Инна не любила копий, как бы звучны и точны они ни были, и все старалась собрать их в одно место: у нее тоже была своя борьба и свои победы; в ее царстве тоже были пасынки, но вчера ей пришлось порыться в них вместе с директором: меняли экспозицию по случаю посещения Воропянска большой делегацией из Польши, лучшие копии со знаменитых французов, итальянцев были пущены в ход, им отвели отдельный зал; из самой Польши ничего не оказалось, хотя Сергеев уверял, что до войны в фондах музея была копия крепостного художника с двух портретов Казимира Войняковского, и долго недовольно рылся в описях, близко, на ладонь, поднося бумаги к очкам. Инна изучающе спокойно наблюдала за суетившимся весь день Сергеевым, тот то и дело приказывал менять картины местами, совался во все углы в поисках пыли, тихо и почтительно советовался о чем-то с товарищем из обкома; не понимаю, сказала себе Инна, как можно быть умным, тонким человеком, с большой эрудицией и вкусом и так всего бояться. Давно нужно идти в управление культуры (еще лучше бы сразу в обком), пропадут фонды от сырости, лезет со всех углов плесень. Трудно, конечно, с помещением, но ведь необходимо, хорошо, удалось убедить старика пойти к Борзунину, теперь уж она от него не отстанет.

На другой день она пришла пораньше; посещение поляками галереи было запланировано на десять утра, и ей хотелось поглядеть, ради чего они старались всю неделю. Она поздоровалась с сотрудниками, с Сергеевым, одетым в глухой черный костюм, белый воротничок сорочки резко оттенял бледную старую шею; Инна видела, как Сергеев здоровался с выходящими из автобуса поляками, увидела широкое улыбающееся лицо Лагутинова, рядом с ним Костю Арефина с толстым блокнотом.

— Мужики-то на наших похожи,— сказала рядом с ней Григорьева, тихая женщина, служительница галереи, она продавала билеты у входа и присматривала за первым залом.— Только одеты почище. Наш-то Захар Алексеевич не уступит.

Инна кивнула ей и отошла в сторону; Сергеев сам повел гостей, объясняя и показывая; один из поляков, молодой, белый, с крепкими зубами, переводил; Сергеев рассказывал о создании галереи, об историческом прошлом Воропянска, о революции, давшей возможность сосредоточить художественные ценности в одном месте, сделать их

доступными народу, о фондах галереи и порядке обмена с музеями страны; Лагутинов шел за ним следом неподалеку, держа светлую шляпу в руке, и со сдержанным любопытством присматривался к полякам; он поздоровался с Инной издали, легким кивком, вспомнив Антона, чуть сдвинул широкие светлые брови. Зря Сергеев так уж разливается соловьем, можно бы покороче, по глазам этих видно — скучают. И нужно бы побольше о современном положении дел; Лагутинов оглянулся, как раз в то время Сергеев указал на него и назвал его фамилию как основателя Воропянской картинной галереи и выдающегося современного художника, мастера эпических историко-революционных полотен. Лагутинов наклонил голову в легком поклоне, делая выражение лица полунасмешливым-полусерьезным.

К Инне подошел Костя Арефин, вполголоса поздоровался.

— Доволен наш папа Карло,— улыбнулся он.— Я знаю, когда он доволен. У каждого свои слабости, простим их ему. На мой взгляд, он все-таки личность, а это в наш век не так часто встретишь,— он тряхнул волнистыми, чисто промытыми волосами и опять улыбнулся.— А я о вас вчера думал, Инна.

— Что же вы обо мне думали? — спросила Инна, отмечая его бледность и пугаясь слегка, потому что ей захотелось притронуться к нему: он был весь молодой, светящийся изнутри, с неделю назад она видела его с тоненькой черноглазой девушкой; они прошли мимо, не заметив ее. Когда же, когда ушло чувство, что ты все можешь, что тебе все нипочем? Инна сдержала вздох, переспросила: — Так что же вы обо мне думали, Костя?

— Вы знаете, мне захотелось пригласить вас в кино, я уже совсем собрался разыскать вас, да в последний момент...

— У меня был вчера свободный вечер,— сказала она, невольно втягиваясь в легкую приятную игру, предложенную им; она чувствовала себя просто и уверенно, чувствовала свое длинное, стройное тело, затянутое в зеленовато-тусклый шелк, и к этому взрослому мальчику, Косте Арефину, была у нее скорее снисходительная нежность при виде его свежего лица и его робости в разговорах с нею, он ей чем-то напоминал сейчас Антона до войны, но Антону тогда не было и двадцати, и из жизни выпало, может

быть, самое лучшее, что-то потеряно; не было вот таких робких ухаживаний, первых прикосновений, приглушенного шепота в подъезде, она все молчала, и словно кто подтолкнул ее сразу, безоглядно, в самую стремнину, к самой обнаженности.

Внешне спокойная, с тем же выражением лица, она лишь стала смотреть мимо Кости, в спины переходивших в другой зал вслед за Сергеевым поляков.

— А завтра, Инна,— настойчиво повторил Костя Арефин,— завтра у вас свободный вечер?

— Может быть,— сказала она почти машинально, не вдумываясь; все это не больше, чем слова, милая детская игра, человек изменился, и другие у него интересы.

— Я вас завтра найду,— сказал Костя,— вы будете у себя? Скажем, в шесть?

— Вам не о чем будет писать, Костя, в вашем отчете, шеф опять будет недоволен вами,— мягко улыбнулась она и протянула ему руку.— Идите, идите.

— До завтра, Инна,— он с нетерпением поглядел ей в глаза.— За меня не беспокойтесь, напишу, я тертый волк.

Отходя от нее, он оглянулся, шевельнул пальцами руки, еще раз прощаясь и стараясь скрыть нахлынувшую радость; наконец-то, наконец, говорил он себе, опять стоя рядом с Лагутиновым и держа блокнот перед собой лишь для виду и ничего не понимая из объяснений Сергеева. А я-то, дурак, не решался раньше подойти, мучился и не решался, она явно заинтересована мной, она обещала мне завтра! Завтра! Завтра! Она ничего не сказала, но я видел это по глазам, сколько я думал, она не любит резкостей, но я завтра буду с нею один, совершенно один, я скажу ей, что люблю, обязательно скажу: я не могу больше. Я ей скажу об этом после кино, нет, я приглашу ее в ресторан в парке на берегу Воропы и там скажу. Хотя нет, я скажу чуть раньше, где-нибудь по дороге, в полумраке, в аллее. Осел! А если она ждала все это время, а я-то, я! Завтра, завтра все это кончится... Нет, начнется, завтра все начнется, завтра все начнется сначала, это неважно, что я у нее не первый, важно другое, я не могу без нее. Когда-нибудь я расскажу ей все, как ходил с девчонками, а представлял, что это она рядом, и как не мог решиться подойти. И чего он так долго говорит? — с ненавистью подумал он о Сергееве.— Чего он тянет? Тоже оракул! И эти, рты разинули, ничего не понимают, а делают вид, ехали бы в

свой отель, знатоки! Еще почти весь день, ночь, потом еще день, а потом... А если все сложится иначе? Нет, испугался он, нельзя так сразу. Она ведь не девочка, тут же стал успокаивать он себя, к женщине нужен более трезвый подход, а то и подумает — слюнтяй, недотепа!

Лагутинов, повернувшись к нему, что-то сказал, и он недоуменно переспросил и тут же стал густо краснеть, проклиная и себя за такую мерзкую слабость и Лагутинова, что лезет не вовремя с вопросами; Лагутинов покосился на него, глядя с доброй насмешкой, но уже ничто не могло разрушить ту внутреннюю приподнятость, что овладела им; он лишь пожалел Лагутинова, как богач подвернувшегося под ноги и случайно обратившего на себя внимание нищего, и, не дожидаясь конца осмотра галереи поляками, заторопился писать отчет в газету, нужно было сделать к трем часам. И он написал его легко и быстро, почти подвал и сам удивился и обрадовался, как хорошо и свободно он написал, материал вышел емкий, приподнятый, он удачно вклинил в него упоминание о Костюшко и о трагедии Варшавы в войну, и сам редактор, просматривая, не нашел к чему придраться и, недовольный этим и каким-то непривычно светящимся лицом Кости, подозрительно взглянул на него несколько раз, и стал читать вторично, с наслаждением вычеркнул в одном месте запятую, в другом сократил слишком затруднительный оборот и подписал в полосу.

Вечером Костя долго не мог заснуть и все боролся с собой и со своим желанием немедленно, сейчас пойти к Инне, постучать в дверь и сказать: «Вот и я. Делай что хочешь, я пришел». И это было настолько сильно, что он вскочил, оделся и долго бродил по ночным улицам и заснул лишь под утро, совершенно измученный, но все в том же состоянии ожидания; он проснулся уже часов в девять и, встрепанный, не умываясь и не завтракая, помчался в редакцию; запыхавшись, он сел за свой стол, развернул газету: его статья была на второй полосе, он полюбовался заголовком и, стараясь не обращать внимания на насмешки и шутки других сотрудников, медленно прочитал все с начала и до конца, иногда останавливаясь, затем отодвинул газету, сдвинул брови; кажется, с Лагутиновым он все-таки переборщил, когда назвал его большим мастером, воспитавшим немало выдающихся молодых живописцев. Он почувствовал, что ярко краснеет, тут же стараясь утвердить

себя в искренности высказанного в статье. Какая ерунда, сказал, наконец, он с досадой, Лагутинов отличный мужик и действительно художник, на всякую шавку уздечки не накинешь. И потом это газета, сегодня прочтут, завтра забудут, и весь разговор. Самое главное, время идет, и настанет же когда-нибудь и вечер, нужно успеть к вечеру побриться и переодеться, затем под каким-нибудь предлогом улизнуть из редакции. Папа Карло, конечно, поворчит для видимости при встрече, но кому не приятно! История разберется, а жизнь надо делать, жизнь любит сильных, кто сильный, тот и прав.

Он сходил в буфет внизу, съел гуляш и выпил чаю, сохраняя сосредоточенное выражение лица, но уже час спустя он опять думал только о вечере и о встрече с Инной и, когда, наконец, вошел к ней в маленькую комнатку, заставленную шкафами и заваленную грудами папок, пахнувшими плесенью, сразу увидел перед нею развернутую газету, как раз на том месте, где была его статья, и вдруг безошибочно и окончательно понял, что все пропало, и медленно, мучительно покраснел, и стал некрасивым, угловатым; Инна сложила газету, придавила ее какой-то папкой, и по ее торопливым рукам и лицу он понял, что и ей стыдно и что ему нельзя было приходить.

— Я вот... понимаете, Инна,— сказал он беспомощно, отчаянно приказывая себе выпрямиться и улыбаться, преодолеть неожиданную внутреннюю подорванность, каменно вставшую между ним и этой женщиной.

— Здравствуйте, Костя,— сказала она ровно,— рада вас видеть.

«Неправда! — подумал он отчаянно.— Зачем ты говоришь неправду!» Он чуть не выкрикнул это, шагнув вперед, не решаясь протянуть руки.

— Вы согласились вчера пойти в кино,— сказал он, пытаясь поймать ее взгляд.— Я билеты взял.

— Разве? — он уловил в ее ровном голосе некоторую напряженность.— У меня много работы после вчерашнего нашествия. Как-нибудь в другой раз.

— Нет, нет,— остановил он ее и с сильно забившимся сердцем подошел вплотную к столу. «Сейчас я ее поцелую,— сказал он себе,— поцелую, и все. Будь что будет, она потом поймет, что иначе я не мог, простит».

— Костя! — сказала она, предупреждающе кладя руки на стол, готовая встать.

— Не надо,— попросил он,— не надо, Инна, не смотрите так на меня.

— Что с вами, Костя? Успокойтесь. Я же сказала, в другой раз. И потом, вы принимаете все слишком к сердцу. Так нельзя. Вас надолго не хватит, впрочем, я забываю о вашей молодости.

Он стоял и слушал, не в силах уйти, и не в состоянии больше слушать, и понимая в то же время, что этот момент принадлежит только им одним и связывает их, помимо всех остальных людей и дел, и, пытаясь хоть этим оправдаться перед собой, все никак не мог найти в себе сил повернуться и хлопнуть дверью. «Ах, проклятая статья! — думал он.— Чтоб у меня руки отвалились, когда я за нее брался».

И не в его статье, надо думать, дело, сами Лагутинову в глаза засматривают, это же фарисейство, если так. Даже если я переборщил, могу же я высказываться...

Нет, какая она все-таки умница и как деликатно умеет отвесить пощечину. Удивительная, непостижимая женщина! Что она нашла в своем Антоне? Облом обломом против нее. Впрочем, это уже не по-мужски, тебе-то какое до всего этого дело? Тебе ясно указали на дверь. И надо уйти, немедленно уйти.

— Простите, Инна,— сказал он, шевеля деревянными губами.— Будьте счастливы.

Он заставил себя не заметить протянутой ею руки, медленно достал из кармана билеты, поглядел на них, задумчиво сунул обратно, вышел на улицу, его сразу охватила духота и солнце, и он, не зная, куда направиться, пошел наугад, стараясь ни о чем не думать; в самом деле, какой-то дикий заскок, помрачение, пойти лучше искупаться, ну чего он представил из нее богиню, надо быть умнее и выше, и статья здесь ни при чем, просто не повезло. Тоже мне добродетель, подумаешь, люблю! Знаем, как вы любите, и прекрасно, другая будет, стоит только свистнуть.

Костя оглянулся, навстречу, вслед за ним, рядом шли, торопились люди, и каждый, вероятно, думал, что он главное и основное в жизни, и все это смешно и глупо, и потому не стоит огорчаться из-за частных неудач. Не везет в бабах, повезет в другом, можно добиться известности и получить свое, например, Государственную премию первой степени. Самое главное — захотеть.

Идиот! — с тоской сказал он себе наконец, внезапно останавливаясь, и его толкнули.— Что ты перед собой-то мерзкие рожи корчишь? Какую пощечину отхватил, лучше не придумаешь. И обижаться не на кого, сам подставил, никто не виноват,— добавил он, все сильнее осознавая случившееся, мучаясь и проклиная себя, Инну, Лагутинова.— А вдруг она сболтнет при случае, например, Полине Гавриловне, и та начнет понимающе вздыхать, заходить издалека, чтобы по своей мягкосердечности помочь, она любит опекать в таких случаях, глаз теперь туда не покажешь.

На другой день ровно в одиннадцать, как было назначено, Инна с Захаром Алексеевичем Сергеевым пришли к Борзунину; секретарша, с любопытством обежав Инну взглядом, пошла докладывать, и Сергеев нервно поправил узел галстука на ощупь и печально улыбнулся Инне, он пошел к Борзунину только по настоянию Инны и своей улыбкой говорил, что все равно ничего не выйдет из их затеи и потому они зря теряют время.

— Еще посмотрим,— Инна прошлась по приемной, мельком отметив идеальный порядок на столе у секретарши, пеструю сумочку, тюбик губной помады.— Удивительно, людям чаще всего приходится доказывать именно необходимые истины. Не для себя же мы с вами хоромы просим, Захар Алексеевич!

Вернулась секретарша, тряхнула тщательно уложенными волосами и, довольная в душе своей значимостью, сухо попросила несколько обождать. Сергеев уселся в уголке и развернул газету; Инна, мельком взглянув на часы, устроилась возле маленького столика с журналами. Листала старый «Огонек», думала об Антоне и о вчерашней выходке Кости. Ее охватило чувство заброшенности, тоски, оно пробилось изнутри, и она как-то сразу ощутила враждебность вокруг себя, и молчаливой от сознания собственного достоинства секретарши, и Сергеева, шуршавшего в углу газетой (это ведь она его заставила пойти к Борзунину против воли), и прохладных чистых стен приемной; да что поделаешь, она как-то особенно остро чувствовала свою ненужность здесь, всматриваясь в большую, во весь лист, фотографию. Детское пухлое лицо, улыбка, простодушная радостная улыбка без всякой причины. Так могут улыбаться только дети, ямочки на щеках, чистый от-

крытый взгляд. Человеческий звереныш, таинственная начинающаяся судьба, которая совершенно неясна.

С тихим холодком в груди она закрыла журнал, отодвинула его подальше; стрелки часов переместились еще на полчаса, секретарша что-то отстукивала на машинке. Инна откинулась на спинку стула, прижмурила глаза, в открытую форточку залетал теплый густой ветер. Вернется Антон, решила она, обязательно вытащу его за город, поживем несколько дней где-нибудь вдвоем, мне ведь все равно с выставкой в Мало-Шаронинский район ехать, вот и он пусть едет, там, говорят, места чудесные, озера. Будем ходить ночью купаться.

К Борзунину они попали примерно еще через час, он поднялся навстречу из-за стола, сухой, с запавшими глазами, и, здороваясь, сказал:

— День сегодня трудный, прошу прощения, давайте сразу к делу. Проходите, садитесь. Инна Викентьевна, вот здесь удобно,— он кивнул на спинку кресла и стал закуривать, упорно и долго щелкая зажигалкой и раздражаясь.— Бензин кончается, не успел утром заправить.

— Пожалуйста, спички,— сказал Сергеев, протягивая коробок, но Борзунин все-таки прикурил от своей зажигалки и, усаживаясь на свое место, позволил себе улыбнуться.

Инна, внимательно за ним наблюдавшая, заметила вслух:

— Однако вы не даете себе раскиснуть, Дмитрий Степанович, вас в этом не упрекнешь.

Борзунин удовлетворенно кивнул:

— Характер начинается с мелочей и теряется в мелочах, Инна Викентьевна. Итак, товарищи,— он круто сменил разговор,— вы, конечно, опять насчет помещения для фондов?..

Сергеев пожевал губами, посмотрел в угол, ему не хотелось начинать разговор, он заранее был уверен в отрицательном ответе, и встретил их Борзунин слишком уж любезно, по-домашнему, и в приемной продержал больше часа, словно у них и дел других нет.

— Видите ли, Дмитрий Степанович,— сказал он медленно, понимая, что разговор по обязанности все равно придется начинать ему и никуда от этого не денешься.— Мы вот сегодня с Инной Викентьевной вдвоем, дай, думаю, предпримем такой демарш. Молодой, красивой жен-

щине труднее отказать, чем старику, вот я и выложил все свои карты. Действительно, с фондами положение угрожающее, если мы своим силами не справимся, нужно немедленно что-то предпринимать э... э... э... экстренное.

— Что же именно, Захар Алексеевич?

— Выход один, передать Москве, что крайне, подчеркиваю, нежелательно.

Борзунин сунул папиросу в набитую до отказа пепельницу, вздернул плечи и задумался с желчным лицом, перебегая взглядом с Сергеева на Инну и обратно.

— Так... Государственно продумано, Захар Алексеевич. В войну увезли, сохранили, а теперь чужому дяде? Нет, дорогие товарищи,— он встал, навис над столом.— На это никто вам санкции не даст. Понятно? А что нам скажут воропянцы?

— Вы, Дмитрий Степанович, только, пожалуйста, не агитируйте нас,— бледнея, сказала Инна, она не выносила, когда на нее повышали голос.— Мы-то понимаем, нас агитировать нечего, важно, чтоб поняли вы! Крышу уже лет десять назад перестилать было надо, там ни одного живого места не осталось, никто не берется чинить. Картины цветут, подлинники гибнут, мы просто обязаны обратиться в министерство, наш долг прекратить это варварство, а мы в ответ только слышим: «Вопрос изучается».

— Инна Викентьевна, успокойтесь,— лицо Сергеева, и без того серое, еще более потускнело.— Вот темперамент,— извиняюще улыбнулся он Борзунину.

— Да, вопрос трудный, вопрос изучается, жилищный вопрос — открытая рана нашего времени.

— Но вы-то еще и не пытались его решить! Не верю, чтобы в целом городе не нашлось одного подходящего помещения,— говоря, она не отрывалась от лица Борзунина, глаза его было невозможно найти, поэтому она обращалась ко всему лицу целиком. Вначале он подался назад, как если бы перед ним неожиданно ожила и заговорила пепельница или графин с водой, затем у него загорелось в глазах любопытство, затем желание оборвать, и все это вместе взятое еще подхлестнуло ее, и она, не обращая внимания на пытавшегося остановить ее Сергеева, легко поднялась из массивного, приземистого кресла и вышла из-за стола.

— Вы в облисполкоме были? — допрашивала она.— Нет. А в обкоме наконец? Тоже нет, мне это доподлинно известно. Об угрожающем состоянии картинной галереи

в обкоме не знают, докладные наши не доходят. Разумеется, идти к начальству, требовать, надоедать, дело неприятное, но что же делать, Дмитрий Степанович? Нам тоже не очень-то хотелось идти к вам, не воображайте, что очень приятно по два часа сидеть в вашей приемной, снимать экскурсии, отказывать школьникам и разглядывать вашу секретаршу. Вы хоть ее бы научили вежливо с людьми обращаться.

— Я ведь уже извинился, Инна Викентьевна, действительно было много работы,— неожиданно улыбнулся Борзунин, хотя работы срочной у него не было и он сознательно продержал их в приемной, чтобы поставить на свое место и оградить себя на будущее.— Я понимаю, вы сегодня раздражены, но легче всего обидеть человека незаслуженно. Неужели вы действительно думаете,— голос его зазвучал почти проникновенно,— неужели вы думате, что судьба наших идейно-художественных ценностей мне безразлична? У меня с Воропянском вся жизнь связана, я не какое-нибудь перекати-поле. Да, если честно, я еще никуда официально не обращался по этому вопросу. Важно подготовить почву. Вы молоды, горячности в вас много, а я на этом деле зубы сточил. Самое главное, дождаться удачной ситуации. Один раз отказ схлопочешь, вторично труднее будет вдесятеро чего-нибудь добиться. Момент. Момент выбрать — вот главное. Сейчас как раз складывается благоприятная обстановка, я вам обещаю, при первом же удобном случае. Давайте не портить друг другу кровь, а помогать, товарищи. Будем дружны, едины,— он подчеркнул последнюю фразу,— непременно воз стронется.

Когда закрылась за посетителями дверь, Борзунин еще долго не мог успокоиться, секретарше приказал никого не принимать, обложился бумагами, но не шла из головы эта служительница прекрасного. Конечно, с передачей фондов Москве — это ее идея, Сергеев до такой смелости не додумался бы. Этот свой, воропянский. Ишь, чего захотела, передать. Ты, что ли, их собирала — передать. Ездят тут всякие перекати-поле, чужого им не жалко, только денежки загребать. И муж у нее какой-то странный, непонятный. Смотреть надо лучше за собой, свое дело делать, критиковать легче всего. Завтра же зайти в галерею, поинтересоваться, как она справляется, экскурсию ее послушать. Так ли уж эта дамочка прытка в своем собственном деле. Передать, тут стыда одного не оберешься, сразу

понаедут из Москвы комиссии да ревизии, а Москва-то сплеча рубит... Да, такую обещаниями не успокоишь, придется, видно, идти на прием к самому. И Ворохов тут не решит.

Возвращаясь домой, Инна остановилась у полуразрушенной церкви, груды битого кирпича наполовину завалили главный вход, узорчатые железные решетки во многих окнах были выломаны, и в расщелинах стен выросли деревца, молодые тополя, и Инне вдруг представилось, что когда-то на колокольне этого храма бухали колокола, в широко распахнутые врата шли люди со своими болями и надеждами и находили, пожалуй, утоление, а сейчас развалины, пустота, и растут топольки, заранее обрекшие себя на гибель. Инна пошла дальше, оглядываясь, и тут же одернула себя. «Ах, ну какая ерунда,— сказала она себе с досадой.— Все это потому, что Антона долго нет, невозможно, скоро два месяца, как его нет».

От стен, от тротуара шло тепло, давно не было дождей, и все было сухое и пыльное.

37

Савичев возвратился в Воропянск гораздо раньше, чем обещал и сам собирался; нетерпение начать работу по-настоящему взяло верх. Дома его ожидало несколько писем от теток, одно от Ромки и одно уж совсем неожиданное от академика Савостина, написанное в официально-торжественной манере, чуть шутливой, со старомодными оборотами, и Савичев, наскоро пробегая письмо, подумал, что это не иначе дело рук Татьяны Дмитриевны, но уже в конце письма ему пришлось пожать плечами.

— Какая выставка? — поглядел он на Инну и увидел ее сияющие глаза, от волнения, как всегда, чуть косящие, он притянул ее к себе, поцеловал.

— Брось ты эти письма,— попросила она,— потом...

— Рада?

— Спрашиваешь... Не знала, как дождаться. Господи, а загорел-то, загорел! Бриться думаешь?

Она снизу потрогала ладонью его светло-рыжую бороду, глупо сказала: «Ой, как интересно!» — и, чувствуя себя совершенно молодой, счастливой девочкой, прижалась к нему.

— Не надо бриться, так даже интересней. Настоящий мужчина, лесной, первобытный.

— Удобные были времена,— засмеялся Савичев.— Надоела жена, хлопнул ее, посадил на вертел, съел, ищи другую. Нет, я все-таки побреюсь.

Пока он брился, полоскался в ванне, Инна накрыла стол, достала припрятанную тяжелую плетеную бутыль с вином, ей хотелось, чтобы на сегодня Савичев забыл все, кроме нее, принадлежал только ей, она хотела ему нравиться. Вся звенящая, легкая, стремительно ходила из комнаты на кухню, все спорилось в руках, получалось красиво и в меру, она поглядела на себя в зеркало, и, счастливая, перевернулась на одном каблуке раз и другой, и, вспомнив, как чуть с ума не сошла от собственного портрета, засмеялась, и побежала на кухню. «Да,— решительно встряхивала она тщательно уложенными, волнистыми волосами.— Хочу, чтобы этот день был только моим, что плохого! Разве не заслужила? Вполне заслужила».

Она подошла к двери ванной, постучала.

— Скоро ты там? Можно взглянуть?

— Если не боишься, прошу,— весело отозвался он.— Ух, и накупался, сотню пудов с себя свалил.

Чуть приоткрыв дверь, Инна заглянула: он стоял на резиновом коврике и вытирался мохнатым полотенцем.

— А ты ничего,— сказал она, подробно осматривая его и делая серьезное лицо.

— Ты разочарована?

— Ты мне не изменял? — спросила она, становясь в дверях.

— Подожди, дай одеться.— Савичев повесил полотенце, открыл ванну, и вода, уходя, сразу забулькала.

— Нет, ты мне сейчас скажи,— настаивала она.— Я сейчас узнаю, правду ты скажешь или...

— Конечно! — удивился он.— Из-за чего бы я стал киселя хлебать? Оп!

Он схватил ее за плечи, потянул к себе, она от неожиданности вскрикнула, вырвалась, остановилась в коридоре.

— С ума сошел. Тут же все слышно — такие двери.

Она дразнила его, стояла и дразнила, глядела, как он одевался, и тогда он захлопнул дверь, защелкнул задвижку. Инна подергала, сказала «Трусишка!» и пошла на кухню. Потом они сидели за столом. Савичев ел курицу с жареной картошкой и пил красное вино. Инна смотрела

на него с некоторой недоверчивостью, казалось, прикоснись — и исчезнет. Она подошла и притронулась к его руке, он поднял голову.

— Надо бы водочки взять,— сказал он.— Ты же знаешь мое рабоче-крестьянское происхождение.

— В другой раз. Сегодня не хочу, чтобы ты был пьян. Потом ты мне все расскажешь, хорошо?

— Конечно. Почему ты сама не ешь?

— Я уже сыта твоим возвращением. Раньше срока, вот удивил. Судьба послала,— она засмеялась.

— А если бы война? — спросил он.— И я опять на несколько лет...

— Молчи, что ты! Я бы теперь с тобой пошла, медсестрой, поваром, кем угодно. Война страшнее вот именно здесь, в тылу, где беспросветная работа, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Ни облегчения, ни радости. Впрочем, я не хочу об этом говорить. О чем это я? Ешь. А ты какой-то другой, Антон,— добавила она тихо, все присматриваясь и стараясь понять.

Он взял еще кусок курицы и налил вина.

— Если кто придет,— сказала Инна,— нас дома нет, мы будем молчать.

Савичев отставил руки, чтобы не притрагиваться, не пачкать, поцеловал ее в нос, допил вино, не отрывая от нее взгляда.

— Спасибо,— сказал он, и она так и не поняла, благодарит ли он ее за стол или еще за что, но ей было все равно.

— Я люблю тебя, Антон,— почти угрожающе-серьезно сказала она.— Ты должен всегда помнить, я тебя люблю. Мне через несколько дней в район надо, Мало-Шаронинский, ты поедешь со мной. И не пытайся отвертеться, не выйдет. Я бы с удовольствием отказалась...

— Зачем? — сказал он, глядя на нее блестящими глазами.— С удовольствием поеду.

38

У Лагутинова последнее время было пугавшее жену и раньше состояние, он нигде не показывался, круглые сутки проводил, запершись в своей мастерской, даже Полину Гавриловну не впускал, сидел молча, затем валился на

продранный жесткий диван и, глядя перед собой в потолок, думал. Он выходил, лишь когда жены не оказывалось дома, это являлось большим неудобством, и Лагутинов однажды подумал, что нужно как-то провести воду, сделать уборную прямо в мастерской; эта идея засела плотно и несколько разрядила подавленное состояние; он пытался работать, испортил несколько холстов и все никак не мог сосредоточиться на чем-то одном, он всегда имел дело с привычной натурой, и сейчас его словно душил стянувшийся круг, и он, стараясь разорвать его, принимался рисовать то черта, то начинал копировать репродукции Васнецова. На четвертый день он с отвращением поглядел в угол, где были грудой навалены старые холсты, и с тупой привычной болью по всему затылку пошел к жене мириться. Он уже имел опыт и приготовился упорно молчать, но все пошло необычным путем, и он растерялся. Полина Гавриловна дала ему поесть, перед этим принесла тройчатки и положила на бумажку рядом со стаканом воды.

— Выпей. .

Это было ее единственное слово за весь вечер, она разобрала постель себе и мужу, собралась, посидела перед трюмо, безучастно глядя на свои многочисленные флаконы и баночки, машинально сдула пыль, кое-что передвинула, еще помедлила, и легла, оставив зажженный ночник, мраморную глыбу с башней (Лагутинов сам высек из куска голубоватого камня). Полина Гавриловна ни о чем не думала, лишь жило в ней скверное, тяжелое чувство, что жизнь прошла и толку нет, ни детей, ни радости, все отдала мужу, а он вот такой ненормальный, и стоило ли ради этого? Находились и другие, один теперь генерал, можно судить, сколько времени прошло, тогда молоденький был, пух на губах. И звали в школе Васенькой. Сейчас, естественно, Василий Захарович, генерал, герой войны, недавно приезжал, весь город встречал с плакатами да знаменами. Как он за нею бегал в свое время, даже плакал! Поди угадай, какой человек из какого получится. Невероятно все в жизни. Жила бы себе в Москве, всякие удобства, почет не хуже, боже мой, боже мой, как жизнь бездарно прошла, невообразимо, рыдать хочется. И ничего не сделаешь, ничего не изменишь, здесь и объяснять ничего не надо, сразу понятно.

Полина Гавриловна заплакала, осторожно вытирая слезы под глазами кончиком простыни.

Надо успокоиться, опять станешь дурно выглядеть утром, сказала она, уже не молода, всякая мелочь след оставляет. Хорошо, путевку достали, хватит с нее подобной неврастении, хоть на месяц почувствовать себя человеком.

Она услышала шаги мужа, вытянула руки и закрыла глаза, она действительно не хотела с ним разговаривать, полежать бы молча, успокоиться и уснуть; сквозь неплотно сжатые веки она видела, как муж осторожно прикрывал дверь, затем на цыпочках подошел к своей кровати, разделся и лег. Рука его потянулась выключить ночник.

— Подожди,— остановила его Полина Гавриловна,— я еще встать хочу.

— Пожалуйста...

Лагутинов поворочался, затих, он уже понял, что сейчас начнется очередная проработка, и приготовился терпеть. Конечно, чудес на свете не бывает, подумал он, а впрочем, так и надо. Что ж, смотреть на мои безобразия, терпеть и молчать?

Он сосредоточенно покосился, покусывая слегка пересохшие губы.

Освещенное зеленоватым светом, лицо жены казалось напряженным и злым, она почувствовала его взгляд и повернула голову, посмотрела.

— Так и будем в прятки играть? — спросила она.— Ну, ну, давай...

— Тебе обязательно надо, чтобы я начал себя поносить,— разозлился Лагутинов.— Я сам не рад, удержаться не могу.

— Больше двух лет ничего подобного не было, Коля. Не может быть, чтобы без всякой причины.

— Говорю же тебе... Ну, какая причина?..

— Знаю,— жестко и зло сказала Полина Гавриловна, и Лагутинов приподнялся; когда у нее становился такой неприятный голос, она действительно начинала говорить много жесткого, все-таки она была умна и чутье у нее, как у кошки.

Он хотел остановить ее, приготовился мирно предложить перенести разговор на завтра; увидев ее глаза, он сказал себе «А-а!» и откинулся на подушки. «Может, в мастерскую уйти ночевать? — подумал он, морщась от боли в ушах.— Надо ведь и кончать когда-то, завтра день пропадет».

И Полина Гавриловна, молча наблюдавшая за ним и

все отлично понимавшая, не удержалась, слишком велика была ее обида.

— Головка болит, миленький,— жалобно протянула она.— Бедненький, может, тебе еще тройчатки принести? Мне впривычку ночами не спать, я же у тебя за няньку. Господи боже мой, какая я дура, послушалась тебя и бросила работу. Какая дура, на хорошем счету была. Ведь ты слабовольный человек, разве я не вижу. Это ведь все из-за щенка — Савичева. Ну, скажи, зачем ты включил его работы на московскую выставку? Хочешь сам себя перескочить? Добренький, кому пыль в глаза пускаешь? Без году две недели и уже выставляться в Москву! Люди десятки лет сидят, как негры...

— Замолчи, что ты понимаешь,— не выдержал Лагутинов.— Бездарь сидит... А это...

— Что это?

— Талант! Помочь надо, продвинуть, такой художник...

— Так, так, сам не можешь, начинаешь таланты открывать. Давай, давай, ты его откроешь, он гляди, тебя закроет!

Лагутинов хотел что-то сказать, сделал несколько судорожных движений горлом и сел, во все глаза глядя на Полину Гавриловну: такой он ее еще не знал; он сам чувствовал, как у него горят щеки и во рту сохнет,— проклятая баба, присосалась на всю жизнь, словно в душу глядит, вот ведь как. Да ведь ты хоть и умна, да баба, ничего не понимаешь и никогда не поймешь. Он остановил ее тяжелым, откровенно ненавидящим взглядом.

— Нет, ты ничего не понимаешь и никогда, кажется, не поймешь,— сказал он ей.— Разве я тебя и твои мысли не вижу? Ты у меня как на ладони, голенькая. Да, я иду ко дну, как художник, но ты, ты, ты разве не участвуешь в моем потоплении? Я тебе все могу вспомнить, день за днем всю нашу жизнь записать... Сколько ты меня одергивала, боже мой! Молчи! Я тебе слушать приказываю, я бы тебе никогда этого не сказал, но ты сама напросилась. Я сейчас спокоен, ты же видишь.— Он изобразил на лице усмешку.— Я, мама, так думаю: там, где начинается культ женщины, преклонение перед нею, начинается распад, разложение. Гибнет семья, государство, народ. Это можно проследить в веках, по литературе хотя бы. Ты не гляди на меня, как на сумасшедшего, у меня факты в руках. До-

шел Соломон до своей «Песни песней», и рассыпалась его Иудея, как игрушечный домик. А древние греки? Припомни их трагедии перед общенациональным упадком. Как сильны и ярки там женщины, от них любая крупная инициатива. А результат не заставил себя ждать. Так-то, мама, преклонение перед женщиной — первый признак бессилия нации, здоровые силы подорваны, физический и духовный кризис.

Полина Гавриловна слушала его с недоумением, никогда еще он не разговаривал с ней так грубо.

— Успокойся,— сказала она, выбрав минуту.— У нас еще далеко до этого, сплошной домострой. Не ищи виновных в каких-то сомнительных доводах...

— Тише,— сказал он внезапно почти шепотом.— Может, мне и вправду лучше бы в хозяйство пойти, инженером быть, да не тебе о том судить! Замолчи! — повысил он голос.— Это я сам знаю и сам себя судить буду. И послушай раз и навсегда: в мои дела не лезь, раз ни хрена не понимаешь! Дура! Открыть такое, как Савичева, да это мне даст больше, чем вся жизнь в придачу с твоей! Слышишь! Молчать! — сказал он каким-то совершенно иным голосом, вскочил с постели затопал босыми ногами.— Молчать! Как я решил, так и будет, хватит, повертела ты мной! А в это дело не лезь, не позволю! Молчать! А то я тебя ударю! Молчать! Молчать! — говорил он всякий раз, когда жена хотела что-то возразить, и всякий раз стремясь показать, что он совершенно спокоен. Он говорил с наслаждением, отдаваясь полностью нахлынувшему чувству уничижения и гнева, и ему казалось, что становится легче, в этой волне, все нараставшей, как бы растворялись, изчезали все его обиды и недоумения на жизнь, и то, что ему не написать больше ничего значительного, и что он не может бросить кисть, и что ему ясно, почему так сложилась, просто не оказалось рядом человека, который схватил бы его за руку и крикнул отчаянно: «Да что же ты делаешь с собою, мерзавец! Что ты делаешь!» Художник должен непрерывно идти вглубь, как шахтер вгрызается в землю, только там подлинная жизнь, нетленные ценности, а поверхность пуста и ложна, как бы она ни была расцвечена.— Боже мой, сколько я работал! — сказал он себе.— И ведь на совесть, самозабвенно, изо дня в день годами, годами! И был горд, уверен, что на верном пути. А может, так надо было, и сама жизнь бросила нас, как навоз для

нового урожая? Чушь,— тут же подумал он с омерзением,— не ищи козла отпущения. Ты же теперь видишь, что можно и нужно было иначе, было бы меньше денег, но разве ты из-за денег писал сытые, тупые лица, неизвестно, почему сытые, и неизвестно, чем довольные, и палитра беднела, как мелела бы река, обруби ей вдруг притоки. И остался полувысохший ручей, грязная стоячая лужа. Удавлюсь! — внезапно решил он, с ненавистью глядя на красивые плечи жены, на свои картины (картины!), на всю добротную, удобную обстановку, которая для того только и предназначалась, чтобы гасить, отуплять любой непривычный порыв.

И Полина Гавриловна тоже затихла, молча, широкими глазами глядела на него, затем отбросила простыню, прошла по толстому, пружинистому ковру и, несмотря на его явное нежелание, даже сопротивление, обняла его за шею, насильно посадила на кровать и сама села рядом.

— Не надо, Коля, опомнись, родной,— говорила она, стараясь успокоить его руки.— Что же делать, что делать? Жить как-то надо... надо...

— Вот именно, как-то,— отозвался Лагутинов, обессиленный вспышкой гнева, опустошенный.

— Кто же виноват, судьба такая у нас, значит. Нам нечего на жизнь обижаться, людям хуже бывает.

— Знаешь, мама, я больше так не буду. Вот честное слово. Через неделю уедешь, отдохнешь, я очень рад за тебя.

Полина Гавриловна, вздохнув, уложила мужа, легла сама и погасила ночник; намаявшись, она все-таки заснула. Лагутинов же ворочался до утра, ходил в ванную мочить затылок холодной водой, и, когда начало светать, вышел на балкон, и долго сидел, обхватив голову ладонями, и ему казалось, что от этого боль утихает. Дом стоял на высоком месте, большая часть города была видна отсюда. Взошло солнце, оно не было видно, но засветились мокрые от росы крыши, кое-где проблескивала Воропа, и все тонуло в зелени, в густых садах — садами Воропянск славился. Лагутинов стоял и блестящими глазами глядел вокруг — это был его город, он отдал ему жизнь, а ведь мог уехать и в Москву и, на худой конец, в Ленинград, дурак, погнался за прочным положением, куда уж, первый парень на деревне. Да, а что тогда нужно? — с тоской спросил он себя и тут же поджал губы. За ответом далеко не-

чего ходить, талант нужен, талант, и разменивать его на поделки — значит совсем оскудеть и зачахнуть. Главное — быть правым перед собою. Талант, он как дерево, что стоит, растет, зеленеет, а подлей ему под корни отраву, потихоньку зачахнет. Ведь пробовал уже, ничего не выходит, хотелось, чтобы стоял человек и смеялся, просто человек, так нет, деревянно получается, привык, сколько он их переписал героев и героинь, со строгими спокойными лицами, с тяжелыми от работы руками, с добротой и мудростью в чертах, во взгляде, господи боже мой, он мог их писать с закрытыми глазами, сразу по нескольку штук; теперь он ищет виноватого! Только кого он может назвать, кто из знакомых поступал иначе? Таких он что-то не припомнит, это стало правилом, законом, если хотите, и нечего хвататься за голову. Веление времени, его отличительная черта. Все мы лезем в пророки, не имея на то никакого права, кричим о национальном самосознании. Нелепость оно, это самосознание, коли к нему подходить так примитивно, и, конечно, с другой стороны — великая сила народа, если основано и воспитано культурным наследием веков, вот именно, в процессе исторического роста и на вечных, пусть неразрешимых, проблемах бытия тоже. Национальное самосознание — душа народа, с его глубинными и вечными процессами, часто запутанными и непонятными, но никогда — ложными. А мы что предлагаем? Неприкрытый утилитаризм, ха, недавно принимали работу — свинарка в окружении свиней, моет поросенка, дебелая дура-баба в своем самодовольстве, без проблеска человеческой мысли. Истинный художник до этого не дойдет, скорее подохнет.

Лагутинов потрогал голову, кажется, успокоилось, осталась лишь тяжесть в затылке, а так ничего, жить можно. Полина хоть и умна, но ни черта не понимает. Будто сам он не знает, что значит рекомендовать к выставке картины Савичева, сразу и Савостин прослышал и отозвался, оказывается, он в отборочной комиссии. Столько лет прошло, и помнит какого-то сопатого студентишку. Удивительно! Значит, не он один ошибается, и это уже не ошибка. Другое дело, как будут восприняты и оценены работы Савичева широко, пожалуй, это самое интересное, здесь стоит и рискнуть, кстати, сам он ничего не теряет и в любом случае можно отделаться. Не первый раз выкручиваться, ошибся, все люди. Конечно, лучше бы Савичева придер-

жать и для него самого, пусть бы окреп, а с другой стороны, когда же еще становиться бойцом, чистым художником легко быть, вот попробуй все это организовывать, сколачивать и чистым остаться. Нет, решено, два, три полотна пусть выставит, добьюсь, чтобы они прошли. Прогремит, всему Воропянску почет, накроется, другой разговор... Тогда будем и думать.

Лагутинов стоял, держась за холодные прутья решетки, и, опять вспоминая обидные слова жены, кипел возмущением, и думал не только о Савичеве, но и о молодых вообще. Конечно, им теперь что. Раньше агитировать нужно было, мы больше пропагандистами были, о художестве нам не приходилось думать, времени не случалось. Мы для них навоз с грязью месили, а теперь, слышно, и в Москве появляются ниспровергатели, видите ли, героика да монументализм их уже не устраивают, бишь, кто это мне говорил недавно? Кажется, из Москвы кто-то приезжал... Ах да, этот Мослаченко, хороший парень, свой, тоже возмущался.

И что-то двойственное разрывало в этот момент Лагутинова, он решил больше не думать, он сам ни в чем не виноват, пожалуй, ему даже больше хотелось успеха для Савичева, потому что он чувствовал себя перед ним обязанным, в конце концов он чуть не силой заставил его взять в руки палитру, теперь нет-нет и начинал чувствовать некоторую неловкость. Он как нерасторопный папаша, ждал одно, появилось другое, и все-таки он папаша, пусть всего лишь крестный, но подчас и дух тяжелее тела, ничего, может, и пронесет. А нет, злее будет, больно уж размазня, не поймешь. Не успел вернуться, с Инной уехал, поговорить как следует не пришлось, дня через три-четыре должны быть в городе. Молод еще, за бабой таскается, хотя что в том плохого. Баба что надо. Надо сразу будет съездить узнать, как вернутся, готовиться надо, пора, три месяца не так уже много времени, вряд ли он новое напишет, у него многое получается как-то незаконченно, бесспорно талантливо, но незавершенность налицо. И потом все это надо официально оформлять, нужно его согласие. Каков субъект,— возмущался Лагутинов,— уйти бродяжничать куда глаза глядят и ни одного письма за все время, хотя бы открытку бросил. Крестничек, от такого благодарности не жди, Полина права...

Лагутинов вернулся в комнату на цыпочках, прошел

в мастерскую и стал расхаживать туда-обратно, шаркая шлепанцами. Он попробовал подмалевать березовую рощицу, что-то свет его не устраивал, и сразу устал, и пошел варить кофе. В одиннадцатом часу, ничего не говоря жене, Лагутинов собрался и ушел; Полина Гавриловна проводила его долгим взглядом, и он и она подумали об одном и том же. С самого начала у них установилось неписаное правило: они, если не хотели, никогда не говорили друг другу, куда уходят и зачем. И может, впервые Полина Гавриловна поняла, как это хорошо и необходимо.

39

Дни мелькали как-то уж слишком быстро, остался позади и Мало-Шаронинск, тихие лунные ночи и парящие озера, тишина маленького деревянного городка, его пестрый базар.

Савичев получил из Москвы большой денежный перевод ровно на десять тысяч; на второй день пришло письмо от Татьяны Дмитриевны, и все объяснилось. Она писала о своей радости, что он стал, наконец, на путь истинный, что эти деньги она посылает от чистого сердца, и обязательно выберет вскоре момент приехать, и что все равно она кладет лишние деньги на книжку на его имя. Как бы там ни было, но Савичев не вернул перевода, он считал себя вправе взять, неожиданная помощь оказалась очень кстати. В другое время он еще помучился бы, взять или нет, но сейчас он был так переполнен своим, что даже забыл поблагодарить; писать он уезжал рано утром за город, с первым автобусом и возвращался поздно вечером; как-то он вошел в силу, что ли, и дни, когда он многими часами выстаивал под палящим солнцем, в старой войлочной шляпе, были как бы продолжением ночей, и все мешалось, и Инна все чаще пыталась его остановить, да он и сам чувствовал, что так долго нельзя, нужна какая-то точка, плоскость, на которой нужно остановиться, задержаться, просто проснуться. И однако, в нем, несмотря на всю сумятицу и заполненность до предела, жила еще одна нота, она все время звучала в глубине, где бы он ни был и что бы ни делал, и тогда он все бросал. Главное, основное впереди, работа идет по пустячкам, не хватает силенок, должной подготовки, краски мельтешат и однообразны, каждый

новый цветовой штрих дается с трудом. Иногда он начинал перелистывать альбомы, в них скопилась масса всяких набросков — заготовок, портретов, сделанных торопливо двумя-тремя штрихами, детали часто приводили в недоумение: откуда они и зачем? Однажды он наткнулся на карандашный набросок портрета Фроси и дальше не стал смотреть, отодвинул в сторону, конечно, он боялся этой работы, все время думал о ней и боялся начинать. Казалось иногда — охладел, забыл, но вот стоило наткнуться, и все сразу ожило, зазвучало, протянулась откуда-то рука и сжала, сжала в груди. Как раз то, стоит попробовать. Надо начинать, глаза боятся, а руки делают, силы пока еще имеются, на выставку бы и поспел. Правда, не очень ясно, почему Лагутинов так настаивает на его обязательном участии, но если он говорит, вероятно, надо, опыта у него больше, и тетка пишет, что это хорошо, явится стимулом. После обеда зайду к Лагутинову,— решил он,— поболтаю, новости расскажет.

Он оглянулся, увидел на подоконнике тарелку с большими зелеными огурцами. Инна поставила, уже знает, молодые огурцы моя слабость. Почему «уже»? — тут же засмеялся он.— С самого детства знает, ведь я больше всего любил огурцы с солью и с черным хлебом. Всегда.

Он взял огурец, откусил, пошел искать хлеб и соль; Инны с утра дома не было, ушла, пользуясь свободным днем, по своим делам, и он мимоходом пожал плечами. Сколько, оказывается, у женщины может быть самых невероятных дел, мужчина, пока не женится, не столкнется в самой близкой жизни с женщиной, и не подозревает. Отрезав хлеба и посыпав его солью, Савичев стал есть у окна на кухне и глядеть во двор; очевидно, он все-таки тяжелый человек, четвертый год в Воропянске, и, кроме Лагутинова, ни одного близкого знакомого, хотя, очевидно, здесь есть и хорошие люди, не однажды к нему подходили, начинали разговаривать, а он спешил как-то оторваться, все ему казалось не то, мелко, пусто, плоско. Вот сейчас и скучно и людей кругом нет. Одна Инна, может быть, она — это самое необходимое и важное, одно другого не заменит.

Он хотел сходить еще за огурцом, его остановил настойчивый звонок, несколько раз подряд, так Инна не звонила; Савичев подумал, что это, пожалуй, почта, открыл и увидел вспотевшее лицо Лагутинова.

— Не ждал,— засмеялся тот.— Здорово, Антон. Был

тут, в этой части города. Дай, думаю, загляну, хоть поглядеть на него. Кстати, новости хорошие. У тебя квасу, случаем, нет?

— Откуда? Мы квас только на улицах пьем.

— Бесшабашная пошла молодежь. Я тоже сейчас без присмотра, Полина собирается на Кавказ в следующий понедельник ехать, но квасок заготовила. Как же без своего квасу? Достали в Цхалтубо путевку.

— Мне Инка говорила. А что, серьезно нездоровится?

Лагутинов вытер лоб платком, налил воды из графина, выпил и сел.

— Чепуха. Пунктик бабий. Только ты, ша, ни звука никому. Ты же знаешь, детей у нас нет, вот она опять поехала, бездетные женщины, как правило, боятся стареть. А куда? Пятый десяток. Молчу, все легче. Трагикомедия. Сколько раз предлагал, давай возьмем из детдома, да ведь женская логика особая — чужой, говорит, не то. Глупо. Ну, ладно, как у тебя дела?

— Помаленьку. Застопорилось, лень какая-то, не пойму.

— Пройдет. Пережал, брат. Нахрапом сразу не возьмешь. Инна на работе?

— Нет, сегодня дома. Куда-нибудь по магазинам убежала.

Лагутинов, еще раз вытершись большим носовым платком, вскочил, открыл окно и, устроив сквозняк, подставил себя под свежую струю, постоял, поглядывая на Савичева, сощурился.

— Добился я, брат Антон, нового помещения под картинную галерею, и самое главное — обещали быстро сделать. Так, кое-что только переоборудовать. Спасибо Ворохов помог — хотели магазин посадить. Раз. Во-вторых, установлен точно срок выставки — две недели во второй половине октября. Здорово? Ну, сознайся, что здорово. И готовься, я на тебя много надежд возлагаю. Первое крещение, брат — ого! — надолго запоминается. В пятницу у нас по этому поводу собрание, в правление в три часа приходи.

Скрывая недовольство и несогласие, Савичев бесцельно походил по комнате, тронул подоконник, переложил с места на место книгу на тахте; Лагутинов наблюдал за ним.

— Не знаю, с чем. Может, не стоит, Николай Акимович... Право, подумайте, пройдет года два-три, будет видно.

— Надо, надо, Антон,— Лагутинов подошел к нему, взял за плечи.— Поверь мне, старому волку, в подобных делах я не то собаку, крокодила съел. Художник выстаивается в борьбе мнений, и потом, я твердо уверен, ты явишься прекрасным дополнением в коллекцию от воропянской земли. Представим самые различные таланты и с таким подбором, чтобы друг друга оттенять и дополнять. Пойдем еще посмотрим, что ты в самом деле прибедняешься. Талант, если он талант, даже в пустяке виден, а у тебя масштабность.

Лагутинов впереди, за ним Савичев, прошли в мастерскую, и Лагутинов стал все снова смотреть и оценивать.

Савичев отошел к окну, придвинул тарелку с огурцами. Хотя все у Савичева уже было Лагутинову знакомо, но он с тем же, если не с большим, интересом смотрел холст за холстом, от его внимания ничего не укрывалось, и он еще раз утверждался в мысли, что Савичева необходимо включить в выставку; конечно, собственные его работы в чем-то потускнеют и немало проиграют, но ведь интересно посостязаться с сильным и свежим талантом, и потом подмывало желание насолить кое-кому, вывести из состояния всегдашней самоуспокоенности. Доказать свою правоту именно в этом вопросе тому же Ворохову, лишь уважать станет больше. Кроме Савичева и его самого, разумеется, вполне посредственная, выдержанная в рамках обычного мазня, приличная, показывать не стыдно, и, когда о Савичеве зашумят, он, Лагутинов, окажется далеко не последним лицом. А может, он сам себя переоценивает и умные головы в Москве рассудят иначе, остудят лишний пыл, тоже не беда. Нужен Савичев и здесь, лично ему, Лагутинову, нужен, его работы, как внезапные, пусть неяркие, вспышки, не дают окончательно оцепенеть, остановиться, кто понимает, мимо не пройдет.

Савичев, уничтожая огурец за огурцом, следил за уверенными, быстрыми движениями Лагутинова и ругал себя, почему распустился и не написал чего-нибудь стоящего, ведь и действительно хочется попасть в Москву.

Он зорко следил за Лагутиновым, безотрывно по-хозяйски перебиравшим картины, наброски; припоминая с самого начала, как они познакомились, разговаривали и обедали, Савичев сосредоточенно нахмурился, и в нем впервые шевельнулось зло. Лагутинов вел себя уж слишком по-хозяйски уверенно, не пытаясь заранее догово-

риться, сразу поставил перед фактом. Чего, собственно, привязался? Считает своей собственностью, купил с потрохами? И вообще какие-то странные у них отношения — полуприятельские, полуофициальные, полувраждебные, подумал Савичев с неожиданным раздражением, то целоваться лезет, то едва поздоровается, в конце концов я полностью отвечаю за свое дело, и раз есть неуверенность, лучше подождать, поработать, если не хочешь спекуляции. Эффектная заявка, а кому в искусстве нужны заявки? Даже сейчас видно, сколь поверхностны прежние работы, много лишнего, краски излишне резки, фон в ряде случаев груб, раздражает. Может, это оригинально, как уверяет Лагутинов, но цельности мало и часто фон как бы отрывается от изображения, не углубляет тему, отвлекает. В чем же все-таки цель Лагутинова, действительно ли он так считает? Или ему нужно побольше новых имен, показать свою работу, рост организации, нарастить авторитетец и на нем тоже, а что?

— Мне кажется, па художественный совет тебе нужно представить четыре работы,— сказал Лагутинов.— Два портрета,«Раненого пехотинца» и «Каменщик курит». Можно, конечно, и пейзажей прибавить, они у тебя с в о и, в них особая трагичность есть, давай, Антон, отберем самое зерно. Примерную экспозицию устроим в большом зале галереи на той неделе. Что, ты еще не решился?

— Нет, давай обождем, Николай Акимович. Пусть другие едут, поработаю, будет видно. Для Москвы я еще лучше напишу.

Лагутинов постучал костяшками пальцев в окно, взял огурец, повертел, рассматривая, откусил, положил остаток назад в тарелку, нахмурился.

— Не пойдет, Антон, дело решенное, как говорится, обжалованию не подлежит.

— Кто же это решил? — Савичев спокойно сел к столу; ему не хотелось спорить, он был не уверен в своих сомнениях, и Лагутинов, точно уловив его неуверенность, подошел, тяжело положил ему руку на плечо, рассмеялся.

— Приходится тебя уговаривать. Ты же не актер, у тех, говорят, так иногда случается перед концом сезона, тарификацию повыше требуют. Такой шаг нужен, Антон, необходим. Допустим, зародились сомнения, чувствуешь, способен на большее (и я это знаю, может, лучше тебя!), но людям интересны и ранние этапы. Ты ничего не теря-

ешь, Антон, подумай о другом, мы будем представлять не твое отдельно творчество, а целую организацию, нельзя же быть, прости, законченным индивидуалистом. Здесь нужно подумать и об общем деле, хотя ты даже этих слов не выносишь... Я иногда начну думать о тебе, и многому в тебе удивляюсь: фронтовик, все время в народе...

Савичев пожал плечами, ему мешала рука Лагутинова, и тот сразу убрал ее и, устроившись напротив, подчеркнуто сдержанно улыбнулся, как улыбаются иногда взрослые забавному капризу ребенка.

— Я давно хотел поговорить с тобой, Антон,— сказал он спокойно.— Серьезно поговорить. Конечно, твое дело давать картины или нет, у нас сложились с тобой какие-то отношения, я так близко еще ни с кем не сходился. Ты будешь, надеюсь, не в обиде, если я скажу тебе кое-какие неприятные вещи. Пожалуй, пора их сказать. У тебя свой характер, понимаю, и не мне его переделывать, незачем. Но ведь в отношениях между людьми есть и обязанности для каждого. Чем ты недоволен, говори прямо. Тебя плохо приняли здесь, в Воропянске? Мешали, тревожили? Почему ты в каждом видишь врага, подвох? Я же тебя отлично сейчас вижу. Ну что он ко мне пристал, думаешь ты, какое его собачье дело. Ты трудный человек, и с тобой нелегко, прости, не очень приятно иногда, если на тебя накатывает. А я с тобой вожусь, грешен... Другие даже изумляются, не понимают, недовольны, приходится отшучиваться, людей не стоит раздражать, пока они в самом деле не понимают. Вот что я еще хочу сказать: будь внимательнее к другим, уйдешь только в себя, погибнешь как художник, мир сейчас связан в целое даже в мелочах, а люди тем более. Ты, наверное, пропустишь мои слова мимо ушей, но вряд ли ты станешь богаче.

Не шевелясь и упорно глядя перед собою, стараясь оборвать цепкую паутину слов и не только слов, пока Лагутинов говорил, Савичев слушал, для него все яснее открывалось другое значение этого разговора. Лагутинов во многом, даже во всем, был прав, хотя это и не погасило тяжело разгоравшийся, начинавший жечь огонек внутри, недобрый предвестник опустошительного отвращения и к себе и к другим, и поэтому он старался сидеть неподвижно, чтобы как-нибудь не прорвалось. Тихо, тихо, приказывал он себе и, мысленно адресуясь к Лагутинову, старался ядовито усмехнуться. Ну, в самом деле, говорил он, мысленно

обращаясь к Лагутинову, ты ведь дал мне пристанище, положение и хлеб, в твоих глазах я твое порождение и ни с того ни с сего вздумал бунтовать. Жандармов сюда и собак! А так как жандармов и собак нельзя, ты сделаешь иначе, словами, вцепишься в совесть, какая-никакая, она есть у каждого. Как мне не признать, что это я тебе всем обязан, но ты не хочешь этого прямо сказать и говоришь о коллективе, о людях, о добре, и под всеми твоими словами звучит одно. Приложи ухо к земле и услышишь подземелье. Прекрати, говоришь ты, именно я с тобой нянчился, пока это нужно было, а теперь прекрати, не мать и не отец породили тебя, а я, я тебя и убью, если нужно будет. Ведь мне наплевать, дашь ты свои картины или нет, тебе пора показать мне свою силу, тебе нужно мое подчинение, вот ты что хочешь сказать в самом деле, добрейший человек и благодетель, дальше ты мне начнешь указывать, что писать и как, и это будет изумительно хорошо. Но даже если это не так и я ошибаюсь, не стоит смотреть на меня глазами хозяина и решать за меня, я ведь могу разозлиться, раз и навсегда от этого отучу, не беспокойся, я тебе возвращу все до копейки, до проглоченного у тебя куска пирога, но не сейчас, сейчас у меня нет такой возможности. «Нет? — спросил он у себя.— А может, это действительно мое ослиное упрямство. Ну да, я понял слова Лагутинова по-своему, но ведь это невозможно доказать. Я умею придумывать и похлестче».

— И все-таки если я не соглашусь дать картины? — спросил он, стараясь встряхнуться; в этот момент ему стало стыдно себя, и он не мог заставить себя поглядеть на Лагутинова прямо и подумал о войне, о последнем ранении, отыскивая оправдание и далеко еще не уверенный в том, что его мысли о Лагутинове близки к истине.

— В наших отношениях ничего не изменится, Антон, как бы ты ни решил,— подчеркнуто буднично и просто сказал Лагутинов, и в его голосе явно прозвучала обида.— Конечно, нам обоим станет труднее. Думаю, ты не совершишь такого неверного шага, не пойдет на пользу. Я, естественно,— он поглядел Савичеву в глаза,— вынужден буду иногда отступить там, где бы я и не хотел. У нас очень ревностно относятся к общему делу. Тебе нужно подумать и о вступлении в союз.

— Понятно, Николай Акимович,— Савичев кивнул, стиснул руки, ну вот, ему сейчас вполне трезво дали по-

чувствовать, что он чужой, пришелец, и его опять теперь уже полностью захватила прежняя волна, он чувствовал, как напряглось, отяжелело тело и веки задергались, ему непреодолимо захотелось уйти, не прощаясь, не думая о последствиях, просто встать и уйти, никогда больше не встречаться с этим человеком, разорвать тягостную паутину, которой так незаметно и крепко опутывали его в течение многих месяцев, чтобы так по-хозяйски прийти, развалиться за его столом и диктовать свои условия. И еще он подумал об Инне, и ее ведь рук дело. Уйти немедленно, прочь из этого дома, который, оказывается, ему не принадлежит, а потом будь что будет. Ему необходимо было освободить ту мучительную силу, взять что-нибудь потяжелее и ударить, а потом посмотреть, что из этого выйдет, интересно ведь. Можно сразу и освободиться от удушающего чувства зависимости, ничего не скажешь, отличный получится курбет; в какой-то последний момент он остановил себя. Лагутинов под его взглядом отодвинулся вместе со стулом, быстро встал.

— Мне пора, Антон, ты что-то неважно выглядишь, здоров ли ты? Я пойду. Я же сказал, делай как хочешь.

— Нет, почему же,— Савичев заставил себя встать.— Если вы настаиваете, что ж...

Лагутинов оглянулся, торопливо вернулся уже от двери, облегченно и шумно перевел дух.

— Тяжелый ты человек, Антон, не сердись. Сам потом будешь благодарить. Кажется, Инна Викентьевна пришла. Слышишь?

— Да, она.

Лагутинов снял шапку, вытер лоб платком; он несколько растерялся, даже решил вообще махнуть рукой, но перевесило собственное самолюбие, сам виноват, везде раззвонил, и, самое главное, не хотелось отступать, потому что борьба между ними началась давно, с самого начала. И непредусмотренная строптивость Савичева подтвердила лишний раз его возможности, это Лагутинов сразу понял, но при чем здесь выставка? Он, пожалуй, подраться со мной мог, это у него в глазах видно было. Другие ходят, набиваются, а этому само в рот плывет — отталкивает. Псих, решил Лагутинов, и разговор принял спокойный, обычный и даже шутливый характер. Он постарался показать Савичеву, что действительно не сердится и уже забыл досадное недоразумение, и Савичев, понимая и поддерживая

его, разговорился, стал рассказывать о своем походе, но у него так и не прошло тягостного ощущения, и он, когда Лагутинов вышел поздороваться с Инной, все ходил из угла в угол, долго стоял перед загрунтованным холстом, перебирая краски; из головы никак не шел вчерашний разговор с Инной и ее лицо, он подходил к какой-нибудь своей зарисовке и, стоя перед нею, с раздражением говорил себе, что это плохо, бездарно, никогда ему не сделать ничего большого, все это ремесленничество, пачкотня и пора бросить заниматься хулиганством и начать честную жизнь, вернуться назад на стройку. Там его место. Все работают ради куска хлеба, чем он лучше других? Он вспомнил влажную тяжесть песка, сладковатый запах цемента, как он славно прессуется на лопате, обдирающие кожу ладоней кирпичи, выворачивающиеся из рук бревна — вещественный мир, понятно, откуда он и для чего. Все просто, необходимо, не вызывает горечи и недоумения. Да и вообще, что теперь ему нужно? Кусок хлеба, крыша над головой у него есть, еще какая, по теперешним временам многие могут позавидовать. Остальное — мираж, для детей умственно неполноценных, с уклоном к какой-нибудь мании. И опять-таки с глухим раздражением он заметил, что особенно горячего желания вернуться на строительство не наблюдается; вдруг он подумал, что это неестественно, во всем этом есть какой-то привкус манерности, что он бьется, словно истеричная барышня в припадке, плевать, что подумают другие, у него у самого останется болячка, будет саднить. Две части песка и одна цемента — будет бетон, можно добавить щебня, гальки, можно бесконечно разнообразить материал, можно...

Распахнув дверь из мастерской, Савичев быстро подошел к Лагутинову, тот как раз завершал перед Инной мысль о гениальности Микеланджело и вообще о стихийности распределения природой этого редкого дара. Увидев лицо Савичева, он оборвал на полуслове, вопросительно слегка подался к нему.

— Николай Акимович,— сказал Савичев,— вы, кажется, что-то говорили мне как-то о Дворце железнодорожников, а? Ну пару недель назад... Так вот я согласен приступить к работе.

Лагутинов, не стараясь скрыть радостно вспыхнувших глаз, вскочил на ноги, хлопнул Савичева легонько по плечу.

— Правильно, Антон. Молодец, правильное решение. Собственно, я и за этим сегодня приехал, нужно решать. У меня там машина внизу, и, если ты не против, поедем, посмотрим помещение, пора готовить эскизы. Антон, Антон,— сказал он, обращаясь больше к Инне,— молодец! Работа, работа, вот в чем наше спасение и оправдание наших поисков. Едем, сейчас же едем!

— Да, у нас слишком много долгов,— сказал Савичев со скрытым смыслом,— все сроки вышли, и нужно платить. Нужно зацепиться хотя бы за это.

— На меня не обращайте внимания,— быстро сказала Инна, ее почему-то не обрадовало скоропалительное решение Антона.— Я найду, чем заняться. Поезжайте. Я тут письма напишу, ключи не забудь.

Пока Лагутинов с Антоном разговаривали, Инна присматривалась к ним обоим, пожалуй, больше к Антону, чем к Лагутинову; конкретная работа Антону сейчас нужна, он должен стать еще увереннее. Инна, как только он рассказал ей на следующий день утром, в чем суть заказа, опять почувствовала разочарование, ее пугала какая-то пассивность Антона, его безразличие к заказу, и она осторожно, как бы вскользь заметила, что настенные росписи во Дворце железнодорожников можно сделать интересно и своеобразно, вспомнила фрески старых русских мастеров.

— Я понимаю, Инна,— сказал он в задумчивости, чертя угольным карандашом по скатерти, она перехватила его руку.— Прости. Ведь я еще и другое понял — мне сейчас не осилить того, о чем я все время думаю, нужно много времени. А сейчас неплохо подработать на хлеб, и ладно.— Он оторвал глаза от скатерти, усмехнулся.— Это я в твоем Мало-Шаронинске понял, словно гвоздь в душе сломался, не держится, буду работать, лишь бы меня пока не трогали. Вы меня поддержать стараетесь, утешить, а у меня здесь горит,— он притронулся к голове, резко отдернул руку.— Буду потихоньку ползти...

— Какая ерунда! — рассердилась Инна.— Это предательство, я от тебя не ожидала, Антон. Понимаю, тебе сейчас тяжело, но укрепляться в таких мыслях, по крайней мере, глупо, недостойно. У тебя бессовестное честолюбие, вот твой ржавый гвоздь. Прав Николай Акимович, нужно все этапы пройти.

Савичев пошел помыть руки, вернулся, он делал в кар-

тонах наброски эскизов двух монументальных настенных росписей для большого фойе, и места в мастерской не хватало. Он удивлялся душевной четкости Инны и завидовал, ей удалось все-таки пронести веру в однажды и навсегда выработанные взгляды, и это здорово помогало ей жить, работать, верить в полезность свою и необходимость.

Спустя некоторое время Инна вошла посмотреть, что делает Антон; он оторвался от картона, улыбнулся ей. Она любила эту его улыбку, отрешенную и чуть-чуть виноватую.

— Думаю посадить здесь паровоз,— сказал он, указывая.— Железнодорожники, ну необходимость ведь, иначе не примут, а хотелось бы в условной манере все этапы от почтовой тройки. Вот что-нибудь в этом плане,— кроша уголь, набрасывал Антон на картон резкие штрихи.— Что скажешь?

— Что можно сказать, пока не обозначится целое? Занятно.

— Правда? — стоя на коленях, он ползал по листу, исправлял, поднял голову, спросил: — Знаешь, Инна, почему Лагутинов все-таки втянул меня в эту работу? Ага, вижу, сделала удивленные глаза.

— Не говори глупостей, Николай Акимович достойный уважения человек, немного ограниченный, но законченный в своем роде.

— Я и не отрицаю. И однако, по его мнению, я должен отдавать силы этой муре,— он кивнул на картон.— Такую работу ведь может выполнить любой бакалейщик.

— Думаешь, он боится тебя?

— Не переоценивай свое чадо, кто меня боится, кому я страшен? Просто у меня язык трудно подвешен, никак не может передать точно мысли. Формально он прав, мне нужно зарекомендовать себя на месте, врасти в это братство и медленно двигаться вперед вместе с ними. Здоровое влияние коллектива. Я-то знаю, получить такой заказец не всякому выпадет, с руками оторвет каждый. Достался Лагутинову и мне.

— Перестань, Антон,— опять резко оборвала Инна.— Просто ты плохо знаешь эту жизнь, она тебе в диковинку, и гордость тебя заедает, непомерная гордость.

— Я не огорчаюсь, просто рассуждаю.

— Ах, если бы действительно так, ты ведь не отлича-

ешься прекраснодушием,— сказала недовольно Инна.— Подумать только, человек изо всех сил старается помочь, а он одни гадости видит.

Савичев, улыбаясь, промолчал, в сущности, он действительно был рад подзаработать и лишний раз проверить себя, неужели он не сможет жить, как живут все люди, Лагутинов подсказывает ему самый обычный ход.

Савичев сделал хорошие, добротные эскизы, но затем потихоньку увлекся, загорелся и почти переделал наново, дал больше экспрессии в лицах и во всей композиции, паровоз убрал и заменил его стрелой, напоминающей росчерк молнии, он действительно увлекся и вносил все новые и новые изменения; наконец, эскизы были готовы, и назначили день просмотра. Перед официальным просмотром он показал их Лагутинову и, занятый своими мыслями, не заметил, как у того вытянулось лицо; Лагутинов про себя подумал, что, пожалуй, нельзя было выпускать работу из-под непосредственного контроля, парень совершенно неопытен в практической жизни. Но Лагутинов ничего не стал говорить, эскизы были действительно хороши, и Савичев бы не поверил ему. Эскизы собралась смотреть представительная комиссия, железнодорожное начальство, начальник Воропянского отделения железной дороги, секретарь райкома партии, главный архитектор города, Лагутинов, еще человек десять, о Савичеве уже говорили в городе, и теперь многие пришли, чтобы самим увидеть. Когда эскизы развесили, долго все молчали, перешептывались, поворачивая головы, Савичев дал необходимые разъяснения, Лагутинов, выполнявший роль председателя, спросил, кто хочет высказаться, и первой вышла студентка из пединститута, приземистая, с удивленными глазами и курносенькая, она отчаянно смущалась (Лагутинов что-то черкнул на листе бумаги перед собой). Савичев невольно заинтересовался девушкой. Никак нельзя ее было назвать хорошенькой, но была в ней какая-то детскость, и лицо, и фигура, и детская манера смущаться, прикасаться ладонями к щекам как-то привлекали, все время хотелось дружески, ободряюще улыбнуться ей. Он вначале даже не слишком обращал внимание на ее слова, а девушка между тем, все чаще поднося пухлые ладошки к пылающим щекам, частила:

— Я, знаете, не специалист, позвали ребята, я и пришла, но, простите, ничего не поняла...

Савичев поднял брови, с еще большим любопытством стал рассматривать ее.

— У нас в институте ребята много говорили о товарище Савичеве, мол, оригинально, и взгляд самобытный, наверное, у меня подготовки нет, ничего не поняла. Лица у людей такие странные, уродливые, проблеска радости в них не найдешь. Наша жизнь... наша жизнь...— она с усилием наморщила лоб, отыскивая подходящее слово, и Савичеву хотелось подсказать ей, но было неудобно, люди собрались серьезные, могут воспринять как насмешку, начальник дороги посматривает на ораторшу одобрительно, лучше помолчать, подождать, что будет дальше.

Лагутинов страдальчески морщился, украдкой оглядывая сидящих, но оборвать не решался, хотя девушка несла откровенную чушь о прекрасном, о нарушении гармонии; Савичев откинулся на спинку стула, прищурил глаза и перестал ее слушать, он подумал, что ввязался явно не в свое дело, зря потеряно время, все оказалось пустой тратой сил. Какую-то колючую реплику отпустил Лагутинов, затем встал начальник дороги и сразу же категорически потребовал переделать эскизы, сказал, что они неприемлемы; Савичев вяло глядел в его широкое волевое лицо с жесткими глазами, с аккуратным ежиком седых волос, пытался нарисовать себе доподлинный характер этого человека, каков он дома с женой, с детьми и каков с высшим начальством.

— Надо признать,— сказал начальник дороги, твердо глядя в лицо Савичеву,— товарищ не справился. Что это, например, за нити к небу, молнии, надо полагать? Гроза, так к чему она? Железнодорожные пути? Зачем им уходить в небеса, у нас еще на земле полно всяких дел. Вообще, товарищи дорогие, бодрого цвета мало, ни одной приметы времени, словно это пришельцы из другого мира, а не советские железнодорожники! Надо, очевидно, передать заказ другому художнику, хотелось бы услышать слово Николая Акимовича по этому поводу.

Поймав смущенный взгляд Лагутинова и ободряюще кивнув ему, Савичев пробрался между стульями и, не глядя ни на кого, вышел; на улице он облегченно вздохнул, передернул плечами, нет, в самом деле, чушь, как это он смог попасть в такую нелепую историю; он пошел по городу, было много сбитых ветром и высохших листьев, их не успевали убирать. Савичев шел, подгоняемый каким-то

внутренним нетерпением; он понял, как стосковался по настоящей работе, на душе сделалось легко, он вспомнил слова девушки о греках, искреннее недоумение начальника пути и захохотал сам с собою; они не виноваты, подумал он, что на них сердиться, никто же не упрекнет землекопа, например, что он не обучен высшей математике.

Несмотря на чувство внутренней правоты, Савичев несколько дней был угрюмее обычного, словно по молчаливому согласию, ни он, ни Инна не касались в разговорах происшедшего при обсуждении эскизов.

Шла подготовка к выставке, Лагутинов часами просиживал у телефона, заседал в обкоме, Савичев никак не мог прийти к определенному решению.

— Не пойму Лагутинова,— сказал он однажды Инне, едва она переступила порог и, бросив покупки прямо на скатерть, стала переодеваться в домашнее.— Все время чувствую в нем двойное дно. У меня предчувствие — нельзя мне дать картины на эту выставку. Не то, мне бы еще год-другой над рисунком работать. Черт толкнул меня писать маслом. Я за войну немного набил руку над рисунком, но мне нужна сейчас обнаженная натура. Ты не улыбайся, не шучу, боюсь совершить непоправимую глупость. Пожалуй, уже совершил, поторопился. А где, с другой стороны, спрашивается, правда? Нет ее.

— Мне кажется, ты слишком рассудителен, Антон. Слава же в безрассудстве.

— Заносит тебя,— сказал он сердито.— Я не думаю о славе. Да и как о ней можно думать? Все мы муравьи в этом мире, и каждый делает свое дело. Один боец, другой кузнец. Так и идет слой за слоем, присыпает один другого. И в этих слоях все равны, от Льва Толстого до безыменного пахаря.

— Философия! — воскликнула она негодующе.— С такой философией умирать, а не творить! Как тебе не грех, Антон! Остался жив, молод, у тебя талант, тебя любят.

— Вот, вот! Меня любят...

— Ладно тебе, дурачок, Николаю Акимовичу можно верить. И потом — о тебе узнают в Москве. Надо же когда-то начинать, в искусстве, как нигде, каждый идет своим путем.

— Отлично. Приобрести дачу, собственный выезд в

пятьдесят лошадиных сил, кучера в кожаной кепке и — что дальше? И стать удобной посредственностью. Мир сейчас трагичен в каждой своей малости, я ищу это в линии, но ты же видишь — карикатура.

— Какого тебе еще надо трагизма, без того всех отпугиваешь. У тебя один крик, зачем кричать в пустоту. Людям кричи, будущему. Целого тебе не хватает, мысли, Антон. Я не чувствую у тебя целого, все у тебя кричит, распадается, а зачем? Первопричина где, в чем?

— Перестань, пожалуйста. Сама ты в жизни все можешь увидеть в целом? Всему находишь объяснение?

— Я хоть стремлюсь к этому, а ты рисуешь импульсивно, у тебя все кричит о распаде, от твоих вещей холодно, одиноко. Что еще, если не искусство, может остановить это всеобщее безумие. Людей надо учить добру, как учат азбуке и сложению. Хотя бы в этом оформлении... Мне казалось, что ты упорнее, тверже. Конечно, работа тебе не по душе была, но кто сказал, что мы должны делать только приятное?

— Хм, тверже, приятное, азбука добра!

— Азбука, Антон. Почему-то старые мастера помнили об этом, они были целителями души, вы же пугаете человека. Если хочешь, искусство должно в известной степени заменить религию. Постой,— она с досадой прислушалась.— Звонят, кому бы это, вечер совсем. Открой, не одни живем.

— Открываю, разве ты не видишь, уже иду,— сказал Савичев, распахнул дверь и, увидев перед собой напряженное лицо Петьки Евстратова, потянул его через порог.

— Ого-го! — громко закричал он, действительно обрадованный.— Вот здорово, заходи, заходи, не упирайся.

— Можно? — спросил Евстратов, прокашливаясь.— Понимаешь...

— Заходи, чудак, как я тебе рад! Давай вешай фуражку,— говорил Савичев, пожимая руку Евстратову и проталкивая его в комнату.— Инна, Петр пришел, Евстратов, мы на стройке работали вместе.

Инна подошла, поздоровалась, постояла минутку для приличия и ушла на кухню, она не любила старых друзей Савичева, всякий раз в ней появлялась настороженность, и все чудилась какая-то опасность.

Савичев усадил Евстратова, прошелся туда, обратно,

поглядывая ожившими, повеселевшими глазами и все повторяя:

— Вот здорово, что ты выбрался, зашел, давно надо было. Рассказывай, как там ребята, как у тебя дела?

Евстратов, наконец, пристроил свои руки, подсунув их под себя, и засмеялся.

— У нас какие дела, работаем. Сейчас на новом объекте, котлован под школу готовим. Ребята вспоминают часто, как курить, и пошли. И бабы. Ты бы, говорят, Петро, зашел разузнал, что это он не по-людски с работы ушел. Ты бы ему сказал, чтоб носа не задирал, а то и показаться не хочет.

— Зайду, обязательно зайду,— пообещал Савичев, глядя на Евстратова со щемящим чувством в груди, как иногда, возмужав, оглядываются на свое детство: и вернулся бы, да нельзя, не впустят.

— Прораб наш, Расстегнеев-то, уволился, вернее уволили, что-то напортачил, его понизить хотели, он в амбицию ударился. Я, говорит, в армии полком командовал, со мной генералы советовались...

— Слушай, Петька,— оборвал его Савичев,— ты давай по порядку рассказывай, как там Дронов, Демидыч?

— Да что, все работают по-старому,— свел на лоб светлые брови Евстратов и встал.— Меня недавно в местком выдвинули, теперь поручили клуб оформить. Я тебя по старой памяти вспомнил, может, зайдешь как-нибудь, посоветуешь что?

— С удовольствием,— сказал с усмешкой Савичев, быстро взглянул на Инну.— Давай сразу и условимся, на той неделе, ну, хотя бы в среду или вторник.

— Вторник, после работы,— Евстратов, оглядывая квартиру, пощупал обои на стене, подавил пружину тахты, попробовал, хорошо ли открывается окно.— Новоселье думаешь делать?

— Сделаем, пошли посмотрим вторую комнату, я там работаю.

Вслед за ними в мастерскую вошла Инна, открыв окна, поправила стул; она села, глядя на мужчин и слушая их разговоры, про себя удивляясь, как это может быть Антону интересно, детский лепет о каких-то бабах, о каких-то кознях прораба, а он явно доволен, заинтересован, хохочет. Удивительно, как все в нем это рядом уживается?

— А вы что так глядите? — неожиданно спросил у нее

Евстратов ласково и просто, и она растерялась, он захватил ее врасплох.— Мы люди простые,— опять сказал Евстратов и поглядел на Савичева.— Может, что и не так понимаем. А знаешь, Антон, я ведь женился недавно, от матери ушел. Комнату себе подыскали за двести рублей. Хозяйка ничего, пока ребенка нету, говорит, держать буду, вы мне не мешаете.

— Что ж ты сразу не сказал? — обрадовался Савичев.— Я рад за тебя, Петька. Инна, ты представляешь, человек женился. Правда, здорово?

— Правда. Я рада за вас,— сказала Инна Евстратову.— Она хорошенькая? — с внезапным интересом спросила она.

— Ничего, все как будто при ней.— Евстратов неловко улыбнулся.— Штукатур, в руках все горит.

Широко раскрыв глаза, Инна долго смотрела на него, она сейчас узнавала его по наброскам Антона, еще не встречала она такого спокойного и ясного человека, от него просто ощутимо исходило это спокойствие и гармоничность, и, возможно, поэтому Антон рисовал его множество раз, так же как раньше Ромку Копылова, с его смятением, злобой, изувеченностью. Здесь для Антона, несомненно, были свои особые связи, какие-то свои рычаги, и, может быть, в этих двух людях он хотел примирить непримиримое — трагичность жизни и ее ясность и простоту?

Она с любопытством перевела взгляд на Савичева, и, в самом деле, она впервые сидела в одной комнате с человеком, который бы так просто думал и говорил о жизни и принимал бы ее вот так, в самой насущной необходимости, словно хлеб или воду.

— Вы, наверное, хороший,— сказала Инна, глядя на него задумчиво и тихо.— Вы так хорошо говорите...

Евстратов, ища поддержки, поглядел на Савичева, покрутил головою.

— Ну уж,— смущенно улыбнулся он.

— А вы меня не стесняйтесь и приходите с вашей Галиной,— сказала она и выпрямилась, почувствовав на себе упорный, непрерывный взгляд Савичева. Она выдержала и не поглядела на него, откровенно говоря, она не ожидала от Антона такой слабости, что он так легко отступится, она думала, что это, пожалуй, скорее не слабость, а все тот же его эгоизм, лишь бы он сам был доволен, а все остальные, в том числе и она, для него ничего не значат.

40

Город строился и рос, и время шло; Полина Гавриловна давно вернулась из Цхалтубо, с нее успел сойти южный загар. Осень очень резко изменила вид города, деревья вначале зажолкли, затем и облетели. Наступило время, когда и картины были упакованы и уехали в Москву, на другой день должны были уехать и Лагутинов, Савичев и еще двое художников, но Савичев внезапно отказался наотрез, а когда его пытались уговорить, повернулся и вышел. Лагутинов обиделся, правда, тут же отошел.

— Какая его муха укусила? Ничего, одумается, прилетит завтра, не на Северный полюс, поезда каждый день бегают!

Инна ходила молча, вытирала несуществующую пыль, Савичев посидел у себя, покурил, затем не выдержал, вышел.

— Ужинать мы сегодня будем? — спросил он шутливо, пытаясь завязать разговор, взял ее за плечи.— Сердита?

Она, освобождаясь от его рук, устало выпрямилась, не глядя на него. Пожалуй, он решил так из-за нее, зря она попросилась ехать с ним вместе.

— Хватит, Антон, что переливать из пустого в порожнее.

— Да ведь чепуха все это! — Он отошел, лег на тахту, положил руки под голову и сделал бесстрастное лицо.

— Не чепуха. Ты молчишь, а я отлично знаю, о чем ты думаешь. Ты ведь не хочешь, чтобы я в Москву ехала, тебе все кажется, что у меня что-то еще осталось от прошлого, а у меня ничего не осталось. У меня один ты есть. Все остальное умерло, понимаешь, погибло, как от войны... Ах, дурачок мой, дурачок... Почему же ты сразу не сказал? Поезжай завтра один, немедленно поезжай? Не поверю, что тебе не хочется. Хоть убей.

Все время, пока она говорила, Савичев спокойно глядел в потолок, хотя, если бы Инна сама не была столь взволнована, она бы заметила, что он был бледнее обычного; в словах Инны имелась доля правды, но причина его отказа ехать заключалась в другом. И если честно, он и сам не знал, в чем. Он про себя жалел, не надо было отдавать работы, пусть бы вез свои монументы Лагутинов, нашлись бы другие. Осел, дурак, ругал он себя. И не стыдно, а ведь посторонним что... Лагутинову надо организовать,

показать перед высшими рост молодых... После своего незримого поражения в разговоре с ним остался неприятный осадок, очень неприятный, стыдно. Все в этом здании, пожалуй, фальшиво, и молодые Лагутинову нужны, чтобы прикрыть гниль старого гриба.

— Помолчи,— сказал он Инне, когда она опять стала что-то говорить.— Я же все равно не слышу.

— А ты слышь! — засмеялась она, но глаза у нее оставались холодными и настороженными.— У тебя тетка с этими кругами связана, она бы ввела тебя в свое окружение, без Лагутинова бы обошлось.

— Ты смотри,— удивился он, косясь на нее.— Откуда ты такая многоопытная мудрая черепаха?

— Антон, ты не мальчик. Сколько можно ложку мимо рта проносить!

— Перестань, Инка, несешь чепуху.

— Не смей со мной так разговаривать. Мы не на базаре.

— А ты была там хоть раз?

— Была. Картошечку молодую с лучком каждый день просишь.

— Я капитальнее бываю,— засмеялся Савичев,— не так как ты — с работы, с авоськой да бегом. Ты слышала, как бабы деревенские говорят? Нет, не слышала, а ты послушай да погляди на них. У меня целый альбом зарисовок именно с базара.

— Ну так надо по пути что-нибудь покупать! — с ожесточением сказала она.— А то напрасно время теряешь, ни людям пользы, ни в дом прибыли.

Удивленно поглядев на нее, Савичев встал, ему стало жалко ее; такой злой, по-мелочному придирчивой он ее не любил.

— Ты что, Инка, в самом деле, что с тобой? — сказал он с улыбкой, пытаясь все смягчить и оборвать неприятный разговор в самом начале.— Ну, иди сюда, иди, неужели нет другого дела, чем бегать по Москве и дрожать? Да ну ее все к черту, как говорит Петька Евстратов. Наше от нас не уйдет, если оно есть.

— Есть, есть, все знают, что есть. И ты знаешь.

— Да, я знаю,— сказал он, обнимая ее, усаживая на тахту и опускаясь рядом.— Но это еще нужно доказывать, а доказательства в данном случае растягиваются если не на десятилетия, то уж на годы обязательно. Мы с тобой то-

ропимся, Инка, ну хорошо, я был не прав раньше, ну, помучил тебя... Ты за это не можешь простить?

— Ни в чем ты передо мной не виноват.— Она сидела неподвижно, не чувствуя его рук.— Неужели нам так и гнить в мерзком Воропянске с его обжорством, растительной сытостью. Жизнь ведь проходит.

— Что же еще надо? — наивно удивился он.— В тебе какой-то бес, гложет изнутри, точит.

— Пусти меня,— попросила она, пытаясь освободиться от его рук, но он только крепче стиснул их.

— Не пущу, понятно? Успокойся сначала.

Он глядел на ее губы, чуть вздрагивающие, полные, резко очерченные губы, и у него слегка кружилась голова, и он подумал, что ничего нет на свете важнее этих губ, этого тела, э т о й жизни, когда все исчезает. Инна подняла руки, обхватила его за шею и прижала к себе.

— Я тебе только добра хочу,— услышал он ее глухой, прерывающийся голос.— Самое главное, нам нужно держаться вместе, Антон, я так это чувствую...

— Правильно... правильно, ты у меня умница,— подтвердил Савичев, и она закрыла ему рот ладонью.

— Не смей, не богохульствуй... Нельзя же смеяться над всем на свете.

41

Для Савичева все началось через полторы недели, а Полина Гавриловна узнала дня на два раньше; поздно ночью (почти в два часа) позвонил муж, и она спросонья долго ничего не могла понять и все переспрашивала.

— Тебе плохо слышно? — с явным раздражением, наконец, повысил голос Лагутинов.— Или что там?

— Ничего. Я же прямо с постели, чего ты зря кричишь? Что случилось?

— Трудно с тобой, мама, разговаривать, когда ты сонная,— тяжеловесно пошутил Лагутинов.— Как у тебя дела, как здоровье?

— Господи помилуй! — удивилась Полина Гавриловна.— Все прекрасно. Вчера на воскреснике была, вместе с Еленой Александровной, сегодня никак не разогнусь. Место под строительство расчищали, где стадион намечено делать. Весь город вышел. Собственно, меня Елена Александровна и вытянула.

— С ума сошла,— не очень-то любезно прореагировал на другом конце провода Лагутинов.— Ты, мама, в гроб меня хочешь вогнать. А если сляжешь? Ты же знаешь, сколько на твоей шее держится, все равно мир ты не удивишь, даже если перетаскаешь земли с гору.

— Хорошо, хорошо, знаю. Я, представь себе, и довольна. Все-таки зачем ты поднял меня среди ночи? Не затем же, чтобы признаться в моей необходимости?

— Ты совсем считаешь меня стариком. Слушай, мама, а у Савичева скверно. Не в курсе, как он там, что делает?

— Что скверно? Что скверно! Алло! Алло! Не мычи, ради бога, говори в трубку и раздельно.

— Я говорю, у Савичева плохо. Повисел три дня, сейчас собираются снять. Ну да, снять... пока нет, нет... Завтра постараюсь к Савостину пробиться. Какой Савостин? Этот самый — знаменитый, академик, попрошу помочь. Ты только Савичевым не сообщай, я сам приеду... Понимаешь...

— Вот будешь меня слушать,— вырвалось у Полины Гавриловны.— Как это неприятно! В чем же дело?

— Всего не предусмотришь, я лично не ожидал и не согласен. Потом, вернусь, расскажу. В общем примерно то, о чем мы как-то говорили. Я другого боюсь, как бы нам всем за это не нахлопали. Слушай, сходи к Вороховым завтра же, ну вроде как между прочим... Ты меня понимаешь?

— Теперь я понимаю,— помедлив, отозвалась Полина Гавриловна и, вспомнив, закричала: — Алло, алло, Коля, не клади трубку! Что еще? Не забудь поискать мне туфли, я же тебя знаю. Хорошие попадутся, бери две пары. И Елене Александровне прихвати какой-нибудь пустячок... Ну так... какую-нибудь резьбу по кости... она ведь любит. Ну ладно, целую тебя, дружочек, целую, ложись спи... Спасибо, и тебе тоже.

Полина Гавриловна положила трубку, поджала ноги под себя. Она растерялась и не знала, радоваться или горевать, муж часто не слушает ее, а ведь она редко ошибается, господи, зачем ему был нужен этот мальчишка? Ни имени, ни опыта, эксцентричность одна, заумь, и почему это люди всегда чем-нибудь недовольны? Другим жизнь портят, и себе не сладко приходится. Вот теперь Инна покрутится, последнее время она высоко носик подняла, куда уж нам, лапотникам. Только и разговору «Са-

вичев да Савичев», а носа, оказывается, задирать было вовсе не к чему, тем более перед людьми близкими, перед друзьями, которые и на ноги-то помогли подняться.

Но тут Полина Гавриловна задумалась; все-таки когда дело касалось Савичевых, у нее всегда возникало в душе нечто двойственное, и она стала думать, что и она сама недостаточно хорошо поступила, надо было тверже держаться, настоять перед мужем, ведь она предчувствовала, что дело хорошо не может кончиться, ну Савичевы молоды, им простительна и некоторая запосчивость, и воображение, и даже вот такая нерасчетливость — выставляться, когда еще все довольно сомнительно, расплывчато. Им бы надо прямо это сказать, не отводить глаз в сторону. «Так почему же ты и не сказала?» — спросила себя Полина Гавриловна и пошла на кухню поставить чай, захотелось выпить чашку крепкого чая. «А вот потому и не сказала, все мы люди, да и они могли бы подумать, что мы с Колей завидуем, что это он меня послал, было бы нехорошо. Люди такие, ты от души, а у тебя все, что есть и чего нету, отыщут. Да, теперь Инна скиснет, даже не знаю, как теперь с нею встречаться, неловко».

Полина Гавриловна думала больше о Инне, чем о Савичеве, пожалуй, она одна с самого начала нашла в себе смелость сказать, что ничего особенного нет, так, потуги на оригинальничание. Но это уже было, было, ну еще раз, а дальше? А вот Инну жалко, она связывает с его талантом всю свою жизнь. «Как мы иногда глупы, женщины,— подумала Полина Гавриловна,— влюбляясь, всякий раз теряем землю под ногами».

Остаток ночи, утро и весь день до вечера тянулись для Полины Гавриловны необычно долго, она все переделала по дому, не ожидая Тани, которая ходила к ней три раза в неделю убираться и мыть полы. Она не стала звонить или предупреждать о своем приходе, мало ли, могли ответить, что заняты, пригласить в другой раз, глядишь, а завтра и поздно будет. Стараясь скоротать время, она прошла пешком часть города, отделявшую их дом от дома Вороховых, приветливо, с легкой улыбкой кивнула милиционеру у дома и, взойдя на третий этаж, позвонила. Ей открыл младший Ворохов — Игорь и удивленно поглядел на нее, Полина Гавриловна улыбнулась.

— Здравствуй, Игорек. Мама дома?

— Нет... Здравствуйте. Проходите, пожалуйста.

— Кто там? Ты, Елена? — раздался голос Ворохова, и он вышел из своей комнаты.— А-а, Полина, проходи, Лена должна сейчас быть. Ко мне иди, чтобы скучно не было.

Он взял у нее плащ, повертел в руках и неловко пристроил на вешалку, ему редко приходилось ухаживать за женщинами, он подумал об этом и засмеялся, входя вслед за Полиной Гавриловной в свою комнату; она оглянулась и тоже улыбнулась.

— Садись, выбирай где хочешь,— сказал он, и она села в глубокое кресло возле стола. Ворохов достал с полки коробку конфет, раскрыл, положил перед Полиной Гавриловной.

— Прошу, московские. Я вчера только из столицы. Такое дело провернул! — Он оживленно потер руки, взял конфету, бросил в рот, со вкусом пожевал и проглотил.— Что-то Лена пропала. Понимаешь, у Орла такой завод оттяпали, тысяч на десять рабочих с перспективой, а там и на двадцать вытянет. Завод добро с молоком — ни дыму, ни чаду, машиностроительный. Ты понимаешь, что это такое для города? И все кто? Я! — он ткнул себе в грудь.— Всех друзей в ЦК на ноги поставил. А то ведь совсем было уплыл заводище-то. Там такая битва, спасибо, у меня в ЦК ребятишки хорошие сидят, помнят.

Ворохов бросил в рот вторую конфету, прожевал и засмеялся счастливо, как человек, очень довольный собою и еще не остывший от возбуждения.

Полина Гавриловна пожала плечами, улыбнулась, делая ямочки на щеках, втайне ей Ворохов, как мужчина, очень нравился.

— Я все равно в хозяйстве вашем не разбираюсь. Рада, раз вам удалось нужное, хорошее дело, вот и все.

Пришла Елена Александровна, пошумела с Игорем в коридоре, ворвалась в комнату мужа, крепко, по-мужски пожала руку Полине Гавриловне и крикнула:

— Игорь, вы пообедали? Пообедали? Правильно. Я беспокоилась, думаю, будут ждать.

— Хотели,— смиренно развел руками Ворохов.— Какой обед без хозяйки?

— Ах, ну оставь, ладно. Прости меня, пойду переоденусь,— сказала она Полине Гавриловне и ушла, казалось, выбежала.

Ворохов улыбнулся.

— Буря. Знай наших. Так что слышно от дрожайшего супруга?

— Ничего, все в порядке, кажется. Жду, сегодня позвонить должен. Там одна мелочь, правда... Знаешь, Петр Семенович, я ведь так, проведать, Лену повидать.

— Шалишь,— грозно сказал Ворохов, хватая ее за руку повыше локтя и усаживая на место.— Рассказывай.

— В самом деле, вам же некогда.

— Ничего, страдаю по полнеющим красавицам, ах, красавица Полина, моя Елена, сама видишь... сгорает на работе.

— Вижу,— глядя на него в упор и с некоторым вызовом сказала Полина Гавриловна.— Свою Елену ты и на десять полных не променяешь.

Ворохов походил по комнате, изредка поглядывая на Полину Гавриловну, не отвечая, но потом, вспомнив, засмеялся:

— Может, навсегда и не променяю, а так под настроение... кто знает? Все мы человеки.

— Ну тебя, Петр Семенович,— сказала смущенно Полина Гавриловна.

— Рассказывай, рассказывай, что там с Николой стряслось? Через полчаса я в самом деле уеду.

— О чем это вы? — спросила Елена Александровна, появляясь, на ходу поправляя волосы.

— О Николае разговор. У Полины новости есть.

Елена Александровна, останавливаясь на минуту, взглянула на Полину Гавриловну:

— Что же там за новости у Николая?

— Петр Семенович тоже спрашивал. Ничего, так. Небольшая неприятность одна... Савичева с выставки снять собираются, что-то им такое там не понравилось.

Ворохов, поглядывая на часы, с интересом сказал:

— А ну, а ну... Это тот самый гений, к которому мы ходили картины смотреть? Кажется, Савичев, да?

— Он, конечно,— Полина Гавриловна вздохнула.— Не знаю, приедет, расскажет подробности. Думаю, так, чепуха какая-нибудь.

— Николай вообще, как всякий художник, человек увлекающийся и потому необъективный. Ведь он и говорил — гений...

— Не понимаю, над чем тут злословить,— горячо и резко вмешалась Елена Александровна.— Я целиком на

стороне Николая. Если снимут Савичева, хуже для выставки. Вообще допущена будет ошибка и безобразие, и этого нельзя так оставить.

Внимательно слушая жену, Ворохов согласно кивал головой, при этом тонко улыбаясь, и сразу было видно, что ничуть он не согласен и даже напротив. Заметив его эту знакомую и долгую улыбку, Елена Александровна с досадой сказала:

— Вам же всем медведь на ухо наступил, чтобы понять такое явление, как Савичев.

— Вот уже и явление, друг мой. К чему высокие степени, что там, в столицах, люди глупее нас сидят?

— Не знаю, что там в твоих столицах, я говорю, что сама чувствую и знаю. И вообще бездоказательные прения лишь усложняют дело. Дико.

Ворохов засмеялся, стал курить, женщины сели в уголке, у журнального столика, ожидая, какое направление примет прерванный неожиданно разговор и кто начнет его первым. Елена Александровна, молча поглядев на свои руки и мельком на руки Полины и отметив, что надо бы свои ногти привести в порядок, выжидающе смотрела на мужа. Ворохов сказал:

— Хорошо, если сойдет в общем для выставки, ведь и до неприятностей недолго. Наш-то первый крутенек, так расчихвостит под горячую руку, клочья полетят. Промах дал Никола, стреляный воробей, а вот тебе! Не согласился тогда со мной... Завтра надо позвонить, узнать подетальней.

— При чем же Николай,— пожала плечами Полина Гавриловна,— он старался объективным быть. Ошибка, поправят.

— Какая чушь! — опять не выдержала Елена Александровна.— Когда вы начинаете говорить об искусстве, меня так и тянет выкинуть непристойность.

— А ты выкини,— заинтересовался Ворохов.— Вот бы увидеть хоть раз в жизни.

— Перестань, Петр, тебе не к лицу пошлость.

— Скажи на милость, опять я не прав. Сама же предложила. Ладно, женщины, мне сейчас надо уезжать. Вводим ночные смены на строительстве Текстильмаша. Запарываемся, надо посмотреть. Николая взгреем, конечно, если выставка провалится, на этом и остановится, с него взятки гладки. Я завтра поговорю.— Он подошел к жене,

поднял ее за руки с кресла.— Согласен, согласен, у Савичева есть что-то, но ведь слаб еще, не окреп, лица у него обреченные, ущербные, что ли... чувствуется какая-то философия биологическая...

— Сам ты ущербный. Медведь на ухо наступил,— сказала Елена Александровна.— Домой поздно будешь? Уж лучше поезжай, чем ругаться, я с вами все равно не соглашусь. Мы здесь чем-нибудь займемся.

— Договорились,— сказал Ворохов, улыбаясь жене и думая, что она так и не привыкнет держать себя согласно положению, не такой человек, сколько она этим доставляет досадных минут. С другой же стороны, хорошо, сыновья ее любят, слушаются, в коллективе ценят, быстро сходится с самыми различными людьми, любит говорить с ними, энергии у нее хватает на пятерых, от себя нечего скрывать, хорошая жена.

Он сел в кресло покурить и отдохнуть немного, но тут же зазвонил телефон, и ему сказали, что машина за ним вышла, и он стал привычно рассовывать по карманам папиросы, блокнот; Елена Александровна, выпроводив из столовой сыновей, позвала Полину Гавриловну в свою комнату, ей хотелось показать недавно сшитое платье. Полина Гавриловна устроилась на своем обычном месте, у окна, втайне она продолжала тревожиться за мужа.

— Полина, ты по-прежнему не думаешь идти работать? — неожиданно спросила Елена Александровна, перебирая в распахнутом шкафу платья и не вдруг находя нужное.— Смотри, благодарности все равно не заработаешь, только горечи накопишь.

— Поздно теперь, за сорок перешло,— Полина Гавриловна сидела подобранно, прямо держа плечи.— Ломать жизнь, привычки, нет, не по силам.

— Я всегда тебе говорила, что это ерунда. В любом возрасте человеку необходима своя жизнь, ты ведь своим не живешь. Неинтересно, удивляюсь, как ты с этим миришься. Как можно убивать в себе личность? Сколько примеров, вот тебе Мариэтта Шагинян...

— У тебя сегодня новые примеры пошли,— Полина Гавриловна добродушно улыбнулась.— Раньше ты называла Коллонтай, Ибаррури, Ларису Рейснер.

— Какая у меня досада на твои слова.— Елена Александровна отыскала новое темно-серое платье, с глухим

воротом, и начала переодеваться.— Говоришь глупости, потому что больше возразить нечем.

— У нас с мужем одинаковые характеры, мы и проживем счастливо,— Полине Гавриловне сейчас хотелось позлить Елену Александровну.— Все твои примеры — исключение, они для выдающихся личностей. Кто мы с тобой? Нам не разрешается того, что разрешается им, ведь идет волна за волной, и каждому положено отдать свою долю. Что получится, если все старики и старухи будут до смерти цепляться за какую-то деятельность? Маразм получится, сам процесс жизни этого не позволит.

— Странный ты человек, Полина,— Елена Александровна громко вздохнула за дверцей шкафа.— Легко тебе жить, прости меня, поразительная ясность духа.

— Очевидно, и такие люди в жизни нужны для прослойки, разбавить страсти, снизить напряжение. Побольше бы таких, всяческих взрывов куда меньше было бы.

— Человечество не оценит твоей жертвы,— Елена Александровна вышла, оглядела себя в зеркало и обеспокоенно спросила: — Тебе не кажется, тускло очень?

— Напрасно, тон очень спокойный, идет.

Работы Савичева висели еще три дня (пока шли споры и дискуссии, затем их все-таки сняли), но уже на второй день после телефонного разговора Лагутинова с женой сразу в двух газетах в обзорах их разругали, хотя о выставке в целом говорилось хорошо и воропянских художников хвалили как выразителей героической земли, типичных народных характеров и народных достижений. Эти обзоры даже для большинства людей, тесно связанных своей жизнью с искусством, прошли незаметно, в последние годы была страсть к устройству выставок художников, живущих в республиках и областях, и они надоели, потому что в общем-то были все одинаковы и невыразительны. Но в этот же день, едва только заглянув в газеты, пришла еще раз посмотреть работы племянника Татьяна Дмитриевна, перед этим она несколько раз пыталась дозвониться академику Савостину, но в конце концов ей недовольно ответили, что его вообще нет в Москве и будет лишь через месяц, и просят больше не беспокоить. Ей так и сказали: «Не беспокойте, пожалуйста, себя и нас, у нас масса работы». Чтобы не расстроить сестру, Татьяна Дми-

триевна ничего ей не сказала, собралась тихонько и ушла, она решила еще раз посмотреть картины, не может ведь быть, чтобы она так ошибалась, разумеется, есть у Антона такое необычное видение материала, броскость в подаче, и потом этот колорит, он ведь всех и настораживает, эти тревожные световые пятна на темном фоне, даже не темном, а размытом, коричневом, пожалуй, это самый любимый цвет племянника, и, главное, здесь есть своя, пожалуй, философская оценка мира, свой нравственно-этический самобытный взгляд, переходящий из полотна в полотно и с каждым философски все углублявшийся. Перед «Портретом молодой женщины» (так Савичев по совету Лагутинова назвал портрет Инны) Татьяна Дмитриевна долго стояла, опять пытаясь вспомнить, где она в жизни видела это лицо, и не раз, часто видела. «Хорошо, хорошо,— шептала Татьяна Дмитриевна, забыв обо всем и засмотревшись, завороженная тихой прелестью голубовато-темных глаз, каким-то ясным спокойствием и достоинством, веявшими от этого удивительно открытого прелестного лица.— Хорошо, Антон... Я же говорила, ты вернешься... Ты не мог не вернуться, в самого себя, в дом, где не хватало одного: живого огня. В сущности, наплевать на кретинов и переворотней в газетах, я ведь их знаю и напишу тебе, чего они стоят. Они же неудачники, каждый из них пытался творить, творить, понимаешь! Нет хуже критиков из неудачливых, они готовы расклевать лишь за то, что ему дано, а им нет!»

Татьяна Дмитриевна никак не могла оторваться, отходила и возвращалась назад, потом она заметила, что возле «Портрета молодой женщины» непрерывно толпится народ, и она стала наблюдать; затем она пошла полистать книгу отзывов и нашла много хороших записей о работах Савичева и особенно о «Портрете молодой женщины». Она поправила широкие роговые очки и победно осмотрелась по сторонам, еще раз прошлась по картинам, задержалась у полотна Лагутинова «Люди на рассвете», поглядела другие его картины, и потихоньку тревога опять закралась в нее, и она стала думать, как же все-таки помочь Антону и что предпринять, при всей своей многоопытности она все же была беспомощна именно в этом отношении, если ей что не нравилось, она просто отказывалась писать об этом, и причина у нее была стандартная: она сказывалась нездоровой. И поэтому ничего не могла придумать, просить

кого-нибудь ей представлялось неприличным, Антон был ее родным племянником, и бог знает что могли подумать на этот счет люди, в глаза и не скажут, а мысли какие у них будут, кто знает. Татьяна Дмитриевна спустилась по широкой мраморной лестнице, постояла, мимо, как всегда, катился безличный шумный человеческий поток, и от этого оставалось тяжелое впечатление; последнее время Татьяна Дмитриевна почему-то часто об этом думала. Впрочем, последнее время она много думала и чаще о грустном. Например, о смерти, и, пожалуй, именно поэтому ее пугали человеческие потоки на улицах, между ними и мыслями о смерти была какая-то своя глубинная связь, но она не успокаивала, наоборот.

В то время, когда Татьяна Дмитриевна сошла на тротуар, дополнив собою тот безличный, равнодушный поток, вызывавший у нее подчас настоящую оторопь, еще одна женщина, молодая, высокая, спеша, взбежала по широкой лестнице и теперь торопливо искала картины Савичева, она только сегодня узнала, и тоже из газет, и, отпросившись у заведующего аптекой на два часа, пришла на выставку, хотя определенно знала, что приходить ей сюда не надо и незачем. Это была Тамара Бочарова, она постояла перед странной картиной Савичева, где в темном были одни глаза, но она глядела не на картину, а все на подпись, и поэтому ничего, кроме глаз, и не увидела. Для своего роста, она была, пожалуй, слишком худа, и движения ее были несколько неуверенны; она заметно повзрослела, и в ее манере держаться появилось много женственного, мягкого, и, несмотря на худое лицо и плечи, она сразу привлекала внимание каким-то особым, даже торжественным выражением ожидания, глаза ее были широко открыты, и в них нет-нет и появлялась давняя, уже стершаяся горечь, и, когда первый порыв волнения прошел, она даже удивилась, зачем пришла сюда, и впервые, быть может, с такой бесповоротной ясностью почувствовала, что все кончено и прошлое ушло совершенно. Она стояла перед «Портретом молодой женщины», держа голову прямо, чтобы кто-нибудь не заметил ее волнения. Она достала из зеленой, под крокодилью кожу, сумочки платок и тотчас забыла о нем, у нее в глазах мелькнуло изумление. Ей вдруг показалось, что это она сама смотрит на себя с портрета, и она почувствовала, как часто и больно забилось сердце, и чем больше она всматривалась, тем сильнее ста-

новилось убеждение, что это она, и никто другой, и чужое лицо, к которому она почувствовала вначале задавленную, глухую ревность, уже не казалось совершенно чужим. Она узнавала себя не сразу и все с большим изумлением, она словно пила и пила освежающую воду и никак не могла напиться после многодневной жажды, и не то чтобы она узнавала себя по каким-то внешним похожестям, хотя были и они, она видела перед собой женщину любимую, она узнавала себя в выражении ее глаз, в смущенной слегка от счастья улыбке, она узнавала себя по тем тайным и грешным мыслям, что прихлынули к ней, когда она подошла к портрету. Это была она сама! И пришло какое-то освежающее облегчение, и она улыбнулась сквозь неожиданные слезы тому удивительно одухотворенному, сияющему чистотой и какой-то внутренней скрытой радостью лицу на портрете. Она мешала смотреть другим, и ее толкали, и тогда она отступила назад. Оборвалась внутренняя пуповина, но она еще чувствовала, что кровоточит уже безболезненно, капля по капле, медленно, чуть-чуть... «И конец,— сказала она портрету, от которого ей никак не хотелось уходить.— Спасибо, Антон, теперь я знаю, что ты помнишь. Ты ничем, ничем не обязан, об этом и разговаривать не стоит, поверь, я рада за тебя, и дай тебе бог удачи в этой жизни. Конечно, мне трудно, но было еще труднее, может, если б мы вместе жили, и Павлик бы не умер, как-нибудь вдвоем отстояли бы, а теперь... Теперь жизнь начинается сначала»,— подумала она, и ей показалось, что женщина с портрета в коричневой раме тихо и ласково улыбнулась ей. Ведь это было почти два года назад, когда на третьем месяце умер Павлик от сепсиса, она ведь даже не успела привыкнуть к нему, беспомощное и требовательное существо так и не захотело взять грудь, и родился-то он синенький, длинный, тоненький, и она, измученная болью, с жадным удивлением и внутренним нетерпением разглядывала его, когда его впервые принесли и положили под бок кормить. Нет, этого чувства, конечно, уже не забыть, она долго и неумело пыталась дать ему набухший, каменный сосок, и он, наконец, сжал его твердыми деснами, и она вскрикнула невольно от острой боли. Но это было ни с чем не сравнимое чувство какой-то своей зависимости от этого беспомощного существа со сморщенным личиком, и потом, он так был похож на Антона с первого дня, а когда он уже умирал, это сходство сдела-

лось еще больше, и, очевидно, это, испугав, отдалило ее, ей просто показалось невероятной такая похожесть, и она вспоминала его реже и реже, потом и совсем перестала, и только теперь забытая боль шевельнулась в ней, перехватывая спазмой горло больше и больше; она отвернулась к окну, постояла, успокаиваясь и сама удивляясь остроте чувства при воспоминании о маленьком Павлике; она както стала меньше ростом, угнулась, усохла от сознания своей вины, умер всего трех месяцев, она дала ему жизнь и обязана была не дать ей угаснуть. Он родился таким смешным и уже сердито двигал бровями, совсем как отец.

Тамара поразилась про себя, как она хорошо помнит, что было два года назад; оживали всякие дела — хорошие и плохие, и все словно повторялось сначала. Нет, это надо знать, что значит одно такое маленькое существо, как Павлик, столько хлопот не доставит, пожалуй, целый зоосад, со всеми своими земноводными и млекопитающими. А однажды, когда она уже собиралась прилечь на минутку, пришел (он часто, два-три раза в неделю навещал) Ромка Копылов, приволок мешок всячины, даже распашонок гдето раздобыл и талька, прогромыхал своими костылями, полюбовался на спящего Павлика, сказал несколько «ласковых» слов в адрес Савичева и сел к столу отдохнуть. А затем достал бутылку водки, из того же мешка вытащил твердую копченую колбасу. Она подала ему тарелку, стакан и вилку, то и дело запахивая на груди халат, сходила на кухню за ножом и села напротив него, есть ей самой не хотелось, и пить было нельзя, и она села просто так, посмотреть, и сидела, сонно моргая и удивляясь, как он может столько есть колбасы. Приканчивая поллитровку, Ромка поднял потяжелевшие глаза, деревянно улыбнулся ей затвердевшими, обветренными губами.

— Слышь, Том,— сказал он,— есть разговор. Хочешь, брошу Евгению, к тебе перейду? А? Я тебя прокормлю, я, если захочу, денег уйму могу зарабатывать. Ей-богу.

— Брось дурака валять,— отмахнулась она.— Опять напился... Может, за Женькой сбегать?

— Ну ее. Она детей не хочет, сука, подвернись ей другой, с ногами, бросит меня, уйдет. А что у тебя ребенок от Антона, не помешает. Я его еще больше любить буду. Ребенок ведь... Томка, ну пойди сюда, давай поговорим.

— С ума ты сошел, Роман,— она поднялась и, опира-

ясь руками о стол, глядела на него в упор, ведь это он со своей Евгенией подсунул ей этого Савичева.— Скоты вы все, мужчины,— сказала она.— Все вы только об одном думаете, на последствия вам наплевать.

Он, улыбаясь, криво наклонил голову, она не заметила, что у него подрагивают губы, и остановилась, только увидев его глаза.

— Ну, хватит,— сказал он, пряча руки под стол.— Я пошутил, всем трудно в этой жизни, Томка. Кто же думал, что у вас с Антоном так получится. Я, хоть калека, тоже человек, мне хочется тебя как-то отвлечь, вот и брякнул. Прости, ты понимаешь...

Она передвинула тяжелую стеклянную хлебницу и все никак не могла оборвать его, и он все говорил и говорил, издеваясь над собой и выставляя себя совершенным идиотом, и ей было стыдно за него и жалко его, она никогда раньше не знала его таким потерянным и беспомощным. И она в какой-то момент вдруг увидела его иными глазами и поняла. Надо же, у нее еще могут искать помощи и участия. И она, придвинувшись, придерживая одной рукой халатик на груди, другой пригладила взлохмаченные Ромкины вихры, и он, потершись щекой о ее руку, опять застыл неподвижно с широкими и тихими глазами.

— Не надо, Рома,— сказала она.— Евгения хорошая женщина, я же ее знаю. А человек страшнее, когда он душою калека, вот тогда плохо ему. И от него другим плохо. А так еще ничего, жить можно.

Почему она вспомнила именно об этом сейчас, она не знала, но если раньше ей казалось, что с Антоном Савичевым все кончено, то теперь она даже несколько растерялась, он продолжал жить и для нее, она просто обманывала себя, что с ним все для нее в прошлом и забыто.

42

Сам Савичев отнесся к происшедшему почти спокойно; во всяком случае, внешне он не придал этому важного значения, покрутился по комнате, не найдя себе дела, ушел к ребятам на стройку, вечером сходил с ними в кино и вернулся домой совершенно успокоенным.

— А ну их к черту! Я говорил Лагутинову и тебе гово-

рил! — сказал он Инне, уже лежавшей в кровати.— И правильно сделали, плохие работы, вывешивать нечего было. Я же предупреждал. Другие сделаю.

— Не глупи! — неожиданно резко сказала Инна.— Ты пойми, в чем тебя обвиняют, я сегодня у Полины Гавриловны была. После этого тебе вообще не подняться. Ведь это не так уж все... никто не обвиняет тебя в том, что ты плохо пишешь, дело касается другого, освещение, говорят, не то, мироощущение им твое не подходит. Мрачно, беспросветно. Чернишь действительность.

— Позволь, позволь! — с веселым изумлением возразил Савичев.— Чем же это я черню?

— Тем, что у тебя колорит мрачный, что у тебя все, за исключением моего портрета, получаются неестественными, словно их за горло держат, словно вот-вот умирать.

— А вы с Полиной Гавриловной хотите это опровергнуть?

— Какое это имеет значение... Я ведь тебе, помнишь, после возвращения из деревни, говорила. Подумаешь, теленка за налог увели у тетки! Значит, надо было забрать, пусть платит, что ей положено платить, эта тетка!

Савичев поглядел на нее через плечо, приостановился на минуту, хотел что-то сказать, но опять зашагал туда-обратно. «Вот ты почему-то ничего не платишь государству»,— подумал он с обидой и тут же забывая, потому что в голове у него шла другая, своя работа, о которой вряд ли сейчас Инна догадывалась. Но она говорила и говорила, и он поневоле опять стал прислушиваться, недовольно хмурясь. Он не понимал, почему она принимает все так близко к сердцу. «Надо не обращать на нее внимания,— подумал он,— выговорится, перестанет. Надоест же ей когда-нибудь».

— Почему ты должен выделяться среди всех, как белая ворона? Я говорю не о выставке теперь. Случилось, что поделаешь. На будущее учесть надо.

— Ничего я учитывать не хочу, они там бред развели; я лично доволен, урок на всю жизнь.

— Новоявленный Христос, любитель получать оплеухи! — зло сказала она.— Тебе надо сначала утвердиться, потом скажешь свое. А утвердиться можно, если сам что-то утверждаешь. Хоть в одной своей картине ты что-то утверждаешь?

— Опять ты за свое.

— Да, за свое, у тебя все неясно, запутанно, переплетено, добро не отличишь от зла...

— Ясность в искусстве — просто глупость!

— Ты же понимаешь, о какой ясности идет речь. Выйди, наконец, из своего транса, Антон. Вон у Лагутинова новое полотно начато. Зря ты его презираешь, он свое дело знает, и правильно. Сделай лучше, если можешь, и тебе великое спасибо скажут. Если к уму еще твой талант приложить...

— Я сам знаю, что мне нужно,— резко сказал он, начиная злиться по-настоящему, морщась, как от зубной боли,— я лучше назад на стройку пойду, я не умею писать то, что во мне не горит. Пойми ты, не горит, не светит. И вообще, что ты от меня хочешь? Я тебе что-нибудь обещал? Стать художником? Покорить мир? Ну?

— Ничего ты мне не обещал, верно,— сказала она тихо, вслушиваясь в его изменившийся голос и вспоминая, какое непривычно хмурое лицо было у Лагутинова, когда он, провожая ее, говорил, что волноваться нечего, что надо быть готовой ко всему и с Савичевым она еще и не такого лиха хватит, с залысинкой уродился. Она вспомнила его глаза в тот момент, когда он, не выпуская ее руки из своей, внятно и неторопливо выговаривал, что ей нужно бы на время уехать, отдохнуть, успокоиться. Он так и сказал: «Отдохнуть от него». Именно это он и хотел сказать. «Вы женщина молодая, умная, зажигательная...». «Ах ты, старый кот!» — вырвалось у нее. Обрюзгший, умный, он, точно с мышью, с ней заигрывал. Да как он смел с ней так обращаться, как она позволила!

— Я люблю тебя и хочу тебе хорошего,— торопливо сказала Инна, стыдясь своих мыслей и своего разговора с Лагутиновым.— Ты ребенок, ничего не видишь и не знаешь, кроме самого себя и того, что творится в тебе. Может, это так и должно быть, не знаю. Но тогда тебе нужны еще одни глаза — мои, например, или еще чьи-нибудь. Нельзя же видеть только себя. Или тебя растопчут, раздавят и разнесут на башмаках.

Он представил все это, сморщился.

— Какие натуралистические сравнения,— пробормотал он, поглядел на нее и беспомощно пожал плечами.— Непривычно от тебя слышать,— сказал он,— я понимаю, конечно, но ты требуешь от меня слишком много. Ведь жила

ты со мной, когда я просто готовил раствор или таскал кирпичи. И разве нам было плохо?

— Ложись, уже поздно, скоро двенадцать,— сказала она напряженно и подумала, что ничего он не понимает, все происшедшее с ним ему кажется совершенно естественным, ни разу и не задумался. И ее приход к нему принял как должное, таким уж действительно уродился. О ней он вообще никогда не думал. Вначале она еще жила надеждой, а теперь? Ждать удачи, своего часа и бессильно глядеть, как жизнь идет, ее не остановишь до тех пор, пока выпадет счастливая карта. Считай рубли, мучительно соображай, сколько истратить. У нее из одежды ничего приличного не осталось, обноски, никогда она еще так дурно не выглядела. Еще ребенка хотел, глупый, куда уж поднять ребенка...

Савичев разделся, лег рядом.

— Погасить свет? Тебе ничего не нужно?

— Нет, спасибо.

Щелкнув выключателем, он повернулся к ней и положил руку ей на грудь.

— Давай договоримся, никогда не заканчивать день неприятным. Не сердись, я попробую, ведь в конце концов это уж не такой грех увидеть хорошее, особенно если ты этого так хочешь.

— Не я хочу, тебе нужно, тебе, пойми, Антон. Положительно, с тобой все труднее разговаривать. Скажи, почему ты такой упрямый, я измучилась с тобой.

— Моя дорогая режиссерша, итак, я...

— Это ты только сейчас такой добрый,— вздохнула Инна.— Когда ночь, ты всегда добрый.

Она чувствовала, как сначала ослабли его руки, он отодвинулся, встал.

— Знаешь, пойду к себе,— сказал он.— Возьму простыню и одеяло, высплюсь там. У тебя боевое настроение, и мы серьезно разругаемся.

— Нет, ты подожди, Антон, хватит паясничать. Надеюсь, я заслужила право хоть раз в жизни высказаться до конца. Неспокойно у меня на душе. Хочешь успеха, нужно учитывать даже мелочи.

Савичев подавил вздох, прошел к столу, закурил и сел с деланным равнодушием и скукой в лице и не стараясь скрывать, что делает он это не по своему желанию, а потому, чтобы окончательно не рассориться. Инна накинула

на плечи длинный ситцевый халат, взяв его со спинки кровати.

— Ты даже молча умеешь оскорбить,— сказала она,— но я на это давно уже не обращаю внимания, и я знаю, это в тебе не от-зла. Ты сейчас меня с мысли не собьешь, хотя заранее сделал вид, что тебе все известно и скучно. Ты хоть на минуту отойди от своего, погляди на себя со стороны...

— Зачем? — шевельнул он плечами, устраиваясь удобнее и стряхивая пепел.

— Хотя бы затем,— резко сказала Инна,— что рядом с тобой живой человек, он живой, живой и целиком зависит от тебя. У него должна быть какая-то жизнь, а не мучение. Сколько можно мучиться и таиться, хоть однажды сказать все. Ждала, ждала, думала, поймешь, сам догадаешься, и вижу, можно все прождать. Ты думаешь у меня есть своя жизнь? Ошибаешься. Все, что я делаю, только ради тебя, но ты заметь это хоть раз! Ты ничего вокруг себя не видишь, ты ничего не замечаешь. Я выбрала и работу, чтобы с пользой опять-таки для тебя. Знать, видеть, привыкнуть наконец...

Она нащупала домашние туфли, подошла к столу, села напротив, она испугалась, что он неправильно поймет, и, сильно волнуясь, всматривалась в его лицо; хмурясь, Савичев ждал.

— Ну как ты можешь быть таким деревянным, Антон, не понимать даже сейчас? — вырвалось у нее, и она тут же, снижая голос, уставилась на стол, на квадратные узоры скатерти.— Все в том, что я не могу без тебя, а с тобой не так-то легко.

— Послушай, Инка, не горячись. Все у нас идет, как должно было идти.

— И ты совсем ни при чем! — тут же подхватила она.— Видишь ли, ты не можешь поступиться своей химерой, а что близкий тебе человек страдает — наплевать. Громкие слова, честность, совесть, и все, чтобы прикрыть, какой ты индивидуалист. Кто тебе судья? Только ты сам, ты же не знаешь мнения людей о своей персоне. Ты для них что-нибудь сделай, их спроси. Таким примитивным образом не завоевать мир.

— С тобой невозможно разговаривать, успокойся. Глядя на ночь затеять скандал. Завоевание мира не такая уж оригинальная штука, его столько раз завоевывали, что

он стал похож на слишком доступную старую бабу, готовую затащить в постель любого. Лишь бы еще раз насытиться. Нужно быть слишком нечистоплотным, чтобы пойти на это, чувства первообладателя уже не будет. Слушай, ты меня никогда не понимала, прав я или нет. Я всегда буду писать только то, что мне нужно, пусть я подохну с голоду.

— И подохнешь, Антон,— она не поняла, всерьез ли он так думает, постаралась сгладить резкость своих слов легкой улыбкой и в то же время жестом показывая, что не намерена дать уйти разговору в сторону.— Только и я с тобой. Пишешь и складываешь, для чего? Наедине рассматриваешь, меня ты не считаешь чужой, я же твоя собственность. Я не могу, гляжу на эти лица, заломленные руки, глаза кричат, они живые пленники, мучаются в твоем каземате. Ты же преступник, тебя судить надо! Судят же за концлагеря. Для людей искусство — это опора вне себя, как это всем нужно, а ты всем отказываешь. Понимаешь, всем, и друзьям. Эту опору каждый ищет, и каждому она нужна. Не хочу быть соучастницей, что хочешь делай, буду говорить. Только для себя в этом мире больше нельзя. Антон, ты такой же обыватель, мещанин, как тот воропянец Бородкин, что под нами живет. Спаривает канареек и птенцами приумножает свою собственность...

— Не вижу ничего дурного.

— Вот, вот, ничего не видишь. Ты никого не заденешь, лишь бы тебя не трогали и дали делать, что ты хочешь. Пойми, наконец, ненавижу этот город, задыхаюсь в нем.

— Нехорошо, Инна, все пытаешься примерить к себе башмаки Белинского. Живи проще,— он разозлился, глядел на нее холодно, с любопытством, и она, совершенно выходя из себя от его бесстрастного изучающего взгляда, встала и, неловко попятившись назад, к стене, как бы отделяя этим себя от него и захлебываясь, забывая обо всем, с мелькнувшим страхом в глазах сказала:

— Ты — ужасный человек, я тебя стала бояться. Люди для тебя существуют постольку, поскольку они могут быть твоими моделями. Твоей натурой! Порой мне начинает мерещиться совершенная дичь, кажется, что тебе безразлично, если провалится весь мир. Лишь бы ты мог делать свое. Нет, нет, кричу я себе, он же не такой. Ты ни разу не вспомнил о той несчастной женщине, с которой жил до

меня. Ни разу за все эти годы. А у нее родился сын от тебя, родился и умер. Это же страшно, Антон. Слышишь, он умер!

Сильно бледнея, Савичев взялся за край стола, и косточки пальцев у него тоже побелели, и он медленно встал, навалившись на свои руки, затем опять сел, избегая глядеть на Инну.

— Зачем ты так? — медленно, приказывая себе сдерживаться, спросил он, глубоко изнутри, с откровенной болью.— Считаешь себя моим другом... Я знал, я все знал, понимаешь, всё, все. Неужели дело в том, чтобы ударить...

Сгорбившись, он неловко, толчком встал, и она увидела, как в нем что-то обрушилось, и что он успел за эти три года постареть, и что он несчастен.

— Антон,— позвала она, прижимая руки к горлу.— Антон, прости, я не хотела, против воли вырвалось. Антон!

Вслушиваясь, как он шлепает по полу, достает из ящика шкафа простыни, Инна ждала, решив больше ничего не говорить; она и не могла ничего сказать, перехватило горло; Савичев прошумел дверью, и все стихло, и она растерялась. За что она обидела его? Проклятая выставка, прав он был, господи, он этого никогда не забудет, надо что-то сделать, замять, сгладить. «А-а, будь что будет,— с отчаянной решимостью сказала она,— все равно теперь. И жалеть нечего, пусть его хоть немного прошибет, ему же на пользу». Ей нужно побыть одной, правда, с ним она заснула бы скорее. Лагутинов тоже хорош, он мог бы подойти не так опрометчиво, она ему, как отцу, доверилась. И с его стороны непростительно, нельзя никому полностью доверяться. Лагутинов тоже не семи пядей во лбу, у него дел через край, вот и ошибка. Главное — разобраться, почему ей самой так больно. Надо выбирать раз и навсегда, теперь она уже все поняла окончательно. А что решается? Предпринять что-то смелое у нее уже не хватит пороху, если подумать, устала дико, душой устала, оглянуться — что ее жизнь? Все пыталась к чему-то чужому прилепиться, самостоятельности всегда не хватало, и от Савичева она никогда не сможет оторваться. Это же она так, лишь бы злость свою сорвать. Вот так и будет всю свою жизнь с неудачником, будет стариться, он озлобится, станет на всех бросаться, и на нее больше всех. Слишком это какая-то больная любовь, ему ведь все равно, лишь бы кто-то был

рядом, с кем бы он мог спать, когда нужно, и проглотить, не чувствуя вкуса, сваренные ею щи. Он прост, как новорожденный. И чист, добавила она, стараясь не переходить той грани объективности, когда люди начинают придумывать и наговаривать, лишь бы оправдать себя. Может быть, вся причина в тебе самой, и не нужно было связывать с ним какие-то высокие надежды. Он честно ничего ей не обещал и не виноват, что у нее к неожиданно вспыхнувшей страсти подспудно примешивалось и честолюбие и тщеславие. Господи, стыдно, стыдно, стыдно! Но и она же не виновата, что плохого, если она хотела быть полезной, его поднять и самой подняться рядом, он же талантлив, лишь не умеет распорядиться своим даром как следует. Самое главное, успокоиться теперь и все как следует обдумать. Глупо, почему он должен ради тебя меняться? Нет у тебя такого права на чужую душу. «Если он живет со мной, значит, есть»,— сказала она и тут же отрешенно усмехнулась. Он будет жить с кем угодно, и ничто в нем не изменится, привыкай, какая разница, жизнь прошла, покатилась под откос. На новую жизнь, новую борьбу сил нет, все истрачено. А может, позвать его, там ведь неудобно, какой-то горбатый деревянный ящик, бока расцарапает. И потом, так хочется сейчас согреться, почувствовать рядом Антона; она вдруг вспомнила глаза Лагутинова и то, как он держал себя в разговоре с нею, и поежилась. Глядя мимо нее, в сторону, на проходившие машины, Николай Акимович сегодня пожалел, что Антон не пришел, зря, мол, сердится, лично он, Лагутинов, сделал возможное и невозможное, да и потом добрым молодцам урок.

Умный человек из всего выведет урок.

Надо выпить снотворное, решила она, все равно ни до чего не додумаешься. Денек, другой, все рассосется, уляжется. И потом ничего жалеть не надо, стоит терпеть, страдать из-за одного, из-за любви, но Антон-то не любит. Иногда ей еще казалось, что это не так, но теперь, после разговора, ясно. Ради любви идут на все, как она пошла. Он даже не может пообещать, а ей даже хватило бы и голого обещания. Все самообман, и она лгала себе, ей тоже хотелось, чтобы, как у счастливых людей, ее хоть немножко любили, все время надеялась, ждала. Если попробовать жить без этого? Как говорит Полина Гавриловна... Как это она говорит? Ах да, любовь необходимое сожительство для борьбы с трудностями жизни, остальное де-

шевенькое приложение. Даже не иллюстрированное. Так они и прожили — Лагутиновы. Антон, наверное, спит, он быстро засыпает, и Лагутиновы спят, наговорились и спят. Спокойная совесть, здоровые желудки.

Закрыв глаза, Инна положила на них горячую ладонь; мелькали разноцветные круги, верный признак того, что утром будет болеть голова, и она затихла, даже дыхание затаила. Она не знала, что как раз в это время и Лагутинов не спит и думает почему-то не о Савичеве, именно о ней. Полина Гавриловна, неприятно удивляя мужа, тихонько всхрапывала, Лагутинов раньше не замечал, чтобы жена храпела. Он встал, вышел в столовую, напился воды прямо из горлышка графина, почесался, прислушиваясь к пустынной тишине большой квартиры. Захотелось курить, он даже крякнул. «Вот и привык»,— сказал он и пошел в мастерскую, в надежде найти кем-нибудь забытые папиросы или сигареты. Ничего он не обнаружил, лишь на подоконнике стояла глубокая тарелка, битком набитая окурками, и он, выбрав самый большой от сигареты, осторожно размял его и закурил, с неожиданным отчуждением рассматривая тени в углах. Голова легко закружилась, он прислонился к стене, радуясь легкому опьянению и все время поддерживая его глубокими затяжками. Савичев первым не придет, ясное дело, нужно выбрать время, сходить к нему, что поделаешь, очень уж нервно вела себя Инна, чудаки, не понимают, что сделано главное, теперь Савичев не остановится, он внутренне сдвинулся, и в этом только его, Лагутинова, заслуга. Пусть поругают, обидятся, не впервые, он видит дальше всех, ничего страшного, не просто выбиваться в гении, каждому надо понять. Головы не снимут, побыть несколько в общей шкуре не помешает, наоборот. С удовольствием, например, уступлю часть заказа из этого исторического цикла, и денег подработает, и политический капиталец, гляди, нарастет. Родился художник большой судьбы, на все остальное наплевать, важно не дать ему остановиться. И сам он будет честен в этом до конца, как бы горько ни пришлось, что бы там ни зашевелилось внутри, в руки он себя сумеет взять, если нужно. Ведь он сам обновляется рядом с ним, нельзя жить с пустой душой, как этого другие не понимают?

Собрался Лагутинов к Савичеву лишь на третий день, все никак не мог решиться раньше и давал время отойти, остыть.

Инна ушла из дому часом раньше, сказала Антону, что после работы вечером, может быть, задержится, посидит в парке, голова перестанет болеть. Он вопросительно поглядел на нее, и ее улыбка показалась ему неискренней. «Вот глупая,— подумал Савичев мягко.— Я-то при чем здесь, раз неудача? Надо к этому быть всегда готовым». Инна вернулась от порога, порывисто обняла его, поцеловала в глаза и быстро вышла, и Савичеву опять показалось, что она замешкалась, не решаясь переступить порог, и он, дождавшись, торопливо вышел на балкон, неожиданно захотелось видеть ее. Она стояла у подъезда, закалывая брошью шарф и держа сумочку под мышкой; и в этом жесте показалось ему что-то беспомощное, жалкое, у Савичева сильно забилось сердце, так захотелось пойти с нею.

— Антон, я передумала, вечером сразу вернусь,— подняла она лицо и улыбнулась.— Не скучай.

Савичев слабо шевельнул пальцами, пытаясь понять, что это сегодня с ним такое; еще раз оглянувшись на него, Инна исчезла за углом дома и затем, скрывшись с его глаз, остановилась, делая вид, что у нее неладно с воротничком платья. Мучительно не хотелось уходить от своего нового дома, где оставался Антон, пугала собственная душевная опустошенность, ни о чем не поговорили после вчерашнего, и он вел себя с непривычной мягкостью. Трудно было глядеть ему в глаза, нет, он все-таки человек, хороший человек, решила она, надо бы побыть с ним вдвоем, попросить прощения. «Я, кажется, нездорова,— подумала она.— То холодно, то жарко. Лучше бы вернуться и лечь».

Она села на трамвай и потом долго бродила по парку, где под ногами валялись сбитые мальчишками каштаны; на скамейке у обрыва дул ветер, прямо с Воропы, темневшей внизу. Инна смела со скамейки кем-то оставленные старые газеты и села. Поглядела на часы, стрелки придвинулись к десяти. Несмотря на ветер, было тепло, она сжала колени, одернула юбку. Тихое место, сюда редко кто днем заходит, можно отдохнуть. Как тогда чудесно было за городом, вот бы еще раз. «Ну вот и ладно,— думала она,— выберу день и поеду за город. Бывают такие осенние солнечные дни, можно позвать Антона, мы с ним друг другу уже не мешаем, привыкли. Как странно, люди привыкают, словно собаки или кошки. К запаху привыкают,

у каждого ведь свой запах, Антон, например, если в духе, пахнет сосной».

Подошел молодой парень лет двадцати и сел на другом конце тяжелой чугунной скамейки; Инна поглядела на него открыто, оценивающе, на лицо, на руки, раскинутые по спинке скамьи. «Какой молодой»,— подумала она с легкой завистью.

— В армию иду, вчера повестку получил,— сказал он, заметив ее взгляд и проникаясь к ней внезапным доверием и расположением, и она подумала, что война во многом изменила людей, они стали как-то общительнее, но ей сейчас не хотелось разговаривать, и она молча наблюдала за лицом парня, почему-то уверенная, что он не слишком умен, и где-то в глубине души жалея его за это.

Парень поморгал, глаза у него были красивые, с длинными темными ресницами.

— Может, отпразднуем это событие? Пойдем пивка выпьем, есть воблочка.— Он извлек из кармана штанов желтоватую, засушенную рыбину, понюхал сам, протянул Инне.— Душа заходится.

— В самом деле, хороша. Жалко, нельзя, печень у меня больная. Видите, подвожу я вас.

— А вы знаете, я ведь женат, у нас комната своя отдельная,— сказал он с некоторой растерянностью.— Она недавно техникум закончила, железнодорожный, все время на работе и на работе. Сашей звать. А у меня три дня свободных, вот и брожу, не знаю, куда себя приткнуть.— Парень пожал плечами, засмеялся.

— Я рада, что вы так ее любите,— сказала Инна и вздохнула; парень встал, высокий, нескладный, поглядел еще на нее и пошел, шаркая по земле сзади широкими штанинами, затем оглянулся, замедлил шаг, словно ожидая, и она подумала, что неумные люди всегда очень чутки в биологическом, за километр чувствуют отношение к себе, своеобразное защитное оружие, другого у них нет. И еще она подумала, что глупо жениться так рано, когда и в жизни-то ничего не понимаешь, встала, разглаживая складки, отряхнулась и пошла обрывом, по узкой заваленной листвой тропинке, которая, петляя, спускалась в овраги и опять поднималась вверх; Инна шла легко и свободно, и навстречу ей как раз дул ветерок — холодноватый, несший последние запахи осени. Она пришла к мосту через Воропу, по нему в обход городу проходила грузовая авто-

мобильная дорога, связывающая Москву с Крымом и Кавказом, то и дело проносились автомашины, иногда из кабины высовывались, что-то кричали. Инне нужно было перейти на другую сторону, и она никак не могла решиться, слишком часто пробегали туда-обратно машины. И потом она увидела показавшийся на дороге какой-то странный тяжелый автомобиль с высоким верхом, с решетчатыми фарами, шедший с низким стонущим гулом, он был еще далеко, но Инна слышала клокочущий у него в колесах воздух. «Конечно, я еще успею,— подумала она,— чего я боюсь? Надо пересилить себя, ну что это, не могу через дорогу перейти, совсем распустилась, все время боюсь и боюсь. Смешно, беспомощный ребенок. Может, действительно, придется уйти от Антона, а то я его со всех сторон огородила, пусть почувствует, как жизнь кусается». Хоть на время, он уже не сможет без нее, привык, чтобы кругом была она. Как стыдно было вчера, невозможно стыдно. Ведь скорее всего прав он. «Да и что мне еще надо? Лишняя пара туфель, видеть себя во сне по-мещански счастливой? А счастье — что оно? Раньше я все время ждала: поймет, просто поймет, и копилось огорчение». Разные люди, и дороги разные. Теперь тебе уже мало, а ведь нужно гордиться, что он именно такой, как есть. Когда ему быть внимательным? Нужно немедленно вернуться, рассеять вчерашний разговор, на нее словно затмение нашло. Пусть все делает по-своему, это, наконец, его естество, иначе он не может. Ведь так скорее всего потерять. «Антон, Антон, слышишь, никогда, я скорее язык себе вырву, чем скажу тебе хоть слово». И с ребенком она была не права, жесткость, замкнутость Антона отступила бы перед маленьким, беспомощным существом, перед его незнанием, ребенок могущественней своим незнанием, ты все абстрактно подходила, а здесь было бы чувство, ответственность какая-то, как раз и растопился бы лед.

Она не заметила, как сошла с обочины, она хотела видеть Антона сейчас, немедленно, она ему скажет то, чего раньше не говорила, хотела сказать, что он ее жизнь, а без него...

Круто повернувшись, она вскрикнула — тяжелый автомобиль был прямо перед нею, она увидела белое лицо шофера, увидела его открытый рот и, заслоняясь, делая попытку бежать, наклонилась вперед, холод вошел в нее, в руки, в живот, в сердце, уже нельзя было успеть, она виде-

ла; что же это такое? «Не хочу, не хочу, не хочу»,— простонало у нее внутри торопливо, с холодным ужасом, и ей казалось, что самое главное — вытолкнуть этот стон из себя, и обойдется. Губы застыли, она не смогла разжать их, и лишь бежала куда-то, это не от нее зависело, и она услышала разрывающий уши скрежет тормозов, она еще раз увидела водянистые фары, искаженное лицо за стеклом, и ее ударило с силой раз, и к ней рванулась земля, огромная, выстланная крупным, истертым временем камнем, и ее ударило вторично; Инна так и не смогла крикнуть, закричал шофер в кабине, через силу пытаясь остановить тяжелую машину и разрывая передними колесами бровку крутого откоса, разбрызгивая сухую землю и щебень; сильно запахло бензиновой гарью и задымившейся от перегрева резиной.

Было небо, по-осеннему блеклое и высокое, очень высокое, почти без облаков, и матерился шофер, пожилой мужчина, с лицом, густо изрезанным морщинами, и все останавливались, останавливались машины; через дорогу перенесло ветром растрепанную грачиную стаю, осевшую недалеко на поле.

Собралась толпа шоферов, среди них оказалось несколько женщин, и мальчик лет десяти, он все порывался посмотреть, но мать, высокая, бледная, насильно повернула его за плечи и повела прочь, уговаривая и рассказывая какую-то ложь.

В стороне от дороги стоял густо разросшийся дубовый куст, еще не сбросивший листву, он стоял как остров и жил своей тихой, красочной жизнью; осень позолотила его, и в его листьях проступили теплые оттенки, от багряного до рыжеватого, как бы подсушенного; в холодные ночи под его защитой устраивались на ночлег всякие насекомые и полевые птицы, хотя их с каждым днем оставалось все меньше; дубовый куст резко выделялся среди опустевшего поля и в сильные ветры упруго и неподатливо гнулся, наполняясь сдержанным шумом, он был одинок, он придавал необычное оживление всему пространству, и реке, и мосту, и каменной дороге, и небу над собой, и солнцу, если его не закрывали тучи и облака. Он был одинок и по-земному прост, в этом заключалась вся его значимость и весь его смысл, и кроты нагнали из-под его корней наверх кучи влажной, жирной земли. И если продраться к середине густого и цепкого куста, натолкнешься на широкий и вы-

сокий, в два обхвата пень, срезанный неровно, и не в один раз, а может, и не в один день, затемневший и крепкий, как железо, уходящий в землю такими мощными и многочисленными корнями, что сразу становилось понятно, почему одинокий зеленый островок среди безбрежного поля стоит нетронутым: молодой зеленый куст жил за счет неприступности старого, мертвого пня, распахивая поле, его обходили стороной даже гусеничные тракторы,

44

«Где это случилось? — спрашивал себя Савичев в лихорадочном возбуждении, потому что никак не мог вспомнить, а вспомнить было необходимо.— Ах, ты черт возьми, где-то возле моста, да, возле какого-то моста. Как она там оказалась? И что здесь нужно Косте Арефину и Лагутиновым, он же им уже дважды сказал, что хочет остаться один, неужели непонятно? Третий день никак не отстанут. Глупо, если они думают утешить своим присутствием. Румяный сосунок, наверное, теперь, стишок напишет, пропечатает и гонорар получит». Савичев с усилием заставил себя оборвать, при чем здесь Костя, он последнее время стал ему чем-то нравиться. И в Инну был влюблен, ему в глаза трудно смотреть. И все равно в таких случаях человеку лучше оставаться одному, он должен быть лицом к лицу с тем безжалостным н е ч т о, позволяющим постигнуть начало и конец, если не понять, нельзя будет жить, или жизнь превратится в скотский мрак. Он обязан понять, он должен, должен, он один виноват, он и есть та единственная причина. Говорят, несчастный случай, трагическая нелепость, каких в жизни много, но ведь он сам знает, что это не так. Он ничего не видел, не хотел видеть вокруг себя, она жила в каком-то искусственном отражении и задохнулась в нем, а он ничего не замечал, намеренно не хотел замечать. Боялся лишний раз пошутить, приласкать, улыбнуться. Небожитель, идиот, олух! Полно, опять остановил его внутренний голос, всегда начинавший звучать во спасение, когда становилось невыносимо трудно; и все-таки, сколько бы он сейчас ни думал, ни терзался, ему не понять, как это произошло. П о ч е м у? И почему он теперь злится на людей, разве без них станет легче?

Он поднял тяжелую голову, поморщился и сел, он за-

метил, что лежит, неудобно лежать при чужих, особенно если рядом женщины. Он сел на тахте и ладонями пригладил волосы, кожа на голове наболела, и он ее чувствовал пальцами.

— Идите домой, прошу вас,— сказал он, глядя на Полину Гавриловну, на ее некрасивое, постаревшее за три последних дня лицо с резко обозначившимися у глаз морщинами.— Сколько времени без сна. Что теперь делать...

— Не надо говорить об этом,— перебил его Лагутинов.— Дико... Непостижимо! Мужайся, Антон. Ты должен работать, во что бы то ни стало работать. Слушай,— он остановился в раздумье,— может, выпьешь немного? Иногда помогает. И я с тобою, третий день ничего не ешь. Выпьем горькой. Мама, посмотри там, может, чего закусить найдется.

— Сейчас, сейчас, вот сделаю бутерброды, и картошка есть, сейчас пожарю.

— Давай и то и другое,— суетливо сказал Лагутинов.— Человек обязан есть, пополняться горючим.

Он достал из-за занавески на окне плоскую большую флягу в войлочном футляре, стал собирать на стол, принес рюмки, сходил на кухню поторопить Полину Гавриловну. Савичев глядел на него и не понимал, зачем он здесь и что делает. Горькую? Какую горькую? Ах да, за помин души.

Савичев поглядел в широкое, доброе лицо Лагутинова, отвернулся к окну и, сдерживая спазмы в горле, осторожно поднес рюмку к губам, выпил и не почувствовал ни запаха, ни крепости.

— Хороша наша пшеничная,— опять услышал он голос Лагутинова, словно откуда-то издали.— Куда до нее всем зельям выдержанным и невыдержанным; Костя, присоединяйся.

— Не хочу,— сказал Костя глухо, не трогаясь с места.

Пришла Полина Гавриловна, посмотрела на ссутуленные плечи Савичева и насильно сунула ему в руку бутерброд с колбасой; он равнодушно поглядел на него и стал есть.

— Вы, право, идите, чего вы здесь томитесь? — попросил он Полину Гавриловну, глядя мимо нее во двор, и она, покосившись на мужа, взяла Савичева за руку, повыше локтя, и повела к столу.

— Боже мой, Антон! — удивилась она, моргая светлыми, ненакрашенными ресницами.— Как можно? Уйти — и

бросить вас одного. И не говорите, ничего с нами не случится. Давайте здесь запрем и пойдем к нам,— предложила она.— Живите, сколько поживется. И нам с Колей все легче будет. Господи, оттуда ничего нельзя вернуть, какая все-таки несправедливость.

Полина Гавриловна поднесла влажный платок к лицу, села в уголок на стул, впервые она почувствовала усталость от жизни и, самое главное, от невозможности найти объяснение. Пожалуй, не было еще ни разу такого положения, чтобы она не нашлась и не могла бы рассеять мрачного настроения, здесь же ничего не получалось, Савичев был слишком тяжелым человеком, и она не знала, как подступиться, она еще такого тупоумного не встречала, глядит, по глазам видно, все понимает, и больше ничего. Глаза больные, словно у старой собаки, глядеть трудно. Надо же было связаться, уж действительно, судьбу, как говорят, на козе не обойдешь, не объедешь.

Полина Гавриловна обрадовалась, увидев, что Савичев сел за стол и потянулся за второй рюмкой, она положила ему в тарелку картошки побольше, сама присела рядом. Ей тоже захотелось есть, и она попросила мужа налить и ей немного, кажется, наступил перелом, думала она, теперь можно будет и уйти, отдохнуть.

После третьей рюмки Савичев опустил голову на стол, на руки. Полина Гавриловна переглянулась с мужем, хотела взять Савичева за плечо; он сам поднял голову.

— Простите... Ослабел, от водки, что ли, чернота... Выспаться надо,— сказал он.— Пойду лягу, и вы идите. Вы там захлопните дверь. Не обижайтесь, что не провожаю. Нет, нет, идите,— твердо сказал он.— Я хочу остаться один. Мне очень сейчас трудно с вами,— признался он и поднял руки к голове, к вискам.— Ты что? — спросил он у Кости, ставшего перед ним, как показалось, неожиданно.

— Ничего. Как тебе тяжело, все видят. Теперь меня послушай, Савичев, будем честными до конца. Ты в этой смерти виноват, один ты!

— Костя, опомнись! — ужаснулась Полина Гавриловна.— Перестань...

— Вы перестаньте! — сорвался Костя на высокий крик, и Савичев видел его трясущиеся, бескровные губы, сухой, бело проступивший лоб.— Ничего вы не понимаете, я сейчас хочу правду сказать. Ты ее убил! У нее от тебя

все инстинкты жизни угасли, ты только себя видел и понимал, до других тебе не было дела, Савичев! Да, да! Ты, наверное, слышал, что Микеланджело приказал распять раба для натуры. Так ты ее еще хуже распял. А я, если так, презираю и Микеланджело и Савичева, будь он и хоть трижды гениальным! Не верю в тебя, не верю, ничего ты не сделаешь — у большого человека и большое добро... Убийца прежде всего убийца! С тобой нянчатся, подгузнички тебе подвязывают... Ты думаешь, здесь несчастный случай? От самого себя спастись хочешь? Врешь!

Савичев смотрел на Костю, застыв, видел его рот, руки с длинными худыми пальцами, и ему казалось, что голос идет откуда-то сверху, совсем не от Кости, он почти не понимал значения слов; он зажал уши, больно, до звона.

— Замолчи,— сказал он, глядя на Костю и видя прыгающие, трясущиеся пятна, белые, в серых, желтоватых разводах (это слова, слова, подумал он, заставляя себя оторвать отяжелевшие ладони от головы).

— Как она тебя любила, ты этого не поймешь никогда.

— Уходи,— попросил Савичев, потому что больше ничего не мог сказать.

— А-а, уйди, уйди, да? — бессмысленно повторил Костя и, мучительно ощерив рот и беспомощно всхлипнув, побежал, цепляясь плечом за косяк и дернувшись всем телом.

— Не трогайте меня,— шепотом сказал он пытавшемуся удержать его Лагутинову, брезгливо дергая плечом и глядя слепо, с ненавистью.— Все вы здесь, все вы... Хотя бы вот вы, Николай Акимович... Зачем вы меня всегда хвалите? Талант, талант... Какой я талант? Я только последнее время понял — зачем. Я ведь ничего не могу, не то что он,— Костя оглянулся на Савичева, еще больше переменившись в лице.— Я просто серенький, обыкновенный и никогда не взлечу выше второго этажа. А она, она,— понизил он голос, как бы боясь называть громко имя Инны,— она с самого начала это понимала!

— Костя... Ну, спасибо, дорогой, спасибо...

— Хватит, Николай Акимович, хватит, не трогайте меня! Зачем я вам? Зачем вы все...

Он не смог договорить, выбежал; Лагутинов, бледный, вконец раздосадованный мальчишеской выходкой Кости, помедлив, шагнул к Савичеву, тот остановил его.

— Я вас всех прошу — уйдите,— сказал Савичев, ста-

раясь остаться в тупом спасительном равновесии, в котором находился уже несколько дней.

— Антон...

— Я хочу побыть один,— уже со сдержанным раздражением повторил Савичев, понимая, что не сможет успокоиться, собраться с мыслями, пока рядом будут посторонние. И вообще, хватит другим быть здесь, им ведь этого совсем не хочется.— Николай Акимович,— настойчиво попросил он,— пожалуйста, не обижайтесь, не могу больше, одному мне лучше.

И они оба поняли, что на этот раз он не уступит, быстро собрались и, не прощаясь, вышли, оставив на столе все как было. Савичев, торопясь, запер дверь на ключ, достал одеяло, опять лег на тахту, подсунув под голову жесткий круглый валик. Его знобило, и он тщательно укутался, подтыкая под себя одеяло со всех сторон. Взял рядом на стуле сигареты и спички (опять-таки позаботилась Полина Гавриловна) и закурил. Затянувшись раза два, он поглядел на сигарету. «Памир», «Памир», «Крыша мира»,— сказал он,— крепкий, плохой табак, их предпочитают курить молодые». Под потолком расплывался и мутно таял дым, в глазах стояла резь, словно под веки насыпался песок, так и хотелось их чесать, просто разодрать, до того сильной моментами становилась резь.

Этого он не ждал, и особенно от Кости. И еще, пожалуй, он даже не задумывался, сколько она значила в его жизни. Да нет, как он смеет? «Щенок»,— подумал он с отупением. Но почему именно он — Костя Арефин, дико. Что он врет, этот Костя, как же можно убить. Ее убить!

Свесив руку с сигаретой до самого пола, Савичев несколько раз произнес шепотом ее имя и вдруг почувствовал, что так дальше невозможно, он или с ума сойдет, или вообще натворит ужасное. Нужно было встать и поглядеть, что бы это сделать немедленно, но он только подумал об этом и забыл. Он стал вспоминать, и вспоминалось почему-то самое приятное, вспоминалось неотвязно ее тело, и ему показалось это непристойным, и он стал копаться глубже и глубже, уходя в те пласты, где все было лишь памятью, и больше ничем. Это опять была удивительная картина, прошедшая с ним по всей жизни, а он даже не знал, откуда она и кто с ним в ту пору был рядом, возможно, мать... Та редкость, оставшаяся ему от доброго

мира детства: сказочная, семицветная радуга над широкой-широкой рекой и огромным темным лесом, огромным, очевидно, потому, что ему самому было лет пять, может, и четыре, теперь он понимал. Лес тихий, таинственный, с одного края неба дымчато-розовые тучи, а в другой стороне — чисто, сине, и свой возбужденный восторг: «Что это? Что?» Он и сейчас лежал под той удивительной радугой, он больше ничего подобного по красоте не видел. И еще он вспомнил серую, лохматую кошку (тоже редкость из детства), важно евшую на сухой земле мелких серых муравьев. Они возбужденно бегали взад-вперед, ничего не понимая, а кошка собирала их с земли влажным, розовым языком, мотала головой и начинала облизывать лапу, скорее всего муравьи кусали ее за язык и за губы, и она просто таким способом чесалась. Муравьи выползали из крошечных отверстий в земле, и он, пораженный, долго не мог отойти, он не знал, что кошки едят муравьев, так казалось интересно...

«А кто посолил море, удивительно, кто море посолил? — спросил он себя, приподнимая голову.— И если есть летучие мыши, почему нет летучих кошек? Удивительно, почему их нет, ни в какие ворота не лезет, нелогично».

Он внезапно перевернулся, сунул лицо в жаркую подушку и закричал, лежал и длинно кричал, задыхаясь от подушки, от неостановимого крика, содрогаясь всем телом и все пытаясь зажать растопыренными пальцами лицо, сухой рвущийся рот, набрякшие болью глаза.

Звонок в дверь заставил Савичева замереть, он подумал, что ему померещилось нечто из другого, несуществующего мира, но звонок раздался вторично, и третий раз. «Неужели опять они? — с тоской подумал он о Лагутиновых.— Становится невозможным. Не открывать? Будут все равно трезвонить».

Он столкнул к ногам одеяло, быстро прошел к двери, распахнул ее и увидел Татьяну Дмитриевну, рядом с нею стоял небольшой коричневый чемодан с потертыми боками.

— Наконец-то! — с облегчением сказала она.— Думала, не туда забрела. Что это ты такой расстроенный? Ну, здравствуй. Здравствуй, воин. А где Инна?

Савичев наклонился, и она поцеловала его в небритую щеку, отодвинула от себя, присмотрелась. Он видел ее

внимательные, радостные глаза за стеклами очков и молча, деревянно улыбнулся в ответ.

— Работаешь? Весь зарос. Бери чемодан, чего же ты? Спасибо шофер донес. Такси у вас едет дребезжит, того и гляди развалится, а ты и сядешь на мостовую, как дура.

С трудом раздвинув губы, стараясь изобразить какое-то подобие улыбки, Савичев взял чемодан и внес в комнату; он слышал, как щелкнул сзади английский замок, но не шевельнулся, продолжал стоять с чемоданом в руке и глядеть на темное пятнышко на стене напротив. Кажется, оно появилось совсем недавно, отчего бы...

— Антон, что с тобой? Почему не поможешь раздеться? Я не ко времени? Прости, телеграмму не стала давать намеренно.

— Тетя Таня...— сказал он быстро и неразборчиво, как в детстве, глотая от усилия слова.— Тетя Таня, Инна умерла, второй день, как ее похоронили. Попала под машину... автомобиль, и почему-то за городом.

Сказал и остался стоять, криво улыбаясь дурацкому пятну на стене, ну она умерла, и ее позавчера похоронили, и недавно отсюда ушли Лагутиновы. Зря он на них злится, что бы он стал делать? Ничего бы не смог, и Инна была бы в этом мерзком морге. Говорят, их зарывают там без гроба или передают в анатомичку, в мединститут для практики. Теперь земля пустая, гулкая.

Он прислушался, уловил чье-то тяжелое, прерывистое дыхание рядом. Ах да, да, тетя Таня, разжав пальцы, он выпустил твердую ручку чемодана, и чемодан глухо стукнулся.

— Как же это? — ошеломленно спросила Татьяна Дмитриевна.— Она ведь мне письмо прислала совсем недавно, я поэтому приехала...

Татьяна Дмитриевна пошла и села в кресло в углу, не раздеваясь, стягивая перчатки, она, казалось, еще не вполне понимала смысла того, о чем ей сообщил племянник.

— Какое письмо? — спросил Савичев, подходя к ней.— Покажи скорей,— потребовал он обеспокоенно.— Очень важно, понимаешь, очень...

— Что важно? — Татьяна Дмитриевна казалась спокойной, лишь лицом стала суше и губы поджались.— Успокойся, Антон, не знаю, захватила ли я его... Подай, пожалуйста, мою сумку на столе, или нет, я сама возьму. Ну, ну, ну, мальчик, не волнуйся, я, конечно же его за-

хватила, не могла я его забыть. Вот оно — пожалуйста, там ничего такого нет...

Он выхватил из рук у нее серый конверт с видом на обрыв и на Воропу, на обрыве трехсотлетний дуб, которым воропянцы очень гордятся и показывают как одну из самых главных достопримечательностей города. Савичев взглянул на Татьяну Дмитриевну и пошел в мастерскую, ему хотелось прочитать ее письмо одному, наедине, словно послушать далекий, ушедший голос; он успокоительно оглянулся на Татьяну Дмитриевну и тихонько прикрыл за собою дверь. Но это ей не понравилось, и она, помогая себе руками, встала, пошла и распахнула дверь настежь.

— Теперь командовать буду я,— сказала она решительно, увидев его спину.— Я наведу здесь порядок.

Она издали прищурилась на картины на стенах, поправила очки, стараясь разобрать, но входить не стала. Разделась в коридоре, сходила умылась, заглянула на кухню, стараясь не думать ни о чем, кроме самых простых и необходимых сейчас вещей. Безобразие, она совершенно не умеет готовить, прожила шестьдесят лет и ни разу не подошла к плите. Тася виновата, нужно было вдвоем приехать. Она меня с самого начала избаловала, и вот коснулось, и смешно. Даже каши она не сварит, всю жизнь писала свои дурацкие статьи, никому не нужные, где пыталась примирить совесть с необходимостью, только суп не выучилась варить и котлеты делать тоже. Мальчик, видно, голоден, с такими лицами из концлагеря выходят.

Иногда забываясь, Татьяна Дмитриевна останавливалась в недоумении, подносила руки к лицу, потом осторожно кралась к открытой двери в мастерскую, заглядывала; племянник сидел все в той же позе, он уже, очевидно, прочитал письмо.

45

Мир замкнут в четырех стенах, мир замкнут и в самом человеке, и в таком случае мир, как зерно, зародыш вселенной, магическая формула незыблемого порядка материи, к которой прорубаются ученые века и века. Можно не верить в высший разум, но трудно о нем не думать. Часто этот стройный порядок разрывается, и всякая логика становится в тупик, объяснения нет, а может, в том и смысл? Чего он ждал от е е письма? Чуть не задохнулся, услышав,

и сидит, не в силах подняться, там, кажется, на столе осталась фляга, надо бы еще выпить. Пить до тех пор, пока не начнут слипаться глаза, надо выспаться обязательно. Проклятый Костя, какая муха его укусила?

Савичев опять стал рассматривать письмо, две странички, второпях вырванные из тетради, крупные, каждая отдельно, буквы, судя по почерку, она должна быть уравновешенным, спокойным человеком. А ты что хотел, когда потребовал письмо? Ну да, ты ожидал, что там останутся какие-то следы, но все-таки письмо странное, очень странное, почему она попросила приехать Татьяну Дмитриевну именно в эти дни? Совпадение? Не слишком ли много совпадений? И потом, совсем я не в тяжелом положении был от их статей, конечно, неприятно, но совсем не то положение, как это она представила в письме. Ну да, умерла, тупо подумал он, зачем тебе разбираться, намеренно или случайно, от этого ты ведь ее не вернешь. Просто сам не понимаешь, как тебе дальше жить, просто тебя страшит опять все это, яростно сказал он. Я любил ее, слышите, я любил ее, я любил ее...

Подняв голову, Савичев прислушался. Или он кричал? И тут он впервые с такой пронизывающей все его существо болью понял, что ее больше нет, он любил ее, любил всегда, со школьных лет, с самого рождения, и эта любовь лишь больнее и пронзительнее, когда ее не стало. Она была нужна ему, только ему, эта женщина была создана для него, и кто смел ее отнять? Не ее вина, что она родилась слишком нетерпеливой, и никто не знает, какой она могла быть смешной, ребячливой только с ним. Никто не знает. «Ты меня заново вылепил». Она была особенная. И вот мир умер. «Если бы я не послушался тогда и остался с ребятами на стройке, ничего бы не случилось. Она уже привыкла, а мне надо что-то делать. Может, мне лучше всего лечь спать, потом отнести заявление на строительство?»

Вскочив на ноги и сдерживая сердце, Савичев быстро оглянулся, ему показалось, что на него смотрит о н а, вошла и смотрит. В дверях стояла Татьяна Дмитриевна. Он вытер пот со лба и нетвердо улыбнулся.

— Иди сюда, Антон. Чай поспел. Иди, с малиновым вареньем. Ты весь дрожишь. Ну иди же, тебе надо пропотеть.

Он не стал возражать, покорно дал себя раздеть и лег, закрыл глаза, притворяясь спящим, но тут же понял, что не уснет пока не побреется. Ему мучительно захотелось

побриться, ведь борода растет у него клочьями от прежних ожогов и операций и вид у него, конечно, отвратительный; и он опять встал и пошел в ванную комнату, где развел мыло холодной водой и стал соскабливать отросшую за три дня щетину. Из зеркала над умывальником на него глядел худой, большеглазый человек, с костлявыми ключицами, длиннорукий, он подумал с некоторым удивлением, что не очень-то пропорционально сложен. На шее и на груди выделялись шрамы. «Ну что, старик,— сказал он, с любопытством глядя на синеватые извилины.— Может, и тебе того, пора? В тот дальний край?»

Как это Инна говорила? Все это ложь, нужно делать то, что дает возможность нормально, хорошо жить; вот пример, теперь ей ничего не нужно, а при жизни она ничего не могла иметь, он встал на пути, словно глыба, и она разбилась о него, разбилась, и все, и уже никогда не будет ни плакать, ни смеяться, а жизнь в миллионах судеб опять и опять будет повторять свою игру, с какими-то процентами поправок и отклонений.

Он тщательно вытер бритву, сунул ее в футляр, положил все на свою полочку — так завела Инна: у них были разные полочки в ванной. Он пошел и лег и неожиданно быстро заснул. Татьяна Дмитриевна, устроившаяся на тахте и притворявшаяся спящей, встала, постояла над ним. «Спит,— сказала она себе.— Слава богу. Плохо, Таси нет, Антона подкормить надо. Бульон. Фрикадельки. Что же делать? Не засну, и снотворное не поможет».

Выключив везде свет, Татьяна Дмитриевна тихонько, с усилием приподнимаясь на цыпочки, пробралась в мастерскую, прикрыла за собой дверь, и только потом раскашлялась, и долго не могла найти выключателя. Он почему-то оказался не возле двери, как обычно, а между окнами, и хорошо еще, что через них свет проходил с улицы.

Татьяна Дмитриевна зажгла свет и прижмурилась; в сравнительно большой комнате было тепло и пахло старыми красками, лаком, высушенным деревом — она с удовольствием вдыхала знакомый запах, во скольких мастерских она побывала за свою жизнь, вспомнить невозможно. Будь то роскошные апартаменты знаменитостей, академиков или чердачные каморки проживших жизнь безызвестно и все равно полных оптимизма и уверенности если не в своей гениальности, то в большой судьбе обязательно, Татьяна Дмитриевна с трепетом истинного интеллигента

относилась к подвижническому труду их разноликих хозяев. Мастерская художника была для нее святым местом, здесь создавались нетленные ценности, здесь присутствовало нечто, оправдывающее смысл собственного прихода в этот тесный мир иллюзий и надежд, несбывшихся даже у великих. Фантасты и гении ищут бессмертия, а есть ли в этом какой-нибудь смысл? Теперь нет больше Инны, какой-то нелепый автомобиль. Лучше не думать, бессмертие и автомобиль рядом, старческое слабоумие. «С другой стороны, не рыдать же мне»,— рассердилась Татьяна Дмитриевна, сморщила лицо и, удерживаясь, постояла на одном месте, пока немного отошло сердце и она почувствовала, что может снова свободно дышать.

Она давно хотела побывать у племянника, лишь его сухость, подчеркнутое, как ей казалось, невнимание, обижало, и она не решалась, под всякими благовидными предлогами откладывала. А ведь он был самый дорогой для них с Тасей человек, просто нужно было выждать, она это всегда твердила Тасе, не отличавшейся большой сдержанностью. С волнением протерев очки, отвлекаясь, она пошла вдоль стены, очевидно, картины с выставки еще не вернулись, она не видела знакомых портретов. Она не нуждалась в пояснениях, и, хотя нигде не было проставлено дат, она безошибочно угадывала, что написано раньше, что в самое последнее время, она наблюдала, как четче, выразительнее становился рисунок, как начинали оживать в счастливом подборе краски, и все жизненнее, вернее становилась деталь, углублялось целое. Пожалуй, в мастерской не было ничего законченного; Татьяна Дмитриевна не стала трогать картин, стоявших у стен на полу, ей было достаточно увиденного. Она ходила и ходила от стены к стене, она не могла оторваться, ее предсказания и надежды сбывались, уже сбылись, это путь, с которого уходят только однажды. Забывшись и не сразу вспомнив о том, что произошло, Татьяна Дмитриевна торопливо погасила свет, вернулась в первую комнату; Савичев спал, свободно и редко дыша, она постояла над ним, послушала и легла ровно навзничь, чтобы не портить лица и стараясь ни о чем не думать, то начинала дремать, то опять просыпалась, а когда окончательно открыла глаза, в комнате было полно солнца, Савичев давно встал, согрел чайник и сидел на кухне, ожидая. Татьяна Дмитриевна оделась, она хорошо отдохнула за ночь и теперь, полная энергии, первым де-

лом попыталась сама приготовить для племянника яичницу, зажгла газ и, вспомнив, как это делает Тася, поставила разогреть сковороду, положила масло.

— Не мешай, не мешай,— сказала она Савичеву.— Я сама. В том и прелесть человеческой жизни, что до самой смерти необходимо что-то преодолевать.

— Сделать яичницу тоже преодоление? — недовольно пробормотал он, наблюдая, как она неловко разбивает ножом яйца и выливает их на сковороду.

— Все неизвестное на пути — уже преодоление, мы разбиваем яйцо, губим заключенную в хрупкую скорлупу жизнь, чтобы поддержать свою, не правда ли, вот так,— Татьяна Дмитриевна удачно закончила первый этап приготовления яичницы и осталась довольна, она подумала, что ничего в этом сложного нет, и зря Тася иногда делает вид, что хозяйствовать такая драма, пожалуй, даже приятно, отключает.

— Ты умывался? — взглянув на Савичева, строго спросила Татьяна Дмитриевна.

— Нет.

— Иди умойся, не забудь мыло.

Савичев, принужденно улыбаясь, поглядел на нее, встал и ушел в ванную; жестоко он поступил с тетками, но ведь он никогда об этом не думал, жестоко или нет. Он не виноват, так, очевидно, и должно быть, не мог же он сидеть возле них всю жизнь. Он торопливо умылся и вернулся на кухню, сейчас его тянуло к Татьяне Дмитриевне, к ее неисчерпаемой энергии, вот человек, который до конца, вероятно, сохранит ясность и бодрость духа. С нею рядом всегда, помнится, было легко и приятно.

Яичница стояла на столе, на тарелках, она чуть подгорела, но Татьяна Дмитриевна положила ее подгоревшим вниз.

— У тебя, оказывается, хлеба нет,— сказала она удивленно.— Только маленький кусочек.

— Можно сходить, магазин рядом.

Она поглядела на него с плохо скрытым испугом, он выговаривал слова, непривычно растягивая, с трудом.

— Сходи, не забудь сахару. Не мешкай, что за удовольствие есть холодное? Подожди, деньги у тебя есть?

Савичев кивнул, не торопясь с обиженно поднятыми, как бы застывшими плечами сходил за хлебом, захватил каких-то липких конфет, так как сахару не оказалось; уса-

живаясь за стол, он увидел флягу с водкой, оставленную Лагутиновым, и потянулся налить.

— Утром? — укоризненно спросила Татьяна Дмитриевна.

— Только сегодня,— сказал он умоляюще и, так как она не отпускала его взглядом, добавил: — Честное слово, сегодня.

— Вы мужчины, всегда не цените, что вам дает жизнь,— сказала Татьяна Дмитриевна укоризненно и страдающе.— Потом бывает поздно... Не надо, Антон,— внезапно сказала она, и у нее показались на глазах слезы.— Люди все равно должны жить. Люди уходят, а жить надо.

Наливая большую пузатую рюмку доверху, Савичев думал о том, что он никогда не интересовался делами самой тетки, ведь и она была молодая, он даже что-то смутно помнит. У Татьяны Дмитриевны лет тридцать пять назад была страсть, любовь с каким-то видным режиссером, она до сих пор хоть раз в месяц носила цветы на его могилу, и это превратилось в своеобразный незыблемый ритуал; в конце концов Таисия Дмитриевна смирилась с этим, как с неизбежным злом, и перестала ворчать на ненужную трату денег, которые нередко приходилось тщательно считать.

— Что ты так ко мне присматриваешься? — обеспокоенно спросила Татьяна Дмитриевна.— Так уж изменилась? Одряхлела?

Савичев вздохнул, сказал «нет», стал есть; что ж, тетка права, хочешь жить, относись к жизни проще и свободнее, это случилось, ничего теперь не поделаешь. Слишком много хотела, вот и сломалась. Я должен был это заметить, я не имел права жить собою и только своим, от этого становишься нищим.

— Пойду назад, на строительство,— сказал он негромко.— Там, пожалуй, и место есть.

Татьяна Дмитриевна не спеша допила чай, отодвинула чашку, вытерла губы платком (в этом доме не было даже салфеток, но она не стала об этом говорить) и закурила. Закурил и Савичев.

— А я ведь от тебя начал курить,— сказал он, глядя на папиросу.— Мне всегда казалось заманчивым. Тетя Таня, у меня вопрос есть. Вы помните ту девушку, Тамару? Помните? У нее сын от меня был и умер. Тоже

умер,— Савичев поднял тяжелые глаза, постарался усмехнуться.— Не стану говорить, что я не виноват ни в чем, очевидно, так должно было получиться...

— Я тебя и не хочу оправдывать, Антон,— Татьяна Дмитриевна сосредоточенно глядела куда-то мимо, и он понял, что ей все известно.— В этом случае твой судья — совесть. Не стану скрывать, мы с Тасей тяжело переживали, мы в тебе старались воспитывать самостоятельность, развить чувство свободы. Вполне возможно, мы перестарались, и на нас вина ложится.

— Допустим, это лишь слова,— возразил он быстро, с необычной решительностью.— Я во всем виноват, и не надо мне костылей, как воропянцы говорят: хорош бы дом, да черт живет в нем. Меня другое все больше занимает,— сказал он с горечью и тайным недоумением.— Всем, кто со мной сталкивается близко, я несчастье приношу. По крайней мере, мне так кажется. Меня это мучит.

— Какая ерунда, Антон, на тебя не похоже. Признаюсь, всегда я была никудышным педагогом,— Татьяна Дмитриевна подняла руку с папиросой вверх, щурясь на нее.— Стыдись. Быстро сдаешь, Антон,— помолчав, сказала она.— Ты, конечно, не мед да не сахар. Я о другом сейчас подумала, здесь одно на другое напласталось. Я могу сказать, что знаю Инну, трудная у нее жизнь сложилась, крученая жизнь, и ты, верно, не раз допекал ее за это. Все вы мужчины таковы, себе вы прощаете все, женщине ничего, я знаю, пришлось. А ведь существует память. Она верила в тебя. Я не хотела говорить, она в Москве заходила к нам, мы с ней долго разговаривали, часа три, она осталась у нас и ночевать. Мы поняли друг друга, Антон. Я вижу по твоему лицу, тебе ничего об этом не известно, вот видишь, как вы плохо друг друга знали. Человек больше всего эгоистичен в молодости, и сколько это приносит ему лишних неприятностей! Ты меня слушаешь, Антон? У тебя в детстве была неприятная такая манера: разговаривать с человеком и думать совершенно о другом. Признайся, ты ровным счетом ничего не слышал?

46

Инна пришла к теткам Савичева как раз под Новый год, поздно вечером. И Татьяна Дмитриевна и Таисия Дмитриевна сидели и скучали, звать они никого не стали; что-

бы не оставлять сестру одну, Татьяна Дмитриевна от всех приглашений отказалась. Таисия Дмитриевна, как всегда, испекла пирог с рябиной, свое коронное блюдо, и обе они, хотя и молчали, думали о племяннике; Татьяна Дмитриевна даже обзывала его про себя неблагородным свиненком: что-что, а вспомнить и поздравить теток к Новому году мог бы. Татьяна Дмитриевна отложила новую монографию по крепостному театру — последние годы ей нельзя было много читать по вечерам, начинали сдавать глаза. В это время и пришла Инна, сказала «здравствуйте» и нерешительно остановилась у порога, не снимая пальто. Таисия Дмитриевна сразу узнала ее, а Татьяна Дмитриевна долго приглядывалась и молчала.

— Мне нужно было зайти, поговорить,— сказала Инна, комкая длинные кожаные перчатки, и, одну из них уронив, неловко наклонилась и подняла.— Вы меня простите, если поздно... в другой раз...

— Нет, отчего же!— Татьяна Дмитриевна, наконец, узнала ее, но не стала называть, как когда-то на «ты», а вполне официально и холодно предложила: — Снимайте пальто, проходите и садитесь.

Инна с любопытством оглядела, насколько это было приличным, комнату, покосилась на высокую коричневую дверь, за которой они с Антоном столько раз готовили уроки и ссорились из-за какой-нибудь ручки. Ей хотелось пройти и заглянуть в ту комнату, но она понимала, что этого нельзя сейчас сделать, чтобы не оскорбить этих двух чинных старушек, у которых при виде ее сделались постные лица.

— Я понимаю, вы обо мне должны плохо думать,— сказала Инна.— Я почему-то и на расстоянии все время чувствую вашу неприязнь. И Антон от этого страдает, он умеет молчать, но я знаю, вижу, понимаю наконец! Я люблю его, я стараюсь все делать, чтобы ему было хорошо. Антон ничего не знает, я в Москве по делам на несколько дней.

Наступило молчание, они изучали друг друга, и, наконец, Татьяна Дмитриевна, не выдержав первой, спросила:

— Как он себя чувствует? Здоров?

Инна встала, подошла ближе, сжала руки на груди, остановилась перед Татьяной Дмитриевной.

— Да, он очень здоров, то есть я хотела сказать, что Антону пошла на пользу работа на стройке. То есть, ко-

нечно, он не должен этим заниматься. Но физически он очень окреп...— у нее дрожали губы.— Он пишет понемногу, все время пишет.— Старушки молчали.— Антон меня простил, а вы... вы не можете. Я свое прошлое, как кожу, сдираю с кровью каждый день, каждый час, никто этого не знает.

— Позвольте, позвольте, Инна,— неожиданно басом сказала Татьяна Дмитриевна, но Инна остановила ее жестом, как-то широко выставив руки в направлении Татьяны Дмитриевны и тут же их опуская и делая решительное и злое лицо.

— Я люблю его, слышите, люблю и никому не позволю... Вы по-прежнему считаете его мальчиком, он же давно взрослый! Он сам имеет право выбирать... Он гибнет! Вместо того чтобы помочь, вы бог знает о чем думаете!

— Позвольте, позвольте,— побледнела Татьяна Дмитриевна.— В каком смысле — гибнет? Что случилось?

— Поймите меня, Татьяна Дмитриевна,— сказала Инна.— Я сама знаю двойственность своего положения — в своих письмах к нему вы даже ни разу обо мне не упомянули. А я ведь его жена! Даже сама не могу решить, почему мне от этого так больно.

— В понятие жены люди привыкли вкладывать нечто большее, чем одну только физическую близость. Разумеется, вы вольны трактовать сие по-своему,— выпрямляя и без того ровную спину, перешла в наступление Татьяна Дмитриевна.— По моим сведениям, вы состоите в законном браке с другим мужчиной, вы просто...

Татьяна Дмитриевна, всегда бравшая такие серьезные разговоры, если они случались в семье, на себя, никак не могла найти подходящего слова, все подворачивающиеся на язык казались ей слишком грубыми, пошлыми.

— Танечка,— робко подала голос из дверей Таисия Дмитриевна.— Чай поспел...

— Ах, подожди, Тася! Просто вы...

Татьяна Дмитриевна вовремя остановилась, увидев в широких светлых глазах Инны откровенную жалость, и это как-то поразило ее, потому что ей всегда казалось, что человек она добрый и хороший, прожила жизнь честно и самостоятельно, жалеть ее, и тем более Инне, нет никаких оснований.

— Неужели вы никогда не любили? Вы ведь женщи-

на,— с тихой силой, даже с каким-то удивлением, сказала Инна, но Татьяна Дмитриевна уже взяла себя в руки.

— Успокойтесь,—сказала она.— Сядьте, выпейте чаю.

— У вас на все в жизни есть прописи, тетя Таня! Благодарю вас, я спокойна, ничего не надо,— сказала Инна, стоя неподвижно и прямо, в каком-то раздумье, красивая и сильная, и оттого, что Инна опять назвала ее, как в детстве, когда еще Антон был мальчиком, Татьяна Дмитриевна отвернулась к низенькой елочке, которую она с большим трудом достала, да и то через знакомых, и долго так стояла, не желая показывать свое совершенно расстроенное лицо, несколько озадаченная и выдержкой Инны, и ее внутренним тактом и уж совершенно неожиданно чувствуя к ней потому явное расположение, не очень-то часто встретишь теперь человека с врожденным чувством культуры, умением держаться. Инна видела ее прямую, худую спину и видела по этой спине, насколько Татьяна Дмитриевна обижена и расстроена. Она подошла, неуверенно прикоснулась к плечу старухи.

— Не надо, я сейчас уйду, я не хотела вас расстроить, Татьяна Дмитриевна,— сказала она.— До свидания.

— Подожди, Инна,— остановила ее Татьяна Дмитриевна, поглядела близко ей в лицо, сморщилась и неловко обняла, и они, не отпуская друг друга, стояли посередине комнаты, не говоря ни слова. Достав платок, засморкалась тихонько Таисия Дмитриевна, Татьяна Дмитриевна усадила Инну за стол, села напротив, и они поглядели друг на друга со смущением; Таисия Дмитриевна пошла на кухню за чаем, и Инна, просто улыбнувшись, извиняясь за свою резкость, сказала:

— Я люблю его, тетя Таня. Мне трудно, так трудно еще никогда не было, но вы понимаете... Я только вам могу это сказать. Мне кажется, это особый человек, ему в жертву можно жизнь принести. Я верю в Антона, я многое не понимаю из того, что он пишет, но я чувствую, чувствую, что это настоящее. И эта стройка, и эти люди на стройке чем-то дороги ему, зачем-то это нужно ему... И я его не трогаю, пусть. Само придет. Я жду вот-вот, думаю, вот-вот что-то в нем перевернется, и все изменится. Понимаете, в нем подспудная глубина, но она как в бронированном панцире, никак не выбьется... Я это точно знаю, хотя он ничего не говорит, бывает же шестое чувство, здесь словами не скажешь.

Татьяна Дмитриевна слушала ее с тихим дружеским лицом и про себя печально и по-доброму улыбалась; в любви все кажется необычным. Жизнь, радость, горе, сам человек, дай бог, если потом не накатит отрезвление, иногда после тяжело бывает, как от наркоза. И в отношении Антона Инна права, странный человек, она сама до сих пор не может без содрогания вспомнить, как он сидел и всем на диво чистил башмаки и, говорят, деньги брал, по три рубля, наскучило ему, теперь вот уехал, работает на строительстве рабочим.

Инна осталась ночевать у них и спала в комнате Антона; до этого все трое досидели до полуночи, включили радио и выпили тети-Тасиной наливки — потом было очень приятно и легко, и все жалели, что не было Антона, и вспоминали, пили за его здоровье.

— Она ничего вам больше не рассказывала? — с напряженным лицом спросил Савичев, подавшись вперед, ему до мельчайших подробностей представлялось, как это было, большая комната, выражение лиц теток, блеск очков Татьяны Дмитриевны, лицо Инны, знакомый, привычный стол с традиционной смородиновой настойкой; он провел рукою по лицу, он бы мог поклясться, что слышал сейчас голос Инны, все по-прежнему, просто она задерживалась в своей галерее, и сейчас за дверью послышатся ее шаги, и она войдет. Какая смерть? Кто это выдумал такую жестокую нелепость? Значит, была, заходила, вот и еще одна неожиданность... Татьяна Дмитриевна задумалась, глядя на него и переживая вместе с ним.

— В ту ночь в Москве мороз стоял — сухой, резкий. Я открыла форточку — в минуту выстыло в комнате.

— Она ведь ничего об этом не сказала. И вы не писали.

— Конечно. Она просила, Антон, не писать.

— Я думаю теперь, как мне с собою быть,— сказал он, налил еще водки и выпил; Татьяна Дмитриевна, ничего не говоря, следила за ним, не понимая, что же ей делать дальше и что говорить.

— В жизни присутствует определенный процент нелепостей, положенный, так сказать,— вздохнула Татьяна Дмитриевна, помолчав,— ну, ты уж хлебаешь полной мерой, через край.

Она встала, сейчас не стоило добивать его, Инне уже ничем не поможешь, но не могла сдержаться, в душе у нее поднялся гнев, и было бы слишком жестоким говорить ему сейчас о другой женщине, о Тамаре, и о смерти его сына, а следовало бы. Ведь каков фрукт, ни разу не обмолвился, словно и не было. Хорошо, хоть Ромка однажды сказал, да и то пьяный. Вот и Ромка, совсем опустился человек, калека, а ведь каков. «Я,— говорит,— на него рукой махнул, конченый человек, я вот калека, а его жалею, душа у него хромая, а душу костылем не подопрешь. Да ведь я,— говорит,— и сам узнал через два месяца. Томка просила, да и почем мне было знать, не к вам же идти за адресом? Но Инна-то, Инна...»

И Татьяна Дмитриевна слегка отодвинулась от стола, ей некстати вспомнились слова племянника о том, что он приносит другим несчастье, и теперь она задержалась вниманием на этих словах и еще больше возмутилась. Она, сама не замечая, искала объяснения. Просто есть особая категория людей, и они идут по жизни к тому, что видят только сами, и оттого вокруг пустота с другими, ведь каждый приходит в жизнь со своим, пусть маленьким, но своим, и никто не обязан приносить себя в жертву другому, и потому нельзя найти виноватых.

— Я сам себе в тягость был,— неожиданно сказал Савичев.— Ничего не мог с собою сделать. Я только теперь начинаю понимать, как это мерзко — быть рядом и мучить. Думать черт знает о чем, о каком-то человечестве, искать абстрактную совесть и истину, а рядом... тетя Таня,— попросил он,— ты побудешь со мной? Не уезжай скоро, я тебя очень прошу.

Татьяна Дмитриевна порывисто встала, неловко обошла стол, положила руку ему на голову и тихо стояла, не произнося ни слова и чувствуя, какой он беспомощный и жалкий, и чувствуя, что сама она безобразно беспомощна, в трудный момент язык заплетается и утешить, поддержать как следует не умеет.

47

На другой день уже с самого утра было ясно, высокие легкие облака порой закрывали солнце, но от этого, когда по солнечной земле пробегали тени, лишь подчеркивалось доброе осеннее время, и вдобавок везде в киосках прода-

вали яблоки, яблочный запах не могла пересилить даже гарь от машин. В четырех стенах Савичев больше не мог оставаться и сразу после завтрака ушел из дому, вчерашний разговор с Татьяной Дмитриевной мучил, нельзя было перекладывать на ее плечи, даже ее нельзя было пускать к этой ране, хотя, кто знает, возможно, именно сквозь это необходимо перешагнуть. У входа в парк он купил полкилограмма прохладной от собственной тяжести антоновки — всего два налитых солнцем яблока — и, потерев одно о рубашку, откусил. Он забыл сдачу, и женщина закричала ему вслед; он вернулся, взял деньги, сказал «спасибо», и женщина удивленно поглядела ему вслед.

Савичев долго ходил по парку, съел яблоки, посидел на обрыве, затем берегом Воропы вообще вышел из черты города, нашел укромное местечко и лег навзничь в зажолклую траву; все пустяки в сравнении с тем, что ее больше нет, подумал он, когда дорогой человек рядом, не замечаешь его, а он уходит, и становится поздно что-либо делать, остается боль, вот как сейчас, приходит и понимание, что для тебя значил этот человек, всегда готовый выслушать, посердиться, одним словом, быть рядом и понимать. Он думал об Инне, вспоминал подробности, раньше он их и не замечал, теперь они вспоминались, словно прорвалась какая-то плотина, и он внизу, на него хлынули целые потоки; оказывается, он все отлично помнил, еще со школьных времен, помнил ее в коротеньком платьице и в белых туфельках, и как она хвастала ему своими белыми туфельками, и он заносчиво сказал: «Подумаешь, у меня есть живая черепаха. Голову прячет и лапы затягивает. Ее даже большим молотком не разобьешь!»

Как раз накануне тетя Таня принесла ему в портфеле маленькую смешную черепаху, с хитрыми, старыми глазами и толстыми, когтистыми лапами. Он помнил все, и это было даже неприятно, он словно хотел оправдать себя за свое равнодушие к Инне, скорее, за эту свою безжалостную игру в равнодушие, а что может быть хуже? Самая последняя подлость в отношении человека, которого слишком любишь, лишь бы помучить, показать себя, оказывается, у тебя зла больше, чем надо.

Чем она была виновата перед тобой? Сошлась с другим, не дождалась? «Вот именно,— сказал он,— не дождалась. Другие ждали, она не захотела». Зачем же ты с ней со-

шелся после, ведь ты же мог и по-другому, пройти мимо, и кончено. Нет, ты не прошел, ты любил и не мог простить, тебе хотелось помучить, вот ты и сошелся, ты же мерзавец. А ты ведь любил ее, любил, любил, любил...

Ему показалось, что это кто-то рядом кричит, раз за разом, часто, непрерывно, все время повышая голос, и уже так громко, что разрывало уши, и он схватился за них, сжал голову. Хватит, постарался приказать он себе, хватит, хватит. Теперь ничего не изменишь, пусть ты раньше соглашался жить с ней, чтобы ее мучить, как тебе придумалось, и ты, может, именно из-за этого не хотел брать кисть. Разумеется, ее нет, но ты постараешься доказать, что ты все-таки художник, и, хотя ты знаешь, что ей безразлично теперь, ты будешь мстить памяти о ней; и вообще черт знает что, черт знает что у него в голове, и если так дальше пойдет...

Перевернувшись вниз лицом, Савичев вцепился раскинутыми руками в траву и замер, измученный своими мыслями и тем, что он не мог полностью отвергнуть их. В них была своя доля правды, и это было стыднее всего сейчас, но он вдруг понял, что прежней, судорожной боли уже нет и пришло освобождение от нее, пришло как-то незаметно и непонятно, но он твердо знал, что пришло оно к нему в последние полчаса, а может быть, вот только что, сейчас, и он и обрадовался этому и испугался. Он понял, отчего это пришло, он дошел в себе до самого дна, до нуля, и увидел в себе все, и назвал это своими безжалостными словами, своими истинными именами. Но он не хотел больше думать об этом, он знал, каким делом нужно заняться, вот уже несколько месяцев он никак не решится приступить к нему. Он должен, наконец, написать этих крестьянок, мать и дочь, тетку Фросю и Нюру, теперь он даже знал, к а к их напишет, вот бы только начать. Смерть Инны разграничила все, определила границы «от» и «до», и сейчас в нем жил страх п е р в о г о шага — ведь все, за что он брался после ее смерти, как бы начиналось впервые, и он мучительно готовился.

Савичев вернулся домой и, обрадовавшись, что Татьяна Дмитриевна куда-то вышла, заперся в мастерской, снял пиджак, приготовил краски и остановился перед давно ждущим холстом. Он не стал смотреть на эскизы, на фрагменты; он все видел совершенно наново, иначе, чем раньше; он стал писать и писал несколько часов, пока не заме-

тил, что освещение стало хуже и день кончается. Он набросил на холст старую, выпачканную в краске простыню, не стал ничего смотреть и закурил, у него вздрагивали руки, и он подумал, что весь день он не ел, а тетка, вероятно, думает, что он вообще не возвращался домой. Но, слава богу, тетке ничего не надо объяснять, она понимает сразу, вероятно, она скоро уедет, и он опять останется один. От табака тошнило, сдерживаясь, он докурил до конца и, переждав, пока тошнота прекратится и голова просветлеет, вышел; Татьяна Дмитриевна дала ему поесть, затем он разделся и лег, но почти всю ночь не мог заснуть и лишь изредка начинал дремать, он все думал о картине и утром, даже не умываясь, заперся в мастерской. Он не знал, что в этот день приходил Лагутинов, очень обрадовался Татьяне Дмитриевне, сказал, что давно знаком с нею по ее работам, и очень рад, наконец, познакомиться. Заговорили о живописи, о новых именах. Когда разговор зашел о Савичеве, Татьяна Дмитриевна попросила не беспокоить сегодня племянника и, услышав о неудаче в их совместной работе по оформлению Дворца железнодорожников, поправила очки и сдержанно сказала:

— Я знала, мне Антон писал. У нас сложились совершенно односторонние взгляды в оценках, но это ложь, у нас от этого много утрат, и чем дальше, тем больше будет.

И тут Татьяна Дмитриевна произнесла фразу, несколько поразившую и в чем-то позабавившую Лагутинова. Гордо выпрямившись и торжественно глядя на него, Татьяна Дмитриевна сухо усмехнулась.

— Пусть вас это не тревожит,— сказала она вслед за тем.— Антон не калека, в состоянии заработать себе кусок хлеба. Да и я еще не умерла, я еще надеюсь потянуть, не глядите, что я как высушенная селедка. Старый конь борозды не портит, Николай Акимович.

Опасаясь как-нибудь помешать работе над картиной, Татьяна Дмитриевна рассказала племяннику об этом уже дней через десять. Савичев пожал плечами, безразлично пожалел, что не увидел Лагутинова, и ушел в мастерскую. Картина была почти готова, не хватало отдельных, может быть совсем незначительных, штрихов, придавших бы всему законченность и стройность, может быть, в некоторых местах излишне резко легли краски; он отходил от полотна, вглядывался издали, часами просиживал перед ним. Две женщины, пожилая и молодая, были написаны

на фоне земли, пологий холм, поле, кусочек неба, пожилая лежала, опираясь на локоть и глядела на глубоко задумавшуюся о чем-то девушку широко раскрытыми, тревожно изумленными глазами; было видно, что это мать и дочь, почти неуловимое сходство во взгляде, в глазах говорило об этом, то же, только с некоторой горечью, изумление матери, именно в этот момент открывшей, что дочь выросла и уходит; тела угадывались под одеждой каждой линией, были выписаны свободно, еще угловатое, полное настороженности тело девушки и грузное, сильное, осевшее — матери...

Сидя перед полотном, Савичев все чаще начинал думать, что картина распадается на части, земля, как она была задумана, не получается, он убрал резкую разницу между телами и землей в цвете, свел в незаметный переход, но это сместило центр, хотя и углубило смысловое звучание, связало женщин с землей, как бы соединило их, и Савичев несколько дней думал над неожиданным смещением. Он поставил перед собою сложную задачу: в женской судьбе дать и судьбу народную, трудную и высокую, и простор земли должен был придать картине глубокое звучание, этого как раз и не получалось. Больше он боялся притрагиваться к картине и показать ее кому-либо не решался; Татьяна Дмитриевна уверяла его, что это превосходно, и с каждым новым разом открывала новые достоинства; он позвал Лагутинова посмотреть, но и шумное восхищение Николая Акимовича не убедило; когда Савичев сказал, что картина не удалась, как хотелось, Лагутинов поглядел на него как-то странно, застывшими глазами и быстро ушел, сославшись на дела, хотя отлично знал, что не выдержит и завтра же придет опять, картина произвела на него впечатление очень сильное, такой живой наполненности лиц он еще не встречал, ему показалось, что женщины вот-вот вышагнут с холста, они все время стояли в глазах, и он с трудом удерживался, чтобы не вернуться назад сейчас же. «Завтра,— говорил он себе,— завтра, сегодня поздно и неудобно. Нет, надо успокоиться,— говорил он,— ведь самое-то поразительное в другом. Савичев сам не понимает, что он создал, и вообще или он валяет дурака, или он действительно гений. Так дальше невозможно, просто нельзя будет выдержать. Ну за что, спрашивается, ему все, другим же с гулькин нос или совсем ничего? И ведь нельзя сказать, что у меня ничего не

имелось, ведь было. Он напишет превосходные вещи, и будут сходить с ума на вернисажах, произойдет целая буря в мире, и в один момент от этого сразу выяснится, что развелась на земле масса бездари, ремесленников, ханжей, просто халтурщиков, и ты сам будешь как раз зачислен по рангу последних, и через десяток-другой лет о тебе не останется воспоминания, а все потому, что ты сам однажды открыл его и помог сделать первый шаг. Всяко ведь случается в жизни, бывает, не подтолкнут какие-нибудь посторонние силы, не разбудят, и остается все втуне, не раскроется, так и уйдет в тишину, как пришло, и сто или двести лет царит на земле спокойствие».

Пока Лагутинов, размышляя подобным образом, без устали ходил по улицам Воропянска, выбирая по возможности безлюдные места, и не заметил, что уже близко полночь и пора бы явиться домой, Савичев, задремавший было, проснулся как от толчка и, накинув на себя куртку, осторожно, опасаясь разбудить тетку, вышел в мастерскую. Теперь он знал, в чем же не далась картина, и нужно решиться, не пожалеть себя, не оставить для отступления малейшей лазейки. Он медлил минуту, может, больше, затем нашел короткий, похожий на сапожный нож, широко крест-накрест разрезал холст и с сухим треском, кусками сорвал его с рамы, стараясь закончить поскорее, только как будто стало не хватать воздуха и под правой лопаткой оказалась боль; он стоял перед уродливой рамкой, перед квадратом пустоты, остро вглядываясь в нее, и в это время сзади него раздался крик; он оглянулся, увидел Татьяну Дмитриевну в незастегнутом халате, она тянула к нему руки и что-то хотела сказать. Савичев с облегчением швырнул липкий от красок нож, вытер руки о тряпку, собрав ее комом, и подошел к тетке; все уже было кончено.

— Бандит,— хрипло сказала, наконец, Татьяна Дмитриевна.— Что же ты наделал? Ведь ты совершил преступление, уничтожил то, что тебе уже не принадлежит.— Она глядела на него с отвращением и, когда он подходил, чуть попятилась, как от преступника или чумного, не выдержала, подняла сухую руку и легким кулачком неумело тюкнула ему по шее и сразу испугалась. Он посмотрел на нее изумленно, хотелось пить, и в одной точке, в темени, болела голова.

— Ты не понимаешь, тетя Таня, мне хотелось совсем

другого. Не сердись. Напишу по-другому,— сказал он устало, чувствуя себя совершенно пустым, ему хотелось одного, чтобы его оставили в покое.

— Зачем, Антон? — жалобно спросила Татьяна Дмитриевна, в то же время думая о том, что племянника необходимо показать врачам.

— Пойдем спать, тетя Таня,— сказал Савичев, придерживая ее за худые плечи и чувствуя, как они задрожали; она обиженно, по-ребячьи беспомощно заплакала, и он растерялся и все пытался ее утешить, хотя она больше не говорила ни слова и лишь молча ругала себя, заснула и не уследила, и вообще ужасно, ужасно, уничтожить такую картину, он, несомненно, болен.

— Ты, наверное, думаешь, я сумасшедший? — спросил Савичев с напряженной улыбкой.— Нет, поверь, тетя Таня, это необходимо, если хочешь знать, я никому не говорю, но мне редко что удается, какие-то конвульсии. Думай, что я прячусь за этим, я напишу по-другому, а это бы мне мешало.

— Какая необходимость,— прервала она, пугаясь его признания,— обыкновенное варварство. Думаешь, ничем никому не обязан? Как бы не так, голубчик, ты всем, кто был до тебя, обязан...

Он поморщился, лег, он не мог больше слушать, и почти мгновенно уснул, и назавтра открыл глаза лишь к обеду, с легкой головой. Он услышал голоса Лагутинова и тетки и намеренно закашлялся. Он не хотел знать, что о нем думают на кухне; он вспомнил ночь, свое решение, потом разговор с теткой.

— Проснулся, Антон? — раздался голос Татьяны Дмитриевны.— Одевайся, к нам Николай Акимович зашел, мы чай пьем.

Чувствуя себя бодрым и совершенно отдохнувшим, Савичев быстро собрался, заглянул на кухню, сказал: «Здравствуйте»,— и пошел умываться; когда он вернулся, Лагутинов и Татьяна Дмитриевна перенесли все с кухни на стол в комнату.

— Есть хочешь? — спросила Татьяна Дмитриевна.

— Хочу,— отозвался с готовностью Савичев, поглядывая то на тетку, то на Лагутинова.— Что вы насупились? А, Николай Акимович?

— Ты же убийца,— медленно отозвался Лагутинов.— Если бы я только мог знать...

— Так что? — все еще не бросая наигранного тона, спросил Савичев.

— Силой забрал бы полотно. Просто не знаю, что сказать, у меня язык отнимается. Этого ведь не выдумаешь даже в страшном сне. Полагаешь, я на тебя пришел смотреть? Я к твоей работе пришел, она, может, для души мне нужна. Эх ты, Антон, Антон...

Чувствуя себя неловко под двумя парами осуждающих глаз, Савичев хмурился, пододвинул к себе тарелку с жареной картошкой и стал есть, Татьяна Дмитриевна за все время ни разу прямо не поглядела, все в сторону, верный признак, что она сердится всерьез и, может быть, даже уедет к вечеру.

Савичев опустил глаза, есть расхотелось, хотя он для виду продолжал вяло жевать; ему стало не по себе от мысли, что тетка уедет и он опять останется один.

— Ну, что с убогого взять, не все в порядке,— Савичев постучал себя по виску, и Лагутинов, ерзая на стуле, надул щеки, запрокинул голову и рассыпался гулкими, стонущими звуками; Татьяна Дмитриевна с досадой повернула к нему голову, у Лагутинова крупно тряслись широкая шея и плечи.

— Сумасшедший... ха... ха... ха... ха... сумасшедший,— нырял куда-то глубоко на дно Лагутинов и рывком, так что застонал стул, вскочил и закричал на Татьяну Дмитриевну: — Это мы с вами глупцы, сумасшедшие! Не-ет, братец, хватит темнить, ты вполне нормален. Голова у тебя ясная. А мы-то с ним возимся, нянькаемся, я, старый дурак, на старости лет в кормящую мать превратился. Ты вредитель, братец, и отступник. Да-с! — И, схватив шляпу, Лагутинов почти выбежал из комнаты.

День прошел неровно, Савичев бесцельно слонялся из угла в угол, лежал; Татьяна Дмитриевна в этот день пошла познакомиться с городом, и Савичев был рад этому. Было состояние сонливости, апатии, и ни с кем не хотелось разговаривать. Вернувшись в девятом часу, Татьяна Дмитриевна застала его уже спящим и не стала будить, но он почувствовал ее сквозь сон, когда она поправила на нем простыню, и даже улыбнулся ей. К полуночи от приоткрытой форточки в комнате стало холодно, а затем, ближе к рассвету, поднялся ветер, захлопал шторой, и неподатливо зашумел старый тополь во дворе, и стали глухо погромыхивать крыши, воздух еще посвежел, раздался чей-то отчет-

ливый голос, сонно пробормотал голубь. Савичев беспокойно улыбался во сне, хотя где-то возле сердца появилась и стояла тихая, щемящая боль, и было не совсем хорошо дышать, он подумал во сне об этой неприятной боли и забыл, хотя она оставалась и даже как-то стала сильнее. Он хотел что-то сказать, и не мог, и проснулся с ощущением полнейшей безопасности, счастливый, и только покалывало в груди, у сердца. Он приподнялся на локти, прислушался, почти неуловимо, редко и спокойно дышала в другом конце комнаты Татьяна Дмитриевна, в окне бился ветер, и все было наполнено сдержанным гулом. Он подумал о зиме, о том, что надо бы захлопнуть форточку. Что же это с ним сейчас было? Ну конечно, это ощущение безопасности, как если бы Инна была жива, огромная луна над теплым озером, и редкий сквозящий туман, словно залитый парным молоком мир, и тишина, и только ее радостный голос: «Антон, Антон, это же сказка!» Это было в Ново-Шаронинском районе, когда он поехал с ней, они ходили по ночам купаться на озеро. Всего лишь сон, но какой сон, но это же было, было!

Боясь неосторожным движением все испортить, он тихо опустился на подушку, закрыл глаза. Когда она выходила из воды, тело у нее отливало перламутром, он видел капли воды у нее на плечах, на груди, и недалеко была березовая роща, безмолвная, заколдованная, кажется, и комаров там было мало. Он тогда оцепенел от восторга и бессилия уловить этот невероятный, отраженный свет, налитую тусклым сиянием кору берез, парную воду, ее тело, какую-то таинственную жизнь трав и земли.

Он еще плотнее вжался головой в подушку, показалось, что она идет к нему, беззащитная, понятная, неумело ступая босыми ногами, ее тело виделось отчетливо, светилось, он слышал мягкий шорох росной травы у нее под ногами, и за ней зеленовато-темная вода, и еще там, у самой рощи, стоял стог сена. Там еще пахло сеном, неповторимо пахло, удивительно, на этом озере он мог только любоваться ею, женщиной, он тогда не смел прикоснуться к ней, потому что и в ней была первозданность и нетронутость лунного мира, света, запахов, тишины, неба, смутных, дразнящих желаний, и вот все вновь пришло к нему через сон, и теперь он не имеет права упустить это ощущение, он почувствовал душевное напряжение, почти тоску, и боль у сердца исчезла.

Он встал, быстро и тщательно оделся, прошел в мастерскую и, выбирая и пробуя краски, которых раньше вообще не касался, не заметил, как окончательно рассвело. Он стоял перед холстом, не решаясь притронуться к нему, то, что он хотел сделать, казалось кощунством, и все перед ним мешалось, словно вся жизнь его стояла сейчас перед ним, белое, безликое пространство, резко очерченное гладким деревом, и нужно было разорвать этот квадрат. Он поднял руку, отер мокрый лоб, в нем слабело ощущение перламутра, и он почувствовал, что неудержимо бледнеет от особого страха упустить то неповторимое, что уже было своим и в какой-то миг лишь не хватило решимости... Нужно сосредоточиться, сосредоточиться, сосредоточиться, приказал он себе, вернее даже не он, а кто-то другой в нем, безжалостный и к его горю и к его любви, он приоткрылся лишь на минуту или секунду и вновь растворился в нем, и у него на лице прорезалась вымученная, растерянная улыбка, он начал писать, неуверенно, неумело, и чувствуя, что это не то, все-таки не мог остановиться. Он не заметил, как в мастерскую заглянула Татьяна Дмитриевна и, сделав широкие глаза, осторожно попятилась назад, он сам не уловил, как с его картины хлынул приглушенный, мягкий свет, и обнял все, и выходящую из молочной воды женщину, с детской решимостью и доверием в лице, освещенную во весь рост серебристо-тусклым лунным сиянием и росную, отяжелевшую траву, и воду, которая еще скатывалась с теплого тела женщины, и сумеречность звезд, и ту особую, предутреннюю усталость — казалось, еще немного, и прорвутся медленные аккорды. И он услышал низкий, приглушенный шорох воды, отступил от полотна, рассматривая его придирчиво и жадно и чувствуя, что еще немного — и он не выдержит и заплачет от той силы добра и чистоты, что была перед ним, быстро вышел, на ходу прикоснулся к теткиной щеке горячими губами и, пробормотав: «Потом, потом», ушел. Он сам растерялся и не мог пока ни с кем разговаривать.

Дня через три Лагутинов зашел перед вечером к Савичеву и не застал его дома; Татьяна Дмитриевна молча провела его в мастерскую и осторожно сняла с новой картины простыню.

— Тише,— сказала она предупреждающе,— тише, Николай Акимович. Последняя работа Антона.

Лагутинов молчал долго, и у него было простое, хорошее

и старое лицо, он даже удивиться не смог, потому что это было вне удивления и вне зависти.

— Я уже третий день перед этим стою,— сказала откуда-то издалека Татьяна Дмитриевна.— Мне уезжать надо, а я стою.

В ночь на подмороженную землю лег первый снег, лег и остался.

48

Полина Гавриловна успела сходить по своим делам (отсутствовала часа три) и, вернувшись, застав дверь в мастерскую по-прежнему запертой, встревожилась и подумала, что у мужа опять приступ этой ужасной меланхолии. Она переоделась, запахнула теплый халатик, прихватила его пояском и, не снимая высоких сапожек на шпильках (она носила обувь только на высоком каблуке, считала такое обстоятельство немаловажным для сохранения хорошей фигуры), подошла к двери в мастерскую и поколотила в нее ладонью.

— Коля,— позвала она,— Коля, открой, пожалуйста.

Прислушалась и опять постучала, теперь сильнее, она начинала волноваться, Лагутинов вчера вернулся от Савичева какой-то весь тусклый, опущенный («Вот уж проклятый человек, прямо как касторка на других действует»,— подумала она о Савичеве мимоходом, с содроганием вспоминая похороны Инны), Полина Гавриловна перевела дух, за дверью в мастерскую послышались какое-то движение и недовольный голос мужа:

— Ну чего ломишься? Погоди, сейчас впущу. Ты можешь минут десять подождать?

Она вздернула плечи, поглядела на дверь.

— Могу,— сказала она.— Пойду кофе сварю. Пока ты там закончишь. Все-таки, чем ты так неотложно занят? — спросила Полина Гавриловна, прислушалась и, не дождавшись ответа, отошла от двери. Когда она управилась с делами и вернулась, дверь в мастерскую была открыта, Лагутинов сидел посредине, верхом на трехногой табуретке, все кругом было разгромлено, картины навалены грудой на пол. Полина Гавриловна ахнула.

— Хотел всю эту муру сжечь,— сказал Лагутинов, мутно глядя перед собою.— Руки не поднялись в последний момент. В груди оборвалось, екнуло.

— Теперь я вижу, и ты с ума сошел,— Полина Гавриловна, бледная, не зная, что же делать, бестолково сунулась туда-сюда, подошла к мужу, опустилась зачем-то на колени, стала собирать картины.— Ну я тебя умоляю,— сказала она театрально, ломая полные, холеные руки.— Так нельзя больше жить, я только не говорила тебе... Как появился этот Савичев, и пошла трещина, и я все время чувствую — вот, вот, вот расколется.

— Встань,— сказал он, подал руки и помог подняться.— Я переломлю себя, обещаю.

— Честолюбие чрезмерное никогда не приводит к добру. Сколько отпущено, столько и есть. Чего же ты хочешь? Ты хороший, очень хороший художник, тебя уважают, с тобой и здесь и в Москве считаются, у тебя высокое общественное положение. Без тебя ни одного комитета, ни одной комиссии не обходится. Глупо для взрослого человека то, что ты делаешь.

— Я же обещал тебе,— с досадой повторил он и пожаловался: — Никогда трудно так не было, он мне душу перевернул. Не знаю, ненавижу его больше или люблю? В такой момент и до пакости недолго. Честно тебе говорю, успокойся, кажется, обойдется. Я бы мог подлецом стать! — сказал он, широко открыв глаза.— Я и Антону скажу, нужно окончательно освободиться. Не волнуйся, мама, у меня сейчас просто слабость, пройдет, отпустит. Ты кофе хотела сварить?

— Что ты задумал? — с тревогой спросила она, заглядывая ему в лицо.— Ты всегда со мной советовался, вспомни, хоть раз я тебя подвела?

— Ничего, ничего, успокойся, я ведь только примерно, еще не продумал.— Он старался глядеть жене в глаза, и это ему удалось довольно естественно.— Если я не ошибаюсь, Савичев собирался уехать куда-то на Восток, завербоваться, говорил, что ему здесь тяжело оставаться. И его тетка проводит такую работу, только она в Москву его тянет. Надо бы сходить к нему, отговорить, жалко упускать, погубит он себя на этом Севере, то бишь на Востоке.

— Не надо,— вырвалось у Полины Гавриловны.— Пусть его уезжает, ведь действительно тяжело ему. Такое несчастье — ты бы сам смог остаться?

Лагутинов закурил (теперь он уже курил вовсю, не обращая внимания на то, что жена, увидя папиросу в его руках, всякий раз делает страшные, негодующие глаза), про-

шелся по мастерской, обдумывая свое решение; а на самом деле он был растерян, только внешне старался не показать этого. Он негодовал и на себя и на жену, и больше за то, что они не могут взять и сказать вслух всю правду, и даже друг с другом ведут в общем-то совершенно ненужную игру, и он и она хорошо понимают, как все изменится, если Савичев в самом деле уедет, и она ведь знает, что сейчас он говорит искренне, и, однако, находит нужным наставлять и укреплять его, а ведь иного выхода и нет. Нет, подумал он вполне резонно, надо было с самого начала предвидеть. Или ты в самом деле способен сжечь свои картины, всю жизнь то есть, и пойти в сторожа? Врешь, не способен. В милицию тебя уже не возьмут, стар, значит, куда-нибудь в ночные сторожа. Ведь не пойдешь, ты не из тех святых, не понесешь на алтарь... И хотел бы, да кишка слаба, значит, остается один путь, им и воспользоваться, не выдумывать разной чепухи. Приходится признать реальное положение вещей, если решится Савичев уехать, пусть его, отговаривать не станет. Другое дело — Москва, Савичеву нужна Москва, это без всякой задней мысли, Москва — это фокус всего того интересного, талантливого, что есть у нас.

И Лагутинов остановился, непонимающе уставился на груду сваленных посередине мастерской картин; от принятого решения сразу полегчало, ну что, ну час, ну два неприятного разговора с глазу на глаз, ну и все, зато все сразу станет на свои места, жизнь вернется в привычное накатанное русло, а ему больше ничего сейчас и не надо.

На следующий день перед самым вечером Лагутинов пришел к Савичеву. Шел он пешком, под ногами свежо похрустывало, вчерашнее дурное настроение прошло, притупилось, и Лагутинов разрумянился с мороза; дорогая шапка его искрилась от снега, он снял пальто, крепко пожал руку Савичева.

— Хорошо, захватил тебя дома, разговор есть. Где Татьяна Дмитриевна?

— Вчера проводил, обещала к Новому году опять приехать.— Савичев нетвердо улыбнулся, вытер о тряпку руки.— Проходи, садись...

— Я оторвал тебя от работы? — глядя на руки Савичева, спросил Лагутинов.— Прости, понимаешь...

— Ничего, ничего, какая чепуха, садись, Николай Аки-

мович. У меня сейчас ничего не получается. Мажу, мажу, все без толку. Чем тебя угощать? Есть немного водки, колбаса, чай можно поставить...

— Чай,— с шутливым пренебрежением фыркнул Лагутинов.— Что мы с тобой, деревенские кумушки? И водки не надо, не тот момент.

Савичев искоса взглянул на Лагутинова, пытаясь определить, что он так мнется, непохоже на него.

— Ну, а что же делать? Грустить?

— Можно и погрустить,— буркнул Лагутинов.— Чего в жизни не испытаешь.

— Да, какая нелепица! — вырвалось у Савичева, и он затолкал руки под себя, чтобы они не мешали.

Лагутинов достал папиросы, с необычным интересом следил за Савичевым, за его лицом; ему было удивительно, как случается в жизни, раньше они и не подозревали о существовании друг друга, теперь же их судьбы тесно переплетены, и вот он, пожилой, заслуженный для других человек, сидит и в общем-то не знает, как повести разговор и какой толк из этого получится. Вот сейчас ему хотелось выпить, но он сдержался, пьяным он мог сорваться и наговорить бог знает чего или вообще уйти от разговора, а потом опять свирепеть и изводить себя. Савичев в это время думал о том, что нужно поскорее выписаться, но вряд ли его хватит до конца, он уже чувствует. Придется писать вновь задуманную картину долго, она требует спокойствия в работе, трезвого раздумья и философского анализа, а он неожиданно быстро выдохся. И еще в нем жило то тревожное оживление, нетерпение, когда сам отлично понимаешь и чувствуешь работу удачной и всякая помеха раздражает.

Вытирая платком слегка взмокший лоб, Лагутинов подождал, пока Савичев кончит есть, затем еще закурил, кажется, он уже успокоился, по крайней мере, он может теперь говорить даже с некоторой иронией, Савичев не дурак, поймет.

— Послушай, Антон, есть новость, кажется, удалось окончательно пробить наши эскизы, так, пустяковые переделки. Здорово, а? Ты, кажется, меня не слышишь... Только сегодня решилось, я прямо к тебе.

— Что сегодня? — переспросил Савичев и тут же, встретив взгляд Лагутинова, сказал: — Да, да, эскизы, ну что ж, это хорошо, только вряд ли я смогу сейчас работать

над ними. Понимаете, Николай Акимович, сейчас я весь в другом, может быть, вы один сделаете? И не надо никакого моего авторства.

Он говорил, тщательно подбирая слова, и по лицу Лагутинова видел, что тот недоволен и обижен, и понимал его, возможно, именно здесь нужно было пересилить себя и пойти Лагутинову навстречу, сделать эту небольшую уступку жизни. Но в то же время он видел сейчас Лагутинова несколько иначе, чем всегда, он вдруг увидел его целиком, всего, и невольно пожалел его, подумал, что он никогда больше не поднимется над собой, и потом ему стало стыдно и неловко своих мыслей, он отвел глаза. И Лагутинов в это время именно не понял, а почувствовал его, почувствовал по-животному верно, было нелепо говорить об эскизах, после того, что он видел недавно, и, сколько бы он ни пытался сблизиться, все будет напрасно, и тлевшая в нем раньше какая-то надежда на этот счет всего лишь удобный обман самого себя, и ждать больше нечего и нельзя.

— Что ж, поговорим о другом, Антон,— сказал он.— Собственно, я зашел к тебе вообще потолковать о жизни.

Савичев поглядел на него, ничего не ответил.

— Не подумай превратно, я ведь только ради тебя, хотя и меня здесь многое касается. Представь себе, жил где-то, допустим, в неизвестной стране человек, любил свое дело, по мере сил честно работал, был счастлив, и все его уважали, ну, одним словом, полный порядок, идиллия. И вот... Ты слушаешь меня?

— Очень внимательно, Николай Акимович.

— Появляется некто, и тот, уважаемый и счастливый человек, становится глубоко несчастным,— Лагутинов не удержался, вздохнул,— он видит, что всю жизнь прожил не на своей улице, занимался не своим делом, и если и был у него талант, то в самом начале. Затем куда-то исчез, и он всю жизнь просто обманывал себя и других...

Савичев несколько раз пытался остановить Лагутинова и посмеяться вместе с ним, в какой-то момент он понял, что Лагутинов не шутит, это не очередной приступ разглагольствования, а самое настоящее признание, и признание наболевшее, вынужденное. Савичеву стало неловко, он заморгал чаще, чем надо, стал глядеть как-то боком, избегая встречаться с Лагутиновым глазами, один раз даже попытался засмеяться шутливо.

— Я не шучу на этот раз, Антон,— тотчас сказал Лагутинов, и Савичев нахмурился, пожал плечами.

— Что же я могу, Николай Акимович? — сказал он, нервно прохаживаясь по комнате и глядя себе под ноги.

— Я переоценил, очевидно, свои силы, считал вначале ерундой, пройдет, мол. И дело не в том, что разберутся — поймут, что именно ты художник, большой, настоящий, а я дерьмо... да, да, дерьмо. В другом дело, Антон. Я всегда был с тобой честен, и сейчас честен, и хочу до конца. Мне очень тяжело с тобой рядом, как человеку, начинаю думать, где бы я мог, и не сделал, поленился, побоялся. Были и такие моменты, хорошо помню. Давно хотел признаться тебе, все не мог осилить. Мне это для самого себя было нужно, ты даже не представляешь, Антон, как мне трудно сейчас, давний нарыв прорвался.

Подняв голову, Савичев встретил глаза Лагутинова, и Лагутинов своим взглядом как бы просил прощения и говорил: «Вот так, что поделаешь, брат?»

— Вы хотели мне сказать, чтобы я уехал отсюда, из Воропянска?

Лагутинов неопределенно дернул плечами, расстегнул пиджак, опять полез было за папиросами, но закуривать не стал и лишь вздохнул.

— Зачем же так категорически? Именно этого я и боялся с твоей стороны, я бы не хотел разговаривать на таких нотах, Антон. И сразу на «вы». Давай останемся друзьями. Я ничего тебе не хочу в этом отношении подсказывать, сам решай. Оставайся здесь, перебирайся в Москву. От встречи с тобой я стал ближе к своему истинному «я», хотя, признаюсь, от этого мне не легче. Москва тебе нужнее на данном этапе, не скрою, уедешь ты, мне легче станет. Что бы ты обо мне ни подумал, потом моя правота станет тебе ясна,— сказал он, словно озаренный неожиданной догадкой и делая вид, что раньше он совершенно об этом не думал всерьез, хотя до самой последней минуты он действительно пытался нащупать какой-нибудь второй выход. Но второго выхода не было.

— Я лично не хочу, чтобы ты уезжал. Уживались и дальше уживемся, только рад буду. В дворники идти поздновато, шестой десяток разменял, как-нибудь доживу. Но ты подумай. Тебе, Антон, везде один черт, ты везде велик будешь, Москва тебе для роста нужна. Вся эта экзотика, пурга, олени — чушь. Тебе нужна Москва. Понимаешь?

Ты меня верно понимаешь? — Лагутинов попытался заглянуть в глаза Савичеву.— Ты меня именно по-человечески пойми, ничего плохого не думай, так или иначе, мне мое, хоть маленькое, всегда останется.

Лагутинову хотелось напомнить, как хорошо он его встретил и сколько добра сделал, но где-то внутри все время было настороже чувство предела, его нельзя было переступить, в конце концов если Савичев человек благородный, сам поймет, ведь пойти на такое смог бы далеко не каждый, а он пошел, потому что особой, мучительной любовью еще и приведен был к Савичеву, и никакие они не враги, так уж свела судьба. И Савичев, вначале окончательно сконфуженный, чувствовал себя крайне неловко.

— Начатое хотел дописать,— пробормотал он, останавливаясь перед Лагутиновым и, наконец, поднимая на него глаза.— Месяцев пять-шесть, полгода...

— Доделывай, Антон,— с горячей готовностью подхватил Лагутинов.— Я тебе сам все устрою, ты только скажи, куда ты хочешь? В Суриковское вернешься? Я тебя так устрою, что ты и не заметишь, когда окажешься на новом месте. Мы это еще с тобой обсудим, ведь самой трудной была именно эта часть разговора.— Он помолчал, понимая, что Савичев жалеет его, не может не жалеть, но теперь уже этого не избежать и не исправить; и Савичев, сутуля плечи и зажав ладони коленями (сегодня он никак не мог забыть о руках, и это мешало), опять вспомнил Инну, отвернулся, стал глядеть в угол, где стояла широкая тахта, он уже никогда не спал на ней, не мог. Долгая, трудная спазма прошла по горлу, пожалуй, Лагутинов прав, необходимо уехать, пусть он учит жизни Костю Арефина, они еще найдут общий язык, пусть остается здесь светилом первой величины, бороться нет смысла, это поветрие не перешибешь, сгоришь. А сам ты чем лучше? — тут же спросил он себя.— Была единственная близкая душа, и то проморгал, Костя Арефин ерунду молол, в тебе самом живет этот крик, и, если бы не работа, ты давно бы спился или сошел с ума. Уезжай, оставь здесь все, как есть, ты ведь привык, разве ты не знал, не почувствовал Инну в том, последнем разговоре? Ничего, решил ты тогда, стерпит, и какое имеет значение, права она была или нет? Она подошла к своей черте, а тебе не захотелось обременять себя и здесь.

Он боялся выдернуть онемевшие руки из колен, отвечать Лагутинову сил не было.

— Не знаю,— сказал он.— Мне сейчас любая перемена не по силам.

— Как раз и надо переломить себя, Антон. Я тебе, повторяю, добра хочу, для тебя я и не способен иначе. Тебе просто необходимо в другую среду, в столичную. Восполнить свои пробелы, и тогда уже никто не посмеет тебя снисходительно опекать.

— Зачем эти высокие слова, Николай Акимович? — усмешка Савичева была как маска, появилась и застыла на лице, и только потрескавшиеся губы шевелились.— Вы, Николай Акимович, плохо знаете себя, такой человек способен на многое. Вы были идеалом семьянина для Инны, заботливый, ласковый, щедрый человек. Ерунда ведь, уеду я или нет, в этом, может, я вам и верю, а вот в главном — нет. Да и это пустяки. Что за беда, раз мы мир иначе видим, в разных категориях, что ли. Вы стараетесь успокоить, а я — взбунтовать. Вам довольно достигнутого, а мне под каждой глубиной еще глубину хочется раскопать. Мы с вами любим по-разному, Николай Акимович, что ли. Что мне об этом говорить, вы сами знаете, как вы живете. Вы себя-то лучше меня знаете, зачем же нам крючкотворством заниматься. Странный вы человек, Николай Акимович, вы умеете самое больное зацепить, да ведь как-то по-особому, по-своему. Самое удивительное, вы правду говорите.

Лагутинов вскочил, неловко сдвинув стол, почти пустая бутылка зашаталась, и он придержал ее, до этого момента он заинтересованно слушал с полуироническим выражением лица, как бы говоря: «Ну, давай, давай, меня многие старались удивить, да не удивили, и ты не удивишь, хотя можно тебя и выслушать. Отчего же не выслушать живого человека?»

— Ты не в себе, Антон,— быстро сказал он,— я не сержусь, потому что понимаю. В самом деле, зачем нам друг в друге копаться? Если у тебя есть хоть малейшее сомнение, забудь этот разговор, успокойся. Я не навязываюсь тебе ни в отцы, ни в друзья, смотри не ошибись в оценках.

— Я спокоен,— устало сказал Савичев, освобождая, наконец, руки и выпрямляясь; действительно, черт знает, всякой всячины наговорил, нельзя так распускаться, если и на все сто процентов уверен в своем. Он холодно улыб-

нулся Лагутинову.— Я привык, меня ничем не стронешь и не запугаешь, я привык быть один, всегда был один, Николай Акимович. Она меня часто не понимала (он не назвал Инны, Лагутинов понял и так). Но она и не должна была меня понимать. Она вас часто ставила в пример, наша борьба, Николай Акимович, часто шла через нее и началась давно. Вы нашли слабое место и действовали наверняка. Не прибедняйтесь, вы знали, что делали, да теперь чего уж... Вам ли решать проблемы разведения цыплят? Совесть человеческая — вот наш материал. Да что сейчас! Раньше царь Борис Годунов мучился за одного царевича, убийство ребенка стало великим явлением в духовной жизни целого народа. Тот же Пушкин, ведь как он это сделал! А сейчас? Технический прогресс во всем мире начинает как-то оттеснять человеческую личность. Стараемся говорить высокие слова, Николай Акимович, но есть ли в них та доброта, что нужна любому на земле? Где уж говорить о ценностях совести? Отсюда и фотореализм, он, вероятно, нужен, но это всего лишь красочная, холодная фотография. Ласкает сетчатку глаза, но не больше. Нужно, чтобы человек входил в картину, как в самого себя, как в свой мир, тот, что враждует, грохочет, страдает, ищет, борется наконец! После такой войны такое искусство только отдых глазу, но оно смешно в своих потугах найти отзвук в душе народной. Что оно может объяснить? Фашизм? Смерть? Страдание? Разрушенный город? Ну что, что? Такой фотореализм успокаивает, а нужен набат, пусть рвет уши от звона! Человек не может без сна, народ же не имеет права засыпать ни на одну минуту, Николай Акимович, иначе конец, гангрена — это школьные истины! Отчего мы так непонятны друг другу? Кто знает, может, так оно и должно быть? Окажись я хоть на Чукотке, в главном ничего не изменится, мы и на расстоянии будем чувствовать друг друга, у нас поле приложения одно. И пожалуй, зря мы сейчас занимаемся с тобой какой-то философией, Николай Акимович, каждый из нас, вероятно, прав по-своему. В этом, именно в этом, совесть у каждого должна быть свободна и чиста.

— Односторонний взгляд у тебя на жизнь,— сказал Лагутинов, выдержав долгую паузу.— Народу всегда нужна была радость, вот этого ты никак не хочешь понять, вот ты недаром написал эту женщину, серебро, значит, сам в себе что-то такое почувствовал.

— Да, написал,— сказал Савичев, изображая на лице хорошо знакомую Лагутинову неприятную усмешку.— Этого мне нельзя было не написать, я последнее время задыхаться стал. Я теперь над другим смогу работать. Вы правильно сказали, я уже чувствую предел, не могу уже дальше. Что-то нужно менять, порой меня надвое разрывает. А с другой стороны, не поздно ли? Всякие там академии, науки... А если уже поздно?

— Антон,— сказал Лагутинов осторожно,— что за новая картина? Ты ее уже пишешь?

— Пока лишь думаю,— Савичев почувствовал опустошение от разговора, пропал день, завтра никакого настроения рабочего не будет.— Мне порой кажется, я только руками и могу думать, мажу вот, Николай Акимович,— с безотчетным вызовом повторил он, еще весь кипя от своих слов и еще больше от того, чего он не смог сказать и что в нем оставалось.— Думаю назвать ее «Распятый мир». Не библейский мотив, сегодня, сейчас. Давно ли окончилась война? Войну хочу написать, цикл из десяти полотен, первым будет «Распятый мир». Вот тема, вот мотив. Я не умею э т о г о рассказать. Понимаете...

Савичев говорил, вначале находясь весь в противоречии к Лагутинову, сам злясь, и страдая за столь поздний и горький свой путь к прозрению, и понимая, как необходимо разорвать ему с этим человеком, если он хочет куда-то дойти, и в то же время понимая, что их связь прочнее, болезненнее вот такого, как у него, поверхностного суждения о ней, и Лагутинов даже лучше его самого, человечески добрее и доступнее, и не его вина, что между ними встали отчуждение и неприятие друг друга, вероятно, так оно должно и быть; но они словно уже успели прорасти друг в друга, и каждое движение одного отдавалось в другом; Савичев, сосредоточиваясь только в себе, отделяя себя от Лагутинова, прошелся по мастерской, стал машинально перебирать тюбики с красками, в мыслях вдруг установилась стройность, неумолимо, властно, он сейчас не думал о Лагутинове, о его присутствии, о смерти Инны, о себе и своих неудачах. Как иногда все-таки жесток и эгоистичен человек и как он не понимает даже себя! Не мщением это ей будет («Нет! Нет! Нет!» — крикнул он кому-то чужому, мохнатому в себе с вымученной за эти дни и оттого особенно прозрачной радостью, похожей скорее на пронзительную, сразу утоляющую боль), нет, это будет

памятью о ней, оправданием перед ней, пусть она его не всегда понимала и поддерживала, но ведь каждый ошибается по-своему, а истина — одна. Он знал: ему нужно было начать работать, сейчас, немедленно, то, что с ним было в мертвом селе на родине отца, прихлынуло опять, независимо от него, круг замкнулся, планы, зарисовки по памяти и лица, написанные им с натуры, все вдруг переместилось, смешалось, рассыпалось, и обрело стройное целое, законченность, все расположилось естественно и просто; он оглянулся и увидел Лагутинова. Савичев вначале даже не понял, зачем он здесь, было ровное, спокойное, землистое освещение, Савичев торопливо сдернул простыню с начатого полотна, где все неискушенному глазу показалось бы бесформенно и нелепо. Савичев взял палитру и чистые кисти.

— Помилуй, Антон, вечер, ты посмотри, что на улице творится. Какая работа,— сказал Лагутинов удивленно.— Да, Антон, вечер,— повторил он в ответ на отчужденный взгляд Савичева и отвернулся к окну, достал носовой платок, стал громко сморкаться. «А ведь это все-таки я его поднял,— подумал он с болезненной, непостижимой гордостью.— Как бы он потом ни повернул, не пройдешь мимо. Ведь это все-таки я. Нет, Антон,— заключил он в редком и ясном прозрении,— ты пришел своим путем, и тебе не поздно ни сейчас, ни через десять лет. Поздно может быть нашему брату, ремесленнику, а у тебя свой путь, и слава богу, что это так».

— Я знал, что будет эта ночь,— сказал он уже вслух, глядя на Савичева странно посветлевшими, влажными глазами.

За окном город, зимний вечер, негусто горели фонари, обыкновенный русский город зажигал огни, замерцали длинные параллели вдоль улиц и проспектов, все больше светилось окон, далеких и близких. И была уже по-настоящему зимняя, густая метель, снежные потоки хлестали в светящиеся окна, улицы наполнились летящим сухим снегом, люди, пряча лица, отворачивались, и машины шли медленно, огни их фар расплывались неровно, не в силах пробить светом далеко несущиеся снежные массы. И фонари на столбах качались и мигали, все темнело, и все усиливалась метель, и верхние этажи скоро совсем замутились; от них шел неверный, блуждающий свет. И лишь придавленная коробками домов, закованная в мерзлый

камень земля оставалась непоколебимой реальностью, твердой, надежной, прочной, сам же город был как языческий храм, непонятен и суров.

В эту ночь на рассвете в Тихом океане взорвали еще одну атомную бомбу, и над миром тоже был огонь.

повести и рассказы

НА ОКРАИНЕ

Познакомился я с ней на базаре в маленьком районном городке, где прошло мое детство и куда я приехал побродить, поглядеть и кое-что вспомнить. Городок был в войну превращен в груду битого кирпича и золы, и теперь еще развалин оставалось сколько угодно — городок непромышленный, вдалеке от железных дорог, и вообще глушь, глубинка. Я бродил везде и часто заходил на городской базар в каменной ограде, с несколькими рядами темных длинных столов под навесами. Здесь можно было купить стакан орехов или семечек, похрустеть, как в детстве, крепким моченым яблоком антоновкой, послушать бабий говор; а если зайти за ограду, за мясной ряд, в воскресенье между возами и машинами можно было вволю надышаться запахами рынка: конским пóтом, бензином, сеном, полюбоваться на всякую живность — поросят и кур, на овец и телят, на гусей, индюшек и коров.

Если одеться по-местному, не натягивать на себя узких брюк и остроносых ботинок, здесь можно весь день ходить незамеченным, слушать вволю, как продают, покупают, бранятся и любятся, как торгуются и шумно вздыхают, отсчитывая деньги, как приезжают и собираются ехать домой.

Почему-то в первый же раз из всех торговок орехами меня привлекла именно она. Я шел, прицениваясь, по рыночному ряду и сразу остановился. Может быть, пото-

му, что все продавали стакан по десять копеек, а она сказала: «Пятнадцать».

Я поднял глаза от орехов и спросил:

— А почему у вас дороже?

— Не хочешь — не бери,— равнодушно отозвалась она и отвернулась.

Меня это озадачило, и я купил орехи именно у нее.

Она оттянула мне большим пальцем карман пиджака, высыпала в него орехи и опять уселась, нахохлившись, как большая усталая птица,— серый платок, повязанный по-старушечьи низко, еще больше усугубил это сходство.

Я отошел, оглядываясь, подумал, что люди, сидящие в ряд за одним столом, верно, знают друг друга. День был не базарный, и за столиками сидели торговки-перекупщицы; в воскресенье они набирали товару, закупали оптом у колхозников, а в остальные дни недели перепродавали на две-три копейки дороже. Я остановился у края стола, где усатый маленький старичок торговал табаком-самосадом. Как только я подошел, он мгновенно ожил, стал расхваливать свой товар, совал мне в руки свернутую стопкой — для отрыва на самокрутку — газету.

— Пробуй, пробуй, ничего не говорю, сам пробуй.

Я отказался, и его огорчение было столь велико, что мне стало его жалко; и когда он стал свертывать цигарку, я тоже взял у него газету, оторвал и свернул. Мы прикурили вместе, и он с торжеством глядел на меня, когда я схватился за грудь и долго не мог прокашляться.

— Как, хорош табачок?

— Хорош,— ответил я, вытирая выступившие от кашля слезы.

И старичок весело и довольно закивал:

— У меня плохого не бывает, я по табакам здесь первый. У меня любители с Москвы есть — берут. Для них специально делаю.

— Что они, приезжают сюда?

— Бывает. А то напишут, я им — посылкой. Для хороших людей не жалко. Ты бери, бери, коль денег нету, я так.

Он уже вознамерился всыпать все в тот же карман с орехами стакан табака. Я сказал, что курю папиросы, и в доказательство достал портсигар. Старичок опять огорчился; но разговор у нас завязался, и я спросил про старуху, взявшую с меня за орехи пятнадцать копеек.

Старичок долго не мог разобрать, о ком я спрашиваю, и все щурился на торговок.

— Это какая тебе по вкусу пришлась?

— Да вот, вот, в сером платке, с того краю четвертая. Ну, видите теперь?

— Ну, так бы и говорил. Это Аришка, никто иначе. По фамилии Васюкова. А что?

— Больно уж она сердитая, неразговорчивая.

— Молчи,— понизил голос старичок. Бросил курить, схватился за кончик уса, зачем-то понюхал его и опять расправил.— Уж жизнь у ней, у Аришки-то, бог не приведи.

— А что?

— Да вот сына вырастила, выучила, в Москве сейчас где-то в науках, математик ученый; молодой, а прямо тебе, говорят, всех профессоров забил! Так его с института-то и не выпустили. Оставили, квартиру там выделили, а потом сын ее, Андреем звать, женись возьми. Ну, Аришка было и поехала к ним. Жена такая попалась, из городских, партейная, учителка, москвичка; ну, а вот не климат там Аришке, видать, тоска глубоко в ней сидит. Пожила-пожила Аришка, вернулась назад, тут у нее домок на окраине, возле речки, огородец есть. Деньги ей сын присылает аккуратно каждый месяц, помногу, только она от него не берет. А как я подумаю — зря. Выходила? Выходила. Пусть присылает, сколько хочет, больше, чем может, не пришлет.

— Значит, не очень нужны деньги,— высказался я, и старичок поглядел на меня с сожалением.

— Как не нужны! Не сидела бы здесь, коль не нужны. А то вон и в дождь и в снег. Всю жизнь свою она такая совестливая. Э-э, что там говорить.— Старик еще поглядел на меня белыми глазами и, совсем понижая голос, ошеломил: — Ведь она у нас убивица.

— Как это так?

— А так, человека убила, мужа родного.— На меня глянули маленькие ясные глазки из-под седых топорщливых бровей.— Вижу, не веришь? А ты у ней попытай — сам уверишься.

— У нее попытаешь,— сказал я, вспоминая тяжелый, равнодушный взгляд из-под серого платка козырьком.

— А ты не смотри,— тут же перебил меня старичок.— Ты вот возьми винца, приходи к ней. У нас тут городок —

каждый друг к дружке дорогу знает. Постояльцев она пускает, у нее комната светлая. До винца она охочая, и разговорчивая становится.

— Какого же винца взять? — нерешительно спросил я.— Может, портвейна?

— Что ты, что ты! — испугался старичок.— Ты беленького возьми, водочки, она человек старый, к разным там не приучена. Водочки возьми, спроси улицу Пятницкую, а на той улице Васюкову Арину Власьевну. Она и будет. Я бы с тобой пошел, да работы у меня сейчас много — табак последний надо срезать.

Я подал ему руку, и мы окончательно познакомились; и он, прощаясь, все-таки умудрился всыпать мне в карман с орехами стакан своего крепчайшего самосада и даже потер руки от удовольствия.

— Глядишь, папироски выйдут, закуришь...

Старуха Васюкова встретила меня недружелюбно. Это я понял по ее взгляду, брошенному на мой чемоданчик. Во дворе росли сирень и бузина, под сиренью стояли столик, скамейки, намертво врытые в землю.

— Сейчас постояльцев не держу,— сказала Васюкова.— Комнату надо обновить, известки никак не достану. Кто послал? В гостинице места нету разве?

Услышав, что мест в гостинице нет, да и три-четыре дня ввиду районной конференции животноводов не будет, Васюкова подобрела. Я почувствовал в ней эту перемену и спросил разрешения сесть за столик во дворе, немного перекусить.

— Отчего же,— охотно согласилась она.— Садись кушай, не помешаешь.

— Спасибо,— поблагодарил я, раскрыл чемодан и достал кусок твердой, сухой колбасы, которую купил еще в Москве перед отъездом, и бутылку водки.

— Ишь ты,— сказала Васюкова важно,— белоголовка!

Она была в широкой кофте, удобной в летнюю пору, широкой юбке со сборками; сейчас она показалась мне грузнее телом и старше. Она принесла мне тарелку и нож, подала, вытерев правую руку о юбку, и хотела уходить, потому что в сарайчике в углу двора второй раз принималась жалко кричать коза — ее пора было выводить на траву, так как обеденная жара спала и теперь было в самый раз.

— Может быть, и вы со мной присядете? — предложил я.

И Васюкова, поглядев на бутылку с водкой, сказала просто:

— Отчего же, можно и присесть. Вот подождите трошки, козу отведу — привяжу на кол.

— Хорошо, я подожду, жара еще спадет,— сказал я, устраиваясь удобнее, отодвигаясь на другой конец скамьи в тень под сиреневый куст.

Васюкова ходила по двору, принесла охапку дров, переставила по пути метлу, затем открыла сарайчик и вывела козу — большую, старую и лохматую на брюхе, с круглыми желтыми глазами и с обвисшим желтым выменем. Один рог у козы был сломан. Васюкова дала ей пить, но коза только понюхала и стояла неподвижно, шевеля влажными серыми ноздрями.

— И чего, скажи, привередничаешь? — сердито сказала ей Васюкова. Ей хотелось выпить, и она торопилась.— Картошки добавила, хорошая, свежая, и посолила, что еще надо?

Васюкова завязала козе на шее веревку, и повела со двора, и все ей выговаривала за то, что та не стала пить, а я сидел, слушал и, кажется, начинал жалеть: зачем было приходить? Лучше было провести день как-то по-другому, побродить по знакомым местам, побыть в одиночестве, чтобы только небо было и деревья и еще — трава кругом.

Может, я задремал, потому что не заметил, когда вернулась Васюкова. Она стала расспрашивать меня, и я назвал отца — лет двадцать тому известную фамилию в этом городке.

— Это какого же Аглаева? — спросила Васюкова.— Не Павла ли? Помнится, одни девки у него были. Может, Федора Аглаева, того, что на площади повешен был весной-то сорок второго?

Я кивнул молча, и Васюкова вдруг засуетилась:

— Сейчас я стаканы принесу да закусочку. Позавчерась только собрала да в банку огурчиков посолила. Теперь как раз будут малосольненькие.

Она опять ходила в дом, по двору, мыла стаканы, все отвлекаясь другими делами, время от времени поглядывая на меня и покачивая головой.

Ожидая, я сидел в тени еще цветшей кое-где сирени и наблюдал, как Васюкова кормит кур; их было шесть, и она, указывая пальцем, старалась их пересчитать и сер-

дилась. Потом она полезла за старые ящики у забора и достала три крупных белых яйца и опять подозрительно стала глядеть на кур.

— Опять какая-то не снеслась на месте,— сказала она.— Какая же это из вас, холера, прячет, а?

Затем она положила яйца на стол, поставила два зеленых от старости стакана и хлеб в глиняной глубокой миске. Принесла огурцы в трехлитровой стеклянной банке, и вкусно запахло укропом и смородиновым листом. Васюкова доставала огурцы, выкладывала их на тарелку; они были крепкие, зеленые и прохладные, с обрезанными кончиками.

Она поглядела, как я с трудом режу твердую колбасу, и тревожно сказала:

— Наши зубы не возьмут, так колбаски и не покушаешь.

Во двор вошел Акимов, тот самый старик, что продавал на базаре табак. Он еще от калитки усмехнулся и приветливо и как-то просительно, словно извиняясь, спросил:

— Можно?

— Заходи, заходи,— сказала Васюкова.— Коль уж пришел, не выгонишь тебя.

— Да знаешь, дела переделал, дай, думаю, к соседке загляну.

Акимов подошел, стащил с головы фуражку и сел, оглядывая стол.

— А может, я все-таки вам помешаю? — спросил он опять.

— Да ну, бросьте вы, Пров Кондратьевич! — сказал я.

Мне было весело глядеть на него, маленького, хитрого, и он, видимо, понимал, что симпатичен мне; а с Васюковой, судя по их поведению, он был достаточно хорошо знаком, чтобы не стесняться.

Ему не терпелось начать, он усиленно тер руки и старался не глядеть на бутылку. Васюкова еще куда-то сходила и вернулась теперь уже совсем, тяжело села на лавку.

— Все ходишь, ходишь,— недовольно сказал Акимов.— Чего ходишь, если дело есть?

— Ну, егоза ты, Прошка, никак не дождешься! Давай, давай, исстрадался, гляди, совсем.

Акимов отмерил в три стакана, как по нитке, ровно чуть пониже половины, и на широком лице Васюковой, наблюдавшей за ним, появилась добрая усмешка.

— Дай бог не последнюю,— сказал Акимов, истово втянул в себя воздух, разом проглотил водку.

Выпили и мы вслед. Васюкова вытянула степенно, не жмурясь, и, глядя перед собой, стала закусывать огурцом, взяла кружок колбасы, повозила ее во рту и вынула, удивленно поднесла к глазам, разглядывая:

— Э-э, не по моим зубам, что железо!

Она подманила кур, бросила им неразжеванную колбасу, и они сбились в кучу, затоптали и потеряли. Васюкова встала, нашла, и белая курица, выхватив темный кусочек из рук у нее, побежала в угол двора, раскачивая полным зобом. Другие, вытянув шеи, погнались вслед.

— Чего добру пропадать,— сказала Васюкова, усаживаясь на свое место.

От выпитой водки лицо у нее потемнело, глаза открылись больше; и теперь было видно, что они у нее светлые, выгоревшие и в молодости были серые и, должно быть, красивые. Все мы трое молчали, сидели и молчали, и было хорошо молчать, к вечеру резче запахла бузина, за заборчиком было слышно, как проходили мимо домика люди, разговаривали, смеялись. За домиком Васюковой дальше шел неглубокий ров и за ним вытоптанный гусиными стадами луг и речка Севна, совсем пересохшая; во времена моего детства она была полнее, и я мог выкупаться в любом ее месте. У нас были здесь и «девичье», и «ребячье», и «взрослое» купалища; а вчера я походил по тем местам и ничего не нашел, кроме щедро усыпавшего весь берег сухого гусиного помета. Я сидел и вспоминал, а потом мы с Акимовым закурили. Чтобы сделать ему приятное, я закурил самосаду из его кисета. Потом мы допили водку, и Васюкова так же прямо сидела, и на подбородке у нее присохло огуречное семечко. Глаза ее стали еще больше, и теперь было видно, что ей не так уж и много лет, ну, за пятьдесят. Акимов пьянел, но вел себя хорошо, только мне подмигивал часто и толкал меня в бок, и я чуть от него отодвинулся.

— Надолго-то к нам? — неожиданно спросила Васюкова и поглядела на меня все теми же по-детски удивленными глазами.

— Нет, ненадолго. Отпуск кончается. Вздумалось родные места поглядеть.

— Тянет, тянет родимая сторонушка,— вставил Акимов и густо задымил самосадом.

— Молодых, чай, теперь не очень тянет, привыкли в разных краях.

— Не всякий молодой молодому ровня,— сказал Акимов, и Васюкова бросила на него тяжелый взгляд. Акимов не унимался, ткнул в мою сторону растопыренной пятерней: — Вот он тоже молодой, а вспомнил, приехал, хоть и не осталось тут у него ни души. С Москвы, а приехал.

Васюкова поглядела на меня и сказала:

— Мой тоже собирается к осени приехать. А ты у отца на могиле был?

— Был, как же, два раза уже был.

— Коли был, хорошо,— строго сказала она и нахохлилась, скинула с волос платок, ощупью поправила, пригладила непослушную прядь.

И я вдруг заметил, что руки у нее не лежат на месте и движутся, шевелятся, что-то невидимое трогают и перебирают. Мне показалось, сейчас опустит она голову на стол и заплачет, и захотелось уйти: жалкое было что-то в ее лице. Я сердился на Акимова, что он посоветовал мне прийти сюда. Хозяйка поглядела на меня и вдруг засмеялась, словно разом сбросила с себя груз, заставивший ее пригнуться к земле.

— А ведь и мы были мо-олодые,— сказала она нараспев.— Эх, я тоже была не из последних, а, Прошка, ты помнишь?

— Была, была,— подергал усами Акимов.— Все мы были серыми в яблоках.

Мне становилось скучно с ними, они вспоминали интересное им двоим и безразличное для меня, и я сидел, совершенно лишний, и подумывал, как ловчее встать, попрощаться и уйти. Я украдкой поглядывал на калитку, на сильно засиневшее к вечеру небо, а Васюкова, сложив беспокойные руки на высоко вздутом животе, быстро шевелила пальцами; я взглянул на эти беспокойные руки и почему-то остался.

— Брось, брось, Прошка, не уговаривай,— говорила она, возбужденно глядя в сторону.— Тоже скажешь, такое разве забудешь, по ночам-то и давит. Только-только глаза смежишь, чувствуешь — идет. Руки для креста не подымешь, как навалится что... Может, конец скоро, а, Прошка?

— Выдумала! — Акимов ожесточенно дергал усы, один вверх, другой вниз.— Да ты вон ученому человеку скажи,

он тоже скажет. От думок тебя давит. Кровушка от думок приливает, давит на голову. Отсюда и мерещится.

— Не скажи, Прошка. Порой мне так страшно станет по ночам. Грешница я, руки-то в человечьей крови.

— В войну они у всех, руки, в крови были, а у бога твоего больше всего,— упрямо стоял на своем Акимов.— Разве только у детей они чистыми остались.

Акимов долго копался у себя за пазухой, выудил, к моему удивлению, оттуда четвертинку и, торжествующе поглядев на меня и на Васюкову, сковырнул толстым ногтем большого пальца черный сургуч с картонной пробкой вместе, вытер горлышко ладонью и, придвинув стаканы, тщательно, щуря левый глаз, размерил.

Васюкова взяла свой стакан, по-мужски, широко и свободно, отпила половину, глянула прямо на меня.

— Сама себя виноватю,— сказала она.— Сама я во всем виноватая. Как вернулся он из плена, надо было в шею его. А я курицей раскудахталась, не знаю, куда посадить, под подол готова затолкать. С того-то момента и потекло скрозь пальцы, не удержишь.

— Вы о ком, Арина Власьевна? — спросил я.

Акимов вмешался:

— Муженька вспомнила.

Васюкова не обратила на него внимания; может, она и не слышала.

— Попал где-тось в окружение, прибёг, когда уж немцы пришли. Попрятала я его дён десять, а вышел — вмиг его зацапали. Через неделю вваливается — белая повязка на рукаве, черные буквы. «В полицию, говорит, пошел. А что ж, не пропадать теперь, раз не выпускают иначе». Поглядела я на него, и сердце оборвалось. «Ну, думаю, недоброе дело ты затеял». Подумала, да и сказала. А он и закричи: «Ты чего молчишь, не рада, что я живой?» Надоть зло на ком-то сорвать. «Бог с тобой, говорю, Семен Семеныч, ты решил, тебе виднее, а я что? Баба».

Старше меня он был на восемь годов, привыкла я величать по имю-отчеству. Вижу, и ему тяжело. Вместо того чтоб, дуре, все ему, как есть на сердце, обсказать, я его еще утешаю да подбадриваю. Ничего, мол, ничего, все перемелется. Ну, поносишь эту повязку, а как что — подневольно носил, кто ж виноват теперь, что его, вражину, впустили в дом? Против силы-то не попрешь.

Живем так неделю и другую, стал вроде бы привы-

кать, паек он стал получать, все маслом да салом в банках. Хорошо у них солдатиков кормят. Пограбили кругом все, в банки поуложили и кормят.

Акимов сидел, а голова у него лежала на краю стола, и он сладко спал и чмокал. Васюкова с осуждением сказала:

— Всегда так, до конца не досидит, а хорохорится, поди ты! На моего покойника тоже малость смахивает. Кричит, шумит, а до делов дойдет, он тебе сейчас тысячу причин выставит, отнекается.— Она опять с неприязнью осмотрела Акимова.— Придет вот так, растравит, растравит... Обидно мне станет, если б кто знал! Никогда до конца не досидит, теперь будет дрыхнуть, не разбудишь его, до утра прокособочится. И мой вот так же, бывало. Придет, принесет шнапсу, сам выпьет и меня заставит. До того я в рот не брала, запаху не знала. А ему одному скучно, время такое, соседа не позовешь. Потому — за каждым словом следить надо, вылетит — не поймаешь, а покачаться на столбе покачаешься. Вот он меня и заставит присесть и говорит, рассуждает со мной. Окна наглухо закутаю, чтобы щелочки нигде не просветило. Чокнемся мы с ним, хлебнем, повесит он головушку и говорит, бывало: «Эх, Ариша, голова ты моя еловая, попали мы с тобой, как кур в ощип!» Все, как выпьет, одно это всегда говорил. А я его поглаживаю по волосам и утешаю: ничего, мол, Семен Семеныч, не пропадем, проживем. Бог не выдаст, свинья не слопает. Говорю, а у самой сердце заходится. В городе-то творится несусветное. Бьют да вешают, в соседках у меня тогда солдатка одна жила, тоже такой домок. «Пришли ночью, говорит, десятеро, а то и больше, изнасильничали». Померла у меня на другой день на руках, куда за доктором в те времена побежишь, кровью так и сошла, сердешная. А молодая совсем, только-только замуж выскочила после школы. Небось раз или два всего и было со своим перед войной, сразу и взяли его... Семен Семеныч на службу-то ускочит с утра, а то и ввечеру или ночью дежурит. Я сижу, забьюсь вся, глаз боюсь на улицу показать. А тут еще Семен Семеныч заскочит домой, хорохорится надо мной. Я уж молчу, ему больше не над кем себя показать. Хоть жена есть — и то ладно, а то и забыть можно, что мужик ты.

Навалившись подбородком на кулак, я заслушался. Солнце начинало садиться, и небо взыграло по-вечернему

густо на заходе; зато прямо над нами оно совсем обесцветилось, пожижело, цвета нельзя было определить. Акимов теперь тоненько, затейливо высвистывал носом. Ни я, ни хозяйка не обращали на него внимания. Вся еще больше отяжелевшая, она сидела, быстро-быстро перебирала пальцами.

— Так вот и жили. С месяц оно и шло, приобвыклись, и шло. А потом подошел день — как сейчас вспомянется, в глазах темно.

Васюкова замолчала, медленно допила свою водку, облизнула губы. Закусывать не стала, сидела, и ее молчание давило меня. От выпитой водки слегка шумело в висках, хотелось вернуться в гостиницу, прилечь на узкую железную кровать, закрыть глаза... В то же время что-то мешало встать и уйти.

Васюкова ожила, сдвинулось что-то в лице, мелькнула усмешка, она взглянула на меня. Я понял, что она до сих пор боится того, о чем собиралась рассказывать дальше, боится — и не может не рассказать, это въелось в нее, и она всякий раз, подходя, словно заглядывает в пропасть, прежде чем ее перепрыгнуть. Заглядывает и замирает сама перед собой.

Она встала, пошла закрыть сарайчик, куда на ночь зашли куры, и вернулась другой. Села, подперла щеку ладонью, стала глядеть на меня, прилаживаясь к разговору.

— С моих слов можно подумать — в жизни у нас и радости капли не было. Было, как не бывать,— вздохнула она, словно не веря своим словам. Лицо ее и глаза становились сосредоточеннее и спокойнее.— Встретила его в первый раз — досель помню. Высокий, статный, в белой рубахе — чистая, с шелковым пояском. На луговине, вот здесь, рядом, майское гулянье ходило, и познакомились мы. А я совсем дурочка, шестнадцати не было. Разве наперед-то заглянешь? Не заглянешь, не-ет, человек — он не господь бог. Теперь-то, к смерти, я все не так вижу; задумаюсь порой и вижу, почему оно все так получилось. Сама я во всем виновата,— с неожиданной силой сказала она, глядя мне прямо в глаза, и мне было трудно выдерживать ее взгляд.— Сама, мил человек, виновата, на свою голову его себе вынянчила, ничего тут не придумаешь. Нигде мой Семен Семеныч больше недели не задерживался — неуживчивого характеру человек был.

Наймется на мукомольный — уйдет через неделю, в сушилку устроится — уволят. Поговорить любил, а от дела бегал. А я — ни гугу, к легкой жизни его приучила, все тащила на своем горбу. Баба, известно, чего она ради мужа не сделает.

Васюкова прислушалась к чему-то своему, и я тоже прислушался.

— В тот день проводила его на службу, как всегда. В огороде картошка-то доходила, копать можно было начинать. Все жутко выходить, показываться на голом месте. А день выдался ядреный, паутинье блестит, везде расцеплялось. Надела я на себя что поплоше, потускнее, шмыгаю в огород и обратно. Ведерышко наберу и во двор подсушить высыплю. Разохотилась и про время забыла, хожу себе да хожу туда-обратно. Присела у заборчика посидеть, разморило меня,— вон там как раз старая бузина росла широко, под ней всегда можно было прохладу найти. Вроде бы только глаза смежила, а оно, глядь, солнышко-то, садится, заря вон прямо над лугом вполнеба восполыхалась, и прохладно, сырость по-над землею ползет к вечеру. Поглядела я на зарю, крещусь,— уж больно страшна взъярилась, и с чего бы? Николь такой видать не приходилось. «Видать, не к добру»,— думаю. Хотела встать, на руку опнулась, да меня в те поры еще раз ошуνуло, так я и затряслась. Вроде неподалеку в ладоши затрепыхало, сухо это так, звучно. Поняла я — стреляют. Ну, сразу и про Семен Семеныча моя думка,— баба, известно. «Ахти, думаю, что же это такое? Пронеси, господи!» А потом, слышу я, вроде бы шум. Э-э, милый ты мой! Дай бог тебе сроду такого не видать, что я тогда увидела! — Васюкова подняла тяжелую, пухлую руку и с истовой серьезностью перекрестилась, и от этой ее сосредоточенности у меня занемело в груди.

«Давно водки не пил»,— подумал я, стряхивая оцепенение и вытягивая ноги под столом.

— Присела на колени у заборчика, щелку нашла и теперь уж ясно слышу. Гудит, гудит, много народу-то, да прямо по нашей улице валом валит; я уже вставать хотела. Видать, бог не привел, подломилось в ногах, опять на колени брякнулась. Пригляделась, а это немцы куда-то гонят людей. И бабы с детьми, и старухи. Грудных с узлами вместе волочат. А мужиков мало, почти совсем не было. Немцы кругом с автоматами идут, молодые, отъеденные.

Прямо они на эту зарю-то идут, идут... Автоматы — бляск, бляск! — светом играют, дети ревмя-ревут, матери им губы затыкают, уговаривают. Боятся солдат-то рассердить. Не приведи больше зверье видеть такое, как этот фашист. Гляжу-то я, знакомых угадываю, торговок двух чернявых с рынку выглядела, все рядом, бывало, мы сидели. Одна из них все разными свистульками торговала. Они по-своему начнут лопотать — не понять, всегда я сердилась. «А может, вы, говорю, про меня что стрекочете?» Их я увидела, а еще на нашей улице жена большевика жила с тремя малышами, Головкина-то фамилия была, вот ее со всей кошарой угадала. Идет, волосы растрепаны, меньшего за руку волочит, годочка три, под другой сумочку беленькую прижимает. «Ну, думаю, сухариков, знать, захватила; видно, в лагерь гонят, сердешных». Они уже за канаву, на лужок, перешли. И слышу я, голос такой злой взлетел, а что сказал — не пойму, не по-нашему сказано. Доску-то потихоньку оттягиваю, чтоб лучше видеть, на закат смотреть больно, страшный был закат, глаза режет. А потом уж не помню, что и было. Услышала тонюсенький такой голосок,— домой кто-то из ребятишек просится, дедушку звал. «Дедушка, говорит, дедушка, домой хочу». В уши мне как палками стали бить, у них автоматы эти в руках трясутся, рев над лугом. Заикала я, хотела в дом побежать — ноги не несут. Ползу на коленях, кожу до мяса сдираю, все кругом трещит, валится. «Господи, думаю, господи...» В небе — огонь, все огнем взялось.

Потом ночь нахолонула, сижу я у оконца, лампу зажечь боюсь, и все меня дрожь пробирает. Так по плечам и ходит. А под печью сверчок. «Что такое? — думаю.— Хотя б Семен Семеныч сегодня пораньше пришел». И комар вроде над ухом звенит. И откуда бы ему в такую сушь? А он тонюсенько так звенит, как знает, сил-то нету руки поднять, хлопнуть. А потом, милый мой человек, похолодела я еще больше. Оборвалось у меня все в животе, вот хоть бери да и помирай. Жить — и некуда. Не комар то, ребенок то верещал, верещал, как вот-вот ему помереть. Холодно мне было до того, и враз жаром охолонуло; стукнулась я на колени, подползла к переднему углу, давай молиться. Вполшепота, чтоб крик этот младенческий заглушить. На иконах лица святые плывут, одни глаза черные дырами. А потом будто меня под руку кто толк-толк! Подняла я голову, слушаю. Встаю на ноги — со-

всем крику не слышно. Этак стремлюсь тихонько-тихонько к двери. Приоткрыла, просунула голову. Уже не кричит, а, как из земли, тихо так постанывает, а на дворе темень, заря пропала. Я опять дверью хлоп! И слышу — плачет. Тогда я уж совсем открыла дверь. Открыла и слышу сзади: «Арина!» Оглянулась — никого. Перекрестилась, трижды «отчу» прочитала и пошла. Я ль своей улицы-то за тридцать лет не узнала? Кочки на ней, ямы явились, и шла я и ползла на голосок. Пока доползла, натерпелась — никак не попаду, чтобы мимо, все на мертвяка. Измазалась, исцарапалась и доползла вконец. Мать-то, видать, его, как падала, привалила боком, оглушила, месяцев восемь ему, не боле было. Потом отошел, а ножонки под матерью, никак не выберется, уже и голосу у него нету, только сипит да клекочет. Приловчилась я, отвалила родительницу-то с младенца, подхватила его, да уж не ползком, куда там ползком! Чуть не разбилась. Завесила окошко, зажгла лампу, а он так весь кровью и залит. Оглядела я его — мальчонка кудрявенький, лобастенький, ножонки растерла ему, до он ко мне как в грудь сунулся, так и заснул, и голодный заснул. Истомился, голубок. Нагрела я воды, искупала да и омыла. Спит. У меня слезы в корыто кап-кап... Положила его, завернула, давай в тряпках рыться. Ситчик у меня был припрятан — достала. Не знаю, что делать. На него погляжу, к иконам подойду, молиться не могу. Рубашечку ему начала мерить. Обо всем на свете забыла. Как полоумная мечусь. Давно я ребенка хотела, как хотела, да Семен Семеныч в первый раз к бабке послал. «Еще, говорит, успеем». И опять я на своем не поставила, потачку ему дала. «Ну, думаю, он же больше меня на свете прожил, ему виднее, успеется». А потом и не успели... Что-то не так у бабки вышло, двое суток из меня кровь-то шла, в больнице остановили. Как я за решетку не попала, сама не знаю. Только потом так и осталась неплодная, поврежденная. Гляжу на этого мальчонку бледненького, реву, реву — свое вспоминается. Сейчас, может, и не выжмешь из меня слезу, со временем все обвыкается, а тогда в три ручья ревела.

Поторопившись оборвать затянувшееся молчание, я был награжден недовольным бормотанием Васюковой.

— Чего дальше,— сказала она все еще недовольным из-за меня голосом, ничего дальше. Успела я ему руба-

шонку скроить, сметать, утюг поставила с угольями на загнетку, разгладить рубцы, тельце-то нежное, натереть красноту недолго. А тут и Семен Семеныч к полночи пришел. Показываю ему, прижалась к руке, радуюсь. А он в лице меняется — догадался. «Это откуда же?» — спрашивает. Я ему так и так, а он и совсем. То снимал с себя ремень-то с наганом, а то назад застегнул, ходит от порога к куту, бегает. Вижу, в сильном волнении.

«Ах ты, дура, говорит, баба, сама не знаешь, что натворила. Да ты же не знаешь даже, кто он,— может, большевичонок или еврейчонок какой».

«Побойся бога, Семен Семеныч, говорю. Что ж мне, нужно было там его с мертвяками оставить? Младенец он безгрешный, ничего он не знает, кто он, святая душа. А у нас все одно никого».

Семен Семеныч-то еще пуще бегает, лютость в себе греет. Никого, кричит, никого! А ты думаешь, не дознаются? Нет уж, ты как знаешь, а его в полицию надо снесть. Собери мне, поем, целый день ни крошки во рту, поем да и снесу. Нечего нам встревать, не наша каша, не нам и расхлебывать».

Собираю я ему на стол, ложки, миски из рук валятся. Сидит Семен Семеныч, молчит. Похлебал наскоро, вытер губы и про шнапс забыл, еще оставалось-то в бутылице.

«Семен Семеныч,— говорю ему,— а ты все хорошо обдумал? Ты же его на верную смерть снесешь, безгрешного, ни люди, ни бог тебе не простят!»

Молчит он, на меня не глядит, подходит к кровати, где младенец спал; а у меня рвется все внутрях. Он, ребенок этот, за один час во сто раз дороже роженого стал, так бы я за него всех загрызла. В глазах у меня мутится, и сердце, как медведь, ворочается, ворочается...

«Семен Семеныч,— опять говорю я и слышу, не мой это голос,— а Семен Семеныч, ты не молчи, ты хорошо подумал?»

«Ничего,— говорит он.— Отправят его куда-нибудь в дом. У них дома для детей есть». А сам на меня не смотрит.

«Не ври,— говорю я ему,— Семен Семеныч, никаких у них домов, у этих душегубов, нету, сам знаешь. За себя ты трясешься, а на что она тебе, такая жизнь, сдалась, одинокая? Не трогай его, Семен Семеныч, богом тебя прошу...» Ну, он, ясное дело, мужик, все по-своему. Взры-

чал на меня, вот-вот стукнет. Вижу, твердо у него решение, ничем его не отговоришь. И знаешь, милый человек, никогда до этого такого не было со мной. Не отпускает меня, душит, гляжу на него, и хочется мне его взять да задавить, как самого отвратного гада ползучего. Видать, помрачнение головы вышло мне в тот момент. Волчицей на него гляжу, так бы и растерзала, и смотри ты, хитрость во мне проснулась, играет, заставляет с ним согласиться для виду, хоть невмочь больше.

«Ну, говорю, ладно, Семен Семеныч, бери, бери его, неси...» И еще ему что-то таким легким голосом да ласковым, по-бабьи, хоть и самой себя мне страшно.

Обрадовался он. «Давно бы так, говорит. А то, дура, из-за чужого щенка...» Стою я, гляжу на него, у меня внутрях все сгорело, черным-черно, печет, и уже я как каменная или железная. «Душегубец ты, думаю, загубил ты всю мою жизнь, всю мою радость зажрал, все боялся, что не будет тебе самому хватать. И как я раньше-то не видела, где мои глаза были, вот и до прямого душегубства дошел, дитё на смерть несешь...»

Уже знала я, что ничего нельзя больше переделать, потому как момент такой был. Другой бы, может, и учуял, что нельзя было со мной дальше так, а он не учуял. Не ставил он меня ни во что. Повернулся себе и пошел к кровати с младенчиком. Взяла я тут со стола утюг и ударила, ударила, и сама не помню, как: знать, сильно я его. В те поры силы во мне были, острый конец так и влез в затылок. Потом стою я, сморило меня сразу, руки опустила, а Семен Семеныч падает, да, когда падал, боком повернулся, боком упал, не вниз лицом. Лужа темная от затылка у него ползет по полу. И нету во мне жалости. Уж после шепчу: «Семен Семеныч, а Семен Семеныч!» Подошла поближе, руку взяла, а она уже холодится, кожа на ней уже холодная, а тепло-то все глубже уходит. Нехорошо мне стало, выпустила я его руку, пальцы свои о подол вытерла, перекрестилась.

Я достал папиросы и хотел закурить. Храп спящего рядом Акимова напомнил мне о махорке, я свернул самокрутку — кисет с махоркой и газетой лежали на столе, у головы старика. Прикурил и во всю грудь вобрал в себя едкого дыма, еще и еще... Кажется, я уже привык к это-

му самосаду, и уже не задыхался, как вначале, и даже почувствовал некоторое облегчение.

— Что ж потом, Арина Власьевна? — спросил я, и Васюкова качнула большой головой.

— Да что ж потом? Оно будто и все. Страх на меня, как на дикого коня, сошел. Схватила я ребеночка, замотала в тряпки, да из дому, да через лужок, через речку — за лето она обмелела. Да в Юросов хутор, знакомка там у меня, отсидела двое суток, потом она меня дале к родне переправила. Знаешь, как в деревнях, на край света по родне можно зайти. Вот так и блуждала до конца войны, всего хватило с избытком. Лихо — оно одно николь не приходит. Все кучей. Ребенку имя нарекла, крестила. А после войны, как в родные места вернулась, записала его честь честью на себя, по девичьей фамилии, своих никого у него не объявилось, вот и рос. Приторговывала, домок опять поставила — сгоревши был. Потом в школу стал ходить.— Она вздохнула.— Ничего, не хуже, чем у людей. Выучила. Прилежный он оказался, еще со школы, в счислении, в цифири разной. И пошел... Теперь большой человек; говорят, нет ему равных в этом деле... Все бы хорошо, только вот по ночам плохо, давит, давит, все мерещится... Тяжко мне по ночам, и молюсь я, и пощусь, а все не проходит. Видать, никак не простит меня бог... А может, лекарство какое от этого есть? — спросила она меня.

— Надо врачам показаться...

— Ходила, дали горошку желтого, горький. Глотала — не помогло.

— А сын знает?

— Что? А-а, нет, зачем ему знать, он молодой, ему жить.

— Где же он сейчас находится?

— Где ему быть, известно где, в Москве. Женился с год, большие деньги получает, пишет: хорошо живет.

Она быстро повернула голову ко мне, помолчала, присматриваясь, и добавила:

— Все меня зовет жить. Да, зовет...— приблизила она ко мне голову и снова испытующе поглядела.

И я понял, что никуда он ее не зовет и что она сама себе это внушает и в этом все дело, вся тоска ее и одиночество. А она с тоскливой доверчивостью продолжала:

— Сама не знаю, не могу с ними жить, как рос он,

маленький, думала, век не расстанусь, а скажет мне невестка поперек что, тяжко мне станет, обидно, все вспомнится, как огород на себе вспахивала, лишний кусок, что повкуснее, все ему. Ну, правда, и он меня жалел, жалостливый вырос. Хуже всего боялась, чтобы он подле меня кулаком каким не вырос, иродом. Нет, ничего, справный сыночек, жалостливый. Деньги все шлет. А на что мне деньги-то? Крыша есть, огородишко, как-нибудь проживу. Да и что им мешать-то, молодым, пусть сами живут, как нравится. Жена у него гордая, ученая, все по книжкам да по книжкам, обеды и то по книжкам варит. Пусть их, их дело молодое. «Нет, пишу, спасибо тебе, сыночек, никуда я от дома не поеду, привыкла». Вон Прошка приходит, посидим потолкуем. И ночи когда полегче бывают, сплю. Чего я к нему поеду, мешать-то?

Она замолчала. Мне хотелось сказать ей много, и я понял, что сказать нельзя ничего. Я понял, что поехала бы Арина Власьевна, полетела бы, окажи ей уважение неведомая мне гордая и ученая невестка, позови ее как следует сын-математик и пришли ей ласковое письмо вместо холодного, казенного денежного перевода. Бросила бы свою козу и кур и поехала.

— Я еще приду к вам, можно? — только и сказал я.

— Приходи, коли хочешь, рады будем,— не сразу, равнодушно отозвалась она, вся в своих мыслях.

И мне захотелось куда-нибудь к людям, шумным, веселым, в кино что ли, или на стадион, где высоко взлетает мяч и тысячи здоровых глоток орут дружно и весело. Но я не мог сделать и шага. Кто знает, если бы родители мои не погибли в войну, а тихо и незаметно жили себе в своем городишке, как эта Арина Власьевна, в ожидании моих редких открыток и телеграмм (до писем я небольшой охотник), я не был бы сейчас здесь, а шел бы где-нибудь в ярком свете реклам и неона, беспечный, веселый и счастливый, об руку с девушкой...

Встретившись с отсутствующим, по-старушечьи тяжелым взглядом Арины Власьевны, я отвел глаза, боясь, что она угадает мои мысли.

Настойчиво и жалобно блеяла коза, и Васюкова встрепенулась и заохала, ругая себя за свою забывчивость на чем свет стоит.

— Я завтра зайду, Арина Власьевна.

— Погоди, милый, куда же ты пойдешь на ночь гля-

дя? Погоди, молочка попьешь, я тебе постелю в сарайчике, на сене будешь спать, сено ноне свежее, легко так в сарайчике, вот ужо, погоди,— заторопилась старуха, боясь, что я не соглашусь и уйду. И коза снова заблеяла протяжно и жалобно.— Про животину забыла, ах, грех какой, ну-ну, не обижайся на старуху,— совсем как ребенка, уговаривала она козу,— сейчас питья дам тепленького.

Я старался ей не мешать и, боясь ее благодарности, густо дымил, глядя в сторону, за изгородь, где редко темнели вершины яблонь; в этот момент мне как-то ни о чем не хотелось думать, мне хотелось просто сидеть неподвижно и дышать свежим, начинавшим слегка сыреть воздухом и вслушиваться в тишину.

Городок и в самом деле затих на ночь, и в воздухе стоял сильный запах бузины и сирени. Опустившийся на луг и речку густой туман наверху расползался, и сквозь него ясно и сильно светили звезды.

РАДУГА НАД ЛЕСОМ

Родом я из Брянской области, но вот уж двенадцать лет, как не был у себя в деревне; после окончания ремесленного училища работал на большом уральском заводе, начав свой путь наладчиком второго разряда и к тому времени, к которому относится настоящий рассказ, став помощником начальника цеха, женатым человеком и отцом двоих детей.

В середине мая прошлого года, как раз вскоре после праздников, я взял отпуск и решил съездить на родину, в свою деревню Михайловку; уж очень мне захотелось увидеть те места, где прошло детство и где около трех лет хозяйничали когда-то немцы.

Через несколько дней я спрыгнул с попутной машины, довезшей меня от станции до совхоза «Ленинская искра», и, кивнув на прощанье шоферу, не задерживаясь, свернул на проселочную дорогу. По сторонам зеленели, вымахав уже в колено, дружные озими; терпко пахли темные коноплянники, но я ни на что не обращал внимания: в одной руке у меня был небольшой чемоданчик, в другой плащ, и я как можно скорее стремился добраться до леса, начинающегося в четырех километрах от совхоза. И сердце мое билось как-то не так, как обычно: всего меня охватила радостная, молодая дрожь; мне хотелось петь, и на глазах часто наворачивались слезы...

«Расчувствовался, будто семнадцатилетний,— подумал я не то с досадой, не то с умилением.— Однако почему и

не поплакать, если никто не видит тебя? Этих слез не стыдно!»

Наконец я вошел в тень и, остановившись перед первой елью, мощной и старой, с давними натеками смолы на коре, долго осматривал майский лес. Всюду была молодая, нежная зелень, яркие цветы; щебечут птицы, и лес тихо и как-то торжественно-бесшумно сверкает зеленью.

Я вздохнул, смахнул с глаз слезы и пошел дальше, теперь уже лесом.

Постепенно мысли мои приняли другое направление: вспомнил я слышанные от стариков в далеком детстве рассказы о царивших здесь когда-то бандах Гришки Татарина... Вспомнил и о событиях, которые с быстротой, пугавшей оккупантов, разворачивались здесь вот уже скоро как тридцать лет назад. Я шел знакомой с детства Павловской дубравой; по сторонам дороги был смешанный хвойно-березовый лес, и меня удивляло сейчас какое-то радостное, почти сказочное безмолвие: такие моменты бывают иногда перед сменой погоды, постоит тишь да гладь, а затем и ударит, и зашумит все кругом.

«Брянские леса! — думал я.— Мне сейчас уже и под сорок, а они себе все стоят и стоят, молодые и зеленые, одно дерево упадет, другое, незаметно подросшее, тут же его заменяет, и чудесно вот так идти, и вспомнить вот эту наивную истину, и порадоваться ей. Ведь в городе об этом так никогда и не вспомнишь, там некогда об этом думать, все куда-то спешишь и никак не поспеешь».

Дорогу пересекали выбитые корни деревьев, я иногда натыкался; воздух буквально звенел от птичьих голосов. Среди белых стволов березы и красноватых сосен стали со временем чаще попадаться темные стволы дубов; скоро сосна исчезла, и по обе стороны дороги потянулась теперь старая дубовая роща, с подсадой орешника, с малым процентом березы.

Я вспомнил Михея Панкратова, своего прославленного односельчанина-партизана, который, выпив, любил, бывало, собрать вокруг себя нас, подростков, и завести разговор о своих партизанских делах, о своих товарищах, навечно оставшихся в непролазных лесных топях, о том, как летели под откос вражеские эшелоны, как тяжела безмолвная ночная резня!.. Да и что там отдельные люди, в схватках погибали иногда целые отряды, вот был отряд и пропал, где, когда?

Михей любил рассказывать, как умирают люди, и от этого нам становилось тяжело быть возле него, что-то больное и дремучее было в его словах, в глазах, начинавших смотреть неподвижно, издалека...

Чаще стали попадаться большие поляны, слышалось сочное жужжание шмелей и пчел, снующих непрерывно взад-вперед. Я шел, легко вдыхая полной грудью воздух, до Михайловки оставалось не так много, километров десять, четыре до Пеньков — лесного поселка, стоящего на пути в Михайловку, и шесть после; едва я успел подумать об этом, как лес расступился в обе стороны, открыв обширную поляну в старых высоких березах, которую пересекала небольшая, но глубокая и чистая речка. Отвыкший в городе от подобных чудес, я остановился на мостике, решив немного отдохнуть. Эту поляну и реку я почему-то помнил с детства... Оперевшись о перила моста, я стал смотреть кругом; берега речки густо поросли калужницей, и по всей поляне травы цвели, и среди них особенно выделялись крупные лесные колокольчики, от зеленовато-белых медуниц шел тяжеловатый, медвяный запах, да и крупная луговая ромашка сияла среди зелени небольшими островками. Над старыми дубами, окружавшими поляну, высились две сосны, они уходили в небо вполовину выше дубов. Вздохнув, я взял с шаткого настила чемодан и пошел дальше; потянулся такой же лес; но, едва успев пройти с полкилометра, я остановился и вздрогнул. Недалеко от дороги, шагах в пяти под дубом, на коленях, спиной ко мне, стояла женщина; приглядевшись внимательнее, я увидел, что стоит она у могилы, которую, вероятно, только что обладнала землей и украсила цветами; в стороне в землю была воткнута лопата; на ней висела поношенная женская кофта.

Заинтересовавшись, я подошел к женщине и, остановившись за ее спиной, простоял несколько секунд неподвижно, рассматривая ее...

Это была старуха лет семидесяти пяти; сползший с головы на плечи черный, в тусклый горошек, платок открыл белые волосы, под рубашкой из домотканого полотна остро выступали худые плечи и лопатки. Юбка у нее была широкая, со сборками, на ногах — парусиновые туфли и черные чулки; она была похожа на каменную — ни одного самого малейшего движения не заметил я, пока подходил к ней и пока наблюдал за нею, только легонько шевелился

от ветерка кончик платка да выбившаяся из-под него редкая прядка совершенно белых, даже как-то блестящих под солнцем волос.

Я сделал еще один шаг, и тут она, вероятно инстинктивно, оглянулась и увидела меня. На лице ее не выразилось ни страха, ни испуга; по нему легкой тенью скользнуло недовольство и сейчас же исчезло. Я понял, что старуха сердится, что я нарушил ее уединение. Я поздоровался и спросил, сколько осталось идти до Михайловки.

— Восемь верст,— ответила старуха, не меняя позы.— Восемь верст, по старинной мере, парень...

Она легко и быстро встала на ноги и оказалась высокой, чуть ли не выше меня, и стала надевать кофту; мне хотелось поговорить с нею, но лицо ее выражало такую суровую печаль, что я не решился расспрашивать; я собрался уже уходить, но она в последний момент сама остановила меня, спросила, чей я и откуда иду. Я ответил.

— Нет, такого не помню. В Михайловке многих я знаю, а тебя среди Волобуевых-то нет, не помню.— Старуха вздохнула.— Да и то сказать, где уж всех знать? Ты, вишь, не был долго дома...— добавила она, словно извиняясь за то, что не знает меня. Надев кофту, она села на пенек и опять стала смотреть на могилу. Долго я стоял рядом с ней, перебегая взглядом с могилы на лицо старухи и обратно. Она совсем забыла о моем присутствии; порой губы ее шевелились, что-то шепча про себя, а раз я заметил, как дернулись ее подтянутые, морщинистые щеки. Наконец я не выдержал.

— Бабушка,— спросил я.— Что это за могила? Кто тут у вас? Сын или внук?

Она взглянула на меня, потом нескоро ответила:

— Прихожу я каждый год на это место поглядеть да послушать...

— Да чего же тут слушать-то? — спросил я, невольно оглядываясь кругом.

Она, казалось, не обратила внимания на мой вопрос, но я видел, как редкие брови ее почти сошлись и губы сжались плотнее. Она видела и слышала то, чего я не мог слышать и видеть; не сводя глаз с могилы, она глухо сказала:

— Если хочешь, садись, расскажу, бывает так, что и словом с кем перемолвиться хочется, да все одна да одна... Лес он и есть лес.

Я поставил чемодан на траву и, разостлав плащ рядом со старухой, лег так, чтобы видеть ее лицо; у самой земли запахи были резче, я сразу почувствовал влажную разогретость земли и ту чистую испарину, что шла от нее; такая чистота идет от земли вдалеке от человеческого жилья, где-нибудь на лугу или в лесу на разогретом солнцем месте.

— Годы-то идут, идут, вот как песок сквозь пальцы...— Она не шевелилась.— Давно это было, давно, двадцать седьмой год тому, забывать я стала. Как-никак на восьмой десяток перевалило, мил человек. Семьдесят минуло прошлой осенью: зашибло память-то, совсем зашибло. А как приду я сюда, вот в этот день, так мне лес все и расскажет и напомнит. Потому лес все помнит... А каждый год я хожу в этот день... Нонче тридцатого мая, так? — обратилась она ко мне.

— Так,— ответил я.

— Вот. И то было тридцатого, только двадцать семь лет назад... На другой год войны...

Она помолчала, припоминая, и мне показалось, что она, действительно, вслушивается в лесную тишину. Сухие, длинные пальцы ее беспокойно перебирали пучок какой-то очень пахучей травы с мелкими голубоватыми цветами.

— Все лес-батюшка помнит, все, и мне, слава богу, вспоминается, и мне говорит.

Та весна, парень, в наших краях нерадостная, окаянная была. Не то, что на земле кровь, небо кровяное было, так кровью и окрашивается... Особливо ночами. А днем от дыму солнца не видать. Посмотришь, бывало, кругом, и сохнут слезы прямо на глазах, и сохнет сердце. Помню, на шестой неделе поста как раз, и до нашего поселка дело дошло... Пришли мадьяры да полицаи городские, поселок спалили, а народ в город погнали. Случилось в то время так, что я в Михайловке была, ходила к куме Дарье за прялкой, у своей-то у меня, как по наущению, колесо рассыпалось. Пришла я к вечеру назад, а тут одни головешки дымятся, куры да кошки кричат и нет ни одной души. Так у меня прялка с рук вывалилась, ну, думаю, что теперь делать, куда двигаться, кому старуха нужна? Нешто побираться только... Пошла я к своему двору... одна печка стоит на пожарище, и то с заваленным комелем. Наплакалась я тут вволю. Наплакалась, села и сижу, ду-

маю, куда идти, что делать дальше? Время к вечеру, солнце к закату клонится... дымятся по всему поселку пожарища, гарью несет. Гляжу, мяучит недалеко, да так жалко, ну прямо как человек стонет. Пошла я на голос, а сама зову: «Кис-кис, говорю, кис-кис». И в самом деле, она, кошка наша! Лет пять у нас жила, такая уж умница, хоть золото ты ей положи, не тронет, а когда дашь, тогда и поест. Муркой звали. Вполовину, бедняга, обгорела и двинуться с места не может. Как же она по-человечьи на меня глядела, глаза жуткие, светятся по-человечьи.

И такое тут меня горе взяло, что невзвидела я света божьего, темно стало; упала я опять на горелую траву и плачу в причет, сердце так и рвется. Поминаю и деда своего — покойничка, царство ему там небесное, и сына...

Не слышала я, как сзади подошел ко мне человек. Что ты, говорит, мамаша, плачешь? Так и обомлела я... Поднялась, гляжу: передо мной стоит молодой хлопец, в простой одежде, а в руке винтовку держит, и так это ласково на меня смотрит. Сразу я поняла, кто это, рассказала ему все.

«Не плачь, говорит, мамаша! Тут слезами не поможешь. Тут вот чем надо помогать!» — встряхнул он винтовкой, а потом и говорит: «Пойдем со мной, мамаша. Будут у тебя сыновья, много сыновей, будешь по своим силам помогать там: супчику сваришь, залатаешь что-либо...» — Обрадовалась я.

Старуха замолчала и долго сидела неподвижно, попрежнему глядя на могилу; кожа на строгом морщинистом лице давно затемнела, и только в маленьких, сухих ушах был какой-то иной цвет.

— Так и попала я к партизанам,— продолжала она, не взглянув на меня.— Все они были с разных деревень здешних: с Михайловки, с Сельца, с Погребиной... Только командир был не сельский, а с военных, а родом, как сейчас помню, с Орла. Высокий такой и молодой, что-то лет двадцать пять ему было. Звали его все лейтенантом, а я запросто: Василь Димитриевич да Василь Димитриевич... Все его в отряде любили: справедливый был человек, ничего в свете не боялся. А уж такой добрый, такой заботливый... Да что говорить! Раз, помню, привели наши новенького, у немцев-то с рук вырвали, на нем порточки одни, а то больше ничего. Считай, гол как сокол. И у наших лишнего нет. Что тут делать? Видим, повернулся наш Василь Димитриевич и скрылся в землянке. А чуть погодя

выносит рубаху, фуфайку, ботинки, все это, кроме ботинок, с себя снял, ботинки у него лишние были... А сам шинель прямо на нижнюю рубаху надел...

Старуха вздохнула и вытерла набежавшие на глаза слезы концом своего платка.

— Хороший был человек, да не долго довелось ему по белому свету походить. Месяца не прошло после того, как я к ним попала... и случилось, значит, это дело... Ушли наши хлопцы на два дня куда-то к железной дороге, поезд с пути валить. Прослышали, значит, вперед, что будет поезд идти с патронами и другими припасами. Осталась в лагере одна я да раненых три человека. Ждем их на другой день к вечеру — нет, не идут; ждем на третий — тоже нет. Вернулись только на четвертый день к обеду. Патроны, гранат притащили... и принесли на руках Василь Димитриевича. Ранен он насмерть был, в легкие, говорят, оттого и помер к вечеру.

Старуха перекрестилась, и взгляд ее скользнул в вершины дубов.

— Хороший человек был, царство ему небесное! Какой-то он взаправдашный, с нутром, все про хорошую жизнь, бывало, рассказывал нам, ежели свободные часы выпадали. Молодой, а знал все, тогда еще сказал, что не бывать тут немцу. Душа его праведная была, всегда я за него богу молила... а не умолила... Да-а, мил человек, не умолила. А знаешь, как почувствовал он свой смертный час, велел всех нас созвать. Мало нас тогда еще было, всего тридцать пять человек. Вот собрал нас и говорит: «Бойцы мои, дорогие товарищи,— тихо этак говорит, трудно ему уж было — дыхание перехватывало,— завещаю вам, говорит, бороться до последнего патрона, до последнего вздоха с врагом! Помните, братцы, мое слово. Пусть будет у вас теперь командиром товарищ Миколин — он человек честный и смелый...» Стоим мы, слезы так и сыплются с глаз; захотелось мне по-бабьи-то покричать да повыть, туман кровавый очи застилает, да сдержалась, не закричала. «Не плачьте, говорит, товарищи, не надо! Русскими мы боролись, русскими помирать будем, без слез мы должны помирать. А у вас пущай, мол, не тухнет в груди огонь, пусть не будет в вас жалости к захватчикам! Пусть узнают немцы, что значит с нашим народом воевать». И начал он тут задыхаться. На губах пена красная поползла, так и вздувается. Кинулись к нему, подняли, он

уж проговорить ничего не может... И еще только одно какое-то слово сказал, а какое, я уже не помню. И помер...

Выбежала я тут из землянки, обхватила сосенку руками, заплакала. Я плачу, лес гудит, здорово в ту пору лес гудел. Самая пора ветрам была: деревья развивались... Страшно... Никогда я такого гуду громадного не слыхивала, хоть и в лесе, считай, выросла... Сучья обламываются, да и все вниз, вниз, трещат.

И старуха опять смолкла, вся подавшись вперед, вслушиваясь, полузакрыв глаза.

— Всякое видел лес-батюшка,— продолжала она, вздохнув.— Ой, много! Все помнит! Вот я послушала сейчас, от иного, ежели вспоминать все, так и недели, и другой не хватит. А я тебе, парень, не буду всего, я тебе расскажу про эту могилу. Хочешь? Али пойдешь?

— Расскажите, бабушка, я и ночью дойду.

— Ну ладно, так и быть. Слушай,— сказала она, как мне показалось, совсем равнодушно.— Мы и в молодости-то разные, а под старость мы все дальше друг от друга-то отходим. Вот я, к слову, теперь людей с трудом выношу, редко, как вот сейчас, меня размягчит, а то все бы мне одной да одной быть, и легче вроде мне. А тогда я еще веселая да разговорчивая, приветливая была.— Она помолчала.— А случилось это вскоре после смерти Василь Димитриевича. Месяца еще не прошло, как раз вот на этот день и случилось, тридцатого мая. И погода была тихая такая, ясная, как и сейчас. Птички пели, цветы цвели, только в лесу ветер стоял, небо чуть-чуть попасмурней было... Славная погодка была, хорошая погодка. Был у нас в отряде паренек, семнадцати годов паренек, синеглазый такой, ладный. Колей звали... Из Погребной он родом. Так ростом высок, а всякому видать, что дите еще, худощавый да угловатый, а лицо детское.

Как видишь его, так и хочется приласкать-то, ласковое слово ему молвить. Такие-то раньше из-за батькиной спины выглядывали, в школу с портфелью бегали. А он по разведкам ходил у нас, да по таким разведкам, что и бывалые люди только головами крутили... Бывал и в полиции, и в штабах немецких, и на станциях, всюду пройдет, все узнает. А уж немцев ненавидел — страх! Семью они у него решили... и мать, и братишку, и двух сестер... Вывели за село и расстреляли, а братишку — двенадцатый годок ему шел — повесили на раките.

За давностью лет, вероятно, и от старости голос старухи звучал бесстрастно, словно какая далекая песня звучала, но я вслушивался в этот глуховатый, разбитый голос все с большей тревогой; было все это, было, говорил я себе, и слабое, далекое предчувствие словно бы повторения всего появилось во мне и странно окрепло; я достал папиросы и закурил.

— Любили его все в отряде. Свое горе забывал, если видел, что человеку лихо приходится. Рассмешит, растормошит, что-нибудь расскажет потешное... И в работе не отстанет... А уж плясать пойдет — глаз бы не отвел, ночь бы любовался... Хорош был парень, добрый мужик из него вышел бы, кабы судьба милость оказала.

— Что ж, и он...— начал было я, но старуха остановила меня взглядом, глаза ее, небольшие, подслеповатые, при этом ничего не выражали, они лишь остановились на мне, затем скользнули в сторону; может, она пожалела, что завела с незнакомым человеком этот разговор.

— Ох, лютая ему смерть выпала, жуткая смерть, не дай бог такой смерти и ворогу окаянному. Боже упаси! — она перекрестилась; вот теперь она взволновалась от воспоминаний и темные пятна проступили на щеках и судорожно задрожало веко правого глаза, она закрыла лицо руками, но я видел, как подергивалась серая нижняя губа старухи.

Я закрыл глаза и повернулся на спину; солнце косо светило мне в лицо; повернувшись опять на бок, я взглянул на часы: было ровно четыре. Старуха, оправившись, смотрела на могилу немигающим взором, и мне стало неловко и тяжело рядом с нею.

Когда она опять начала говорить, я заметил, что и голос ее изменился, стал более мягким и в нем появилось нечто живое, теплое.

— Забрали наши разведчики как-то важные бумаги в штабе у немцев. Нужно было про эти бумаги нашим в Москву передать, а у нас не было... ну, чем это по воздуху дудят.

— Радиостанции? — подсказал я.

— Да, может, и ее... Не по чем было передать, нужно было в другой отряд нести бумаги эти. А тот отряд от нас за сорок верст стоял, и идти к нему нужно было чистым полем верст тридцать да все по таким местам, где заслон на заслоне стоит. Конечно, заслоны немецкие партизану —

пустяк, о них и разговору столько, да в том дело, что в то время у нас каждый человек был в счету: сильно жмали на нас немцы-то. Вызвалась я бумаги перенести, благо и место мне знакомо было, у меня там сестра младшая замужем жила. Подумал командир, согласился. Да и то, кому такая старуха нужна? Идешь себе и иди... Кто на тебя посмотрит? Пошла я. А провожатым до Михайловки Колю со мной назначили. Бумаги у меня, парень, за пазухой лежали, пакетом свернуты; я их все рукою поприддерживала. Тяжел-то пакет мерещился, ну прямо камень меж грудей кто застремил. Как раз тридцатое мая было... Идем, а пташки щебечут, каждая травка зеленеет, радуется, небо ясное, веселое... Только в одном месте, помню, тучка стояла, а из нее радуга через все небо и за лес куда-то склонялась. Прямо красота божья, и зеленым-то она горит, и огнистым, ну что твой утиральник расшитый... Цветы по всему простору разошлись, дух радуется. Коля то со мной разговаривает, то песню поет вполголоса... Веселый тоже такой, щеки разгорелись, картуз он в руке несет, а волосы ветер развевает. Вспомнилась и мне, глядя на него, молодость моя. И как-то и не поверилось мне, что молодая я была. Не поверилось потому, что уж у меня за молодость была, замуж-то насилком отдали, не жизнь была — мука... Добрались мы к обеду к дороге, парень, теперь уж я впереди должна была следовать, а Коля отстал шагов на десять. Так и шли с ним все время.

Как вышли мы на большую поляну, вот к этой самой речке, что ты сейчас проходил, так у меня сердце и захолонуло в груди. На мосту немцы виднеются... Так я невольно и остановилась. Конец, думаю, пропала. Они увидели меня, машут руками, проклятые, кричат, зовут к себе. Что тут делать? Подумала я в лес кинуться, пока не поздно, да сразу и поняла, что не уйду. Пересилила себя и к ним направилась, а у самой ноги подламываются, в глазах искорки мельтешат. А Коля заметил немцев, не выходя на поляну-то, и остался в лесу.

Подхожу я к мосту; они, поганые, окружили меня, лают своими собачьими голосами, а я не понимаю ни бельмеса. Ошарили меня, бесстыдники, да за пазуху не кинулись; постеснялись, что ли... али, можа, противно им за пазуху лезть... Один офицер ихний, длинноликий такой, носатый, что-то сказал солдатам: повели меня через мост вот по этой самой дороге двое. Один спереди, как жура-

вель, вышагивал, другой вслед и винтовкой в спину торкает. Вот, думаю, и отнесла бумаги нужные, назвалась. Дуряга старая! Что теперь делать?

Провели меня немного по лесу... Услышала я сзади храп: глянула назад и обмерла. Руку не в силах поднять, перекреститься, одеревенела вся. Коля немца свалил и сидит у него на спине, ножом бьет. С самого вода еще ручьем бежит: видимо, речку переплывал, не по мосту переходил.

Кивнул мне рукой: уходи, мол, в лес... Кинулась я в кусты. Немец, который впереди шел, шум услышал, глянул назад. Выстрела-то я со страху не услышала, а как пуля мимо щеки чиркнула, услышала, затряслась аж вся... Пригнулась еще ниже, бегу, под ногами земли не чую. А сзади еще несколько раз стрельнули, потом услышала я Колин голос: «Уходи, Филипповна! — кричит.— Уходи!» И стон вслед за этим раздался... Покачнулась я, схватилась за сердце — поняла, что этот стон обозначает. Да некогда было долго раздумывать, слышу, кусты трещат сзади, как медведь ломится, опять я побежала. Так-то, голубок,— прибавила она и замолчала, губы ее тихо шевелились, будто она что жевала, но вся ее фигура была неподвижна.

— Что же потом? — спросил я, не выдержав.

— Потом что? Бумаги я передала, слава богу, удостоил.

— А Коля?

— Замучили они Колю...— не сразу ответила мне старуха.— Через три дня назад я возвращалась, не дорогами, а лесом, дорогами-то боялась. Как подхожу к этому месту, заныло сердце... Решила я на дорогу свернуть... будто чуяла беду. Только вышла, и наткнулась на него. Висел Коля вон на том дубу,— старуха указала на кряжистый дуб, росший на краю полянки.— Что они сделали с ним, зверюги! Только по одежде и можно было узнать, что это Коля... Не было у меня тогда слез, ни одной слезинки не уронила. Все горело внутри, а в груди прямо кусок железа каленого, слезы, чую, на глазах сохнут, сохнут...

Решила я похоронить его... А как это сделать? Нет ничего — ни лопаты, ни железины какой... Делай тут, что хочешь... Пошла я в свой поселок, долго копалась в золе, нашла лопату горелую, без черенка. Могилу рыла целую ночь. Разогнусь, отдохну и опять рыть. А в ночь гроза собралась как раз... Лес застонал, зашумел, гром страшно

гремел, молонья бляснет — все кругом осветит... А потом дождь пошел. Не было тогда страху... Рою и рою, а кругом вода течет. Всю ночь рыла, солнце взошло, и могила была готова. Хорошую я ему могилу вырыла, насилу сама вылезла из ней.

Полезла потом на дуб (как я на него вскарабкалась — бог знает!), перепилила веревку лопатой... От него-то, от мертвого, уже дух тяжелый пошел...

Старчески тяжело вздохнув, она окончила:

— Вот, голубок, и лежит он теперь тут. Каждый год в этот день прихожу я сюда: могилочку обделаю, помолюсь... да и поплачу... Бывает, что и поплачу. Лес кругом, а я слушаю, вспоминаю... все вспоминается, будто вчера это было. И чем дольше побудешь тут, тем лучше вспомнится...

Она встала, взяла лопату, потом поставила ее опять и, присев перед могилой на колени, долго молилась, земно кланяясь.

— А теперь пора... пора идти.

Она широко перекрестила могилу, тяжело поднялась.

Снова и снова я видел труп, висящий в лесу на дороге, грозовую ночь, старуху, освещаемую вспышками молний; она упрямо выбрасывала из ямы землю, а потоки дождя падали и падали на ее худую жилистую спину... И потом лес стоял кругом, стоял под солнцем, и все кругом было чистое и свежее после дождя.

— Знаешь теперь, голубок, вот о том и думка моя,— долетел до меня голос старухи.— Как же так мир-то устроен? Вот я уже и тогда немолодая-то была, больше четырех десятков оттопала, а вот не мне, а ему, молодому, выпало в мать сыру землю ложиться...

Вот я сяду приду, и такое сумление меня возьмет, так бы никуда и не двигалась больше...

Я встал и долго глядел на одинокую могилу; я подумал, что нужно спросить, как зовут старуху, но что-то помешало мне, и я так и не спросил.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Памяти
Ивана Михайловича Патенкова

К середине июля стало совсем жарко, хотя через день — через два налетали обильные и как-то не по-летнему легкие грозовые дожди, часто с крутым, рвущим ветром, который легко срывал с копен на лугах верхние, слежавшиеся и потемневшие пласты, а иногда и развороченный, плохо сложенный стог приходилось потом растаскивать чуть ли не до самого обдонья, растаскивать, просушивать и складывать заново. Эти сыпучие короткие дожди имели для земли свою, особую силу — такого гриба, как в нынешнем году, не было. Гриб рос по кустарнику в оврагах, не говоря уже о лесах и солнечных опушках, рос даже по лугам, и рос он как-то удивительно буйно: на том месте, где вчера ничего не было, сегодня находили не один и не два, а целые россыпи белых боровиков без единой червоточинки, а размером часто больше мужского кулака. Старухи опасливо крестились, а сами изнемогали от этой грибной поры,— села пахли сушеным грибом, сушился он на крышах, связками на горожах, и когда находила гроза, в селах стоял переполох: старухи, подгоняя внучат, спешили убрать гриб под крышу, ругали дождь и недовольно поминали бога, хотя без дождя и не было бы такого щедрого грибного урожая.

Николай Матвеевич Никонов, пожилой человек (исполнилось в прошлом месяце пятьдесят семь), сидел на своем излюбленном месте — под густым, широким кустом рябины на берегу Выжиги, в том самом месте, где

речка, выходя из мелководья, суживаясь и приобретая сумеречность в своих глубинах, уходила в старые Выжигские леса. Он сидел так уже часа два. Вечерело, солнце было низко, рыба еще не начинала играть, но Николай Матвеевич знал, что она понемногу стряхивает с себя дневную сонную одурь и скоро тихая, гладкая вода начнет испещряться большими и малыми кругами, а потом незаметно появится туман и совсем придет большой вечер, чтобы потом исчезнуть в короткой летней ночи, пахнущей созревающими хлебами, сухим сеном и как-то совсем по-особому — звездами. Когда Николай Матвеевич открыл это, он вначале даже не поверил и все втягивал и втягивал в большие, заросшие волосом ноздри резкий, похолодавший воздух и наконец удивленно и недоверчиво хмыкнул. Звезды в самом деле пахли, он только теперь понял, что такого, почти неуловимого запаха чистоты на земле не бывает, и он идет оттуда, с бесконечных высот, и начинает чувствоваться, лишь когда земная жизнь затихает и все ее краски и запахи слабнут. Вот незаметно прошел еще один вечер, когда ему особенно хотелось жить, потому что именно вот в такие тихие и чистые вечера его начинала томить мысль, что вот он прожил жизнь, а самого важного в ней так и не понял и теперь не поймет, и силы не те, и голова не та. И он сидел и глядел на воду. Наступление вечера меняло ее краски.

На противоположном берегу большой, стоявший в сторонке от остального леса дуб начинал темнеть и расплываться, превращался не то в гору, не то в сказочно высокий стог сена а потом и сам берег, на котором сидел Николай Матвеевич, вдруг как-то взгорбился под ним, и одно время показалось старику, что он сидит где-то высоко-высоко, и вокруг никого и ничего, а сам он непонятно зачем и почему, и ему было просторно и вольно сидеть и дышать, никого не хотелось видеть, разговаривать, ему не хотелось и думать.

И вот в этот вечер он впервые открыл, что устал, и эта мысль его неприятно удивила, но он тотчас понял, что это именно так, он устал, и что вечер как вечер, только с той разницей, что в природе потом будет ночь, утро — и так бесконечное количество раз, а у старости уже ничего не будет.

Потянул ветер по реке, и на Николая Матвеевича почти налетела большая, наверное, птица, судя по шуму и бес-

покойству воздуха, которое Николай Матвеевич почувствовал лицом и руками, и глаза от неожиданности заслезились. Он и теперь ничего не сказал и только полез было в карман, но вовремя вспомнил, что бросил курить два года назад, когда был особо сильный сердечный приступ. Вспомнил и пожевал сухими, горячими губами, оглянулся на свою почти пропавшую в темноте одинокую избенку — ему сейчас не хотелось возвращаться в ее стены. Он решил сегодня спать под навесом; вот еще немного посидит, выпьет холодного молока и ляжет, и будет долго слушать жизнь речки и леса, и забудется коротким сном перед самой зарей.

Кто-то вышел к нему из темноты, из-за избушки, там, где была тропинка из села — еле приметная: в страдную пору по ней редко ходили. Николай Матвеевич сразу както насторожился, и сердце у него мерзко застучало-застучало, по коже прошел озноб, он весь поджался, и ждал, и думал не о вечере, не о лесе, а думал о людях, и было ему нехорошо, потому что он, не видя, узнал, кто и зачем к нему идет.

— Здравствуйте, Николай Матвеевич,— произнес чистый, негромкий женский голос, и он не ответил, лишь кивнул головой, не думая, что в темноте этого совсем не видно, кивнул и еще больше сгорбился.

Женщина подошла и села рядом, чуть поодаль.

Плохо, что она пришла так поздно, старому человеку давно нужно спать — она это знала. Но ей было плохо, куда хуже, чем ему, и ей было все равно, что о ней подумают, ей было даже все равно, что она причиняет комунибудь неудобство или даже боль. «Эх ты, Маша, Маша!» — вздохнул Николай Матвеевич про себя и спросил:

— Ты, Маша? Ну чего — опять?

— Опять,— ответила Маша, и Николаю Матвеевичу сразу стало скверно, потому что он давно знал эту женщину, знал маленькой, трехлетней девочкой, знал ее подростком, девушкой, любил ее затаенно, не требуя ничего и не жалуясь. Сейчас он думал о ее неудавшейся жизни и не мог понять, зачем хорошему человеку бывает плохо и как это получается.

Маша села рядом с ним и тоже стала молча смотреть на еле угадываемую полосу реки, на слитую в темноте громаду леса, смотрела, и прислушивалась, и старалась забыть то, что происходит в ее жизни.

— Ну чего ты молчишь? — опять спросил Николай Матвеевич. — Чего молчишь? От этого, Маша, не отмолчишься.

— А что говорить? — отозвалась она тихо.

Николай Матвеевич завозился, вытягивая затекшую ногу.

— Говорить, понятно, нечего, а делать надо, вот что я тебе скажу. Тебе всего двадцать пять, все еще можно сначала переделать.

— Люблю я его, Николай Матвеевич...

— И дура! Она любит! Любишь, когда живешь, а ты разве живешь? Мучаешься. Так и скотина не выдержит жить.

Николай Матвеевич говорил это, стараясь сделать больнее, и не хотел сдерживаться, потом он пошевелил белевшей в темноте кистью руки и неловко замолчал: женщина плакала, пригнув голову к коленям, в лунном свете все виделось причудливо и неправдоподобно. Где-то совсем близко тревожно заржала лошадь, и ей почти сразу тоненько отозвался жеребенок. И тоскливо стало Николаю Матвеевичу, и грустно, потому что вот он когда-то родился, а теперь умирать пора.

И люди вырастают, как выросла вот эта плачущая женщина у него на глазах, и начинают мучиться. Он вспомнил ее совсем-совсем маленькой девочкой, когда она не стыдилась, если он даже помогал стянуть штанишки, и еще больнее ему стало, захотелось притиснуть к груди холодное — сильно болело сердце. Со стороны деревни Вострянковки, далекие и неясные, слышались голоса и звуки гармони. Казалось, что они падают сверху, оттуда, где было небо.

Николай Матвеевич, успокаиваясь (в конце концов, вероятно, ему так на роду написано), спросил:

— Рассказывай, ладно, что там у вас еще...

— Да что, в город ездит теперь. Там у него, говорят, учительница из молоденьких завелась. Только-только институт окончила в прошлом году. Сегодня вечером он собирается, а я ему: ты, мол, может, совсем там останешься? А он зубы скалит. «Ты, говорит, не переживай, я и тебя люблю». — «Паразит ты, говорю, паразит, нет у тебя сердца. Бросил бы ты меня сразу, чего мне мучиться?» Опять хохочет. «Не вру я тебе, Маша, зря ты на меня все это думаешь. Все это бабьи глупые выдумки. У меня дел и без

того сверх головы. Мне надо договориться насчет строительства нового гаража, ну, и сама понимаешь... И выпить надо, и все такое прочее. Я бы тебя взял с собою, да сынишка, мол, как?» — «А зачем же ты костюм-то новый надел?» — спрашиваю. «Ну, говорит, неприлично перед людьми небрежно ходить, уважение не то и прочее такое. Сама знаешь, встречают-то по одежке». Да боюсь я, Николай Матвеевич, еще и другого. Шикует он, а с чего бы? Зарплату домой, правда, несет, ну, там немножко, а так с чего бы? Позавчера опять костюм новый купил. «Постыдился бы, говорю, все как мальчик, а тебе вот уже за тридцать, и сын растет». Пошла я к вам, Николай Матвеевич, не могу я больше, как сложится теперь, так и будет. А к вам я от тоски, ведь никого роднее у меня нет. Сын еще мал, ничего не понимает, ему и не скажешь — стыдно.

Николай Матвеевич слушал и не слушал: ему давно надоела эта история, и только потому, что он любит Машу, он не мог заставить себя отстраниться от всего и не обращать внимания.

Вот такая история, бегает мужик по бабам, бесится, Маша и не может выбиться, как муха из паутины, вот и плохо. А ведь была прямо-таки огневая девка, готовилась к большим делам, хотела какие-то новые методы землепользования разработать, да потом бросила институт на полпути, одурела от счастья. Сколько он ее уговаривал — все одно: «А Толя как же? Ну что вы, Николай Матвеевич, один раз живем, один раз двадцать-то лет бывает». Ну, хорошо, думал он, пройдет эта первая жажда, и все станет на свои места, а потом он и ждать перестал, лишь после очередного разговора выругался про себя: «Баба есть баба! Дорвалась до... и все, и ничего ей больше не надо», Пробовал Николай Матвеевич и с Анатолием встречаться. Мужик-красавец, специалист, а в позапрошлом году, как на грех, на повышение пошел, стал заместителем директора совхоза. Однажды бабы-молодухи в один голос гаркнули: «Хоть одного на семя! Голосуем!» И, видать, не выдержал, пошла у парня голова кругом. Специалист, ничего не скажешь, хороший, агроном, машины знает, и в экономике пальца в рот не клади. И вежлив, хотя весь кипит внутри. Котел, добавь килограмм угля — все в щепы разнесет.

«И откуда у такого молодого человека, у коммуниста, вот такой душок и стремление к власти?» — горестно начинал думать иногда Николай Матвеевич. Правда, он успо-

каивался на том, что на Руси хватало всегда с избытком больших и малых царьков, и никто никогда не мог понять, отчего они так обильно плодятся и какая такая почва их питает. Вот этого Николай Матвеевич понять не мог и думал о недостатках, и что структура и организация общества еще несовершенны, и что здесь есть о чем подумать, но это, конечно, был разговор иной, а вот что ты ей ответишь по существу, тут и подумай.

— Знаешь, Маша,— сказал Николай Матвеевич,— хочешь человеком стать — бросить тебе его надо. Совсем. Иного выхода нет, мне кажется. Не знаю, как там у вас было, но положение у вас совсем неровное. Ты ведь при нем как вещь какая, что ли... Вот мне это и не нравится главным образом.

Женщина слушала, а потом долго молчала и, попрощавшись, пошла к селу, так ничего и не сказав, и Николай Матвеевич долго видел ее фигуру; свет луны заливал пространство от горизонта до горизонта, и Николай Матвеевич с горечью думал, что, пожалуй, он и постарел, и не понимает жизни молодых, и не может дать им полезного совета, и все, что он говорит,— примитивно и никому не нужно.

Он пошел в избушку, выпил молока и лег спать, но уснул только ближе к рассвету, когда луну больше и больше забивала широкая, в половину горизонта, утренняя заря, закричали лягушки, перепела, а над рекой стал подыматься туман.

Никто точно не помнил в Востряковке, когда Николай Матвеевич Никонов появился в этих местах. Одни говорят — лет двадцать семь назад, еще до войны, в тридцать седьмом, а другие уверяли, что появился он в войну, проходил по этим местам солдатом и присох к ним сердцем, и вроде там, за селом, у холма, где начинался березняк и где светло и плавно шла река, была в сорок третьем убита у него жена — хирург одного из госпиталей в чине майора, и там же ее и похоронили. В самом деле, какая-то могила на склоне холма была — небольшой продолговатый бугорок, на него со всех сторон наступала березовая поросль: холмик, однако, был всегда цел и невредим, за ним все эти годы присматривали и не давали молодым деревцам угнездиться на нем. И цветов у могилы не было, лишь густо

росла трава — такой никто здесь не встречал и никто из жителей Востряковки не знал, как ее, эту траву, называют: тонкие длинные листья, густыми пучками выбивающиеся из земли, плотно, друг подле друга, они росли на две четверти и были с белыми прожилками посередине. Трава начинала цвести весной рано, едва-едва успевал сойти снег, в поздние осенние морозы она не теряла своей свежести и уходила под снег зеленой стойкой щетиной. Иногда в плохую осень снег выпадал и опять сходил, а странная, нездешняя трава так же радовала глаз. Женщины, потерявшие в войну мужей и ставшие вдовами, не узнав как следует тяжелой подчас мужской ласки, и успевшие сильно постареть, случалось, подолгу стояли у безымянной могилы и глядели на траву. И не то чтобы они горевали,— годы унесли не только тоску по мужскому горчащему теплу, они забыли его вкус. Нет, они просто стояли и глядели на траву, и им было хорошо стоять так вот, отдыхая после непрестанной работы, и глядеть, и ничего не делать. Странная трава, несмотря на ее непривычность, успокаивала и как-то примиряла с тем, что каждая из вдов носила в себе, это ныло где-то глубоко внутри, и боль нет-нет да и вспоминалась, как некогда богатая, теперь давно заброшенная пашня, где под щедрыми весенними дождями родят только бурьяны.

Впрочем, никто никогда не видел Николая Матвеевича у этой могилы, и, возможно, это были выдумки от тяжелой послевоенной бабьей участи. Другие уверяли в Востряковке, что Николай Матвеевич появился в этих краях, среди этих людей в суровые времена упавшей на землю невиданной доселе засухи, выжегшей все, вплоть до удивительной травы на безымянной могиле. Очевидцы утверждают, что так и было — в год засухи, в сорок шестом, могила стояла совершенно голая, выжженная, а над холмом часто крутились жаркие вихри, и земля на холме потрескалась и пересохла, стала как выгоревшая по недосмотру хозяйки корка на плохом, смешанном пополам с травой хлебе. Правда, в следующую весну чудная трава с белыми продольными полосами посередине узкого листа опять выросла густо и сочно и ушла под снег зеленой, как и во всякий хороший год. И, говорят, именно в ту весну, после засухи, Николай Матвеевич поставил себе избушку километрах в пяти от села, испросив разрешения у лесничества, потому что это место с холмом, рекой и березняком издавна вхо-

дило в угодья лесничества. Николай Матвеевич приезжал сюда из Москвы, где жил постоянно, раза два в году, чаще — летом в июне — августе, а зимой иногда в январе. Но зимой он приезжал ненадолго, а вот летом жил месяца по два, по три. Николай Матвеевич давно был на пенсии, у него еще с войны не было половины ребер и половины легких, в ту весну сорок седьмого он и подружился с девочкой-сироткой Машей; тетка, единственная Машина родня, «разрывалась», как она любила говорить, от работы, и Маша была большей частью предоставлена самой себе. В один из весенних дней сорок седьмого Николай Матвеевич и увидел ее в изорванном платьишке, с грязными, в цыпках ногами, с измазанным землей лицом — девочка отыскивала и ела в березовой роще какую-то съедобную траву. На вопрос Николая Матвеевича она серьезно ответила, что это баранчики и их, мол, едят все. Николай Матвеевич угостил ее куском сахара и настоящим хлебом из своих тоже небогатых запасов и, глядя, как она вцепилась зубами в этот кусок, отвернулся; он вспомнил свою умершую в эвакуации под Читой дочь, с этого и началась их многолетняя дружба. Маша выросла, Николай Матвеевич успел постареть, и судьба Маши сложилась совсем не так, как бы ему хотелось. Он был уверен, что она хороший человек, и вот сейчас, после их неприятного разговора, Николай Матвеевич не спал и думал, почему это хорошим людям мало в жизни выпадает счастья, и что надо было ей окончить институт, он ведь сколько раз говорил, и требовал, и просил, но что он мог противопоставить власти молодого красивого мужчины, еще в мальчишестве избалованного женским вниманием. Разве только трезвость старости, отцовскую любовь? Да разве станет женщина в двадцать лет выбирать между вторым и первым? Смешно спрашивать, можно было только надеяться на время.

Зори в этих местах не то что были хороши, они загорались и угасали незаметно, но своей тишиной они были особыми, ни с чем не сравнимыми зорями,— беззвучную, мягкую их просинь можно было сравнить только с той грустью, что больше всего заставляет чувствовать оскомину жизни, особенно если тебе давно уже за пятьдесят и у тебя нет половины ребер и одного легкого.

Николай Матвеевич лежал на жестком, узком топчане, и вот такая тихая, с просинью заря разгоралась за

стенами его низенькой избушки и — через окно — в самой избушке, и Николай Матвеевич все видел, как если бы стоял на берегу реки и кругом него ширился большой простор. Он видел светлевшее незаметно небо, и то как по реке с тихим, таинственным плеском начинала играть рыба, и по березовой роще, проступавшей отчетливее, нет-нет да вдруг тоже пойдет движение — это всего лишь пролетела какая-нибудь крупная птица, кукушка, или дятел черноголовик, или тетерка покормиться на рассвете, когда меньше врагов.

Николаю Матвеевичу после беспокойной ночи не хотелось было вставать, но он решил встать, когда подошло время. Николай Матвеевич повернулся на спину, спустил ноги и тогда сел, стараясь держать голову прямо и не шевелить ею. В затылке мучительно ныло, и в глазах пошло судорожное, нервное подергивание — так давно с ним не случалось, с самой Москвы. Если бы такой приступ случился там, несомненно, пришлось бы ложиться в больницу и пролежать недели две, а то и больше с высоким давлением и непременными уколами, а тут вот он сейчас сам еще встанет и встретит старуху, она принесет ему молоко, и он поговорит с нею. Какой у нее внук обормот, опять над нею куражится и выживает со двора из-за ее старости и непригодности к разным делам, она только и может принести доброму человеку молочка и больше ничего. И он, поговорив, выпив принесенного старухой парного, еще, кажется, теплого молока, будет сидеть у реки, и у него часа через два пройдет с головой без уколов и больницы.

И Николай Матвеевич действительно оделся кое-как, порой прислоняясь плечом к стенке; правда, в глазах чернело от тяжелой боли в затылке, и Николаю Матвеевичу казалось, что в избушку налетело много комаров и это они нудно и дружно звенят со всех сторон. Он вышел из избы. Старуха как раз принесла молоко в двухлитровом бидончике.

— Здравствуйте, Ульяна Павловна,— поздоровался он, и старуха в ответ закивала:

— Здравствуй, здравствуй, милой. Вот то-то, думаю, хорошо, иду и думаю — жито хорошо сегодня, выше коня, дай, думаю, житом пройду, тропкой, такое жито однажды, когда я замуж шла, уродило. Ну давай свою посудину — молочко-то перелить?

Она спрашивала каждый раз одинаково, и Николай Матвеевич привык к этому.

— Возьмите сами, Ульяна Павловна,— сказал Николай Матвеевич: он не мог сейчас нагибаться от темноты в глазах и от боли. Одно неосторожное движение — и ему придется здесь, где воздух в пятьдесят раз чище, чем в Москве, тоже ложиться в больницу, и он это отлично знал.— Перелейте там и поставьте.

— Можно и самой,— спокойно сказала старуха, принесла глиняный горшок из избы и, выпячивая морщинистые губы, подув в него несколько раз, перелила молоко из бидончика, подождала, пока стекут последние капли, отнесла горшок на место и пошла к речке помыть бидон и оттуда спросила: — А ты знаешь, Матвеич, что мой Юрка-то, внук, баял сегодня? Ты, говорит, бабка, не носи ему, тебе, мол, молока, пусть он сам ходит, коль молока хочет. Это он, варнак, на тебя так, Матвеич. Он, мол, помоложе тебя, бабка, чуть не вдвое. А я ему: «Что ты, внучек, он больной человек, а у меня пока ноги идут, отчего хлеб-то зря есть буду?» А Юрка-то, варнак, в зло сразу. «Вот тут-то, говорит, бабка, и весь козырь, ты потом ходишь по селу, говоришь: хлеба куска, мол, не дают, работать заставляют». А я ему говорю: «Варнак ты, Юрка, хоть и внук мне. Я твоих чертенят двоих на руках выносила. Ведь так оно и есть, ты скоса на меня сейчас зыркаешь, а то, как я счас ничего делать не стану, ты совсем глядеть на меня не станешь, кусок твой в горло мне не полезет, возьмет да застрянет». Но он тут совсем на меня взвился до неба. «Откуда ты, говорит, все это выдумываешь? Старая ты, не стыдно тебе языком молоть?» А я ему говорю: «Вот-вот, кричи на меня, кричи, а то люди не понимают, что к чему». Тут он совсем плюнул, пошел со двора. Вот так старым-то, Матвеич, жизнь пошла... Был колхоз, стал совхоз, а старому человеку все одно. Ну ладно, здравствуй себе до завтра, там куры огурцы расклюют, мне потом хоть живьем в могилу сигай.

Николай Матвеевич попрощался и вышел к реке, в голове у него стало немного свежее, пока он слушал старуху, полную разных забот, существующих и несуществующих; Николай Матвеевич хорошо знал ее внука Юрку, молодого тракториста, и любил его, и старуху он эту любил за ее неуспокоенность в жизни, за ее надуманные дела и заботы, без которых она просто не могла быть. И несогласие с

внуком Юркой, и то, что все ею вроде бы недовольны и не хотят, чтобы она больше жила, тоже помогали ей жить. Обо всем этом Николай Матвеевич думал со свойственным пожилому человеку умудренным покоем и ясностью,— это не очень-то ему нравилось, это говорило о многих довольно печальных вещах. Например, о том, сколько еще раз ему придется приехать сюда, в Востряковку, и сколько ему еще дышать тем воздухом, что в пятьдесят раз чище московского, на Софийской, где он имеет квартиру и постоянно прописан. Николай Матвеевич не мог привыкнуть, что Софийской уже нет, а есть набережная имени Мориса Тореза, и всегда об этом думал.

Почти до обеда Николай Матвеевич старался меньше двигаться и сидел на своем излюбленном месте; почти совсем ушла боль, и голова стала ясной. Он хотел пойти готовить себе обед и раздумывал, что бы поесть: стало жарко сидеть открыто, но тут послышался частый стук мотоцикла. Вынырнув из-за холма, прямо к избушке, а потом из-за избушки к реке, к Николаю Матвеевичу, подкатил Машин муж в безрукавке широкими квадратами, в темных очках, над ними стоял серый от пыли, растрепанный чуб. Он остановился совсем недалеко, рукой достать, от Николая Матвеевича, мотор мотоцикла пофыркал и заглох. Николай Матвеевич сидел, не оглядываясь.

— Здравствуйте, хозяин,— голос Анатолия Сапрунова, на редкость глубокий и богатый, сразу настроил Николая Матвеевича враждебно, он почему-то неодобрительно подумал о театре и опере: когда человек неприятен, даже его красивый голос раздражает. Подлаживаясь под крестьянина, подражая ему, Сапрунов говорил «хозяин», «добрые люди» и много всяких других слов, которые ему, человеку города, совсем не шли.

Николай Матвеевич пробормотал что-то неразборчивое, что можно было понять как угодно, и остался сидеть. Ветер морщил воду, в реке было много солнца. Сапрунов поставил мотоцикл и подошел к Николаю Матвеевичу. Было достаточно жарко; Сапрунов, вздохнув, спустился к самой воде, подвернул ворот своей безрукавки и долго промывал от пыли уши, шею, плеская воду пригоршнями себе в лицо. Николай Матвеевич глядел ему в широкую длинную спину и не мог понять, случайно ли здесь Сапрунов, умыться можно было и в другом месте. Николай Матвеевич смотрел на него недобро, он почти ненавидел его

сейчас за такую плохую жизнь Маши, за душевную нечистоплотность. Николай Матвеевич глядел ему в спину и думал: пусть баб еще можно было ему простить, ну, перебесится, сил некуда девать, перебесится, остепенится. А вот что-то другое, неприятное было в нем, несмотря на его силу и молодость, оно, это неприятное, сидело в нем глубоко и почти не чувствовалось свежему человеку. Николай Матвеевич опустил глаза и вздохнул. Собственно, что ему за дело? С Машей плохо живет, ну хорошо, она ему не нравится, да и вообще в такую сферу жизни лучше не соваться постороннему,— всегда сядешь впросак, будет до стыда неловко.

Сапрунов, подавшись корпусом вперед, вышел из-под берега, молча сел рядом; он глядел на реку и на березовую рощу светлыми глазами; Николай Матвеевич вдруг почувствовал, что этот ненавистный ему Сапрунов очень устал — у него были стиснуты губы, и глаза глядели слишком прямо, не отрываясь и не мигая; от глаз к вискам пошли морщины, загар в них лег бледнее, и морщины виднелись резко.

— Николай Матвеевич,— неожиданно тихо сказал Сапрунов,— вы знаете, я к вам приехал.

— Вижу.

— Я люблю Машу, я хотел вам об этом сказать.

Николай Матвеевич поглядел на него. Сапрунов продолжал глядеть за реку, на березовую рощу под солнцем так же прямо и напряженно.

— Да,— сказал Николай Матвеевич,— да. Поэтому вы, очевидно, и бегаете по другим, губите жизнь хорошей женщине.

— Вы знаете, я не обязан вам отвечать, Николай Матвеевич, я лишь прошу не вмешиваться в мои дела. В те дела, в которых вы ничего не поймете. Честно ведь, ничего не поймете,— добавил он, заметив протестующее движение Николая Матвеевича.— И еще я вас прошу: вы дурно действуете на мою жену, оставьте ее, пожалуйста, в покое. Я знаю,— опять опередил он,— вы очень много сделали для Маши, но теперь поймите, для нее будет лучше, если вы перестанете на нее влиять. Вы умный человек, давайте на этот раз договоримся. В крайнем случае, как муж, я требую.

— Лучше всего, если бы вы, Сапрунов, потребовали кое-что от себя.

— Что вы хотите сказать?

Николай Матвеевич, щурясь, пытался поглядеть на солнце; ему не удавалось глядеть так же прямо, и это его злило, он не мог понять Сапрунова и цели его приезда.

— Зачем вы приехали работать в село, Сапрунов? — спросил Николай Матвеевич неожиданно. Он давно хотел спросить и все не мог; он знал: в районе, в области Сапрунов считается одним из лучших руководителей, и столь же точно он знал, что это не так, что Сапрунов плохой человек и не может быть хорошим руководителем по душе, и не может быть хорошо людям под руководством плохого человека, занятого только собой, своими делами и своим успехом. Может быть, у него были устаревшие понятия, но хорошим руководителем, тем более там, где от него зависят сотни судеб, где в силу обстоятельств он во многом бесконтролен, как вот здесь, быть не может. Николай Матвеевич не сказал этого, он лишь глядел на Сапрунова, стараясь не выпустить его глаз — большие, зеленовато-серые. И только опять появилась в затылке боль, и Сапрунов, уже не показывая, что спокоен, легко вскочил на ноги и, бледнея, не сдерживаясь, враждебно сказал:

— Вы, Николай Матвеевич, не поп, а я не на исповеди.

Он видел на губах Николая Матвеевича напряженную усмешку, она совсем выводила его из себя. Он молчал, стараясь быть спокойным, глядел в глаза Николаю Матвеевичу.

«Это тебя не касается,— думал он,— слышишь, старик? Ты отвоевал свое, у тебя большая пенсия, да-да, я знаю, у тебя большая пенсия. Хорошо, ты полковник в отставке. Жизнь не полк, я не солдат твоего полка, и, если даже скажу тебе правду, ты ей не поверишь. Военные всегда отличались косностью мышления».

— Все равно ведь ничему не поверишь,— неожиданно для себя сказал он вслух и деланно, больше от необходимости, засмеялся.

— Говорите мне «вы», молодой человек.

— Что?

— Говорите мне «вы».— Николай Матвеевич встал, сам удивляясь своему спокойствию и выдержке; он был всего лишь по плечо Сапрунову, они стояли друг против друга, и оба знали, что сейчас ни тот, ни другой не будет лгать — пришел такой момент, и лучше бить прав-

дой, и Сапрунов опять засмеялся — как-то неровно и нервно.

— Оставьте Машу в покое, Николай Матвеевич,— сказал он тихо, почти попросил.

Николай Матвеевич молча ждал, чтобы Сапрунов ушел, он не мог сейчас выносить присутствие этого человека физически. Сапрунов чувствовал это и опустил под его взглядом голову, он слышал, как тяжело толкается в виски кровь. «Вот так,— думал он.— Я мог бы много сказать, но что толку? Вы сами видите, я вас ненавижу. Сами того не зная, вы стоите у меня на пути. Еще не зная вас, я уже боролся с вами в Маше, я вас чувствовал всегда, везде, даже в постели с нею, да, да, даже в постели. Я вас ненавидел, еще не зная вас, вашу честность, ваши мысли. Слышите? Мы два разных человека, и ваша честность и показная добропорядочность давили меня через мою жену. Я устал от вас, я не выдерживал и уходил от нее к другим, да, да, я от нее уходил из-за вас. «Ах, Николай Матвеевич, он такой-сякой! Ах, он бы так не сделал, он бы так не сказал!» Да будьте вы прокляты, старый сыч. Почему я пошел в колхоз? Я и это вам скажу. Скажу, скажу! Да потому, что это первая ступенька к тому, что я называю жизнью. Понятно это вам? Честно все сказал? В этом есть криминал? Да, я думаю о большом для себя, а это лишь ступенька, ну и что?»

Николай Матвеевич ничего не чувствовал сейчас, кроме боли, все время пытаясь удержать боль, она подступила совсем близко, и к глазам тоже подступила сплошная темнота.

— На вашем месте,— сказал он тихо, совсем не слыша собственный голос,— я бы ушел из Востряковки.— Он слабо махнул рукой в сторону села, и от этого движения глаза совсем перестали видеть, и перед ним все поплыло, и он напрягся, чтобы услышать голос Сапрунова и суметь разобрать, что он скажет.

— Почему? — спросил Сапрунов.

— Потому, что я знаю этих людей. Вы не сможете им ничего дать. В ваши годы стыдно обирать людей.

— Черт знает, с каких позиций вы судите. Слишком старо, последнее время показало, что человек сложнее, чем его хотели сделать. И тут уж...

— Это не аргумент, Сапрунов.

— Перестаньте,— услышал он негромкий властный го-

лос.— Перестаньте, об этом не вам судить. Вы в этой жизни динозавр, простите меня, но это так. Отступитесь от Маши, перестаньте на нее давить.

— Я не могу вам этого обещать,— через силу сказал Николай Матвеевич.— Маша для меня слишком дорога, и вы это знаете. За Машу я буду бороться и пойду куда угодно.

— Ну и что вы докажете? Теперь расплодилось сколько угодно взбалмошных пенсионеров с большой пенсией, а ведь еще кому-то надо и работать. Вас выслушают — и все.

И темнота вдруг спала, и Николай Матвеевич увидел лицо Сапрунова, искаженное ненавистью, такое лицо было у одного из немцев во время штыкового боя, когда они сошлись глаза в глаза под Белгородом, и Николай Матвеевич живо то вспомнил. От боли в затылке он не мог стоять и пошел к Сапрунову.

«Кто-то должен быть первым,— думал он про себя,— нужно начинать бить подлецов, истреблять их физически.— Он шел прямо во мрак, где высоко над землей белело лицо Сапрунова.— Я прополз за тебя до Вислы и иду тебя бить...»

Он не дошел и стал падать, и земля, знакомый крутой берег, тоже стала падать на него, и в последний момент он увидел ноги Сапрунова — пыльные яловые сапоги хорошей выделки, и в последний момент он продолжал думать, что ему нельзя умирать, потому что у него есть дело и это дело может выполнить только он и никто больше.

Он увидел землю совсем близко — рядом с глазами,— и в земле было много крупных неровных пор, огромный рыжий муравей нес в челюстях белый шар, размером куда больше себя. Николай Матвеевич упал совсем, а когда пришел в себя, возле него никого не было — только берег, река и за рекой березовая роща. И еще небо и солнце, Николаю Матвеевичу показалось, что на том же месте. Он хорошо все помнил, а встать не мог, ему не удалось даже пошевелить руками, и он сказал: «Ну вот, ну вот, хорош ты, нечего сказать, старик». Он лежал глазами в землю и не мог перевернуться. Он знал, что напиться ему, возможно, удастся только вечером, если забежит Маша или заглянет еще кто-нибудь. И потом его подавляла полная неподвижность; правда, ему удалось стронуть с места голову, и она легла теперь более удобно, ухом к земле. Ни-

колай Матвеевич слышал в земле какой-то далекий сдержанный гул, и это его успокоило. А вот солнце, жгущее голову, ему было неприятно, просто пытка, но он не боялся, ему лишь хотелось пить.

Он услышал шум подъехавшей машины, но не видел ее: не мог повернуть голову. Правда, слышать он хорошо слышал и видел многочисленные поры в земле; из них сыро тянуло прохладной свежестью.

Он узнал испуганный голос Сапрунова, остальных двух или трех человек он не мог узнать по голосам. Уже потом, когда его подняли в машину, он понял, что один — это врач, а женщина с усталым пожилым лицом — медсестра. Она поддерживала его голову, и у нее были сухие, прохладные и оттого приятные руки.

И Николай Матвеевич закрыл глаза.

— Нет, везти дальше нельзя. Лучше вызвать Поликина, нет, нет, ни в коем случае. Да, категорически.

Николай Матвеевич хотел спросить, кто такой Поликин, и не смог, хотел улыбнуться и тоже не смог, и тогда впервые он по-настоящему испугался, но уже вскоре успокоился и стал думать, что нехорошо, когда человек чего-то боится, даже если это «что-то» смерть. Он стал думать о своей жизни; теперь, надо понимать, она прошла, и ему вспомнились давно забытые подробности и почему-то больше радостные. То, как он познакомился с девушкой, ставшей его женой и родившей ему Маринку, и как Маринка уже в два года хитрила и, если чувствовала, что он сердится, обнимала его и с детской лукавостью шепелявила: «Не надо ей так де-е-елать». Она любила, по мнению Николая Матвеевича, вкус этого слова и словно сама вслушивалась в него, привыкала к нему, пытаясь понять, что же скрывается за этим словом. Николаю Матвеевичу показалось, что у него по шее скользнули ее ручонки, и он судорожно вздохнул — трудно, со всхлипом; над ним сразу же появилось лицо врача — спокойное лицо мужчины средних лет в больших квадратных роговых очках.

— Как вы себя чувствуете? — спросил врач, и Николай Матвеевич непонимающе поглядел на него прямо в глаза сквозь тревожные стекла очков и ничего не ответил; Николай Матвеевич думал о другом и не обращал внимания на суетившихся вокруг людей в белом. Ему было не по себе: сколько хлопот он причинил этим людям.

Он ничего не мог сказать, не мог успокоиться; он сейчас видел дальше их, и был мудрее, и глядел на них словно откуда-то издалека, и видел все — не только лица, но и мысли. И потом ему с самого начала чего-то не хватало; это было щемящее беспокойство утраты самого важного, необходимого, и это мешало ему думать и спокойно готовиться к тому трудному, что должно было, он слишком хорошо это знал и чувствовал, наступить. И он мучительно пытался понять, что же это такое, и у него уже не было боли в голове,— все в нем успокоилось, только жила одна мысль: что, что, что же он такое забыл и почему это так важно?

И потом, услышав откуда-то издали, еще из-за дверей палаты голос Маши, он сразу вспомнил. Это ее не хватало, и он сразу забеспокоился. Ее не пускали, и она спорила, и он это слышал; глаза у него стали тревожными, дежурный врач, не отходивший от него ни на шаг, услышал тихий, глухой стон, похожий больше на хрип. Врач наклонился к Николаю Матвеевичу и, глядя ему в глаза, тихо спросил:

— Что?

Николай Матвеевич скосил на дверь глаза, туда же посмотрел и врач. Он не мог понять и приказал сестре сказать, чтобы за дверью перестали шуметь, прекратили безобразие. И опять уловил сильное беспокойство Николая Матвеевича по его глазам и неуверенно спросил:

— Пустить, да? Того, кто за дверью, впустить?

Николай Матвеевич, облегченно прикрыл глаза, у него были потные веки и лоб, врач промакнул ему лицо марлевой белой салфеткой.

Маша прошла к кровати, опустилась на пол на колени и, уткнувшись прохладным лицом в сухую, горячую руку Николая Матвеевича, судорожно заплакала, и ему очень хотелось поднять руку и погладить ее по вздрагивающей голове; смотреть ему было неудобно, нужно было неловко скашивать глаза.

— Перестаньте,— сказал врач Маше.— Вот стул, сядьте. Прошу вас,— добавил он мягче,— ведите себя спокойнее.

Маша подняла голову, вытерла слезы, опустошенная горькой неожиданностью, села на стул; и тут глаза Николая Матвеевича встретились с ее глазами, и он понял, что он ей дорог так, как она дорога ему. Он это понял и почув-

ствовал к ней огромную близость и благодарность — на глазах у него показались слезы. Он сердито заморгал,— он стыдился слез, стыдился того, что раньше так жестоко требовал, быть может, невозможного для себя. Он, правда, хотел хорошего, и здесь он мог быть спокоен. Он все глядел и глядел ей в глаза.

— Нет, нет,— сказала Маша быстро, отвечая ему,— вы не должны, не можете...

Она не могла произнести это слово «умереть» и только судорожно, коротко вздохнула, и Николаю Матвеевичу стало так жаль ее, что он во второй раз едва удержал подступившие слезы.

«А я и не умру»,— ответил ей Николай Матвеевич глазами, и врач нервно поправил свои большие, не по лицу очки и сказал:

— Товарищ Сапрунова...

— Не надо,— остановила Маша. Халат, накинутый ей на плечи, упал на спинку стула, и Маша не стала его поправлять.

— Вы меня слышите, Николай Матвеевич, слышите, миленький?

«Да слышу, слышу, Машенька»,— опять ответил ей Николай Матвеевич одними глазами и вдруг как-то сразу забыл о ней и вспомнил свою избушку у холма и то, какая хорошая была сегодня заря, и как кричали перепела и лягушки, ах как хорошо и дружно они кричали. «Ну нет, я еще не умру,— сказал он,— я еще нужен кое-кому, потому не умру. Вот возьму назло себе и не умру». И еще он стал думать о том, как опять будет сидеть над рекой, и из березовой рощи после дождя будет пахнуть грибами, легкой гнилью прошлогодней листвы, и потом, к зиме, он поедет в свою пустынную московскую квартиру, чтобы с нарастающим нетерпением ожидать поры опять ехать в Востряковку.

— Николай Матвеевич... Николай Матвеевич,— донесся до него далекий, чей-то очень знакомый, очень родной голос, и потом началась тишина, и кто-то далеко-далеко зарыдал. Николай Матвеевич с недоумением прислушивался, кто бы это и от какого горя мог так сильно, безутешно рыдать. Если это о нем, так напрасно, он еще не умер и не собирается умирать, он пересилит себя, он знает — на земле без него все-таки станет хуже. Кто-то горько и судорожно рыдал в далекой, с просинью тишине. «Это

заря? — удивился он и мучительно подумал: — Но почему кто-то плачет? Почему плачет? Или мне кажется?»

И тут он увидел белые-белые облака. Таких он еще никогда не видел: они слепили, он подумал, что скоро должен быть снег. Наверное, уже выпал снег; ему становилось холодно, он сам чувствовал свои холодные руки и ноги, и грудь начинала стыть, хорошо, если бы догадались положить к его ногам горячую грелку.

Он умер ровно через пятнадцать минут, а ему все казалось, что он будет жить и делать добро. Он шел, шел в синюю, густую тишину, и все слышался режущий плач. Он слышал плач Маши и знал, что не умрет, он не умрет, потому что слышит это, он нужен ей и потому не умрет. Одинокий режущий плач умолк, и теперь можно было забыться на время и немного поспать. Он немного поспит, и снова будет день, и тихая, незаметная заря, и его одинокая уютная избушка...

Когда все было кончено, Маша вышла из больницы, и во всем мире было одно — огромная, в половину неба, заря. Маша оглядела ее с незнакомым испугом — тихая заря из края в край, и Маша пошла по селу, потом дальше в поле, знакомый путь к реке, к холму, и скоро она почти бежала, уходя от настигающей ее зари. Маша боялась неестественного, тихого, голубовато-огненного сияния, а вокруг стояла влажная от вечерней зари высокая рожь. Скоро дорога вышла из нее и пошла с километр лугом. Скошенное сено лежало в подвявших валках, пахло туманом и слабо — поспевавшей земляникой.

Маша пришла в избушку Николая Матвеевича, зажгла свет и стала лихорадочно прибирать, мыть. Она быстро таскала воду большим ведром, скоблила стол и неплотные дощатые полы, мыла окна и плакала — молча, не разжимая зубов, и, выходя к реке с ведром, не глядела на зарю.

— Маша,— тихо позвал кто-то из темноты, когда она зачерпнула воды в десятый или двадцатый раз, и она испуганно выпрямилась: в первый момент она не узнала голос.— Я за тобой...

— Что?

— Я за тобой, домой поехали.

— Знаешь, Толя, никуда я не поеду с тобой,— ответила она со спокойной твердостью и сразу поняла, что действительно не поедет. К ней пришло неожиданное ре-

шение, и она повторила тише: — Не поеду. Поезжай один, не жди меня.

— Ты что? — удивился Сапрунов.— Здесь, что ли, останешься?

— Не знаю. Здесь я не останусь, а с тобой не поеду,— сказала она тихо, голос ее задрожал, она самой себе удивилась.

Мстя ему за долгое свое унижение, она торопливо и робко повторила несколько раз:

— Не поеду, не поеду, Толя.

Еще там, в больнице, к ней пришла мысль, что смерть не ждет, пока человек сделает все свое доброе, и человек может уйти, не успев ничего сделать. Надо спешить, спешить, сказала она себе, ведь она еще ничего не сделала, это из-за этого человека, который хочет, чтобы она опять к нему вернулась. А ведь как много хотела девушкой и могла, а если останется с ним, так ничего и не сделает.

— Да что вы с ума посходили! — почти закричал Сапрунов.

— Не кричи, Толя. И не обижайся на меня. Не надо. Ты себе легко найдешь...

— Да ты...

— Не кричи,— ответила она каким-то затвердевшим голосом, и Сапрунов сразу замолчал, пытаясь увидеть в темноте ее лицо. Он ничего не увидел — луна вот-вот должна была взойти, но еще не всходила. Маша поставила ведро на землю и пошла к холму. Сапрунов хотел окликнуть ее, но у него перехватило горло, и ему вдруг стало все противно: и эта избушка, и березовая роща, и эта дурацкая могила со странной травой, на которую так любили глядеть в своей бабьей тоске солдатские вдовы.

И все-таки, уверенный в своей мужской силе, по привычке окликнул:

— Слышишь, вернись!

Он прислушался, понял, что она остановилась и потом быстро пошла назад.

Он уже хотел обнять ее, она сама протянула руки и коснулась его груди.

— Не надо,— попросила она.— Не надо, не надо,— остановила она его торопливо.— Я буду противна сама себе...

Он взял ее руку и сильно сжал.

— Маша...

Ее совсем неподвижная рука бессильно упала. Он не стал упрашивать, и Маша сразу пошла.

— Вернись,— неуверенно опять попросил он, прислушался и ничего не услышал. Он пошел было к мотоциклу, но на полпути остановился, сел на берег и стал глядеть туда, где над рекой поднимался белесый туман.

От зари оставалась у самого горизонта только узкая полоска, и из березовой рощи к дождю сильно пахло грибами.

ШЕСТАЯ НОЧЬ

ПОВЕСТЬ

1

Душный летний день кончался, и становилось прохладнее, на улицах тяжело пахло нефтью от разогретого асфальта, и тополя стояли пыльные и вялые: очень трудный был день, и Юреньев устал. Он грузно ходил по комнате и диктовал подолгу задумываясь, когда случались провалы в памяти и хорошо продуманные, отточенные мысли исчезали, и он часто просил Наташу повторить последнюю фразу. Слушая, он глядел на нее, и она смущалась, глаза у нее были беспокойные, живые, и ей казалось, что он все о ней знает.

— Ну, хватит на сегодня, Наташа,— сказал он,— что-то дальше не идет. Надо же — такая адская жара второй месяц, я подобного не помню. И гарь... слышите? — Он шумно втянул большими темными ноздрями воздух и чертыхнулся.

— Говорят, где-то лес горит, вот ветром и наносит,— сказала Наташа, перекалывая высокую прическу, и слегка улыбнулась его раздражению, и кожа у нее на щеках чуть порозовела.— Мне вчера Слава говорил, что пожар очень большой, никак не могут справиться, войска вызвали тушить.

Юреньев опять внимательно поглядел на Наташу, на ее руки, ловко управляющиеся с волосами.

— Гм-м, с войсками на лес, любопытно; да, с лесами у нас не ладно... С войсками на лес. Это, конечно, что-то даст, а вообще в природе человека много нехорошего есть, разрушительного. Разрушаем контакты с природой. Ну, да

что об этом говорить,— он опять посмотрел в сторону Наташи.— Вы мне что-нибудь о вашем Славе расскажите,— попросил он, опускаясь в глубокое старое кресло.— Да вы не смущайтесь, это ведь все бред, от лукавого, никому они не нужны, эти бредни высокие,— кивнул он на кипу бумаги на столе,— главное — сама земля, простая, грешная, где люди живут просто и естественно, ходят, веселятся, горюют... понимаете?

— Ну что вы, Николай Кузьмич,—сказала она, пытаясь хмуриться,— я ведь вам уже рассказывала о нем. Хороший человек, инженер по комплектованию, его очень ценят на работе, только часто в командировки посылают, его дома почти не бывает. А ведь я как-то уже говорила...— Она запнулась и оттого смутилась, ей показалось, что интерес этого старого, грузного человека к ее жизни несколько странен; она опустила глаза, стала собирать свои бумаги и карандашики на столике, и у нее была уверенность, что он знает о ее мыслях сейчас.

Он сидел в кресле, положив толстые ладони на вытертые подлокотники, и медленно шевелил пальцами, отдыхая, и, кажется, забыл о ней; пожалуй, наступил тот самый момент, когда можно было уйти.

— Конечно, мы с вами уже разговаривали об этом,— неожиданно живо отозвался он.— Вы меня простите, Наташа,—добавил он быстро и замолчал; у него был один из тех моментов, которые часто случались после трудного дня, когда он начинал думать, что его уже считают стариком, у которого все в прошлом, и потому разговаривают с ним неохотно, лишь бы соблюсти видимость приличия, и самого важного о себе не говорят. И ему думалось, что раньше, когда он был молод, все происходило иначе (по крайней мере ему так казалось), и люди были открытее, и вот теперь с высоты своих семидесяти шести лет он глядел на них с прежним интересом и жадностью; подчас ему начинало казаться, что его не хотят пускать в свою жизнь, а ведь он вместе с ними прошел и те пятьдесят лет на новом пути после революции, и если в них, в людях, что-нибудь изменилось за это время, он, как никогда, хотел это понять; ведь что бы там ни говорили, страна шла эти пятьдесят лет совершенно по новому пути, по бездорожью, и он хотел, чтобы жертвы, принесенные ею ради этого нового, были оправданы полностью, и еще он знал, что это ему может открыться только через людей: и сам отдавал силы

именно для этого, но теперь, очевидно, была минута слабости, и он глядел на все как бы со стороны, как чужой, и думал, что ничего уже не сможет в жизни, уже поздно.

— Я вам верю, Наташа,— сказал он, опять возвращаясь к чему-то своему,— конечно, он хороший, если вы его любите.—И теперь Наташа уловила в его голосе раздражение; она не знала, что это старческое раздражение оттого, что сам он не мог понять ее полностью.— Имя у него, если я не путаю, старое и простое, Владислав, так, кажется?

— Да, его зовут Владиславом, Славой.

— Гм. Слава... Скажите, если не секрет, когда же свадьба? — спросил Юреньев с тем же недовольным, несколько высокомерным выражением лица, как бы показывая, что все это его не касается и он не видит в этом ничего нового и интересного для себя.

— Не знаю, Николай Кузьмич,—сказала Наташа, опуская свои тетрадки на стол и делаясь какой-то неподвижной и тусклой. Она осторожно присела на краешек стула, свела плечи, напряженно глядя перед собой.— Мама его почему-то терпеть не может, нам придется квартиру разменивать. Мне и ее жалко, останется совсем одна, я как между двух огней.— Наташа помолчала.— Слава мечтает с вами познакомиться, я много ему о вас говорила.— Было видно, что она хотела сказать что-то еще, но пересилила себя, и Юреньеву показалось, что она с трудом сдержала слезы.

— А вы приводите его, ей-богу, приводите,— заторопился он и, грузно опираясь на подлокотник, встал, навис над столом большим телом.— Можно что-нибудь приготовить...

— Ну что вы, Николай Кузьмич, ничего не надо. Славка...—она запнулась, поглядела на Юреньева и засмеялась,— Владислав книги любит, я ему говорила о вашем рукописном собрании. Понимаете, Николай Кузьмич, я еще и по другой причине хочу, чтобы он к вам пришел. Посмотрите на него, поговорите... понимаете...

— Понимаю, Наташа,— сказал Юреньев, с каким-то смутным чувством нежности к этой девушке, которое самого его удивило.— Обязательно приводите. Очень хорошо, если человек любит книги, особенно если человеку всего двадцать восемь. Но почему вы, Наташа, сегодня расстроены? Что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего особого, просто нам с мамой тяжелее

становится. Она ничего, конечно, не говорит, по своему обыкновению, а я больше не могу. Она меня молчанием донимает. Уходит и молчит, делает что-нибудь — тоже молчит. А я ее люблю...

— Ну что вы, Наташа, я же ее больше двадцати лет знаю,— сказал Юреньев, поднимая мохнатые, тяжелые брови.— Очевидно, ей трудно с вами расставаться, вот и вся разгадка. Так жизнь устроена, молодые уходят.

— Нет, Николай Кузьмич,— с неожиданной силой и горячностью возразила Наташа, едва дождавшись, пока он кончит; было видно, что она его не слушала и думала только о том, чтобы сказать ему свое.— Значит, не знаете вы мамы, хотя мне всегда казалось, что вы большие друзья. Вы когда-нибудь слышали, чтобы она о себе что-нибудь рассказывала? Нет, не слышали, и не могли слышать, она никогда о себе не говорит! Вы думаете, знаете ее? Конечно, она к вам часто приходит, вы с ней разговариваете, привыкли друг к другу. Ведь ей шестьдесят два года, Николай Кузьмич.

— Ну и что же? — удивился Юреньев.— Когда-нибудь и вам будет столько же, этот процесс неизбежен, к сожалению.

— Дело не в процессе, дело в том, что шестьдесят — это огромная жизнь. Вы что-нибудь знаете, как она их прожила? Двадцать лет назад она меня из детдома взяла, мне тогда три года было, а раньше она ведь тоже как-то жила.

Он заметил взгляд Наташи, вскользь брошенный на часы, и сказал:

— Ничего, Наташа, я вас скоро отпущу. Да, о чем это бишь мы? Кстати, мне Екатерина Ивановна кое-что о себе рассказывала.

— Не говорите, пожалуйста, о нашем разговоре маме,— помедлив, попросила Наташа.— Она не любит этого.

— Хорошо, Наташа, хорошо,— сказал Юреньев, уже досадуя теперь и на себя, что завел этот разговор; девушка никогда не была с ним так откровенна, очевидно, у нее какие-то неполадки и, возможно, с женихом, ну, конечно, и мать оставлять жалко, вырастила ведь, и потом у каждого своя жизнь. Что правда, то правда, в этом плане он не задумывался о своей соседке, он к ней привык настолько, что просто не замечал ее, и здесь Наташа верно подметила — у каждого своя высота, и то, что этой девушке кажется

значительным и важным, он воспринимает по-другому и не может иначе.

— Поймите, Наташа, пустые стены — это страшно. Нет, вы еще не поймете этого, вам рано, время не подошло, а нам с Екатериной Ивановной — уже пора. Она боится остаться одна, мне ведь тоже иногда бывает одиноко, Наташа,— сказал он, стараясь окончательно освободиться от некоторой неловкости, появившейся от слишком личного разговора, и перейти в более привычный и уверенный тон.— Д-да, действительно, это так, живой человек, когда он рядом, всегда интереснее самой интересной книги. Понимаете, я их написал двадцать семь, вот... А порой остановлюсь, как сейчас перед вами, и думаю: зачем же я их написал столько и оправданы ли все мои жертвы? Что вы на эту картину смотрите? — кивнул он на любимый им самим вечерний кустодиевский пейзаж.

— Мне кажется, очень красиво. Каждый раз, как посмотришь, вздохнуть отчего-то хочется. Я ведь не понимаю живописи.

— Отлично понимаете и лучше меня сказали,— возразил Юреньев и стал ходить по кабинету, неловко задевая за полки с книгами, за трубки холстов, торчавшие со всех сторон в самых неожиданных местах; остановившись у открытой двери балкона, Юреньев отодвинул шевелившуюся от ветра занавеску и, помолчав, уже иным, будничным голосом сказал: — Посмотрите, дождь пошел.

— Я давно заметила,— невесело улыбнулась Наташа, и Юреньев повернулся к ней.

— Вы, Наташа, еще маленькая, счастливая девочка, да-да, не улыбайтесь,— торопливо добавил он,— все у вас еще будет, жизнь, она очень неровная, все будет, и плохое и хорошее, вы счастливы вашей молодостью.

— Я никогда об этом не думала,— сказала Наташа, вздыхая и держа сумочку перед собой обеими руками, показывая, что ей уже пора идти и она больше не может задерживаться.

— Да, Наташа, вы идите, идите,— спохватился Юреньев.— Вас, наверное, ждут. К старости человек становится болтливым, уж не знаю отчего. Идите же, идите,— повторил он и, когда она вышла, придвинул кресло к балкону и сел в него, подставив лицо теплому ветру.

Вот уже конец июня, и солнечный дождь идет, и, может быть, поэтому он так разговорился, а ведь небо чудес-

ное, и солнце, и дождь почти без облаков; и дышать сразу стало легче и свободнее, и запахи земли заглушили весь удушающий смрад раскаленного зноем города. И день удачный, сделано много, вот только зря он затеял с Наташей этот длинный разговор, девушка хорошая, еще обидится, подумает, что он в ее жизнь вмешивается. Усталость медленно проходила; наступал вечер, и он решил пройтись по холодку, посидеть немного у реки; кстати, и дождь кончился, и пыли на улицах не будет, и хорошо пройтись, размяться немного перед сном; следующая глава у него что-то не ладится, но эта мысль лишь мелькнула в нем на какую-то минуту. Вся жизнь его была сплошная тяжкая работа, одна глава, напишет он ее или нет, ничего не добавит и не изменит. Он накинул легкую чесучовую куртку, отыскал толстую суковатую палку с тяжелым серебряным набалдашником и вышел. Несмотря на грузное тело и замедленность в движениях, он шел красиво; у него было много знакомых в городе, и приходилось то и дело раскланиваться и останавливаться; он поговорил со знакомым журналистом из ТАССа, затем ему встретился молодой художник Васильев, которого он считал талантливым и опекал. Васильев, кудрявый, нагловатый, в белой рубашке с закатанными рукавами и расстегнутым воротом, был, как всегда, навеселе, и это Николаю Кузьмичу не нравилось, и он простоял с Васильевым, против своего обыкновения, долго; он видел, что тому хотелось поскорее уйти, и в глазах у Николая Кузьмича стояла добрая, внимательная усмешка, он любил этого красивого, рослого парня, и его сильно тревожили слухи, что Васильев пьет.

— Так что, Володимир, праздник сегодня какой, что ли? — спросил он вскользь, как бы между прочим.

— Не припоминаю что-то, Николай Кузьмич,— весело сощурился Васильев, белозубо улыбаясь.— Так, ребята скинулись, студии-то рядом. У Кожина картину на выставку берут, вот и решили его расколоть.

— У Кожина? — нахмурился Николай Кузьмич, припоминая.— У него, разумеется, картины удобные, а я вот тебя третий раз в некотором возбуждении встречаю — и все по поводу чужих картин. Не слишком ли ты часто радуешься успехам друзей, Володимир?

— Да не-ет, не слишком, Николай Кузьмич,— Васильев лениво, обезоруживающе улыбнулся.— Грешно как-то не порадоваться... да к тому же жарища в студии, не про-

дохнешь, у меня натурщик два раза под душ бегал, этакий неспокойный тип попался, хлопот у нас теперь с этим народом, не уломаешь.

— Все это, конечно, хорошо,— Николай Кузьмич сердито переложил палку из одной руки в другую,— но, если привыкнуть, не заметишь, как втянешься, не ты первый... Смотри, Володимир,— сказал он, опять налегая по-старинному на «о», что явно указывало на его недовольство,— не втянись, я тебе однажды говорил, что тебе много дадено. Смотри не растеряй по закоулкам. Мало работаешь, Володимир, мало, мало,— повысил он голос, заранее пресекая любое возражение, и пошел дальше, и его белая величественная голова еще долго виднелась среди шумного, неспокойного потока людей, и Васильев, отойдя к краю тротуара, глядел ему вслед с восхищением, у него словно бы и хмель прошел, и уже не хотелось идти в парк, где его ждали; он послал вслед Юреньеву что-то вроде «старого хрыча», опустив голову, побрел обратно, еще в нерешительности, приостанавливаясь и оглядываясь назад.

Юреньев, добравшись до набережной, сел на прочную чугунную скамью, стоявшую в ряд с другими на краю обрыва, у реки, он еще тоже был хмур от встречи с Васильевым; солнце как раз только начинало садиться, и вокруг него со всего неба сошлись облака; они были неподвижны, и лишь солнце опускалось и опускалось, и снизу, с реки, слышался веселый гул голосов; там все пространство было усеяно обнаженными человеческими телами; и Юреньев опять почувствовал себя как бы отдельно от всего, что было вокруг него,— и от реки, и от солнца, и от этого напряженного человеческого многоголосья, и в нем опять шевельнулась глухая тоска: да, да, уже семьдесят шесть, и тридцать лет, как умерла жена, умерла в Москве, а в самом конце войны, в апреле сорок пятого, не стало и единственного сына; не успел обзавестись даже внуками, и жизнь как бы замкнулась в нем самом, в кабинетной тиши да бумажной пыли; осталась одна работа, письменный стол и каждодневная нескончаемая каторга, каждодневный урок, который он сам задавал себе, и сам выполнял, и мучился, если не успевал выполнить. И никто не знал этого и не хотел знать, никому в мире не было дела до его подвижнического сидения за столом иногда по десять — двенадцать часов непрерывно, и вот он сидит сейчас одиноко на скамье, еще не остывшей от дневного жара, и смотрит на человеческую

радость, на кипение человеческих тел в реке и, как никогда, понимает, что никому в мире нет дела до него. Потом он подумал, что хочет от людей слишком многого, достал из кармана куртки массивный серебряный портсигар и закурил. Солнце село, и пора было идти домой; в деревьях уже начинал копиться легкий сумрак, и стало заметно оживленнее; появилось много нарядной, шумной молодежи, недалеко заиграл оркестр, стал подниматься народ и от реки, и у киосков с водой и мороженым собрались очереди; поморщившись, Юреньев встал. Было почти десять, и он решил идти домой и пораньше лечь спать; еще с улицы заметив свет в окнах квартиры Екатерины Ивановны, он почему-то обрадовался, решил зайти к ней и заторопился; увидев перед собой Екатерину Ивановну с веничком в руках, поздоровался, повесил палку на знакомый крюк и, сразу чувствуя себя увереннее и свободнее, спросил:

— Я не очень поздно-то?

— Да нет, что вы, как раз хорошо. Наташи дома нет, а я одна. Проходите, у меня чай вскипел,— сказала Екатерина Ивановна, стряхивая с рук воду и вытираясь свеженакрахмаленным полотенцем и незаметно наблюдая, как он медлительно и подробно устраивается в кресле, придвигает стакан в массивном темном подстаканнике, хлеб с хрустящей корочкой и масло; она достала из холодильника и поставила на стол молоко, которое Юреньев всегда добавлял в чай.— А вы что же так по-молодому гуляете, Николай Кузьмич?

— Ну уж, матушка, прошли те времена, теперь это смутный, далекий сон. Садитесь, хватит вам топать. Давайте я за вами поухаживаю. Вам заварочки, как всегда, побольше?

— Сейчас, я за своей чашкой схожу,—сказала она, принесла чашку и блюдце и заодно уже мед с брусникой (она пила его от сердца) и села.

Юреньев налил ей чаю, спать совсем не хотелось, и, очевидно, опять будет бессонная ночь, но лучше об этом забыть пока; очень уж Екатерина Ивановна молчалива, и он действительно почти ничего не знает о ней, кроме того, что она работала машинисткой в исполкоме и до недавнего времени, пока глаза не стали подводить, брала работу на дом и перепечатывала на машинке рукописи и диссертации, он и сам знает, что печатает она безукоризненно. Вот она сидит перед ним, по-старомодному потягивая чай с

блюдечка спекшимися от лет губами, но щеки и лоб у нее почти без морщин, коротко остриженные жесткие волосы гладко зачесаны назад, и от этого лицо проступает резче, чем надо бы, и кисти рук чересчур худые, с обозначившимися венами. Юреньев неторопливо добавил в свой стакан кипятку, он любил очень горячий чай.

— Что это вы, Николай Кузьмич, так смотрите на меня? Или давно не видели? — спросила тем временем Екатерина Ивановна своим обычным спокойно-насмешливым голосом.— Ну, кончили урок?

— Кончил, кончил, сегодня работалось отлично,— слегка приподнимая нависшие брови, ответил Юреньев, хотя в этот день ему удалось далеко не все.— Работалось отлично, Екатерина Ивановна, да ведь как запустишь машину, не вдруг и остановишь, маховички-то вертятся, не заснуть.

— Погода меняется, Николай Кузьмич, вот вам и не спится, грозы будут, да и пора бы, все высохло. Вы лучше скажите, как Наташу находите?

— Да что же Наташа,— сказал Юреньев,— Наташа как Наташа, в порядке, умна и мила, хорошо мы с ней сегодня поработали, по-моему, она торопилась куда-то, убежала. Вы бы, Екатерина Ивановна,— глянул Юреньев из-под косматых бровей,— легче с ней, молодежь опеки не любит, вы легче бы на это дело смотрели; возможно, он-то, Владислав, и хороший человек... Что это с вами?

Екатерина Ивановна нервным движением отодвинула от себя чашку с блюдцем, встала и отошла к окну; Юреньев глядел на ее узкие, худые плечи.

— Ну, матушка, так нельзя, эмоции эти нам с вами противопоказаны, вы лучше брусничкн...

— Да что мне,— не сразу вздохнула Екатерина Ивановна, оставаясь неподвижной и глядя в окно, на неровный сквозь листья тополя свет фонаря.— О себе я, что ли, думаю, ведь несчастной будет с ним. Я это твердо знаю.

— Напрасно знаете. А вот ошибетесь — и горько будет.

— Знаю,— повторила Екатерина Ивановна мстительно.— Я в этом поклясться могу, может быть, вот только не доживу... Да и не хочу до этого дожить, лучше уж умереть.

— Не волнуйтесь вы так, Екатерина Ивановна,— сказал Юреньев с легким осуждением,— себя вспомните, или забыли совсем? Им ведь жить, они и видят друг в друге

больше нашего, что мы с вами уже и увидеть не в состоянии.

— Да что они там такого уж особого видят! — с сердцем сказала Екатерина Ивановна, возвращаясь к столу.— Я, Николай Кузьмич, не собираюсь вмешиваться да указывать, как поступать взрослым людям, это же глупо. Но высказать свое мнение я обязана, я ведь вижу, вижу, что он только потребитель в жизни и ничего больше, а она слепая, глухая, одурела совсем, вот выберу момент и скажу.

— А не будет ли это как раз и лишним? — спросил Юреньев, и Екатерина Ивановна, быстро взглянув на него, ничего не ответила.

— Ну и что же, что нам не так много осталось? — спросила она немного погодя с непонятной, быстро промелькнувшей усмешкой.— Человек-то как раз и живет для последнего момента, последний момент у него как раз и самый завершающий, самый откровенный.

Юреньев, закуривая, при ее последних словах задержал в пальцах горящую спичку и, подождав, пока она догорела до ногтей, аккуратно положил в пепельницу; Екатерина Ивановна словно высказала ему его же собственные мысли, и от этого ему стало неуютно.

— Екатерина Ивановна, голубушка, сколько же мы с вами знаем друг друга, а вот такое ощущение близости между нами, как сейчас, лишь однажды было. Помните, лет десять тому назад?

— Помню, как же,— подтвердила она, глядя в стол перед собой, и тотчас перевела разговор на другое: — Наташе было... сколько же это ей было?

— Вы знаете, я и сам из этого помню одни бантики. Ну, полно, утомил я вас своей болтовней, пора и по домам,— неуверенно начал Юреньев, втайне надеясь, что она не согласится с ним и оставит его еще посидеть.— Спасибо за чай, доброй ночи.

Екатерина Ивановна, задержавшись взглядом на его лице, наклонила голову, и он, помедлив, вышел. Был уже почти час ночи; Юреньев, не зажигая света, прошел на балкон и стал слушать, как затихают последние шумы города. Напротив в большом шестиэтажном доме светилось всего несколько окон; внизу проходили редкие пары, и девушки были больше в светлом; ночь после короткого дождя обрела несвойственные городу запахи и была какой-то пряной, душистой. Против Юреньева непрерывно шеле-

стела листва большого, в силе тополя; Юреньев помнил его гладкоствольным безлистным деревцем, и сейчас подумалось об этом, хорошо и покойно шелестело дерево. Взявшись за решетку балкона, Юреньев стоял и стоял, с каждой минутой утяжеленнее чувствуя свое большое, уставшее от долгого летнего дня тело. Все уйдет, и сам он уйдет, а вот такая ночь будет повторяться, и от этих мыслей на глазах против воли выступили слезы; он удивился, сморгнул их, отер со щек и, закрепив двери балкона открытыми, пошел к себе с твердым намерением лечь спать и ни о чем не думать; он приготовил постель, походил по квартире, везде открывая форточки и закрепляя их крючками; ветер усилился, занавеси вздувались пузырями и хлопали. Разумеется, этого только не хватало, сказал он и, покосившись на тумбочку у изголовья, где лежали отточенные карандаши и бумага (он иногда поднимался среди ночи и записывал прямо в темноте счастливо ударившую удачную мысль; к утру он их часто забывал, если не успевал или ленился записать сразу), с досадой и брезгливостью к своему телу надел пижаму, погасил свет и лег; сон не шел; чтобы отвлечься, он стал вспоминать время своей молодости и ничего связного не мог вспомнить, все были какие-то пестрые рваные куски. Он попытался представить себе Екатерину Ивановну в двадцать лет и тяжело вздохнул, потому что особенно ясно понял, что жизнь прошла. Ветер мягко бил в штору через открытую дверь балкона: все эти книги, холсты, иконы, толстые монографии — нереальный и зыбкий мир, словно пятна исчезающего света. Он вспомнил, какие бывают молодые, клейкие листья на деревьях после дождя и как хорошо пройти босиком по нагретой земле, по теплой, парной земле босиком; в груди появилось какое-то тянущее ощущение. Он с усмешкой вспомнил слова Екатерины Ивановны, что погода меняется, тяжело поднялся и пересел в старое, обтрепанное кресло, с которым не хотел да и не мог уже расстаться. В комнатах от ветра непрерывно слышались какие-то шорохи, и он в своем привычном надежном кресле сразу почувствовал себя уверенней и подумал, что в такие моменты нужно думать о чем-нибудь постороннем, о тех же мокрых листьях после дождя. Он вдруг стал вспоминать, как мальчиком принес в дом из сада растрепанного галчонка с поврежденным крылом и, стараясь остаться незамеченным, прошмыгнул с замиравшим сердцем в свою комнату, пряча находку под рубашкой,

и галчонок шевелился и царапал его ребра; это был теплый комочек, зависящий только от него, и это связало их, птицу и мальчика, и он весь остальной день кормил галчонка хлебом и мясом, и лишь под вечер его насильно увели гулять. Он сказал, что у него болит голова, и быстро вернулся, перед ним стояла мать со злым и брезгливым лицом.

— Я приказала это выбросить,— сказала она, морщась.— Какая гадость! Коля, ведь ты рук не вымыл.

И в нем точно что оборвалось, он не заплакал, лишь сильно побледнел и потом всегда помнил злое, какое-то чужое лицо матери; полностью он никогда не мог простить ей этого.

Юреньев и сейчас некрасиво поморщился; все было далеким, просто смешно вспоминать, каким важным это казалось. За мыслями прошло еще полчаса, и голоса на улице смолкли; выставив большой, неудобный живот, чтобы было легче двигаться, Юреньев тщательно оделся, натянул замшевую плотную куртку и, захватив палку, вышел. Лестница была длинная и пустынная и гулко отзывалась на каждый шаг. Юреньев осторожно, ощупывая в темноте палкой ступеньку за ступенькой, спускался, косясь на плотно закрытые двери. Они были так одинаково, так плотно закрыты, что казалось невероятным, что за ними дышат, спят, существуют люди. Юреньев с облегчением перевел дух, когда выбрался наконец наружу; улица была тоже пустынна, и в далеком небе едва различимой бледностью начинало проступать утро. Стараясь успокоить дыхание, Юреньев медленно, часто останавливаясь, шел по длинной, какой-то незнакомой в темноте улице, чувствуя в высоте над собою бесчисленные немые окна; тело от движения, особенно когда Юреньев преодолевал незнакомый небольшой подъем, сразу неприятно отсырело; во всем вокруг, несмотря на тишину, присутствовало беспокойство и напряжение.

«Погода, должно, меняется»,— опять вспомнился Юреньеву спокойный, насмешливый голос Екатерины Ивановны, и он с ожесточением, упрямо нащупывая в темноте палкой дорогу, останавливаясь только, чтобы отдышаться, шел дальше; камень, камень был кругом, камень под ногами, и деревья, стоявшие где-то рядом, лишь угадывались за железными оградами. Подумать только — заковать все в камень и асфальт, до земли не доберешься, деревья, как узники, дышат сквозь железные решетки, сбо-

ку ограда, снизу решетки, вот и зеленый друг человека. Юреньев споткнулся и с сердцем чертыхнулся, уличное освещение было выключено, и тьма, наполнявшая улицы до краев, до физического ощущения, казалась вязкой, забивала горло; что-то вот-вот должно было произойти. Юреньев подумал о своей последней работе, о большой монографии, в которой он хотел подвести своеобразный итог целой эпохе художественного поиска, подумал о предстоящей поездке на Волгу, но сейчас ему больше всего хотелось куда-нибудь в уединенное, забытое всеми место, туда, где бы в грачиных гнездах среди обнаженных ветвей струилась бесконечно сама Россия. Да, кажется, он писал нечто подобное о Саврасове. Или куда-нибудь на волжский плес, к бликам костра, на баржу.

Пристукивая палкой, Юреньев выбрался, наконец, на освещенные улицы. У гостиницы «Интурист» ему встретился милиционер. Это был первый живой житель земли, встреченный Юреньевым за эту ночь, милиционер проводил Юреньева долгим взглядом; милиционеру тоже было скучно и душно и хотелось спать, но до смены оставалось еще часа три, и он не мог, подобно Юреньеву, оставить свой пост и брести куда глаза глядят, не то он обязательно сделал бы это, уж очень неподвижная, душная выпала ночь: ни людей, ни машин на улице, и даже какая-то французская делегация, как стало известно в последний момент, запаздывала.

В ту минуту, когда в воздухе прошло первое, слабое шевеление и тихий, еле слышный далекий гул, так и не развившись ясно, упал на землю, Юреньев был у самой реки: он поднял голову, прислушиваясь, но тотчас подумал, что ему померещилось; сразу же громыхнуло порезче и словно в другой стороне, и опять в воздухе вокруг него произошло неуловимое движение; он нашел скамью с высокой спинкой, у самой границы пляжа и парка под деревом и сел: ему уже не приходилось с трудом проталкивать в себя воздух, дыхание установилось, и его ночное беспокойство начинало отступать и рассеиваться. Юреньев различил слабый плеск воды о берег; так же стояла темень, но теперь что-то живое и освежающее пронизывало ее, и листья на дереве принимались шелестеть порывами; Юреньев заметил, что одна сторона неба как бы посветлела, другая, непроницаемая и черная, словно придвинулась к самой земле, с рекой, деревьями и городом. Домой бы надо,

подумал он в странном, приподнятом оцепенении и увидел длинный, глубокий, извилистый росчерк молнии от самой середины неба к краю земли; ему даже показалось, что он увидел противоположный берег реки, вырванный из тьмы, какой-то ослепительно мелькнувший домишко на нем, плавучую пристань, и вода в реке ответно вспыхнула. Раскат грома упал сверху, и Юреньев почувствовал ногами, как дрогнула земля, и сразу ударил ветер, ударил как-то низом, косо по реке и берегу, по деревьям парка, и они задвигались, и в минутной паузе вслед за тем, заполненной щемящим и веселым стоном, еще была какая-то разрядка, но небо тотчас вспыхнуло сразу в нескольких местах: ничего не видя, с каким-то неосознанным восторгом, Юреньев нашарил рукой палку и встал; нужно было уходить, искать какую-то защиту, он вспомнил, что рядом где-то должна быть детская площадка с пятнастыми гигантскими грибами и полосатыми лошадками и утятами, кажется, нужно было чуть подняться и взять влево, к липам. Он тотчас почувствовал их медвяный пыльный запах и пошел на него, подталкиваемый ветром в спину. Он не удержался от искушения остановиться и оглянуться назад и скорее не увидел, а представил себе закипевшую воду; удивительный, живой, радостный грохот стоял над рекой, и ему в лицо ударила крупная, как лесной орех, капля дождя, ударила и рассыпалась, он невольно вздрогнул от неожиданности, засмеялся и, чувствуя свое помолодевшее тело, почти побежал в этой лавине возбужденного воздуха, грома, стона, учащавшихся шлепков крупного косого дождя; наткнулся на какую-то ограду, грузно перелез через нее и при очередной небесной вспышке увидел неподалеку возвышающуюся детскую площадку с карнизом и, пригнувшись, протиснулся в нее.

— Уф, какая оказия,— сказал он, с удовольствием нащупывая в темноте нечто вроде сиденья и устраиваясь на нем лицом к парку и реке; в крышу и стены площадки звучно, в один непрерывный тон, сек дождь, и прохладная водная пыль долетала до Юреньева; жутковато-мертвенные вспышки в тучах заливали пространство пронзительным, неестественным светом, по крайней мере Юреньев ясно различил пролетавшую мимо не то маленькую мушку, не то иное какое насекомое; в воздухе стоял гул, а по асфальтированным дорожкам и площадкам бежала плотным потоком вода. Юреньеву казалось, что он еще никогда не

видел и не чувствовал такого утомительного, сверхмерного буйства природы, вокруг него словно рушился и вновь создавался мир, и в изменившейся мгле явственнее ощущалось приближение рассвета; после особенно оглушительного раската грома, вызвавшего долгий томительный звон в ушах, где-то совсем рядом послышалось испуганное воробьиное чириканье; по ногам у Юреньева шла вода, и он неловко подтянул их выше, на скамейку, он подумал, что это очень хорошо, вот прихватило его дождем — и ничего, сидит себе, дрожит от холода, а час назад собирался умирать, подумал он с легкой усмешкой.

Гроза в коротких, слабевших вспышках освещала город уже издалека, и промытый, пропущенный через ее чистилище воздух был свеж и резок. Стали слышаться привычные, успокаивающие звуки: скрипело дерево, где-то тихонько журчала вода, и гудок катера негромко прорезался от реки; начинало светать, и, если бы не боязнь простуды, можно бы остаться, поглядеть, наверное, красиво будет после грозы-то, да ведь и когда еще выберешься солнце в самом начале дня увидеть...

2

После того как Юреньев ушел, Екатерина Ивановна придвинула к окну тяжелый стул и села. Было поздно, и город затих, и только слышался неясный шорох листьев. Екатерина Ивановна, вспоминая разговор с Юреньевым, вздохнула; вероятно, он прав, и старость уже не в состоянии понять молодых, ведь в жизни что ни год, то какие-нибудь перемены, и молодые, конечно, вживаются и воспринимают острее, ну, им и карты в руки, как говорится. Она потерла уголком платка подтек на окне,— вот окна давно пора вымыть, Наташе сейчас не до окон, придется повременить, самой не справиться. Она заворочалась на стуле и, пересилив себя, вышла в коридор, где было прохладно и тесно от вещей, здесь же стояли банки с соленьями и консервированными ягодами.

Подойдя к двери в комнату Наташи, Екатерина Ивановна прислушалась, потом тихонько притронулась к прохладной ручке, и дверь подалась. Конечно, ее нет дома, подумала Екатерина Ивановна, два часа ночи, а ее еще нет, и, вероятно, она опять останется у этого Славы и что-нибудь придумает про ночную срочную диктовку (Наташа

работала в ТАССе стенографисткой), а ведь слепому ясно, что он не любит ее, иначе давно бы кончилась эта тягостная история. Но ведь все равно Наташа не послушается и Юреньева не послушает.

Пусто было в коридоре, и Екатерина Ивановна вернулась к себе и легла, хотя знала, что до прихода Наташи ей не уснуть, но сон сморил ее, она и во сне прислушивалась, и ей показалось в один момент, что раздался приглушенный мужской смех, очень знакомый, и кто-то сказал о дожде, и она во сне же стала возмущаться и тяжело забылась.

Утром в девятом часу она проснулась с непривычным, самое ее испугавшим чувством пустоты: как будто она одна осталась на свете; первое время она лежала не шевелясь, глядя в потолок и на неровно выбеленные стены, затем решительно встала, умылась холодной водой до пояса, насухо крепко вытерлась жестким полотенцем и прошла на кухню. В сущности, этого Владислава она действительно совсем не знает, даже не поговорила с ним ни разу обстоятельно и серьезно и, подчинившись самому первому ощущению неприязни, так и шла по течению, не пытаясь глубже разобраться. «А если Наташа права? — спросила Екатерина Ивановна себя.— Ведь любит она его за что-то, и, значит, есть у нее на то свои причины».

И, хотя Екатерина Ивановна не могла задавить в себе прежнее, старое чувство враждебности и неприязни, и сейчас мешавшее ей, она решила сходить к Кондратьеву и поговорить, посмотреть, как он живет и что его окружает, и даже обрадовалась своему решению, зная, что теперь не отступится. Она не стала ничего говорить Наташе и была с утра с ней ласковой и ироничной, как в прежние годы согласия и понимания между ними, чем удивила и озадачила дочь, затем ближе к вечеру собралась тщательнее обычного, захватила сумку и ушла, сказав, что пойдет купить зелени и подышать воздухом у реки, так как после грозы опять стало парить. Солнце светило по-летнему сильно и жарко; там, где на землю еще не успел лечь асфальт, встречались большие свежие промоины; она слышала оживленные разговоры людей о ночной грозе, думала о Наташе и о ее отношениях с Владиславом и пыталась найти веские и спокойные слова для объяснения своего прихода. Остановившись перед обитой черным дерматином дверью, она подумала, что его может и не быть дома, и испугалась такой мысли; она почувствовала, что вторично на такой подвиг

вряд ли будет способна, и торопливо, рывком, нажала кнопку звонка; увидев Кондратьева перед собой в удобной домашней куртке с широкими красивыми шнурами, свежего, чистого, с влажно зачесанными волосами, Екатерина Ивановна сразу успокоилась. В его небольших серых глазах появилось холодное вежливое удивление, и она, поздоровавшись кивком, сказала негромко «простите» и прошла мимо него с отчужденным, строгим выражением лица, словно говоря, что ей и самой неприятно было приходить, но она пришла, и ничего не поделаешь, придется потерпеть. Он понял это и, затворив дверь, повернулся к ней, не скрывая, что и ему ее приход неприятен и странен, и молча глядел, ожидая.

— Я к вам, Владислав Андреевич,— сказала она,— мне поговорить с вами надобно.

Он опять промолчал, вежливо приподняв одну бровь, как бы говоря, что ничего хорошего от предстоящего разговора не ожидает, и сложил руки крестом на груди, и в этом жесте невольно проглянула его досада к неожиданной посетительнице; и он, все больше ожесточаясь внутренне и против нее и против себя, придвинул ей кресло:

— Садитесь, Екатерина Ивановна, слушаю вас.

Она сняла с шеи шелковый шарф, осторожно положила его на край стола; комната была большая, и мебель хорошая: черный полированный диван-кровать, большой, дорогой телевизор, два книжных шкафа, мягкие, в тон остальному, стулья с высокими спинками. Почти весь пол комнаты покрывал, очевидно, недорогой, почти совершенно новый ковер неярких, спокойных тонов, но в самой комнате присутствовало что-то неуловимо холостяцкое, мужское; Екатерине Ивановне бросились в глаза бутылки с минеральной водой, аккуратно сложенные под книжным шкафом, шкаф был тоже новый, современной формы, на высоких ножках (наверное, неустойчивый, подумала Екатерина Ивановна). У окна она увидела большую круглую гирю, воздух в комнате был чистый, хорошо проветренный; Екатерина Ивановна почему-то вспомнила, что ни в прихожей, ни в комнате не видела зеркала, и как-то совсем неожиданно пожалела человека, с которым ей предстоял тяжелый, неприятный разговор.

— Вы знаете, Владислав Андреевич, меня,— сказала она,— и вы знаете, зачем я у вас, слава богу, как говорят, нам с вами хитрить друг с другом нечего. Я о Наташе хочу

с вами поговорить. Разумеется,— слегка повысила она голос, уловив с его стороны нетерпеливое движение,— вы можете мне сказать, что это не мое дело, но я обязана, понимаете, обязана.

— Я пока ничего не говорю,— спокойно ответил Кондратьев, закуривая и рукой разгоняя дым.— Вы разрешите? Продолжайте, пожалуйста.

— Да что же продолжать, Владислав Андреевич, у меня к вам один вопрос. Скажите мне честно, какие у вас все-таки намерения насчет Наташи? Ведь вы три года знакомы, пора прийти к чему-то определенному. Да, Владислав Андреевич, к определенному. По каким-то причинам для вас это трудный шаг, я допускаю, но ведь это судьба и другого человека, вы забудьте на минутку о себе, Владислав Андреевич, и подумайте о другом, о ней, о Наташе, подумайте. Вы мужчина, как это уж повелось, к вам не прилипнет, она — девушка, только жить начинает, зачем же в самом начале этот вывих, дорогой товарищ Слава?

— Вывих... ну почему же вывих? — слегка поморщился Кондратьев от неожиданной фамильярности.— Да и потом я не понимаю, как вы, поживший уже, простите, человек, не понимаете, что это сложно, мы — взрослые люди...

— Вот я потому больше и пришла,— сказала Екатерина Ивановна, пристально глядя на него.— Вас я хотела бы понять, Владислав Андреевич, через Наташу вы и в мою жизнь вошли. Что же мне делать с этим беспокойством?

У нее был напряженный, пристальный взгляд, и Кондратьев, слушавший вначале с иронически-небрежным выражением лица, в какой-то момент невольно смутился и, чтобы не показать этого, пружинисто прошелся по комнате.

— Простите, Екатерина Ивановна, может быть, кофейку выпьем, у меня как раз сварен.

За то время, пока он был на кухне, разливал кофе и доставал из шкафчика галеты и сахар, намеренно задерживаясь при этом, он пытался сориентироваться, как ему дальше держаться с неожиданной гостьей. Можно было просто сказать, что это не ее дело, и указать на дверь, но это было бы слабостью с его стороны, трусостью. Можно было откровенно и открыто обо всем поговорить, но и это неприемлемо, он был не готов к такому разговору; может быть, только сейчас он увидел себя и свою жизнь с какой-то иной стороны; он словно вышагнул из себя и оглянулся;

ну, конечно, я люблю ее, сказал он с недоумением неожиданного открытия, имея в виду Наташу, но это не значит вовсе, что я должен взять вот так вдруг, сразу, и жениться. Конечно, со временем очень может быть, когда мы больше узнаем друг друга, узнаем получше взаимные склонности, привычки, могут же у нас быть, у каждого, свои склонности, привычки, странности, наконец! И так вдруг взять и от всего отказаться и перестать распоряжаться собою. И вообще, к чему все менять? Ах, да, Наташа, ее положение, вспомнил он и тут же сказал себе, что это относительно, многие девушки из его управления охотно поменялись бы с нею и предпочли бы неопределенность ее положения своему одиночеству.

Он поправил красивые волосы (никелированный кофейник сильно искажал его отражение) и выключил газ. Нужно дать теперь кофе настояться, у Наташи кофе почему-то всегда успевает закипеть и перекипеть и превратиться в пойло. Вот вам первое несоответствие привычек. Наташа к кофе равнодушна, эта ее привычка запивать пищу водой из-под крана. Екатерина Ивановна, конечно, все забыла по старости, да и время их было не то; он вспомнил портрет, висящий в комнате Екатерины Ивановны над кроватью: молодое, строгое лицо, концы башлыка закинуты за плечи. Д-да... безжалостная штука время... Ей определенности хочется, она о том и не подозревает, что именно в неопределенности как раз и заключается весь смысл; да, да, как раз в этом и есть некое убежище от однообразия работы, которая не нравилась, пусть хоть какая-нибудь новизна проблеснет, что-то за нервы заденет, глядишь, и отпустит, поволнуешься, посердишься. И сама Наташа ведь никогда ни о чем определенном не говорила, и она, очевидно, находит их отношения вполне естественными. В конце концов, это только их дело и никого больше не касается. Ни друзей, ни матерей с отцами; пожалуй, недаром Наташа последнее время избегает разговоров о свой матери, с такой поневоле запоешь лазаря, она жизнь хочет по своему подобию устроить, ведь, насколько ему известно, у самой-то мужа так и не случилось за всю жизнь, если бы не взяла Наташу из детдома, так бы и жила одна в четырех стенах, а еще туда же, советы давать...

Это было, конечно, слабое утешение, и он сам это понимал, но вышел к Екатерине Ивановне более уверенный, и даже походка стала у него другой, резкой и словно бы

немного скользящей; он поставил на столик чашки с кофе, сахар и галеты; Екатерина Ивановна пробормотала что-то неразборчивое, не то отказывалась от угощения, не то благодарила; ей хотелось выпить немного крепкого, свежего кофе, но она удержалась.

— Вот кизиловое варенье,— сказал Кондратьев,— пробуйте, домашнее...

— Сами варили?

— Не совсем так,— улыбнулся Кондратьев,— да ведь приходится беречься.— Он с трудом сдерживал раздражение.— Пищеварение — дело сугубо индивидуальное, я ведь часто езжу в командировки. Отравы этой, знаете, общепитовской напробуешься в разъездах, поневоле варить сам выучишься. Вот и запасаюсь, везу отовсюду понемногу — грибки из Брянска, рыбу из Владивостока. Да вот не хотите ли кеты семужного посола? — почти дружелюбно сказал Кондратьев.— Россия от этого не обеднеет.

— Ну зачем же от имени России по таким пустякам? — пожала плечами Екатерина Ивановна, глядя на него изучающе и слегка свысока; Кондратьеву в продолжение всего разговора потом приходилось бороться с ощущением ее снисходительного превосходства, и это странное, нелестное для него неравенство тяготило его, и раздражало, и делало в разговоре неуступчивым и даже неумным.

— Я, Владислав Андреевич,— сказала между тем Екатерина Ивановна,— понимаю, что гостья у вас нежеланная, даже того больше — неприятная. И если по современным нормам, то меня хоть сейчас за дверь, да и сама понимаю, нельзя было к вам приходить. Наташе не в пользу, и мне одна бессонница потом. Но Наташа — единственное, что осталось у меня в жизни. Я бы закрыла глаза, отвернулась, если бы видела, что иного пути и нет, да ведь я, Владислав Андреевич, не вижу так. Я уверена, что Наташа должна пройти в жизни свой трудный, но, заметьте себе, человеческий путь, если бы не вы, она бы еще в прошлом году могла институт кончить... нет, нет, подождите, я знаю, о чем вы сейчас говорить станете,— о женщине, об извечных законах природы и о всякой подобной чепухе, всем нам въевшейся в душу...

Кондратьев, слушавший вначале с недоверием и предубеждением, почувствовал удивление. Екатерина Ивановна всегда была для него темной, закрытой дверью; приходя к Наташе, он встречался с ней мимоходом, больше

в коридоре, она запомнилась ему безликой фигурой в темном, от которой исходило непонятное к нему ожесточение, и Наташа при виде ее как-то сжималась, уходила в себя. Он и сейчас не отказывался от этого своего мнения об Екатерине Ивановне, но он не знал, что она умеет говорить, и хорошо говорить. Первым его чувством было удивление, он слушал Екатерину Ивановну с повышенным вниманием, и ему пришла мысль, что должна была быть какая-то причина, заставившая ее относиться к нему именно так, как она относилась. Ну что же, она права в главном, подумал Кондратьев, он бы и сейчас не мог, если бы встала необходимость решать, высказаться прямо и определенно, так ведь старуха и сама не хочет, чтобы он стал мужем Наташи, это ведь и невооруженным глазом видно; он задумался и даже слегка вздрогнул, когда опять раздался негромкий, спокойный голос Екатерины Ивановны.

— Я вижу, Владислав Андреевич, вам ответить мне сразу трудно,— сказала она.— Так вы другое скажите. Вот вы говорите, много ездите, ваша работа такая... Вы мне скажите, чего же вы хотите от жизни?

Захваченный врасплох, он прошелся по комнате; вопрос был нелеп и как-то старомоден, и он бы мог ничего не отвечать, но что-то ему мешало сделать это, и от неприятного, опять появившегося раздражения ему захотелось высказать Екатерине Ивановне то, что бы он никому больше не сказал.

— Вы зря усмехаетесь,— нахмурился он, нервно поджимая красивые, еще не утратившие молодой припухлости губы.— Конечно, с вашей башни в сто лет все легко и просто, встретил девушку, проводил ее — значит, изволь женись, окончил институт, получил диплом — будь прилежным гражданином, ищи подвига, карабкайся вверх, лети в космос,— одним словом, прославляй! А что прославлять-то, если я всего лишь заурядный инженер по комплектованию, следовательно, мотаюсь по Союзу, иногда тебя стащат и в час и в два ночи, и ты мчишься на аэродром. Зарплата у меня сто сорок, и я, великий экономист, приобрел это дерево и пластмассу в эту коробку, которая мне досталась далеко-о не просто,— он обвел чуждым взглядом свое жилище, как бы недоумевая, и в этот момент лицо его было красивым, почти вдохновенным.— Я, собственно, еще не жил, только собираюсь. У меня вон отец в Ростове до сих пор простым слесарем вкалывает, ну, садик

у него, огородик, мать на зиму капусту запасает — и довольны. А я радиоинститут окончил, своим горбом всего добиваюсь,— он выделил слово «горбом» с какой-то грубой и презрительной интонацией, и Екатерина Ивановна отметила это про себя,— я шел в мир, где для меня ничего запретного нет, дороги открыты, выбирай любую, все легко и доступно. Лишь благодаря собственному упорству,— хлопнул он себя по шее,— я высидел институт, тянулся из последних сил, а свою звезду не зажег. Нет бы на заводе у отца остаться, продолжить «династию», вот мои настоящие горизонты, рабочая династия Кондратьевых,— звучит? В нас воспитали презрение к станку, к плугу и к земле, нам твердят о высотах, о подвигах, в нас еще с пеленок начинают подогревать честолюбие Папанины, Расковы, Терешковы,— и вот результат налицо: кто мы? Воинствующая серость, клерки с нимбом вокруг головы. А извилин маловато, никаких особых идей, нечем себя оправдать не только в общегосударственных масштабах, а так, и для себя нечем... Вот дилемма! Сидит, переписывает бумаги, жрет чужой, по существу, хлеб, а в мазут, к железу он не пойдет, он институт окончил, он инженер, ему надо за звезду зацепиться, не иначе. А у нас директор в отчаянии, пятисот рабочих не хватает, за одного плохонького токаря двух инженеров отдает с закрытыми глазами. И это где, в самой густонаселенной части России, дорогая Екатерина Ивановна. Он бы и меня, и другого, мне подобного, с удовольствием к станку поставил, да ведь не пойдем, мы за свое крепко держимся, можем и диссертацию из пальца высосать, и таких, как я, много, я далеко не исключение, кажется, даже наоборот. Разумеется, я понимаю, все не просто, может, даже оправдано. Ведь любой, родившись, должен вершин своих достичь, огни там зажечь...

Заметив откровенную усмешку Екатерины Ивановны, он смолк.

— Очень вы вдохновенно говорите,— сокрушенно вздохнула она.— Да ведь дело только в вас самом. Никто вас, как я понимаю, не неволил идти в инженеры, могли бы и свою династию продолжать. А я вот знаю очень и очень крупных ученых, и тоже из самых обыкновенных рабочих семей, это уж у каждого от способностей зависит, от таланта.

— Общие фразы,— недовольно сказал Кондратьев и опять прошелся по комнате, чувствуя облегчительную пу-

стоту после неожиданной вспышки; как раз в окно светило солнце, и комната была в ярких, густых пятнах; с восьмого этажа хорошо был виден город, плоские и ребристые крыши расстилались в трудно уловимом порядке во все стороны, и кое-где тревожными зелеными прослойками прорезывалась среди них зелень, смягчая это безмерное торжество железа и камня. Тот же сгущенный свет лежал на городе, и в обрывах среди него угадывались пропасти, заполненные великим множеством людей... Он, спохватившись, обернулся к гостье с улыбкой, которой одаривают в хорошие минуты детей, и увидел, что Екатерина Ивановна стоит, набросив на голову шелковый шарф.

— Вы уходите? — спросил он, подходя к столу, где стоял нетронутый кофе и стеклянное блюдечко с вареньем.

— Да, благодарю вас за беседу,— сказала она, глядя мимо, и ее лицо ничего, кроме усталости, не выражало.— Время, надо идти.

— Но ведь вы хотели поговорить о нас с Наташей,— напомнил он, сам не понимая зачем; вероятно, потому, что победа и здесь ускользала и ему, разгоряченному своими мыслями, не хотелось оставаться одному.

— Вы уже все сказали.— Екатерина Ивановна опустила руки, потянулась за сумкой.— И очень хорошо, что сказали откровенно. Только знаете, Слава... можно мне вас так называть?

— Называйте, пожалуйста.

— Вот, Слава, вы тут передо мной выкладывались, и со стороны себя слушали, и умилялись, и рукоплесканий ждали, и болячки свои солью посыпали... А знаете, почему? Модно у нас стало последнее время болячки свои за боль всего человечества выдавать. Человечеству простительно... авось кто на бедность и подаст. Только зря это, не подаст, не ждите. И знаете, Владислав Андреевич, если вы честный человек, не ломайте Наташе жизнь. Она еще молода и станет на ноги, а с вами рядом она завянет. Ведь вы из яйца-то еще сами не успели проклюнуться, куда вам торопиться? Я понимаю, что сделать ничего не могу, да и не хочу теперь. Просто прошу, обождите, подумайте.

Екатерина Ивановна тихонько шла мимо домов, машин и людей и никак не могла успокоиться и разобраться в случившемся; пожалуй, он просто хотел напугать меня,

подумала она, молодые не любят чужого вмешательства в свои дела, вот его и занесло, и, странное дело, Екатерина Ивановна не чувствовала прежней злости и недоброжелательства к Кондратьеву; случилось нечто странное, он совсем по-мальчишески хотел напугать ее и стал гораздо ближе и понятнее; все-таки он говорил с ней очень откровенно, а уж совершенно испорченный человек на это неспособен. И не такой он, вероятно, без руля и без ветрил, знает, чего хочет. А то, что он недовольством бурлит, так это оттого, что он слишком многого хочет и пока этого никак не может достичь, вот и объяснение, да уж тут он не виноват, так в жизни всегда: кто дальше успевает уйти, а кто только вслед другим поспешает. Она даже не удивилась, когда услышала за спиной его голос; Кондратьев догнал ее и пошел рядом, тяжело переводя дыхание, некоторое время не решаясь начать разговор, и она сама помогла ему, спросив, в какой стороне отсюда находится базар, и Кондратьев, всегда одетый тщательно, теперь расстроенный, с расстегнутым воротом пестрой, в кубиках, безрукавки, просто и подробно объяснил. Некоторое время они опять шли молча, потом Кондратьев, боком глядя на нее, сказал:

— Я вас хотел просить, Екатерина Ивановна, я вас прошу, не пугайте Наташу. Я вас очень прошу,— добавил он громче, и прежние властные нотки прозвучали в его голосе.

Екатерина Ивановна молча наклонила голову; в этот момент мимо них прокатила большая грузовая машина, обдав горячей бензиновой гарью, и в кузове у нее что-то отчаянно перекатывалось и грохотало.

— Зачем же мне пугать,— Екатерина Ивановна поморщилась на грохот,— я не затем приходила. Да вас и не испугаешь, пожалуй. А что касается Наташи, пусть сама решает.

— Душно очень,— сказал Кондратьев, останавливаясь, и она еще долго чувствовала на себе его взгляд, и ей казалось, что она несколько медлит, что каждый шаг ей труден и оттого, очевидно, она выглядит со стороны довольно нелепо.

Екатерина Ивановна с облегчением свернула в переулок, ведущий к рынку, и почувствовала себя свободнее; сразу и люди вокруг как-то изменились, стали проще, было больше женщин, и разговаривали они громко, без стесне-

ния, ругали торговцев и делились друг с другом своими делами и заботами. В одном месте две молодые цыганки в длинных, широких юбках и в платках с длинной бахромой наперебой предлагали проходящим погадать, и тех, кто соглашался, тут же уводили за соседний киоск, и там торопливо что-то наговаривали вполголоса. Екатерина Ивановна, движимая каким-то минутным чувством, заглянула за киоск и некоторое время смотрела на смуглое, гладкое лицо молодой цыганки с черными блестящими глазами. Как это, наверное, хорошо, подумала Екатерина Ивановна, придумывать разные небылицы, что-то предсказывать и обещать; а ведь эта дурочка, кажется, верит, стоит и моргает, и по лицу видно, до чего ей хорошо и радостно. И деньги заплатит, так и есть, целый рубль дает, ну вот, нагадала ей счастья на целый рубль, и обе довольны.

Цыганка, скользнув глазами по лицу Екатерины Ивановны, торопливо сунула деньги в карман грязной юбки и заученно, бесстрастно предложила, заранее уверенная в отказе:

— Давай, бабушка, погадаю. Позолоти ручку, дорогая, серебряная, все тебе скажу.

Засмеявшись, Екатерина Ивановна пошла дальше; рынок был светлый, просторный и крытый, его только в прошлом году закончили, и Екатерине Ивановне было приятно войти внутрь огромного помещения и пройтись вдоль длинных чистых рядов, заваленных всевозможной зеленью, овощами, мясом, тут же молоко, мед, яйца. Местные крестьяне торговали зеленым луком и молодой редиской в пучках; грузины сидели перед золотистыми грудами мандаринов и темно-красными, привядшими от времени гранатами; у них было много разной травы, и пахла она одуряюще остро, так что голова начинала кружиться. Под высокой стеклянной крышей стоял сдержанный деловитый гул и летали воробьи и голуби; Екатерина Ивановна прошлась по молочному ряду, там же продавалось и свиное сало, выложенное самой выгодной своей стороной, той, где случались розовато-темные прослойки мяса; высокий морщинистый старик доставал большой деревянной ложкой затвердевший мед из бидона и выкладывал его на блюдо; мед был желтовато-бледный, с каким-то глубоким внутренним отсветом, и над ним кружились пчелы. Неприятный разговор с Кондратьевым и чувство вины перед

Наташей как-то отошли в сторону; щедрое, многоцветное богатство было перед нею, и от этого как-то не так чувствовалась собственная старость; Екатерина Ивановна купила молодой картошки, луку, редиски, молодого укропу, всего по два пучка (она взяла зелени и для Юреньева), затем подумала и купила огурцов и три небольших помидора к салату; кусаются-то денежки, подумала она, ссыпая в кошелек сдачу и еще медля уходить: надо бы Николаю Кузьмичу меду захватить, он с чаем любит, да денег больше ни рубля не осталось, придется в другой раз купить. Хорошо бы, конечно, и пару стаканов фасоли взять для супа, но можно и обойтись; ладно, решила она, довольно на сегодня. Еще ведь надо будет хлеба взять, молока, квасу на окрошку — и без того на сегодня большой перерасход.

В мыслях о еде и предстоящем обеде Екатерина Ивановна разрумянилась и даже помолодела и легко несла тяжелую сумку со снедью.

3

Екатерина Ивановна жила с Юреньевым в одном доме и в одном подъезде уже много лет; одна из комнат его квартиры, кабинет, находилась как раз над ее жильем, и по ночам она слышала легкое сотрясение потолка под его грузными шагами. И хозяйственные сооружения были у них от одних магистралей, и если наверху пользовались ванной или уборной, было отлично слышно,— дома теперь строили жиденькими, наскоро, и порой Екатерине Ивановне казалось, что она у всех на виду, и тогда она старательно подтыкала под себя одеяло или простыню, смотря по времени года, и лежала, уставившись в темный потолок. У Юреньева часто бывали люди, много людей,— приходила молодежь, слушали музыку и даже танцевали; ей казалось, что пора бы ему, старому человеку, жить потише, и она иногда говорила ему об этом. И он не сердился, опять погружаясь в свои бумаги и книги, и она по привычке и необходимости прощала ему; она дорожила их отношениями и по возможности старалась быть полезной, все-таки и сама раньше печатала ему, да и Наташа теперь немало у него зарабатывала, и лишаться этого было нельзя. Юреньев Николай Кузьмич был уважаемый в городе че-

ловек, о нем много говорили, но для него самого за давностью времени прошедшее утратило остроту и стерлось, ведь человек смотрит иначе на дорогу, которую уже прошел, чем на ту, которая лежит перед ним. Юреньеву исполнилось семьдесят шесть, семидесятипятилетие его широко отмечали в городе и в печати, и он ничего не боялся — ни своих настоящих грехов, ни прошлых, если они, на чей-либо взгляд, были, он даже как-то ребячливо гордился ими, и здесь ощущалась зависть к людям моложе себя, даже шестидесятилетним; обращаясь к ним, он подчеркнуто говорил «молодой человек».

В жизни у Юреньева было все: до убийства в Сараеве он успел окончить университет и даже проехаться по Европе, побывать в Риме и Париже; были у него известность, деньги, независимость. Если ему приходилось бывать в Москве (а ездил он туда довольно часто), он, огромный, тяжело дыша, любил ходить, стуча палкой, по ее улицам и переулкам, отыскивать в новом то старое, что знал и любил, и, не находя, мрачнел и замыкался в себе и только спустя некоторое время оттаивал и делился своей горечью с Екатериной Ивановной.

Из его же рассказов она знала, что он всякий раз подолгу стоял у одного дома на Тверском, дом ничуть не изменился, тот же старый, потемневший кирпич. Сюда он бегал безусым студентом, здесь жила его дальняя родственница, какая-то троюродная тетка, но он ходил сюда не из-за тетки, а из-за племянницы, это была первая женщина в его жизни, и звали ее Верой, ей было лет шестнадцать. И потом у него были женщины, но никого он не помнил так, как ее; вскоре тогда все смешалось в России, и они потеряли друг друга.

Екатерина Ивановна знала странности Юреньева, он с трудом, например, переносил безделье и праздники и каждый раз, едва проводив гостей, брался за работу; если дело не шло, отправлялся бродить по городу, его узнавали, кланялись, и он, постукивая тяжелой палкой, шел, пристально всматриваясь в текучие людские толпы, но, пожалуй, больше всего он любил слушать, у него был редкий талант слушать, и потому, однажды познакомившись с ним, его не забывали, он, словно ровный огонь, тянул к себе, в нем жила большая, никогда не иссякаемая радость узнавания нового, и это чувствовалось всеми, кто хоть однажды побывал у него и поговорил с ним, и Екатерина

Ивановна немного завидовала ему и гордилась этим его качеством. Одни считали его мудрецом, другие — чудаком, который ничего, кроме своих работ, не понимает, и не знает, и знать не хочет. Когда речь касалась атомных проблем или какого-нибудь чуда кибернетики, он хмурился, хмыкал и откровенно разводил руками. «Не понимаю, не понимаю,— любил говорить он.— Теперешняя изощренность цивилизации и разные развития в науках естественное в человеке приглушают, сглаживают, от этого и пороков больше, они в самую глубину уходят, перерождают нормальные человеческие клетки. Скоро машины начнут делать детей, куда все-таки идет мир? Человек как придаток к машине — и ничего больше? Простите, мой век был лучше. Я знал одну актрису, которая за сорок лет на сцене играла одну лишь роль, у нее было две странички текста, но всякий раз после спектакля, выходя к публике, она считала свою жизнь удавшейся. Сейчас ее сочли бы сумасшедшей, да, время сантиментов прошло, люди разучились быть безрассудными. Куда все-таки идет мир?» И, стуча палкой, Юреньев уходил, оставляя собеседника в недоумении; да и сам он в таких случаях казался расстроенным, словно хотел понять свои же слова и не мог, но было заметно, что он больше тянется к молодежи, в общении с нею он словно искал и проверял какие-то свои, спорные истины.

Квартиру Юреньев занимал просторную — в три комнаты, которые были сплошь увешаны старыми иконами и картинами; к нему, несмотря на то что жил он в заштатном областном городе, часто приезжали делегации, случалось — и из-за границы. Под старость, после смерти жены и сына, он уехал из Москвы, выбрал город, в котором когда-то родился, ему это было нужно, чтобы жить еще; а жить ему хотелось и хотелось понять, что же происходит в жизни и куда идет время. Революция застала его сложившимся человеком, и ему пришлось долго и трудно бороться с собой, чтобы постигнуть и принять смысл всяческих перемен; одно время он видел спасение в квадрате Кандинского и в древней философии индусов; вдруг какая-то связь возникла между этими двумя явлениями; бесстрастный, голый экран и ты, представитель столь густо заселенного мира, но всегда один, всегда в себе, потому что борьба духа и материи важна только в тебе самом, а квадрат, как всегда, ничего не улавливает и не отражает.

А потом оказалось, что это даже ему самому ненужная галиматья, истина о жизни была необозримо шире, чем свое собственное «я», пусть самой высшей концентрации. И был тот поворот, когда душевные тиски как бы сами собой разжимаются, и были десятилетия трудной и радостной работы, и были, разумеется, провалы, и потом уже, перешагнув через удачи и потери, через славу, он опять выпустил из рук ту нить, тот настрой, по которому шел многие годы, и, только оглядываясь и начиная мучительно вдумываться, он различал что-то нужное и дорогое. Да, да, но оно так и должно быть, говорил он себе, ведь смысл жизни нельзя оторвать от смысла времени, и, уходя вперед, перешагивая в иные плоскости, ты ведь теряешь чувство реальности того, что было. Наступала старость, вот в чем причина, решил он и, подумав, вернулся в родной город; когда проводник вагона назвал полуистлевшее в памяти название станции (ее не переименовали, слава богу!), в первый момент он даже передернулся в лице, удерживаясь от старческой слабости, и долго стоял на перроне с изящным саквояжем, глядя на молодого, туго перепоясанного ремнями милиционера. Он глядел на широкий и стремительно уходящий вверх, в этажи, фасад нового вокзала,— с него, собственно, и начиналась еще раз та Россия, которой он не переставал удивляться вот уже много-много лет, и об этом он, отдыхая от своих книг, иногда разговаривал с Екатериной Ивановной, и она с неизменным интересом слушала его, и ей казалось в такие моменты, что они знают друг друга давно, с самого начала жизни, и она привыкла к нему, но в ее отношении к нему было нечто гораздо большее, чем только вполне понятное желание заработать; когда Наташа училась, денег требовалось неимоверно много, девочку хотелось и одеть как следует, и накормить получше. Но с самого же начала своего знакомства с Юреньевым Екатерина Ивановна уловила в нем то, чего всю жизнь недоставало ей самой,— ей казалось, что он умел быть счастливым, и вначале она завидовала и хотела отказаться от работы у него, но затем привыкла и со временем окончательно привязалась к нему,— так иногда любят ветер и дождь только за то, что они есть; но порой она за ночь глаз не могла сомкнуть и все думала и думала о себе и о нем, и все ей казалось неправильным и неравномерно распределенным в мире. Она старалась поменьше говорить с Юреньевым о себе, и только однажды,

когда ей было особенно тяжело, она не выдержала (это случилось во время болезни Наташи) и заговорила с Юрьевым о себе и о своей жизни, и он впервые как бы почувствовал в ней какое-то второе дно. И потом иногда какое-то замечание или слово настораживали его, словно приоткрывалось на мгновение окно в иной мир,— так было однажды с ее высказыванием о Гегеле; она что-то очень верно заметила насчет его знаменитого абсолютного духа в применении к самому Юреньеву и тотчас словно испугалась и захлопнулась в какой-то плоской и неумелой шутке, а когда он попытался потянуть за слабую ниточку, еще теплевшую в руках, лицо ее стало отсутствующим.

— Бог с ним, с Гегелем,— пошутил Юреньев.— К чему нам сейчас такая материя? Я больше люблю, когда вы о своей жизни говорите.

— Обо мне вы все знаете, Николай Кузьмич,— сказала она сдержанно, понимая, что он интересуется ее судьбой не из праздного любопытства.— Вот тот случай и повернул мою жизнь, а дальше ничего и не было, жила, как могла. Да и как тут можно говорить о каком-то повороте... Очевидно, бывают такие моменты, после которых человек как раз и находит самое истинное в себе... Да, да, Николай Кузьмич, не смотрите так. Вот это и удивительно,— добавила она после минутного замешательства,— оглянусь иногда, и кажется, что иной жизни и быть не могло. Привыкла. И какой толк вообще заброшенные чердаки ворошить. Плохо ли, хорошо — прожила.

И Юреньев больше ничего не сказал и не спросил и лишь через несколько часов, вспоминая выражение ее глаз, молодо вспыхнувших на мгновение, запоздало задумался; ему показалось, что она в том коротком разговоре была от него далеко и где-то вверху и смотрела на него оттуда с тихим, бережным сожалением.

4

На следующий день Екатерина Ивановна за полчаса до начала сессии райисполкома сидела за сценой в небольшой боковой комнате, где стояли столы с пишущими машинками и стопками чистой бумаги, стояли сифоны и минеральная вода; Екатерине Ивановне отвели столик у окна, и она, заложив в машинку глянцевитый плотный лист, с профес-

сиональной чистотой и изяществом стала выбивать одно бесконечное слово. Со стороны казалось, что она делает это легко и свободно, но сама она почувствовала, что в пальцах уже нет прежней ловкости и четкости, да и глаза чересчур напряжены; она поймала себя на том, что думает о разговоре с Кондратьевым и мысленно спорит с ним, и, наконец, рассердилась на себя за это, сняла очень сильные, толстые очки неправильного овала, протерла их; две молодые, пышнотелые, пышноволосые машинистки шептались о чем-то в углу, сблизив головы, и время от времени приглушенно начинали смеяться. Екатерина Ивановна знала их — очевидно, они обсуждали что-то очень интимное, интересующее их обеих. До начала работы, когда в комнату за сценой станут бесшумно ходить стенографистки расшифровывать свои записи и диктовать, еще можно было выйти на улицу и посидеть на бульваре, но она не стала этого делать. На улице было жарко, и идти пришлось бы по коридорам, где сейчас толпилось много знакомых; она подумала, что и ее сосед Юреньев, уже второй срок избиравшийся депутатом, очевидно, сегодня выступит и обязательно придумает что-то такое, что все только рты раскроют, уж на это он совершенно неугомонный. Теперь он, как всегда, стоит в фойе и разговаривает, и вокруг него тесный круг; Екатерина Ивановна усмехнулась своим мыслям и тому, что очень уж хорошо знает своего именитого соседа. И она почти угадала, потому что Юреньев был действительно в фойе и действительно разговаривал с председателем райисполкома, но были они вдвоем, и никто не решался мешать им, никто к ним не подходил. Они увлеченно разговаривали, и у Ксенофонтова, председателя райисполкома, был несколько иронический вид; он уже давно привык, что этот красивый и беспокойный старик обязательно изобретет и себе и другим на голову какое-нибудь новое начинание, и всегда такое, что на него никак нельзя не обратить внимания, да и опасно. Юреньев не задумываясь мог сходить и в обком, и в Москву написать, и вообще предпринять такой поворот, что моргнуть не успеешь и станешь притчей во языцех: то храм какой-нибудь особенный древний откопает, приспособленный под хранение зерна, и демонстрирует потом фотографии журналистам — вот, дескать, дивитесь на дикость нашу и невежество; то источник, который из антирелигиозных соображений районное начальство вздумало засыпать — одним словом, одно

беспокойство было от именитого деда в городе. И, хотя у Ксенофонтова было сейчас много других дел и он не жаловал Юреньева в глубине души, он продолжал ходить с ним неторопливо по фойе и учтиво разговаривать, храня на лице приятное, достойное и несколько ироническое выражение, и Юреньев, отлично понимая его состояние и внутренние мысли, все-таки не отпускал его, потому что дело, о котором они говорили, было старое и обоим навязло в зубах.

— Так что ж, вы опять об этом будете говорить на сессии? — спросил Ксенофонтов, легонько притрагиваясь к локтю Юреньева и тут же убирая руку.— Я же вам уже говорил, при первой возможности...

— А когда же появится такая возможность, Яков Степанович, голубчик? — спросил Юреньев, вешая палку себе на руку, останавливаясь и делая неуловимый поворот в сторону Ксенофонтова, так что и тот тоже должен был остановиться и повернуться.

— Я думаю, что не раньше чем через три-четыре месяца,— сказал Ксенофонтов, озабоченно щурясь и становясь от этого старше.

— Нет, Яков Степанович, я сегодня о другом говорить буду,— Юреньев посмотрел куда-то поверх головы Ксенофонтова.— А с тем делом вот что придется решить... Отдам-ка я этой Плющиной свою квартиру, а сам куда-нибудь на частное жилье съеду. Что ж делать, не знаю, как вам, а мне неудобно, голубчик, обвалится — детей задавит. Да и надоела она мне, а я, знаете ли, уже старик, мне покоя хочется.

— К чему же такие крайности, Николай Кузьмич? — удивился Ксенофонтов, теперь уже открыто и широко улыбаясь.— Что ж вы, хотите нас перед всем белым светом ославить?

— Что вы, что вы, голубчик! — сказал Юреньев, беря Ксенофонтова под руку и отправляясь с ним дальше по кругу.— Что же делать прикажете, раз другого выхода у нас с вами в ближайшие три-четыре месяца нет? Так, кажется, вы изволили распорядиться?

— Ну что вы, Николай Кузьмич, дорогой, выход всегда можно найти,— в тон ему сказал Ксенофонтов, одновременно здороваясь с полной, высокой женщиной, вторым секретарем горкома партии.

Вслед за тем его сразу же позвали в комнату президиу-

ма, и он, улыбнувшись Юреньеву и слегка разведя руками, ушел, вполне, между прочим, уверенный, что такой человек, как Юреньев, может не задумываясь выполнить свою угрозу. Но, пожалуй, больше всего Ксенофонтова занимало сейчас то, о чем Юреньев собирался говорить на сессии, и он, просматривая бумаги, думал, что из депутатов этот самый неудобный,— ведь не попросишь ознакомиться с тезисами выступления и можно только разводить руками и ссылаться на чудачества «деда». И Ксенофонтов действительно и во время собственного короткого сообщения (сессия шла второй день), и потом, когда начались прения, нет-нет да и вспоминал о Юреньеве; зал был полон, и в президиуме сидели представители из обкома и облисполкома, и, чем ближе подходила очередь Юреньева, Ксенофонтов начинал чувствовать себя неуютнее, и все потому, что он не знал, о чем будет говорить Юреньев, тоже сидевший тут же, в президиуме; и Юреньев словно был связан с ним каким-то невидимым проводом и время от времени смотрел в его сторону, и глаза у него становились молодыми и веселыми. Одним словом, между ними была та самая связь, когда люди, встречаясь, не могут не думать друг о друге, потому что так уж перемешала их дела, поступки и мысли сама жизнь; они, конечно, могли никогда и не встретиться и не столкнуться так близко и при встречах вежливо и любезно раскланиваться, но получилось иначе, и они оба были в этом не вольны. От этой запутанной мысли Ксенофонтов еще более оживился; в высоком и прохладном зале чувствовалось, что на улице много полуденного летнего солнца; где-то в задних рядах разговаривали, и Ксенофонтов недовольно приподнял брови и пристально поглядел туда. В это время председательствующий объявил следующего оратора, и к трибуне подошел Юреньев, слегка постукивая своей тяжелой палкой; в зале послышались аплодисменты, и люди в рядах задвигались и оживились, и по этому общему оживлению сразу стало ясно, что Юреньева не только хорошо знали, но и ждали его выступления, потому что он мог заговорить и о чем-нибудь уж очень отдаленном, что и к данному-то моменту никакого отношения не имело. Сам Юреньев тоже многих знал в зале и, оглядывая длинные ряды лиц, ожидая тишины, легким и важным наклоном головы поздоровался сразу со всеми; он подумал, что многие будут удивлены и разочарованы, они привыкли к сенсационности и даже к какому-

то чудачеству в его выступлениях, а простота-то сейчас и нужнее людям.

— Товарищи,— сказал он, скользнув взглядом по полутемному балкону,— я говорю с вами, молодые люди, не от себя лично, а от имени русской культуры, от имени Александра Сергеевича, Александра Николаевича, Льва Николаевича. Но тот же Александр Сергеевич говаривал так: братья мои, говорил он, не многие делайтесь учителями. Но вот я сейчас сидел здесь и слушал вас, и кажется мне, что говорили здесь только для того, чтобы слушать себя, или просто спорили. Сейчас, когда отдельный человек так мало может узнать о мире из того, что вообще известно, спор только отнимает время, обратите на это внимание. Вот спокойная беседа обогащает, и к чему же бесконечно спорить? На цыпочках долго не простоишь, хотя бегут, конечно, все, а награду получает один... впрочем, бегите все, вероятно, так нужно. Вы молодые люди, у вас впереди жизнь, много хорошего можно сделать. И разбирайтесь в прошлом неторопливо и без лишней злобы: ведь именно старая русская культура, Россия была тем ракетоносителем, как сейчас принято говорить, который и вывел нас на более высокую орбиту. Нужно знать, знать! Сейчас борьба переходит в область знания, дорогие мои сограждане, а посему и вывод: кто будет больше знать, за тем и победа, тому лавр вечнозеленый, рукоплескания человечества. Страшитесь недооценивать это великое тотальное оружие в нашу смятенную эпоху. И потом, дорогие мои молодые друзья, давайте поменьше обобщать, а будем действовать конкретно, а то ведь бросаемся целыми непрожеванными кусками. Нашему веку бежать от действительности некуда, действительность стоит перед нами во весь свой великий рост.

Юреньев повел зачем-то головой в сторону президиума и, безошибочно уловив, что зал окончательно заинтересован, отошел еще дальше от того основного, что хотел высказать, и стал говорить о красоте человека и о том, из чего же она составляется, по его убеждению, и вдруг, как многим показалось, совершенно неожиданно перешел на культуру городов, на то, что нынешнее поколение не может считать их только своей собственностью, это такая же собственность будущих поколений, и тем больше ответственность настоящего, что нужно искать контакты с природой...

Слушая его, Ксенофонтов теперь уже совершенно успокоенно и даже одобрительно улыбался; вопросы, затронутые Юреньевым, никак не зависели от отдельной воли какого-то председателя райисполкома, и он был во многом согласен с Юреньевым и даже благодарен ему, что он его сегодня не тронул. Сам он этого бы высказывать сегодня не стал, слишком далеко от обсуждаемых проблем, но вот та же, например, дикость, конечно, что люди попросту пьют. Он вспомнил почему-то именно об этом и подумал, что если было бы достаточно тех же удобных, дешевых кафе, чтобы там после работы можно было бы посидеть с семьей и вечером задержаться, отметить семейное торжество,— это уже другое дело. Там, за столиками с закуской, на людях, не так бы и напивались. Да и вот вопрос: в гастрономе водка, допустим, три рубля, а тут же, рядом, в какой-нибудь закусочной, уже четыре пятьдесят. А за какие такие особые услуги? И в очереди настоишься, и обругают в придачу. А времени у каждого в обрез, вот друг за другом и ныряют в магазин, затем куда-нибудь в подъезд, а там, глядишь, уже и толпа, и своеобразный уличный клуб, и привычка. Нет, прав старик, прав, к красоте надо подходить издали, исподволь, а то ее можно и опоганить и изуродовать.

Екатерина Ивановна, как обычно, утром почти ничего не ела и перед самым перерывом прошла в буфет, взяла два стакана чаю, бутерброд с сыром и села за столик в углу. В буфете пока было человек пять, и они торопились управиться до перерыва, пока в буфет не прихлынет народ, и Екатерина Ивановна спешила, но чай был крутой, горячий, и она задержалась. Увидев ее за столиком, тотчас принес свою палку Юреньев и только тогда попросил разрешения.

Не взглянув на меню, он заказал подошедшей официантке заливное, бифштекс и два черных кофе и вопросительно забарабанил пальцами по столу.

— Екатерина Ивановна, вы?

— Опоздали, я перекусила, благодарю вас, Николай Кузьмич,— учтиво-вежливо поблагодарила она, на людях она держалась подчеркнуто официально, не допуская обычной их фамильярной шутливости.

— Гм-м, хорошо, тогда, милая девушка, еще один чер-

ный кофе и вишневый сок. Да, милая девушка,— крикнул он уходившей официантке, легко перекрывая многоголосый гул,— каких-нибудь пирожных или там печений, на ваш вкус,— неопределенно повертел он в воздухе короткими пальцами и повернулся всем грузным туловищем к Екатерине Ивановне, и та, не зная, куда деться, съежилась сердито в своем углу, точно нахохленная серая мышь: любое ее возражение могло лишь еще больше раззадорить упрямого старика, а его здесь многие знали и с любопытством тянули в их сторону шеи.

— Ну-с, дорогая Екатерина Ивановна,— так же громогласно, как если бы он находился в собственном кабинете, сказал Юреньев,— что вы скажете по поводу моего выступления? Вы ведь меня слушали?

— Слушала, слушала,— сердито отозвалась Екатерина Ивановна, оглядываясь.— Ну и наградил вас бог горлом! Хорошо говорили.

— Ей-богу, не знаю,— нахмурился он.— Мне кажется, слишком утилитарно. Ксенофонтов очень уж усердно хлопал.

— Ничего не утилитарно, в самый раз,— ответила Екатерина Ивановна, смеясь глазами и пропуская мимо ушей замечание насчет Ксенофонтова.

— Ну хорошо, коли так, Екатерина Ивановна, я вам верю. Ведь мы с вами, по сути дела, мастодонты в этой жизни,— он пожевал губами по давно знакомой ей привычке, которая являлась верным признаком недовольства.— Наши с вами духовные сородичи давно вымерли, правда, по разным причинам. А оставшиеся обросли уже и правнуками, пенсией, рыбалкой, у них другие запросы. Вот мы и торчим с вами, как два неудобных пня. Вы ведь знаете, от России нам никуда не деться, для меня действительно лик Иванова свят, это вечность, душа народа. Да и такого Иванова больше ведь не будет.

— Что это с вами? — спросила Екатерина Ивановна с удивлением.

— Не знаю, настроение что-то... Бывает, показалось, что в этом зале я и в самом деле никому не нужен и мои слова никому не нужны. Так, слушают лишь из-за уважения к старости.

Не принимая ее протестующего движения, он отвернулся к окну; подошла официантка и поставила перед ним хлеб и заливное, положила приборы и ушла за остальным.

В окно виднелся длинный, скучный ряд крыш, пыльное, гремящее железо, а где-нибудь за Русским бродом, в кленовых рощах, сейчас совершенно нетронутая, свежая зелень, прохлада реки и высокие, торжественные облака, как розовые купола; Юреньев как-то забылся и смотрел в окно, и был он как неподвижная, оплывшая груда.

5

Вечером, вернувшись с сессии и зайдя к Юреньеву, Екатерина Ивановна застала у него людей. Шумного и развязного газетчика Фомичева она недолюбливала, второй же, профессор из пединститута, Григорий Васильевич Нефедов, элегантный, подтянутый, всегда доброжелательно-предупредительный, с изящной бородкой и умно поблескивающими за стеклами очков глазами, был ей симпатичен; он ничего не пил, говорил тихо, но так внятно и раздельно, что было отчетливо слышно на другом конце комнаты, Екатерина Ивановна и сама любила его послушать. На сессии, в перерывах и после конца заседаний, она видела его вместе с Юреньевым; занятная это была пара — огромный, грузный Юреньев, тяжело опирающийся на свою палку, и стройный, затянутый в серую пару Нефедов с холодно поблескивающими стеклами очков. Давно сидят, подумала Екатерина Ивановна, а этот Фомичев, конечно, как всегда, нахально притолокся, не стоило заходить, но уйти сразу теперь было неудобно, и она, сняв шляпу в прихожей, бегло посмотревшись в зеркало и пригладив свои прямые, жесткие волосы, протянула Юреньеву свернутую трубкой стенограмму. Юреньев, болезненно ревниво относившийся к своим публичным выступлениям, со скрупулезной точностью выверял всегда свои стенограммы и газетные отчеты, не доверяя добросовестности стенографисток и машинисток (всегда приплетут отсебятины!); Екатерина Ивановна, знавшая за ним эту слабость, по возможности старалась сама расшифровывать и перепечатывать юреньевские выступления и доклады.

— Вот, Николай Кузьмич, ваше выступление, вы просили; извините, что поздно, только сейчас кончили.

— Голубчик, Екатерина Ивановна, премного обязан. Прошу! — и, приобняв за плечи, Юреньев насильно подвел ее к столу.

При появлении Екатерины Ивановны Фомичев преувеличенно-театрально поднялся с места, приметив приветливое оживление в лице хозяина; Григорий же Васильевич встал и молча поклонился.

— А вот, наконец, и наша дама,— бросился Фомичев подвигать стул.

— Ладно, сиди, сиди уж, какая я тебе дама, на ногах не держишься,— сурово осадила его Екатерина Ивановна, стянув на груди концы шарфа.

Юреньев, смеясь глазами, наблюдал за ними и в то же время неторопливо, величественно и чуточку небрежно, как все, что он делал, раздвинул посуду на столе, достал чистый прибор, налил крепкого, янтарного чаю, до которого сам был большой охотник.

— Прошу, Екатерина Ивановна, только что заварил, свежий, по вашему рецепту, мы тут бутербродиками разжились.

— Наверное, студенческие времена вспомнили.— Екатерина Ивановна с некоторым ехидством скользнула взглядом по столу, отмечая, несмотря на дорогую посуду и хрусталь, неприхотливый мужской порядок, в котором, как всегда, чувствовалось отсутствие того невольного женского украшательства, что всему придает домашний уют. Екатерина Ивановна улыбнулась, Юреньев придвинул ей бутерброды, она села между ним и Фомичевым, и перед ней сразу же оказалась рюмка; Фомичев налил ей коньяку, налил себе и тут же, торопясь, чтобы никто не перехватил, предложил выпить за нее.

— Николай Кузьмич, Григорий Васильевич,— сказал он с увлечением, слегка сдерживая, однако, свой раскатистый, сочный баритон и поправляя ворот несвежей нейлоновой сорочки,— я предлагаю тост за нашу милейшую Екатерину Ивановну... За вас, Екатерина Ивановна, берите, берите, одну рюмочку можно, это никому не повредит. Коньяк отличный, болгарский, другарей наших по крови и духу. Смотрите, пять звездочек. Что ж вы, Екатерина Ивановна?

— Да что, Степан Петрович, ты всегда отличался высоким красноречием, тебе отказать трудно,— сказала она и, к немому изумлению Юреньева, не спеша выпила рюмку до дна.

Юреньев подвинул ей широкое цветное фарфоровое блюдо с бутербродами (Юреньев собирал старинный фар-

фор), налил в высокий, тоже старинный бокал цветного стекла минеральной воды; Екатерина Ивановна покачала головой, отказываясь и прося глазами не обращать больше на нее никакого внимания: она не знала, почему в этот вечер ей было хорошо и покойно. Она перехватила руку Фомичева, который намеревался налить еще, и уже больше не пила; словно в ней что-то стронулось после разговора с Кондратьевым, она словно бежала, бежала, бежала, бежала куда-то и вдруг враз остановилась, и это было непривычно и странно; оказывается, торопиться было некуда. Наташа уже выросла, и ей уже не нужны ее заботы и советы, тот же Кондратьев — очень честолюбивый юноша, разберутся как-нибудь сами. Здесь вот сидят и пьют, а она где-то в стороне, далеко от всего, словно это не она, а кто-то другой; она почувствовала непривычную теплоту в ногах и, поймав на себе внимательный взгляд Юреньева, хотела улыбнуться ему, но в самый последний момент удержалась и рассердилась на себя. Совсем ни к чему были теперь эти нежности, и если он двадцать лет назад ничего не заметил, то теперь вообще смешно что-либо ворошить.

— Вы же гордость нашего города, Николай Кузьмич,— говорил тем временем Фомичев, двигая широким, сильным подбородком,— о вас непростительно мало пишут. Я о вас хочу сделать большой материал, с фотографиями.

— Ну и сделайте, Фомичев,— почти равнодушно, с казенной улыбкой, появлявшейся у него, когда ему что-либо сильно не нравилось, ответил Юреньев, задумчиво трогая мясистыми пальцами коротко остриженные виски.— Если вам хочется, почему же не сделать себе приятное. Только какой кадр вы пропустили: я сегодня ночью в парке ночевал, среди лошадок, на детской площадке. Не спалось, пошел бродить, дождь как раз и застиг меня верхом на лошадке, такая кроткая лошадь с грустной мордой. Вот вам и гордость. Что, жалко кадра-то? То-то, меньше надо спать, молодой человек.

— Каждому свое, Николай Кузьмич,— сказал Фомичев с пьяной фамильярностью, упрямо не поддаваясь на уловку Юреньева сменить разговор, и молодецки поглядел на профессора Нефедова, призывая его в союзники.— У меня своя теория есть. Главное — не упустить момент. Я газетчик, для газетчика чувство времени — всё! Упустил

момент — и ты в обозе. Сейчас тот период, когда на первый план интеллигенция выходит.

— Это каким же образом, простите? — спросил Григорий Васильевич, упорно молчавший до сих пор и с видимой заинтересованностью слушавший.

— А таким, дорогой мэтр, у врожденного журналиста, как у охотничьего пса, верхнее чутье есть. В жизни еще только-только намечается, еще и запах-то далеко и непонятен, а я его уже должен ухватить. Журналист — это охотничий пес с отличным верхним чутьем.

— Когда-то, лет сорок назад, и я писал в газеты,— сказал Юреньев, придвигая к себе приземистый графинчик старинного зеленоватого стекла.— Помнится, очерки о германских музеях наделали шуму.

— Послушайте, Фомичев,— сказал Григорий Васильевич,— а вы ведь, простите, передернули. Я с вами не буду спорить, наука и искусство играют сейчас огромную роль, но ведь нельзя же отрицать, что все началось с пахаря и пастуха. Это ведь, простите, неразнимаемая цепь, много сложнее, чем вы пытаетесь представить. Любой сдвиг духовного прогресса непременно обусловлен состоянием всего народа, как же здесь отделить интеллигенцию от рабочего или крестьянина? Духовная жизнь — продукт совокупный, вы своей теорией, простите, не боитесь напутать?

— Я не боюсь,— заявил Фомичев, морща большой заветренный лоб.— Правда ведь, Екатерина Ивановна? — спросил он весело, и она от неожиданности откинулась к спинке стула, затем засмеялась.

— Не знаю, дорогой, не знаю, очевидно, правильно, что вы ничего не хотите бояться,— сказала она, чувствуя себя то ли от выпитого коньяка, то ли от непонятного успокоения после разговора с Кондратьевым легкой и необычно счастливой.— Мне в ваших разговорах судьей не быть, я только что вошла и начала не знаю. Я вот что заметила только: какой-нибудь человек в жизни начитается разных премудростей, подберет речение под себя, да и пришпилит его кнопкой на стене. Смотрит на него и радуется: оправдание-то ему от всего. Вот, мол, и великий так сказал, и моя жизнь так идет. А ведь и в голову ему не придет, что тот самый великий какое-нибудь свое правило жизни выстрадал и живет по нему, а этот чужим покровом прикрывается от себя да больше от людей.

Екатерина Ивановна говорила, смеясь глазами, и дума-

ла, что зря она это говорит, но остановиться не могла, и, только увидев совсем близко от себя обиженные и какие-то пустые глаза Фомичева, она остановилась и встала.

— Это вы что же, в мой огород забрасываете? — спросил Фомичев с пьяной чистосердечностью, и Екатерина Ивановна опять засмеялась.

— Пойду я, Николай Кузьмич,— сказала она,— пора, я не хочу больше стеснять мужское общество. Доброй вам ночи и беседы, а ты, Фомичев, не обижайся на меня, любой знает — у меня скверный характер.

— Подождите, Екатерина Ивановна,— Юреньев повернулся к ней.— Нам тоже пора, у меня завтра трудный день, сессия-то из графика выбила, надо будет поднажать, давайте, Фомичев, наливайте по посошку.

Был двенадцатый час, когда она вернулась к себе, и, еще не успев закрыть дверь, поняла, что Наташа сегодня дома; помедлив в раздумье минутку, Екатерина Ивановна прошла на кухню и сразу увидела в углу Наташу, сидевшую на низенькой табуретке со странным, напряженным лицом, в распахнутом халатике; были видны ее голые коленки и короткая, по теперешней моде, розовая сорочка с кружевами. Увидев Екатерину Ивановну, Наташа запахнула халат, накрыла им колени, и глаза у нее стали сразу холодными и отчужденными.

— Ты дома сегодня,— неопределенно сказала Екатерина Ивановна.— Одна? — спросила она, чувствуя неуловимый запах папирос, от которых у нее сразу начинала медленно кружиться голова,— она ненавидела этот запах.

— Да, одна,— сказала Наташа голосом настороженным и вызывающим, как говорят с людьми безразличными, ставшими почему-то чужими и неприятными.— Владислав заходил прощаться, он завтра рано в командировку едет. В Ростов.

— Ну, это не дальний свет, одна ночь езды, скоро вернется,— сказала Екатерина Ивановна, стараясь задавить обиду и отыскивая пути к примирению, к утраченной близости и страдая от невозможности принять все так, как оно есть.

— Как будто тебя это интересует,— так же зло и отчужденно сказала Наташа, не принимая протянутой руки.

— Опять ты за свое, Наталья,— устало опустилась на

стул Екатерина Ивановна,— ну что ты сразу в драку бросаешься, никто у тебя его не отнимает, ну, люби его, коли свет на нем клином сошелся, люби,— может, и обернется по-хорошему. Я тебе счастья хочу.

— Да не нужно мне твоего счастья, я свое сама возьму, ты только мне не мешай!

Подобрав под себя ноги и сделавшись меньше ростом, Наташа в своем детском слепом ожесточении была сейчас понятна и близка Екатерине Ивановне, как никогда, и тем не менее она со своей опытностью и знанием не знала, как подступиться к взъерошенному, ощетинившемуся несчастному существу.

«Почему, почему ей надо всегда испортить,— думала тем временем Наташа, упрямо избегая взгляда матери,— повернуть по-своему? Зачем, ну зачем она ходила к Владиславу? Не стоит ее слушать и лучше думать совершенно о другом, о чем-нибудь постороннем». И она пыталась это делать и не могла, голос и слова Екатерины Ивановны проникали к ней, и она подумала, что все равно когда-нибудь нужно будет высказаться и оборвать, отсечь себя. От этих мыслей Наташа держала голову неестественно и прямо, смотрела на Екатерину Ивановну с сожалением: она жалела ее давней, еще незабытой, но уже исчезнувшей любовью.

— Прости, пожалуйста,— сказала она решительно,— ты сейчас не для меня говоришь, а для себя, ты всю жизнь свое горе хотела всем поровну разделить. Ты разве для меня счастья хочешь, ты сама хочешь спокойной быть, а Владислав тебя раздражает. Ну, скажи, чем, чем он тебя не устраивает? Простой инженер, серенькая личность? Смешно, ну какой же он серенький, ты его совсем не знаешь, не знаешь его запросов, да и что значит — серенький? Я тоже простая стенографистка и институт вряд ли вытяну. Значит, я не нужна в жизни, бесполезна?.. Ты, конечно, думала выдать меня за маршала или академика, а тут какой-то простой инженеришко, да еще с женитьбой тянет. А ты знаешь, что он уже несколько лет над одним интересным изобретением бьется? Знаешь? А я знаю. Послушай, мама,— она подошла к самому главному,— зачем ты к нему ходила, почему тебе обязательно нужно испортить мне жизнь? Потому, что сама несчастна, так, да?

— Успокойся,— сказала Екатерина Ивановна через силу, чувствуя, как наливаются тяжестью и немеют ноги.—

И потом не надо так громко, ты же кричишь. Я тебе сказала, конечно, поступай как хочешь, я больше и словом не обмолвлюсь.

— Ты жизнь свою, целую жизнь тянулась за журавлем, вон он, наверху, слышишь, ходит, а что толку! Над стенограммами его трясешься, до утра вычитываешь. Только и заслужила.

— Наталья, молчи!

— Не-ет, уж теперь я молчать не буду, кончилась твоя власть надо мной. Сколько лет ты его любишь? — с каким-то злым наслаждением кричала Наташа.— И всегда его любила, да только он-то внимания не обращал. Вот она, твоя высокая любовь. Что же, ты и мне такого счастья хочешь, мне всего двадцать три.

— Прошу тебя, Наталья...— У Екатерины Ивановны задрожали губы, и она, переждав, покачала головой.— Зачем ты врешь? Я не была несчастной. Я жила, как могла, и, полагаю, честно жила, а большего мне и не надо. Прошу тебя...

— А что меня просить, я тебя сколько просила не трогать меня с Владиславом, я себе сама на хлеб зарабатываю, я — взрослый человек.

Наташа говорила что-то еще с исказившимся, некрасивым лицом, но Екатерина Ивановна больше ее не слышала, она именно сейчас, кажется, поняла то, чего не могла понять вот уже много дней. В чем-то права была Наташа, тут не только в Наташе было дело, и в ней самой тоже, может, все эти годы в ней подспудно и теснилась обида, что не так и правильно обошлась с нею жизнь, что она достойна лучшего, большего, уж не она ли билась в трудные минуты, недосыпая ночей, недоедая, стараясь вывести свою девочку в люди и дать ей образование и лучшую, чем ей самой выпала, жизнь, но ведь это были трудные минуты. Они у каждого бывают, что же за них корить? А ведь как она дрожала за Наташу, когда та была маленькой, беспомощной девочкой, и в детские сады ее устраивала только показательные, и школу Наташа закончила образцовую, лучшую в городе, и каждое лето ездила в санатории и пионерские лагеря санаторного типа — Наташа росла слабенькой, не выдерживала обычного режима. И между делом выучила ее стенографии и машинописи, чтобы девочка имела специальность. Теперь же, когда Наташа поднялась и вытянулась, может, она по-старушечьи неосознанно цеплялась

за нее, хотела увидеть в Наташе то, что не далось ей самой, порадоваться, погордиться своей девочкой на старости лет.

Если и была в ней такая червоточина, жестоко со стороны Наташи сейчас именно ее и нащупать и ковырнуть. «Да ты, кажется, уже с ума сходишь, старая,— сказала себе Екатерина Ивановна с сердцем.— Как же это можно было жить еще прямее, честнее и проще? Просто проглядела ты Наташу в какой-то момент, вот и больно тебе и обидно отдавать сейчас сопляку, ведь ты в нее все вложила. Может быть, одной какой-то малости не хватало, а теперь ты уже ничем этого не возместишь. А может, и правильно, что молодые как-то по-другому стараются жить?» Чего она сама добилась? Ничего, а наверное, в других условиях многое бы смогла. Но тут же она сказала себе, что эти торопливые, скачущие мысли несколько странны, если не комичны. Почему-то раньше они никогда не приходили, а теперь в любом случае поздно что-либо менять.

— В добрый час, Наташа, я не против вашего счастья, только будешь ли ты с ним счастлива? — сказала она, стараясь освободиться от своих мыслей.— Что ж, всякое бывает, а что в нем бесы всякие бродят, я сама поняла, он еще мир надеется завоевать. Может, он и любит тебя, не спорю, только стреноживать себя пока не будет, ему свобода нужна. Да ты этого не поймешь, пока сама не убедишься...— с сожалением и мягкой бережностью сказала Екатерина Ивановна и потянулась к руке дочери, та мерзла в своем легком халатике и сидела, сжавшись, обняв голые коленки; Наташа брезгливо отдернула руку.

— Врешь, врешь, это ты от зависти на него наговариваешь, он хороший, талантливый, он сам всего достиг, ему никто не помогал...

— Конечно, если не считать советской власти. Ну, все равно хорошо, ладно, люби его на здоровье...

— Поздно уже, поздно! — закричала Наташа высоким, вздрагивающим, болезненным криком, тиская руки.— А что, если он уйдет от меня, совсем уйдет, ничего не скажет и уйдет? Я чувствую, знаю, я без него не могу! Будь ты мне родной матерью, ты бы так не поступила, ты бы мое счастье берегла. А тебе хочется, чтобы я всегда с тобою была и была так же несчастна! Ты не имела права брать меня из детдома, я бы и там выросла. На меня бы там ничего не давило, я сама бы собой распорядилась...

Вот и дождалась, сказала себе Екатерина Ивановна, и

ей показалось, что непривычно злое лицо Наташи расплывается в густом далеком тумане. Екатерина Ивановна услышала вокруг себя пугающую, пронзительную тишину, она словно сочилась во все щели; еще некоторое время она глядела, как у Наташи шевелятся губы, но она ничего не слышала, и этот долгий день словно связался в ней в узел, и она боялась поглубже вдохнуть от тянущей боли в груди, и у нее сохло во рту. Ах, какой тяжелый день, какой тяжелый день, подумала она, стараясь выпрямиться, стоять ровно и не показать ничего Наташе, потому что лампочка под потолком уходила куда-то влево, влево, и она нашарила непослушной рукой стену, и привалилась к ней спиной, и в стене тоже была мертвая тишина; она увидела близко лицо Наташи, которая что-то беззвучно кричала, видела ее глаза, огромные, налитые слезами, чувствовала ее руки у себя на плечах, и их тяжесть давила ее, пригибала книзу, ей хотелось освободиться, вздохнуть, набрать в легкие воздух, и она не могла.

— Мамочка! Мама! Мамочка!— ворвался в нее наконец детский пронзительный крик, ворвался неожиданно, и она почувствовала, что Наташа, тяжело скользнув по ее телу руками, опустилась на колени, теперь она видела ее всю, Наташа плакала навзрыд, и Екатерина Ивановна, с усилием приподняв руку, положила ее на теплую, знакомую, вздрагивающую головку:

— Успокойся, девочка,— говорила она в немой горечи, забывая о себе,— хорошо у тебя будет, хорошо, бог с тобой, как тебе лучше кажется, так и живи, чего не бывает в жизни, может, и обомнется, и если ты любишь его, люби, зачем же нам друг друга мучить? Вот пройдет эта ужасная ночь, будет по-другому, как ты хочешь, так и будет. У меня ведь тоже было когда-то и детство, и отец с матерью, и еще в праздники колокола в церквах звонили,— ах, какое это было чудо — и утренние звоны, и птицы за окном. Это было давно, очень давно, и я тоже тогда, кажется, полюбила человека, странного для родителей, и пошла за ним. Нас с ним кроме молодой нежности связывало еще что-то высокое. Нет, нет,— внезапно испугалась Екатерина Ивановна,— близкими мы не были, не сложилось, и сейчас я не знаю точно, любила ли я его. Ты этого не поймешь, и не твоя тут вина, ты вот твердишь, что я несчастна да несчастна, а это не так, это тебе по молодости все наизнанку думается, ну да, да, у меня ведь тоже нечто подобное было,—

отмахнулась она от вопросительных, испуганных глаз дочери и видя его так ясно, как в последний раз, с отросшими на висках волосами, в каком-то толстом, грубошерстном шарфе вокруг шеи, он часто покашливал и смеялся над собой за эту слабость, но глаза у него были голодноватые, грустные и изучающие.

6

Это было почти пятьдесят лет назад, но она ясно услышала глухой гул толпы, увидела бородатые, грязные лица (они почему-то все до одного казались ей грязными), и она шла и шла, продираясь сквозь эти грязные лица, локти, зипуны, к самому центру толпы. Дойдя до самой цепи солдат, она увидела виселицу вплотную и двух повешенных — Костю и Поливана; у них были связаны руки, и туловища как бы удлинились, и особенно неприятно было смотреть в их обезображенные удушьем лица, но она глядела на них не отрываясь. Что-то сковало ее, это были ее товарищи, с которыми она должна была доставить газету и прокламации, а Костю, застенчивого студента, так и не ставшего адвокатом, она, кажется, еще и любила; три дня назад они спали, разделенные всего лишь тонкой дощатой переборкой, и она, глядя в темноту перед собой, знала, чувствовала, что он не спит и думает о ней, она в ту ночь томилась мыслью, что он придет к ней, обязательно придет, и если бы это случилось, она бы лишь обрадовалась. Ей было страшно, и она ждала его. А теперь он висел, и веревка впилась ему в ставшую непомерно длинной шею, и распухший язык не помещался у него во рту.

Ей сделалось нехорошо, она тихонько стала выбираться из толпы, сдерживая тошноту; в толпе деловито обсуждали, кого это на этот раз вздернули, большевиков или просто шпиона, и ей особенно бросилось в глаза одно интеллигентное, бритое лицо, выражавшее какое-то скотское, порочное удовольствие; зажав рот платком, она побледнела и бросилась вон из толпы.

Сегодня еще засветло она должна была уехать, все, что ей нужно было передать, она выучила наизусть, но ей мешал страх, охвативший ее еще там, у виселицы; что-то вдруг сломалось в ней, и она не могла себя заставить двинуться с места. И все-таки она пересилила себя и с опозданием на два дня отправилась дальше. Что бы он, Костя, сей-

час сказал, подумала Екатерина Ивановна, если бы был жив и была бы возможна встреча? Жили-жили где-то в неведении друг от друга все пятьдесят лет, а затем бы встретились... Она бы, наверное, пожаловалась ему, что постарела и опустилась и в жизни ничего большого не добилась и не сделала, и он бы посмотрел на нее строго и сосредоточенно.

«Ах, Костя, Костя,— пожаловалась она неожиданно,— как же много прошло времени с тех пор, как мы в последний раз виделись! И как быстро пролетело!

Меня взяли под Орлом, Костя,— торопясь, сказала Екатерина Ивановна,— не помню, село такое было. Не то Крутой Яр называлось, не то Черный. Я тебе расскажу, ты только не перебивай, Деникин наступал, и взяла меня деникинская разведка,— как потом выяснилось, кое-что о нас им было известно.

Я как-то совершенно неожиданно наткнулась на деникинский разъезд, это было страшно, Костя, у меня все отобрали, эти беляки были пьяны, и, очевидно, только поэтому я осталась в живых. Осень была, везде яблоками пахло, до сих пор не выношу яблочного запаха. Там был один трезвый пожилой офицер... Ах, Костя, Костя,— опять пожаловалась Екатерина Ивановна,—почему мы были такие дураки, нам нечего даже вспомнить. Теперь иначе, если бы ты только знал, как все меняется... В том же самом Ростове за два дня до того, как вас взяли, я так ждала тебя, ты ведь был рядом, за перегородкой, и ты думал обо мне, я это знала, чувствовала... Да, о чем это я? Ты знаешь, Костя, у меня были документы на имя крестьянки Евдокии Семеновны Прониной, и одета я была так: на мне была коротенькая свитка, как сейчас помнится, и юбка, широкая такая, лентой по подолу обшита. Кажется, голубенькая такая лента была...— продолжала она, уже не в силах остановиться, а надо бы, надо, подумала она, возможно, и он не поверит, но Костя не может не поверить.— Я как-то совершенно потерялась, он меня действительно отпустил на шестую ночь, на вторник... Этот офицер... Почему, зачем, как — я до сих пор не могу понять. Нет, нет, ты не подумай ничего плохого, он даже не притронулся ко мне. Понимаешь, Костя, у меня с ним странные какие-то сложились отношения. Он словно чувствовал, несколько раз заговаривал со мной. Приведут меня к нему — он посадит напротив себя, а я молчу, притворяюсь, что я из крестьян. Он глядел

на меня и что-то такое свое, такое больное видел, до сих пор не могу понять, что же я ему такое напомнила. Наверное, на том острие был, когда все пополам. Это я уже потом стала понимать на себе. А затем как-то пришел ночью, вывел из арестантской и говорит: «Вы свободны». Дождь пошел, а на мне одно жиденькое платьице, свитка где-то пропала, кажется, ее на вокзале раньше украли, у меня уже тогда жар начался, платье сразу к телу прилипло. Впрочем, мне было все равно, потом под утро куча соломы попалась. Зарылась я в нее, зубами стучу и расплакалась, удержаться не могу. И слышу — дождь идет, и так мне умереть захотелось, бред начался, тело горит. Я уже твердо знала, что не могу ничего больше сделать и не хочу ничего делать. Я бы и не заболела, если бы в душе что-то не сломилось. Потом меня дня через три крестьяне нашли, отходили, сын хозяина даже сватался. Застенчивый, большой парень такой. Я коров научилась доить, Костя, хлеб печь. Но я не могла с ним остаться. Я очень боялась тогда, что меня убьют, да, да... Это оказалось не так просто, Костя. Ты герой, мужчина, а я боялась. Ты ведь знаешь, какой я была восторженной дурой... Где я только не работала потом, Костя,— чужих детей нянчила, в театре реквизит выдавала, афиши расклеивала, просто так уж сложилось, вниз и вниз, я же сначала ничего не умела.

Потом я девочку из детдома взяла, жить как-то надо было... словно я бежала, бежала откуда-то с горы и все вниз, вниз...

Постой, Костя, я еще тебе не рассказала,— заторопилась она, всматриваясь в серую темноту и уже ничего не видя.— Я ведь не рассказала тебе даже тысячной доли того, как я дальше жила, Костя,— уже не то прошептала, не то подумала она,— ведь оказывается, самое легкое — это большие дела, в них и яркость и удовлетворение, а вот так просто, день за днем, стирать, штопать, делить жизнь на копейки и ждать, ждать, а вокруг люди, такие же молодые, как ты, и хочется ответить на неожиданно загоревшийся взгляд... Но сначала я о тебе думала и от этого словно в обручах железных ходила... Это ведь не скоро в порядок пришло, пока я поняла. А когда поняла, поздно было, уже под пятьдесят... Но ты не думай, я не жалею, я теперь вижу, что иначе и не могло быть. Все правильно, Костя, уж я такая, какая есть».

Из темноты проступило окно, комната наполнялась

мглистым сумраком, уже можно было видеть спинки двух стульев светлого дерева, двухрожковую люстру, пучок сухой травы в деревянной резной вазе на столе; Екатерина Ивановна всегда любила живые растения; с каким-то чувством недоумения она осмотрела свою комнату, и почему-то именно сейчас вспомнились ей Каракумы, красные пески, и слепое, красное солнце, и дикая, остервенелая скачка, ее нагоняли, кривая короткая сабля должна была полоснуть по ней, она вся съежилась. Басмач увидел лицо женщины, и в его глазах мелькнуло веселое изумление, и он, оскалившись, сверкнул зубами, и в этот момент, когда низкорослый злой конь вот-вот должен был настигнуть, она успела выстрелить из-под руки и попала, и когда басмач падал, его конь еще пытался грызть круп ее лошади, и она видела, как кровь быстро заливает лицо убитого, потом конь сбросил его.

Почему Екатерине Ивановне это вспомнилось, она не знала, и она подумала: до чего же все это далеко, словно было и не с нею; надо попытаться хоть на часок заснуть.

Лежа навзничь, Екатерина Ивановна легко и ровно дышала; именно эта непривычная легкость была удивительна и прекрасна, словно кто-то взял ее на руки и понес, словно она опять маленькая девочка, и у нее есть мама, и потому, что все это началось так далеко и так пронзительно явственно, Екатерина Ивановна подумала, что действительно умирает; она поправила на груди оборки сорочки, подтянула простыню и стала замедлявшимися руками ощупывать и поправлять все, до чего могла дотянуться. Будут посторонние люди, нехорошо, если останется беспорядок и она будет лежать безобразно. Ах, какое мне дело будет до людей, тут же сказала она себе, нельзя и после смерти зависеть от кого-то, она подумала о Наташе, и сразу кровь прихлынула к лицу, и стало жарко: как же Наташа, что будет с ней, с ее глупой, маленькой, самостоятельной девочкой? — подумала Екатерина Ивановна и, опираясь на дрожащие от нервного напряжения всего тела руки, села и смотрела как-то боком в угол, широко раскрыв глаза.

— Наташа, ты? — спросила она рвущимся голосом, и руки дочери тотчас легли ей на лоб.

— Не надо, мама, ляг, тебе нельзя резко двигаться. Выпей это и ложись.

— Мне лучше, девочка, я себя сейчас хорошо чувствую. Напугала я тебя.— Теплая волна жалости прихлынула к ней, и она стала гладить нетвердой рукой мягкие, послушные волосы дочери.— Прости, я ведь тоже виновата.

— Не надо, мама, все будет хорошо, усни сейчас, я никуда не уйду.

— Нет, я спать не буду,— сказала Екатерина Ивановна.— Еще немножко полежу и буду вставать.

— Нет, нет, что ты! — запротестовала Наташа.— Я сюда поесть принесу, я приготовила.

— Ты сама-то едва на ногах держишься, напролет ночь со мной.

— Я очень испугалась.

— Чего пугаться, мне к этому надо готовой быть, сердце не то, Наташа,— стараясь улыбнуться, сказала Екатерина Ивановна.— Ну, ну, перестань, отошло ведь, отпустило, я в самом деле хорошо себя чувствую.

Она потрепала Наташу по щеке, и от этой забытой детской ласки Наташа некрасиво сморщилась и, отвернувшись к стене, заплакала.

— Я не хотела,— сказала она глухо,— я не знаю, что это со мной было вчера.

— Да что ты, Наташа, я уже забыла, полно тебе!

— Я тебя не стою, я такая зла-а-я! — захлебнулась слезами Наташа.— Но ты и меня постарайся понять, простить.

— Не надо, я понимаю, Наташа, ну, полно, полно, девочка! Когда ты успела так вырасти?

— Ты его потом поймешь, мама, такой он человек, он никому не хочет быть обязанным, поэтому таким кажется. Его переделать нельзя, может быть, мне удастся,— добавила она совсем тихо,— удастся приучить его к себе, никто ведь так не знает его, как я, его привычки, настроения. Но для этого мне надо быть с ним. Я уверена, с кем бы он ни был, ему будет меня не хватать. Я знаю, вот посмотришь.

Наташа упрямо смотрела перед собой, и где-то у ее полудетских губ была горькая усмешка, как будто она была старшей и видела скрытое от других, и в том числе от матери, и мать признала это старшинство, и внутренне затихала, и только гладила узкие и горячие ее руки.

Что-то незнакомое было в голосе Наташи и в том, как она держалась, и тихое предчувствие охватило Екатерину

Ивановну; она молча наблюдала, как Наташа придвинула к ее кровати маленький столик, служивший Екатерине Ивановне местом для работы во время всяческой штопки и шитья, принесла из кухни хлеб, масло, чайник и чашку, поставила тарелку с манной кашей; это делалось деловито и неторопливо. Наташа росла очень домовитой, и Екатерина Ивановна с детских лет приучала ее к самостоятельности и аккуратности, считая эти качества главными достоинствами женщины.

Покормив мать, Наташа еще раз, но неуверенно предложила вызвать врача, от чего Екатерина Ивановна отказалась; ее продолжала занимать и мучить какая-то неуловимая перемена в Наташе.

— Иди, девочка, не думай ни о чем, я просто полежу, отлежусь и дождусь тебя, ты ведь не долго сегодня задержишься? — спросила Екатерина Ивановна, чувствуя затылком прохладные прутья кровати; она безошибочно уловила тот единственный момент, когда еще можно было все повернуть; но именно этого испугалась Наташа, Екатерина Ивановна отметила это как-то по-особому, когда у нее дрогнул голос.

— Я опаздываю, мама,— сказала она, уходя, закрываясь слабой улыбкой.— Вернусь, конечно, я вернусь вовремя. Ты в самом деле не хочешь, чтобы я вызвала врача?

— Да я совершенно здорова,— отозвалась Екатерина Ивановна и по напряжению в лице Наташи поняла, что ответила правильно, что дочь ждала именно такого ответа.— Я правду говорю, все прошло,— повторила Екатерина Ивановна упрямо, хотя был иной путь и сама она хотела именно этого второго пути, но она не могла, не хотела после прошедшей ночи ступить на него.— Иди, девочка, не беспокойся, иди. В крайнем случае телефон рядом, я тебе позвоню. Да ничего не будет. Смотри будь осторожнее на улицах,— добавила она, вкладывая в последние слова, которые она чуть ли не каждый день повторяла вот уже в продолжение многих лет, на этот раз свой особый смысл, и по глазам Наташи мгновенно поняла, что не ошиблась...

7

Утро было свежим, прохладным, во дворике поливали газон, и ребятишки весело визжали под упругой струей и разбегались в стороны. Екатерина Ивановна отошла от ок-

на, отнесла посуду на кухню, вытерла столик и села к нему шить; ей давно нужно было починить несколько вещей, пересмотреть и подштопать чулки; такая работа ее всегда успокаивала, и она потянулась к ней почти неосознанно. Она достала красивую жестяную коробку с нитками и иголками, открыла ее и долго перебирала разноцветные мотки; она вспомнила, как лет пятнадцать назад Наташа заболела воспалением легких, и очень тяжело: был момент, когда врачи потеряли надежду и не могли сказать ничего определенного, стрелка дрожала где-то на нуле; и Екатерина Ивановна, добравшись к полночи из больницы, вот так же отупело села шить; она шила Наташе платье к лету из куска белого шелка, и в какой-то момент, когда она стала обметывать петли, ей показалось, что Наташи не стало, не стало именно вот в этот момент, когда она заканчивала платьице; сейчас, вспомнив об этом, Екатерина Ивановна поняла, что сегодня ей и шитье не поможет; она посидела еще, уронив руки на столик, затем, не притрагиваясь ни к еде, ни к чаю, поднялась этажом выше и долго смотрела на белую кнопку звонка, с усилием припоминая, что же она хотела сделать. Затем вздохнула и позвонила и только после этого подумала, что не надо было бы мешать человеку. Увидев перед собой оживленное лицо Юреньева с тяжелыми припухлостями у глаз, она спросила: «Можно?» — и вошла, по пути привычно оглядывая с каким-то чувством новизны и отмечая это про себя, и шкаф для одежды, и ветвистые оленьи рога для шляп, и картины.

— Доброе утро, Екатерина Ивановна,— сказал Юреньев обрадованно.— Вот хорошо, что вы зашли, а у меня как раз для вас...

— Здравствуйте, Николай Кузьмич. Ну как спали? Ого, приличная батарея собралась! — удивилась она.— Да и я ведь коньяку выпила, этот прохвост Фомичев вчера удосужил.

— Я его во втором часу только выпроводил, хотел у меня на диване спать ложиться, да, к счастью, вспомнил о жене.— Юреньев засмеялся.— По-моему, он ее основательно побаивается...

— Должно быть. Крупные мужчины большей частью под каблуком у своих жен. Вы составляете исключение,— сказала она, оглядывая его большую, сильную еще фигуру опять же с каким-то тревожным чувством открытия: в его

голосе, в манере говорить, часто поднося руку к вороту пижамы, было что-то до такой степени знакомое и необходимое ей, что у нее закружилась голова, и она, не в силах ничего больше сказать, опустилась на подвернувшийся стул и притронулась к лицу руками, словно закрывая его.

— Да что с вами, Екатерина Ивановна, в самом деле? — донесся до нее беспокойный голос Юреньева, и она, не решаясь взглянуть в его сторону, пожала плечами.

— Ничего, Николай Кузьмич, просто мы помирились с Наташей. Наташа, скорее всего, уйдет от меня,— сказала она, вновь постигая смысл этих слов.— Совсем уйдет, то ли к своему Владиславу, если у них сладится, то ли просто... отдельно станет жить.

— Так,— уронил Юреньев больше от растерянности.

— Она к вам больше не будет, очевидно, приходить, чтобы меня не видеть и не метаться больше между им и мною. В любом случае, будет она с ним или одна, она лишь ему будет принадлежать. И самое трудное, Николай Кузьмич, что она, наверное, права...

— Успокойтесь,— сказал Юреньев, хмурясь.— Хотите чаю с коньяком?

— Опять с коньяком? Нет уж, увольте, и мне нельзя, и вам ни к чему. Что вы обманом себя тешите, сердце бог крепкое дал? Годы наши свое возьмут, сколько бы вы ни хорохорились. Ну вот, поглядела на вас, распушила, теперь пойду.

— Ну, уж нет, дудки, ничего у вас не выйдет,— прогудел он сердито.— Не хотите с коньяком — будет вам просто чай. А коньячку бы хорошо, для тонуса, врачи очень рекомендуют. И бледны вы, матушка,— говорил он, доставая чашки толстыми, сильными еще руками.— Чего это вы улыбаетесь сардонически, нехорошо, нехорошо! На то она и девица, выросла и уйдет, извечный путь. А что же вы ей прикажете — сидеть возле нас, стариков? Ей по всем статьям мужчина рядом нужен, молодой, сильный, умный, на этом жизнь и держится.

— Да разве я против этого, Николай Кузьмич? — не совсем искренне удивилась Екатерина Ивановна.

— А против чего же? И потом — почему вы знаете, что она уходит?

— Чувствую.

— Ох уж эти женские чувства! Женские чувства —

всегда преувеличение, там, где просто и ясно, вам не нравится, сразу, матушка, искать извилины начинаете.

— Здесь как раз не все просто и ясно,— сказала Екатерина Ивановна, чувствуя к нему в эту минуту полное, почти безграничное доверие и непрерывно расстегивая и застегивая верхнюю пуговичку на хорошо выстиранной и отутюженной до блеска, давно уже старомодной кофточке в талию, с круглым пикейным воротничком. У нее были сейчас странные, беспомощные глаза, это были глаза не старого человека, и он понял этот беспомощный жест руки и ее растерянность. И если раньше, когда она сказала, что Наташа уходит и, очевидно, не будет больше работать у него, он встревожился в первый момент о себе и о том, какое неудобство ему это принесет, то сейчас эта старая женщина, которую он хорошо знал и дорожил ею, открылась совершенно иначе, и ему показалось, что раньше все это была игра и только вот теперь прорвалась жизнь, прорвалась жестоко и больно для нее, и еще он подумал о той бесконечной череде зим и ночей, когда она не спала, и поднимала дочь, и привыкла считать ее своей собственностью, и вот сейчас ошиблась; насколько же ее жизнь была труднее его жизни, и он не знал, что можно сделать ей за это хорошего; он взял ее маленькую, сухую руку и поцеловал ее,— кожа Екатерины Ивановны чем-то свежо пахла.

— Успокойтесь, Екатерина Ивановна,— сказал он, скрывая охватившее его восхищение перед нею.— У молодых иные законы, иные ветры, уверяю вас, они об этом даже и не думают. Нельзя быть такой обнаженной, без кожи,— каждый муравей защекочет.

— Да, наверное,— сказала она со странной для него уверенностью.— Ну, не защекотали же, я так и осталась максималисткой, вероятно, мне раньше многие говорили. Теперь уже поздно меняться, Николай Кузьмич. У меня и к вам есть счет.

Он не стал спрашивать, какой именно, посерьезнел, лишь еще раз поцеловал ее руку и отошел.

— Вот видите,— сказал он немного погодя и сел на низенькую, узкую софу, стоявшую у стены, сдвинув книги, наваленные беспорядочными стопами.— Вот и получается, нельзя вам от меня отрываться, надо же и нам доживать и что-то делать, продолжать делать свое, делать свое. Выходит, мы с вами одной веревочкой связаны.

— Слишком вы высоко меня занесли, Николай Кузьмич,— сказала Екатерина Ивановна.— Мне кажется, что мне теперь уже ничего не нужно, жить нечем и незачем.

— Полно, полно, Екатерина Ивановна! — с сердцем прикрикнул на нее Юреньев.— У вас тó есть, чего у других днем с огнем не отыщешь. У вас какой-то свой секрет в жизни есть, рядом с вами и я себя спокойнее чувствую, а почему? А вот и не знаю, почему, видите, как вы меня расшевелили, околесицу несу. Вдруг в самом деле возьмете и уйдете, а я, мне что прикажете делать? Пойдемте-ка на кухню, выпьем кофе... или сидите-ка, я сюда принесу... сидите, я сейчас.

Она поглядела ему вслед; у него был седой, нестриженый, лохматый загривок, широкая, покатая спина и толстые, тяжело и чуть косолапо ступавшие от старости ноги. Когда он вернулся, неловко неся перед собой маленький, уставленный всяким добром поднос, она принялась помогать ему. Юреньев легко прихватил из ее рук бутылку с недопитым коньяком.

— Вы как хотите, а я сегодня выпью,— сказал он сосредоточенно,— уж такой день. Последние тридцать лет я только и знаю одну работу. Изо дня в день, без праздников и выходных. Меня могут упрекнуть, что я мало сделал, плохо сделал, но никто, слышите, никто не посмеет указать мне на то, что я сказал хоть одно слово неправды. Вот мое утешение.

— Ну, ну, развоевался, Аника-воин, кто с этим спорит, Николай Кузьмич,— шутливо подзадорила она его.

— Спорят, спорят, Екатерина Ивановна! — сказал Юреньев совсем тихо.— Я сам с собой спорю. Мне порой кажется, что мне просто холста не хватило. Посмотришь на иную картину и видишь — весь человек перед тобой выложился, весь, как есть, вот она, главная сердцевина его, как на ладони. А мне не хватило. Пишу, латаю, а главного не сказал, холста не хватило.

Слушая Юреньева и не отрывая от него взгляда, Екатерина Ивановна думала, что у каждого свои пропасти и у этого красивого, сильного, восхищавшего ее всегда человека тоже. И все-таки она, революция, была, и Костя был, и был тот страшный день и тени от виселиц.

— Вчера пятница, сегодня суббота, и каждый день так, каждую неделю, до самого конца,— донесся до нее снова

голос Юреньева.— И уже ничего нельзя изменить. Продолжать делать свое, пока руки держат перо.

— А революция-то была,— сказала она ему неожиданно, зябко приподнимая плечи, и от ее тихого, почти грустного голоса в этот момент Юреньев растерялся и придвинулся ближе, присматриваясь к ее лицу.

— И никто ничего не сможет с нею сделать,— опять сказала вслух какую-то свою затаенную мысль Екатерина Ивановна.

— Что вы имеете в виду? — осторожно, оставляя в запасе, если понадобится, окольные пути, спросил Юреньев.

— Так, это я только для себя,— сказала Екатерина Ивановна.— Я вообще сейчас говорю, подумалось — и говорю. Одним словом, никто уже ничего не переменит, Николай Кузьмич, вот что самое замечательное.

— О чем вы?

— А так, подумалось отчего-то, вот и сказала. Просто так... Жизнь наша не впустую прошла — и ладно, вот наше утешение.

Екатерина Ивановна глядела на его руки, положенные ладонями вниз, одна подле другой, на край стола, с короткими, точно обрубленными, мясистыми пальцами, а Юреньев думал о ее последних словах; было какое-то смутное мгновение, когда ему стало страшно поглядеть на Екатерину Ивановну, как бывает страшно рядом с неожиданной пропастью, и, чтобы отделаться от этого неприятного ощущения, он отошел к окну, стал смотреть на улицу.

— Смотрите, Екатерина Ивановна,— сказал он,— какой хороший день. Я сейчас вызову такси. Уедем за город, посидим где-нибудь над рекой, ведь и вы и я можем себе это позволить? А, право?

— Зачем?

— Не знаю... Ну как, Екатерина Ивановна, а?

Не дождавшись ответа, он прошел в свой кабинет, где стоял телефон, оставив дверь открытой, чтобы видеть ее: боялся, что она уйдет, и, набирая номер, заказывая диспетчеру машину на весь день, стоял лицом к двери, и Екатерина Ивановна не знала, отказаться или согласиться; она уже много лет не была за городом и не могла решить, что же ей делать.

И, уже сидя рядом с ним в машине и наслаждаясь с непривычки все ускоряющейся быстротой движения, глядя на мелькавших людей на тротуарах, на дома, затем на поля

и перелески, она подумала отчего-то (и не только подумала, но и почувствовала), что она чем-то богаче этого сидящего с ней рядом большого, умного человека, которому она часто завидовала; она сама не знала, в чем было ее богатство и счастье, это было всего лишь охватившее ее минутное чувство, и она не могла его объяснить даже себе, но она знала, что это так, она как-то даже помолодела от этого.

Они вышли на крутой, не тронутый людьми берег, весь в луговых цветах, голубых, желтых, малиновых, они были совсем незнакомы Екатерине Ивановне: против тех гладиолусов и роз, что продавались в городских киосках, эти цветы были незаметны, неярки, почти не привлекая, густой россыпью мелькали они в разнотравье; Екатерине Ивановне захотелось заплакать.

Молодой, лет двадцати трех, шофер, с которым Юреньев заранее договорился о плате, удивленно поглядел им вслед, чему-то беспричинно улыбнулся, поглядел на себя в смотровое зеркальце, выключил мотор и лег рядом с машиной на траву читать, но читать не мог, а повернулся на спину и стал глядеть в небо. У него еще никогда не было таких забавных пассажиров; они почти всю дорогу молчали, и ему в зеркальце было видно сосредоточенное, почти суровое лицо старой женщины, и то, что они, двое таких стариков, ехали за город и взяли на весь день машину, тоже шоферу было непривычно, и он невольно об этом подумал сейчас, глядя в небо, и в нем от сосредоточенности этих стариков стала жить какая-то тревога. Он был молод и от своей молодости и здоровья счастлив, и от цветения кругом скоро к нему пришло беспокойство, он встал, выпрямился и стал оглядывать все вокруг с каким-то новым, острым чувством непривычной новизны. С высокого берега реки смотрелось хорошо, далеко и ясно, были поля, село в зелени садов, залитое солнцем, все в легкой мгле; а вечером, в парке, на танцплощадке, его будет ждать девушка, и сегодня он хорошо заработает; и потом он вспомнил неподвижное, показавшееся ему удивительно красивым лицо старой женщины и ее глаза, однажды они встретились взглядом через зеркальце, и он больше не посмел туда глядеть и ни разу не поглядел. И сейчас ему до смерти захотелось сделать что-нибудь необычное,— может быть,

разогнать машину и взлететь с нею вместе или еще что-нибудь такое; все вокруг было в солнце и в теплом, душистом ветре — и река, и поля, и села в садах, и небо.

Он повернул голову и увидел своих пассажиров рядом на самом высоком месте берега, они стояли так давно и куда-то смотрели. И тогда шофер понял, чего ему не хватает сегодня и, возможно, будет теперь не хватать долго: согласной тишины тех двоих, а может быть, и нет, может, ему не хватало чего-нибудь другого.

И ему стало неловко глядеть на них, он пошел в противоположную сторону, и, отойдя далеко, оглянулся, и опять увидел их, потому что они стояли на том же самом высоком месте берега, где призрачная мгла от солнца не просматривалась и лишь только чувствовалась большая легкость воздуха. Шофер отошел еще дальше, опять оглянулся и снова увидел их; они почему-то мешали ему, и хотелось от них уйти, и он спустился под обрыв. Он разделся, гордясь своим крепким, молодым телом, подвернул широковатые трусы, вошел в воду и поплыл; где-то на середине реки он перевернулся на спину и опять увидел их; старики стояли на том же месте, залитые солнцем и воздухом, и за ними было небо, и у шофера, долго глядевшего в это пространство, сладко заныло в груди; несильно обхватив его тело, река тихо двигалась вместе с ним, и небо двигалось, а он лежал, неподвижно раскинув руки и выпятив крутую грудь, и ему казалось, что он движется туда, где нет, не было и никогда не будет конца. И от этого открытия ему стало еще лучше на душе и еще тревожнее, и он совсем теперь не знал, что с ним происходит, что он такое и как будет жить через час или завтра.

Один берег был крутой, с глинистыми известковыми обрывами, другой, полого поднимаясь, переходил в степи, разрезанные кое-где оврагами, и с неба в глаза шел бесконечный голубой свет, даже нельзя было себе представить в сорока километрах от города такие места, такую траву и такие высокие облака.

ТАЙГА

ПОВЕСТЬ

1

Все началось с того, что в диких, малообследованных Медвежьих сопках исчез почтовый самолет с трехмесячной зарплатой рабочих леспромхозов, звероводческих совхозов и других предприятий в верховьях Игрень-реки и весть эта быстро распространилась по всей округе на сотни километров: назывались большие цифры — свыше миллиона рублей, а некоторые говорили о трех. Поиски с воздуха ничего не дали, и тот, кто хоть немного представлял себе Медвежьи сопки, не видел в этом ничего удивительного. Горный массив, захвативший сотни безлюдных квадратных километров, дикие, неприступные скалистые ущелья, распадки и склоны; тайга, заваленная вековым буреломом, метровыми снегами удивительной голубоватой чистоты, бездонные провалы, скрытые под той же слепящей и, казалось бы, совершенно безопасной белизной, в которой каждая черточка осыпавшейся хвои радует — все-таки что-то живое, понятное, просто земное, тогда как эта сверхъестественная белизна была откуда-то из-за той грани, которую никогда не переступает живой человек, и живой зверь, и даже живая трава.

Иван Рогачев, большой, здоровый мужчина тридцати пяти лет, любивший пожить сладко и привольно, и особенно, если это касалось второй, слабой половины рода человеческого, лежал на деревянной широкой кровати в своем совершенно пустом доме и переживал. Его жену, молодую женщину двадцати семи лет, на прошлой неделе

отправили на самолете в область; врачи открыли в ней какую-то непонятную болезнь, и теперь Иван Рогачев уже вторую неделю проводил в одиночестве. Характера он был общительного, широкого и доброго, и быть в одиночестве, одному есть, и растапливать печь, и стелить себе постель было для него чистым мучением. Так уж выпало, что, когда жена заболела (а Рогачев тайно любил свою Тасю и здорово ревновал), он взял отпуск, чтобы ухаживать за больной женой,— первый за три года, до этого они отпуск с женой не брали (в этом, разумеется, был свой расчет: хотели взять сразу за три года и поехать на родину Рогачева, на материк, на Смоленщину). Отпуск ему неожиданно легко дали, хотя был самый сезон лесозаготовок и рабочих не хватало. И вот теперь Рогачев, оказавшись совершенно не при деле, мучительно раздумывал, пойти ли завтра к мастеру и попросить наряд, или поехать в область, к жене в больницу, или выкинуть что-нибудь такое позаковыристей; он вспомнил, как перед вечером ходил в столовую, пытался подъехать к знакомой буфетчице, но попал, очевидно, не в добрую минуту, и буфетчица не приняла его заигрываний, и вот теперь он лежал и злился. Он был очень сердит на Зинку-буфетчицу, зная определенно, что она не обделяла своим радушием многих в поселке, а ему, здоровому, сильному, хорошо знавшему о своей мужской силе и привлекательности, наотрез отказала, и он никак не мог этого стерпеть, он даже встал и, прошлепав босиком по настывшему полу, напился у порога ледяной воды и, несколько успокоившись, лег опять; сон не шел, лунные квадраты медленно передвигались по стене, побледнели и совсем истаяли, и тут в голову пришла замечательная, как ему показалось, мысль; он даже вскочил, обдумывая эту мысль со всех сторон: чего там, все проще простого, в Медвежьих сопках он не раз бывал и зимой и летом, исходил их вдоль и поперек, бывало, до пятнадцати соболишек там брал, выкроив недельку-другую где-нибудь в разгар зимы. Тоже прибыльное дело, соболь в Медвежьих сопках красивый, крупный, идет высшим сортом, ничего особого, если он на пару недель оторвется в тайгу, сколько раз так бывало, и жена не удерживала, наоборот, весело и домовито собирала его в дорогу. Рогачев довольно завозился в постели, вспоминая свою маленькую, крепко сбитую кареглазую жену. Он решил завтра же написать Тасе сразу два письма, собраться

и к вечеру отмахать верст этак сорок на своих старых охотничьих лыжах; приняв решение, Иван Рогачев успокоился и сразу же уснул. Утро было ясное и морозное. Придя завтракать в столовую, сложенную из смолистых крепких бревен (столовую срубили прошлым летом — бревенчатый дом с просторным залом и низкими потолками, длинным рядом столов, сбитых из крепких досок, деревянным высоким буфетом местного же производства), Рогачев плотно поел, выпил два стакана компота и, покосившись на засиженные мухами плакаты о технике безопасности, заговорщически подмигнул хмурой буфетчице, с грохотом передвигавшей ящики в своем углу и, как пить дать, жалевшей сейчас о своей вчерашней холодности к нему, Рогачеву:

— Жалеешь, Зинок? Ну, признайся, жалеешь.

— Помог бы лучше, чем зря языком-то чесать. Шлендрают тут всякие. Ничего тебе не перепадет, проваливай, видишь, товар принимаю.

— И пожалеешь, да поздно уже,— притворно вздохнул Рогачев.

— Еще чего жалеть, всех не пережалеешь, много тут вашего брата ходит,— искоса метнула Зинка в сторону Рогачева любопытный, оценивающий взгляд.— Свою-то заездил, в больницу свез?

— Да нечто этим бабе можно повредить? — искренне удивился Иван Рогачев.— От этого она только распышнеет. А ты погляди-ка вон на себя, Зинок, в буфете среди всякой сласти сидишь, а сама точно дрючок высушенный.

Буфетчица разозлилась, наконец, по-настоящему и пошла на него грудью, схватив попавшееся под руку грязное полотенце. Рогачев выскочил на крыльцо, очень довольный, что вывел все-таки ее из себя. Дойти по морозцу до дому через поселок в другой конец было делом нескольких минут. Весь день до вечера Рогачев собирался, сосредоточенно и неторопливо, раза два еще сбегал в магазин и спать лег рано, спал крепко и без сновидений. Встал он затемно, вынес на крыльцо тяжелый, пуда в два с половиной, рюкзак, ружье, охотничьи лыжи, сходил к почте и опустил в ящик сразу два письма жене (почта была рядом, через три дома), затем, несмотря на сильный мороз, неторопливо покурил на крылечке, обдумывая, ничего ли не упустил в сборах, крепко подпоясался, запер дом, сунул ключ в потайную щель, известную лишь ему да жене, и,

навьючив на себя рюкзак и приладив винтовку, сунул широкие лыжи под мышку и тронулся. Было безветренно, и снег остро хрустел, а когда Рогачев вышел за поселок, рассветный мороз стал жечь сильнее, и у него мелькнула короткая мысль вернуться, он даже приостановился на минуту, но тут же двинулся дальше, говоря себе, что никто его в спину не гонит, но, думая так, он уже знал, что не вернется, какое-то ложное, но сильное чувство не позволило бы ему это сделать; Рогачев посерьезнел, и это опять вызвало нечто неприятное, это было словно в ощущении приближения тяжелой болезни или вообще какого-то большого перелома в жизни; он шел ходко, ему явно некстати вспомнилось совсем уже далекое, еще с той довоенной поры, когда он был пятилетним мальчиком и были живы отец с матерью, вспомнились зубцы старой крепостной стены в древнем городе Смоленске, у которой отец любил с ним гулять, отец сильно подбрасывал его вверх длинными мосластыми руками и что-то говорил улыбаясь; потом было лето и осень сорок первого года, грохот и стон умирающего города; из этой поры Рогачев помнил неясно, отрывочно, смутно. И мать и отец были связаны с подпольем, и оба были расстреляны, но это он хорошо помнит, тогда ему было уже восемь лет. Он помнит замученную весеннюю ночь, когда мать в темноте (он навсегда запомнил ее белое испуганное худое лицо с сумасшедшими глазами) быстро одела его и, выталкивая во двор через заднюю дверь, твердила быстрым, пропадающим шепотом:

— Беги! Беги! Беги, сынок! Милый, родной, скорей! Скорей!

— Куда, мама? — спросил он тогда, оглушенный происходящим, улавливая в темноте какое-то бесшумное, напряженное движение в доме и замечая темную фигуру отца с автоматом у светлевшего пролома окна.

Он не закричал и сразу подчинился матери и, замирая перед сырой весенней тьмой, побежал через двор к уборной, за которой знал дыру в заборе, унося на лице ощущение дрожащих теплых рук матери; именно через них, через эти руки, все его маленькое тело впервые наполнилось животной, смертной тоской, и он, не останавливаясь, бежал и бежал, проваливаясь в какие-то ямы, лез через груды обломков и заборы, и, наконец обессилевший, забился под обломок стены в рухнувшем здании и, размазы-

вая слезы, начал безудержно, беззвучно плакать. И потом он уже больше никогда не видел ни отца, ни матери и лишь позднее, шестнадцатилетним парнем, уже будучи в ФЗО, узнал об их кончине. Захоронение их не было известно, и Рогачев, сидя перед усатым капитаном из КГБ, выслушал его рассказ в каком-то тягостном и замороженном состоянии; ему лишь хотелось как можно скорее вернуться в общежитие к ребятам. Когда рассказ капитана пришел к концу, Рогачев поблагодарил и, встретившись с внимательными глазами капитана, вышел из кабинета, все в том же отупелом состоянии, и, очутившись на улице, тут же свернул в пустынный, безлюдный переулок; ему все казалось, что на него смотрят, отовсюду смотрят, и он не мог избавиться от этого ощущения. В тот день он плакал в последний раз в жизни, и ему все казалось, что на сердце ему кто-то сыплет колючую холодную пыль; в один час он перешагнул розовое поле детства и ступил в иной мир, в иное пространство и равновесие...

Рогачев глубоко и растроганно вздохнул и, свернув с дороги, приладил лыжи; перед ним стояла снежная тайга, без конца и края; начинался звонкий от мороза февральский день, и солнце косо скользило по верхушкам самых высоких деревьев; Рогачев шел легко и свободно, плотно слежавшийся к концу зимы снег хорошо держал его и лишь изредка проседал под лыжней; все мысли отошли от него, и он весь отдался свободному непрерывному движению, белой, оглушительной тишине; по-прежнему не было ни малейшего шевеления воздуха, и старые, высокие ели стояли часто, голые в полствола, почти совершенно закрывая небо. Часа через два он минул эту полосу, и начался лиственный лес, теперь с елями вперемежку, и сразу стал чувствоваться некрутой, непрерывный подъем, и небо посветлело и раздвинулось, голубое молодое сияние ударило в глаза, такое небо всегда бывает в конце февраля. Вскоре и ветер потянул со стороны сопок, безмолвно поднявших свои острые вершины, сиявшие впереди нестерпимой белизной. Рогачев старался не смотреть в их сторону. За день он останавливался лишь однажды, поесть, согреть и напиться чаю, и к ночи вышел к знакомой горной речке, густо поросшей по берегам ольхой и тальником. Он немного не рассчитал, и до заброшенной охотничьей избушки на берегу ему пришлось добираться в темноте; за день он не встретил на своем пути ни одного следа, вполне

вероятно, что в эту зиму сюда никто из охотников не забредал; про себя он несколько удивился, здесь уже встречался соболь, цепочки его следов Рогачев пересекал перед вечером трижды.

Расчистив от снега сколоченную из тесаных досок и расшатанную дверь, Рогачев поставил снаружи стоймя к стене лыжи, затащил в избушку значительно потяжелевший к вечеру рюкзак и присел на голые нары, нащупав их по памяти; впервые за весь день, стащив шапку, он закурил. Огонек спички осветил черные бревенчатые стены с лохмотьями копоти в пазах, груду сухих сучьев у очага, сложенного из дикого камня, низкий бревенчатый потолок, тяжелую лавку и стол в углу; окна вообще не было. Не спеша докуривая и чувствуя, как отходят уставшие ноги, Рогачев посидел, отдыхая, затем стал быстро устраиваться. Разжег огонь, поставил таять снег, достал крупу и кусок сухого мяса; после бесконечной утомительной белизны глаза отдыхали; он сварил крупяной суп и приготовил место для спанья; воздух в избушке постепенно нагревался, но стены оставались холодными, и именно через эти стены к нему пришло чувство отъединения от всего остального мира; по еле слышно звучавшим стенам он понял, что мороз в ночь усиливается; он с жадным аппетитом съел суп и мясо, вычистил снегом котелок и поставил греть чай; дрова горели дружно и ярко, старый запас их был невелик, но на ночь, должно, хватит; Рогачев подбросил в огонь три полена потолще и с тяжелой, расслабляющей сонливостью в теле прошел к нарам, через силу бросил на нары полушубок и лег. Заснул он еще в движении, когда ложился, и стал слышен один только негромкий голос огня в очаге, треснет перегоревший сучок, осыпется раскаленный уголь. Настывшие за зиму бревна в стенах постепенно прогревались изнутри, и потолок начинал сыреть. Рогачев спал крепко, несколько часов подряд на одном боку и проснулся в самое начало рассвета от холода бодрым, отдохнувшим и, полежав минуты две, соображая, вскочил, принялся весело разводить погасший огонь. Камни очага были теплыми, и он задержался на них ладонями, посматривая на слабый огонек, постепенно набиравший силу.

Поставив котелок на огонь, Рогачев вышел из избушки и задохнулся сухим, веселым морозом, тайга уже выступила из белесой, предрассветной мглы, и раскаленный во-

сток взбух и придвинулся к земле, а дальше к северу снова отчетливо прорезались острые вершины сопок. Наверное, на все полсотни натянуло, подумал Рогачев, пряча в карманы застывшие руки и подергивая мускулами лица, сразу схваченного морозом. Ему хотелось увидеть момент восхода солнца, и он потоптался на месте, с неосознанным удовольствием чувствуя, что прочная и легкая оленья одежда хорошо держит тепло. Он громко и протяжно закричал, пораженный своим одиночеством, и, вслушиваясь в ответный гул тайги, бездумно засмеялся; вот пошел, и хорошо, хорошо, такого нигде больше не испытаешь, только здесь, на Севере, подумал он.

Светлело с каждой минутой, деревья проступали в чистейшей тишине, краем показался огромный и бледный диск солнца, и Рогачев, напрягшись, ждал, пока колючий холодный сноп его лучей ударит в глаза; зажмурившись, он отвернулся; в глазах расходились черные круги. Он вернулся в избушку, позавтракал, затем, взяв маленький походный топорик, пополнил запас дров; на снегу вокруг избушки появилось живое кружево следов, и Рогачев, внезапно затосковав, все медлил и не решался отойти от места своего короткого ночлега в белую, нетронутую даль, но идти было нужно, и он, скользя по твердому насту, пересек речку, не торопясь, поднялся по распадку между двумя сопками, редко проросшему ельником и березкой, и шел опять не останавливаясь до трех часов. Отмерив себе остановку у сломанной старой березы, он в начале четвертого с размаху остановился, так что снежная пыль веером поднялась над лыжней, сбросил рюкзак и стал готовить место для ночлега. Он выбрал отвесную каменистую скалу, расчистил у ее основания снег до самой земли, свалил две сухостоины, разрубил их и, перетащив к скале, разжег огонь; нужно было приготовить поесть, нарубить еловых лап для спанья, и Рогачев заторопился; силы ему было не занимать, и он работал споро и с удовольствием. Хотя он и устал, но его усталость была легкой, привычной, как после обычного рабочего дня, и, уже засыпая после всех хлопот и чувствуя у себя на лице приятную теплоту от ровного огня, он подумал, что успел за эти два дня соскучиться по живому человеческому голосу, нужно было бы взять с собой собаку, но ведь ее нужно кормить, тут же сонно подумал он, окончательно засыпая; слабое чувство тоски и подавленности от безмолвия осталось в нем и во

сне и в следующие третий, четвертый и пятый дни усилилось. Рогачев иногда даже останавливался и, освобождая уши от шапки, пытаясь уловить хотя бы какой нибудь звук.

В начале второй недели запас продуктов уменьшился вполовину, Рогачев исходил район Медвежьих сопок вдоль и поперек и успел до самых глаз зарасти черной, густой щетиной; пора было думать о возвращении, и он, радуясь предстоящей встрече с Тасей, довольно посмеивался. «Пора, пора и домой,— говорил он,— кого это я удивлю своими подвигами, разве что буфетчицу Зинку?» Тайная мысль, которую он гнал от самого себя — найти остатки разбившегося самолета,— казалась теперь смешной посреди этого огромного, бесконечного, равнодушного безмолвия. Нет, надо же подумать, захотел найти какой-то паршивый самолетишко среди этого страха, да тут тысячу лет будешь ползать, костей своих не соберешь, не то что самолет.

И живность точно вымерла, хоть бы в насмешку баран какой завалящий попался или олешек, да ведь все словно вымерло, точно чума какая прошла или холера, один только раз и видел каменного соболя.

Рогачев открыл глаза после полуночи от холода, поправил костер и теперь никак не мог заснуть, пялился в черное, с ледяными колкими звездами, небо, думал о жене, теперь она дома наверняка, зря ее, наверное, в область и таскали, какая там болезнь, баба кровь с молоком, в ней каждая жилочка играет; Рогачев засопел, заворочался, вспомнив жену, так, блажь какая-то, что хочешь отыщут эти доктора, дайся только им в руки. Недаром он, Рогачев, за семь верст их обходит. Но дело не в этом. Вот вернется Таська домой, а его нет как нет, и на столе лежит путаная записка, и в ней сказано, что ему-де захотелось побродить по сопкам, ну, она подумает-подумает и пойдет с подружками в клуб, а в поселке полно молодых парней, голодных, как волки по весне. Долго ли перемигнуться да столковаться, заслышав тихий стукоток в окошко, встать и откинуть крючок, а там разбирайся, как случилось, дело живое, горячее. Вот он тут загорает возле костра, а там небось...

От такой невероятной, незаслуженной обиды Рогачев окончательно разволновался и расхотел спать, решив ут-

ром же, затемно возвращаться обратно, тем более что харчей оставалось ровно на шесть-семь дней, как раз впритык дойти; довольно накручивать и взвинчивать себя, ну даже нашел бы он эти миллионы, ну и что дальше? Куда бы он их дел? В банк не положишь, детям (которых, кстати, пока тоже нет) не оставишь по отходной; можно было, конечно, уехать с Таськой куда-нибудь к теплому морю и прокутить все в два-три года, было бы что вспомнить, да ведь кто в Тулу со своим самоваром ездит? Дурак дураком ты, Иван, герой без крылышек, больше ничего по такому случаю и не скажешь. Государству этот твой подвиг тоже не нужен, государство крутанет машинку, сколько хочешь миллионов отстучит, успевай мешки подставлять. А те несчастные миллиончики вместе с самолетом и одним, двумя бедолагами спишутся в графу убытка по случаю несчастья и суровой северной местности, и дело с концом, точка. И кончай бродить; каждый должен свое родимое дело знать: пахарь — ковыряй себе землю, слесарь — возись с железом, а если ты лесоруб — у тебя в руках тоже своя профессия, не хуже иных прочих. А пропавшие самолеты пусть ищут те, кто к этому делу приставлен, а то пока ты геройства ищешь, собственную жену уведут, днем с огнем потом не вернешь.

Настроившись таким образом, обрадованный и освобожденный от сомнений, Рогачев перед самым утром забылся коротким сном, и еще затемно, точно от толчка, проснулся, быстро, без суеты собрался, позавтракал слегка, лишь только заглушил чуть-чуть чувство голода, чтобы легче было идти, и отправился в обратный путь. Тело было легким, по-молодому подобранным; он наметил себе путь напрямик, и, пробежав километров пятнадцать под уклон, остановился поправить лыжи, и, внезапно охваченный каким-то предчувствием, взял винтовку в руки. Это странное предчувствие опять хлынуло на него, когда он уже собирался двинуться дальше, и он долго и напряженно осматривался, затем пробежал немного назад, метров двести и остановился как вкопанный; точно, след его лыжни пересекал другой, чужой след, который он при быстроте движения не заметил, но который все же каким-то образом отложился в нем и заставил его вернуться. Чудеса, подумал Рогачев, больше озадаченный, чем обрадованный, машинально отмечая про себя, что чужие лыжи чуть у́же его собственных и короче, и что человек, видно, сильно ус-

тал и потому шел неровно, и что весил он немного и был небольшого роста. Надо же угораздить, сказал Рогачев, озадаченный еще больше тем, что неизвестный прошел недавно, ну, может даже сегодня рано утром, и что шел он в сторону совершенно безлюдную и дикую, к юго-западному побережью, где лишь в периоды сельдяной путины можно было наткнуться на людей. Или он спятил, подумал Рогачев, даже ведь до пустых бараков не дотянет, верст шестьсот-семьсот с гаком придется отмахать. Рогачев находился в двойственном состоянии: во-первых, ему хотелось проследить, откуда и почему лыжня протянулась из безлюдных Медвежьих сопок и что там делал человек; а во-вторых, ему хотелось, несмотря на все ночные доводы, во что бы то ни стало пойти по следу, догнать незнакомца и убедиться своими глазами, что он есть на самом деле, существует, очень уж неожиданной была на этом нетронутом снегу лыжня.

Рогачев пробежал по следу назад километра три, поднялся на склон высокой сопки и остановился в раздумье: лыжня огибала склон и терялась в редкой тайге, в распадине. По-прежнему ослепительно сияли снега, было безветренно и оглушительно тихо, глаза начинали побаливать, и Рогачев напряженно щурился. Он прикинул в уме, на сколько еще ему хватит продуктов, и решил, что дней пять вполне можно протянуть; он принадлежал по натуре к характерам сильным и не терпел неопределенности ни в чем; казалось, он чего-то не доделал, хотя бы и мог. В той стороне, откуда тянулась лыжня, находилась самая глухая и непроходимая часть Медвежьих сопок, и было непонятно, что там мог делать человек, разве какой-нибудь отчаянный охотник из местного населения приходил пострелять соболей, соболь тут водился знатный. Рогачев тут же отбросил эту мысль: сезон давно кончился, еще с месяц назад областная газета писала о том, что план добычи мягкого золота, в том числе и соболей, выполнен на двести тридцать процентов. Хотя, конечно, и это ничего не значило, мог охотиться какой-нибудь сорви-голова одиночка, но тогда какого черта его понесло к юго-западному побережью? Может, какое-нибудь кочевье? Хоть все равно ни один охотник не решится идти на охоту почти за тысячу верст, здесь что-то не то. Рогачеву до невозможности хотелось размотать эту неожиданную загадку, и так как он был твердо уверен, что больше сорока-пятидесяти кило-

метров в ту сторону, откуда тянулся след чужой лыжни, пройти невозможно, он решил потратить на это сегодняшний день и, поправив тощий мешок за спиной, пустился в путь в остром предчувствии каких-то новых открытий и ощущений; подспудно в нем брезжила одна потаенная мысль, но он гнал ее, и она, возвращаясь, усиливалась, и Рогачев окончательно твердо уверился, что эта чужая лыжня связана с исчезнувшим самолетом; он бежал, разгорячившись, быстрее, не пропуская однако, ни одной мелочи в пути. Мелькнула мимо молоденькая елочка под неправдоподобно огромной шапкой снега, он, отметив про себя остановку того, чужого, внимательно на ходу осмотрел снег кругом, не брошено ли чего.

Скатываясь со склонов и замедляя движение на подъемах, Рогачев заметно напрягался (пройденное расстояние давало себя знать ощутимо) и километров через двадцать останавливался; след лесенкой уходил круто вниз, в заросшее густой неровной тайгой ущелье. Солнце клонилось к вершинам сопок, и Рогачев видел сверху дружно заполнившую ущелье тайгу, равнодушно сиявшую под косым холодным солнцем; снегу-то, снегу там, безразлично и вяло подумал он и начал осторожно опускаться. Еще одна мысль мучила его: ведь должен же был этот чужой откуда-то прийти, несомненно, но откуда?

Уже метров через двести, еще издали Рогачев все понял и сам удивился, как у него может так сильно биться сердце: перед ним было место крушения, узкая, сбитая силой падения самолета, проплешиной искалеченная тайга, куски покореженного железа и два изуродованных до неузнаваемости трупа, один, почти перебитый пополам, со смятой головой, другой вообще как мешок с перемолотыми костями свисал с расщепленной пополам толстой ели метрах в пяти от земли, на той же высоте завис обломок самолета. Видать, тянули до последнего мгновения и почти дотянули до земли, помешали деревья, ну что бы ровная площадка, полянка какая-нибудь. Рогачев с ожесточением пнул попавшуюся под ноги корягу. Видать, надеялись, до конца думали уцелеть и ведь почти дотянули! Рогачев знал, что денег, если они даже уцелели в катастрофе, здесь больше нет, тот, чужой, побывал тут, и то, что тот, чужой, до сих пор незнакомый и глубоко безразличный ему человек, не позаботился о трупах, бросив останки летчиков на произвол равнодушному безмолвию, как бы праздную-

щему свое превосходство, свою победу (окружающую его тайгу и белое безмолвие снега Рогачев теперь воспринимал как нечто одушевленное и враждебное), на съедение таежному зверю и птице, обожгло его, Рогачева, незлобивого, общительного и жизнерадостного человека, ненавистью к тому неизвестному. Рогачев затравленно озирался в беззвучном сумраке глубокого ущелья, пораженный не только разрушительной силой маленького самолета; смерть пахнула ему в сердце, последний час, последняя минута людей, думавших долго жить, не помышлявших о смертном часе; в какой-то момент ему послышался крик, метнувшийся по елям и затерявшийся в толстом метровом снегу. Освободившись от лыж, поставив рядом с ними винтовку и сбросив мешок, Рогачев внимательно и подробно исследовал место катастрофы, стараясь все запомнить, иногда проваливаясь в снежные наносы с головой и отчаянно ругаясь; мертвых летчиков, вернее, то, что от них осталось, он собрал вместе, их останки замерзли и стучали как камни, но они были легче камней, и Рогачев машинально отметил это про себя. Он вырыл в снегу яму, сложил в нее останки и, пользуясь топором, завалил их валежником, сверху приладил длинный шест с большой тряпкой на конце, примотав ее найденной проволокой намертво, остатки комбинезонов на летчиках смерзлись от крови и прикипели к телу; он не стал отдирать их и отыскивать каких-либо бумаг. Выбившись окончательно из сил, измученный близостью этих изуродованных, совсем недавно молодых и сильных тел и невозможностью помочь и изменить что-либо, Рогачев собрал немного валежника и нагрел кипятку, вяло пожевал сухого мяса; нужно было торопиться, след чужой лыжни не шел из головы. Хотя было поздно и лучше было остаться в ущелье на ночлег, Рогачев решил во что бы то ни стало вернуться к тому месту, где его лыжня впервые пересекла чужой след, и поэтому через силу, тяжело, надсадно, отдыхая на особо крутых местах, он выбрался из ущелья и, не останавливаясь, повернул назад, предварительно замотав лицо теплым шарфом и оставив лишь узкую щель для глаз. Мороз к вечеру усилился, и встречный ветер жег; сопки на западе, охваченные предзакатным огнем, горели в таком ожесточенном холоде, что Рогачев нет-нет да и поглядывал на них украдкой, чем-то смутно встревоженный.

Погоню за собой Горяев почувствовал на вторые, вернее, третьи сутки, хотя вокруг беззвучно, как и вчера, расстилалась слепая вездесущая белизна; остановившись вчера для очередной передышки и оглянувшись назад, на уменьшившиеся проклятые сопки, из каменных объятий которых он, наконец, вырвался, Горяев сначала не поверил, решил, что ему просто мерещится, слишком напряжены были нервы, не только от невероятной удачи, но и от мыслей, охвативших в цепкое кольцо позже; случившееся представилось ему с другой стороны, и его впервые пробрала тоскливая дрожь. Жил себе, как все люди, работал, находилось время и на спирт, и на баб, и вот теперь у него за спиной в рюкзаке десять тысяч в крупных купюрах, в банковской упаковке, остальное (он даже боится представить себе эту цифру) надежно упрятано в резиновом мешке в приметном месте, известном ему одному. Ну, дело сделано, допустим, и что дальше, что ему делать дальше с этаким-то богатством? Да ничего, тут же постарался он успокоить разгоряченные мысли. Только бы добраться до места, не вызвав подозрений, понадежней упрятать взятые с собой деньги, о сберкассе пока думать нечего, надо затаиться и выждать, уляжется шумиха, вызванная исчезновением самолета, утихнут страсти, схлынет острота, а там дело покажет. Всегда можно затеряться, не здесь, конечно, где каждый человек наперечет, зато потом он поживет в свое удовольствие, один раз за всю жизнь, пусть теперь другие осваивают этот дикий север, он и без того отдал ему больше шести лет. Раз ему сверкнула сумасшедшая удача, можно и пожить по-человечески.

Эти несвязанные мысли промелькнули у Горяева, пока он стоял, встревоженный необъяснимым чувством опасности; он знал север и привык к нему. Вот так не раз приходилось бродить по тайге или тундре, обычно он всегда использовал свой отпуск в зимнее время, приурочивая его к соболиному сезону, облавливая распадки Медвежьих сопок и сбывая потом шкурки в частные руки; и вдруг ему действительно в первый раз по-настоящему повезло. Нехорошо, конечно, нужно бы сообщить людям о месте катастрофы, но мертвым ведь все равно, мертвым не больно, он, кажется, где-то читал об этом. Скорей бы, скорей прий-

ти на место, пока его не хватились. Впрочем, кто станет его искать? Кому он нужен, скромный бухгалтер, взявший две недели отпуска за свой счет? Никто даже не подумает искать его в Медвежьих сопках, в двухстах километрах от того места, где он тихо жил и работал в конторе, составлял ведомости на зарплату рабочим сплаврейда, подсчитывал количество поступающей древесины и рубли, десятки, сотни тысяч рублей, особенно в осенние месяцы; у него на глазах сплавщики сотнями швыряли деньги направо и налево; он и за год не мог заработать столько, сколько выплачивалось им за сорок-пятьдесят рабочих дней. Не отказываться же от своего счастья, и ему удача не с неба свалилась; сколько раз он слышал, что Медвежьи сопки с востока недоступны, а вот он нашел проход и сам сколько раз оказывался над обледенелыми пропастями, а однажды почти два часа отодвигался еле заметными движениями от неожиданно открывшейся прорвы, отодвигался и чувствовал, как она держит его и при малейшем неосторожном движении мускулов тянет назад вниз, он этого ощущения до сих пор не может забыть.

Сверившись по компасу, Горяев пошел дальше, точно на юго-запад; местность все время понижалась, и бежать было легко. Хорошо поднялась бы пурга, неожиданно подумалось ему, сразу бы все сомнения и страхи кончились; невероятно для этой местности, вот уже месяц жарят морозы, а стоит ясная, безветренная тишь. А может, вернуться, стать героем, пропечатают в газетах, гляди, и главбухом станешь, а то и в трест возьмут, подумал он со злой насмешкой к себе, будешь аккуратно, за исключением, разумеется, двух выходных, надевать ровно к девяти нарукавники, считать чужие деньги, ездить с отчетами в область, женишься в конце концов на какой-нибудь самке, привыкнешь к тому, что ты серость, не предназначенная природой к большему, а сложись твоя жизнь по-иному, может, и явился бы миру второй Наполеон или еще какое историческое лицо, оставил бы после себя память. А так что? Работай до честной пенсии, может, и расщедрится судьба на медаль, а то и на орден; придет время, отнесут его вместе с тобой на кладбище два-три человека, если выпадет хорошая погода, скажут речь в предвкушении выпивки и забудут на другой же день. А в мире всего довольно, и до сих пор есть полководцы, гаремы, и где-нибудь на экваторе люди все еще ходят голыми.

Разгоряченный бессвязными и отрывочными мыслями, Горяев забыл на время об испугавшем его предчувствии, и к вечеру, когда пора было останавливаться на ночлег, тревога опять охватила его, и он, взобравшись на возвышенное место, недоверчиво и долго осматривал белые безмолвные окрестности; сюда он никогда не забредал; низкорослая тайга тянулась редкими островами среди гольцов и низин, что указывало на близость тундры; безотчетная жалость к себе и страх перед этой бесстрастной пронизывающей мощью пространства сковали его, и он не сразу смог двинуться с места, хотя надо было спешить к ночлегу, укрыться на ночь.

Выбрав расщелину между двумя гольцами, Горяев кое-как очистил необходимое место от снега, наломал сушняку и, хотя раньше думал обойтись эту ночь без костра, все-таки разжег огонь и, содрав с лица обледенелый шарф, повесил его на корягу просушить. Затем, чувствуя от тепла еще большую усталость, пересмотрел оставшийся запас пищи, разделил ее мысленно на десять дней (на большее при всем желании не хватало), жадно, обжигаясь, напился кипятку и съел, не чувствуя вкуса, часть сухарей, предназначенных на сегодняшний день. Внутри отошло, отогрелось, и, хотя есть захотелось больше, он позволил выпить себе лишь еще котелок кипятку и, поправив дрова, задремал в тепле, отражаемом от гольцов; доставать и разворачивать спальный мешок у него недостало сил, хотя обязательно нужно было снять торбаса и просушить отсыревшие портянки. Он проснулся часа через два от холода; костер догорел до углей, он быстро наладил огонь, достал и развернул спальный мешок, снял торбаса и юркнул в настывший густой мех; необходимо во что бы то ни стало выспаться перед неизвестностью завтрашнего дня. Согревшись, он даже не вспомнил о своих вчерашних страхах, но наутро, одевшись и уже приготовившись встать на лыжню, Горяев замер: в чудовищной, давящей тишине он уловил далекий, может за километр или за два, скрип снега и вначале подумал, что ему просто почудилось. Через несколько минут этот же скрип повторился, ближе и сильнее. Кровь застучала в висках. Горяев метнулся в сторону, скрываясь за гольцами. В глаза ему ударило солнце, он переменил место и теперь, заслоняя глаза, мог смотреть в ту сторону, откуда шел и сам, и вскоре на склоне одного из распадков километрах в двух от себя увидел

быстро катящуюся вниз и, несомненно, по его, Горяеву, следу человеческую фигурку, и хотя она была вполовину меньше обычной, он тотчас определил, что его преследователь высок и молод.

Минуту или две Горяев думал, затем быстро спустился вниз, взялся за лямки мешка, но тотчас бросил его наземь. Уходить было бессмысленно; Горяев задохнулся от подступившей к сердцу ненависти. Не дадут ведь уйти, проклятые, один раз человеку повезло, так ведь не оставят в покое, всю душу вытрясут, сам с повинной придешь... И откуда его принесло, ишь торопится, с ненавистью смотрел Горяев на увеличивающуюся, ходко вымахивающую фигурку, охотник из местных или так бродяга, искатель приключений? Ишь торопится, Одиссей; нет, не в добрый час ты сюда сунулся, если бы можно было по-человечьи договориться и в разные стороны. Так ведь нет же, кодекс. Ах, сволочи, сволочи, бессильно ругался Горяев, чувствуя, что мешок за спиной жжет лопатки. Так вот взять и отдать свой единственный шанс слепому случаю? Но ведь этого верзилы могло и не оказаться на дороге, и тогда он, Горяев, клерк, вышел бы победителем, тогда до конца дней он мог бы диктовать судьбе, никто бы не посмел ему приказывать. Значит, все дело в том, что их дороги скрестились. Его, горяевская, и этого верзилы? Но кто его просил лезть, тайга велика, здесь и разминуться и потеряться не долго, был человек, и нету человека, ищи иголку в сене! Находят потом обглоданные кости, да и те не соберешь. Все эти бессвязные мысли путано промчались в одну секунду, что делать, что делать? Каменея лицом, Горяев почувствовал пальцами затвор (исстывшее железо обожгло); холодно и бесстрастно, как если бы за него думал и рассчитывал кто-то совсем сторонний, другой, Горяев рассчитал, что незнакомец по его лыжне пройдет мимо гольцов, почти рядом, ветра нет, он не учует. Более удобного момента не представится. Горяев приготовил лыжи, в любой момент можно было встать на них и покатиться в сторону, вниз, и стал ждать, и по тому, как размашисто и ходко шел незнакомец, Горяев окончательно понял, что он один и совершенно ничего не подозревает. Легонько пошевелив затвором проверяя и примериваясь, он глубже втиснулся в расщелину; вот пронзительно-резкий скрип снега совсем рядом, и тут же Горяев увидел выкатившегося из-за гольца высокого, умело и

прочно одетого человека; мешок и винтовка были у него за спиной, и на мгновение руки у Горяева дрогнули, но только на мгновение; он выступил из расщелины, повел мушкой, ловя левую сторону спины, в тот же момент незнакомец оглянулся. Что дальше произошло, Горяев не мог потом понять, он выстрелил раз и другой, но незнакомец проявил удивительную подвижность и прыть, понесся сумасшедшими зигзагами и на глазах у растерявшегося Горяева влетел, пригнувшись, в таежную глухомань, заполнившую один из распадков, и пропал. Вскинуть за спину и закрепить мешок — дело нескольких секунд; руки дрожали и не попадали в лямки, проклиная себя и свою торопливость, Горяев бросился в другую сторону, не выпуская винтовки из рук. А может, все-таки этот («этот» — Горяев выговаривал с ненавистью и страхом, то и дело липкой волной приливавшим к телу и ногам), этот подстрелен и теперь отстанет? В сущности, он и хотел только пугнуть, ненароком вышло, ведь раньше он и о существовании его ничего не подозревал, зачем он ему сдался. Ах, если бы ударила пурга, почти молил он, я бы от него в два счета оторвался, поминай как звали. Подожди, тут же остановил он себя, пурга-то пургой, но ведь он, этот, молчать не будет, а может, уже и у самолета был, а если нет, побыть может. Хватая легкими сухой, обжигающий воздух, Горяев спустя час или полтора непрерывного петлянья по распадкам на минуту приостановился, освободил от меха уши, которые тотчас схватило пронзительным морозом, и прислушался: ничего не указывало, что за ним кто-то идет, и все же Горяев до самого вечера продолжал бежать, бросаясь то в одну, то в другую сторону, а перед самым вечером, сделав огромный крюк, вернулся к намеченному заранее месту, у своего следа, и затаился, решив ждать здесь хоть сутки и теперь бить наверняка. Мучила жажда, он не решался развести даже небольшой огонек, который сразу бы выдал место, где он находится. Пришла ночь, все было спокойно; к полуночи Горяев почувствовал, что если сейчас не напьется, сойдет с ума или околеет, хватая обжигающий снег и пытаясь утолить им жажду. Обламывая нижние, омертвевшие сучья старой, низкорослой ели, он развел под ее прикрытием небольшой огонек и, натопив снегу, выпил сразу целый котелок пахнущей дымом, горячей воды, сжевал сухарь и стал ждать рассвета; спать ему не хотелось, и, когда прошел

остаток ночи, и утро, и потом еще полдня, он почти поверил, что незнакомец и встреча с ним — всего лишь случайность, так неожиданно закончившаяся для обоих; ему даже мучительно захотелось вернуться назад к каменным гольцам, посмотреть по снегу — не ранил ли он этого; пересилив себя, усмехаясь припухшими губами, он быстро собрался и, затоптав следы костерка, пошел дальше, не оглядываясь, была все та же безлюдная, слепящая белизна вокруг и маленькое злое солнце, катящееся низко над горизонтом. Горяев подумал, что потерял почти двое суток, и шел теперь, присматриваясь; в этих местах должны были попадаться дикие олени, может быть, и снежный баран или кабарга подвернется, потому что еще тянулись предгорья.

3

Выстрела почти в упор, в спину, Рогачев, разумеется, не ждал, и, если бы не интуиция, заставившая его в последний момент оглянуться, его Тася да и никто в поселке так никогда бы и не узнали, где он сгинул; через десять или двадцать лет кто-нибудь, вероятно, и натолкнулся бы на его кости, если бы их к тому времени песцы не растащили и не изгрызли в голодные зимы; долгое время после столкновения с Горяевым Рогачев, не в силах успокоиться, ругался последними словами. «Так ты думаешь, что ушел? — спрашивал он.— Нет, брат, черта с два я тебя теперь выпущу, сволочь, ведь ты меня убить хотел и убил бы, не промахнись. Ты не для острастки стрелял, это я точно знаю, я твои глаза подлые запомнил, уж я за это над тобой похохочу, не будь я Иван Рогачев».

Все-таки одна из пуль задела его, прошла под мышкой, порвав кожу, но крови было мало, и она сама остановилась; Рогачев обнаружил это лишь вечером, устраиваясь на ночь, и его неприязнь к человеку, которого он никогда не видел, не знал и знать не хотел и который чуть не убил его ни за что ни про что, усилилась. «Сволочь,— ругался Рогачев,— мог бы по-другому. Вот, мол, у меня миллион, давай по-братски, потолкуем, вот тебе треть или даже четверть, и ступай, откуда пришел, я тебя не знаю, ты меня». Задумавшись над таким забавным оборотом дела, Рогачев прикинул, как бы он поступил, и тут же почувствовал загоревшееся от стыда лицо; он вспомнил заледеневшие,

окровавленные мешки с перетертыми костями — все, что осталось от двух летчиков, и впервые в жизни ощущение возможной и даже близкой смерти, бродившей где-то в белых снегах, совсем неподалеку, в облике заросшего, неопрятного и нестарого человека с цепкими глазами, сжало сердце. Здоровый и сильный, никогда не знавший раньше ни больниц, ни болезней, ни дурных мыслей, он сейчас напряженно вглядывался в темноту, она не казалась принадлежащей единственно ему, когда, прочищая легкие, он радостно кричал на заре, встречая солнце и чувствуя себя в этот момент его единственным властелином. И хотя внешне как будто бы ничего не изменилось, и небо было то же, что вчера, и холодные, крупные звезды все те же, он никак не мог заснуть и прислушивался к мягкому треску дров в костре, и удивительные, непривычные мысли рушились на него. Незаметно мысли его перекинулись на другое, он в который раз задумался над тем, почему остался в этом чужом диком краю, бросил завод и почти десять лет работает в леспромхозе.

Сначала после армии хотелось погулять, повидать новые края да и заработать, потом вскоре и пила нашлась, первая жена Настюха, худая злющая баба, все пилила, мечтала сколотить денег на домок; она была из гжатских, землячка, это на первых порах их и сблизило, да и что молодому парню было надо, надоело скитаться по общежитиям, он сколько помнил себя, другого жилища не знал, из ремесленного на завод, с завода в армию, затем Север. Чисто выдраенными желтыми полами, да лоскутными разноцветными половичками, да пышной геранью пленила его сердце Настюха, только это быстро кончилось, и растащила их жизнь клещами в разные стороны. Ничего, расстались они мирно, по-хорошему, в чем был Рогачев, в том и ушел из Настюхиных хором, все нажитое оставил ей, чем, видно, и улестил ненасытное Настюхино сердце. Ничего, в ее хомут охотники найдутся, не у всех ведь ветер в голове и душа нараспашку, только ж... голая, говаривала частенько Настя, суча шерсть или меся тесто, руки ее всегда были заняты, язык — тоже. Всем вышла Настюха, все у нее на месте, кроме сердца, вместо него, наверное, исписанная до корючек сберегательная книжка.

Рогачев перевернулся на другой бок, поворочался, устраиваясь удобнее. И черт его знает, как она складывается, жизнь, с Тасей все было по-другому, вроде и он, Рогачев,

был прежний, и в начальство не вылез, по-прежнему гонял до седьмого пота на своих лесосеках, а радость из их дома не выходила. Характер у Таси был легкий, все у нее спорилось, и звонкий голос ее слышался в доме с утра до вечера, с тряпкой она за ним по дому не ходила, подбирая следы от его сапожищ, и зарплату проверять не бегала. Но и Тася тоже стала частенько заговаривать об отъезде, о возвращении на материк, в Россию. «Я уже, Ваня, забыла, как вишня-то цветет,— жаловалась она ему, и при этом глаза ее становились детскими и круглыми.— Или мы не люди, и на солнышке погреться хочется, раздевшись, походить, из шерсти ведь не вылезаем круглый год, окромя консервов не видим ничего». Рогачев с ней соглашался, и самому хотелось побаловаться морем и песочком, поесть заморских апельсинов, которых, говорят, в Москве на каждом шагу, как в тайге грибов, пройтись чертом по ресторанам, но какой-то внутренний бес держал и не отпускал его сердце от Севера. В прошлый раз, еще до женитьбы с Тасей, он ездил на родину, на Смоленщину, но никто не ждал, не встречал его, все казалось ему чужим, а вернее, он сам был здесь всем чужой, ненужный, неинтересный. Да и разные перелески показались ему до смешного маленькими, тесными, обжитыми настолько, что негде, казалось бы, походить здесь с ружьишком, все трещало и лопалось по швам, потому что швы оказались узкими и тесными для раздавшегося, привыкшего к немеряным тундровым просторам Рогачева. И он затосковал; не дождавшись окончания отпуска и растратив с попутными, всегда к такому случаю многочисленными дружками отпускные, он кое-как наскреб деньги на самолет до Игреньска и рад был без памяти, очутившись в игреньском знакомом дощатом аэропорту и пил без просыпу на радостях (уже на чужие, угощал кто-то совсем ему неизвестный из соседнего леспромхоза, летевший в отпуск на материк), а потом добирался на попутных к себе в леспромхоз.

За этими приятными воспоминаниями Рогачев заснул.

Несколько раз за ночь он просыпался, высовывал голову из спального мешка и прислушивался; теперь не было ощущения всепоглощающей безраздельной тишины, где-то недалеко был человек, и Рогачев чувствовал его и напряженно ждал в этом залитом звездным мраком огромном пространстве, к утру он даже решил все бросить и вернуться домой; теперь, наверное, и Тася с ума схо-

дит. Да и что ему? Вернется, заявит обо всем в милицию, пусть ищут, как ни мал человек, не затеряется бесследно, да еще с миллионами в придачу. А то, что он хотел тебя прихлопнуть? — тут же поймал он себя.— Так и проглотишь? Обидно ведь, какой-то хмырь, не оглянись — и не было бы на свете Ивана Рогачева. Да ведь у тебя продуктов на несколько дней, тут же подумалось ему, только-только домой добежать. Подстрелит он ведь тебя из-за какой-нибудь кочки, этот, видать, ни перед чем не остановится, если его брать, так только хитростью, и не голыми руками. И все же наутро Рогачев опять пошел по чужой лыжне, зорко всматриваясь по сторонам, и, если видел впереди навалы камней, гольцы или заросли кустарника, то есть то, за чем можно было укрыться, делал большой крюк, и не дошел в этот день до места, где Горяев ждал его, но на второй день к полудню он сразу нашел это место среди развесистых низкорослых елей, лыжня снова повернула прямо на юго-запад, ровная полоска лыжни уводила дальше и дальше. «Решил, что отстал,— усмехнулся Рогачев,— проворный, гад, резво мечется».

Прошел день и второй в беспрерывном скольжении по слепительно одинаковым снегам; местами пространство переходило в совершенно ровную плоскость, и идти было легко, но на третий день незнакомец стал забирать больше к югу, что озадачило Рогачева совершенно; он подумал, что если так пойдет дело, то они опять вернутся к Медвежьим сопкам; или с ним что-то стряслось, решил Рогачев, или опять коленце выкинуть задумал; да и вообще, он, кажется, начинает крутить не в ту сторону; тут же начинаются Хитрые Гольцы; зимой по ним разве сумасшедший отважится пройти. Но Рогачев стал двигаться осторожнее, размереннее, с внутренней готовностью столкнуться в любую минуту с какой-нибудь неожиданностью и, переночевав еще раз в удобном, защищенном от ветров месте, с утра опять отправился по чужой лыжне; теперь он до мельчайших подробностей знал характер этой чужой лыжни, знал, когда человек начинал уставать, знал, когда он особенно нервничал, а когда был настроен уверенно и свободно. Сразу же, как он выступил с места ночлега, его охватило неясное, тревожное предчувствие; он часто останавливался, пристально вглядывался в причудливые формы гольцов, покрытых широкими шапками снега, и начинал упорнее думать, что как раз и пришла пора все бро-

сить и вернуться. Он увидел впереди, километрах в двух голец, торчащий много выше остальных, и решил дойти до него и возвращаться.

4

Горяев остановился на ночлег именно у этого гольца, с трудом набрал немного сушняку, выдергивая его из-под снега в зарослях стланика и карликовой березы рядом. В предвкушении недолгого, необходимого отдыха, теплоты огня и кипятка он заторопился; сходил за сушняком раз, другой; он был почти уверен, что его преследователь теперь отвязался, и собирался хорошенько отдохнуть. Можно было еще с час идти, но сил осталось слишком мало; он нарочно пошел через Хитрые Гольцы и теперь не знал, выберется ли из них сам.

Случайно взглянув вверх, Горяев выпрямился, потянул руку к глазам. Голец, странной, причудливой формы, похожий на вставшего на дыбы медведя, возвышался над остальными метров на пятьдесят; пятясь задом, Горяев медленно обходил его, стараясь рассмотреть его вершину, он только помнил потом, что из глаз выметнулось небо; цепляясь за снег и обрушивая его вслед за собой, он скользнул по какому-то косому склону, оборвался и полетел вниз; снег забил ему глаза, снежная масса, летевшая с ним вместе, издавала искрящийся холодный шорох, и это, наряду с мучительным ощущением останавливавшегося сердца, было последнее, что Горяев помнил; последовал тяжелый удар о слежавшийся многометровый снег на дне провала, и этот скопившийся за долгую зиму снег спас его, но минут десять Горяев лежал без сознания, а когда очнулся, некоторое время никак не мог вспомнить, где он и что произошло, тьма была вокруг, и он, с трудом высвободив руку, отодвинул снег от лица. Было холодно; Горяев попытался встать и неожиданно легко высунулся из снега; серый полумрак ударил по глазам, и он, привыкнув, увидел каменные отвесные стены вокруг и высоко вверху небольшое продолговатое отверстие в слое снега, которое он пробил, сорвавшись в провал; светилось недостигаемо далекое небо вверху, и Горяеву казалось, что он различает даже искорки звезд. Выбравшись из рухнувшего сверху снега, Горяев задрал голову; лицо его от страстного ожидания чуда разгорелось.

— Люди, эй, люди! — кричал он.— Там у меня в мешке веревка есть — должно хватить! К краю близко не подходи! За что-нибудь закрепись сначала! Люди, люди, ей!

Корка слежавшегося снега в провале была крепкой и свободно держала его; он ходил в каменной западне метров двадцать в длину и пятнадцать в ширину из конца в конец, согреваясь, и часто кричал вверх; его голос гулко отдавался назад от камня вокруг и снега вверху; мелькнувшее в самом начале подозрение, что никто его здесь вовсе не услышит, теперь перешло в уверенность, и Горяев, сразу обессилев, почувствовав выступивший по всему телу холодный пот. Минут на пять ослабел и обмяк, боясь даже подумать, что теперь с ним будет. Он еще, без всякой надежды, покричал и стал тупо обходить и разглядывать отвесные стены провала. «Ночью конец»,— подумал он почти безразлично, в то же время припоминая до мельчайших подробностей все за последние дни; дурак, дурак, бессильно ругал он себя, подыхай, раз тебе так захотелось. Сам себя в могилу загнал, ты тут сто лет, как мамонт, пролежишь, ведь снег, видать сразу, до конца в этой прорве не тает.

В одном месте он нашел забитую снегом щель и стал бешено разгребать снег и, пробившись метра на два, бессильно опустил руки. Это была лишь выбоина в скале, у самого дна провала, он словно попал в ледяную пещеру с острым сводом; выбравшись из нее, Горяев опустился на корточки, прислонился спиной к холодному, тяжелому камню, ноги не держали. «Прежде успокоиться,— приказал он себе, хотя ясно понимал, что это конец.— Ну что успокоиться, под снегом обязательно должно быть какое-нибудь топливо, а спички у него с собой. Только бы докопаться, хотя бы небольшой огонек, он бы дня два-три продержался, ведь мало ли, могут его хватиться, искать пойдут, а тут дымок». Он ведь, кажется, писал в заявлении на имя начальника сплаврейда Кунина, человека удивительно энергичного и вспыльчивого, что отправляется побродить в Медвежьи сопки на одну-две недели, кажется писал... Писал или нет? Писал, писал, теперь он точно вспомнил, писал и даже обещал обрадовать его парой первосортных каменных соболишек на разные там бабьи выдумки; ухватившись за эту призрачную мысль, Горяев думал, что, если бы топливо, он бы и всю неделю продер-

жался, а там бы его обязательно нашли. Он наметил место, куда, по его мнению, по весне и летом в дожди должно было сверху нести всякий сор, и стал разгребать снег, углубляясь в него все больше и больше; он разбрасывал его руками и ногами, как зверь, тяжестью тела отодвигал в стороны грудью и пробился метра на два вниз; под руки ему стали попадаться камни, и скоро он наткнулся на старый толстый лиственничный сук, затем попалась какая-то измочаленная щепка: по коре он определил — еловая. Когда он добрался до самого дна, он едва не заплакал от радости. Все дно в этом месте было устлано толстым слоем старой травы, битых веток и даже каких-то обмызганных обломков бревен; укрепившись после острого, обессиливающего приступа радости, Горяев стал рвать их из-под снега и через час натаскал большую груду дров, несколько сырых, как он чувствовал, но он был уверен в своем искусстве и скоро стал ладить костер, отщипывая от выбранного материала тонкие щепочки охотничьим ножом, который всегда находился с ним в походах у пояса. Он священнодействовал, складывая щепочки на плоский камень, освобожденный им от снега, и, когда все было готово, извлек из внутреннего, нагрудного кармана спички, замотанные в тонкую резиновую пленку и несколько раз перевязанные: это был неприкосновенный запас, которому были не страшны любая вода и сырость. Он всегда пользовался этим способом в своих охотничьих походах вот для таких целей, сейчас он без удержу расхваливал неизвестного ему деятеля, придумавшего когда-то самую обыкновенную резину; это его несколько развеселило, и он зажег спичку спокойно, дождался, пока не загорится тоненькая острая щепка, и, наслаждаясь самим видом огонька, бережно поднес его к сложенному костру. Он знал, что все будет в порядке, он испытал странное чувство страха и удовольствия, наблюдая, как огонь переходит со щепки на щепку, наконец, начинает одолевать и более трудные сучья, и в это время старался тише дышать. Несмотря на усталость и подступившее чувство голода, он не удержался и сделал вокруг костра несколько диких прыжков, затем сел и стал думать, как ему теперь напиться; в одном месте на камне было небольшое углубление, и туда ползла темная струйка воды, а когда костер разгорелся вовсю, Горяев придвинул к нему снегу побольше и скоро пил с камня теплую, пахнущую дымом воду, стараясь наполнить ею пустой желу-

док. «Ну, теперь жить можно»,— думал он расслабленно, как бы сливаясь с вязким сухим теплом, распространявшимся вокруг костра; преодолев усталость и неожиданную сонливость от тепла, Горяев встал, из сучьев и поленьев устроил место рядом с костром, где он мог бы лечь. Часы показывали третий час, даже в провале, перекрытом толстым слоем снега, было еще достаточно светло; скользя взглядом по стенам провала, Горяев обнаружил, что они кверху сходятся, остается лишь длинная щель метра в четыре; вот ее-то каким-то образом и перемело, а он и влетел в этот каменный мешок. Огонь есть, вода тоже, он ведь давно привык довольствоваться малым, можно было отрезать от верха торбасов полоску кожи, опалить и пожевать, а большего человеку в его положении и желать нечего. Завтра с утра дело покажет, и осмотрится внимательнее, а сейчас нужно заняться ужином.

Горяев отвернул во всю длину голенище левого торбаса, выбрал остроконечную щепку, проткнул ею отрезанную полоску оленьей кожи и поднес к огню. Шерсть вспыхнула мгновенно, и в ноздри ударил едкий запах паленой шерсти и жира; Горяев опалил кожу до чистоты, соскоблил ножом, отчистил с нее гарь, затем еще несколько минут подержал на огне. Кожа вздулась, стала толще, и от нее теперь шел совершенно раздражающий вкусный запах. Горяев резал ее горячую на мелкие куски и ел, и, когда полоска кончилась, чувство голода лишь усилилось, но он твердо решил, что на сегодня хватит, поправил костер. Кстати, и рукавицы успели высохнуть, и было совершенно тепло; он свернулся у огонька и, не думая больше ни о чем, попытался уснуть; какие-то судороги в желудке мешали, и Горяев, поворочавшись, приподнялся, напился с камня и опять сжался на сучьях; нужно было просушить носки, но он решил, что успеет, и закрыл глаза; от пережитых волнений в теле стояла слабость и мысли были рваными, беспомощными. Он неожиданно вспомнил давнее, институтское, полузабытое — сверкающий в вечерних огнях город, мокрый асфальт, свою первую и последнюю привязанность к женщине, оказавшейся иного рода, чем он привык считать. Вначале ей нравилась его собачья привязанность; они столкнулись у входа в театр в первый раз, и тотчас, едва взглянув в ее широко распахнувшиеся, безжалостные глаза, он понял, что погиб, и от этого непривычного удивительного чувства предвидения

собственной беды у него закружилась голова, хотя он продолжал беспомощно улыбаться.

Он был молод и, несмотря на заурядную внешность, заносчив, и хотел было пройти мимо, но его против воли остановило, как от сильного встречного удара, женщина с тем же торжествующе-отсутствующим выражением обошла его (он хотел и не мог посторониться) и исчезла среди колонн, а он стоял, и какой-то странный слепящий свет постепенно наполнял его. Он знал, что она хоть однажды будет принадлежать ему, и готов был заплатить за это любой ценой; он был согласен на все. И он не ошибся, но и сейчас, оказавшись заброшенным на другой конец страны, в иные совершенно условия, ни разу не пожалел и не пожалеет; то, что с ним случилось, было великой радостью и великим счастьем. С тех пор как он уехал сюда, на край земли, прошло больше десяти лет; он не писал и не получал писем, и не знал, что с ней, да и не хотел знать. Было бы больно, стань известно о ее счастье, а наоборот — было бы еще поганей.

Вот и прошла жизнь, неожиданно подумал Горяев с коротким смешком, от которого он еще больше стал противен себе; ни детей в мир не пустил, ни памяти о себе не оставил. Прошла? — тут же спросил он и возмутился.— Ну это мы еще посмотрим, прошла или нет, его час подводить черту не наступил.

5

Они уже встречались больше месяца, и он медленно привыкал к ее странному характеру, а она к его заурядному облику, ординарности, как она любила говорить, особь мужского пола, ничем не отличающаяся от других, но это было неправдой, иначе она бы оставила его тут же, среди колонн, в безжалостном, желтом свете догорающего дня; в нем чувствовался тот скрытый бушующий огонь, что обязательно когда-нибудь прорвется, и ей хотелось дождаться этого. Горяев знал, что он не один у нее и ему она уделяет как раз самые крохи своего времени, жалкие остатки от других или другого, когда ей становилось плохо и когда можно было всласть натешиться своей безграничной властью над ним. Он принимал эти отношения с внешней покорностью и терпением, ничем не выдавая таящегося в нем огня, он ждал, в надежде взять реванш;

она догадывалась и умело поддразнивала его, не подпуская близко. Ей подсознательно нравилось чувствовать себя могущественной в отношении этого неотвязчивого, тихого парня со светлыми глазами, в которых плясала иногда тысяча чертей, и пусть он заканчивал всего лишь какой-то там примитивный финансово-экономический и будет, самое большее, прозябать где-нибудь главбухом, он ей в чем-то становился необходим. Горяев ждал своего часа, и он наступил; однажды она пришла к нему чем-то расстроенная и обозленная; он вышел на кухню сварить, как обычно, кофе, в огромной коммунальной кухне (на пятом курсе он позволил себе роскошь снять комнату) судачили, как обычно, несколько соседок, они обшарили его любопытными глазами и понимающе переглянулись. Когда он вернулся, Лида плакала, опустив голову на стол; он осторожно, без стука поставил чайник и два стакана и все это время смотрел на ее затылок, волосы у нее здесь были мягкие, шелковистые, не съеденные краской. Да, сегодня мой день, подумал он и не почувствовал радости.

— Да брось, Лида,— он слегка притронулся к ее волосам, чтобы почувствовать их мягкость, и тотчас отдернул руку, словно от удара.— Брось, не плачь.

— Я не плачу,— сказала она, поднимая голову, и он увидел ее сияющие ненавистью золотистые глаза.

— Вот и отлично, все, ведь ты знаешь, трын-трава,— сфальшивил он, потому что именно в этот момент думал как раз обратное и нетерпение его становилось опасным.

— Не надо,— коротко остановила она его руки, достала из сумочки тяжелую серебряную, с чернью, пудреницу.

Он ничего ей не сказал и тут же забыл о ее словах; он с самого ее появления сегодня знал другое: будет так, как он захочет, игра и поддразнивание кончились, сегодня он нужен ей и он был полон чувством того, что должно произойти и произойдет непременно. Он, как всегда, аккуратно резал колбасу складным ножом, наливал в стаканы какой-то скверный портвейн (на большее у него не было денег) и по тому, как Лида пила, видел, что пьет она редко, она опьянела почти сразу и сделалась милее и проще, по-детски смеясь над своей беспомощностью.

— Пьяна,— сказала она,— совсем пьяна. Вася, Вася, точно тебя толкают из стороны в сторону.— Она засмея-

лась, взглянула на Горяева и с внезапно затвердевшим лицом попросила поцеловать ее.

Горяев осторожно обошел ее и открыл окно, с улицы ворвался теплый ветер и захлопал шторой, Горяев долго не мог справиться с ней.

— Ты не хочешь меня поцеловать? — глаза Лиды удивленно раскрылись.— Но это же чудесно, тогда я тебя сама поцелую!

Она поцеловала его сильно, почти по-мужски больно и, не отпуская от себя, показала глазами на свет, хотя теперь даже снег или вода уже не остановили бы их; Лида почти сразу заснула, а Горяев все никак не мог оторваться от ее длинного, мучительно прекрасного тела; он целовал ее спящую, и ему казалось, что он сходит с ума от усилившегося желания; она принадлежала теперь ему, но желание лишь усиливалось; он почти не помнил себя и того, что делал.

Ближе к утру он на полчаса словно провалился в сон; открыв глаза опять, Горяев испуганно приподнялся и тотчас откинулся назад, засмеялся: она была рядом и попрежнему спала, он чувствовал ее ровное, бесшумное дыхание своим телом. Слегка отодвинувшись, он встал, прошел к столу, смутно белея телом во мраке комнаты; небо только занималось, и слабо посвистывала какая-то пичуга, это были лучшие часы его жизни, он это знал, и теперь безразлично, что будет дальше. А дальше было все то же, и много хуже, потому что привязанность к нему со стороны Лиды после этой ночи уступила место неприязни и скоро перешла в откровенное страдание; ей нравилось и хотелось с ним спать, но она считала его слишком ничтожным, чтобы сойтись на всю жизнь; она даже не скрывала своего презрения к себе за то, что привязалась к нему физически; в свою очередь, он мстил ей ночами, мучил своей ревностью, своей ненасытностью, заставляя приходить в неистовство, в эти минуты он был ее господином, ее богом, и она выполнила бы все, что он захочет; этих минут ему было достаточно для ущемленного самолюбия, а наутро все начиналось сначала.

— Боже мой, как я тебя ненавижу! — сказала она както в минуту откровенности.— Ну почему, почему именно ты?

Горяев во время этих вспышек молчал, стараясь чемнибудь занять руки, он мог ее ударить; да, он знал, что

им недолго осталось быть вместе и скоро все это кончится, но так же точно он знал, что всю свою жизнь она его не забудет, и со всегдашней своей тихой улыбкой смотрел на нее, точно на ребенка.

— Ну почему ты молчишь, скажи что-нибудь, не молчи!

— А что говорить, Лидок, все же сказано, я воинствующая серость, ты ждешь принца с алыми парусами. Остается лишь узнать, когда мы встретимся, как обычно, в пятницу?

Никогда, хотелось ей крикнуть, никогда я больше не приду, но сил не было, эти объяснения изматывали их обоих; и она ведь столько раз давала себе слово не приходить.

И все же наступило время, когда она перестала приходить, и Горяев, хотя был готов к этому и приучил себя к этой мысли, потерял голову, часами простаивал у ее дома, почти преследовал ее. Он понимал, что этим ничего не исправишь, и не мог остановить себя; он чувствовал, что у него появился соперник, и во что бы то ни стало стремился увидеть его, но Лида избегала, и ей удавалось ускользнуть от него, и ожесточение его нарастало; он должен был знать, на кого его променяли, и в этом своем стремлении был злобен и жалок...

Горяев задремал незаметно и, как ему показалось, тотчас открыл глаза; костер ровно горел, темнота сгустилась и дальних стен провала не было видно. Горяев вскочил на ноги и в следующую минуту почувствовал судорожную длинную боль в сердце.

— Эй, послушай! — донеслось сверху.— Там есть кто-нибудь живой?

Переждав, дав сердцу немного успокоиться, Горяев, стараясь не выдать волнения, отозвался:

— Слышу... Есть, провалился ненароком.

— У тебя все в порядке? — высоким криком спросили сверху, и было странно слышать живой человеческий голос.

— Кажется, все...

— Сейчас веревку спущу... Черт, запуталась, ничего, у меня крепкая, капрон...

Горяев почувствовал, насколько взволнован человек наверху, испугался за какую-нибудь неловкость с его стороны.

— К провалу не подходи близко! — предупредил он криком.— За какой-нибудь камень привязывайся... там у меня в мешке тоже веревка осталась, достань, одной, пожалуй, не хватит.

Прошло еще минут десять, прежде чем конец тонкой капроновой веревки оказался в руках у Горяева; он обвязался под мышками, еще раз все проверил, в последний момент ему стало жалко собранных зря дров, он засмеялся и крикнул вверх начинать подъем и, услышав утвердительный ответ, почувствовал натянувшуюся веревку и стал карабкаться на стену. Рукавицы он снял и засунул за пазуху; он не думал о том, что тот, чужой, может отпустить веревку где-то у самого верха, но на всякий случай лез так, чтобы в случае чего можно было грохнуться в глубокий снег; веревка то натягивалась, то ослабевала; цепляясь за малейшие неровности и выступы, Горяев время от времени отдыхал и давал отдохнуть Рогачеву. Примерно на полпути ему попался выступ и он, предупредив Рогачева, отдыхал минуты две, чувствуя под собой пустоту и придерживавшую его сверху веревку; ноги подрагивали и было жарко, даже изодранные о камень руки были горячими; вторая половина подъема оказалась легче, стена теперь не обрывалась отвесно, а шла кверху, с небольшим уклоном, и подниматься стало проще; минут через двадцать Горяев отполз от края провала и долго лежал, приходя в себя; Рогачев, не теряя времени, стал рядом раскладывать костер, о чем-то спрашивал, но Горяев молчал, ему не хотелось говорить. Рогачев стал варить мясо; и в небе горели холодные частые звезды; Горяев подошел к костру и сел, протянул к теплу руки, он никак не мог заставить себя взглянуть на Рогачева, но, когда мясо сварилось, Горяев, потирая руки, поднял голову.

— Вот такие дела,— скупо уронил он и сразу же увидел дико блеснувшие в свете костра глаза Рогачева.

— Они, дела, всегда такие,— непонятно отозвался Рогачев, раздумывая, что же ему делать дальше; после целого дня почти беспрерывной ходьбы зверски хотелось есть. Рогачев осторожно снял котелок с огня, достал мясо и заметил, как Горяев отвернулся.

— Послушай, ты,— сказал Рогачев с усмешкой в голосе.— Давай, что ли, знакомиться. Меня Иваном звать, по фамилии — Рогачев. Тот самый, которого ты на днях чуть на тот свет не отправил.

— Ерунду не мели,— услышал Рогачев простуженный, низкий голос.— Никого я на тот свет не отправлял... Ну, а с тобой как-то странно вышло, и лица не успел различить.

— А на тот свет всегда странно отправляют,— Рогачев присвистнул, деля мясо на две части.— У тебя кружка есть?

— Была. Меня Василием звать. Горяев.

— Может, и так.

Он поел, но успокоиться не мог; над ним теперь было в льдистых искрах звезд небо, был свободный простор, иди, куда хочешь, и в ужасающей тишине темнели в небе старые вершины гольцов; привычный, и все-таки какой-то новый, по-другому воспринимаемый мир; провал в пятидесяти метрах от него все время чувствовался, и казалось, что из него порывами тянуло пронизывающим сквозняком.

— А ты бы меня ведь бросил там, случись наоборот,— Рогачев говорил убежденно, с каким-то детским обиженным удивлением, словно сейчас только уверился в этом, увидев собственными глазами Горяева. Он с любопытством, подробно и без стеснения рассматривал его и видел, что Горяев еще не пришел в себя и не знает, как ему держаться.— Подлец ты невероятный, Горяев,— сказал он озадаченно и даже весело.— Я вот тебя кормлю, пою, а ты меня чуть на тот свет не отправил. Вот тут ты мне и растолкуй...

— Не отправил же, что об этом поминать...

— Значит, не поминать, ишь ты мягкозубый какой выискался! — удивился еще больше Рогачев, присматриваясь внимательной к своему собеседнику.

— Напрасно привязываешься, случайно вышло, от неожиданности,— закачалась на снегу большая, резкая тень Горяева.— Кто же думал в такой пустоте наткнуться? Один шанс из тысячи,— Горяев все так же прямо глядел на Рогачева, стараясь не выпустить его глаз.— Один раз не попал, а вторично, когда выпало, не смог, видишь. Слушай, ты прости меня, я сам не понимаю, что это со мной стряслось. Прости, ну вот, прости, слышишь, я ведь только человек, не бог, ничего лишнего не хотел.

— Лишнего не хотел? Стряслось? — переспросил Рогачев и крикнул: — Хватит! Сядь ты по-людски. Что ты качаешься, как гидра? И без того в глазах рябит. Думаешь,

кто-нибудь тебе поверит? Ты из меня дурачка не строй, мозги не завинчивай, высветился до самого донышка.

Горяев сел на место, взял рукавицы и спрятал в них замерзающие руки; сделал он это машинально и сидел, похожий на крючок, пригнув голову к коленям; он понимал, чувствовал, что ему важнее всего сейчас заставить понять именно этого человека, в которого он стрелял, который случайно оказался на его пути и был не виноват в этом.

— Ты, действительно, не виноват, Иван Рогачев,— машинально выговорил он вслух свою мысль.— В чужую шкуру не влезешь. Ты вот сидишь, судишь меня, а по какому праву? Что ты обо мне знаешь?

— Чего? Чего? Я сужу? — запоздало изумился Рогачев.— Ты часом не псих? Может, случайно не в ту дверь выпустили?

— Подожди, Рогачев, успокойся. Не псих, на учете не состою и ниоткуда не сбежал,— остановил его Горяев с возбуждением, у него росло желание переломить, пересилить сидящего рядом пусть совершенно чужого и ненужного ему человека.— Ты прослушай, это нам только внушили, что все вершины доступны, что жизнь, как линейка... Как встал на дорожку — и на другом конце свои почетные похороны видишь с оркестром, речами и орденами на подушках. Собачья чушь это, Рогачев, в жизни не так...

— Зря митинг открыл,— остановил его начинавший утихать Рогачев.— Да у тебя что, с собою склад с продтоварами? У меня нет, мне каждый час дорог...

— Час ничего не изменит, Рогачев. Уж в этом ты можешь быть уверен. Продуктов у меня на два дня, если их есть теперь по чайной ложке. Ты, верно, проверил и спрашиваешь.

— Не успел,— Рогачев сощурился на костер, втягивая ноздрями запах талого от огня снега.— Тебя спасать кинулся, только вот затвор у тебя и успел вынуть... А то, думаю, второй раз не промахнется. Затвор у меня в кармане, уж не посетуй.

— Ничего, ничего,— равнодушно сказал Горяев, так же размеренно покачиваясь перед костром.— И подохну, ничего в мире не случится, никто не заметит... Людей слишком много развелось, они друг другу мешают, хотя нас только двое среди всего этого,— он, теперь с опреде-

ленным выражением какого-то отчаяния и отрешенности на лице, повел головой вокруг на просторно и беспорядочно расставленные гольцы, купающиеся в жидкой жестокой высоте; тишина, ясность и пустота были столь ощутимыми, что нельзя было не подумать о выжидающем присутствии еще кого-то всесильного; нельзя было представить себе, что эта торжественная и ужасающая картина могла организоваться сама по себе, без всякого разумного вмешательства. Низкое солнце давно уже скрылось за горами, и это и наполнило все пространство вокруг гольцов еще чем-то новым; оно теперь не было столь отрешенным и чистым, и по-прежнему это была особая, подавляющая мощь, разлившаяся над творением великого мастера, и чувствовалось, как глубоки и обширны пропасти вокруг, не предусмотренные и не рассчитанные для живого; но ведь и это смертно, подумал Горяев с каким-то мучительным восторгом в себе, почти в бешенстве от желания внести в этот каменный, равнодушный, замкнутый в своей гармонии мир живую краску; хотя с ним рядом был живой человек, он задыхался от одиночества.

— Рогачев, Рогачев,— пробормотал он почти скороговоркой, но Рогачев его понял.— Послушай, давай, разделим эти деньги. У меня с собой немного, там они все, в ущелье, в каменном мешке, я их хорошо запрятал. Я тебе скажу где, там много, достаточно, чтобы многих сделать счастливыми, но ведь нас только двое. Ты только не молчи,— добавил он, встретив посерьезневший, жесткий взгляд Рогачева.— Кричи или ругайся, а то я с ума сойду, слышишь, Рогачев...

— Что? Что? — спросил Рогачев, придвинулся ближе, так и не дождавшись окончания этой странной речи незнакомца, видать и в самом деле свихнувшегося на своей находке. Скоро Горяев спал сидя, с неприятно открытым ртом, и лицо его во сне не смягчалось, морщины и складки словно стали суше и проступили отчетливее и резче.

6

После разрыва с Лидой Горяев за несколько дней сильно похудел, почти не ел и не спал; он знал, что нужно пересилить себя, все бросить и уехать подальше; продраться сквозь эту липкую, вонючую паутину в другую

жизнь, опомниться, повидать другие края, ведь он, в сущности, ничего не видел, учился, работал и снова учился в своем финансовом, подрабатывая летом на стройке. Он пролежал несколько суток, поднимаясь лишь при последней крайности, затем встал, бледнея от головокружения, сел за стол и побрился, с жадным удивлением вглядываясь в свое изменившееся лицо. Он снял с него наросшую щетину, вымылся под ледяным душем, оделся и вышел поесть; стояло душное лето, и сокурсники разъезжались по стране, меняясь друг с другом адресами. Горяев отлично помнил сейчас, как отрешенно шел по хорошо знакомым улицам, с необычной остротой и жадностью всматриваясь во встречные лица, точно после тяжелой болезни, и ему хотелось всех остановить и всем сказать, как ему сейчас тепло и хорошо оттого, что есть этот город, вот они, эти люди, движущиеся ему навстречу; в его истончившемся лице светились теплота и радость, и на него смотрели, и ему было приятно. Лида для него теперь умерла раз и навсегда, и он думал об этом без всякой боли и злобы; все положенное свершилось и прошло, и надо было жить и можно было жить; он шел по городу опустошенный и светлый, словно впервые в жизни видя этот мокрый глянцевитый асфальт, дымящийся от прошедшего летнего дождичка, и полощущиеся под ветром стяги на стадионе, свежую листву на деревьях. Он освободился от цепкой тягостной власти чужой, ненужной ему силы и радовался своему освобождению. Увидев афишу новой премьеры, решил непременно пойти вечером в театр, хотя тотчас понял, что принял это решение в надежде увидеть там Лиду. Вот беда, сказал он себе с веселой насмешкой, что же мне теперь, забиться в нору и сидеть безгласно? Уж это совсем ни к чему.

Горяев пошел в этот день в театр, и хотя он ни за что бы не признался, его вело желание увидеть Лиду, а не новый спектакль, и он увидел ее в антракте в сопровождении высокого темноволосого, надо было признать, интересного мужчины; несомненно, и этот был влюблен в Лиду без памяти, но держался с достоинством, и Горяев мгновенно почувствовал это. Ну что ж, вот и прекрасно, и увидел, и ничего страшного, и не за чем было гоняться, теперь он знает наверняка, и так гораздо лучше. Лидия увидела Горяева еще издали, и тотчас лицо ее приобрело равнодушное, знакомое ему победно-жестокое выражение. Сильно

побледнев, Горяев посторонился, пропуская мимо себя высокого военного.

Скользнув по лицу Горяева, как по чему-то наскучившему, незначительному, набившему оскомину, Лида отвернулась и сказала что-то своему спутнику и отошла к витрине с фотографиями артистов.

Сволочь, бездушная сволочь, думал Горяев, не в силах оставаться больше в одном здании с нею; он стянул с себя галстук, сунул его в карман и пошел к выходу. Узнать бы фамилию этого черноволосого, думал он опять в какой-то горячке. Руку дам отрубить, непременно что-нибудь выгодное — влиятельные родители, должность; судя по ее виду, добыча немалая, вцепится намертво, теперь не отпустит, а может быть, какой-нибудь жизнерадостный идиот с бицепсами боксера.

Дома он, не раздеваясь, свалился на кровать; кажется, все начиналось сначала, и он от одной этой мысли сразу обессилел, нужно было что-то делать, немедленно, сейчас же уезжать вон из города; он так и заснул, не раздеваясь, не гася света, и вздрагивал во сне; ему казалось, что лампочка под потолком лихорадочно дрожит и от нее идет отвратительный звон, и он силился протянуть руку к выключателю и не дотягивался каких-нибудь нескольких сантиметров.

Ошалело открыв глаза, Горяев вначале не мог понять, где он и что происходит, затем приподнялся, сбросил ноги с кровати.

Непрерывно, с надсадными перебоями над дверью трещал звонок; чувствовалось, что звонят безнадежно давно. Горяев пригладил волосы ладонями, встал и открыл дверь; Лида тотчас разгневанно перешагнула порог, и так как он стоял столбом, держась за ручку открытой двери, она поморщилась и сама закрыла дверь, стараясь не щелкнуть замком, но он все равно натужно щелкнул, замок был старый, и жильцы давно рядились между собой, кому его покупать.

— Можно ли так спать, Василий, день на дворе! Ну что же, так и будем в коридоре стоять на радость соседям?

Она так и сказала «Василий», очевидно показывая, что они совершенно чужие друг другу люди и что зашла она лишь по крайней необходимости. Не говоря ни слова, он выключил свет в коридоре — счетчик был общий — и прошел в комнату.

— Мне необходимо поговорить с тобой,— Лида поискала глазами пустое место на столе для своей сумочки из ярко-голубой искусственной клеенки, она любила яркие цвета. Стол был сплошь уставлен грязной посудой с засохшими остатками еды; Лида снова поморщилась, но ничего не сказала, села на одинокий стул посреди комнаты и оставила сумочку у себя на коленях. Горяев безучастно наблюдал за ней, она нашла его глаза и покраснела.

— Я пришла поговорить с тобой, Василий,— повторила Лида, и краска ярче проступила на ее щеках и шее.— Я была неправа, уклоняясь от разговора... видишь, я пришла.

— Да, я слушаю,— Горяев опустил глаза, потому что по его глазам она тотчас узнала о не только не прошедшей, но усилившейся любви к ней; если бы мог, он бы избил ее до полусмерти.— Я слушаю,— повторил он, так же безучастно, найдя какую-то видимую только ему точку в полу (хозяйка — жи́ла: дерет такие деньги за комнату и не может привести пол в порядок — одни щели).

— Знаешь, Василий,— тотчас сказала Лида, быстро, с болезненным оживлением.— Не надо притворства, оно никогда тебе не удавалось. У-у, как я ненавижу эту твою тихую гордость. В общем, так, Василий, прошу тебя забыть, что между нами было. Я виновата, не сумела справиться с собой, дала тебе привязаться, но мы ведь были честными друг перед другом, ведь так? Помнишь наш уговор — не связывать друг друга, ну помни́шь?

И потому что Горяев молчал, по-прежнему безучастно рассматривая расшатанные половицы, она заговорила еще торопливей, проглатывая слова:

— Ну, в общем, понимаешь, я встретила человека, Вася, не сердись, ведь ты же все понимаешь, такого, как я хочу. Я его, может быть, даже люблю...

— Не надо,— с трудом выдавил он из себя.— Пожалуйста, без подробностей. Все и так ясно. Мы и без того можем понять друг друга,— сказал он, чувствуя, что его подхватил и понес куда-то мутный поток и он не в силах из него выбраться, хотя это было необходимо.

— Значит, все, да? — метнулось к нему просветленное лицо Лиды.— Я так боялась, я же знала, что ты не такой, как все.

Горяев отчетливо, как-то замедленно видел, как она

сжимает сумочку в руке; сейчас она уйдет, думал он с тупой болью, появившейся где-то в висках.

— Только у меня одно условие,— сказал Горяев, совершенно не в силах остановить себя, и умолк, увидев совсем близко перед собой ее глаза, они почти жгли его и вдруг отпустили.

— Я подозревала, что ты подлец, но до такой степени...— прозвучал где-то в пустоте голос Лиды, и в следующую минуту он увидел ее уже возле двери и бросился к ней.

— Лида! Лида! Прости меня, я сам не знаю что говорю, прости,— он прижался лицом к ее платью и почувствовал, что Лида беззвучно плачет; это было так неожиданно и непривычно, что он медленно поднялся с колен с какими-то озаренными, сияющими глазами, в них было так много любви и нежности к ней, что Горяев почувствовал, что он в первый и, вероятно, единственный раз одержал победу и, если бы захотел, она осталась бы у него...

* * *

— Ну, так и что ж,— сказал Рогачев, старательно обкладывая костер.— Мало ли... Баба, она хоть какая цивильная, силу любит. Мало ли баб на свете, а ты к одной прилип, в том и беда.

— Нет, не то,— как-то вяло не согласился с ним Горяев.— Потом их у меня много было, баб, так, конечно, на случай. Ни к одной больше не прикипел. Они все одинаковы, бабе только надо сразу ее место указать. Что там, разве дело в них, бабы — второстепенное дело в жизни, частность, на них серое вещество тратить не стоит. Это я на первой по неопытности обжегся, потому в памяти и осталась, а вот целое, Рогачев, из рук выпускать нельзя, с самого начала,— с каким-то напряженным, холодным блеском в глазах подчеркнул Горяев.

Рогачев, с интересом слушавший, искоса взглянул на него и ничего не ответил; хотел бы он увидеть свою Таську рядом с Горяевым в этот момент. Верно, она бы ничего не сказала, но уж поглядеть бы поглядела на этого товарища. Не так он прост, под свое тощее брюхо целую продовольственную базу подстегивает, вот ведь как некоторые умеют.

— Ты, Рогачев, не слушаешь меня.

— Отчего же, почему ученого человека не послушать? Охотно,— отозвался Рогачев своим сильным, раскатистым голосом, неторопливо укладывая мешок; Горяев теперь неотрывно следил за его руками.

— Собираешься, Рогачев? — спросил, наконец, он.— А что, не хочешь пригласить в попутчики?

— Пора, брат Горяев, наш митинг закрывать, гляди вон, поземка. Слов ты много наговорил, кругом да около, а бывалые люди недаром говорят: кто в солдатах не потопал, хорошим генералом не станет. Ты, может, повыше, чем в генералы, метишь, гляди, корень твой не выдержит, неглубоко торчит.— Остановившись взглядом на Горяеве, Рогачев помедлил, крупные, обветренные губы шевельнулись в усмешке.— Прощай покуда, а богатство свое при себе оставь, тебе нужнее. Тут уж на двоих никак не разложишь. У меня своя дорога, у тебя своя, вот и поступай, как знаешь. Достаточно я за тобой погонялся, было бы за кем. Вот тебе твой затвор, а я пошел, да и тебе то же самое советую.

Рогачев встал, достал из кармана затвор, отдал его Горяеву; тот взял молча, без всякого движения в лице; он, казалось, еще больше сгорбился у огня и не проявлял больше ни малейшего интереса к собравшемуся в обратный путь Рогачеву. И только когда тот приладил мешок и пробормотал неразборчивое что-то вроде «ну пошел», Горяев проводил его холодными глазами, но с места так и не стронулся.

7

Дня через три со значительно потощавшим мешком Рогачев выбрался на прямую дорогу к дому и шел по одному из верхних краев распадка, теперь всерьез поругивая в первую очередь себя, а затем и Горяева и удивляясь, как это могло с ним получиться. Глубокий, метра в полтора, снег (Рогачев определил это по верхушкам каменной березы, оставшихся сверху) плотно слежался, и лыжи оставляли на нем лишь едва приметные царапины; выбравшись наверх, Рогачев тут же попятился. Километрах в четырех от себя он увидел маленькую движущуюся точку среди раскаленной белизны; она медленно приближалась к гребню очередной возвышенности, и за ней в беспорядочном нагромождении высились острые, горящие под солнцем

вершины Медвежьих сопок, на фоне чистого, густой синевы, неба они проступили резко и неприступно, и Рогачева пробрала дрожь при мысли, что неделю назад он облазил их сверху донизу. Он, теперь по привычке к осторожности, укрывшись за валуном, стал наблюдать за движущейся точкой в белом пространстве и смотрел до рези в глазах, до тех самых пор, пока она не перевалила за гребень и не исчезла. Вполне вероятно, что это был кто-то другой, не Горяев, не мог же он опередить. И тут, встав, Рогачев едва удержался на ногах, белое пространство перед ним поплыло; он почувствовал судорожную звенящую пустоту в голове и медленно охватившую тело слабость; это был первый признак недоедания, усталости и сумасшедшей гонки. Он подумал, что ни разу не встретил живого следа, правда, он мог его и не заметить, охваченный одной мыслью, погоней, и твердо решил в первом же удобном месте остановиться засветло и попытать счастья,— в мешке его болталось несколько сухарей, но такое место он приметил лишь назавтра, в начинавшихся опять предгорьях Медвежьих сопок, поросших елью и лиственницей, и, не колеблясь, сбросил с себя легкий мешок с десятком сухарей и остатками крупы, которую он варил теперь по полгорсти в день. Нарубив молодых елок, он быстро слепил шалаш, заготовил дров на ночь и, проверив винтовку, стал обходить распадок за распадком, теперь он совершенно отбросил мысли о **чужом**; азарт погони увлек его слишком далеко, и он переоценил свои силы и не рассчитал продукты, нужно было что-то срочно предпринимать. Если бы он захотел сейчас вернуться домой, неделю на кипятке не выдержать, даже пустив в ход и еловый отвар. По прежнему своему опыту он знал, что предгорья Медвежьих сопок богаты зверьем, здесь спасались от стужи и находили пищу дикие олени, водилась белка и соболь, раньше попадались много коз, а иногда удавалось увидеть и снежных баранов; мысль о куске свежего теплого мяса его захватила, и в глазах опять потемнело, а потом слабость скоро прошла, и Рогачев двинулся дальше. Но надежды вскоре подтвердились, и если он, занятый раньше одним, ничего не замечал вокруг, то теперь он внимательно приглядывался, стараясь ничего не пропустить. Раза четыре тут пробегал соболь или куница, два раза ему попались старые оленьи лежки; он снял с камня клок шерсти и понюхал. Вымороженная, она ничем не пахла, но у Рогачева мучительно

свело скулы, и он про себя выругался. Ветра по-прежнему не ощущалось, застывший, какой-то тяжелый воздух был заметен только в быстром движении. Рогачеву мучительно хотелось курить, но он боялся. Уже под вечер он заметил с гребня одного из распадков стиснутый со всех сторон высокими скалами небольшой островок старых раскидистых елей и решил наведаться туда, хотя для этого пришлось обогнуть нагромождения гольцов километра в полтора; он пересилил слабость и пошел, хотя ему сейчас хотелось одного: вернуться к шалашу, напиться кипятку и лечь. Иссиня-темные изнанки лап, пригнувшиеся под тяжестью снега, издали тянули к себе намученные изнурительной белизной глаза; Рогачев не спешил показаться в открытую и шел стороной, в обход, под прикрытием стены можжевелевых зарослей, плотно забитых доверху снегом; дальше начиналось голое пространство, и он еще издали увидел на снегу темные неровные латки, здесь совсем недавно паслись олени, взрывали снег и доставали мох из-под твердого наста. Боясь поверить в свою удачу, таясь и стараясь не дышать, Рогачев продвинулся еще метров на двадцать и, выглянув из-за можжевельника, увидел их, около двух десятков,— старый бык с ветвистой тяжелой головой стоял чуть в стороне, словно застывшее изваяние, но стоял он к Рогачеву задом. Пересиливая волнение, Рогачев выбрал двухлетка, достававшего мох из-под снега, и, сосчитав до двадцати, чтобы успокоиться окончательно, бесшумно лег и, прицелившись, словно срастаясь с винтовкой, нажал на крючок. Выстрел хлопнул оглушительно звонко, и тотчас топот взметнувшегося, пронесшегося мимо стада, испуганный храп животных расколол тишину; Рогачев передернул затвор и в азарте лишь в последний момент удержал руку: в пятидесяти метрах от него на снегу, завалившись на бок, билось красивое сильное животное, высоко вскидывая голову и ноги. Проваливаясь в снегу, Рогачев подбежал к нему и, прижав голову оленя к земле, одним ударом охотничьего ножа перехватил горло, и сразу опьянел от теплого густого запаха крови, без сил опустился рядом на снег. Глаза оленя подернулись холодной пленкой, тело дрогнуло в последний раз. Рогачев, отдышавшись, огляделся; лучше места для дневки нельзя было себе представить, но времени до темноты оставалось мало, нужно успеть освежевать оленя, пока он не застыл, перетащить сюда сумку и прочий припас, устроиться на ночь; надо

было спешить; Рогачев хрипло, с надсадом перевел дыхание — дышать становилось труднее; умело и ловко сняв шкуру, он выбросил внутренности, отделил окорока, несмотря на усталость и усилившийся мороз, ему хотелось сейчас петь, в желудке от запаха мяса начались спазмы. За работой он не заметил, как солнце скрылось за сопками, темнело здесь быстро, но еще оставалось время, чтобы сбегать на лыжах за спальным мешком и остальными вещами; возвращался Рогачев в темноте, в темноте и варил мясо. Заснул он окончательно счастливый, ему здорово повезло с оленем. Весь следующий день Рогачев только и делал, что ел и спал. Проснется, поест, заготовит дров и опять поскорее ныряет в нагретый спальный мешок. Он твердо назавтра решил возвращаться прямо домой, хотя пищи у него теперь было на две-три недели. Отоспавшись и чувствуя себя свежим и сильным, он открыл глаза; из предрассветной мглы, заполнявшей предгорья и распадки, он увидел далекое небо, и его цвет сразу встревожил Рогачева: в небе проступил неспокойный, беловатый оттенок; он быстро вскочил, разжег костер и стал готовиться в дорогу. Мясо он еще вчера разделил на порции и его розовато-льдистые кирпичи плотно уложил в мешок. Получалось тяжеловато: килограммов на тридцать, но он подобрал все до последнего кусочка; остатками сердца и печенки решил позавтракать, и скоро ароматный парок потянул от котелка.

Чуть погодя вершины сопок беспокойно зажглись от невидимого еще солнца, но их неровное, неспокойное сияние вызывало тревогу; торопливо приканчивая завтрак, Рогачев косился на сопки, и тревога его росла; мимо острых белых вершин проносились и гасли какие-то тяжелые, стремительные потоки; солнце, поднимаясь и отвоевывая новые пространства, казалось, пронизывало насквозь неестественным нестерпимым светом. Рогачев заметил, что мороз сильно сдал и дышать стало легче, но какая-то тяжесть нависала в воздухе. Н-да, допрыгался, с досадой сморщился Рогачев, еще и еще оглядывая сопки и небо, все одно к одному, кажется, прихватило.

Он оглядел удобный, защищенный почти со всех сторон еловый распадок, в котором ему удалось добыть оленя. С таким запасом пищи можно вполне переждать ненастье, хотя бы и здесь, ну три-четыре дня, ну пусть неделю-полторы. Правда, бывает и так, что всякие приметы обманы-

вают; там, вверху, покрутится, покрутится, а до земли и не дойдет, или в сторону оттянет.

Да и потом, пока небо раскачается, верст сорок свободно отмахать можно. Рогачев решил идти; после сытной пищи и крепкого сна он чувствовал себя уверенным; раза два мелькнула мысль о Тасе, которая, видно, его заждалась. Пора, давно пора ему быть дома. Со стоявшей рядом ели сполз пласт снега, и в воздух облаком взлетела сухая снежная пыль. Ага, сказал Рогачев, значит, в самом деле стронулось, ну да ничего страшного, дорога знакома, через три дня он доберется до охотничьей избушки, а там и до дому рукой подать. В крайнем случае остановится на полдороге, слепить шалаш да заготовить дров не долго.

Рогачев стал приспосабливать за спину мешок с мясом, как вдруг, выпустив лямки, одним гибким движением схватил винтовку и, пятясь, почти втиснулся наугад за ствол большой ели, под которой недавно вытоптал снег, обламывая омертвевшие нижние ветви. Почти сразу же из зарослей можжевельника выдвинулся, с трудом переставляя лыжи, человек; Рогачев узнал его и поднял винтовку, но тотчас опустил ее; Горяев еле шел, последние метры до костра, крошечный подъем, он осилил, спотыкаясь, путаясь ногами и руками, тяжело опираясь на винтовку, как на костыли, и подтягивая грузно обвисшее тело. Он шел прямо на костер, не сводя глаз с котелка, стоявшего рядом, на земле, Рогачев не успел выплеснуть из него воду, в которой варил сердце и печенку. Дотащившись до костра, Горяев упал на колени, схватил котелок и, задыхаясь, кашляя, стал пить; стоя там же под елью, Рогачев видел его исхудавшие, дрожащие руки, воспаленные, с блеском, глаза, обтянутое, казалось, одной кожей, заросшее до самых глаз лицо, судорожно ходивший кадык; Горяев пил со стоном, захлебываясь.

Рогачев вышел из-под ели и остановился в двух шагах от Горяева, а тот все пил, высасывая из котелка последние капли. Мешок за его спиной, схваченный лямками на груди, мешал; винтовка валялась рядом; Рогачев ногой отодвинул винтовку Горяева в сторону, тот даже не пошевелился. Теперь Рогачев мог хорошо разглядеть его. Отставив в сторону опорожненный котелок, Горяев, грузно обмякнув, сидел на коленях, не в силах шевельнуться и только чувствуя, как начинает от тепла отходить и болеть лицо, обмороженное на лбу и с правой стороны; рас-

пухшие и потрескавшиеся губы тоже зашлись; Горяев осторожно потрогал их, покосился на Рогачева, который не очень-то дружелюбно глядел в этот момент на неожиданного гостя; Горяев, устраиваясь удобнее, равнодушно закрыл глаза, с наслаждением ощущал в желудке сытую теплоту, медленно расходящуюся по всему телу; неудержимо хотелось спать. Рогачев сел по другую сторону костра, тревожно прислушиваясь к менявшейся погоде; вершины сопок были теперь в постоянном беспокойном переменчивом движении, и Рогачев внутренним чутьем слышал их непрерывный, тревожный звон, упругой, яростной струей льющейся с вершин; до старых елей, с которых теперь то и дело с шумом срывался снег, этот зов дошел раньше, и они хлопотливо оживали от долгого зимнего оцепенения; готовилось что-то грозное, неостановимое. Рогачев (в который раз уж!) сжался перед мощью солнечного, пронизанного исполинской силой пространства. «Га-ах!» — еще с одной ели на глазах у Рогачева ополз снег, и она стремительно рванулась в небо освобожденной хвоей.

Можно бросить этого непрошеного товарища и уйти, думал Рогачев, оставить ему еды, отсидится, но он знал, что не сделает этого; с любопытством наблюдая за человеком, который хотел его убить и наверняка бы убил, если бы не промашка, и который вторично оказывается в зависимом от него положении, Рогачев не знал, как поступить дальше; он подошел к Горяеву и присел с ним рядом на корточки, разглядывая его сухое, почерневшее от мороза лицо, заросшее иссиня-черной щетиной.

— Она меня одолела,— сказал Горяев совершенно ясно, не отрывая пристального взгляда от догорающих, подернутых тончайшим седоватым пеплом углей.

— Кто? — от неожиданности Рогачев слегка отодвинулся.

— Она,— все так же осознанно и убежденно повторил Горяев, и Рогачев понял.— Кончено... теперь совершенно все одно, делай, что хочешь.

Рогачев ничего не ответил, медленно поднял глаза к вершинам сопок, и Горяев снова забылся в дремоте; Рогачев подбросил в костер немного сучьев, огляделся, наметил подходящее место и, не обращая внимания на Горяева, стал быстро делать шалаш, рубить кусты и молодые ели; он двигался собранно, скупо размеряя движения и погля-

дывая на сопки, вокруг вершин которых все гуще струились белые, взвихренные потоки. Наладив шалаш и настлав в него еловых лап, Рогачев взялся готовить дрова, складывая их рядом с шалашом, и возился с этим делом долго. Заметно потемнело. Рогачев перенес в шалаш мешок с мясом, собрал все кости, с которых днем раньше обрезал мясо, сложил их на замерзшую оленью шкуру вместе с головой и все это переволок к шалашу, кстати, и голову привалил коряжиной у входа, а шкуру размял и расстелил в шалаше поверх еловых лап, мехом вверх. Затем разложил у входа в шалаш небольшой костер, на четырех высоких кольях сделал над ними навес — защиту от снега, тоже из еловых лап и куска брезента, который всегда носил с собой. Колья крепил он уже под сильными порывами ветра.

Теперь высоко в сопках отчетливо слышался тяжелый непрерывный гул; небо потемнело и снизилось, солнце с трудом пробивалось сквозь красновато-серую мглу; старые ели под напором ветра глухо заговорили. Горяев очнулся. Рогачев подошел к нему и, с невольной усмешкой глядя в его встревоженные, ждущие, влажно блиставшие глаза, помолчал.

— Ну что, снайпер,— сказал он наконец,— вставай, что ли? Тут рядом шалаш тебе приготовлен и постель постелена. Может, еще шашлык закажешь?

Горяева совсем развезло; Рогачев перетащил его к шалашу, перенес туда же его лыжи с винтовкой; ему противно было прикасаться к Горяеву, но тот неотступно следил за ним теми же ждущими, светлыми и благодарными глазами. Рогачев даже сплюнул и про себя потихоньку выругался. Поставив варить мясо, он подумал, что надо бы посмотреть, что у Горяева с ногами, но тот точно почувствовал и стал жаловаться на рези в желудке — последние три дня он ничего не ел, а с ногами ничего, с ногами ему повезло, вот только лицо и руки прихватило, а с ногами ничего, унты у него крепкие, невыношенные.

— У тебя деньга хорошая,— сказал ему в ответ на это Рогачев.— Вот тебе бы сейчас в ресторан, бульончику из благородной птицы — для желудка оно полезно,— Рогачев поставил перед Горяевым кружку с кипятком.

— Ну бей, добивай, твоя взяла,— Горяев попробовал подтянуть ближе свой мешок, в распухших пальцах появилась боль, и он бросил лямки.— Она меня одолела. Если

даже бросишь, уйдешь один, никто не узнает, не осудит, и первый я, твоя взяла.

— Дурак,— брезгливо сплюнул Рогачев.

— Меня дым от твоего костра спас, а это что,— Горяев снова пихнул мешок,— бумага. Нет, ты не поймешь, я боялся не успеть. Ну, думаю, пока доберусь, его и след простынет. Ногами двигаю — и ни с места, у меня всего несколько сухарей оставалось... На день, на два, иду и шатаюсь... Когда я тебя увидел, мне на колени хотелось стать, как перед господом богом. Да нет, нет, не то подумал... я **человека** увидел. Да разве ты поймешь, здоровый индивидум, ты только не обижайся. **Оно,**— Горяев поднял черный корявый палец, прислушиваясь к грохотавшей тайге, как будто ворочавшей огромные валуны.— Слышишь, теперь вот грохочет, подает голос, а то ведь в ушах звенело от тишины, хоть ты лопни, даже сучок не треснет. Не-ет, неспроста это, попомнишь мое слово, неспроста! — Горяев погрозил кому-то темным скрюченным пальцем.

Рогачев по-прежнему ничего не отвечал, помешивая деревянной ложкой в котелке, он сам ее вырезал и с ней не расставался. Он любил работать с деревом, это передалось ему от отца, смоленского плотника и кровельщика. Тася любила его фигурки, которые он вырезал из мягкой ели, и уставляла ими подоконники. Как она там, Тася, задумчиво и растроганно подумал Рогачев о жене, и дров нарубить ей сейчас некому, а вдруг она еще слаба после больницы, наверняка слаба, а он здесь прохлаждается, байки слушает да еще под пулю чуть не попал. Расскажи кому, так ведь не поверят, на смех поднимут.

Горяев тоже затих, пригрелся в теплом сытном воздухе, откинулся назад и лежал, не шевелясь, лишь обмороженные ноздри его дергались от запаха варившегося мяса. По распадку с елями и шалашу в это время ударил, словно рухнул обвал, бешеный порыв ветра, выдувая из-под котелка пламя, и тотчас сплошная белая муть закрыла небо и землю; Рогачев высунул голову из укрытия и торопливо подался назад. Ревущая белая мгла валом рушилась с сопок; Рогачев, закрыв голову брезентом, опять высунулся из шалаша, отворачивая лицо от режущего снега, как мог, защитил еще костер, поправил навес, колья были укреплены надежно, недаром он над ними трудился и, прихватив котелок, полузасыпанный золой, разделил дымящееся мясо на две части.

— Ешь,— сказал он, положив перед Горяевым горячее мясо.— Смотри, не сразу, не жадничай, здесь докторов нет, и скоро не предвидится. Сначала самую малость съешь, часа через два — еще. Черт, как продувает... Ну, ничего, снегом забьет, теплее станет, отлежимся. Ешь, ешь, кипяток сейчас поспеет. С мясом обязательно пить надо.

Горяев съел небольшой кусок сочного, теплого мяса, и, хотя ему неудержимо хотелось еще, он пересилил себя, замотал оставшееся мясо в шарф, чтобы оно не замерзло, зажал его под мышку и лег навзничь, закрыв глаза; болевые спазмы в желудке усилились. Горяев вспомнил слова Рогачева о докторах. Да, в два счета согнешься здесь. И что? Что сделают килограммы этих бесполезных бумажек в мешке? Только костер ими подправить. И, странное дело, Горяеву мучительно захотелось, чтобы непогода никогда не кончилась, остаться здесь насовсем, принимать теплую, дымящуюся пищу из рук этого человека, имя которого он даже не помнил. Дома Горяева никто не ждал... Ну вот, и кончилось, думал Горяев расслабленно в полусне. Оказывается, одиночество всего хуже, не надо ни денег, ни счастья, ни карьеры, все тонет в этой кромешной белой тьме, сколько таких заблудших, потерянных душ нашло свое успокоение в этой бесконечной ненасытной ледяной могиле. А она, эта прорва, тянет к себе, засасывает звенящей тишиной и начинает потом вот так неистовствовать, и бушевать, когда жертва от нее уходит. А человеку немногого надо. Чуть-чуть тепла и дымящийся кусок мяса в руках пусть даже незнакомого человека. Горяеву, как когда-то в далеком забытом детстве, не хотелось думать ни о чем дурном, помнить ничего дурного, пусть даже совершенного им. Вот он поел немного и счастлив, и рад чужому человеку, возившемуся с костром, рад шалашу, укрывшему его от неминуемой смерти; вот как воет и дрожит вокруг, опоздай он на четверть часа, и для него бы все кончилось.

Горяев открыл глаза, судорожно приподнял голову; ему показалось, что он совершенно один, а остальное он просто придумал; он увидел Рогачева, по-прежнему копавшегося с огнем (костер задувало), и успокоился, опять закрыл глаза, в глазах металась белая мгла; о чем бы он ни начинал думать, совсем постороннем, стараясь обмануть ее, она упорно возвращалась. В затишье все сильнее болело обмороженное лицо; Горяев осторожно, кончиками

пальцев притрагивался к обмороженным местам, усиливая боль, и был счастлив. Он чувствовал присутствие Рогачева.

— Вот сейчас вода закипит, сала немного растоплю, помажешься,— услышал он голос Рогачева, и лицо его дернулось, его бы сейчас под пулей не заставили взглянуть в глаза человеку, которого он хотел убить и должен был убить.

— Что творится! — опять сказал Рогачев весело и возбужденно.— Тьма, хорошо, шалаш в затишке, ветер сюда почти не доходит, один снег валом валит. Ну, ладно, сейчас кипяточку перехватим, можно будет и поспать. Завалит нас сейчас, как медведей в берлоге, ни в жизнь никто не отыщет, зато и теплей станет.— Рогачев необычно для себя разговорился, не ожидая ответа собеседника, приятно было самому слышать свой голос, за неделю-то намолчался.

8

Зверь был необычный, черный и лохматый, с медвежьей головой и мягкими лапами, он не рычал, не кусался, он молча наползал на Горяева, и тот сквозь плотный свалявшийся слой шерсти чувствовал руками его горячую душную плоть; когда зверь вплотную приближал свою пасть, Горяева начинало тошнить от его шумного влажного дыхания, и он, открывая глаза, постепенно приходил в себя, но жар снова усиливался, и он впадал в забытье и начинал бредить. Зверь снова наползал на него, наваливался и давил. Рогачев, сонно кряхтя и бормоча себе под нос ругательства, вылезал из мешка и давал ему напиться, клал ладонь на лоб Горяева. «Вот поднесла нелегкая, рассказать кому, обхохочешься. Сестра милосердия, да и только».

Снежная буря не прекращалась третьи сутки, и Горяев то лежал неподвижно, то начинал метаться и вскрикивать в своем мешке, отбиваясь от кого-то. На четвертые сутки ему полегчало. Два раза в сутки Рогачев варил мясо и грел кипяток; они почти не разговаривали, но как-то привыкли друг к другу; Рогачев за хозяйственными заботами не думал о том, что станет делать, когда буря стихнет и им нужно будет расходиться. Мешок с деньгами лежал в шалаше, в головах у Горяева, и о нем, кажется, забыли, но это было не так. Рогачев ловил себя на мысли, что его

давит вроде бы беспричинное беспокойство; от такого количества денег исходила какая-то неприятная тягостная сила, Рогачев даже хотел выставить их из шалаша, но, подумав о том, что Горяев расценит это совсем наоборот, оставил на месте; на четвертые сутки Горяев совсем отошел и делал попытки заговорить, Рогачев не отзывался; оба чувствовали, что им невозможно быть дольше рядом, если они так же будут молчать; Рогачев думал об этом и все время старался отвлечься воспоминаниями о прошлом; особенно часто ему вспоминалось почему-то, как он впервые увиделся с Тасей, и это было ему приятно; он опять и опять припоминал, как три года назад, после развода с Настей, пошел на сплав и была веселая, тяжелая работа от зари до зари, просторная и быстрая река, солнце и комары. Было приятно вспоминать о тепле, и хоть ему не совсем тогда повезло, все равно приятно. На сплаве со всяким может случиться, да и сколько он там пролежал? Дней десять, все засохло, сейчас только к сильной непогоде помятое тогда колено постанывает, да и то меньше и меньше. А потом что ж, потом он Тасю увидел, а как увидел, так и почуял по-звериному сильно и глубоко, что вот она, его доля и петля, и никуда от нее не денешься.

9

Рогачева тогда встретили весело, и его друг Семен Волобуев сразу же выложил, что наряды закрыты хорошо, есть и прогрессивка, и премиальные будут.

— Завтра-послезавтра обещают деньги. Ты как раз вовремя подоспел, в самую точку. Ты как, наличными или через почту?

Рогачев пожал плечами.

— А ты, Семен?

— Да мы с Колькой решили наличными. Чего там путаться, что-то около пяти тысчонок,— Семен покосился на хозяйку, хлопотавшую над столом тут же в комнате, и Рогачев отметил про себя, что очень часто внимание Семена сосредотачивается на хозяйке; все трое они были тогда вдовы — Семен Волобуев, Колька Афанасьев и он сам. Рогачев уважал Семена, его всегда удивляли в Волобуеве его природная сметка и ровность характера и вот эта неосознанная и неизвестно откуда берущаяся уверенность в

себе — человек говорит о пяти тысячах, словно о пятидесяти копейках и словно они ему ничего не стоят и не он за них десятки раз висел на волоске от смерти.

Хозяйка в летах, крепкая (она напоминала Рогачеву кряжистую, здоровую березу ранней осенью, когда листья на ней еще целы и еще зеленые, даже темноватые кое-где от избытка сил, только вот именно этот оттенок избытка и наводит на грустные мысли о зиме), накрыла по просьбе Семена стол, и на нем появились маринованные грибы, сало желтыми ломтями, вареное мясо краба и маленькие, длиной в ладонь, жирные копченые рыбки, которых хозяйка ласково называла «окуньки» с припаданием на первую букву.

— Сейчас Колька прибежит,— сказал Семен, выкатывая откуда-то из-под стула большой резиновый мяч, расписанный розовыми облаками и белыми стрелами.

— Чудо,— сказал Рогачев.— А где Колька?

— Да рядом, в соседях. Ты бы, Сонь, сходила за ним, а? — ласково попросил Семен, и Рогачев еще раз отметил, что тут далеко не все в порядке.

— Схожу, слыхала,— сказала хозяйка и сразу же вышла.

Семен проводил ее взглядом, толкнул мяч носком сапога, поглядел на Рогачева.

— Одна баба живет. Мужик рыбак был, в прошлом году утоп. Я их давно знаю. Хорошая баба, а вот поди тебе — утоп. А жиличка у нее еще лучше. Сейчас с работы придет. Тоже из наших краев. А мать твоя жива?

— Померла,— сказал Рогачев, хотя видел, что спрашивает его Семен только ради приличия и что на самом деле ему хочется поговорить об этой самой бабе, у которой прошлым годом утоп мужик.

— Старая будет?

— Сейчас бы шестьдесят один был... Я ее плохо помню... вот лицо да руки, это как вчера.

— Все там будем, тут уж ничего не попишешь,— сказал Семен, задумываясь.— Поедешь, значит, после договора домой?

— Поеду.

— Так. Остаться, значит, не желаешь? А что тебе там, дома, а? Семьи у тебя сейчас нет... Нет или скрываешь?

— Долго ли завести,— ушел Рогачев от ответа.— Дело нехитрое.

Семен поглядел на Рогачева остро, вприщур и тихо, как-то про себя, повторил:

— Оно дело, конечно, нехитрое, да ведь и без него — как? А я бы на твоем месте еще подумал, Иван, еще бы один срок оттрубил. Тебе еще есть время, обдомоводиться успеешь.

Он глядел на Рогачева с грустью, и от этого тот злился. Можно ли было спрашивать об этом, поедет или нет? Да он не поедет, а полетит.

— Можно ведь и на год еще продлить, ты смотри, Иван.

— Ладно, Семен, погляжу, мне и без того еще почти год,— Рогачев больше ничего не сказал, покосился на стол, ему хотелось есть с дороги, настроение было веселое и легкое. Давно ему не было так хорошо, как здесь, в жарко натопленной комнате с веселыми солнечными бликами на полу.

В это время в коридоре послышались голоса, шаги. Колька Афанасьев широко распахнул дверь — он, видно, только что встал с постели. За ним вошла хозяйка и еще женщина, помоложе, и Рогачев заметил ее мгновенный тревожный взгляд, брошенный на него еще из двери, и вот в этот момент от карих, широко распахнувшихся ему навстречу глаз и дрогнуло у Рогачева где-то в самой глубине, и он больше ни на минуту не мог забыть этого своего ощущения.

— Заждались? — засмеялась хозяйка, проворно снимая с полок у плиты какие-то банки и расставляя их по столу; Рогачев не верил своим глазам: бутылки на столе не было.

— Подожди, подожди,— сказал Волобуев, перехватывая его удивленный взгляд, и поднял глаза на Кольку: — А ты что один?

— Настя на работе, записку оставила. У нее сегодня, оказывается, смена. Проснулся, шарю возле, нету. Да опять заснул. Хорошо вот, Софья Ильинична разбудила, до вечера бы проспал.

Колька говорил и глядел на Рогачева, он хотел, чтобы все понимали, почему он так долго спал, и это желание до того было откровенным, что все действительно понимали, почему он так долго спал, и Колька это видел.

— Вот съезжу, рассчитаюсь да и сюда. Хватит голышом перекатываться, обрастать надо мхом-травой, надоело.

— Решил, значит?

— Решил, Семен. А чего ждать? Баба хорошая, здоровая. Чего-то я к ней сразу прилип,— Колька застеснялся своих последних слов, и Волобуев стал улыбаться.

— Рассчитываться-то зачем, по правилам она должна. Не муж к жене, а жена к мужу — давний закон.

— Работы и здесь хватит. Ты чего, Иван, стоишь, не садишься?

Рогачев подошел, сел рядом; Волобуев следил за ним своими маленькими ясными глазками. Он терпеливо ждал, когда все рассядутся и когда освободится что-то хлопотавшая хозяйка.

— Садись, Сонь,— не выдержал он, и она послушно села рядом с ним на табуретку, откинула светлую прядку волос со лба.

— За возвращение Ванькино надо бы? — спросил Колька Афанасьев.

— Ничего, потерпишь до денег.

— Я потерплю... Ну, с богом!

Вкусная еда на пустой желудок сразу ударила в голову, но Рогачев подумал, что он все-таки здорово ослаб в больнице, ноги стали словно из ваты.

Софья Ильинична, еще больше помолодевшая и разрумянившаяся от плиты, налила настоящие щи из свежей капусты и положила в них большие куски оленины; Рогачев жадно втянул в себя вкусный запах жареного лука, мяса и придвинул тарелку. Он опорожнил ее дважды и не мог понять, в чем секрет,— это были щи невероятно вкусные, и чем больше он их ел, тем больше хотелось, хотя в поясе становилось все туже и дышать было трудно. Какой-то незнакомый ему запах так и тянул к себе, он отодвинулся от стола, смущенный своим обжорством, и больше для Таси, сидевшей тут же, на краешке стола и осторожно хлебавшей те же щи, сказал:

— Чу-удо!

Софья Ильинична засмеялась, довольная, оказалось, все они наблюдали за Рогачевым.

— Тут грибки пережаренные да морской капусты чуток,— сказала хозяйка.— У нас все так варят. А мясо чего ж, не нравится?

— Не могу больше, лопну.

— Не лопнешь,— пообещал Колька, придвигая к нему налитый до краев стакан холодного, ледяного кваса.—

Я вначале тоже объедался, здешние бабы умеют. Вот еще подожди, крабов тебе надо попробовать, здесь их тоже по-особому варят, с кожурой проглотишь. Да только после этого...

— Ну, ну,— Софья Ильинична шутливо повысила голос; Колька наклонился и зашептал, жарко дыша в ухо, Рогачев отодвинулся.

— Кончай свою бодягу,— недовольно остановил его Волобуев; голос Кольки никак не мог перейти на шепот, и все хорошо слышали то, что он говорил:

— И не пьянеешь от такой закуски, вот чудо! Ну, попей кваску.

Рогачев отпил квасу и придвинул к себе оленину, и все они были рады, что он хорошо ел, что они могут сделать приятное, особенно — хозяйка. Оленина была сварена, видать, с какими-то травами, была сочна и от нее неуловимо пахло ароматом весенней тайги; Рогачеву вспомнились дикие распадки сопок в цветущем разнотравье, где он побывал прошлой весной, увязавшись с геологами на неделю.

Хотя их за столом было пятеро, шум стоял большой. Колька Афанасьев порывался что-то рассказать, его не слушали, и он внезапно загрустил и вспомнил, как в прошлом году на сплаве погиб его старый дружок. Волобуев сразу нахмурился, а Софья Ильинична стала толкать Кольку в бок, и, махнув рукой, он пошел к двери. Его не стали удерживать, тут каждый делал, что хотел. Рогачев заметил, что Софья Ильинична глядит на Волобуева с нежностью, с той бабьей нежностью, которую невозможно упрятать ни шуткой, ни резковатым словом, и порадовался за него; простым глазом видно, что тут хорошо и жизнь его будет лучше, чем была до сих пор, и Васятке его будет хорошо; Рогачеву определенно нравилась Софья Ильинична, в ней была какая-то домовитость и чистота, но, по правде сказать, его больше занимала Тася, просидевшая весь обед без единого слова, а потом, когда мужчины встали, собравшая посуду и унесшая ее мыть.

— Она у вас всегда такая? — спросил Рогачев у хозяйки, и Софья Ильинична, не сдерживая голос, засмеялась.

— А ты не смотри, не смотри! — сказала она.— Тихий огонек он хоть и не горяч, зато долог, в нем своя особица. Как привыкнешь, так уж и не оторвешься.

* * *

Рогачев перечистил котелок, ножи и кружки, больше чистить было нечего, винтовку за эти долгие дни он тоже не один раз разобрал, вычистил и собрал, он стал думать, как, переждав бурю, вернется домой, и его встретит Таська, здоровая и веселая, и как он позовет своих друзей, Волобуева Семку и Афанасьева Кольку с женами, и они посидят хорошенько вечером, он им расскажет все, вот рты-то раскроют, да ведь не поверят. А потом... Об этом «потом» Рогачев старался не думать, чтобы не расстраиваться, очень долгим еще было возвращение.

— Не могу,— неожиданно сказал Горяев и, высунувшись до половины из мешка, сел.— Не могу я, не могу. Остаться одному, ни за что. Делай, что хочешь, не уйду.

— Не можешь — не надо, никто тебя не гонит,— сказал Рогачев, с жалостью разглядывая три оставшиеся в пачке помятые сигареты; наконец он решился, бережно разорвал одну из них пополам и закурил.— Как хочешь, а быть с тобой не очень весело.

— Понимаю,— торопливо согласился Горяев.— Понимаю, ладно, спасибо и на этом. Пойми, никого у меня, один как перст божий, сам виноват, конечно. Послушай,— попросил он Рогачева,— ты меня уважать, конечно, не можешь, не обязан... Но все-таки, если можешь, забудь тот случай. Не знаю, как вышло. Нет, ты сейчас ничего не говори. Понимаешь, когда я увидел эту кучу денег, какое-то затмение на меня нашло, не знаю, что со мной было... Мне все время казалось, что я не на своем месте в жизни, все ждал свой единственный шанс, случай, мне сорок, а я до сих пор не женат, почему ты думаешь? Из-за той истории, что я тебе рассказал? Нет, это лишь начало, повод... во мне червь какой-то разросся и гложет, я не так жить хотел, вверху жить хотел! И никогда не получалось, смешнее клерка с претензиями ничего не может быть... И сразу столько денег!

Рогачев, вначале делавший вид, что не обращает внимания на слова Горяева, отбросил сучок, который он обстругал ножом, стараясь придать ему вид старичка-лесовика; пожалуй, в нем пробудилось нечто вроде сочувствия к Горяеву, он в чем-то мог и понять его, ведь какие-то отголоски своих мыслей и настроений чувствовал Рогачев в

словах Горяева, и ему было и стыдно, и неловко, и хотелось прекратить эту внезапную исповедь.

— Ребят жалко,— сказал он задумчиво, в неподвижных зрачках его плясали крохотные отблески огня.— Пропали ни за что. На войне бы — не обидно. А за этот мусор. Ждут ведь их небось, надеются, все глаза проглядели...— Рогачев осекся. Его тоже ждали и выплакали небось все глаза, Таська небось почернела, леспромхоз на ноги подняла, а все из-за его дурной затеи — решил хлопец прогуляться в тайгу за соболишком. Ах, ядрена Феня, нескладно все получилось...

Ему в сердцах хотелось напомнить Горяеву, что бросил он летчиков не по-людски, незахороненными; но, взглянув на съежившегося крючком Горяева, почему-то промолчал и тщательно запрятал остаток притушенного окурка (потом можно будет размять и сделать самокрутку). Из-за жирной и обильной еды Рогачев за ночь несколько раз вставал пить воду и прислушивался, в реве бури теперь ясно различались пустоты и провалы; открыв еще раз глаза ближе к утру, он замер. Он сразу понял, что Горяев не спит, и сам затаился; Горяев ворочался и трудно, шумно вздыхал. «Зачем? Зачем?» — услышал Рогачев совсем рядом и от неожиданности едва не отозвался, тут же не без доли злорадства перевернулся на другой бок и заснул и, как ему показалось, опять почти сразу проснулся от необычного ощущения: было тихо, было так тихо, что он тут же бесцеремонно растолкал Горяева, и они несколько минут вслушивались, почти оглушенные.

Выбравшись наверх (их завалило снегом вместе с шалашом и с навесом над костром), они увидели нетронутое девственное пространство, мягкий молодой снег отдавал чистейшим перламутром и взошедшее солнце холодно играло в пустынном небе; буря неузнаваемо изменила местность, и прежде, чем выбрать направление, Рогачев долго всматривался, недовольно крякал и прикидывал.

В это время Горяев безучастно ждал, стоя позади и сердцем ощущая в этот момент зыбкость и ненадежность своего присутствия в жизни и в то же время испытывая сильное желание ошеломить, озадачить добродушного, здорового человека, делившего рядом припасы, но не знал, как это сделать, и ничего придумать не мог. Он обреченно следил за Рогачевым, строго делившим припасы на

две равные части; затем Рогачев уложил свой мешок, присел на корточки у догоравшего костра.

— Ну вот,— сказал он неопределенно.— Прощай, Горяев Василий, в гости не приглашаю, не обижайся. Дойти ты теперь дойдешь, я тебе мяса отполовинил. Прощай.

— Иван, послушай,— Горяев проворно достал откуда-то из-за спины туго набитый, видимо, заранее приготовленный большой кожаный кисет, бросил его к ногам Рогачева.— Освободи меня от них, ради всего святого!

— Ты Ваньку-то не валяй, Горяев,— строго и отчужденно сказал Рогачев, застегивая ремни рюкзака.— Сам себя нагрузил, сам и освобождайся, ишь привыкли к костылям! Нагадил — убирай за собой сам. Никто тебе ничего не должен.— Приладив винтовку, Рогачев встал на лыжи и, не оглядываясь, не взглянув на кисет, скользнул вниз с белого склона; и с вершин сопок еще доносился легкий гул; тишина после бури не успела устояться.

— Эй, Рогачев, подожди! — запоздало попытался остановить его Горяев, но Рогачев больше не оглянулся; ему, наконец, просторно стало на душе от своего решения все бросить и идти прямо домой; что мог, он сделал, а остальное не его дело, на это есть суд и милиция, а ему за эту муру памятника не поставят, а времени уйму потерял.

Весело поглядывая кругом и радуясь обновленному бурей миру, он бежал скоро и ловко, потому что путь шел под уклон. Он отлежался за эти дни и набрался сил, и теперь ничего не было страшно: четыре дня ходу пустяк для него, ну, за то, что припоздает на несколько дней, начальство отругает, на том и сойдет. Правда, еще от собственного домашнего начальства, от Таськи, здорово достанется, вот уж покричит, так покричит, душу отведет, думал он с удовольствием, видя перед собой возмущенное лицо жены; сейчас всякое воспоминание о доме было ему приятно. Лыжи скользили по синеватому, словно подсвеченному изнутри снегу легко и свободно, и Рогачев, отдавшись ровному движению, часа два шел не останавливаясь. Он оглянулся у подножья сопок, там, где тайга начинала вгрызаться в сопки по распадкам, и остановился. Он увидел на ослепительно сияющем склоне темную точку, движущуюся по его следу. Вот сволочь, подумал Рогачев беззлобно, напал черт на грешную душу.

Рогачев подумал было остановиться и дождаться Горяева, затем, после небольшого раздумья, пошел дальше;

в конце концов он не мог запретить Горяеву идти, куда ему хочется, он лишь испытывал какую-то связанность от непрерывного ощущения другого, постороннего человека, неотрывно идущего по следу, как ни странно уже не казавшегося ему чужим.

Его все гуще охватывала со всех сторон неподвижная, белая тайга; деревья, заваленные снегом, все-таки были живыми, и Рогачев чувствовал их ждущую, притаившуюся до поры жизнь; и от этого ощущения, почти запаха теплой земли и зелени в него опять начинало закрадываться смутное беспокойство.

Солнце низилось, от деревьев бежали, удлинялись размытые тени; еще один день кончался, и нужно было выбирать место ночлега.

СОДЕРЖАНИЕ

Проскурин Петр Лукич

ДЕНЬ СМЯТЕНИЯ (избранное)

М. «Московский рабочий». 1971
544 с. Р2

Редактор *Н. Далада*

Художественный редактор *А. Беднарский*

Художник *Ю. Бажанов*

Технический редактор *Т. Павлова*

Издательство «Московский рабочий»,
Москва, ул. Куйбышева, 21.

Л111112. Подписано к печати 14/IV 1971 г. Формат бумаги 84 × 108 1/32. Бум. л. 8,5. Печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 30,37. Тираж 75 000. Тем. план 1971 г. № 169. Цена 1 р. 12. к. Зак. 127.

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

1 р. 12 к.

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ